

Эжен Сю Парижские тайны. Том II

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Глава XIII ПЕРВОЕ ГОРЕ ХОХОТУШКИ

Комната Хохотушки, как всегда, блестела радующей глаз чистотою; стоявшие на камине большие серебряные часы в футляре из самшита показывали четыре; сильные холода уже миновали, и бережливая работница не топила печь.

Из окна виднелся лишь клочок голубого неба, он проглядывал сквозь беспорядочное нагромождение кровель, мансард и высоких труб – по другую сторону улицы они закрывали горизонт.

Внезапно солнечный луч, словно заблудившись, проскользнул между двумя скатами крыши и на несколько мгновений озарил ярким блеском плиточный пол в комнате молодой девушки.

Хохотушка работала, сидя у окна; ее очаровательный нежный профиль выделялся на фоне чуть пламенеющих прозрачных стекол, и головка ее походила на бледно-розовую камею.

Блики света пробегали по ее темным волосам, стянутым на затылке в тугой узел, они оттеняли ее будто выточенные из слоновой кости маленькие трудолюбивые руки, в них с непостижимой быстротой мелькала игла.

Длинные складки коричневого платья, поверх которого был надет обшитый кружевцем зеленый фартучек, ниспадали на соломенное кресло, где сидела девушка; две прелестные ножки, как всегда со вкусом обутые, опирались на край невысокого табурета, стоявшего перед ней.

Подобно знатному вельможе, который из прихоти забавляется порою тем, что укрывает стены скромной хижины блестящими драпировками, заходящее солнце на минуту осветило эту скромную комнату тысячью беглых огней; солнечные лучи переливались золотистыми блестками на занавесях из серовато-зеленого набивного кретона, искрились на полированной мебели орехового дерева, сверкали на плиточном полу, отчего он стал походить на красную медь, и зазгли золотой ореол вокруг клетки для птиц, принадлежавших гризетке.

Но, увы! Несмотря на веселые проделки солнечного луча, обе птички – и кенар и канарейка – с тревожным видом порхали в клетке и, против обыкновения, не пели.

Дело в том, что Хохотушка, против обыкновения, тоже не пела.

А если не пела девушка, не щебетали и птички.

Почти всегда радостная утренняя песня Хохотушки как бы вызывала к жизни и песни канареек: они, более ленивые от природы, не покидали своего гнездышка в столь ранний час.

А уж тогда рождался задорный вызов, начиналось состязание звонких и ясных рулад, жемчужных и серебристых, – и не всегда птицам удавалось одерживать победу.

В тот день Хохотушка не пела... ибо впервые в жизни она испытывала неподдельное горе.

До сих пор зрелище нищеты в семействе Морелей часто трогало ее до слез, но такого рода картины чересчур привычны для людей из бедных сословий и потому они не слишком долго ранят душу.

Почти каждый день девушка помогала этим беднякам, насколько позволяли ей силы; она искренне вместе с ними оплакивала их горькую участь, но, возвращаясь к себе, она ощущала некоторое удовлетворение... Хотя ее не на шутку огорчала судьба этих бедолаг, она радовалась тому, что выказывает к ним глубокое участие.

И уже очень скоро природная веселость ее нрава вновь обретала над нею обычную власть... Отнюдь не из эгоизма, а только потому, что Хохотушка сравнивала свою жизнь с жизнью соседей, она, возвращаясь из ужасного логова Морелей к себе в комнатку, чувствовала себя

счастливой, и ее мимолетная грусть быстро рассеивалась.

Эта быстрая смена настроений не была сущностью ее натуры; в силу трогательной душевной деликатности гризетка почитала своим долгом принимать деятельное участие в судьбе людей, более несчастных, чем она, она нуждалась в этом для того, чтобы без угрызений совести наслаждаться своим мирным существованием, без сомнения, весьма ненадежным, которым она была, кстати, всецело обязана постоянному труду; надо заметить, что ее собственная жизнь – по сравнению с ужасающей нуждой семейства гранильщика алмазов – казалась Хохотушке почти роскошной.

«Для того чтобы распевать песни, не испытывая при этом угрызений совести, ибо рядом с тобой живут люди, достойные всяческой жалости, – простодушно говорила гризетка, – надо проявлять к ним все то милосердие, на какое ты способна».

Прежде чем рассказать читателю о причинах первого горя Хохотушки, мы хотим сразу же успокоить его и полностью убедить в добродетельности этой юной девушки.

Нам, увы, приходится здесь употребить слово «добродетель», слово важное, помпезное и торжественное, слово, которое почти всегда рождает представление о тяжелых жертвах, о мучительной борьбе со страстями, о суровых размышлениях, о конечном смысле дел земных.

Но добродетельность Хохотушки была совсем иного рода.

Ей не приходилось ни с чем бороться и ни о чем размышлять.

Она просто прилежно работала, смеялась и пела.

Ее благоразумие, как она сама откровенно признавалась Родольфу, зависело прежде всего от... отсутствия свободного времени... Ей просто некогда было предаваться любви.

Всегда веселая, трудолюбивая, склонная к порядку во всем, она обнаружила, что порядок, труд и веселый нрав, даже помимо воли, защищали, поддерживали и спасали ее.

Быть может, эти нравственные устои сочтут слишком легковесными, слишком доступными и слишком незамысловатыми; но дело в общем-то не в причине, важен конечный результат.

Разве так уж важно, как расположены корни растения, если на нем распускаются чистые, яркие и благоуханные цветы?..

В связи с нашими пока еще утопическими надеждами на то, что общество станет подбадривать, поддерживать и вознаграждать тех работников, которые выделяются среди других своими социальными достоинствами, мы уже говорили о том, что необходимо «опекать» добродетель: об этом, как и о многом другом, уже задумывался император Наполеон.

Предположим, что эта мысль, благодетельная мысль великого человека, воплотилась в жизнь!..

И один из настоящих филантропов, коим император поручил отыскивать добродетель, обнаружил бы Хохотушку.

Предоставленная самой себе, лишенная благих советов и поддержки, подверженная всем тем опасностям, которыми чревата бедность, всем соблазнам, на которые так падки юные и красивые девушки, эта прелестная гризетка осталась чистой и целомудренной; да, честная, наполненная усердным трудом ее жизнь могла бы служить примером и назиданием для других.

Разве эта девушка, почти ребенок, не заслуживала бы – нет, не награды, не вспомоществования, – но хотя бы нескольких ласковых слов одобрения и похвалы, слов, которые укрепили бы в ней чувство собственного достоинства, подняли бы ее в собственных глазах и побудили бы ее вести себя так же добродетельно и в будущем?

Ибо тогда она знала бы, что за ней наблюдают, что внимательный и заботливый взор сулит ей покровительство на трудной стезе, по которой она шествует с таким мужеством и ясностью духа!

Ибо тогда она знала бы: если вдруг наступит такой день, когда у нее не будет работы или недуг будет угрожать ее скромному, полному забот существованию, ее жизни, которая всецело зависит от усердного труда и требует здоровья, то небольшая помощь – а ведь она заслужила ее своими достоинствами – поддержит ее в тяжелую пору.

Без всякого сомнения, раздадутся возгласы о том, что попечительство такого рода, коим следовало бы одарить людей, особенно достойных сочувствия вследствие их безупречного пове-

дения, невозможно осуществить.

Однако нам кажется, что общество уже решило сходную задачу.

Разве уже не создана полиция нравов для наблюдения за жизнью и поведением людей, – с целью, впрочем, весьма похвальной, – которая должна следить за поведением субъектов, опасных для общества в силу совершенных ими прежде дурных поступков?

Так отчего бы обществу не учредить также наблюдение и за высоконравственным поведением людей добродетельных?

А теперь покинем область утопий и возвратимся к причинам, вызвавшим первое горе Хохотушки.

Если не считать Жермена, простодушного и серьезного молодого человека, то другие соседи нашей гризетки поначалу сочли присущие ей от природы дружелюбие и приветливость, то, что она охотно оказывала различные небольшие услуги, попыткой привлечь к себе внимание; но довольно скоро эти господа были вынуждены – с удивлением и досадой – понять, что они могут обрести в лице Хохотушки любезную и веселую спутницу для воскресных прогулок, услужливую и милую соседку, но отнюдь не любовницу.

Их удивление и досада, на первых порах весьма ощутимые, мало-помалу уступили место восхищению перед открытым и обаятельным нравом гризетки. Затем, как она сама совершенно справедливо сказала Родольфу, ее соседи стали уже гордиться тем, что могут по воскресеньям отправляться на прогулку, ведя под руку красивую девушку, которая была к ним очень внимательна (Хохотушку не слишком заботили правила хорошего тона) и не стоила им почти ничего: она лишь участвовала в их скромных развлечениях, чья ценность благодаря ее присутствию и веселости возрастала.

К тому же эта славная девушка так легко довольствовалась малым!.. В дни безденежья она вместо обеда с веселой улыбкой уплетала горячую лепешку, вгрызаясь в нее своими белоснежными зубками, так что любо было смотреть! После чего с удовольствием прогуливалась по бульварам или просто по людным улицам в обществе своих кавалеров.

Если наши читатели прониклись хотя бы некоторой симпатией к Хохотушке, они согласятся с тем, что только очень уж глупый или совершенно неотесанный человек мог отказаться от таких незамысловатых воскресных развлечений со столь приятной спутницей, которая к тому же, не имея никаких прав на ревность, отнюдь не препятствовала своим кавалерам отдыхать от ее строгости, утешаясь с менее суровыми красотками!

Один только Франсуа Жермен никогда не питал надежд на более короткие отношения с молодой девушкой; душевная чистота и врожденная деликатность позволили ему с первого же дня знакомства с нею понять, какую прелесть может таить в себе та своеобразная дружба, которую предложила она ему.

Однако то, что должно было непременно случиться, случилось: Жермен без памяти влюбился в свою соседку, но так и не решился хотя бы словом обмолвиться о своей любви.

Он не был склонен подражать своим «предшественникам», которые, окончательно поняв тщету своих поползновений, утешились, подыскав себе других близких подружек и сохранив при этом доброе согласие со своей строгой соседкой. Поэтому Жермен наслаждался целомудренной близостью с прелестной девушкой: он проводил возле неё не только воскресные дни, но и все свободные вечера. И в эти долгие часы Хохотушка неизменно бывала весела и чуть шаловлива, а Жермен оставался нежным, предупредительным, но серьезным, а часто даже немного грустным.

Грусть эта была его единственным недостатком, по мнению Хохотушки; с врожденным благородством его манер не шли ни в какое сравнение смехотворные притязания коммивояжера, г-на Жиродо, или безумные выходки художника Кабриона; однако Жиродо в силу своего неиссякаемого красноречия и Кабрион в силу своей столь же неиссякаемой веселости одерживали верх над Жерменом, чья нежная серьезность не слишком нравилась его соседке.

Вот почему Хохотушка до сих пор не отдавала явного предпочтения ни одному из трех своих поклонников. Но она не была лишена здравого смысла и понимала, что один только Жермен обладает необходимыми качествами для того, чтобы составить счастье рассудительной

женщины.

Изложив все это, мы расскажем теперь читателю, почему Хохотушка была так печальна и почему ни она сама, ни ее канарейки в тот день не пели.

Свежее и круглое личико девушки слегка побледнело; большие черные глаза, обычно веселые и блестящие, чуть потускнели и подернулись грустью; черты лица выдавали непривычную для нее усталость. Дело в том, что Хохотушка провела за работой часть ночи.

Время от времени она печально поглядывала на распечатанное письмо, лежавшее возле нее на столе; письмо это прислал ей Жермен, и вот что в нем можно было прочесть:

«Тюрьма Консьержери.

Мадемуазель!

Уже само то место, откуда я вам пишу, скажет вам о размерах моего несчастья. Меня посадили в тюрьму как вора... Я виновен в глазах всех окружающих меня людей, и тем не менее я отваживаюсь вам писать!

Мне было бы невыносимо тяжело думать, что вы тоже станете считать меня человеком опустившимся и преступным. Умоляю вас, не осуждайте меня, пока не прочтете это письмо... Если и вы меня оттолкнете... этот последний удар окончательно сразит меня.

Вот что со мною произошло.

С некоторых пор, как вы знаете, я уже не жил на улице Тампль; но от бедняжки Луизы я знал, что семейство Морелей, чьей судьбе мы оба – и вы и я – так сочувствовали, нуждалось все больше и больше. Увы! Моя жалость к этим обездоленным и погубила меня! Я ни в чем не раскаиваюсь, но мой жребий так жесток!..

Вчера вечером я допоздна засиделся в нотариальной конторе г-на Феррана: я был занят срочной работой. В той комнате, где я трудился, стоит письменный стол, мой хозяин запирает туда каждый вечер счета, которые я привожу в порядок. Вчера он был как будто чем-то встревожен и возбужден; он сказал мне: «Не уходите до тех пор, пока не закончите работу над всеми этими счетами, а потом положите их в письменный стол, ключ я вам оставлю». С этими словами он вышел и отправился к себе.

Сделав все, что было нужно, я отпер ящик стола, чтобы сложить туда бумаги; машинально глаза мои остановились на распечатанном письме, лежавшем там, и я увидел в нем имя гранильщика алмазов Мореля.

Признаюсь, поняв, что речь идет об этом бедолаге, я допустил нескромность и прочел письмо; из него я узнал, что на следующий день этого труженика арестуют по требованию г-на Феррана, который предъявил ко взысканию вексель Мореля на сумму в тысячу триста франков; прикрываясь чужим именем, нотариус решил упрятать несчастного в тюрьму.

Письмо было от ходатая по делам моего патрона. Я слишком хорошо знаю, как обстоят дела в семье Мореля, и мне было понятно, каким страшным ударом будет арест главы семейства для его близких: ведь он их единственный кормилец!.. Я был и огорчен и возмущен. На свою беду, я увидел в том же ящике стола раскрытую шкатулку, в ней лежали две тысячи франков золотом... В эту самую минуту я услышал, что по лестнице поднимается Луиза; не задумываясь над серьезными последствиями моего поступка, я решил воспользоваться благоприятным случаем и взял из шкатулки тысячу триста франков... Остановив Луизу, я сунул ей в руку эти деньги и сказал: «Завтра рано утром вашего отца должны арестовать за неуплату в срок тысячи трехсот франков, возьмите их и спасите отца, но никому не говорите, что деньги вы получили от меня... Ведь господин Ферран дурной и злобный человек!..»

Вы сами видите, мадемуазель, что побуждения у меня были самые добрые, однако поступок мой был преступным: я ничего от вас не скрываю... А теперь вот что я могу сказать в свое оправдание.

Уже давно – благодаря бережливости – я скопил и поместил у одного банкира скромную сумму в полторы тысячи франков. Недели тому назад он сообщил мне, что срок хранения этих денег подошел к концу и что, если я не хочу дольше держать свои сбережения у него, я могу получить их в любое время.

Стало быть, я располагал большей суммой, чем та, которую я взял из шкатулки нотариуса.

Я хотел на следующее утро получить в банке свои полторы тысячи франков; однако кассир приходит в банк только в полдень, а Мореля собирались взять под стражу на рассвете. Вот почему мне надо было дать ему возможность уплатить по векселю с самого утра; правда, я мог бы вызвать его из тюрьмы днем, но все равно его бы до этого арестовали и увели из дому на глазах у жены, а для нее такой удар мог бы оказаться губительным. Больше того, гранильщику пришлось бы заплатить немалую сумму – за судебные издержки, связанные с его арестом и освобождением. Вы, конечно, понимаете, что всех этих бед не произошло бы, если бы я взял из шкатулки тысячу триста франков, а я ведь надеялся, что смогу положить их назад утром – еще до того, как г-н Ферран появится в своей конторе и что-либо обнаружит. К несчастью, я ошибся.

Я вышел из конторы нотариуса, уже немного остыв от гнева, который вместе с чувством жалости побудил меня действовать. Теперь я понимал всю опасность своего положения, тревога терзала меня: я ведь хорошо знал суровый нрав нотариуса, а он ведь мог после моего ухода возвратиться в контору, отпереть ящик стола и обнаружить пропажу; а в его глазах, да и в глазах всех людей, то была кража.

Эти мысли мучили меня, и, хотя был уже поздний вечер, я поспешил к банкиру, надеясь упросить его тотчас же выдать мне мои деньги: я бы нашел убедительные доводы для столь необычной просьбы; затем я вернулся бы в контору г-на Феррана и положил бы в шкатулку взятую мной сумму.

Однако по злосчастному стечению обстоятельств банкир еще два дня тому назад уехал в Бельвиль, где у него был загородный дом: он разбивал там сад. Со все возрастающей тревогой я дождался рассвета и помчался в Бельвиль. Но все складывалось неудачно, все было против меня: банкир только что уже уехал в Париж; я поспешил к нему – и вот наконец деньги у меня в руках! Я кинулся в контору г-на Феррана, но все уже обнаружилось.

Но все это – только часть моих невзгод. Дело в том, что теперь нотариус обвиняет меня в том, будто я украл у него еще и полторы тысячи франков кредитными билетами, они, по его словам, лежали в том же ящике письменного стола, где и две тысячи франков золотом. Это гнусное обвинение, это низкая ложь! Я признаю себя виновным в первом хищении; но клянусь вам всем самым святым на свете, что ни в какой другой краже я неповинен. Никаких кредитных билетов я и в глаза не видал; в ящике лежали только две тысячи франков золотом, из них-то я и взял тысячу триста франков, которые утром принес обратно в контору.

Такова истина, мадемуазель; надо мной тяготеет тяжкое обвинение, и все же я уверен, что вы меня достаточно хорошо знаете и поймете, что я не способен лгать... Однако верите ли вы мне? Увы! Как сказал г-н Ферран, тот, кто украл небольшую сумму, способен украсть и сумму более значительную, и такой человек не заслуживает доверия.

Мадемуазель, я всегда видел, как вы добры и как глубоко вы сочувствуете несчастным; я знаю, как вы честны и прямодушны, и я надеюсь, что ваше сердце, что ваша душа помогут вам постичь правду. Ни о чем больше я не прошу... Только отнеситесь с доверием к моим словам, и вы поймете, что я равно заслуживаю и порицания и жалости, ибо, повторяю, намерения у меня были самые благие, но меня погубило ужасное стечение обстоятельств, предвидеть которое было невозможно.

Ах, мадемуазель! До чего я несчастен! Если б вы только знали, среди каких людей я вынужден находиться до того дня, когда меня будут судить!

Вчера меня привезли в так называемый дом предварительного заключения при префектуре полиции. Я не в силах передать вам, что я почувствовал, когда, поднявшись по лестнице, очутился перед какой-то дверью с железным оконцем; меня втокнули в камеру и дверь тотчас же снова заперли на ключ.

Я был до того взволнован, что сначала ничего не мог разглядеть. Теплый тошнотворный воздух пахнул мне в лицо; – потом до моего слуха донесся гул голосов, он перемежался взрывами зловещего хохота, яростной бранью и грубыми песенками; я неподвижно стоял у двери, уставившись в каменные плитки пола, не решаясь ни поднять глаза, ни шагнуть вперед: мне казалось, что все внимательно изучают меня.

На самом же деле никто на меня и внимания не обращал: одним узником больше или

Эжен Сю

меньше – этих людей мало заботит. Наконец я отважился поднять голову. Господи боже! Какие отвратительные физиономии! Все заключенные были в рваной одежде, в каких-то грязных лохмотьях. Все они казались воплощением нищеты и порока. Их там было человек сорок или пятьдесят, одни сидели, другие стояли, а иные лежали на грубых скамьях, вделанных в стены; здесь находились бродяги, воры, убийцы – словом, все те, кто был взят под стражу накануне днем или ночью.

Когда они все же заметили меня, я испытал горькое утешение, поняв, что они не считают меня одним из «своих». Кое-кто молча уставился на меня с нахальной усмешкой; потом они зашептались на каком-то непонятном мне языке. А немного погодя самые развязные подошли ближе, принялись хлопать меня по плечу и требовать денег, чтобы отметить, как они говорили, мое прибытие.

Я протянул им несколько монет, надеясь купить себе этим спокойствие; но этих денег им показалось мало, и они потребовали еще; я ответил отказом. Тогда несколько человек окружили меня, осыпая бранью и угрозами; они уже собирались наброситься на меня, но, по счастью, в камеру вошел привлеченный шумом надзиратель. Я пожаловался ему; он потребовал, чтобы мне возвратили деньги, которые я перед тем был вынужден отдать, и сказал, что если я хочу, то за небольшую плату меня переведут в одиночную камеру в другом отделении тюрьмы. Разумеется, я с благодарностью согласился и расстался наконец со всеми этими злодеями; на прощание они пригрозили мне, что впоследствии со мной рассчитаются: мы непременно, говорили они, еще свидимся, и уж тогда меня уложат на месте.

Надзиратель отвел меня в одиночную камеру, где я провел оставшуюся часть ночи.

Оттуда я и пишу вам, мадемуазель. Тотчас же после допроса меня перевезут в другую тюрьму, она называется Форс, и боюсь, что я опять встречу там с некоторыми из тех людей, что находились со мной в доме предварительного заключения.

Надзиратель, тронутый моим горем и моими слезами, обещал переслать вам это письмо, хотя такого рода поблажки строго-настрога запрещены.

Я жду от вас, мадемуазель, последней услуги во имя нашей старой дружбы, если только вы теперь не стыдитесь наших бывших дружеских отношений.

Надеюсь, что вы соблаговолите выполнить мою просьбу, и потому подробно изложу ее.

Вместе с этим письмом вам передадут маленький ключ и короткую записку для привратника того дома, где я жил, – это дом номер одиннадцать на бульваре Сен-Дени. В ней я сообщаю ему, что вы можете распоряжаться всем, что мне принадлежит, и прошу его выполнять все ваши просьбы и распоряжения. Он проводит вас в мою комнату. Будьте так добры и отоприте мой секретер ключиком, который я вам посылаю; вы увидите там большой конверт, в нем лежат разные бумаги и письма, я прошу сохранить их для меня; одно из этих писем адресовано вам, вы увидите это по надписи на конверте. Другие бумаги также имеют к вам отношение, они написаны в более счастливую пору моей жизни. Не сердитесь, я не думал, что вам придется с ними познакомиться. Прошу вас также взять ту небольшую сумму денег, что лежит в секретере, равно как и атласный мешочек, в котором хранится косынка из оранжевого шелка – она была на вас в одну из последних наших воскресных прогулок, и вы подарили мне ее на память в тот день, когда я уехал из дома на улице Тампль.

Я хотел бы также, чтобы – за исключением нескольких пар белья, которые вы, надеюсь, перешлете мне в тюрьму Форс, – вы поручили продать мебель, а также принадлежащие мне носильные вещи: оправдают ли меня или осудят, я так или иначе буду опозорен и мне придется покинуть Париж. Куда я направлюсь? Какими средствами буду располагать? Один бог знает.

Госпожа Бувар, которая уже продавала некоторые мои вещи, а кое-что из них и сама покупала, быть может, всем этим займется; она женщина честная, и, если она согласится, это избавит вас от множества лишних хлопот, а я-то уж знаю, как для вас дорого время.

Я уплатил за комнату вперед и потому прошу вас вручить только небольшую сумму привратнику.

Простите, мадемуазель, что я обременяю вас всеми этими поручениями, но вы единственный человек на свете, к которому я могу и решаюсь обратиться.

Я бы мог попросить об этой услуге одного из клерков г-на Феррана, с которыми я достаточно хорошо знаком; но я боюсь их нескромности: как я уже сказал, некоторые из моих бумаг и писем касаются вас; другие имеют отношение к печальным событиям моей собственной жизни.

Ах! Поверьте, мадемуазель, если вы исполните мои просьбы и тем самым подтвердите свою былую дружескую привязанность ко мне, это послужит единственным утешением в том огромном несчастье, которое так угнетает меня; несмотря ни на что, я уповаю: вы не ответите мне отказом.

Я прошу у вас также позволения хотя бы изредка писать вам... Для меня так важно, так дорого иметь право излить душу и поверять свое тяжкое горе вам, чье сердце было благосклонно ко мне!

Увы! Ведь я так одинок, я один в целом свете, и никому нет дела до меня. Одиночество уже давно тяготило меня, ну а теперь – вы и сами понимаете!..

И все-таки я человек честный... Совесть моя чиста, я никогда никому не причинял вреда, я всегда – даже с риском для жизни – выказывал отвращение ко всему дурному... Вы сами в этом убедитесь, прочтя бумаги, которые я прошу вас сохранить для меня... Но кто поверит моим словам? Г-на Феррана все уважают, он уже давно пользуется репутацией человека редкой порядочности, у него есть все основания обвинять меня... И он меня уничтожит... Я заранее покоряюсь своей участи.

И еще одно, мадемуазель: если вы мне верите, то, надеюсь, не будете испытывать ко мне презрение, вы станете жалеть меня и хотя бы изредка вспоминать о своем друге, искреннем друге. И тогда, если вам станет жаль меня, очень жаль... быть может, вы окажетесь столь великодушны и когда-нибудь придете повидать меня... в воскресенье (господи, сколько сладостных воспоминаний будит во мне это слово!). Да, быть может, вы придете как-нибудь в воскресенье в тюрьму и решитесь войти в залу для свиданий... Но нет, свидеться с вами в таком месте... нет, я на это никогда не отважусь... Впрочем, вы ведь так добры... что...

Я вынужден прервать свое письмо и отослать его вам вместе с ключом и запиской для привратника, я ее сейчас спешно набросаю. Надзиратель сказал, что меня скоро поведут на допрос к следователю... Прощайте, прощайте, мадемуазель... не отталкивайте меня. Ведь я надеюсь только на вас, на вас одну!

Франсуа Жермен.

P. S. Если вы надумаете мне ответить, адресуйте ваше письмо в тюрьму Форс».

Теперь читателю понятна причина первого горя Хохотушки. Хорошая девушка была до глубины души потрясена невзгодами Жермена, о которых она до сих пор даже не подозревала. Она сразу же поверила в правдивость рассказа злосчастного сына Грамотея.

Чуждая мелочных правил морали, она даже находила, что ее бывший сосед сильно преувеличивает свою вину. Для того чтобы спасти несчастного отца семейства, он взял без разрешения деньги, которые мог и хотел возратить. В глазах гризетки этот поступок Жермена свидетельствовал о его великодушии.

В силу одного из тех противоречивых движений души, что так свойственны женщинам, особенно женщинам ее класса, эта юная девушка, которая прежде испытывала к Жермену, как и к другим своим соседям-мужчинам, всего лишь сердечное и дружеское расположение, вдруг почувствовала к нему нежность.

Как только она узнала, что он несчастен, несправедливо обвинен и брошен в тюрьму, мысль о нем вытеснила из ее памяти даже воспоминание о его прежних соперниках.

Нет, Хохотушка еще не испытывала любви к Жермену, речь шла скорее об искренней ду-

шевной привязанности, полной сострадания и преданности: то было совсем новое, не знакомое ей чувство, и оно еще больше усиливалось из-за неотделимой от него горечи.

Таково было душевное состояние Хохотушки, когда Родольф осторожно постучал в дверь и затем вошел к ней в комнату.

Глава XIV ДРУЖБА

– Добрый день, соседка, – сказал Родольф, – надеюсь, я вам не помешал?

– Нет, что вы, сосед. Напротив, я рада вас видеть, ведь у меня большое горе.

– В самом деле, я вижу, что вы бледны и, кажется, даже плакали.

– Мало сказать, плакала!.. И есть из-за чего! Бедный Жермен! Вот, лучше прочтите сами. –

И Хохотушка протянула Родольфу письмо злополучного узника. – У меня просто сердце разрывается! Вы мне как-то говорили, что Жермен вам не безразличен... Так вот, теперь самое время доказать это, – прибавила девушка, пока Родольф внимательно читал письмо. – Знаете, этот мерзкий господин Ферран исходит злобой и с ожесточением набрасывается на всех, кто его окружает. Сперва он накинулся на Луизу, а теперь изливает свою злость на Жермена. О, я от природы вовсе не злая, но если бы с ним, с этим нотариусом, стряслась беда, я, признаюсь, очень обрадовалась бы. Обвинить такого честного и порядочного юношу в том, будто он украл полторы тысячи франков! Жермен украл?! Да ведь он же – сама честность!.. А потом, он такой аккуратный, такой добрый, он даже мухи ни обидит и всегда такой грустный... Господи, мне так его жаль: ведь он сейчас в тюрьме, среди злодеев! Ах, господин Родольф! С сегодняшнего дня я знаю, что на жизнь не всегда можно смотреть сквозь розовые очки!

– А что вы намерены делать, соседка?

– Что я намерена делать?.. Хочу выполнить все, о чем меня просит Жермен, и как можно скорее... Я бы уже давно ушла из дома, если бы не срочный заказ, я должна его закончить и тотчас же отвезти на улицу Сент-Оноре, а оттуда я пойду туда, где жил Жермен, отопру его комнату и разыщу бумаги, о которых он пишет. Я даже проработала часть ночи, чтобы выиграть таким способом несколько часов. И ведь мне надо еще столько успеть, кроме этого заказа, надо еще многое привести в порядок, со многим управиться. Прежде всего, госпожа Морель просит, чтобы я навестила в тюрьме Луизу. Должно быть, этого не так просто добиться, но я уж как-нибудь расстараясь... На беду, я даже не знаю, к кому обращаться...

– Я уже об этом подумал...

– Вы, сосед?

– Вот разрешение, держите.

– Какое счастье! А вы не можете исхлопотать мне такое же разрешение на свидание с бедным Жерменом?.. То-то бы он обрадовался!

– Вы получите возможность повидаться и с ним.

– О, большое спасибо, господин Родольф!

– И вам не страшно будет пойти в тюрьму?

– Ну, конечно, в первый раз сердце у меня будет бешено колотиться... Но какое это имеет значение. Ведь когда у Жермена все было хорошо, разве не старался он всегда предупреждать и выполнять все мои желания, разве не водил он меня и в театр и на прогулки, разве не читал мне по вечерам книжки, разве не сколачивал ящики для цветов, не натирал воском пол в моей комнате? Ну а теперь, когда он попал в беду, настала моя очередь. Правда, я человек маленький, я мало что могу сделать, но зато все, что смогу, непременно сделаю, он уж может на меня положиться; теперь-то он убедится, настоящий я друг или нет. Послушайте, господин Родольф, одно только меня огорчает – его недоверчивость. Подумать только; он решил, что я способна презирать его! Это я – то? Я вас спрашиваю: а почему, за что? Старый скряга, нотариус, обвинил его в краже, но мне-то какое дело!.. Ведь я хорошо знаю, что это ложь! Письмо Жермена мне все объяснило, он ни в чем не виноват. Это ясно как день, я ни за что не поверю, что он хоть капельку виновен! Да стоит только на него поглядеть, получше его узнать – и ты сразу же поймешь, что

он ничего дурного не сделает. Только такой злобный человек, как господин Ферран, может облыжно обвинять Жермена!

– Bravo, соседка! Мне по душе ваш гнев!

– Знаете, мне бы так хотелось быть мужчиной, я пошла бы тогда к этому мерзкому нотариусу и сказала ему: «Ах, так! Вы утверждаете, будто Жермен вас обокрал? Тогда получайте то, что вам причитается, старый лгун! Уж этого у вас никто вовек не отберет! И – трах! Трах! Трах!» Я хорошенько поколотила бы его.

– Вижу, вы скоры на суд и на расправу, – проговорил Родольф с улыбкой, видя благородное волнение Хохотушки.

– Но ведь все это возмущает меня до глубины души. И, как говорит в своем письме Жермен, все будут на стороне его патрона, все будут против бедного юноши, потому что нотариус богат, его все уважают, а Жермен – всего лишь бедный малый, нет у него ни покровителей, ни заступников, вот разве только вы придете к нему на помощь, господин Родольф, вы ведь знакомы с важными господами, а они помогают несчастным. Нельзя ли что-нибудь сделать для Жермена?

– Надо, чтобы он дождался суда. А после того, как его, надеюсь, полностью оправдают, уверяю вас, он убедится, что многим его судьба вовсе не безразлична. Только вот что, соседка, я уже по опыту знаю: на вашу скромность можно положиться...

– О да, господин Родольф, я никогда не была болтлива.

– Вот и прекрасно! Нужно, чтобы никто не знал – и сам Жермен тоже, – что у него есть надежные друзья... и они его в беде не оставят...

– Правда? Но если б он знал, сколько бы мужества ему это прибавило!

– Без сомнения. Но он, чего доброго, не сможет об этом умолчать. А тогда господин Ферран, перепугавшись, будет начеку, его подозрительность возрастет, а так как он человек весьма изворотливый, его трудно будет уличить, а уж это было бы куда как досадно! Ведь нужно не только доказать невиновность Жермена, но и сорвать личину с оклеветавшего его человека.

– Я все понимаю, господин Родольф.

– Такое же положение и у Луизы; я и принес вам разрешение повидаться с нею для того, чтобы вы попросили ее никому не говорить о том, в чем она мне открылась; она знает, о чем речь.

– Можете не сомневаться, я все ей скажу, господин Родольф.

– Одним словом, Луиза не должна никому жаловаться в тюрьме на ненависть хозяина к ней, это очень важно. Но от адвоката, который придет к ней от моего имени, чтобы условиться о том, как он будет ее защищать, ей ничего скрывать не следует. Смотрите же, в точности передайте ей мои советы.

– Будьте спокойны, сосед, я ничего не забуду, память у меня, как говорится, добрая. Но что это я толкую о доброте! Это вы – сама доброта и само великодушие! Как только кто-нибудь окажется в беде, вы уже тут как тут.

– Я уже сказал вам, соседка, что сам я всего-навсего скромный коммивояжер; но когда я где-нибудь встречаю честных и порядочных людей, которые заслуживают покровительства, я рассказываю о них важной и милосердной особе: человек этот полностью мне доверяет, и он приходит к ним на помощь. Вот и весь секрет.

– А где вы теперь сами живете, после того как уступили свою комнату семейству Морелей?

– Я поселился... в меблированных комнатах.

– О, мне бы это было не по душе! Жить там, где до тебя уже кто-то жил, – это все равно, как если бы кто-нибудь посторонний все время жил вместе с тобою.

– Ну, я ведь там только ночую, так что...

– Согласна, это уже не так противно. И все-таки, господин Родольф, это не для меня. Моя комнатка доставляет мне столько радости! Я жила в ней тихо и скромно, но зато спокойно и никогда не думала, что на меня может свалиться такое горе. И вот, пожалуйста... Нет, я даже передать вам не могу, какой удар нанесла мне беда, случившаяся с Жерменом. Правда, я и раньше видела, в какой нужде живут Морели, да и другие тоже, достойные жалости; но в конце концов

нищета – это нищета, она всем беднякам грозит, ее ждут, и потому она никого не застанет врасплох, и каждый помогает соседу, как может. Нынче в нужде – один, завтра – другой. По-моему, если сохранять бодрость духа и веселый нрав, всегда выйдешь из трудного положения. Но когда видишь, как бедного малого, доброго и порядочного человека, вашего давнего друга, сажают в тюрьму вместе со злодеями, обвинив его в краже!.. Ах, конечно же, господин Родольф, по правде говоря, тогда у тебя руки опускаются, мне и в голову не приходило, что такое горе возможно, и оно переворачивает всю душу.

При этих словах большие глаза Хохотушки наполнились слезами.

– Мужайтесь! Мужайтесь, соседка! Когда вашего друга оправдают, обычная веселость к вам вернется.

– Ох! Разумеется, его должны оправдать. Достаточно будет судьям прочесть письмо, которое он мне прислал, и они сразу все поймут, не правда ли, господин Родольф?

– Письмо Жермена и впрямь такое безыскусственное и трогательное, что в его правдивость сразу веришь; кстати, позвольте мне снять с него копию, она понадобится для успешной защиты Жермена.

– Конечно же, господин Родольф. Если бы я не писала как курица лапой, несмотря на все уроки, что мне давал славный Жермен, я бы сама переписала письмо для вас, но почерк у меня такой скверный, такой неразборчивый, а потом я столько ошибок делаю!..

– Я попрошу вас только доверить мне это письмо до завтрашнего дня.

– Вот оно, любезный сосед, но вы будете очень осторожны, не правда ли? Я сожгла все любовные записочки, которые мне присылали господин Кабрион и господин Жиродо в первую пору нашего знакомства: они украшали свои письма пылающими сердцами и голубками, надеялись, что я клюну на их льстивые речи; но это бедное письмецо Жермена я непременно сохраню, и другие его письма тоже, если он будет мне писать. Ведь правда, господин Родольф, то, что он обращается ко мне с просьбой о небольших услугах, говорит в мою пользу?

– Разумеется, это доказывает, что вы – самая замечательная подруга, о какой можно только мечтать. Но вот я о чем подумал: зачем вам ехать одной на квартиру господина Жермена? Хотите, я составлю вам компанию?

– С огромным удовольствием, сосед. Ведь оглянуться не успеешь – и наступит ночь, а вечером я очень не люблю быть одна на улице; уж не говорю о том, что мне нужно еще отвезти платье в мастерскую возле Пале-Рояля. Боюсь только, забираться так далеко будет для вас утомительно, да вы, чего доброго, и соскучитесь.

– Вовсе нет... Мы найдем фиакр.

– Правда?! О, как было бы приятно прокатиться в карете, не будь у меня так горько на душе! А горе меня, должно быть, сильно гложет: ведь в первый раз с тех пор, как я тут живу, я за весь день ни разу не запела. И пташки мои ничего понять не могут. Бедняжки! Они-то ведь не знают, в чем дело; два или три раза папаша Пету уже начинал свою песню, чтобы побудить и меня запеть; я хотела было тоже запеть ему в ответ. Но куда там! Через минуту я уже расплакалась. Тогда и Рамонетта подала голосок, но я не в силах была ответить и ей.

– Какие странные имена вы придумали для ваших птиц: папа Пету и Рамонетта...

– Что верно, то верно, господин Родольф. Но ведь мои пташки скрашивают мое одиночество, они – мои лучшие друзья; а дала я им имена тех славных людей, которые скрашивали мне детство; они тоже были мне самыми лучшими друзьями; я уж не говорю о сходстве между ними и канарейками: ведь папа Пету и мама Рамонетта были всегда веселы и пели как божьи пташки.

– Ах да, теперь я припоминаю, ведь именно так звали ваших приемных родителей.

– Да, любезный сосед; я и сама понимаю, что называть так птиц смешно, но ведь это мое дело. Кстати, как раз поэтому я убедилась, что у Жермена очень доброе сердце.

– Каким образом?

– Видите ли, господин Жиродо и господин Кабрион... особенно, Кабрион... постоянно подшучивали и насмехались над именами моих пташек; подумать только, говорили они: назвать кенара «папа Пету»! Господин Кабрион просто не слезал с этой темы, все время зубоскалил, без конца. Ну, будь это петух, толковал он, тогда, пожалуйста, в добрый час, можно было назвать

его «Пету». И не смешно ли называть канарейку Рамонеттой: ведь это напоминает гордое испанское имя «Рамона»! В конце концов он до того меня разозлил, что я два воскресенья подряд отказывалась ходить с ним на прогулку, потому что решила его проучить; я ему твердо сказала, что, если он снова примется за свои шуточки, которые меня так огорчают, я никогда никуда с ним ходить не буду.

– Какое мужественное решение!

– Да, оно мне не легко далось. Знаете, господин Родольф, я всегда ждала воскресных дней, как всякая верующая ждет Спасителя. Ведь так тоскливо сидеть одной у себя в комнате, когда стоит хорошая погода! Но все равно: я решила, что лучше пожертвовать воскресной прогулкой, чем опять выслушивать насмешки господина Кабриона над тем, что я глубоко почитаю. Спору нет, если бы не та причина, о какой я вам рассказала, я бы и сама предпочла назвать милых моих птичек по-иному... Знаете, мне так нравится одно имя – Колибри... Так вот, я отказалась от этого красивого имени, потому что никогда не стану звать моих птичек иначе, я буду звать их только папа Пету и Рамонетта! Иначе мне будет казаться, что я забываю моих славных и добрых родителей, что я от них отступаю, не правда ли, господин Родольф?

– Вы правы, вы совершенно правы. Ну а Жермен, он не потешался над этими именами?

– Напротив. Они только в первый раз показались ему странными, как и всем остальным; и это понятно. Но когда я привела ему свои резоны – кстати сказать, я приводила их и господину Кабриону, – у Жермена слезы выступили на глазах. И в тот самый день я сказала себе: «У господина Жермена очень доброе сердце. У него только один недостаток – он всегда такой грустный». И знаете, господин Родольф, на беду, я его этим укоряла. Но тогда-то я не понимала, как это можно все время грустить, зато теперь я это слишком хорошо понимаю... Ну вот моя работа и закончена, сверток завязан, можно его нести. Не подадите ли вы мне мою шаль, сосед? Ведь на дворе еще не так холодно, чтобы надевать пальто.

– Мы поедем в экипаже; я доведу вас до места, а потом привезу обратно домой.

– Ах да, правда, так мы быстрее доедем и быстрее вернемся, много времени сэкономим.

– Но вот я о чем подумал: если вы станете в тюрьму ходить, это будет в ущерб вашей работе.

– А вот и нет, вовсе нет! Я уже все прикинула. Во-первых, есть же воскресенья, и я буду навещать Луизу и Жермена в воскресные дни, это заменит мне прогулки и развлечения; а потом на неделе я еще разок или два буду приходить к ним в тюрьму, на это у меня будет уходить по три часа, не так ли? Ну вот, чтобы управиться, я каждый день стану работать на час больше, буду ложиться не в одиннадцать вечера, а в полночь и сэкономлю тем самым часов семь, а то и восемь в неделю, их-то я употреблю на то, чтобы навещать Луизу и Жермена. Как видите, я гораздо богаче, чем кажется, – прибавила Хохотушка с улыбкой.

– А вы не боитесь, что будете слишком уставать?

– Подумаешь, привыкну! Ко всему привыкают. А потом, ведь это не навек же.

– Вот ваша шаль, милая соседка. Сегодня я буду вести себя скромнее, чем вчера, и не стану прикладываться губами к вашей очаровательной шейке.

– Ах, сосед, одно дело вчера, отчего было не пошутить и не посмеяться! Но сегодня все совсем другое. Осторожно, не уколите меня.

– Смотрите-ка, булавка согнулась.

– Не беда! возьмите другую, там, в подушечке для булавок. Ах! Я совсем позабыла, не окажете ли вы мне еще одну услугу, соседка?

– Приказывайте, соседка.

– Пожалуйста, очините хорошенько мне перо, то, что побольше: воротившись домой, я напишу письмецо бедному Жермену, сообщу, что все его поручения выполнены. Он завтра рано утром получит от меня эту весточку, и настроение у него будет получше.

– А где у вас перья лежат?

– Вон там, на столе, а перочинный нож – в ящике. Погодите, я зажгу свечу, а то уже смеркается.

– Ну, для того, чтобы очинить перо, это не помеха.

– Все равно, мне надо получше завязать чепчик.

Хохотушка чиркнула серной спичкой и зажгла огарок, воткнутый в начищенный до блеска подсвечник.

– Черт побери, у вас, я вижу, стеариновая свеча, соседка! Какая роскошь.

– Я так редко зажигаю ее, что она обходится мне не дороже сальной свечи, а копоти куда меньше.

– Стало быть, не дороже?

– Да нет же, господи! Я ведь покупаю огарки на вес, и полфунта хватает мне чуть ли не на год.

– Однако что-то я не вижу у вас никаких приготовлений к обеду, – заметил Родольф, старательно чинивший перо, пока гризетка, стоя перед зеркалом, старательно завязывала свой чепчик.

– А мне нисколько есть не хочется. Утром я выпила чашку молока с хлебом, вечером выпью другую, с меня и довольно.

– А вы не хотите без всяких церемоний пообедать со мною, после того как мы побываем в доме Жермена?

– Большое спасибо, сосед, но у меня так тяжело на душе... В другой раз я с удовольствием пообедаю с вами. Знаете что: накануне того дня, как Жермену выйти из тюрьмы, я сама напрошусь на обед, а потом вы поведете меня в театр.

– Условились, соседка; поверьте, я не забуду о нашем уговоре. Но сегодня вы решительно отказываетесь?

– Да, господин Родольф, ведь я буду слишком унылой спутницей, не говоря уж о том, что обед отнял бы у нас слишком много времени. Подумайте сами... ведь именно сейчас мне никак нельзя попусту тратить время, у меня нет теперь и пятнадцати свободных минут.

– Ну что ж, в таком случае я отказываюсь от этого удовольствия... но только на сегодня.

– Возьмите мой сверток, сосед, и проходите вперед, я запру дверь.

– Вот вам отменное перо. А теперь давайте ваш сверток.

– Будьте осторожны, не помните его, ведь там тафта, а на ней остаются складки; держите сверток одной рукой и сильно не сжимайте. Вот так хорошо, идите же, я вам посвечу.

Родольф начал спускаться по лестнице, теперь уже Хохотушка шла впереди.

Проходя мимо швейцарской, они оба увидели г-на Пипле: он приближался к ним из глубины крытого прохода, руки у него бессильно висели вдоль тела; в одной руке привратник держал вывеску, извещавшую прохожих о его тесной дружбе с Кабрионом, а в другой нес портрет окаянного художника.

Отчаяние Альфреда было столь беспросветно, что он шел, уронив голову на грудь, так что видна была только широкая тулья его цилиндра.

При виде привратника, который, понурившись, шел прямо на Родольфа и Хохотушку, можно было сказать, что он похож на барана или на бравого бретонского чемпиона по борьбе, готовящегося к схватке.

И тут на пороге швейцарской показалась Анастаси; заметив мужа, она закричала:

– Ах ты, милый мой старичок, наконец-то ты дома! Что ж тебе сказал комиссар полиции? Альфред, Альфред! Будь повнимательнее, ты, того и гляди, врежешься в лучшего из моих жильцов и выколешь себе глаза! Извините, господин Родольф, этот негодяй Кабрион все сильнее и сильнее терзает моего Альфреда. Я уверена, кончится тем, что он сведет с ума бедного моего старичка!!! Альфред, да ответь же, наконец!

Услышав милый его сердцу голос, г-н Пипле вскинул голову: на его лице были написаны горечь и скорбь.

– Так что ж тебе сказал комиссар? – снова спросила Анастаси.

– Анастаси, нам придется собрать наши скромные пожитки, прижать к груди наших друзей, сложить чемоданы и покинуть Париж... Францию... мою прекрасную Францию! Потому что отныне, будучи уверен в своей безнаказанности, этот изверг станет преследовать меня везде и всюду... во всех департаментах королевства...

– Выходит, комиссар?!

– Комиссар! – завопил в яростном негодовании г-н Пипле. – Комиссар!.. Он рассмеялся мне прямо в лицо...

– Рассмеялся тебе прямо в лицо?.. Тебе, человеку, у которого такой внушительный вид, что, если не знать твоих достоинств и добродетелей, тебя можно принять за набитого дурака!!!

– Так вот: несмотря на то, что я самым почтительным образом изложил ему множество претензий и жалоб на этого окаянного Кабриона... этот муниципальный чиновник со смехом... да, со смехом... я даже осмеливаюсь сказать, с неприличным смехом поглядел на вывеску и на портрет, которые я принес как вещественные доказательства, и сказал мне в ответ: «Послушайте, милейший, ваш Кабрион престранный субъект, шутник дурного тона; не обращайтесь же внимания на его глупые шутки. Я от души советую вам посмеяться над всем, что произошло, потому как тут есть над чем посмеяться!» – «Посмеяться над тем, что произошло, суддаррь! – воскликнул я. – Вы мне советуете над всем этим посмеяться!.. Но ведь меня гложет горе... Этот проходимец отравляет мне жизнь... Он афиширует нашу мнимую дружбу, он меня с ума сведет... Я требую, чтобы его взяли под стражу, чтобы его выслали... хотя бы за пределы моего квартала...» – Тут комиссар улыбнулся и вежливенько указал мне на дверь... Я хорошо понял его жест, и вот я здесь.

– Никудышный, совсем никудышный чиновник!.. – взорвалась г-жа Пипле.

– Все кончено, Анастаси... все кончено... надеяться нам больше не на что! Во Франции нет больше правосудия... меня самым безжалостным образом принесли в жертву!..

Закончив свою речь, г-н Пипле с остервенением швырнул вывеску и портрет Кабриона в глубь крытого прохода...

Родольф и Хохотушка, пользуясь темнотой, чуть заметно улыбнулись, видя столь бурное отчаяние г-на Пипле.

Анастаси изо всех сил старалась успокоить своего супруга, а лучший из ее жильцов, выразив в нескольких словах свое сочувствие привратнику, покинул дом на улице Тамплъ вместе с Хохотушкой; на улице оба уселись в фиакр, чтобы отправиться в дом, где жил Франсуа Жермен.

Глава XV ЗАВЕЩАНИЕ

Франсуа Жермен жил на бульваре Сен-Дени, в доме номер одиннадцать. Мы напоминаем читателю, который, без сомнения, об этом забыл, что г-жа Матье, промышлявшая бриллиантами – мы говорили о ней в связи с гранильщиком алмазов Морелем, – проживала в том же доме, что и Жермен.

Во время долгой поездки с улицы Тамплъ на улицу Сент-Оноре, где жила владелица портняжной мастерской, куда девушка хотела сперва отвезти готовый заказ, Родольф имел возможность еще лучше оценить прелестную натуру юной гризетки. Как и все добрые от природы и преданные своим ближним люди, Хохотушка не отдавала себе отчета в том, как деликатно и великодушно ее поведение, – она считала его совершенно естественным.

Родольфу было бы легко и просто щедро обеспечить настоящее и будущее Хохотушки, что позволило бы ей по велению сердца навещать и утешать в тюрьме Луизу и Жермена и не думать о том, что ей предстоит тратить много времени, урывая его от своего упорного труда – единственного источника ее существования; однако принц опасался, что он этим уменьшит заслугу самоотверженной гризетки, сделав ее жертву слишком уж легкой; твердо решив вознаградить редкостные и чудесные достоинства, которые ему открылись в ней, Родольф не хотел раньше времени прекращать это новое и занимавшее его испытание.

Надо ли говорить, что, если бы здоровье юной девушки могло хоть в какой-то мере пошатнуться из-за чрезмерной работы, которую она мужественно взваливала на себя для того, чтобы еженедельно посвящать несколько часов дочери гранильщика и сыну Грамотея, Родольф немедленно пришел бы на помощь той, кому покровительствовал.

С глубоким и радостным волнением он изучал характер девушки, такой веселой от природы и еще не привыкшей к истинному горю: даже теперь мгновенные вспышки ее веселости по-

рой прорывались наружу.

Приблизительно через час, когда они уже побывали на улице Сент-Оноре, фиакр остановился на бульваре Сен-Дени возле довольно неказистого дома номер одиннадцать.

Родольф помог девушке выйти из экипажа; она заглянула к привратнику и передала записку Жермена, не забыв вручить этому стражу порядка предназначенное ему вознаграждение. Благодаря приветливости и любезному обхождению, сына Грамотея везде любили. Собрат г-на Пипле был сильно огорчен, узнав, что их дом лишается такого порядочного и вежливого жильца. Именно так он и выразился.

Вооружившись свечой, гризетка присоединилась к своему спутнику; привратник должен был подняться наверх несколько позже, чтобы выслушать последние распоряжения.

Комната Жермена находилась на пятом этаже. Подойдя к двери, Хохотушка сказала Родольфу, протягивая ему ключ:

– Возьмите, сосед... и отоприте, пожалуйста, дверь; у меня ужасно руки дрожат... Вы станете надо мной смеяться, но как подумаю о том, что бедный Жермен никогда сюда больше не вернется... мне чудится, что я вхожу в комнату покойника...

– Будьте благоразумны, соседка, выкиньте из головы такие мысли.

– Я, конечно, не права, но ничего с собой поделывать не могу!

Проговорив эти слова, девушка смахнула слезинку.

Родольф не был так взволнован, как его спутница, но тем не менее и он испытывал тягостное чувство, входя в это скромное жилище.

Зная, каким гнусным преследованиям подвергали и, быть может, продолжают подвергать Жермена сообщники Грамотея, Родольф догадывался, сколько печальных вечеров провел злополучный юноша в своем одиноком убежище.

Девушка поставила свечу на стол.

Комната молодого человека была обставлена очень просто; в ней стояли кушетка, комод, секретер орехового дерева, стол и четыре стула с соломенными сиденьями; на окнах висели белые холщовые занавески, такими же занавесками был задернут и альков; единственным украшением комнаты можно было назвать стоявший на камине графин и – рядом с ним – стакан.

По измятой постели можно было догадаться, что Жермен, в ночь накануне ареста, видимо, отдыхал на ней прямо в одежде, и всего несколько минут.

– Бедный малый! – грустно сказала девушка, с интересом разглядывая обстановку комнаты. – Сразу видно, что он больше не жил по соседству со мной... Тут все прибрано, но не чувствуется заботливой женской руки, везде полно пыли, занавеси продымлены, стекла в окнах тусклые, пол не навощен... Ах, как непохожа эта комната на ту, где он жил, на улице Тампль: та была, пожалуй, не лучше, но зато выглядела куда веселее, потому что там, как у меня самой, все блестело чистотою...

– Ну, это понятно: ведь вы были рядом и вовремя давали ему добрые советы.

– Да посмотрите же! – воскликнула девушка, показывая на смятую постель. – Он, должно быть, не ложился спать в ту последнюю ночь, так его терзала тревога. Гляньте-ка, а вот и забытый им носовой платок, он еще влажный от слез. Это сразу заметно...

Хохотушка взяла платок и прибавила:

– Жермен хранил косыночку из оранжевого шелка, которую я подарила ему на память, когда мы оба были счастливы; а я сохранила этот носовой платок в память о его невзгодах; уверена, что он на меня за это не рассердится.

– Напротив, он будет просто счастлив, ведь это же говорит о вашей привязанности к нему.

– Ну, а теперь пора подумать о вещах более серьезных: я быстро соберу узелок с бельем – оно, должно быть, лежит в комодe – и отнесу к нему в тюрьму; мамаша Бувар – я приведу ее сюда завтра – позаботится об остальном... Но прежде всего я хочу отпереть секретер, надо ведь взять бумаги и деньги, которые Жермен просит меня сохранить.

– Я тоже об этом подумал, – проговорил Родольф. – Кстати, Луиза Морель вернула мне тысячу триста франков золотом, которые ей вручил Жермен, чтобы покрыть долг ее отца; но я уже раньше уплатил по векселю, эти деньги у меня с собой, и они принадлежат Жермену, так как он

вернул эту сумму нотариусу; я хочу передать эти деньги вам, вы присоедините их к тем, которые он поручил вам хранить.

– Как вам будет угодно, господин Родольф; и все же я предпочла бы не иметь у себя дома такой крупной суммы: теперь столько воров развелось!.. Бумаги еще куда ни шло... за них бояться нечего, а вот деньги, держать их у себя просто опасно...

– Пожалуй, вы правы, соседка; хотите, я возьму на себя заботу обо всех этих деньгах? Если Жермену что-нибудь понадобится, вы мне только сообщите – я дам вам свой адрес, – и я немедленно пришлю вам такую сумму, какую он просит.

– Знаете, сосед, я не решалась попросить вас оказать мне именно эту услугу; так будет гораздо лучше, я отдам вам на хранение и те деньги, что выручу от продажи мебели а вещей. А теперь давайте поищем эти бумаги, – сказала молодая девушка, отпирая секретер и выдвигая несколько ящичков. – Ах, должно быть, вот они. Видите, большой конверт. Боже мой! Взгляните сами, господин Родольф, какая грустная на нем надпись.

И девушка прочла взволнованным голосом:

– «В том случае, если я умру насильственной смертью или по какой-нибудь иной причине, прошу того, кто отопрет секретер, отнести все эти бумаги в дом номер семнадцать по улице Тампль мадемуазель Хохотушке, модистке». Могу я распечатать конверт, господин Родольф?

– Разумеется, ведь Жермен написал вам, что среди бумаг, лежащих в конверте, есть и письмо, адресованное вам.

Девушка сломала сургучную печать; в большом конверте лежало несколько листков бумаги и писем, на одном из небольших конвертов была надпись: «Мадемуазель Хохотушке».

Вот что гризетка в нем прочла:

– «Мадемуазель, когда вы станете читать это письмо, меня уже не будет на свете... Если, как я того опасаясь, я умру насильственной смертью, попав в западню вроде той, какую я недавно избежал, некоторые сведения, собранные вместе в тетрадке, озаглавленной «Заметки о моей жизни», помогут напасть на след убийц».

– Ах, господин Родольф! – воскликнула девушка, переставая читать. – Теперь меня больше не удивляет, почему он всегда был такой грустный! Бедный Жермен! Его все время терзали такие ужасные мысли!

– Да, он, видимо, был всем этим сильно удручен; но, поверьте, самые мрачные для него дни уже миновали.

– Увы! Я так этого хочу, господин Родольф! Но ведь Жермен теперь в тюрьме..., и его обвиняют в воровстве.

– Будьте спокойны: как только его невиновность будет доказана, ему больше не придется жить в одиночестве, он найдет вокруг себя много друзей. Во-первых, это будете вы, а затем – его горячо любимая мать, с которой он был разлучен с самого детства.

– Его мать? А разве мать Жермена жива?

– Да... Она долго считала, что сын для нее навсегда потерян. Судите сами, как она будет рада, когда вновь свидится с ним, полностью оправданным от гнусного обвинения, которое выдвинули против него! Вот почему у меня есть все основания сказать вам, что самые мрачные, самые горькие дни для Жермена уже позади. Но ничего не говорите ему о матери. Я доверил вам эту тайну потому, что вы так великодушно интересуетесь судьбой Жермена, и надо, чтобы к вашей преданности не примешивалось, по крайней мере, слишком сильное беспокойство за его будущее.

– Я вам так благодарна, господин Родольф! Будьте уверены: я свято сохраню эту тайну.

И она снова начала читать вслух письмо Жермена:

– «Если вы захотите, мадемуазель, бросить хотя бы беглый взгляд на эти заметки, вы увидите, что всю свою жизнь я был очень несчастен... за исключением лишь того времени, когда я жил рядом с вами... То, о чем я никогда бы не решился сказать вам, вы прочтете в тетрадке, которую я назвал: «Единственные дни, когда я был счастлив».

Почти каждый вечер, расставаясь с вами, я доверял бумаге утешавшие меня мысли, которые внушала мне ваша приязнь, и только они одни скрашивали мою горестную жизнь. То, что у

вас было лишь дружеским расположением, у меня было любовью. Я скрывал от вас эту мою любовь до той самой минуты, когда я становлюсь для вас только печальным воспоминанием. Мой жребий был так ужасен, что я никогда бы не заговорил с вами о своем чувстве: хотя оно глубоко и искренне, оно могло бы навлечь на вас беду.

Теперь мне остается высказать свое последнее желание, и я уповаю на то, что вы его исполните.

Я наблюдал, с каким достойным восхищения мужеством вы трудитесь и как много требуется благоразумия и умеренности, чтобы жить на скудный заработок, который стоит вам таких усилий; часто, ничего вам не говоря, я трепетал при одной мысли, что какой-нибудь недуг, вызванный непосильной работой, может поставить вас в ужасное положение, о чем я без дрожи и помыслить не мог. Мне очень радостно думать, что я могу, по крайней мере, избавить вас от грозящих вам невзгод и, быть может, даже... от нищеты, о чем вы по молодости и беззаботному нраву, к счастью, не задумываетесь».

– Что он хочет всем этим сказать, господин Родольф? – с удивлением спросила Хохотушка.

– Читайте дальше... сейчас мы пойдем.

– «Я знаю, как скромно вы живете, и потому даже небольшая сумма послужит вам подспорьем в трудные времена; я человек совсем не богатый, но благодаря бережливости скопил на черный день полторы тысячи франков, поместив их у одного банкира: это все, чем я располагаю. В моем завещании, которое вы найдете в этом конверте, я осмеливаюсь отказать их вам; примите же этот дар от вашего друга, от вашего брата... которого больше нет в живых».

– Ах, господин Родольф! – воскликнула девушка, обливаясь слезами и протягивая принцу письмо Жермена. – Мне так больно от этих его слов. Добрый Жермен! Он еще заботится о моем будущем! Ах, господи! Какое же у него чуткое сердце, какая прекрасная душа!

– Да, он достойный и славный молодой человек! – подхватил с волнением Родольф. – Но успокойтесь, дитя мое: благодарение богу, Жермен не умер; а это заранее составленное им завещание зато помогло вам узнать, как сильно он вас любил и любит...

– Подумать только, господин Родольф, – продолжала Хохотушка, вытирая слезы, – а я – то об этом и не догадывалась! В начале нашего знакомства мои соседи – господин Жиродо и господин Кабрион – все время толковали о своей, как они выражались, пламенной страсти; но, поняв, что это ни к чему не ведет, они мало-помалу перестали говорить мне о своих чувствах; а вот Жермен, напротив, никогда не говорил о своей любви. Когда я предложила ему мою дружбу, он охотно согласился, и с той поры мы жили как настоящие друзья, как добрые товарищи. Но знаете... теперь-то я могу вам чистосердечно признаться, господин Родольф, я ничего не имела бы против, если бы Жермен, как и другие, сказал бы, что он меня любит.

– И, по правде сказать, вас... немного удивляло, что он этого не говорил?

– Да, господин Родольф, я думала, все дело в том, что он постоянно грустит...

– И немного сердились на то, что он всегда такой грустный?

– Да, то был его единственный недостаток, – простодушно призналась гризетка, – но теперь-то я его прощаю... Теперь я даже сержусь на себя за то, что упрекала его в этом.

– Ну понятно: ведь вы теперь знаете, что, к несчастью, у него было много причин для печали, а потом... вы ведь сейчас уже понимаете, что, несмотря на его постоянную грусть... он вас по-настоящему любил, не так ли? – спросил Родольф, улыбаясь.

– Это правда... когда тебя любит такой славный мальчик, ведь это очень лестно... не правда ли, господин Родольф?

– И в один прекрасный день вы, быть может, разделите его чувство.

– Конечно, все может случиться, господин Родольф! Мне так жаль бедного Жермена. Я мысленно ставлю себя на его место... Если в ту минуту, когда бы я чувствовала себя всеми забытой и брошенной, всеми презираемой, какой-нибудь настоящий друг выказал бы ко мне еще большую нежность, чем я ожидала, я была бы так счастлива! – Немного помолчав, девушка со вздохом прибавила: – Но, с другой стороны, мы ведь оба... люди бедные, и полюбить друг друга было бы, пожалуй, для нас неразумно. Знаете, господин Родольф, пока я не хочу об этом думать, возможно, я и обманываюсь в своем чувстве; но одно я скажу наверняка: до тех пор, пока Жер-

мен останется в тюрьме, я буду делать для него все, что смогу. Ну, а когда он выйдет на волю, у нас будет достаточно времени понять, что я к нему испытываю: любовь или только дружбу; и если это любовь, ничего не поделаешь, сосед... стало быть, между нами будет любовь... Но сейчас мысль об этом будет мне только мешать, я не буду знать, как себя вести... Однако уже темнеет, господин Родольф, соберите, пожалуйста, все бумаги, а я тем временем приготовлю для него немного белья. Ах, я и забыла про мешочек, где лежит оранжевая косыночка, которую я подарила Жермену. Он, должно быть, в ящике. Да, вот он! Поглядите, до чего красивый, с вышивкой! Бедный Жермен, он хранил мою косыночку, точно святыню какую! Я хорошо помню тот день, когда в последний раз ее надевала, а потом подарила ему... Он был до того рад, до того рад!..

В эту минуту в дверь постучали.

– Кто там? – спросил Родольф.

– Мне бы надо потолковать с *мадамой* Матье, – послышался в ответ высокий и хриплый голос, причем по произношению было понятно, что голос этот принадлежит простолюдину.

Как помнит читатель, г-жа Матье была посредницей ювелира.

Характерные интонации говорившего пробудили какие-то смутные воспоминания у Родольфа. Желая во всем этом разобраться, он взял со стола свечу и направился к двери. Отворив ее, он оказался нос к носу с одним из завсегдатаев кабака Людоедки, которого мгновенно узнал: неизгладимая, роковая печать порока лежала на безбородой, почти юношеской физиономии пришедшего. То был Крючок.

Да, то был Крючок – мнимый кучер фиакра, который вез Грамотея и Сычиху по изрытой ухабами дороге в Букеваль, Крючок, убивший мужа злополучной молочницы, которая натравила на Певунью работников фермы в Арнувиле.

То ли негодяй позабыл черты лица Родольфа, которого он только раз мельком видел в кабаке Людоедки, или то обстоятельство, что Родольф был теперь одет по-другому, помешало Крючку узнать победителя Поножовщика, но он не выразил ни малейшего удивления, увидев его.

– Что вам угодно? – спросил Родольф.

– Да, тут вот письмо для мадамы Матье... Я должен передать ей в собственные руки, – ответил Крючок.

– Она тут не живет, ее квартира напротив.

– Спасибо, сударь, мне сказали, что ее дверь налево, стало быть, я ошибся.

Родольф не помнил имени посредницы, хотя о ней дважды упоминал при нем гранильщик Морель. Поэтому у него не было никакого резона заинтересоваться женщиной, к которой Крючок явился с письмом. Тем не менее, хотя принц ничего не знал о преступлениях этого злодея, лицо проходимца выдавало столь порочный нрав, что Родольф остался на пороге, желая узнать, что это за особа, которой Крючок принес письмо.

Едва Крючок постучал в дверь, расположенную прямо напротив жилища Жермена, дверь эта приотворилась, и г-жа Матье, толстая бабища лет пятидесяти на вид, показалась в проеме со свечою в руках.

– Вы и есть мадама Матье? – спросил Крючок.

– Да, это я.

– Вам тут письмо, и нужен ответ...

С этими словами злодей шагнул было вперед, чтобы войти в квартиру; однако она жестом приказала ему остановиться, распечатала письмо, по-прежнему держа свечу в руке, прочла его и ответила с довольным видом:

– Передайте, что я согласна, милейший, приду и прихвачу с собой то, о чем просят. Буду в то же время, что и в прошлый раз. Передайте от меня привет... той даме...

– Ладно, сударыня... Не забудьте только, что мне полагаются чаевые...

– Ну, об этом попроси тех, кто тебя прислал, они побогаче меня.

И торговка захлопнула дверь.

Убедившись, что Крючок спускается по лестнице, Родольф вернулся в комнату Жермена.

Злоумышленник застал на бульваре человека с отвратительной и свирепой физиономией: тот ждал его у какой-то лавки.

Хотя прохожие могли слышать их разговор, правда, ничего в нем толком не поняв, Крючок был так доволен, что не удержался и сказал своему приятелю:

– Пойдем-ка тяпнем купоросу, Николая: хряпка влипла в глухую... она приشلендает к Сычихе, и тетка Марсиаль пособит нам выпотрошить из нее сиротские погремушки, а потом мы закинем жмурик в твою лайбу!¹

– Ну, в таком разе смываемся:² мне надо быть в Аньере пораньше; боюсь, что мой братец Марсиаль что-то пронюхал.

И оба злоумышленника, закончив свой разговор, непонятный тем, кто мог бы его слышать, пошли по направлению к улице Сен-Дени.

Несколько минут спустя Хохотушка и Родольф вышли из дома, где жил Жермен, снова сели в фиакр и возвратились на улицу Тампль.

Фиакр остановился.

В тот самый миг, когда дверцы экипажа отворились, Родольф при свете масляной лампы, горевшей у ликерщика, увидел своего верного Мэрфа: тот ждал его у крытого прохода.

Появление эсквайра неизменно означало, что произошло нечто неожиданное и важное, ибо только он один всегда знал, где можно найти принца.

– Что случилось? – нетерпеливо спросил Родольф, пока Хохотушка собирала свертки, лежавшие в фиакре.

– Ужасная беда, ваше высочество!

– Ради бога, говори скорее, в чем дело?

– Маркиз д'Арвиль...

– Мэрф, ты пугаешь меня!

– Нынче утром он завтракал с друзьями... Все шло прекрасно... Он был весел, как никогда, и вдруг роковая неосторожность...

– Да кончай же... кончай!

– Он вертел в руках пистолет, не зная, что тот заряжен...

– Маркиз тяжело ранен?

– Ваше высочество...

– Ну, что же?..

– Произошло нечто ужасное.

– Что именно?

– Маркиз мертв!..

– Кто? Д'Арвиль?! Это и впрямь ужасно! – воскликнул Родольф таким душераздирающим голосом, что Хохотушка, выходящая из фиакра со свертками в руках, вскрикнула:

– Господи боже! Что с вами, господин Родольф?

– Я только что сообщил своему другу весьма печальную новость, – сказал Мэрф молодой девушке, ибо принц был так подавлен, что не мог произнести ни слова.

– Стало быть, случилась большая беда? – с тревогой спросила девушка.

– Да, очень большая беда, – подтвердил эсквайр.

– Ах, это просто ужасно! – проговорил Родольф после короткого молчания. Потом, вспомнив о Хохотушке, он прибавил: – Простите меня, дитя мое... но я не могу проводить вас наверх... Завтра... я пришлю вам свой адрес и разрешение на встречу с Жерменом в тюрьме... А вскоре я и сам с вами увижусь.

– Ах, господин Родольф, поверьте, что я принимаю близко к сердцу горе, обрушившееся на вас... Спасибо, что вы меня проводили... До скорого свидания, не правда ли?

¹ Пойдем выпьем водочки, Николая; старуха угодила в смертельную западню... она придет к Сычихе, и тетка Марсиаль поможет нам отнять у нее драгоценные камни, а потом мы снесем труп в твою лодку.

² Бежим.

– Да, дитя мое, до скорого свидания.

– Спокойной ночи, господин Родольф, – с грустью прибавила Хохотушка, исчезая в крытом проходе вместе со свертками, приготовленными ею в комнате Жермена.

Принц и Мэрф сели в фиакр, и он отвез их на улицу Плюме.

Родольф поспешно написал Клеманс следующее письмо:

«Сударыня!

Я только что узнал о неожиданном ударе, обрушившемся на вас, этот при-
скорбный случай лишает меня одного из лучших друзей; я не в силах передать, до
какой степени столь горестное известие ошеломило меня,

И все же мне необходимо поговорить с вами о делах, не относящихся к этому
ужасному происшествию... Мне стало известно, что ваша мачеха несколько дней
пробыла в Париже, а сегодня вечером уезжает в Нормандию, прихватив с собой По-
лидори.

Вы, без сомнения, понимаете, какая опасность угрожает поэтому вашему отцу.
Позвольте же дать вам совет, который я полагаю благотворным. После страшного
несчастья, случившегося нынче утром, в обществе все прекрасно поймут, что вам
необходимо на некоторое время покинуть столицу... Так что послушайте меня и
уезжайте, немедленно уезжайте в Обье, нужно, чтобы вы попали туда если не раньше
вашей мачехи, то, по крайней мере, одновременно с ней. Будьте спокойны, сударыня:
издалека, как и вблизи, я неустанно забочусь о вас... и гнусные козни вашей мачехи
будут разрушены...

Прощайте, сударыня; я наспех пишу вам эти строки... Душа моя обливается
кровью, когда я вспоминаю о вчерашнем вечере: ведь я оставил маркиза... таким
спокойным, таким счастливым, каким я его уже давно не видал...

Примите, сударыня, уверения в моей самой глубокой и самой искренней пре-
данности...

Родольф».

Последовав совету принца, г-жа д'Арвиль через три часа после получения этого письма
была уже вместе с дочерью на дороге в Нормандию.

В том же направлении из особняка Родольфа выехала почтовая карета.

К несчастью, из-за волнений, вызванных столь роковыми обстоятельствами, и вследствие
своего поспешного отъезда

Клеманс забыла сообщить принцу о том, что встретила Лилию-Марию в тюрьме Сен-
Лазар.

Возможно, читатель помнит, что накануне Сычиха явилась к г-же Серафен и угрожала рас-
сказать о том, что Певунья жива, при этом она утверждала (и на сей раз она говорила правду),
что ей известно, где сейчас находится юная девушка.

Читатель, должно быть, помнит и то, что после этого разговора нотариус Жак Ферран,
страшась разоблачения своих преступных действий, понял: в его насущных интересах – добить-
ся исчезновения Певуньи, ибо, если станет известно, что она жива, это может навсегда его ском-
прометировать.

Вот почему он написал Брадаманти, одному из своих сообщников, что просит того прийти
к нему, дабы вместе с ним разработать коварный план, жертвой которого должна была стать Пе-
вунья.

Брадаманти, занятый не менее срочными делами мачехи г-жи д'Арвиль, у которой были
свои зловещие резоны для того, чтобы увезти этого шарлатана в имение г-на д'Орбиньи, – Бра-
даманти, без сомнения, считавший, что ему выгоднее оказать услугу своей старинной приятель-
нице, не откликнулся на приглашение нотариуса и, так и не повидав г-жу Серафен, отправился в
Нормандию.

Гроза собиралась над головою Жака Феррана: на следующий день Сычиха снова пришла и

снова повторила свои угрозы, а чтобы доказать, что она вовсе не шутит, старуха объявила нотариусу, что девочка, от которой в свое время избавилась г-жа Серафен, ныне находится в тюрьме Сен-Лазар под именем Певуньи и что, если он не уплатит в течение трех дней десяти тысяч франков, она, Сычиха, вручит юной девушке бумаги, из которых та узнает, что в детстве ее поручили заботам Жака Феррана.

По своему обыкновению, нотариус все нахально отрицал и выгнал Сычиху, обозвав ее наглой лгуньей; однако на самом деле он поверил ей и был напуган опасностью, которую таили ее угрозы.

Благодаря своим многочисленным связям нотариус получил возможность убедиться (в тот самый день, когда Певунья беседовала с г-жой д'Арвиль), что юная девушка действительно находится в тюрьме Сен-Лазар, что она ведет себя там примерно и потому ее со дня на день собираются выпустить на свободу.

Вооружившись этими сведениями, Жак Ферран разработал дьявольский план, но он понимал, что привести его в исполнение сможет только с помощью Брадаманти; вот почему г-жа Серафен так настойчиво, хотя и безуспешно пыталась заставить дома этого шарлатана.

Узнав в тот же вечер об отъезде Брадаманти, нотариус, которого сильный страх и чувство опасности побуждали действовать, не теряя времени, вспомнил о семействе Марсиалей, этих речных пиратов, живущих возле Аньера: к ним-то Брадаманти в свое время советовал нотариусу отправить Луизу, с тем чтобы безнаказанно от нее избавиться.

Сознавая, что ему непременно нужен сообщник для того, чтобы привести в исполнение свои зловещие планы в отношении Лилии-Марии, Жак Ферран принял самые хитроумные предосторожности, чтобы не скомпрометировать себя в том случае, если его новое преступление совершится, и на следующий же день после отъезда Брадаманти в Нормандию послал г-жу Серафен к Марсиалам.

Глава XVI ОСТРОВ ЧЕРПАЛЬЩИКА

Следующие сцены происходят вечером того же дня, когда г-жа Серафен, выполняя распоряжение нотариуса Жака Феррана, отправилась к Марсиалам, речным пиратам, жившим на косе небольшого острова на Сене, неподалеку от городка Аньер.

Глава семьи Марсиалей, как в свое время и его отец, кончил жизнь на эшафоте; после него осталась вдова с четырьмя сыновьями и двумя дочерьми.

Средний сын был вскоре приговорен к пожизненной каторге... Так что из всего многочисленного семейства на острове Черпальщика (позднее мы расскажем, почему в округе так именовали это логово) теперь жили: сама тетка Марсиаль; трое ее сыновей: старшему – любовнику Волчицы – было двадцать пять лет, второму брату – двадцать, а самому младшему двенадцать лет; две ее дочери – восемнадцати и девяти лет.

Такие семьи, где гнездится ужасная наследственная тяга к преступлению, встречаются, увы, слишком часто.

Иначе и быть не может.

Будем неустанно повторять: общество думает о каре и никогда не заботится о предотвращении зла.

Одного преступника приговаривают к пожизненным каторжным работам... Другому отрубят голову... У обоих осужденных остаются маленькие дети.

Будет ли общество проявлять заботу об этих сиротах? О сиротах, которых оно само же и породило, лишив их отца всех гражданских прав или обезглавив его?

Станет ли оно заботливым опекуном, предупреждающим беду, заменив того человека, которого закон объявил гнусным изгоем, или вместо того человека, которого казнили по воле закона?

Нет... Ядовитый гад уничтожен, стало быть, уничтожен и яд, который он источал, – полагает общество.

Оно ошибается.

Яд разложения столь неуловим, столь едок, столь заразен, что он почти всегда передается по наследству; однако, если вовремя начать с ним бороться, от него можно исцелить.

Какое странное противоречие!..

Вскрытие покойника показало, что человек умер от заразной болезни. Приняв предупредительные меры, можно уберечь его потомков от опасного недуга, жертвой которого он стал...

Нечто подобное происходит и в области морали...

Если будет доказано, что преступник передает почти всегда своему сыну зародыш ранней порочности, сделают ли для спасения души этого юного существа то, что врач делает для спасения его тела, когда обнаруживают наследственный физический порок?

Нет...

Вместо того чтобы лечить несчастного, ему предоставят разлагаться вплоть до самой смерти...

И подобно тому, как простой народ считает, что сын палача непременно станет палачом, будут считать, что сын преступника непременно станет преступником...

И порожденную эгоистическим безразличием общества испорченность будут считать следствием роковой и неумолимой наследственности.

Так что если вопреки зловещим обстоятельствам и ходячим представлениям ребенок, которого закон превратил в сироту, даже и вырастет по случайности трудолюбивым и честным человеком, то в силу поистине варварского предрассудка его все равно будут отмечать клеймом родительского позора. И, став мишенью незаслуженного осуждения, бедняга с великим трудом найдет себе работу...

Вместо того чтобы прийти к нему на помощь, вместо того чтобы спасти его от отчаяния, а главное, от опасного злопамятства окружающих, от горького сознания несправедливости, которое порою толкает людей самых добрых и великодушных к бунту, ко злу, общество заявит: «Ну и пусть склоняется ко злу... поживем – увидим... Разве нет в моем распоряжении каторжных работ, тюремных надзирателей и палачей?»

Таким образом, для того, кто (случай столь же редкий, сколь и достойный уважения) сохранил нравственную чистоту вопреки отвратительным примерам, нет никакой поддержки, нет никакой опоры!

Таким образом, для того, кто с самого рождения пребывает в обстановке царящего в семье порока, кто с раннего детства уже испорчен, никакой надежды на исцеление нет!

«Почему же нет? Я исцелю этого человека, которого само же и сделало сиротой, – отвечает общество, – но только исцелю его в свое время... исцелю его на собственный манер... и лишь позднее. Для того чтобы выжечь язву, чтобы иссечь нарыв, надо, чтобы они созрели».

Стало быть, нужно, чтобы преступник «дозрел»!..

«Тюрьма и каторга – вот мои лазареты... А в неизлечимых случаях у меня есть нож гильотины. Что до лечения «моего» сироты, то я об этом подумаю, – говорит общество, – но проявим терпение, дадим хорошенько созреть зародышу унаследованной тяги к преступлению, зародышу, который зреет в недрах его существа, дадим ему окрепнуть, дадим ему пустить корни и произвести глубокие разрушения.

Итак, терпение и еще раз терпение. Когда наш подопечный прогниет до самого нутра, когда преступление будет, так сказать, сочиться из всех его пор, когда крупная кража или убийство приведут его на позорную скамью подсудимых, на которой в свое время сидел его отец, вот тогда-то мы станем лечить этого наследника зла так же, как мы некогда лечили того, кто передал ему в наследство зловещий «дар». На каторге или на эшафоте сын отыщет отцовское место, оно еще не успело остыть...»

Да, в подобных случаях общество рассуждает именно так.

И оно же еще удивляется, оно возмущается, оно приходит в ужас, видя, что тяга к воровству и убийству роковым образом передается из поколения в поколение.

Мрачная картина, которую мы сейчас нарисуем – она называется «Речные пираты», – имеет своей целью показать, что может произойти в семье, унаследовавшей тягу к преступлению,

когда общество не пытается – законным либо иным способом – предохранить несчастных сирот, порожденных законом, от ужасных последствий жестокой расправы, учиненной над их отцом.

Читатель извинит нас за то, что мы предваряем очередной эпизод нашего повествования таким вступлением.

Вот почему мы так поступаем.

По мере того как мы продолжаем публиковать эту книгу, ее нравственные цели подвергаются столь яростным и, по нашему мнению, столь несправедливым нападкам, что нам, надеемся, будет позволено изложить здесь свою главную мысль, мысль весьма серьезную и честную, которая до сих пор нас поддерживала и помогала идти вперед.

Многие люди – вдумчивые и деликатные – с возвышенными взглядами пожелали придать нам мужества и поддержать наше начинание, они соблаговолили выразить свое лестное для нас ободрение, а потому мы чувствуем себя обязанными в интересах этих знакомых и незнакомых друзей еще раз ответить на необдуманные, но упорные обвинения, которые, как нам стало известно, раздавались даже в стенах Законодательного собрания.

Объявлять нашу книгу крайне безнравственной – значит, как нам кажется, косвенно объявлять крайне безнравственными взгляды людей, которые делают нам честь, выражая свое живейшее сочувствие.

Так вот, для оправдания этого сочувствия, равно как и ради воодушевляющей нас цели, мы попытаемся доказать с помощью только одного примера, выбранного из множества других, что этот наш труд вовсе не лишен возвышенных и вполне применимых в жизни идей.

Год тому назад, в одной из первых частей этой книги, мы нарисовали образцовую ферму, созданную Родольфом для того, чтобы поддержать, обучить и вознаградить по заслугам честных и работающих, но бедных земледельцев.

По этому поводу мы говорили:

«Честные, но обездоленные люди заслуживают, по крайней мере, такого же участия, как и люди, преступившие закон; между тем существует много благотворительных обществ, чья цель – опекать несовершеннолетних преступников, отбывших положенное наказание; однако до сих пор еще не создано ни одно благотворительное общество, готовое прийти на помощь беднякам, чье поведение всегда было примерным... Выходит, надобно, просто необходимо совершить какой-нибудь проступок или преступление... чтобы получить помощь со стороны упомянутых выше благотворительных обществ, которые, впрочем, весьма полезны и заслуживают всяческого одобрения».

И тогда мы вложили в уста одного из крестьян фермы в Букевале такие слова:

«Весьма человечно и милосердно не позволять отчаиваться людям дурным; но надо было бы также подавать надежду и людям хорошим. Однако если честный малый, сильный и работающий, у которого появится желание творить добро, жить и поступать как положено, придет на эту ферму бывших несовершеннолетних воров, то его непременно спросят: «Любезный, а ты хоть когда-нибудь воровал или бродяжничал?» – «Нет», – ответил он. «Ну, в таком случае здесь для тебя места нет».

Такое кричащее противоречие уже поразило умы, гораздо более возвышенные, нежели наш скромный ум. Благодаря этим людям то, на что мы до сих пор смотрели как на утопию, на почти несбыточную мечту, уже претворяется в жизнь.

Под эгидой одного из наших самых уважаемых современников – графа Порталиса – и под умелым руководством истинного филантропа с великодушным сердцем и ясным практическим умом – г-на Аллье – недавно было создано благотворительное общество; цель его: прийти на помощь бедным, но честным молодым людям в департаменте Сены и найти применение их силам в земледельческих колониях.

Одного только этого примера, на наш взгляд, достаточно, чтобы понять нравственный смысл нашего труда.

Мы необычайно горды и необыкновенно счастливы, ибо выяснилось, что мы разделяем идеи, устремления и надежды основателей этой новой формы благотворительности, ибо мы считаем себя одним из самых безвестных, но зато и самых убежденных защитников двух великих

истин: «Долг общества – предупреждать зло и не только поддерживать, но и вознаграждать добро».

Раз уж мы заговорили об этой новой форме милосердия и благотворительности, которая зиждется на справедливой и высоконравственной мысли и должна привести к плодотворному и спасительному деянию, станем же уповать на то, что основатели этого важного начинания подумают, быть может, о том, чтобы заполнить другой пробел, распространив свое попечительство или хотя бы свою публично выраженную заботу и внимание на детей, чьи отцы были казнены или приговорены к наказанию, связанному с поражением в правах, что равносильно гражданской смерти, на тех детей, которые стали сиротами вследствие строгости закона.

Те из этих злосчастных детей, которые уже достойны заботы общества в силу их чистых устремлений и бедности, заслуживают и его особого внимания, ибо их положение мучительно, тяжело и полно опасностей.

Да, мучительно, тяжело и полно опасностей!

Скажем еще раз: почти всегда становясь жертвой недоброжелательства окружающих, семья осужденного преступника тщетно ищет себе работу и, стремясь избежать всеобщей неприязни, часто приходит к необходимости покинуть насиженное место, где она могла все же хоть как-то существовать.

И тогда, раздраженные несправедливостью, клейменые наравне с преступниками за проступки, в которых они неповинны, лишённые порой всякой возможности вести честную жизнь, эти изгои, если они до тех пор все-таки оставались людьми порядочными, оказываются на грани нравственного падения.

Если же они, напротив, уже испытали тлетворное влияние порока, разве не следует попытаться их спасти, пока еще не поздно?

Присутствие сирот, порожденных законом, среди других детей, собранных благотворительным обществом, о котором мы недавно упоминали, будет, помимо всего прочего, полезным и для тех и для других... Оно покажет всем, что если преступник непременно должен быть наказан, то его близкие не только не утрачивают уважения окружающих, но даже заслуживают еще большего уважения, когда благодаря своему мужеству и добродетели они стирают позорное пятно со своего имени.

Могут сказать, что законодатель желал сделать кару еще более ужасной, наказывая не только самого преступника, но и обрекая в будущем на страдания его ни в чем не повинного сына.

Но это было бы слишком жестоко, безнравственно и безрассудно.

И разве не было бы, напротив, высоконравственно сказать народу:

«Преступление не должно почитаться наследственным грехом. Позорное пятно, лежащее на семье преступника, может быть стерто».

Мы решаемся уповать на то, что мысли эти покажутся достойными внимания вновь созданного благотворительного общества.

Без сомнения, горько сознавать, что государство покамест ничего не делает для решения этих животрепещущих вопросов, которые прямо затрагивают весь социальный организм.

Но как может быть иначе?

На одном из последних заседаний Законодательного собрания один из депутатов, пораженный, по его словам, нищетой и страданиями бедных классов, предложил – наряду с иными средствами – помочь делу, учредив дома для инвалидов, куда будут помещать нуждающихся в этом работников.

И вот этот план, без сомнения, недостаточно продуманный во всех подробностях, но зато проникнутый высокой филантропической идеей и достойный самого серьезного рассмотрения, ибо он затрагивает важнейший вопрос жизненных судеб тружеников, этот план – подумать только! – «был встречен громким и веселым смехом присутствующих».

Высказав все это, перейдем к продолжению нашего повествования.

Возвратимся к острову Черпальщика и к речным пиратам.

Родоначальник семейства Марсиалей, который первым обосновался За умеренную аренд-

ную плату на этом маленьком острове, был черпальщиком.

Черпальщики, как и сплавщики леса, как работники, разбирающие старые плоты и лодки на доски и бревна, весь день работают по пояс в воде – этого требует их занятие. Одни вылавливают плывущие по реке бревна. Другие разбирают на части отслужившие свой век плоты и барки. С работой в воде, как и у людей только что названных профессий, связан и труд черпальщиков, но задачи у них совсем иные.

Черпальщик, входя в воду, старается зайти как можно дальше от берега и при этом зачерпывает своей ручной драгой речной песок, смешанный с илом; затем он ссыпает его в большие деревянные корыта и промывает, как руду или золотоносный гравий, извлекая таким способом множество различных металлических обломков и осколков – железных, медных, чугунных, свинцовых, оловянных; осколки эти – остатки всякого рода металлических предметов и утвари.

Нередко черпальщики обнаруживают в песке даже кусочки золотых и серебряных украшений, принесенных течением Сены, куда они попали либо из сточных канав, по которым в половодье бегут быстрые ручьи, либо с тающим снегом и льдом – его сгребают зимой на улицах и сбрасывают в реку.

Мы не знаем, по каким причинам этих тружеников, как правило, людей честных, мирных и работающих, окрестили грозным именем «речных пиратов».

Папаша Марсиаль, первый житель этого прежде необитаемого островка, был черпальщиком, вот почему люди, жившие в этих местах на берегу реки, и назвали островок «островом Черпальщика».

Дом речных пиратов был расположен в южной части этого клочка суши.

При свете дня можно было прочесть вывеску, раскачивавшуюся над дверью их жилища:

**МЕСТО ДРУЖЕСКИХ ВСТРЕЧ ЧЕРПАЛЬЩИКОВ.
ДОБРОЕ ВИНО,
ОТМЕННЫЙ МАТЛОТ И ВКУСНОЕ ЖАРКОЕ.**

Здесь можно получить напрокат ялики и лодки для прогулок по реке.

Как видит читатель, к своим явным и тайным занятиям глава этого окаянного семейства присоединил еще профессию кабатчика, рыбака и человека, дающего лодки напрокат.

Вдова этого злоумышленника, кончившего свои дни на эшафоте, продолжала держать кабак; всякого рода темные личности: бродяги, не помнящие родства, беглые каторжники, бродячие комедианты и дрессировщики животных, кочующие шарлатаны – проводили здесь воскресные и даже будние дни, развлекаясь на собственный лад.

Марсиаль, любовник Волчицы, старший из сыновей, наименее преступный из всех, занимался незаконной рыбной ловлей, а при необходимости выступал как наемный боец, защищая, разумеется за плату, слабого против сильного.

Другой из братьев, сообщник Крючка в задуманном ими убийстве г-жи Матье, хотя и считался черпальщиком, на самом деле был настоящим речным пиратом: промышлял он на самой Сене и по берегам ее.

Наконец, Франсуа, младший сын казненного, возил в лодке тех, кто изъявлял желание прокатиться по реке.

Упомянем еще для порядка об Амбруазе Марсиале: он, как было уже сказано, находился на каторге за ночную кражу со взломом и покушение на убийство.

Старшая дочь, прозванная Тыквой, помогала матери на кухне и прислуживала посетителям кабака; ее сестра Амандина, которой было всего девять лет, также в меру своих сил помогала по хозяйству...

В описываемый нами вечер на дворе было темным-темно; тяжелые и плотные темно-серые облака, гонимые ветром, позволяли видеть сквозь неровные узкие просветы клочки темно-синего неба, на котором мерцали звезды.

Очертания острова, обсаженного высокими, уже лишенными листьев тополями, выступали в темноте на фоне мглистого неба и белесой, почти прозрачной реки...

Дом с неровными коньками на кровле уже совершенно окутан мраком; светятся только два окна на первом этаже; их стекла рдеют; эти красные блики отражаются, точно языки пламени, в прибрежных волнах, омывающих причал, который находится неподалеку от дома.

Цепи, которыми лодки привязаны к кольшкам, зловеще позвякивают, и это печальное позвякивание сливается с порывами северного ветра, что свистит в голых кронах тополей, и глухим рокотом речных валов...

Несколько членов семьи сидят на кухне.

Это просторная комната с низким потолком; против двери расположены два окна, под ними тянется длинная плита; налево висится печь, справа видна лестница, ведущая на верхний этаж; рядом с этой лестницей – вход в большую залу, где расставлены столики для завсегдатаев кабака.

При свете лампы, в бликах пылающего в очаге огня поблескивает множество медных кастрюль и прочей кухонной утвари: кастрюли висят вдоль стен либо стоят на полках рядом с горшками и котелками всех размеров; посреди кухни виден большой стол.

Вдова казненного сидит возле очага в окружении трех своих детей.

На вид этой высокой и худой женщине лет сорок пять. Она – во всем черном; траурный платок, концы которого стянуты на лбу, закрывает ее волосы и пересекает плоский, мертвенно бледный лоб, уже прорезанный морщинами; у нее длинный, прямой, заостренный на конце нос, над запавшими щеками выступают скулы, бледная желтушная кожа испещрена глубокими оспинками; концы рта всегда опущены, и это придает еще более жесткое выражение этому холодному, зловещему лицу, неподвижному, как мраморная маска. Уже поседевшие брови приподняты над блеклыми голубыми глазами.

Она занята шитьем, как и обе ее дочери.

Старшая дочь, сухопарая и высокая, очень похожа на мать. У нее такая же бесстрастная, суровая и злая физиономия, такой же тонкий нос и строгий рот, такой же тусклый взгляд... Вот только цвет лица у нее другой – землистый и желтый, как айва, потому-то ее и прозвали Тыквой. Она не носит траура: на ней коричневое платье; из-под черного тюлевого чепца высовываются гладко зачесанные на прямой пробор редкие волосы, светло-рыжие, почти белесые.

Франсуа, самый младший из братьев Марсиаль, примостившись на скамеечке, чинит иглицей браконьерскую сеть: ловить такой сетью рыбу в Сене категорически воспрещено.

Несмотря на загар, от которого его лицо потемнело, кожа у этого мальчика прекрасная; густая грива рыжих волос покрывает его голову; щеки у него круглые, губы полные, лоб выпуклый, взгляд живой и пронизательный; он не похож ни на мать, ни на старшую сестру; вид у него скрытный и вместе с тем настороженный, сквозь падающие на лоб волосы он то и дело искоса, с явным опасением поглядывает на мать либо обменивается с младшей сестрой, Амандиной, понимающим и дружеским взглядом.

Амандина сидит рядом с братом, она спарывает метки с украденного накануне белья. Ей всего девять лет, и она так же похожа на брата, как ее сестра похожа на мать; черты лица у Амандины тоже не отличаются правильностью, но они более тонкие, чем у Франсуа. Хотя вся кожа на ее лице усыпана веснушками, она необыкновенно свежа; у нее, как и у брата, полные ярко-алые губы; рыжие волосы мягкие, шелковистые и блестящие, глаза хотя и небольшие, но ярко-синие и ласковые.

Когда Амандина встречается взглядом с Франсуа, она молча указывает ему на дверь; уловив этот знак, он только вздыхает, затем быстрым и незаметным жестом призывает сестру ко вниманию и старательно отсчитывает своей иглой десять петель на рыболовной сети...

На иносказательном языке обоих детей это означает, что их брат Марсиаль вернется домой лишь в десять часов вечера.

Наблюдая за двумя молчаливыми женщинами со злыми лицами и за двумя бедными детьми, встревоженными, испуганными и не смеющими раскрыть рта, сразу догадываешься, что перед тобою – два палача и две их жертвы.

Заметив, что Амандина на мгновение прервала работу, Тыква сказала ей грубым голосом:
– Скоро ты спорешь метки с этой рубахи?..

Девочка молча опустила голову; действуя пальцами и ножницами, она принялась торопливо спарывать красную бумажную нитку, которой были вышиты буквы на полотне.

Через минуту Амандина робко обратилась к вдове, протягивая ей рубашку.

– Мама, я уже кончила, – сказала она.

Ничего не промолвив в ответ, та бросила девочке другую рубаху.

Амандина не успела вовремя подхватить ее, и рубаха упала на пол. Старшая сестра твердой, как дерево, ладонью сильно ударила бедняжку по руке и крикнула:

– Дуреха несчастная!!!

Амандина вновь уселась на свое место и усердно взялась за работу; при этом она обменялась с Франсуа взглядом, в котором сверкнули слезы.

В кухне опять воцарилась гробовая тишина.

Снаружи ветер по-прежнему завывал, раскачивая вывеску кабачка.

Этот унылый скрежет и глухое бульканье воды в котле, стоявшем возле огня, только и были слышны в кухне.

Дети с тайным страхом следили за матерью, все еще не произносившей ни слова.

Вдова и вообще-то была молчалива, но в тот вечер ее долгое безмолвие и то, что она все время сжимала и покусывала губы, говорили о том, что она с трудом сдерживает гнев и, можно сказать, дошла до белого каления.

Огонь в печи угасал – дрова догорели.

– Франсуа, подбрось полено! – крикнула Тыква.

Мальчик, чинивший браконьерскую сеть, пошарил за печью и ответил:

– Дров больше нет...

– Ступай в дровяник, – приказала Тыква.

Франсуа что-то пробормотал, но не сдвинулся с места.

– Ах, так! Франсуа, ты меня слышишь? – злобно спросила Тыква.

Вдова казненного положила на колени салфетку, с которой спарывала метки, и с угрозой посмотрела на сына.

Тот сидел, не поднимая головы, но угадал, можно сказать, почувствовал страшный взгляд матери, устремленный на него... Боясь увидеть ее ужасное лицо, мальчик не шевелился.

– Ах, так! Ты что, оглох, Франсуа? – свирепо спросила Тыква. – Мать, ты видишь?

Казалось, старшей сестре нравилось обвинять брата и сестру в непослушании и навлекать на них кару, к которой неумолимо прибегала мать.

Амандина незаметно коснулась локтем руки брата, молча побуждая его послушаться Тыкву.

Франсуа по-прежнему не трогался с места.

Старшая сестра посмотрела на мать, словно призывая ее наказать виновного; та поняла ее.

Своим длинным костлявым пальцем она показала на прочный и гибкий ивовый прут, стоявший в углу возле печки.

Тыква откинулась назад, взяла это орудие наказания и протянула прут матери.

Франсуа внимательно следил за движениями матери; внезапно он вскочил и одним прыжком оказался вне досягаемости грозного прута.

– Ты, видно, хочешь, чтобы мать задала тебе хорошую трепку? – крикнула Тыква.

Вдова, по-прежнему сжимая прут в руке, все сильнее закусывала свои бескровные губы и пристально смотрела на мальчика, не произнося ни слова.

По легкому дрожанию рук Амандины, сидевшей опустив голову, по тому, как у нее вдруг покраснела шея, можно было понять, что девочка, хотя и привыкшая к подобным сценам, боялась расправы, ожидавшей брата.

Франсуа отбежал в дальний угол кухни; он, казалось, был одновременно и напуган и обозлен.

– Берегись, негодник, мать вот-вот поднимется с места, и – тогда уже будет поздно! – прошипела старшая сестра.

– Мне все равно, – отозвался мальчик, побледнев. – Пусть уж лучше меня снова поколотят,

как позавчера... но в дровяной сарае я не пойду... особенно... ночью...

– Это еще почему? – спросила Тыква, окончательно выходя из себя.

– Мне там страшно... страшно, – ответил Франсуа, не сумев подавить невольную дрожь.

– Тебе там страшно, болван?.. А чего ты боишься?

Франсуа помотал головой, но ничего не ответил.

– Будешь ты говорить или нет?.. Чего ты боишься?

– Я и сам не знаю... Но только мне страшно...

– Да ты туда сто раз ходил, еще только вчера вечером...

– А вот теперь больше не пойду...

– Гляди, мать уже встает с места!..

– Тем хуже! – закричал мальчик. – Пусть она меня поколотит, пусть изобьет до полусмерти, но пойти в дровяник она меня не заставит... тем более... ночью...

– Да скажи наконец толком, в чем дело? – потребовала Тыква.

– Ладно, скажу! Дело в том, что...

– Ну, так в чем дело?

– Дело в том, что там кто-то есть...

– Там кто-то есть?

– Да, он там зарыт... – прошептал Франсуа, вздрагивая.

Вдова казненного, несмотря на свою обычную невозмутимость, не смогла сдержать внезапной дрожи; задрожала и ее старшая дочь; можно было подумать, что обеих женщин одновременно ударило электрическим током.

– В дровяном сарае кто-то зарыт? – спросила Тыква, пожимая плечами.

– Да, зарыт, – ответил Франсуа так тихо, что слова его были едва слышны.

– Лгун!.. – завопила Тыква.

– А я тебе говорю, слышишь, я тебе говорю, что когда я вчера складывал дрова, то вдруг увидел в углу сарая кость... мертвеца... она чуть высовывалась из-под земли, а земля там вокруг мокрая... – настаивал Франсуа.

– Слышишь, что он болтает, мать? Да он просто сдурел, – прошептала Тыква, выразительно посмотрев на вдову. – Ведь это баранья кость, я сама ее туда положила для будущей стирки.

– Нет, это была не баранья кость, – испуганно твердил мальчик, – это была кость покойника... кость мертвеца... это его нога торчала из-под земли, я ее хорошо разглядел.

– И ты, конечно, тут же разболтал о своей замечательной находке твоему братцу... твоему другу Марсиалу, не так ли? – спросила Тыква со свирепой иронией.

Франсуа ничего не ответил.

– Скверный мальчишка, легавый!³ – в ярости завопила Тыква. – Этот маленький негодяй труслив, как заяц, он, чего доброго, добьется того, что все мы угодим под нож дяди Шарло, как наш отец!

– Коли ты зовешь меня легавым, – в отчаянии закричал Франсуа, – я теперь все расскажу моему брату Марсиалу! Я ему еще ничего не говорил, потому что его с тех пор не видел... но когда он нынче вечером придет... я...

Мальчик замолчал, не решаясь продолжать: мать уже подходила к нему, как всегда бесстрастная, но непреклонная.

Хотя вдова постоянно горбилась, она была очень высокого роста, особенно для женщины; держа в одной руке прут, она другой рукою схватила сына за плечо и, несмотря на слезы и мольбы перепуганного Франсуа, тщетно пытавшегося освободиться, потащила его за собой и заставила подняться по лестнице, видневшейся в глубине кухни.

– Через несколько мгновений сверху – сквозь потолок – донесся неясный шум, послышались рыдания и крики.

Прошло несколько минут, и шум прекратился.

³ Доносчик.

Вдова казненного снова вошла в кухню.

Сохраняя обычную невозмутимость, она поставила ивовый прут на место, за печью, и, не произнося ни слова, опять принялась за работу.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Глава I РЕЧНОЙ ПИРАТ

После короткого молчания вдова казненного сказала дочери:

– Пойди и принеси дров; ночью мы приведем в порядок дровяной сарай... когда вернутся Николая и Марсиаль.

– Марсиаль? Стало быть, вы и ему хотите рассказать, что...

– Принеси дров, – повторила вдова, резко обрывая дочь.

Тыква, привыкшая подчиняться этой железной воле, зажгла фонарь и вышла.

Когда она растворила дверь, стало видно, что снаружи царит непроглядная тьма, в кухню ворвался треск и хруст высоких тополей, терзаемых ветром, послышалось звяканье цепей, которыми были привязаны лодки, донеслись свист северного ветра и рев реки.

Все эти грозные звуки навевали тоску.

Во время предыдущей сцены Амандина, глубоко взволнованная судьбой Франсуа, которого она нежно любила, не решалась ни поднять глаза, ни осушить слезы, которые тонкими струйками стекали ей на колени. Сдерживаемые рыдания душили ее, она старалась унять их, как старалась унять и громкие удары сердца, трепетавшего от страха.

Слезы застилали ей взгляд. Она торопливо спарывала метку с рубашки, которую ей кинула мать, и поранила ножницами руку; из ранки капала кровь, но бедная девочка меньше думала о боли, чем о наказании, которое угрожало ей за то, что она испачкала кровью рубашку, над которой трудилась. К счастью, вдова, погруженная в глубокое раздумье, ничего не заметила.

Тыква возвратилась, неся корзину, полную дров. Поймав взгляд матери, она утвердительно кивнула головой.

Это должно было означать, что нога мертвеца в самом деле высовывалась из-под земли...

Вдова еще сильнее поджала губы и продолжала работать, но теперь она, казалось, еще быстрее орудовала иглой.

Тыква раздула огонь, заглянула в кипящий чугунок, стоящий в углу плиты, и опять уселась возле матери.

– А Николая все не идет! – воскликнула она. – Как бы эта старуха, что приходила утром и назначила ему встречу с каким-то господином, по поручению Брадаманти, не втянула его в какую-нибудь скверную историю. Она так странно глядела исподлобья и ни за что не хотела ни назвать себя, ни сказать, откуда она пришла.

Вдова молча пожала плечами.

– Вы думаете, Николая ничего не угрожает, матушка? А вообще-то вы, пожалуй, правы... Старуха просила его быть к семи вечера на набережной Бийи, прямо против пристани, и ждать там человека, который хочет с ним поговорить: вместо условного знака он назовет имя Брадаманти. И то сказать, ничего опасного в такой встрече нет. А Николая, может, потому задерживается, что, должно быть, прихватил чего по дороге, как позавчера, когда он слямзил⁴ это вот белье, унес его из лодки зазевавшейся прачки.

Тыква при этом показала рубашки, с которых Амандина спарывала метки потом, обратившись к девочке, она спросила:

– А ты знаешь, что такое слямзить?

⁴ Украл.

– Это значит... взять... – ответила девочка, не поднимая глаз.

– Это значит украсть, дуреха! Понятно? Украсть...

– Да, сестрица...

– А когда умеют так ловко красть, как это делает Николя, то всегда какой-никакой барыш достается... Белье, которое он вчера стибрил, нам впрок пойдет, а обойдется даром, только метки спороть придется, не так ли... матушка? – прибавила Тыква с громким смехом, обнажая при этом свои лошадиные зубы, такие же желтые, как ее физиономия.

Вдова осталась холодна к этой шутке.

– Кстати, насчет того, чтобы обогатить наше хозяйство, причем задарма, – продолжала Тыква, – мы, должно быть, сможет это сделать в другой лавочке. Вы, верно, знаете, какой-то старик поселился несколько дней назад в загородном доме господина Гриффона, ну, того лекаря из парижской больницы: его дом стоит на отлете, в сотне шагов от берега, прямо против печи для обжига гипса.

Вдова едва заметно качнула головой.

– Николя вчера толковал, что теперь можно будет обделать одно выгодное дельце, – опять заговорила Тыква. – А я нынче утром убедилась, что и там наверняка есть чем поживиться: надо только послать Амандину побродить вокруг дома, на девчонку никто внимания не обратит, подумают, что она там играет, а она тем временем все подробно разглядит и потом нам перескажет, что видела. Слышишь, что я говорю?. – строго прибавила Тыква, посмотрев на Амандину.

– Да, сестрица, я туда схожу, – ответила девочка, задрожав всем телом...

– Ты вечно говоришь: «Я все сделаю», а потом ничего не делаешь, притворщица! В тот раз, когда я велела тебе взять пятифранковую монету в конторке бакалейщика, пока я разговаривала с ним в другом конце лавки, сделать это было куда как просто: детей-то ведь никто не опасается. Почему ты меня ослушалась?

– Сестрица, у меня... просто духу не хватило... я никак решиться не могла...

– А в тот день, когда ты стащила косынку из короба разносчика, пока он торговал в кабачке, у тебя духу хватило? И он, дуреха, ничего не заметил.

– Сестрица, ведь это вы меня заставили... косынку-то я взяла для вас, а потом, косынка ведь не деньги.

– А тебе-то какая разница?

– Ну как же?! Взять косынку не так дурно, как деньги взять.

– Смотри какая честная! Это Марсиаль учит тебя быть такой порядочной? – спросила Тыква со злобной усмешкой. – Ты, должно, все ему пересказываешь, доносчица! Уж не думаешь ли ты, что мы боимся, как бы он нас не выдал, твой Марсиаль?.. – Затем, обратившись к матери, Тыква прибавила: – Поверь, матушка, все это плохо для него кончится... Он тут свои порядки установить хочет. Николя на него злится, просто в ярость приходит, да и я тоже. Марсиаль настраивает Амандину и Франсуа против нас, да и против тебя... Разве можно такое терпеть?..

– Нельзя... – буркнула вдова резко и жестко.

– Он таким сделался особенно с той поры, как его Волчица угодила в тюрьму Сен-Лазар, совсем бешеный стал, на всех злобится. А мы-то при чем, что его... полюбовница в тюрьме оказалась? Да когда ее выпустят, она бесперечь сюда заявится... ну, а я уж ее привечу... как подо-бает встречу... хоть она из себя такую храбрую строит...

Немного подумав, вдова сказала дочери:

– Так тебе кажется, можно будет облапошить того старика, что в доме лекаря живет?

– Да, матушка...

– Но он же с виду просто нищий!

– Знаешь, он благородного происхождения.

– Благородного происхождения?

– Да, и к тому же у него в кошельке золотых монет полно, хоть он всюду пешком ходит и домой всегда возвращается тоже пешком – с дубинкой вместо кареты.

– А почему ты знаешь, что у него золото есть?

– Я как-то была на почте в Аньере, узнавать ходила, нет ли весточки из Тулона...

При этих словах, напомнивших вдове о том, что один из ее сыновей на каторге, та нахмурилась и подавила вздох. Тыква между тем продолжала:

– Я ждала своей очереди, и тут вошел старик, что живет у лекаря, я его сразу признала по белой бороде и волосам, брови же у него черные, а лицо – цвета самшита. На вид он крепкий орешек... И, несмотря на возраст, должно быть, решительный старик... Он спросил у почтовой служащей: «У вас нет письма из Анже на имя графа де Сен-Реми?» – «Есть тут одно письмо», – ответила она. «Да, это мне, вот мой паспорт». Пока она изучала его бумаги, старик, чтоб заплатить за доставку, вытащил из кармана кошель зеленого шелка. Я враз углядела, что там сквозь петли золотые блестят: они кучкой лежали, величиной с яйцо... у него было не меньше сорока или пятидесяти луидоров! – воскликнула Тыква, и глаза ее загорелись от алчности. – А при том одет он как последний бедняк. Видно, один из тех старых скупердяев, что деньгами набиты... Вот что я вам еще скажу, матушка: теперь мы его имя знаем, и это может пригодиться... чтобы проникнуть к нему, когда Амандина раз узнает, есть ли в доме прислуга...

Громкий лай прервал речь Тыквы.

– А, собаки залаяли, – сказала она, – верно, лодку слышали. Это Николая или Марсиаль...

При имени Марсиаля на личике Амандины появилось сдержанное выражение радости.

Прошло несколько минут томительного ожидания, и все это время девочка не сводила нетерпеливого и тревожного взгляда с двери; затем она с огорчением увидела, что на пороге показался Николая, будущий сообщник Крючка.

Физиономия у Николая была одновременно отталкивающей и свирепой; небольшого роста, щедушный и щуплый, он мало походил на человека, способного заниматься опасным и преступным ремеслом. На беду, какая-то дикая нравственная энергия заменяла этому негодяю недостававшую ему физическую силу.

Поверх синей рабочей блузы Николая носил что-то вроде куртки без рукавов из козлиной шкуры с длинной коричневой шерстью; войдя в кухню, он швырнул на пол слиток меди, который с явным трудом нее на плече.

– Доброй ночи и с доброй поживой, мать! – закричал он глухим и хриплым голосом, освободившись от своей ноши. – Там у меня в ялике еще три такие чушки да тюк разного тряпья и сундук, набитый черт знает чем, я ведь не полюбобытствовал его отпереть. Может, меня и надули... сейчас поглядим!

– Ну, а как тот человек с набережной Бийи? – спросила Тыква.

Мать все это время молча смотрела на сына.

Николя ничего не ответил, он только сунул руку в карман своих штанов, пошарил там и стал позвякивать многими, видимо, серебряными монетами.

– Ты все это у него отобрал?! – воскликнула Тыква.

– Нет, он сам выложил мне двести франков и посулил еще восемь сотен, когда я... Ну, ладно, хватит!.. Сперва выгрузим все из моей лодки, а уж потом станем языком молоть... Марсиаль дома?

– Нет, – ответила сестра.

– Тем лучше! Припрячем добычу, пока его нет... Так он ничего знать не будет...

– Ты его боишься, трус? – съязвила Тыква.

– Боюсь его?.. Кто – я? – И Николая пренебрежительно пожал плечами. – Я боюсь только, как бы он нас не продал, вот и все. А так мне чего его бояться? Жулик⁵ с хорошо отточенным языком всегда при мне!

– О, когда его тут нет... ты вечно бахвалишься... но как только он появляется на пороге, сразу прикусываешь язык.

Николя, казалось, пропустил мимо ушей эти слова и сказал:

– Быстрее! Пошли быстрее к лодке!.. А где Франсуа, мать? Пусть он нам тоже поможет.

– Матушка задала ему трепку, а потом заперла наверху; он нынче ляжет спать без ужина, –

⁵ Нож.

ответила Тыква.

– Ладно! Только пускай он все-таки сойдет вниз и подсобит нам разгрузить ялик, не так ли, мать? Я, он и Тыква – мы все за один раз притащим.

Вдова молча указала пальцем на потолок; Тыква поняла ее жест и отправилась за Франсуа.

Морщины на сумрачном лице вдовы слегка разгладились после прихода Николя; она любила его больше, чем Тыкву, но, как сама говорила, все же меньше, чем того сына, что был теперь на каторге в Тулоне: материнская любовь этой свирепой женщины зависела от степени преступности ее детей!

Столь извращенное чувство во многом объясняет, почему вдова была так мало привязана к своим младшим отпрыскам: они не проявляли дурных наклонностей этим же объяснялась ее неприязнь, даже ненависть к Марсиаю, старшему сыну; хотя его образ жизни назвать безупречным было нельзя, но по сравнению с Николя, Тыквой и его братом-каторжником, он был человек честный.

– Где же ты промышлял нынче вечером? – спросила вдова у Николя.

– Возвращаясь с набережной Бийи, где я увиделся с тем господином, который назначил мне встречу, я углядел возле моста Инвалидов галиот, что пришвартовался к набережной. Было уже совсем темно, и я сказал себе: «В каютах света нет... матросы, должно быть, на берегу». Подплываю ближе... Встреть я на палубе кого-нибудь, я бы попросил у него обрывок веревки – треснувшее весло обвязать... Вхожу в каюту... никого... Тогда я хватаю все, что можно – тюк с тряпьем и большой сундук, а с палубы, прихватываю четыре медных слитка; мне пришлось дважды взбираться на галиот, груженный железом и медью... Ну вот и Франсуа с Тыквой. Пошли скорей к лодке!.. Слушай, Амандина, иди-ка и ты с нами, понесешь разное тряпье. Ведь прежде чем делить добычу... надо ее притащить...

Оставшись одна, вдова занялась приготовлениями к ужину для всей семьи: она расставила на столе бутылки, стаканы, фаянсовые тарелки и приборы из серебра.

Как раз в ту минуту, когда она со всем управилась, вернулись ее дети, нагруженные поклажей.

Маленький Франсуа нес на плечах два медных слитка и сгибался в три погибели под их тяжестью; Амандина была наполовину скрыта ворохом ворованного белья и платья, который она пристроила у себя на голове; шествие замыкал Николя: с помощью Тыквы он тащил сундук из неструганого дерева, а поверх него приладил четвертый слиток меди.

– Сундук, сундук!.. Сперва распотрошим сундук! – вопила Тыква, горя от дикого нетерпения.

Слитки меди полетели наземь.

Николя вооружился топориком, висевшим у него на поясе, он просунул крепкое железное острие под крышку сундука, поставленного посреди кухни, чтобы легче было к нему подступиться.

Красноватое и подрагивающее пламя очага освещало эту сцену дележа; со двора все сильнее доносилось завывание ветра.

Так и не сняв своей куртки из козьей шерсти, Николя присел на корточки возле сундука и тщетно пытался приподнять крышку, изрыгая при этом поток ужасных ругательств, ибо крепкая крышка не поддавалась его отчаянным усилиям,

Глаза Тыквы горели от алчности, щеки пылали в предвкушении зрелища награбленных вещей; она опустилась на колени возле окаянного сундука и всей тяжестью навалилась на топорик, чтобы увеличить силу рычага, которым орудовал ее брат.

Вдову отделил от них широкий стол; будучи высокого роста, она перегнулась через него и также склонилась над украденным сундуком; взгляд ее горел от лихорадочного вождения.

И наконец – какое жестокое и вместе с тем, к несчастью, обычное человеческое свойство! – двое детей, чьи врожденные добрые инстинкты часто одерживали верх над проклятым влиянием отвратительного и порочного семейного окружения, двое детей, забыв о своей совестливости и о своих страхах, также уступили роковому любопытству и соблазну...

Прижавшись друг к другу, с горящими глазами, едва дыша, Франсуа и Амандина с таким

же нетерпением жаждали узнать, что же таится в этом сундуке, их также раздражала медлительность, с какой возился с крышкой Николая.

Наконец злополучная крышка треснула и раскололась на части.

– Ах!.. – вырвался радостный вопль из уст взволнованной и обрадованной семьи.

И все, начиная с матери и кончая маленькой Амандиной, отталкивая друг друга, со свирепой жадностью накинулись на взломанный сундук. Без сомнения, он был послан из столицы какому-нибудь торговцу новинками в прибрежный городок, ибо в нем было множество штук различных материй для женщин.

– Нет, Николая не надули! – завопила Тыква, разворачивая штуку шерстяного муслина.

– Нет, – подхватил разбойник, в свою очередь распаковывая тюк с косынками и шейными платками, – я оправдал свои расходы...

– Да тут материи из Леванта... их станут раскупать, как хлеб... – пробормотала вдова, в свой черед копясь в сундуке.

– Скупщица краденого из дома Краснорукого, что живет на улице Тампль, возьмет все материи, – прибавил Николая, – а папаша Мику, содержатель меблированных комнат в квартале Сент-Оноре, займется краснухой.⁶

– Амандина, – чуть слышно сказал Франсуа своей младшей сестренке, – какой славный шейный платочек выйдет из тех красивых шелковых платков... которые Николая держит в руке!

– И хорошенькая косыночка тоже получится, – с простодушным восторгом откликнулась девочка.

– Надо признаться, тебе повезло, Николая, что ты забрался на этот галиот, – проговорила Тыква. – Гляди-ка, красота какая!.. Теперь вот пошли шали... они сложены по три штуки вместе... и все чистый шелк... Посмотри же, матушка!

– Тетка Бюрет заплатит не меньше пятисот франков за все сразу, – сказала вдова, внимательно оглядев ткани.

– Ну, стало быть, настоящая цена этому товару не меньше тысячи пятисот франков, – заметил Николая. – Но, как говорится, кто краденое скупает, сам... вором бывает. Ну, тем хуже, я торговаться не привык... как всегда, так и на этот раз сваяю дурака и уступлю товар за ту цену, что назначит тетка Бюрет, да и папаша Мику тоже; ну он хотя бы друг.

– Это роли не играет, он такой же жулик, как и все, этот старый торговец скобяным товаром; но мерзавцы-перекупщики знают, что нам без них никуда, – вмешалась Тыква, драпируясь в шаль, – и они этим-то и пользуются.

– Ну, там больше ничего нет, – сказал Николая, пошарив по дну сундука.

– Теперь надо все обратно уложить, – заметила вдова.

– Эту шаль я оставлю себе, – заявила Тыква.

– Оставишь себе... оставишь себе!.. – неожиданно закричал Николая. – Ты оставишь ее себе, если я ее тебе отдам... Вечно ты все себе требуешь... госпожа Бесстыжая...

– Смотри-ка!.. А ты, стало быть, ничего не берешь... воздерживаешься!

– Я-то?.. Ну, коли я что стырю, то при этом своей шкурой рискую; ведь не тебя, а меня замели бы, если бы сцапали на том галиоте...

– Ладно! Держи свою шаль, плевать я на нее хотела! – разъярилась Тыква, швыряя шаль в сундук.

– Дело не в шали... я не о том говорю; да и не скупердйя я вовсе, чтобы какую-то там шаль жалеть: одной больше, одной меньше, тетка Бюрет даст за товар ту же цену, она ведь все гамузом покупает, – продолжал Николая. – Но вместо того, чтобы сказать «я оставлю себе эту шаль», ты могла попросить меня чтоб я тебе ее отдал... Да уж ладно, бери ее себе... Бери, говорю... а не то я швырну ее в огонь, чтоб чугунок быстрее закипел.

Слова брата умерили гнев Тыквы, и она взяла шаль уже без злости.

Николя, как видно, охватил приступ великодушия, ибо, оторвав зубами кусок шелковой

⁶ Медью.

ткани, он порвал его пополам и бросил по лоскуту Амандине и Франсуа, которые с жадной завистью смотрели на фуляр.

– А вот это для вас, мальцы! Этот лоскут придаст вам вкус к воровству. Ведь, как говорится, аппетит приходит во время еды. А теперь ступайте-ка спать... мне надо с матерью потолковать; ужин вам потом наверх принесут...

Дети радостно захлопали в ладоши и с торжествующим видом помахали в воздухе ворованным фуляром, который им дали.

– Ну что, дурачки? – спросила Тыква. – Станете вы теперь слушаться Марсиаля? Разве он вам хоть когда дарил такие красивые вещицы, как эти?

Франсуа и Амандина переглянулись и молча понурили головы.

– Да отвечайте же, – резко повторила Тыква. – Марсиаль когда-нибудь делает вам подарки?

– Конечно... нет!.. Он нам никогда ничего не дарил, – сказал Франсуа, с удовольствием разглядывая свой шейный платок из красного шелка.

Но Амандина чуть слышно прибавила:

– Наш братец Марсиаль не делает нам подарков... потому что ему не на что их купить...

– Коли бы он воровал, у него было бы на что, – резко сказал Николя, – Не правда ли, Франсуа?

– Да, братец, – ответил Франсуа. Потом он прибавил: – Ох, до чего же красивый фуляр!.. А какой получится из него воскресный галстук!

– А для меня выйдет такая славная косыночка! – подхватила Амандина.

– Я уж не говорю о том, что дети того рабочего, что обжигает в печи гипс, придут в ярость, когда вы пройдете мимо в своих обновках, – вмешалась Тыква. И она внимательно взгляделась в лица детей, чтобы понять: уловили они злобный смысл ее слов?

Эта ужасная девица старалась пробудить в детях тщеславие, чтобы с его помощью задуть последние остатки совестливости в злосчастных малышах.

– Дети обжигальщика гипса, – заметила она, – будут выглядеть рядом с вами просто нищими, они лопнут от зависти, потому что вы в этом красивой шейном платке и косынке будете походить на детей зажиточных господ!

– Смотри-ка! И то правда, – подтвердил Франсуа. – Теперь, когда я знаю, что дети обжигальщика гипса придут в ярость при виде моего нового галстука, какого у них нет, он мне доставит еще больше удовольствия... Ты согласна, Амандина?

– Я просто довольна, что у меня будет красивая косыночка... вот и все.

– В таком разе ты так навсегда и останешься дурехой! – с презрением заявила Тыква. Затем, взяв со стола краюху хлеба и кусок сыра, она подала их детям и сказала: – А теперь отправляйтесь спать... Вот вам фонарь, только поосторожнее там с огнем, не забудьте погасить фонарь перед тем, как заснете.

– Да, вот еще что! – прибавил Николя. – Запомните хорошенько: коли вы, на свою беду, проговоритесь Марсиалю о сундуке, о медных слитках и о материях, я задам вам такую задачу, что вы света белого не увидите! А к тому же отберу у вас и фуляр.

После того как дети ушли, Николя с помощью сестры упрятал тюк с материей, сундук со штуками полотна и медные слитки в небольшом погребе: туда можно было попасть, спустясь из кухни по нескольким ступенькам, начинавшимся неподалеку от очага.

– Ну, мать! Принеси-ка чего-нибудь выпить, только пусть вино будет покрепче да лучше!.. – крикнул негодяй. – Тащи-ка запечатанные бутылки да доброй водки!.. Я все это вполне заработал... Подавай на стол ужин, Тыква; а Марсиаль погрызет оставшиеся от нас кости, с него и этого довольно... А теперь потолкуем о господине с набережной Бийи, потому как завтра или послезавтра надо будет быстро повернуть одно дельце, ежели только я хочу заполучить денежки, которые он мне пообещал... Я тебе все это сейчас расскажу, мать... Но дай же выпить, черт побери!!! Неси сюда выпивку, нынче я пирую!

И Николя стал вновь брэнчать пятифранковыми монетами, лежавшими у него в кармане; потом, отбросив далеко в сторону свою меховую куртку и шапку из черной шерсти, он уселся за стол перед огромным блюдом с бараньим рагу; рядом стояли тарелка с куском холодной теляти-

ны и миска с салатом.

Когда Тыква принесла вино и водку, вдова, по-прежнему невозмутимая и мрачная, также присела к столу: справа от нее оказался Николя, слева – Тыква; против нее оставались незанятыми места для Марсиаля и обоих детей.

Разбойник вытащил из кармана длинный и широкий каталонский нож с прочной рукояткой из рога и острым лезвием. Оглядев это смертоносное оружие со свирепым и довольным видом, он сказал матери:

– Мой жулик всегда режет на славу!.. Передайте мне хлеб, мамаша!..

– Кстати о ноже, – сказала Тыква. – Франсуа увидел эту штуку в дровянике.

– Ты это про что? – спросил Николя, не поняв, о чем речь.

– Он обнаружил там ногу...

– Человечью? – вскинулся Николя.

– Да, – подтвердила мать, кладя кусок мяса в тарелку сына.

– Вот так штука!.. А ведь яма-то была глубокая, – отозвался злодей, – но прошло много времени, и земля, должно, осела...

– Надо будет нынче же ночью бросить останки в реку, – вмешалась вдова.

– Да, так будет надежнее, – откликнулся Николя.

– Привяжем покойнику бульжник на шею, а для этого возьмем обрывок заржавевшей цепи от лодки, – сказала Тыква.

– Не так глупо придумано!.. – проговорил Николя, наливая себе вина; затем, подняв бутылку, он обратился к вдове: – Чокнитесь с нами, мамаша, это вас малость развеселит.

Вдова отрицательно покачала головой, отодвинула свой стакан и спросила у сына:

– Ну, а что с этим господином с набережной Бийи?

– Вот оно как было дело... – ответил Николя, продолжая есть и пить. – Причалив к пристани, я привязал свой ялик и поднялся на набережную; часы на военной пекарне в Шайо пробили семь, темно было, хоть глаз выколи. Я прогуливался вдоль парапета с четверть часа и тут услышал, что кто-то тихонько идет сзади; я замедлил шаг; какой-то человек, с ног до головы закутанный в плащ, покашливая, подходит ко мне; я останавливаюсь, останавливается и он... Все, что я могу сказать о его физиономии, – это то, что носом он уткнулся в плащ, а шляпу надвинул на глаза.

(Мы напоминаем читателю, что этот таинственный незнакомец был нотариус Жак Ферран; решив отделаться от Лилии-Мари, он в то же утро спешно отправил г-жу Серафен к Марсиалям, которых надеялся сделать орудием своего нового преступления.)

– «Брадаманти», сказал мне этот господин, – продолжал свой рассказ Николя, – ведь таков был пароль, о котором мы уговорились со старухой, чтобы мне узнать нужного человека.

– «Черпальщик», – отвечаю я, опять же, как было условлено.

– Вас зовут Николя? – спрашивает он.

– Именно так, сударь.

– А лодка у вас есть?

– У нас их целых четыре, господин хороший, ведь такое у нас ремесло: мы из поколения в поколение лодочники и черпальщики. Чем могу вам служить?

– Вот что надо бы сделать... если вы не струсите...

– А чего нам трусить, сударь?

– Вам придется понаблюдать за тем, как кто-то будет тонуть из-за несчастного случая... но только придется этому несчастному случаю помочь... Вы меня поняли?

– Ах, вот оно что, сударь, стало быть, надо, чтобы кто-то нахлебался воды из Сены, словно бы по неосторожности? Ну что ж, мне это подходит... Но так как блюдо-то лакомое, к нему дорога приправа потребуется.

– Сколько надо будет... за двоих?

– За двоих?.. Стало быть, двоим придется отведать бульона из реки?

– Да...

– Пятьсот франков с головы, сударь... так что совсем не дорого!

- Согласен на тысячу франков...
- Только денежки вперед, господин хороший.
- Две сотни вперед, а остальные – потом...
- Вы мне что, не доверяете, сударь?
- Не доверяю! Ведь вы можете прикарманить мои двести, франков, не выполнив своего обещания.
- Ну а вы, сударь, когда дело будет сделано и я попрошу у вас остальные восемьсот монет, можете мне сказать в ответ: «Спасибо, сейчас сбегая за ними!»
- В таких делах без риска не обойтись; ну так как: подходит вам это или нет? Двести франков наличными, а послезавтра на этом же месте, в девять вечера, я вам заплачу остальные восемьсот франков.
- А как вы узнаете, заставил ли я этих двоих нахлебаться речной водицы?
- Не беспокойтесь, узнаю... это уж моя забота... Значит, по рукам?
- По рукам, сударь.
- Вот вам двести франков... А теперь слушайте внимательно: вы узнаете старую женщину, что приходила к вам домой сегодня утром?
- Узнаю, сударь.
- Завтра или послезавтра, самое позднее, она снова к вам пожалует, часа в четыре пополудни; она станет вас ждать на берегу напротив вашего острова, с ней вместе будет белокурая девушка; старуха подаст вам знак, помахав платком.
- Так, сударь.
- Сколько нужно времени, чтобы доплыть от берега до вашего острова?
- Добрых двадцать минут.
- У вас какие лодки, плоскодонки?
- Дно у них ровное, как ладонь, сударь.
- Вы заранее незаметно приладите на дне одной из лодок люк с крышкой, так, чтобы его можно было быстро открыть, вода хлынет в отверстие, и лодка мигом пойдет ко дну.... Вам все понятно?
- А то как же, сударь! Ну и хитры же вы! У меня как раз есть старая, полусгнившая лодка, я хотел пустить ее на дрова... вот она и подойдет для этой последней поездки.
- Итак, вы отплываете с вашего острова в этой лодке с задраенным люком; следом за вами плывет другая лодка, надежная, на веслах там сидит кто-либо из вашей семьи. Вы пристаёте к берегу, сажаете к себе в лодку старуху и белокурую девушку и направляетесь обратно к острову; однако, на нужном расстоянии от берега, вы наклоняетесь и делаете вид, будто вам надо что-то там привести в порядок, открываете люк, а сами быстро прыгаете в другую лодку, что плывет рядом с вами; между тем как старуха и юная блондинка...
- Хлебают водицу из одной и той же чашки... так оно и получится, сударь!
- И вы уверены, что вам никто не помешает? А ну как появятся на реке завсегдатаи вашего кабачка?
- Не тревожьтесь, сударь. В этот предвечерний час, а особенно зимой, к нам никто не заходит... Это у нас, как говорится, мертвый сезон; ну а коли вдруг кто и появится, это делу не помешает, напротив... ведь все они – надежные друзья.
- Превосходно! Впрочем, вы ничем не рискуете: решат, что лодка потонула, потому что извещала, а старуха, которая приведет к вам девушку, исчезнет вместе с нею. Наконец, для того, чтобы убедиться в том, что обе утонули... вследствие несчастного случая, вы можете, если они появятся на поверхности реки или если они уцепятся за борт второй лодки, вы можете, говоря я, изо всех сил попытаться им помочь и...
- И помочь им... пойти ко дну. Заметано, сударь!
- Надо также, чтобы эта прогулка по реке произошла после захода солнца, чтобы, когда они окажутся в воде, вокруг уже было совсем темно.
- Нет, сударь, так дело не пойдет; если будет мало света, как мы узнаем, что обе женщины уже вдоволь нахлебались водицы или им надо ее еще добавить?

– Это верно... Что ж, тогда несчастный случай произойдет перед самым закатом.

– В добрый час, сударь. Скажите, а старуха не может чего-нибудь заподозрить?

– Нет. Сев в лодку, она шепнет вам на ухо: «Надобно утопить малышку; перед тем как лодка пойдет ко дну, вы мне подайте знак, чтобы я могла спастись вместе с вами». Вы ответите старухе таким тоном, чтобы усыпить все ее подозрения.

– Так, чтобы она была уверена, что везет блондиночку похлепать водицы...

– И сама нахлебается вместе с нею.

– Лихо вы все это придумали, сударь.

– Главное, смотрите, чтобы старуха ничего не заподозрила!

– Не бойтесь, господин хороший, она все проглотит, как ложку меда.

– Ну ладно, желаю удачи, любезный! Я вами доволен, быть может, вы мне еще понадобятся.

– К вашим услугам, сударь!»

– После этого, – продолжал злодей, окончив свой рассказ, – я распрощался с человеком в плаще, снова сел в свою лодку и, по пути, проплывая мимо галиота, заграбастал ту славную добычу, что мы только-только разобрали.

Из рассказа Николя становится понятно, что нотариус хотел, прибегнув к двойному преступлению, разом избавиться и от Лилии-Марии, и от г-жи Серафен, заставив старуху угодить в ту же самую западню, которая, как она думала, была расставлена для одной только Певуньи.

Надо ли повторять, что, с полным основанием опасаясь, как бы Сычиха с минуты на минуту не рассказала Лилии-Марии, что та в раннем детстве была брошена г-жой Серафен, Жак Ферран был крайне заинтересован в том, чтобы заставить молодую девушку исчезнуть навсегда, ибо ее жалоба могла причинить ущерб его богатству и сильно повредить его репутации.

Что же касается г-жи Серафен, то, принося ее в жертву, нотариус избавлялся таким образом от одного из своих сообщников (другим его сообщником был Брадаманти), которые могли бы погубить его, правда, погибнув при этом и сами; но Жак Ферран полагал, что могила сохранит его тайны надежнее, чем чувство самосохранения этих людей.

Вдова казненного и Тыква внимательно слушала рассказ Николя, который прерывал его только обильными возлияниями. Вот почему он говорил со все большим возбуждением.

– Это еще не все, – похвалялся он, – я тут затеял еще одно дельце вместе с Сычихой и Крючком с Бобовой улицы. Это знатная затея, и мы все лихо обдумали; если наш план не сорвется, прожива будет на славу, скажу не хвастаясь. Мы решили выпотрошить одну торговку драгоценностями, у нее порою в плетеной сумке, которую она носит с собой, бывает брильянтов тысяч на пятьдесят.

– На пятьдесят тысяч франков! – воскликнули мать и дочь, и глаза у них загорелись от алчности.

– Да... уж никак не меньше. Краснорукий с нами в доле. Вчера он уже пригласил к себе эту торговку, написал ей письмо, а мы с Крючком отнесли его писульку на бульвар Сен-Дени. Ну и ловкач же этот Краснорукий! Так как у негa деньжата водятся, его никто не остерегается. Чтобы заманить торговку; он уже продал по ее просьбе брильянтов на четыреста франков. Так что она не побоится прийти под вечер в его кабачок на Елисейских полях. Мы там хорошенько спрячемся. Тыква тоже с нами пойдет, будет стеречь мою лодку на Сене, у берега. Коли понадобится отвезти торговку – живую или мертвую, – вот и удобный экипаж готов, да такой, что следов после себя не оставляет. Да уж, придумка так придумка! У этого прощелыги Краснорукого, как говорится, ума палата!

– А я никогда не доверяла твоему Краснорукому, – заявила вдова. – Особенно после этой истории на Монмартре, когда твой брат Амбруз угодил в Тулон, а Краснорукий вышел сухим из воды.

– Потому как против него улики не нашлось – он ведь до того хитер!.. Но чтобы он продал других... Нет, никогда!

Вдова только покачала головой с таким видом, будто она лишь наполовину была убеждена в «порядочности» Краснорукого.

Немного подумав, она сказала:

– Мне больше по душе это дело с набережной Бийи, что намечено на завтрашний или послезавтрашний вечер... ну, когда надо утопить двух женщин... Вот только Марсиаль будет нам помехой... как всегда...

– Когда наконец дьявол избавит нас от твоего Марсиаля?.. – заорал Николя, уже сильно захмелевший, и с яростью вонзил свой длинный нож в крышку стола.

– Я уже говорила матушке, что он у нас в печенках сидит, что так дольше продолжаться не может, – подхватила Тыква. – До тех пор пока он будет здесь торчать, из малышей толка не будет...

– А я вам говорю, что с него, негодяя, станется в один прекрасный день донести на нас! – крикнул Николя. – Видишь ли, мать... вот если б ты меня послушала... – прибавил он со зверским выражением лица и многозначительно поглядел на вдову, – все бы и устроилось....,

– Есть и другие средства.

– Лучше моего средства не найдешь! – настаивал злодей.

– Пока еще... нет, – ответила вдова так решительно, что Николя прикусил язык: он всецело находился под влиянием матери, зная, что она так же зла и преступна, как он сам, но гораздо более решительна и властна.

Между тем вдова прибавила:

– Завтра утром он навсегда уедет с острова.

– Это почему? – в один голос спросили Тыква и Николя.

– Он скоро придет; затейте с ним ссору... только действуйте смелее, открыто... до сих пор вы ни разу еще не отважились на это... но ведь вас будет двое, да и я вам помогу... Только нож в ход не пускать... я не хочу крови... его надо избить, но не ранить.

– Ну а потом, ну а затем, мать? – спросил Николя.

– Потом... мы с ним потолкуем... Мы потребуем, чтобы он убрался с острова завтра же... а не то такие потасовки будут происходить каждый вечер... Я его хорошо знаю, постоянные драки ему не по душе. До сих пор мы его почти не трогали, оставляли в покое.

– Да, но ведь он упрям как мул; он, может, все-таки захочет остаться тут из-за детей... – сказала Тыква.

– Да, он законченный негодяй... и дракой его не испугаешь, – прибавил Николя.

– Одной дракой не запугаешь... – согласилась вдова. – Но если потасовки будут каждый день, изо дня в день... такого ада он не выдержит... и уступит...

– А коли не уступит?

– Тогда есть у меня еще одно надежное средство заставить его убраться этой же ночью, самое позднее завтра утром, – сказала вдова со странной усмешкой.

– Правда, мать?

– Да, только я предпочла бы испугать его постоянными драками; ну а коли ничего не выйдет... тогда прибегну к тому средству.

– А ежели и то средство не поможет? – спросил Николя.

– Всегда есть крайнее средство, а уж оно-то всегда помогает, – ответила вдова.

Внезапно дверь распахнулась, и вошел Марсиаль.

Ветер снаружи завывал с такой силой, что сидевшие в кухне не слышали лая собак, возвещавшего о приходе старшего сына вдовы казненного.

Глава II МАТЬ И СЫН

Не подозревая о дурных намерениях своих родичей, Марсиаль медленно вошел в кухню. Несколько слов, сказанных Волчицей в ее разговоре с Лилией-Марией, уже дали читателю некоторое представление о странном образе жизни этого человека.

Будучи от природы добрым малым, не способным совершить по-настоящему низкий или предосудительный поступок, Марсиаль тем не менее вел не слишком-то правильную жизнь. Он

ловил рыбу, нарушая все правила и установления, а его сила и отвага внушали такой страх инспекторам по рыболовству, что они закрывали глаза на то, что он браконьерствовал на реке.

Помимо этого, можно сказать, не вполне законного промысла, Марсиаль прибегал к занятию уже и вовсе не дозволенному.

Храбрый, вызывавший страх у окружающих, он охотно участвовал – причем не столько из жадности, сколько от сознания своей силы и мужества – в кулачных боях и драках на дубинках, защищая тех, чьи противники были сильнее; надо добавить, что Марсиаль весьма придирчиво и справедливо отбирал своих «подопечных», которых защищал с помощью мощных кулаков: как правило, он принимал сторону слабого человека, обиженного более сильным.

Лицом любовник Волчицы походил на Франсуа и Амандину; он был среднего роста, коренастый и широкоплечий; его густые рыжие волосы, подстриженные ежиком, спускались на довольно широкий лоб пятью клинышками; густая, жесткая и короткая борода, широкоскулые щеки, крупный, резко очерченный нос, синие глаза, отважный взгляд – все это придавало его мужественному лицу выражение необыкновенной решительности.

На голове у него была клеенчатая шляпа; несмотря на холодную пору года, он носил поверх куртки и штанов из грубого, сильно поношенного бумажного велюра только вылинявшую голубую блузу. В руке у него была большая суковатая дубинка, которую он положил рядом с собою на буфет.

Крупная кривоногая такса черного окраса с красноватыми подпалинами вошла в кухню вслед за Марсиалем; но она остановилась на пороге, не решаясь подойти ни к огню, ни к сотрапезникам, уже сидевшим за столом: опыт подсказывал старому Миро (там звали пса – давнего спутника Марсиаля в его браконьерских занятиях), что он, как и его хозяин, симпатиями в этой семье не пользовался.

– А где же дети?

С этими словами Марсиаль присел к столу.

– Дети находятся там, где находятся, – язвительно ответила Тыква.

– Мать, а где дети? – снова спросил – Марсиаль, пропустив мимо ушей ответ сестры.

– Они спать пошли, – сухо ответила вдова.

– А они что же, не ужинали, мать?

– Слушай, ты, а какое тебе до этого дело? – грубо крикнул Николая, хватив перед этим большой стакан вина для храбрости, ибо характер и сила брата были ему хорошо известны.

Марсиаль обратил внимание на грубый выпад Николая не больше, чем на вызывающий ответ Тыквы, и снова обратился к матери:

– Мне не по душе, что детей уже отправили спать.

– Тем хуже... – сказала в ответ вдова.

– Вот именно, тем хуже!.. Потому что я люблю, чтобы за ужином они сидели возле меня.

– А нам они надоели, потому мы их и выпроводили! – заорал Николая. – А коли тебе не нравится, ступай и разыщи их!

Удивленный Марсиаль кристально поглядел на брата. Потом, как видно, решив, что ссориться ни к чему, он молча пожал плечами, отрезал толстый ломоть хлеба и кусок мяса.

Такса между тем подошла к Николаю, держась, правда, на почтительном расстоянии; злодей, разозленный презрительным равнодушием брата и надеясь вывести его из терпения, обидев собаку, с такой силой ударил Миро ногою, что пес жалобно завизжал.

Марсиаль побагровел, судорожно сжал в руке нож и грохнул кулаком по столу; но, все еще сдерживаясь, он кликнул собаку и ласково сказал ей:

– Пойди сюда, Миро.

Такса улеглась у ног своего хозяина.

Такая сдержанность разрушала планы Николая; он хотел вывести брата из терпения, чтобы завязать ссору.

И потом он прибавил:

– А я, я вообще не люблю собак... не желаю я, чтобы твой пес оставался на кухне!..

Ничего не ответив, Марсиаль налил себе стакан вина и стал медленно пить.

Обменявшись быстрым взглядом с Николя, вдова молча подбодрила его и сделала ему знак продолжать враждебные выпады против Марсиаля, рассчитывая, как мы уже говорили, что бурная ссора приведет к полному разрыву с ним и заставит его уйти из дома.

Николя встал с места, взял возле очага ивовый прут, которым вдова избивала Франсуа, и, подойдя к таксе, больно стегнул ее, проговорив:

– Пошел вон отсюда, Миро!

До этого дня Николя не раз, но всегда осторожно и исподтишка задевал Марсиаля, но никогда еще он не осмеливался вести себя так нагло и с такой настойчивой враждебностью.

Возлюбленный Волчицы, догадываясь, что с какой-то непонятной целью его хотят вывести из себя, удвоил свою сдержанность.

Услышав визг собаки, которую ударил Николя, Марсиаль встал, отворил дверь из кухни, выпустил таксу наружу и снова вернулся к столу.

Это необъяснимое терпение, так мало отвечавшее обычно вспыльчивому нраву Марсиаля, озадачило его недоброжелателей... Они были изумлены и переглядывались с непонимающим видом.

Марсиаль, казалось, оставался совершенно чужд происходящему, он с высокомерным видом продолжал есть и хранил глубокое молчание.

– Тыква, убери вино, – приказала вдова дочери.

Та поспешно кинулась выполнять это приказание, но Марсиаль сказал:

– Погоди... я еще не кончил ужинать.

– Тем хуже! – прошипела вдова и сама убрала бутылку со стола.

– Ах, так!.. Тогда другое дело!.. – сказал возлюбленный Волчицы.

Он налил себе большой стакан воды, выпил, прищелкнул языком и объявил:

– До чего ж хороша водичка!

Столь непоколебимое хладнокровие распалило ненависть Николя, уже сильно возбужденного обильными возлияниями; тем не менее он еще побаивался начать открытую атаку, хорошо зная недюжинную силу своего брата; внезапно он закричал, в восторге от собственной выдумки:

– Ты хорошо поступил, подчинившись нашему обращению с твоей таксой, Марсиаль; тебе надо бы взять такое поведение за обычай; потому как ты подготовься к тому, что мы пинками выгоним твою любовницу, как только что выгнали твою собаку.

– Да, да... ежели, на свою беду, Волчица, выйдя из тюрьмы, вздумает заявиться сюда, – подхватила Тыква, догадавшись о намерениях Николя, – я сама надаю ей знатных оплеух!

– Ну а я заставлю ее нырнуть в тину возле лачуги, что стоит на остроконечном берегу острова, – подхватил Николя. – А коли она вынырнет на поверхность, я опять загоню ее в ил пинками моих башмаков... твою стерву...

Эта брань, адресованная Волчице, которую Марсиаль любил с дикой страстью, взяла верх над его мирными намерениями; он нахмурил брови, вся кровь бросилась ему в лицо, жилы на его лбу набухли и напоминали теперь веревки; и все же у него хватило самообладания, и он только сказал брату слегка задрожавшим от сдержанного гнева голосом:

– Слушай, поберегись... ты ищешь ссоры, а получишь такую выволочку, какой не ждешь...

– Я получу выволочку... от тебя?

– Да, от меня... и я угощу тебя почище, чем в прошлый раз.

– Как, Николя! – с деланным удивлением язвительно спросила Тыква. – Разве Марсиаль тебя поколотил?.. Подумать только! Матушка, вы слышите?.. Теперь меня больше не удивляет, что Николя так его боится.

– Он меня поколотил... потому что напал сзади! – крикнул Николя, побелев от ярости.

– Лжешь; это ты на меня напал исподтишка, и я тебе задал трепку, а потом мне тебя стало жаль; но если ты еще раз посмеешь говорить такие гадости о моей возлюбленной... слышишь, о моей возлюбленной... тогда уж пощады не жди... У тебя долго не пройдут синяки и следы от побоев.

– А если я захочу поговорить в таком духе о Волчице? – спросила Тыква.

– Я дам тебе пару затрещин для начала, ну а коли ты опять примешься ее оскорблять... я

тебя так отдую...

– Ну а если о ней заговорю я? – медленно спросила вдова.

– Вы, матушка?

– Да... я.

– Вы? – переспросил Марсиаль, изо всех сил стараясь сдержаться. – Вы?

– Ты и меня поколотишь, не так ли?

– Нет, но если вы будете дурно говорить о Волчице, я вздую Николая; ну, а так, как знаете... это ваше дело... да и его тоже.

– Это ты-то, ты меня поколотишь!!! – в ярости завопил злодей, размахивая своим грозным каталонским ножом.

– Николая... оставь нож! – крикнула вдова, быстро поднимаясь с места, чтобы схватить сына за руку, но тот, опьянев от вина и гнева, вскочил, грубо оттолкнул мать и кинулся на старшего брата.

Марсиаль стремительно отступил назад, схватил свою толстую суковатую дубинку, которую он, войдя в кухню, положил на буфет, и занял оборонительную позицию.

– Николая, брось нож! – повторила вдова.

– Да не мешайте вы ему! – закричала Тыква, схватив топорик черпальщика.

Николя, все еще размахивая своим ужасным ножом, выжидал удобной минуты, чтобы наброситься на брата.

– Я тебя предупреждаю, – вопил он, – что тебя и твою дрянь Волчицу я истреблю, а сейчас начну с тебя... Ко мне, матушка... ко мне, Тыква! Остудим-ка его, слишком долго мы терпели!

Сочтя, что удобный момент для нападения наступил, этот разбойник кинулся на брата, выставив вперед нож.

Марсиаль, опытный боец на дубинках, быстро отскочил в сторону, поднял дубинку, и она с быстротой молнии, описав в воздухе восьмерку, с размаху опустилась на правое предплечье Николая; сила эта неожиданного и болезненного удара была такова, что тот выронил нож.

– Негодяй... ты сломал мне руку! – завопил Николая, схватившись левой рукой за правую, повисшую вдоль тела как плеть.

– Не бойся, не сломал, я почувствовал, как дубинка отскочила, – спокойно ответил Марсиаль, отшвырнув ударом ноги нож, отлетевший под стойку.

Затем, воспользовавшись болью, которую испытывал Николая, Марсиаль схватил брата за шиворот, резко отпихнул его назад и потащил к двери в небольшой погреб, о котором мы уже упоминали; отворив эту дверь одной рукой, он другою втолкнул Николая, ошеломленного этим внезапным нападением, в темный погреб и захлопнул дверь.

Затем, вернувшись к обоим женщинам, Марсиаль схватил Тыкву за плечи и, несмотря на ее ожесточенное сопротивление и на то, что она топориком слегка поранила его руку, не обращая внимания на ее дикие вопли, запер сестру в низкой зале кабачка, примыкавшей к кухне.

После чего, обратившись к матери, которая не пришла еще в себя при виде этого столь же ловкого, сколь и неожиданного маневра своего старшего сына, Марсиаль холодно сказал ей:

– Ну, а теперь, мать, потолкуем вдвоем.

– Ладно! Согласна... потолкуем вдвоем!.. – громко сказала вдова, и ее обычно бесстрастное лицо оживилось, мертвенно-бледная кожа слегка порозовела, обычно тусклые глаза загорелись мрачным огнем: гнев и ненависть придали ее физиономии ужасный вид. – Ладно, потолкуем вдвоем!.. – продолжала она с угрозой в голосе. – Я ждала этой минуты, ты наконец-то узнаешь обо всем, что у меня на душе.

– И я, я тоже выскажу вам все, что у меня на душе.

– Проживи еще хоть сто лет, но этой ночи ты не забудешь, так и знай...

– Да, я ее не забуду!.. Брат и сестра собирались меня уколошить, а вы ничего не сделали, чтобы помешать им... Но мы еще поглядим: ладно, говорите... что вы имеете против меня?

– Что я имею против тебя?..

– Вот именно...

– После гибели твоего отца... ты вел себя трусливо и подло!

– Я?

– Да, ты трус!.. Вместо того чтобы жить с нами и поддерживать нас, ты отправился в Рамбулье и браконьерствовал в тамошних лесах с этим продавцом дичи, с которым ты спознался в Берси.

– Останься я тут, с вами, я был бы сейчас на каторге, как Амбруаз, или мог бы вот-вот туда угодить, как Николя; я не хотел стать таким вором, как все вы... потому-то вы меня и ненавидите.

– А каким ремеслом ты занимаешься? Воруешь дичь, воруешь рыбу, только воруешь, не подвергая себя опасности, воруешь трусливо!..

– Рыба, как и дичь, никому не принадлежит; нынче они – у одного, завтра – у другого, надо только суметь их поймать... Нет, я не ворую... А что до того, трус ли я...

– Ну да, ты за деньги избиваешь людей, тех, кто послабее тебя!

– Потому что они сами избивали тех, кто слабее их.

– Трусливое ремесло... ремесло для труса!..

– Есть более достойные занятия, это правда; да только не вам меня судить!

– Отчего же ты тогда не взялся за эти более достойные занятия, вместо того чтобы заявляться сюда, бездельничать и жить на мой счет?

– Я приношу вам рыбу, которую мне удастся поймать, и все те деньги, что мне удастся заработать!.. Это немного, но этого хватает на жизнь... я вам ничего не стою... Я попробовал было сделаться слесарем, чтобы зарабатывать побольше... но когда человек с самого детства привык бродяжничать, проводить время на реке или в лесу, прижиться в другом месте трудно; с этим ничего не поделаешь... такой уж мой удел... А потом, – прибавил сумрачно Марсиаль, – мне всегда было по душе жить одному на реке или в лесу... Там никто не приставал ко мне с расспросами. А всюду в других местах только и говорят о моем отце, и мне приходится отвечать, что он погиб на гильотине! Судачат о моем брате-каторжнике! О моей сестре-воровке!

– Ну а что ты говоришь о своей матери?

– Я говорю...

– Что же именно?

– Я говорю, что она умерла.

– И хорошо делаешь; я и в самом деле как умерла... Я отрекаюсь от тебя, трус! Твой брат на каторге! Твой дед и твой отец храбро кончили жизнь на эшафоте, смеясь в лицо священнику и палачу! Вместо того чтобы отомстить за них, ты дрожишь от страха!..

– Отомстить за них?

– Да, вести себя, как подобает истинному Марсиалю, плевать на нож дяди Шарло и на его красный плащ и кончить свою жизнь как твой отец и твоя мать, как твой брат и сестра...

Хотя Марсиаль и привык к свирепой экзальтации своей матери, он не мог подавить дрожь.

Когда вдова казненного произносила последние слова, лицо ее было ужасно.

Она опять заговорила со все возрастающей яростью:

– Да, ты трус! И не просто трус, но вдобавок и болван! Захотел быть честным!!! Честным? Но разве тебя не будут вечно презирать и гнать как сына убийцы, как брата каторжника! А ты, вместо того чтобы копить в душе месть и ненависть, ты предаешься страху! Вместо того чтобы кусать недругов, ты спасаешь свою шкуру! Когда они послали твоего отца на гильотину... ты нас бросил... трус! А ты ведь хорошо знал, что мы не можем уехать с этого острова и переселиться в город, потому что нам вслед улюлюкали, в нас швыряли камнями как в бешеных псов! О, они нам за это заплатят, понятно?! Они нам за все заплатят!!!

– Я не испугаюсь не только одного противника, но даже десятка противников, но позволять, чтобы все свистели и улюлюкали тебе вслед, потому что ты сын убийцы и брат каторжника... ну нет, на это я не согласен! Это не по мне... я предпочел уйти в леса и браконьерствовать там вместе с продавцом дичи Пьером.

– Вот и оставался бы там... в своих лесах.

– Я вернулся потому, что у меня тут одно дело с полевым сторожем, а главное – из-за детей..., потому как они теперь в таком возрасте, что дурной пример может и их заставить пойти

по дурной дорожке.

– А тебе-то что до этого?

– А то, что я не хочу, чтобы они стали такими же проходимцами, как Амбруаз, Николя и Тыква...

– Просто ушам своим не верю!

– А если они останутся одни со всеми вами, им не избежать общей участи. Я стал было учиться ремеслу, чтобы заработать деньги и забрать с собою детей, увезти их с этого острова... но в Париже все знают... и там я оставался сыном погибшего на гильотине... братом каторжника... мне пришлось всякий день вступать в драки... и я в конце концов от этого устал.

– А вот быть честным ты не устал... тебе это до того нравилось!.. Вместо того чтобы собраться с духом и вернуться к нам, чтобы стать таким, какими станут дети... вопреки твоей воле... да, вопреки твоей воле... Ты думаешь увлечь их своей рыбной ловлей... но мы тут, начеку... Франсуа уже наш... почти наш... нужен подходящий случай, и он вступит в шайку...

– А я вам говорю, что нет...

– Сам убедишься, что да... уж я в таких делах разбираюсь... В его душе уже живет порок, вот только ты мешаешь... А что до Амандины, то как только ей исполнится пятнадцать лет, она пойдет по известной дорожке... Да, в нас швыряли камнями! Да, нас гнали как бешеных псов!.. Но они еще увидят, что такое наша семья, все мы, кроме тебя, трус, ибо здесь только тебя одного нам приходится стыдиться.⁷

– Очень жаль.

– А так как, оставаясь с нами, ты можешь испортиться... завтра ты отсюда уйдешь и никогда больше не появишься...

Марсиаль с удивлением посмотрел на мать; после короткого молчания он спросил:

– Вы и затеяли за ужином ссору со мной, чтобы этого добиться?

– Да, чтобы показать тебе, что тебя ожидает, если ты, против нашей воли, захочешь тут остаться. Тебя ждет ад... слышишь... сущий ад!.. Каждый день будут ссоры, тумачки, потасовки, и мы не будем одни, как сегодня вечером; нам на помощь придут друзья... ты и недели не выдержишь...

– Вы надеетесь меня запугать?

– Просто я говорю тебе, как это будет...

– Мне все равно... я остаюсь...

– Ты останешься здесь?

– Да.

– Против нашей воли?

– Против вашей воли, против воли Тыквы, против воли Николя, против воли всех прощелыг его пошиба!

– Ну знаешь... мне просто смешно.

В устах этой женщины со зловещим и свирепым лицом слова эти прозвучали устрашающе.

⁷ Эти ужасные доводы, к сожалению, вовсе не преувеличены. Вот что можно прочесть в превосходном докладе г-на де Бретиньера о положении в исправительной колонии в Метрэ (заседание от 12 марта 1842 г.):

«Гражданское состояние содержащихся в колонии тоже важно отметить: среди них насчитывается тридцать два незаконнорожденных, тридцать четыре ребенка, которых родители бросили, сочетавшись новым браком, у пятидесяти одного воспитанника родители в тюрьме, у ста двадцати четырех родители не подвергались судебным преследованиям, но ведут нищенский образ жизни.

Эти цифры весьма красноречивы и поучительны: они позволяют понять не только последствия, но и причины, и оставляют надежду остановить рост зла, источники которого таким образом установлены.

Количество преступных родителей способствует тому порочному воспитанию, которое получили дети, опекаемые подобными «наставниками». Приученные ко злу своими родителями, дети совершали дурные поступки, повинуюсь их приказам и следуя дурным примерам. Подвергаясь судебному преследованию, они покорно разделяют судьбу своих близких; отправляясь с ними в тюрьму, они как бы состязаются в пороке, и поистине необходимо, чтобы в этих грубых и исковерканных натурах, чудом сохранялись отблески божественной благодати, чтобы семена честности не заглохли в их душах».

– Я вам повторяю, что останусь тут до тех пор, пока не найду способа зарабатывать на жизнь в другом месте, а тогда заберу отсюда детей; будь я один, мне бы долго думать не пришлось: я вернулся бы в леса; но из-за них мне понадобится время... чтобы подыскать работу, какую я ищу... А покамест я остаюсь.

– Ах, так! Ты остаешься... до тех пор, пока сможешь забрать детей?

– Вы в самую точку попали!

– Собрался забрать отсюда детей?

– Как только я им скажу: идемте со мной, они не только пойдут, но побегут за мной, уж в этом-то я ручаюсь.

Вдова пожала плечами, а потом опять заговорила:

– Слушай: я тебе только что сказала, что проживи ты хоть сотню лет, ты этой ночи не забудешь; так вот, я тебе сейчас объясню почему; но прежде повтори: ты твердо решил не уходить отсюда?

– Да, да! Тысячу раз «да»!

– Скоро ты скажешь «нет» и прибавишь: «тысячу раз «нет»! Слушай же внимательно... Ты знаешь, чем занимается твой брат?

– Подозреваю, но знать этого не хочу...

– Так знай, он ворует...

– Тем хуже для него.

– И для тебя тоже...

– А я – то при чем?

– Он ворует по ночам, часто со взломом, а за это полагается каторга; коли его поймают, нас всех отправят туда же как укрывателей и скупщиков краденого, тебя тоже осудят; заметут всю семью, и дети окажутся на улице, там они быстро научатся ремеслу твоего отца и деда, научатся еще скорее, чем дома.

– Меня арестуют как укрывателя краденого и вашего сообщника? А на каком основании?

– Все знают, как ты живешь: браконьерствуешь на реке, бродяжничаешь, у тебя дурная слава, и живешь ты вместе с нами; кого ты убедишь, кто тебе поверит, будто ты не знал, что мы ворует и укрываем краденое?

– А я докажу, что не знал.

– Да мы сами объявим тебя своим сообщником.

– Объявите сообщником? Почему?

– В отплату за то, что ты пожелал остаться тут против нашей воли.

– Только что вы хотели запугать меня одним способом, теперь хотите добиться этого по-другому; но у вас ничего не выйдет, я докажу, что никогда не воровал. И я остаюсь.

– Ах, ты остаешься! Ну, тогда слушай дальше. Помнишь, что у нас тут происходило в прошлом году в рождественскую ночь?

– В рождественскую ночь? – переспросил Марсиаль, роясь в воспоминаниях.

– Подумай... подумай хорошенько...

– Нет, ничего я не припоминаю...

– Разве ты не помнишь, что Краснорукий привел сюда в тот вечер хорошо одетого господина, которому почему-то надо было скрываться?..

– Да, теперь я припоминаю; я ушел к себе наверх спать, а он остался с вами ужинать...

Ночь он провел в доме, а на рассвете Николя отвез его в Сент-Уэн...

– А ты уверен, что Николя отвез его в Сент-Уэн?

– Вы мне сами утром так сказали.

– Стало быть, в рождественскую ночь ты был дома?

– Ну был... и что из того?

– В ту ночь... человек этот, у которого было много денег с собой, был убит в нашем доме.

– Убит?.. Здесь?..

– Сперва ограблен: потом убит и зарыт в нашем дровянике.

– Быть того не может! – крикнул Марсиаль, побледнев от ужаса и не желая поверить в это

новое преступление его родных. – Вы просто хотите меня запугать. Еще раз повторяю: быть того не может!

– А ты расспроси своего любимчика Франсуа, спроси его, что он обнаружил нынче утром в дровяном сарае?

– Франсуа? А что он такое обнаружил?

– Он увидел, что из-под земли высовывается чужья нога... Возьми фонарь, сходи туда и сам во всем убедишься.

– Нет, – проговорил Марсиаль, вытирая холодный пот со лба, – нет, не верю я вам... Вы это говорите для того, чтобы...

– Чтобы доказать тебе, что ежели ты против нашей воли останешься тут, то можешь в любую минуту попасть под стражу как соучастник в ограблении и убийстве; ты был в доме в рождественскую ночь; мы скажем, что ты помог нам в этом деле. Как ты докажешь противное?

– Господи! Господи! – пробормотал Марсиаль, закрыв лицо руками.

– Ну, а теперь ты уйдешь? – спросила вдова с язвительной усмешкой.

Марсиаль был ошеломлен: к несчастью, он больше не мог сомневаться в том, что мать сказала ему правду; бродячая жизнь, которую он вел, то, что он жил в столь преступной семье, и в самом деле должно было навлечь на него самые ужасные подозрения, и подозрения эти могли превратиться в твердую уверенность в глазах служителей правосудия, если бы мать, брат и сестра указали на него как на своего сообщника.

Вдова наслаждалась тем, как был подавлен ее сын.

– У тебя, правда, есть способ избежать неприятностей: донеси на нас сам!

– Стоило бы так сделать... но я этого не сделаю... и вы это хорошо знаете.

– Потому-то я тебе все и рассказала... Ну, а теперь ты уберешься отсюда?

Марсиаль попробовал разжалобить эту мегеру; глухим голосом он сказал:

– Мать, я не верю, что вы способны на убийство...

– Это как тебе угодно, но убирайся отсюда.

– Я уйду, но только с одним условием.

– Никаких условий!

– Вы отдадите детей обучаться какому-нибудь ремеслу... далеко отсюда... в провинции...

– Дети останутся здесь...

– Скажите, мать, когда вы сделаете их похожими на Николя, на Тыкву, на Амбруаза, на моего отца... что это вам даст?

– А то, что они станут нам помогать в нужных делах... нас и так уже слишком мало... Тыква неотлучно находится со мной, помогает обслуживать посетителей кабачка. Николя работает один: хорошенько получившись, Франсуа и Амандина будут ему добрыми помощниками, в них ведь тоже швыряли камнями, в них, в малышей... так что пусть и они мстят!

– Скажите, мать, вы ведь любите Тыкву и Николя, не так ли?

– И что из этого?

– Если дети станут им подражать... если ваши и их преступления раскроют...

– Дальше!

– Они ведь взойдут на эшафот, как и отец...

– Ну, говори дальше, говори!

– И ожидающая их судьба вас не страшит?!

– Их судьба будет такой же, как и моя, не хуже и не лучше... Я ворую, и они воруют; я убиваю, и они убивают; кто возьмет под стражу мать, возьмет под стражу и детей... Мы разлучаться не станем. Коли наши головы слетят с плеч, они упадут в одну и ту же корзину... и тогда мы простимся друг с другом! Нет, мы не отступим; в нашей семье только один трус, это ты, и мы тебя прогоняем... убирайся отсюда!

– Но дети! Дети!

– Дети вырастут! Говорю тебе, что, если бы не ты, они бы уже сейчас были с нами, Франсуа уже почти готов на все, а когда ты уйдешь, Амандина быстро наверстает упущенное время...

– Мать, я умоляю вас, согласитесь отправить детей подальше отсюда, пусть их обучат ка-

кому-нибудь ремеслу.

– Сколько раз повторять тебе, что их хорошо обучают здесь?!

Вдова казненного произнесла последние слова с такой непреклонностью, что Марсиаль утратил последнюю надежду смягчить эту душу, выкованную из бронзы.

– Ну, коли так, – сказал он отрывисто и решительно, – теперь хорошенько выслушайте меня в свой черед, мамаша... Я остаюсь.

– Ха-ха-ха!

– Я останусь, но не в этом доме... тут меня уколошит Николя или отравит Тыква; но так как в другом месте мне покамест жить не на что, я вместе с детьми поселюсь в лачуге на краю острова; дверь там крепкая, да я ее еще закреплю... Находясь там, да вдобавок хорошо забаррикадировавшись, имея под рукой мое ружье, дубинку и пса, я никого не боюсь. Завтра утром я заберу отсюда детей; днем они будут возле меня – либо в лодке, либо в лесу; а ночью мы будем спать все вместе в этой лачуге; пропитание мы станем добывать себе рыбной ловлей; и так будет до тех пор, пока я найду способ их пристроить, а я его найду...

– Ах, вот что ты надумал!

– Ни вы, ни мой братец, ни Тыква не можете этому помешать, не так ли?.. Если ваши кражи и убийство обнаружат, пока я еще буду на острове... тем хуже, но я готов на риск! Я объясню, что я возвратился сюда и остался тут ради детей, для того чтобы помешать вам превратить их в негодяев... Пусть меня даже судят... Но разрази меня гром, если я уеду с острова или если дети хотя бы еще один день останутся в этом доме!.. Да, я вам бросаю вызов, вам и вашим сообщникам: попробуйте-ка прогнать меня с острова!

Вдова хорошо знала решительный нрав Марсиаля; дети не только побаивались старшего брата, но и любили его; так что они без колебаний пойдут за ним туда, – куда он захочет. Что же касается его самого, хорошо вооруженного, готового на все, постоянно остающегося начеку, – ведь он весь день будет в своей лодке, а ночь будет проводить, укрывшись и хорошо забаррикадировавшись в своей лачуге на берегу, – то ему нечего будет опасаться злобных намерений своих родичей.

Таким образом, план Марсиаля мог успешно осуществиться... Однако у вдовы было множество причин, чтобы помешать этому.

Во-первых, подобно тому, как честные ремесленники порою смотрят на своих многочисленных детей как на источник благосостояния, потому что те помогают им в работе, вдова рассчитывала на то, что дети будут помогать семье совершать преступления.

Во-вторых, то, что она говорила о своем желании мстить за мужа и за сына, было правдой. Некоторые люди, выросшие, состарившиеся и закореневшие в преступной деятельности, отваживаются на открытый бунт против общества, вступают с ним в жестокую борьбу и считают, что, совершая новые преступления, они таким способом мстят за кару, пусть даже справедливую, которая обрушилась на них самих или на их близких.

И наконец, в-третьих, зловещим намерениям Николя в отношении Лилии-Марии, а затем и в отношении г-жи Матье присутствие Марсиаля могло серьезно помешать. Вдова надеялась добиться немедленного разрыва между семьей и Марсиалем, либо вызвав ссору между ним и Николя, либо объяснив Марсиалю, что если он будет упорствовать в своем решении оставаться на острове, то рискует прослыть сообщником в нескольких уже совершенных его родными преступлениях.

Столь же хитрая, сколь и прозорливая, вдова, убедившись в ошибочности своих расчетов, поняла, что следует прибегнуть к вероломству для того, чтобы заманить сына в кровавую западню... После продолжительного молчания она вновь заговорила с притворной горечью:

– Теперь мне понятен твой план, сам ты на нас доносить не хочешь, но ты собираешься добиться, чтобы это сделали дети.

– Я собираюсь?

– Они ведь знают теперь, что в сарае зарыт какой-то человек; знают они и то, что Николя только что совершил кражу... Если их отдать в обучение ремеслу, они там все разболтают, нас арестуют, мы все угодим в тюрьму... ты, кстати, тоже: вот что получится, коли я тебя послуша-

юсь и позволю тебе увезти отсюда детей... А ты еще утверждаешь, что не хочешь нам зла!.. Я не прошу тебя любить меня, но не торопи, по крайней мере, час нашей гибели.

Смягчившийся тон вдовы заставил Марсиаля поверить, что его угрозы оказали на нее благотворное влияние – и он попал в расставленную ему ужасную западню.

– Я знаю детей, – продолжал он, – и я уверен, что, если не разрешу им ничего говорить, они никому ничего не скажут... К тому же, так или иначе, я все время буду с ними и отвечаю за то, что они будут молчать.

– Разве можно отвечать за детей, за их болтовню... особенно в Париже, где все так болтливы и любопытны!.. Я хочу, чтобы они оставались тут не только для того, чтобы помогать нам в делах, но и для того, чтобы они не могли нас продать.

– А разве они не ходят иногда в соседний городок или в Париж? Кто им помешает там разговариваться... если им того захочется? Вот если бы они были далеко отсюда, пожалуйста, в добрый час! Все, о чем бы они ни рассказали, никакой опасностью грозить не будет...

– Далеко отсюда? А где именно? – спросила вдова, в упор глядя на сына.

– Вы только позвольте мне их увезти... а куда, вас не касается...

– А на что ты будешь жить, да и они тоже?

– Мой прежний хозяин, владелец слесарной мастерской, славный человек; я ему скажу все что надо, и, может, он даст мне займы немного денег, ради детей; тогда я смогу отдать их в обучение куда-нибудь подальше отсюда. Мы уедем через два дня, и вы больше никогда о нас не услышите...

– Нет, все-таки... я хочу, чтобы они остались со мной, так я буду спокойнее за них.

– Ну, тогда я завтра же устраиваюсь в лачуге на берегу в ожидании лучшего... Я ведь тоже упрям, вы мой нрав знаете!..

– Да, хорошо знаю... Ох, как бы я хотела, чтобы ты оказался далеко отсюда! И чего ты только не остался у себя в лесу?

– Я вам предлагаю избавиться сразу и от меня и от детей...

– Стало быть, ты оставишь тут Волчицу? А ты ее вроде так любишь?.. – внезапно сказала вдова.

– А вот это уж мое дело, я знаю, как поступить, у меня есть своя задумка...

– Если я позволю тебе увезти Амандину и Франсуа, обещаешь, что вашей ноги никогда в Париже не будет?

– Не пройдет и трех дней, как мы уедем и считай что умрем для вас.

– По мне, уж лучше так, чем видеть, что ты тут торчишь, и все время опасаться детей... Ладно уж, коли надо на что-то решиться, забирай детей... и убирайся с ними как можно скорее... чтоб мои глаза вас больше вовек не видели!

– Решено?!

– Решено. А теперь отдай мне ключ от погреба, я хочу выпустить оттуда Николая.

– Нет, пусть он сперва как следует протрезвится; я отдам вам ключ завтра утром.

– А как с Тыквой?

– Это другое дело; выпустите ее, когда я поднимусь к себе; мне на нее глядеть противно...

– Ступай... И хоть бы ты поскорее провалился в преисподнюю!

– Это все, что вы мне хотите сказать на прощание?

– Да, все...

– К счастью, это наше последнее прощание.

– Самое последнее... – пробурчала вдова.

Марсиаль зажег свечу, отворил дверь кухни, свистнул свою собаку, которая с радостным визгом прибежала со двора и последовала за своим хозяином на верхний этаж.

– Ступай, наши счета с тобой покончены! – прошептала вдова, погрозив кулаком вслед сыну, который поднимался по лестнице. – Но ты того сам захотел.

Затем с помощью Тыквы, которая разыскала и принесла связку отмычек, вдова отомкнула дверь погреба, где сидел Николай, и выпустила своего сынка на свободу.

Глава III ФРАНСУА И АМАНДИНА

Франсуа и Амандина спали в небольшой комнате, расположенной прямо над кухней, в конце коридора, куда выходило несколько других комнат, служивших общими залами для завсегдатаев кабачка.

Разделив на двоих свой скудный ужин, дети, вместо того чтобы потушить фонарь, как приказала им вдова, бодрствовали, оставив дверь полуоткрытой, чтобы не пропустить минуты, когда их брат Марсиаль пройдет мимо, направляясь в свою комнату.

Пристроенный на хромоногой скамеечке, фонарь отбрасывал слабый свет сквозь свой прозрачный рожок.

Грубо оштукатуренные стены комнатухи, убогое ложе для Франсуа и старая детская кровать, ставшая уже слишком короткой для Амандины, груда нагроможденных друг на друга стульев и скамей, разбитых и расколотых шумными посетителями таверны острова Черпальщика, составляли жалкое убранство этого чулана.

Амандина, сидя на краю кровати, старательно завязывала на лбу косынку из фуляра, украденного Николя, которую он ей подарил.

Франсуа, опустившись на колени, держал осколок зеркала перед лицом сестренки, а она, повернув голову набок, старательно завязывала огромный бант, который она соорудила, стянув на лбу два кончика косынки, торчавшие, как рожки.

Франсуа с таким вниманием и восторгом любовался головным убором Амандины, что на миг отвел в сторону осколок зеркала, так что девочка не могла разглядеть в нем свое личико и головку.

– Приподними зеркало повыше, – сказала Амандина, – а то я теперь совсем себя не вижу... Так, так... хорошо... поддержи еще немного... вот я и кончила... А сейчас погляди! Как по-твоему, идет мне этот убор?

– О, так идет! Так идет!.. Господи! До чего же хорош этот бант... Ты мне сделаешь такой же для моего галстука, ладно?

– Конечно, сделаю, прямо сейчас... но позволь мне прежде немного пройтись по комнате. А ты пойдешь передо мной... пятысь назад, и будешь держать зеркало повыше... чтобы я видела себя на ходу...

Франсуа старательно выполнил этот нелегкий маневр, к величайшему удовольствию Амандины, она просто наслаждалась, шагая с торжественным и радостным видом, увенчанная огромным бантом и рожками из фуляра.

При других обстоятельствах ее кокетство могло бы показаться просто наивным и простодушным, но теперь оно казалось почти преступным, ибо было связано с кражей, о которой и Франсуа и Амандине было хорошо известно. Вот вам еще одно доказательство того, с какой ужасающей легкостью дети, покамест ни в чем не повинные, портятся, даже сами не подозревая о том, когда они живут постоянно в преступной атмосфере и преступном окружении.

К тому же единственный наставник этих злосчастных детей – их брат Марсиаль – и сам был отнюдь не безгрешен; как мы уже говорили; он был не способен совершить кражу, а уж тем более убийство, но тем не менее сам вел бродяжническую и беспорядочную жизнь. Без сомнения, преступления членов его семьи возмущали Марсиаля; он нежно любил обоих детей и защищал их от дурного обращения; он старался вырвать их из-под тлетворного влияния семьи; но так как сам он не опирался на строгие требования нравственности, строжайшей нравственности, то его советы недостаточно оберегали его подопечных от следования дурным примерам. Дети отказывались совершать некоторые дурные поступки не столько из честности, сколько из желания слушаться Марсиаля, которого они искренне любили, а также из нежелания подчиняться требованиям матери, которую они ненавидели и боялись.

Что же касается понимания того, что справедливо, а что несправедливо, то они были бесконечно далеки от такого понимания; каждый день сталкиваясь с отвратительными поступками и проступками, совершавшимися у них на глазах, дети к ним привыкли, ибо, как мы уже говори-

ли, этот сельский кабачок посещали человеческие отбросы, самые дурные представители простонародья, здесь происходили отвратительные оргии и гнусные дебоши; а Марсиаль, ярый враг воров и убийц, довольно безразлично относился к этим непристойным сатурналиям.

Поэтому, хотим мы сказать, представление о нравственности у обоих детей, особенно у Франсуа, были весьма расплывчаты, зыбки и хрупки; этот подросток был в том опасном возрасте, когда растущий человек колеблется между добром и злом и может в любую минуту погибнуть или ступить на стезю спасения... – До чего тебе идет эта красная косынка, сестрица! – воскликнул Франсуа. – Как она хороша! Когда мы пойдем играть на песчаную площадку перед печью для обжига гипса, тебе надо непременно надеть ее, это здорово разозлит детей обжигальщика, они ведь всегда кидают в нас камнями и называют ублюдками казненного... А я, я тоже надену свой красный шейный платок, он ведь так красив! И мы крикнем им в ответ: «Ну и что ж! Зато у вас нет таких славных вещиц из шелка, как у нас!»

– А скажи, Франсуа, – заговорила Амандина, немного подумав, – если б они знали, что моя косынка и твой галстучек украдены, они ведь тогда стали бы обзывать нас воришками?..

– Ну знаешь, пусть только попробуют назвать нас ворами!..

– Понимаешь, когда про тебя говорят неправду... то на это внимания не обращаешь... Но сейчас...

– Раз Николая сам подарил нам эти два лоскута фуляра, стало быть, мы их не украли.

– Так-то оно так, но он-то их стащил на корабле, а наш братец Марсиаль говорит, что воровать нельзя...

– Но ведь воровал-то Николая, так что мы тут ни при чем.

– Ты так думаешь, Франсуа?

– Конечно...

– И все же, мне кажется, было бы лучше, если б тот, кому они принадлежали, сам их нам дал... А ты как считаешь, Франсуа?

– А по мне, все равно... Нам сделали подарок, и он теперь наш.

– Так ты в этом уверен?

– А то как же! Да, да, будь спокойна!..

– Ну тогда... тем лучше: мы не сделали того, что наш братец Марсиаль не велит, и у меня красивая косынка, а у тебя шейный платок.

– Скажи, Амандина, а если бы Марсиаль узнал про тот головной платок, что Тыква на днях велела тебе взять из короба бродячего торговца, когда он повернулся к тебе спиной?

– О Франсуа, зачем ты об этом вспоминаешь! – воскликнула бедная девочка со слезами на глазах. – Мой братец Марсиаль мог бы перестать нас любить... понимаешь... и оставил бы нас тут совсем одних...

– Да ты не бойся... разве я стану ему об этом хоть когда-нибудь говорить? Я просто для смеха сказал...

– О, не смейся над этим, Франсуа; ты знаешь, как я тогда горевала! Но что мне было делать? Ведь сестрица щипала меня до крови, а потом она так страшно... так страшно тарасила на меня глаза... У меня и то два раза духа не хватило, я уж подумала, что так и не решусь никогда... А бродячий торговец ничего и не заметил, и сестре достался головной платок. Ну, а если бы меня поймали, Франсуа, меня бы ведь в тюрьму посадили...

– Но тебя не поймали, а не пойманный – не вор.

– Ты так думаешь?

– Черт побери, конечно!

– А как, должно быть, плохо в тюрьме!

– А вот и нет... напротив...

– То есть как напротив, Франсуа?

– Слушай! Ты ведь знаешь этого колченогого верзилу, что живет в Париже, у папаши Мику, который скупает краденое у Николая... этот папаша Мику содержит в Париже меблированные комнаты в Пивоваренном проезде.

– Ты говоришь о хромом верзиле?

– Ну да, помнишь он приезжал сюда поздней осенью, приезжал от имени папаши Мику, а с ним вместе были дрессировщик обезьян и две какие-то женщины.

– Ах да, да; этот хромой верзила потратил так много, так много денег!

– Еще бы, он ведь платил за всех... Помнишь наши прогулки по реке... это я ведь тогда сидел на веслах в лодке... а дрессировщик обезьян взял с собою шарманку в лодку и там крутил ее, помнишь, какая музыка была?!

– А потом, вечером, какой они устроили красивый бенгальский огонь, Франсуа!

– Да, этого колченогого верзилу скрягой не назовешь! Он дал мне десять су на чай, только мне!!! Вино он пил всегда из запечатанных бутылок; им всякий раз подавали к столу жареных цыплят; он прокутил не меньше восьмидесяти франков!

– Так много, Франсуа?

– Можешь мне поверить!..

– Стало быть, он такой богатый?

– Вовсе нет... он гулял на те деньги, что заработал в тюрьме, откуда только-только вышел..

– И все эти деньги он заработал в тюрьме?

– Ну да... а потом он говорил, что у него еще семьсот франков осталось; а когда больше денег не останется... он провернет хорошенькое дельце... а коли его заметут... то он этого не боится, потому как он вернется в тюрьму, а там у него остались дружки, они вместе кутили... а еще он сказал, что у него нигде не было такой хорошей постели и вкусной кормежки, как в тюрьме... там четыре раза в неделю дают хорошее мясо, всю зиму топят, да еще выходишь оттуда с кругленькой суммой... а ведь вокруг столько незадачливых работников, которые подымают с голоду и от холода, когда у них нет работы...

– Он так вот прямо и говорил, этот хромой верзила, а, Франсуа?

– Я своими ушами слышал... я ведь говорил тебе, что сидел на веслах, когда они катались по реке, он все это рассказывал Тыкве и тем двум женщинам, а они прибавляли, что так живут и в женских тюрьмах, из которых они только-только освободились.

– Но тогда получается, Франсуа, что воровать не так уж плохо, раз так хорошо в тюрьме живется?

– Конечно! Знаешь, я и сам не понимаю, почему в нашем доме один только Марсиаль говорит, что воровать дурно... может, он ошибается?

– Все равно надо ему верить, Франсуа... он ведь так нас любит!

– Любить-то он нас любит, это верно... когда он тут, нас никто не смеет колотить... Будь он дома нынче вечером, мать не наградила бы меня колотушками... Старая дура! До чего она злая!.. Ох как я ее ненавижу... мне так хочется поскорее вырасти, уж я бы ей вернул все тумачи, которыми она нас осыпает... особенно тебя, ты-то ведь послабее меня...

– О, замолчи, замолчи, Франсуа... меня просто страх берет, когда ты говоришь, что хотел бы поколотить нашу мать! – воскликнула бедная девочка, заливаясь слезами и обнимая брата за шею и нежно целуя его.

– Нет, ты мне вот что скажи, – заговорил Франсуа, нежно отстраняя Амандину, – отчего мать и Тыква всегда так злятся на нас?

– Я и сама не понимаю, – ответила девочка, вытирая глаза тыльной стороной кисти. – Может, потому, что нашего брата Амбруаза отправили на каторгу, а нашего отца казнили на эшафоте, они так несправедливы к нам...

– А мы-то чем виноваты?

– Господи, конечно, мы-то не виноваты, но что поделаешь?

– Клянусь, если мне всегда, всегда придется получать трепку, я в конце концов соглашусь воровать, как им того хочется... Ну что я выигрываю оттого, что не краду?

– А Марсиаль, что он скажет?

– Ох, если бы не он!.. Я бы давно согласился стать вором, знаешь, как тяжело, когда тебя то и дело колотят; кстати, нынче вечером мать была до тою зла... разъярилась, как ведьма... В комнате было темно, совсем темно... она ни слова не говорила... только держала меня за шею своей ледяной рукою, а другой рукой изо всех сил колотила... и вот тут мне и показалось, что глаза у

нее сверкают как угли...

– Бедный ты мой Франсуа... и все из-за того, что ты сказал, будто видел кость мертвеца в дровяном сарае.

– Да, его нога торчала там из-под земли, – проговорил Франсуа, вздрогнув от страха, – я готов дать руку на отсечение.

– Может, там когда-нибудь было кладбище, как ты думаешь?

– Все может быть... но тоща скажи, почему мать пригрозила, что она меня до полусмерти избьет, если я расскажу об этой кости покойника нашему брату Марсиалю?.. Видишь ли, скорее кого-нибудь убили в драке и решили закопать в сарае, чтобы никто про это не узнал.

– Пожалуй, ты прав... помнишь, такая беда чуть было не случилась у нас на глазах.

– Когда это?

– Ну в тот раз, когда Крючок ударил ножом этого высокого мужчину, такого костлявого, такого костлявого, такого костлявого, что его за деньги показывали.

– А, помню... они еще называли его ходячим скелетом; мать тогда разняла их... а не то Крючок мог бы и укокошить этого сухопарого дылду! Видала ты, как у Крючка на губах появилась пена, а глаза чуть не вылезли на лоб?..

– О, этот Крючок, не задумываясь, готов из-за любого пустяка пырнуть человека ножом. Да, он отчаянный забияка!

– Он такой молодой и уже такой злой, правда, Франсуа?

– Ну, Хромуля еще моложе, а будь он посильнее, он был бы еще большим злыднем.

– Да, да, он очень злой!.. Несколько дней назад он меня поколотил, потому что я не захотела играть с ним.

– Он тебя поколотил?.. Ладно... Пусть только сюда еще раз явится...

– Нет, нет, Франсуа, он это так, в шутку, смеха ради.

– Ты правду говоришь?

– Да, чистую правду.

– Ну, тогда другое дело... а не то бы я... Но вот чего я не понимаю: откуда у этого мальчишки всегда столько денег? Вот кому везет! Когда он заявился сюда как-то с Сычихой, он показал мне две золотые монеты по двадцать франков. И с каким насмешливым видом он нам сказал: «И у вас бы водились деньжата, не будь вы такими чурбаками».

– А что это значит – быть чурбаками?

– На его жаргоне это значит быть дурнями, болванами.

– Ах, вот оно что.

– Сорок франков... золотом... сколько бы я на эти деньги славных вещей накупил... А ты, Амандина?

– О, я бы тоже.

– Что бы ты, к примеру, купила?

– Знаешь, – начала девочка, в задумчивости опустив голову, – раньше всего я купила бы хорошую куртку для нашего брата Марсиаля, теплую, чтобы он не мерз у себя в лодке.

– Ну, а для себя?.. Для себя самой?

– Мне бы так хотелось маленького Иисуса из воска с крестиком и барашком, такого, какого продавец гипсовых фигурок продавал в то воскресенье... помнишь, на церковной паперти в Аньере?

– Кстати, как бы кто-нибудь не рассказал матери или Тыкве, что нас видали в церкви!

– Это верно, мать ведь раз и навсегда запретила нам входить в церковь!.. А жаль, потому как там, внутри, до того красиво... правда, Франсуа?

– Да... а до чего там хороши серебряные подсвечники!

– А изображение пресвятой девы... у нее такой добрый вид...

– А какие там красивые лампы... ты заметила? А яркая скатерть на большом столе, там, в глубине, где священник служил мессу с двумя своими дружками, одетыми как и он... они еще подавали ему вино и воду.

– Скажи, Франсуа, помнишь, в прошлом году, в праздник Тела господня, мы видели с то-

бой, как по мосту шли маленькие девочки, кажется, они шли, как говорят, к причастию. И все они были под белыми вуалями!

– И у всех в руках были пышные букеты!

– А какими нежными голосами они пели! И держались за шнуры своей хоругви!..

– А как сверкала на солнце эта расшитая серебром хоругвь!.. Она стояла, должно быть, кучу денег!..

– Боже мой, как все это было красиво! Правда, – Франсуа?

– Еще бы! А у мальчишек, что шли к причастию, на рукавах были банты из белого атласа... А свечи, что они несли, были снизу закутаны в шитый золотом красный бархат.

– И эти мальчишки, хоть и совсем маленькие, тоже несли хоругвь, правда, Франсуа? Ах, боже мой! А мать в тот день меня поколотила, когда я у нее спросила, почему мы не участвуем в этом шествии, как другие дети!

– Вот тогда-то она и запретила нам заходить в церковь по дороге в соседний городок или в Париж, «разве только они согласятся стащить оттуда кружку для пожертвований или обшарить карманы нескольких прихожан, пока они слушают службу», – прибавила тогда Тыква, смеясь и скаля свои желтые зубы. Вот скотина проклятая!

– О, что до этого... пусть меня убьют, но я ни за что не стану воровать в церкви! Правда, Франсуа?

– Ну, воровать там или где еще, какая разница, если уж ты на это решишься!

– Так-то оно так! Только меня сомнение берет... там красть страшнее, я бы ни за что не посмела...

– Это почему? Из-за священников, что ли?

– Нет, скорее из-за пресвятой девы, у нее такой нежный и добрый вид.

– Что тебе-то до этого? Не съест же тебя богородица, дуреха ты этакая!

– Это так... но все-таки я бы не смогла... И это не моя вина.

– Кстати, о священниках, Амандина; помнишь, однажды Николя наградил меня двумя увесистыми оплеухами за то, что я, когда встретил на площади священника, поклонился ему? Я видел, что все ему кланяются, вот я и поклонился; я не думал, что дурно поступаю.

– Да, но тогда почему-то и наш братец Марсиаль сказал, как и Николя, что нам совсем не обязательно кланяться священникам.

В эту минуту Франсуа и Амандина услышали в коридоре, чьи-то шаги.

Марсиаль после разговора с матерью, считая, что Николя просидит под замком в погребе до утра, спокойно шел в свою комнату.

Заметив луч света, пробивавшийся сквозь полуприкрытую дверь комнаты, где спали дети, он вошел к ним.

Дети бросились к нему навстречу, он нежно их обнял.

– Как? Вы еще не улеглись, болтунишки?

– Нет, братец, мы ждали, когда вы пойдете к себе в комнату, чтобы пожелать вам доброй ночи, – ответила Амандина.

– А потом мы слышали, что внизу очень громко разговаривали... и вроде как ссорились, – прибавил Франсуа.

– Да, мы там свели кое-какие счеты с Николя... – сказал Марсиаль. – Но это пустяки... А вообще-то я доволен, что вы еще на ногах, я вам хочу сообщить хорошую новость.

– Нам, братец?

– Именно вам. Вы рады будете, если уйдете отсюда и вместе со мной поедете в другое место, далеко-далеко?

– О да, конечно, братец...

– Да, братец.

– Тем лучше! Дня через два или три мы все втроем уедем с острова.

– Как хорошо! – воскликнула Амандина, радостно захлопав в ладоши.

– А куда мы поедем? – спросил Франсуа.

– Потом узнаешь, ишь какой любопытный... да это и не важно куда именно мы поедем,

главное, ты обучишься доброму ремеслу... и сразу же станешь зарабатывать себе на жизнь... Это уж как пить дать.

– И я больше не буду ходить с тобой на рыбную ловлю, братец?

– Нет, мой мальчик, я отдам тебя в учение к столяру или слесарю; ты ведь у нас ловкий и сильный; коли будешь стараться и усердно работать, уже через год сумеешь кое-что зарабатывать. погоди, что это с тобой?.. Чего ты приуныл?

– Дело в том... братец... я...

– Ну, говори, выкладывай.

– Дело в том, что мне больше по душе не расставаться с тобой, ловить вместе с тобою рыбу... чинить твои сети, а не обучаться какому-то ремеслу.

– Ты так считаешь?

– Конечно! Сидеть весь день взаперти в мастерской, это до того уныло, а потом быть учеником так скучно...

Марсиаль молча пожал плечами.

– Стало быть, по-твоему, лучше лениться, бездельничать и шататься как бродяга? – сурово спросил он, помолчав. – А потом заделаться и вором...

– Нет, братец, но я бы хотел жить вместе с тобой где-нибудь в другом месте, но жить так, как мы живем здесь, вот и все...

– Ну да, вот именно: спать, есть, ходить для развлечения на рыбную ловлю, как богач какой-нибудь, не так ли?

– Да, это мне больше по вкусу...

– Может быть, но тебе придется полюбить другое занятие... Видишь ли, бедный ты мой Франсуа, сейчас самое время забрать тебя отсюда; а то ты и сам не заметишь, как станешь таким же прощельгой, как все наши родичи... Мать, видно, права... Боюсь, что ты уже малость приохотился к пороку... Ну а ты что скажешь, Амандина, разве тебе не хочется научиться какому-нибудь ремеслу?

– Очень хочется, братец... Я бы охотно чему-нибудь обучилась, мне это гораздо больше по душе, чем оставаться тут. Я буду так рада уехать вместе с вами и с Франсуа!

– Но что у тебя на голове, девочка? – спросил Марсиаль, заметив пышный убор Амандины.

– Это фуляр, мне его дал Николя...

– И мне тоже он дал, – гордо похвастался Франсуа.

– А откуда взялся этот фуляр? Я бы очень удивился, если б узнал, что Николя купил эти вещицы вам в подарок.

Дети опустили головы и ничего не ответили. Мгновение спустя Франсуа, собравшись с духом, сказал:

– Николя нам дал их; а где он их взял, мы не знаем, правда, Амандина?

– Нет... нет... братец, – пролепетала Амандина, вспыхнув и не решаясь поднять глаза.

– Не лгите, – сурово сказал Марсиаль.

– А мы и не лжем, – дерзко возразил Франсуа.

– Амандина, девочка моя... скажи правду, – мягко настаивал Марсиаль.

– Ну ладно! Если по правде сказать, – робко заговорила Амандина, – эти красивые вещицы лежали в сундуке с материей, его вечером привез Николя в своей лодке.

– Значит, он украл этот сундук?

– Я думаю, что да, братец... он утащил его с галиота.

– Вот видишь, Франсуа, значит, ты солгал! – сказал Марсиаль.

Мальчик понурился я ничего не ответил.

– Дай-ка мне твою косынку, Амандина; давай и ты свой шейный платок, Франсуа.

Девочка сняла косынку с головы, в последний раз полюбовалась пышным бантом, который при этом не развязался, и подала косынку Марсиалю, подавив горестный вздох.

Франсуа медленно достал из кармана шейный платок, и, как и сестра, протянул его старшему брату.

– Завтра утром, – сказал Марсиаль, – я верну и то и другое Николя; вам не нужно было

брать эти лоскуты, ребята: коли пользуешься краденым – это все равно, что сам крадешь.

– А жаль все-таки, они так красивы – косынка и шейный платок, – пробормотал Франсуа.

– Когда обучишься ремеслу и станешь зарабатывать деньги своим трудом, ты купишь себе такие же красивые вещицы. Ну ладно, а теперь пора спать, малыши.

– Вы на нас не сердитесь, братец? – робко спросила Амандина.

– Нет, нет, девочка, ведь это не ваша вина... Вы живете среди процелыг и, сами того не понимая, поступаете как они... Когда вы окажетесь среди честных людей, вы будете тоже поступать как честные люди; и вы скоро среди них окажетесь... черт меня побери!.. Ладно, доброй ночи!

– Доброй ночи, братец! Марсиаль обнял обоих детей. Они снова остались вдвоем.

– Что это с тобой, Франсуа? У тебя такой унылый вид! – сказала Амандина.

– Еще бы! Ведь брат отобрал у меня такой красивый шейный платок! А потом, ты разве не слышала?

– Ты о чем?

– Он хочет увезти нас куда-то и отдать там в обучение ремеслу...

– А тебе это не нравится?

– Нет, не нравится...

– Тебе больше по душе оставаться здесь, где тебя всякий день колотят?

– Да, меня колотят, но я, по крайней мере, не работаю, весь день я провожу в лодке: либо рыбу ловлю, либо просто играю или катаю клиентов по реке, а те иногда мне и на чай дают, как тот колченогий верзила; и это, знаешь, куда приятнее, чем с утра до вечера сидеть взаперти в какой-нибудь мастерской и работать как лошадь.

– Но разве ты не слыхал?.. Ведь братец сказал нам, что если мы тут еще долго останемся, то станем просто процелыгами!

– Подумаешь! А мне это все равно... ведь дети в округе и так называют нас воришками или последышами казненного... А потом, все время работать – до того скучно...

– Но, братец, нас ведь здесь каждый день бьют!

– А бьют-то нас потому, что мы слушаемся Марсиаля, а не их...

– Он с нами такой добрый!

– Добрый-то он добрый, я с этим не спорю... и я ведь его люблю... При нем с нами не смеют дурно обращаться... он нас водит гулять... все это так... но и только... он ведь нам никогда ничего не дарит...

– Конечно... Но ведь у него самого ничего нет... все, что он зарабатывает, он отдает матери за еду и кров.

– А вот у Николя, у того всегда кое-что есть... Понятное дело, коли мы слушались бы его, да и мать тоже, они бы так не портили нам жизнь... дарили б нам разные наряды, как сегодня... они бы нас не боялись... и мы были бы всегда с деньгами, как Хромуля.

– Но, господи боже, ведь для этого пришлось бы воровать, а знаешь, как это огорчило бы нашего брата Марсиаля!

– Ну и что? Тем хуже!

– Как ты можешь такое говорить, Франсуа!.. А потом, коли нас поймают, нас ведь посадят в тюрьму.

– А по мне, что в тюрьме сидеть, что в мастерской весь день торчать – все одно... А кстати, колченогий верзила говорил, что там весело... в тюрьме.

– Ну, а то, сколько мы горя принесем Марсиалю... ты об этом, видно, и не думаешь? Ведь он сюда ради нас вернулся и остается в доме; будь он один, он бы долго не раздумывал и вернулся бы в свои любимые леса, опять стал бы браконьером.

– Вот пусть и забирает нас с собой в эти леса, – заявил Франсуа, – так будет всего лучше. Я там буду вместе с ним, я ведь люблю его и не стану работать в мастерских, меня при одной мысли о них тоска берет.

Разговор между Франсуа и Амандиной внезапно прервался.

Снаружи дверь в их комнату заперли, дважды повернув ключ в замке.

- Нас заперли! – закричал Франсуа.
- Ах ты, господи... А почему это, братец? Что они собираются с нами сделать?
- Может, это Марсиаль сделал?
- Послушай... послушай... как лает его собака!.. – воскликнула Амандина, наострив слух. Прошло несколько мгновений, и Франсуа сказал:
- По-моему, они колотят молотком по его двери... может, они хотят ее выломать?
- Да, да, а собака Марсиаля все лает и лает...
- Послушай, Франсуа! А теперь вроде как куда-то гвозди заколачивают... Боже мой! Боже мой! Мне страшно. Что же они там делают с братцем? Теперь его собака уже не лает, а громко воет.
- Амандина... а теперь ничего не слышать... – заметил Франсуа, подходя к двери. Дети, затаив дыхание, с тревогой прислушивались.
- А сейчас они затопали от комнаты Марсиаля, – тихо сказал Франсуа, – я слышу шаги в коридоре.
- Давай-ка ляжем в постель; мать нас убьет, коли увидит, что мы еще на ногах, – со страхом сказала Амандина.
- Нет... – продолжал Франсуа, все еще напряженно прислушиваясь. – Вот они опять прошли мимо нашей двери... а теперь быстро сбегают по лестнице.....
- Господи! Господи! Да что ж это все означает?..
- Ага, а теперь они отворяют дверь в кухне...
- Ты так думаешь?
- Да, да... я слышал, как она скрипнула...
- А собака Марсиаля все воет и воет... – сказала Амандина, прислушиваясь...
- И вдруг она закричала:
- Франсуа, наш братец Марсиаль нас зовет...
- Марсиаль?
- Да... Разве ты не слышишь?.. Разве не слышишь?..
- И в самом деле, несмотря на обе плотно прикрытые двери, ушей Франсуа и Амандины достиг звучный голос Марсиаля: из своей комнаты он звал обоих детей.
- Господи, а мы-то не можем к нему пойти... нас ведь заперли, – сказала Амандина, – ему хотят причинить зло, раз уж он нас зовет...
- Ох, уж что до этого: если б я мог им как-нибудь помешать, – решительно выкрикнул Франсуа, – я бы непременно им помешал, пусть бы даже они меня резали на куски!..
- Но ведь Марсиаль не знает, что нас заперли на ключ; как бы он не подумал, что мы не хотим прийти к нему на помощь; крикни ему, Франсуа, что нас заперли в комнате!
- Мальчик хотел было последовать совету сестры, как вдруг сильный удар потряс снаружи ставень небольшого окна комнатки, где были заперты дети.
- Они сейчас влезут в окно и убьют нас! – испуганно закричала Амандина; в страхе она бросилась на свою постель и закрыла лицо обеими руками.
- Франсуа, хотя он испугался, как и сестра, неподвижно застыл на месте. Однако после упомянутого нами сильного удара ставень не открылся; гробовая тишина царила теперь в доме.
- Марсиаль больше не звал детей.
- Немного успокоившись и движимый сильным любопытством, Франсуа решился осторожно приотворить окошко, и теперь он старался разглядеть сквозь щели в ставне, что же происходит снаружи.
- Будь осторожен, братец, – прошептала Амандина, услышав, что Франсуа отворил окно, она приподнялась на своем ложе. – Ты что-нибудь там видишь? – спросила она.
- Нет... ночь такая темная.
- И не слышишь ничего?
- Нет, ветер так громко свистит.
- Тогда прикрой... прикрой же окно!
- Ага! А вот теперь я что-то разглядел.

- Что ж именно?
- Я вижу свет фонаря... он светит то тут, то там.
- А у кого он в руках?
- Я различаю только свет... Вот он приближается... теперь слышны голоса.
- Кто бы это мог быть?
- Слушай... слушай... это Тыква.
- А что она говорит?
- Говорит, чтобы крепче держали лестницу.
- Ах, теперь я понимаю! Когда они тащили большую лестницу, она упиралась в наш ставень, от этого и был такой шум.
- А теперь я больше ничего не слышу.
- А что они с этой лестницей делают?
- Больше ничего не могу разглядеть...
- А что-нибудь слышишь?
- Нет...
- Боже мой, Франсуа! Может, они для того потащили лестницу... чтобы залезть через окно в комнату нашего брата Марсиаля?!
- Вполне возможно.
- А что, если ты чуть-чуть отодвинешь ставень и посмотришь...
- Не решаюсь.
- Ну совсем капельку...
- Нет уж, нет. Коли мать заметит!..
- Такая темень стоит, что никакой опасности нет.
- Франсуа нехотя выполнил просьбу сестренки, приоткрыл слегка ставень и стал смотреть.
- Ну, что там, братец? – спросила Амандина: преодолев свои страхи, она встала с постели и на цыпочках подошла к брату.
- При свете фонаря, – сказал мальчик, – я вижу Тыкву, она стоит внизу и держит лестницу... они прислонили эту лестницу к окну Марсиаля.
- А дальше?
- Николя взбирается по лестнице со своим топориком в руке, топорик блестит на свету...
- Ах, вы еще не спите и шпионите за нами! – внезапно послышался громкий голос вдовы: она снаружи грозно прикрикнула на Франсуа и Амандину.
- Войдя на минуту в кухню, мать увидела луч света, пробивавшийся сквозь полуотворенный ставень.
- Бедные дети забыли погасить фонарь в своей комнатухе.
- Сейчас я к вам поднимусь – и вы от меня не уйдете, доносчики!
- Вот какие события происходили на острове Черпальщика накануне того дня, когда г-жа Серафен должна была привезти туда Лилию-Марию.

Глава IV МЕБЛИРОВАННЫЕ КОМНАТЫ

Пивоваренный проезд, проезд темный и малоизвестный, хотя он и находится в центре Парижа, упирается одним концом в улицу Траверсьер-Сент-Оноре, а другим – в подворье Сен-Гийом.

Посреди этой улочки – сырой, грязной, сумрачной и унылой, куда никогда не проникают лучи солнца, – возвышается дом с меблированными комнатами (их в просторечии именуют «меблирашками» по причине дешевой платы).

На дрянной вывеске можно прочесть: «Меблированные комнаты и квартиры»; справа от темного крытого прохода видна была дверь, она вела в лавку, не менее темную, где обычно пребывал содержатель меблированных комнат.

Человека этого, чье имя не раз уже упоминалось обитателями острова Черпальщика, звали

Мику: числился он торговцем старыми скобяными товарами, но он тайно скупал и прятал краденые металлические изделия и сами металлы: золото, свинец, медь и олово.

Сказать, что папаша Мику поддерживал деловые и дружеские отношения с семьей Марсиалей, – значит должным образом охарактеризовать его нравственный облик.

Существует, между прочим, некое весьма любопытное и вместе с тем устрашающее явление: это своего рода таинственное общение и связь между Почти всеми злоумышленниками столицы. Общие тюрьмы – огромные центры, куда стекаются и откуда затем растекаются волны социального разложения и развращенности, которые мало-помалу наводняют Париж, оставляя после себя окровавленные обломки и развалины.

Папаша Мику – толстяк лет пятидесяти, с порочным и хитрым лицом, прыщеватым носом и всегда красными от возлияний щеками; на голове у него красуется потертая шапка из выдры, он вечно кутается в старый зеленый каррик.

Над небольшой чугунной печкой, возле которой папаша Мику греется, можно заметить прикрепленную к стене доску с цифрами; на ней висят ключи от комнат, жильцы которых в данный момент отсутствуют. Стеклопанная витрина, выходящая на улицу и забранная железными прутьями, забелена снизу, так что с улицы нельзя разглядеть (и тому есть свои причины) то, что делается в лавке.

В этом просторном помещении также царит почти полный мрак; на потемневших и сырых стенах висят ржавые цепи различной толщины и длины; весь пол почти сплошь завален горами обломков железа и чугуна.

Троекратный стук в дверь, видимо условный, привлек к себе внимание содержателя меблированных комнат, а одновременно скупщика и укрывателя краденного.

– Войдите! – крикнул он.

На пороге показался человек.

Это был Николя, сын вдовы казненного.

Он был очень бледен; выражение его лица было еще более злобещим, чем накануне вечером, и вместе с тем было заметно, что он старался изобразить притворную и шумную веселость в завязавшемся затем разговоре (сцена эта происходила на следующий день после драки этого злодея со своим братом Марсиалем).

– Ах, это ты, дружище! – радушно сказал содержатель меблирашек.

– Конечно, папаша Мику; я приехал обделать с вами небольшое дельце.

– В таком случае притвори дверь... поплотнее притвори дверь...

– Дело в том, что моя собака и небольшая моя тележка остались там, снаружи... а в ней – товар.

– Что ж ты мне привез? Должно, свинчатки?⁸

– Нет, папаша Мику.

– Ну уж, конечно, и не металлическую мелочь со дна реки, ты ведь в последнее время совсем обленился, совсем своим делом не занимаешься... так, может, это железяки?⁹

– Да нет же, папаша Мику; это краснушка...¹⁰ там у меня четыре слитка... И весят они не меньше полутора фунтов: мой пес их с трудом дотащил сюда.

– Неси-ка сюда свою краснушку; мы все сейчас взвесим.

– Вам придется мне помочь, папаша Мику, а то у меня рука сильно болит.

И при воспоминании о драке со старшим братом на лице у злодея появилось одновременно выражение злобы и жестокой радости, как будто его месть уже увенчалась успехом.

– А что у тебя с рукой, малый?

– Так, пустяки... вывихнул.

⁸ Листы свинца, которые воры сдирают с кровель.

⁹ Железо.

¹⁰ Медь.

– Надо раскалить железо на огне, опустить его в воду и сунуть руку в эту почти кипящую жидкость; так поступаем мы, торговцы старым железом... прекрасное средство!

– Спасибо, папаша Мику.

– Ладно, пошли за твоей краснушкой; так и быть, я помогу тебе, лентяй!

Они дважды ходили за слитками: вытащили их из небольшой тележки, куда был впряжен огромный дог, и притащили в лавку.

– Это ты здорово придумал с тележкой! – пробормотал папаша Мику, устанавливая деревянные чаши огромных весов, подвешенных к потолочной балке.

– Да, когда мне нужно что-нибудь привезти, я ставлю тележку и усаживаю моего дога в лодку, а причалив к берегу, запрягаю его. Кучер фиакра, пожалуй, проболтаться может, а мой пес – никогда.

– А дома у вас все благополучно? – осведомился скупщик краденого, взвешивая медные слитки. – Как мать, как сестра, обе здоровы?

– Да, папаша Мику.

– И дети тоже?

– Дети тоже. А где, кстати, ваш племянник Андре?

– Не говори! Он вчера знатно кутил; Крючок и этот колченогий верзила привели его сюда только под утро; а теперь он с поручением отправился... на главный почтамт пошел, знаешь, на улицу Жан-Жака Руссо. Ну а твой брат Марсиаль, все такой же дикарь?

– Ей-богу, ничего не знаю о нем.

– Как это, ничего не знаешь о нем?!

– Не знаю, и все, – ответил Николя, напуская на себя безразличный вид, – мы его уже два дня не видали... Может, он опять ушел в леса и там браконьерствует, если только его лодка... она такая старая... не пошла ко дну посреди реки и он не утонул вместе с нею.

– Ну, ты-то, бездельник, не больно горевал бы, ведь ты своего брата терпеть не можешь?

– Это правда... мы с ним на вещи по-разному смотрим. Ну, сколько фунтов медь потянула?

– Глаз у тебя верный... в слитках, малый, сто сорок фунтов.

– Стало быть, с вас причитается?..

– Ровно тридцать франков.

– Тридцать франков, когда медь идет по двадцать су за фунт? И за все про все – тридцать франков?!

– Ну, так и быть, положим тебе тридцать пять франков, – и не пыхти, а то я пошлю ко всем чертям твою медь, твоего пса и тебя вместе с твоей медью, псом и тележкой!

– Но, папаша Мику, уж больно вы меня надуваете; это уж ни в какие ворота не лезет!

– Коли ты мне докажешь, каким образом ты эту медь заполучил, я уплачу тебе по пятнадцать су за фунт.

– Всегда одна и та же песня... Все вы друг друга стоите, да, вы все просто шайка грабителей! Разве можно так бессовестно друзей обирать?! Но это еще не все: если я у вас кое-что оптом закуплю, вы мне, по крайней мере, скидку сделаете?

– Это уж как положено. А что тебе нужно? Цепи или крюки для твоих яликов?

– Нет, мне нужны четыре или пять листов очень прочного железа, таких, чтоб можно было сделать двойные ставни.

– У меня есть как раз то, что тебе нужно... Такой крепкий лист, что и пулей из пистолета не пробьешь.

– Да, именно такое железо мне и надобно!..

– А размер какой?

– Размер?.. Семь или восемь квадратных футов.

– Ладно! А еще что тебе понадобится?

– Три железных бруса длиной в три или четыре фута и двухдюймовой толщины.

– Я на днях тут разломал оконную решетку, прутья от нее подойдут тебе, как перчатка нужного размера... Ну, говори дальше.

– Два прочных шарнира и крепкую задвижку, чтоб можно было при необходимости быстро

открыть или закрыть люк размером в два квадратных фута.

– Ты хочешь сказать: опускную дверцу?

– Нет, крышку люка...

– Не понимаю, для чего тебе может понадобиться такая крышка?

– Вполне возможно... зато я понимаю.

– В добрый час: тебе остается только выбрать – у меня тут куча шарниров. Ну, а чего ты еще хочешь?

– Больше ничего.

– Ну, для меня это плевое дело.

– Приготовьте для меня товар немедленно, папаша Мику, я все заберу на обратном пути; тут мне надо еще кое-что успеть.

– Опять поедешь с тележкой? Скажи-ка, балагур, что это за тюк в ней лежит? Должно быть, еще какая-нибудь вкусная снедь, которую ты где-то ловко прихватил? Ты ведь у нас известный лакомка!

– Золотые слова, папаша Мику; но только вы этого не едите. Не заставляйте меня дожидаться моих скобяных товаров, я должен вернуться на остров не позже полудня.

– Не беспокойся, сейчас только восемь утра; коли ты недалеко собрался, можешь через час приехать, все будет готово – и деньги и товар... Выпьешь стопочку?

– Не откажусь... тем более что с вас причитается!..

Папаша Мику достал из старого шкафа бутылку водки, треснутый стакан, чашку без ручки и налил себе и Николая.

– За ваше здоровье, папаша Мику!

– За твое, малый, и за живущих с тобою дам!

– Благодарствую!.. Ну, а как идут дела в вашем меблированном заведении? Как всегда, хорошо?

– Дела идут ни шатко ни валко... Как обычно, есть несколько постояльцев, к которым вот-вот может нагрянуть полиция... но они платят щедро, как и положено.

– Это почему же?

– Ты что, дурачок?! Иногда я пускаю постояльцев так же, как беру товар... у этих-то паспортов не спрашиваю, как не спрашиваю накладных у тебя.

– Понятно!.. Но если вы у меня берете товар по дешевке, то с этих берете за постой хорошую цену.

– Приходится выкручиваться, ведь многим рискуешь... Есть у меня кузен, знаешь, он владелец прекрасной гостиницы на улице Сент-Оноре, а жена его – знатная портниха, на нее работают два десятка швей – кто в мастерской, а кто – на дому.

– Скажите-ка, старый волокита, там, должно быть, есть такие крали...¹¹

– Еще бы! Я встречал там двух или трех, когда они приносили готовые заказы... Ну знаешь, они до того хороши! Особенно одна, молоденькая, она на дому шьет, она вечно смеется, ее даже прозвали Хохотушкой... Клянусь господом богом, сынок, просто досада берет, что мне не двадцать лет!

– Остыньте малость, папаша, а то я закричу: «Пожар!»

– Но она девушка честная, мой мальчик... уж такая честная...

– Вот дура-то! Ну да ладно... так вы сказали, что ваш кузен...

– Да, он знает толк в своем деле; а так как он того же пошиба, что и эта молоденькая Хохотушка...

– Тоже честный?

– Вот именно!

– Ну и дурень!

– Он принимает на постой только таких людей, у кого паспорта и все бумаги в порядке. Ну,

¹¹ Красотки.

а коли является к нему такой, у которого не все ладно, он посылает этих субъектов ко мне, зная, что я не так придиричив и на многое смотрю сквозь пальцы.

– И эти-то платят, как положено в их положении?

– А как же иначе!

– Но ведь те, у кого бумаги не в порядке, должно быть, скокари?¹²

– Необязательно. Да вот, кстати, кузен прислал ко мне несколько дней назад двух постояльцев... Черт меня побери, только я никак не пойму, в чем тут дело... Еще по одной?!

– Идет... питье что надо!.. Ваше здоровье, папаша Мику!

– И твое, мой мальчик! Так вот, как я тебе уже сказал, на днях кузен прислал ко мне постояльцев, в которых я никак не разберусь. Представь себе мать и дочь, пришли они в поношенной одежде, все свои пожитки несли в старой шали, сразу понятно было, что с деньгами у них не густо. Так вот, хоть они, судя по всему, люди совсем никудышные, у них даже бумаг никаких нет и сняли они комнату на две недели... так вот, с тех пор как они тут живут, они с места не трогаются, будто сурки какие; и у них никто не бывает, ни одного мужчины не было, сынок... и все-таки, доложу тебе, не будь они такие худые да бледные, я бы сказал, что обе женщины что надо, особенно дочка! Ей лет пятнадцать или шестнадцать от силы... она такая беленькая, как... кролик, а глазищи – вот такие!.. Черт побери, до того хороши у нее глаза, до того хороши!

– Ну, я вижу, вы опять загорелись!.. А чем они занимаются, две эти женщины?

– Говорю тебе, что я сам ничего не понимаю... По виду они обе – женщины порядочные, а вот бумаг-то у них почему-то нет... Да, вот еще что: они получают откуда-то письма без адреса... Их фамилий на конверте нет.

– Как это?

– А вот так! Нынче утром они послали моего племянника Андре на главный почтамт, куда приходят письма до востребования, и велели ему спросить, нет ли письма, адресованного госпоже «Икс Зет». Письмо должно прибыть из Нормандии, из городка по названию Обье. Они все это на листке написали, чтоб Андре мог получить письмо, дав все эти разъяснения. Сам видишь, это птицы невысокого полета, раз уж они вместо имени пишут «Икс» или «Зет». И все-таки ни разу к ним мужчины не приходили.

– Смотрите, они вам за комнату не заплатят.

– Ну, такого старого воробья, как я, на мякине не проведешь! Я пустил их в комнату без камина и положил плату в двадцать франков за две недели, причем денежки потребовал вперед. Может, они чем больны, потому как вот уже два дня из комнаты не выходят. Но только несварением желудка они не страдают, потому как еще ни разу плитку не разжигали, не понимаю даже, что они едят, с тех пор как въехали. Но я опять тебе повторяю: бумаг-то никаких нет, а мужчин к себе не водят...

– Ну, коли у вас все постояльцы такие, папаша Мику...

– Знаешь, одни уезжают, другие приезжают; и ежели я пускаю на постой тех, у кого паспорта нет, то живут у меня я люди солидные. Вот, к примеру, среди моих постояльцев сегодня два коммивояжера, один почтальон, дирижер оркестра из кафе для слепых да еще одна дама, что ренту получает, все они люди порядочные; они-то и поддержат репутацию моих меблированных комнат, ежели комиссар полиции вздумает поближе к моему заведению присмотреться... Это, так сказать, не ночные постояльцы, а постояльцы, живущие при свете солнца.

– Когда его лучи проникают в ваш проезд, папаша Мику.

– Да ты шутник, как я погляжу!.. Выпьем еще по одной?

– Охотно, только по последней, мне надо спешить... Кстати, Робен, этот колченогий верзила все еще живет у вас?

– Да, его комната наверху... рядом с комнаткой матери и дочери. Он кончает проматывать деньги, заработанные в тюрьме... и, сдастся, их у него уже немного осталось.

– Смотрите-ка, остерегайтесь! Ведь он, по-моему, в бегах.

¹² Воры.

– Я и сам это знаю, но никак от него избавиться не могу. По-моему, он какое-то дело замышляет; этот мальчишка Хромуля, сын Краснорукого, приходил вчера вечером вместе с Крючком, они его разыскивали... Боюсь, как бы он не повредил моим почтенным постояльцам, этот окаянный Робен; так что, когда его двухнедельный срок кончится, я его вышвырну вон, скажу, что его комната заказана для какого-нибудь посланника или для мужа госпожи Сент-Ильдефонс, которая на ренту живет.

– Она на ренту живет?

– Еще бы! Занимает три комнаты и еще одну, что на фасад выходит, скажешь, мало? И всю мебель в них обновили, а еще она мансарду снимает для своей горничной... платит за все семьдесят франков в месяц... деньги вносит вперед ее дядя, она ему уступает одну из комнат внизу, когда он приезжает сюда из своей деревни! Только я думаю, что деревня эта расположена, как бы тебе сказать, скорее на улице Вивьенн или на улице Сент-Оноре, во всяком случае, где-нибудь в этих местах.

– Ну, это дело знакомое!.. Она живет на ту ренту, что ей выплачивает этот старикан.

– Помолчи-ка! Вот как раз ее горничная идет!

Женщина, уже в возрасте, в белом переднике сомнительной чистоты, вошла в лавку скупщика краденного.

– Чем могу вам служить, госпожа Шарль?

– Папаша Мику, что, ваш племянник дома?

– Нет, он уехал с поручением на главный почтамт; должен вот-вот вернуться.

– Господин Бадино хотел бы, чтобы он немедля отнес вот это письмо по указанному адресу; ответа не надо, но дело очень срочное.

– Через четверть часа он уже будет на пути туда, госпожа Шарль.

– Только пусть поторопится.

– Будьте благонадежны.

Горничная вышла.

– Что ж, она всем вашим постояльцам прислуживает, папаша Мику?

– Нет, что ты, дурачок! Это горничная госпожи Сент-Ильдефонс, той, что на ренту живет. А господин Бадино и есть ее дядя, он как раз вчера из своей деревни пожаловал, – сказал содержатель меблированных комнат, разглядывая письмо. Потом, прочтя адрес, он, прибавил: – Погляди сам, какие у него знакомства! Я говорил тебе, что это люди солидные и почтенные, он пишет какому-то виконту.

– Вот это да! – Держи, а вернее смотри: – «Господину виконту де Сен-Реми, улица Шайо... Весьма срочно... Передать в собственные руки». Я полагаю, когда поселяешь у себя таких дам, что живут на ренту, а их дядья вдобавок пишут виконтам, можно смотреть сквозь пальцы на тех нескольких постояльцев, что ютятся на верхнем этаже дома. Не так ли?

– Я тоже так думаю. Ну ладно, до скорого свидания, папаша Мику. Я привяжу моего пса возле вашей двери и тележку оставляю; то, что мне надо отнести, я донесу пешком... Приготовьте же мне товар и мои деньги, чтобы я сразу мог и уехать.

– Будь спокоен: четыре прочных железных листа по два квадратных фута каждый, три железных бруска длиной в три фута и два шарнира для твоего люка. И зачем только тебе такой люк, не пойму; впрочем, это дело твое... Я ничего не забыл?

– Нет, а к тому еще мои денежки.

– Конечно, и деньги тоже... Но, скажи на милость, перед уходом я хочу тебя спросить... пока ты тут у меня сидел... я наблюдал за тобою...

– Ну и что?

– Не знаю, как лучше выразиться... но вид у тебя такой, будто что-то с тобой происходит.

– Со мной?

– С тобой.

– Да вы что, тронулись? Если со мной что и происходит... то это потому... что я есть хочу.

– Хочешь есть... хочешь есть... возможно... но я бы сказал, что ты прикидываешься веселым, а внутри у тебя сидит что-то такое, что свербит и точит... точно блоха, как говорится, не

оставляет твою молчунью¹³ в покое... и, видать, тебя это крепко тревожит, у тебя, должно, на сердце кошки скребут, а ведь ты у нас не тихоня какой...

– Повторяю вам, папаша Мику, что вы малость в уме тронулись, – сказал Николя, невольно вздрагивая.

– Вот видишь, ты вроде бы сейчас вздрогнул.

– Я дернулся потому, что у меня рука болит.

– Ну, коли так, не забудь моего рецепта, он тебя враз вылечит.

– Спасибо, папаша Мику... до скорого свидания.

И злодей вышел из лавки.

Скупщик краденого, запрятав медные слитки позади стойки, начал собирать различные предметы, заказанные Николя; в эту минуту в лавке появился какой-то человек.

Это был мужчина лет пятидесяти, с тонким лицом и пронизательным взглядом, его физиономию обрамляли седые и очень густые бакенбарды, глаза его были скрыты очками в золоченой оправе; одет он был довольно изысканно: широкие рукава его коричневого пальто с обшлагами из черного бархата позволяли увидеть, что он был в перчатках светло-желтого цвета; его сапоги были, видимо, накануне тщательно натерты блестящим лаком.

То был г-н Бадино, дядюшка жившей на ренту г-жи Сент-Ильдефонс, чье социальное положение служило предметом гордости для папаши Мику и гарантировало ему безопасность.

Читатель помнит, быть может, что г-н Бадино, бывший стряпчий, изгнанный из своей корпорации, был теперь ловким мошенником и умелым ходатаем по различным сомнительным делам; вместе с тем им пользовался как шпионом барон фон Граун, и дипломат этот добывал с его помощью немало весьма точных сведений о большом числе действующих лиц нашего повествования.

– Госпожа Шарль только что передала вам письмо с просьбой отнести его, – сказал г-н Бадино содержателю меблированных комнат.

– Да, сударь... Мой племянник сейчас вернется, и он мигом отнесет письмо.

– Нет, верните мне это послание... я передумал и сам отправлюсь к виконту де Сен-Реми, – проговорил г-н Бадино, напыжившись и подчеркнуто напирая на эту аристократическую фамилию.

– Вот ваше письмо, сударь... Других поручений у вас не будет?

– Нет, папаша Мику, – ответил г-н Бадино с покровительственным видом, – но я должен кое в чем вас упрекнуть.

– Меня, сударь?

– Да, и упрекнуть весьма строго.

– В чем же дело, сударь?

– А вот в чем. Госпожа де Сент-Ильдефонс весьма дорого платит вам за ваш второй этаж; моя племянница принадлежит к числу тех квартиронанимателей, коим надлежит оказывать высочайшее уважение; она с полным доверием въехала в этот дом; ее раздражает шум экипажей, и она рассчитывала жить здесь в тиши, как за городом.

– Так оно и есть; у нас тут совсем как в деревушке... Вы ведь можете это оценить, ведь вы и сами, сударь, живете в деревне... а у нас тут как в настоящей деревушке...

– Деревушка? Хорошенькое дело! Да у вас тут просто адский шум стоит!

– И все-таки более спокойного дома, чем мой, не найдешь; над госпожой Сент-Ильдефонс живет дирижер оркестра из кафе слепых и еще некий коммивояжер... А чуть подальше – еще один коммивояжер. Кроме того, там...

– Речь идет не об этих людях, они ведут себя тихо и мирно, они люди вполне порядочные, и моя племянница с этим не спорит; но вот на пятом этаже живет колченогий верзила, его госпожа де Сент-Ильдефонс повстречала вчера на лестнице, он был пьян как сапожник и что-то рычал, как дикарь; у нее, у бедняжки, даже голова закружилась, до того она была перепугана...

¹³ Совесть.

Ежели вы полагаете, что с подобными постояльцами ваш дом походит на мирную деревушку...

– Сударь, клянусь вам, я только жду подходящего случая, чтобы выставить этого хромонокого верзилу за дверь; он уплатил мне за две недели вперед, если б не это, я бы давно его выставил вон.

– Не следовало пускать его на постой.

– Но, кроме него, я полагаю, госпоже вашей племяннице не на что жаловаться; тут у нас живет еще почтальон с соседней почты, он, я бы сказал, принадлежит к сливкам порядочного общества; а еще выше, рядом с комнатой этого верзилы, поселилась мать с дочерью, они сидят у себя дома тихо, как безобидные сурки.

– Повторю еще раз: госпожа де Сент-Ильдефонс жалуется только на колченого верзилу; этот плут – позор для вашего дома! Предваряю вас, что, если вы оставите его в числе постояльцев, он разгонит всех порядочных людей.

– Уж я его выставлю, будьте благонадежны... я и сам за него не держусь.

– И хорошо сделаете... не то другие не станут держаться за ваши меблированные комнаты.

– А уж это мне ни к чему... Так что, сударь, считайте, что хромонокого верзилы здесь уже нет, он пробудет тут всего-то четыре дня.

– И это долго, слишком долго; впрочем, дело ваше... При первой же его выходке моя племянница покинет ваш дом.

– Будьте благонадежны, сударь.

– Ведь выставить его – в ваших же интересах, любезнейший. Это вам же на пользу пойдет... больше я повторять не буду, – сказал г-н Бадино с покровительственным видом.

С этими словами он удалился.

Надо ли нам пояснять, что упомянутые папашей Мику мать и ее юная дочь, что жили так замкнуто и одиноко, были жертвами алчности нотариуса Жака Феррана?

А теперь мы поведем читателя в жалкую комнатушку, где они обрелись.

Глава V

ЖЕРТВЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ

Когда злоупотребление доверием карается, средний срок наказания таков: два месяца тюрьмы и штраф в размере двадцати пяти франков. (Статьи 406 и 408 уголовного кодекса).

Мы попросим читателя представить себе комнатушку на пятом этаже унылого дома в Пивоваренном проезде.

Бледный свет тусклого дня едва проникает в эту узкую комнату сквозь небольшое одностворчатое оконце с потрескавшимися грязными стеклами; выцветшие обои, давно уже пожелтевшие, местами отстают от стен; в углах растрескавшегося потолка висит густая паутина. На полу не хватает нескольких половиц, и это позволяет разглядеть то тут, то там брусья и дранку, которые поддерживают пол.

Стол некрашеного дерева, стул, старый чемодан без замка и походная кровать с деревянным изголовьем, на которой лежит тонкий тюфяк, покрытый простынями из грубой серой ткани и потертым одеялом из коричневой шерсти, – вот и все убранство этой мебелишки.

На стуле сидит баронесса де Фермон.

На кровати лежит ее дочь Клэр Де Фермон (так звали обеих жертв Жака Феррана).

Располагая только одной кроватью, мать и дочь ложились на нее по очереди и делили таким способом ночные часы.

Слишком много тревог, слишком много волнений терзали мать, и поэтому, она нечасто поддавалась сну; но ее дочь обретала, по крайней мере, на этом жалком ложе несколько минут отдыха и забытья.

В это время она как раз спала.

Ничего не могло быть трогательнее и вместе с тем печальнее зрелища этой нищеты, на которую алчность нотариуса обрекла обеих женщин, прежде привыкших к скромным радостям безбедного существования и окруженных в своем родном городе уважением, которое внушает

окружающим почтенная и почитаемая семья.

Госпоже де Фермон на вид лет тридцать шесть; ее бледное лицо выражает одновременно благородства и мягкость; черты ее, прежде говорившие о незаурядной красоте, ныне говорят о страдании; ее черные волосы разделены прямым пробором и стянуты на затылке узлом; горе уже посеребрило отдельные пряди волос. На ней – траурное платье, уже чиненное в некоторых местах; в эти минуты г-жа де Фермон, подперев лоб рукою, опирается локтем о жалкое изголовье кровати, на которой спит ее дочь, и смотрит на девушку с невыразимой грустью.

Клэр не больше шестнадцати лет; чистый и нежный профиль ее осунувшегося, как и у матери, лица выделяется на фоне грубой серой ткани, из которой сшита подушка, набитая опилками.

Кожа этой юной девушки уже утратила свою необычайную свежесть; ее большие черные глаза закрыты, на впалых щеках, точно густая бахрома, лежат длинные, тоже черные ресницы. Некогда влажные розовые губы теперь бледны и сухи, – полуоткрывшись, они позволяют разглядеть ее ослепительно белые зубы; грубое прикосновение шершавых простынь и шерстяного одеяла оставили красные полосы на нежной шее, на плечах и на руках юной девушки: так на мраморе порой выступают розовые прожилки.

Время от времени легкий трепет сводит вместе ее тонкие бархатистые брови – возможно, в эти мгновения ее преследует тягостный кошмар. Лицо ее, на котором уже лежит печать какой-то болезни, выражает страдание, это свидетельствует о том, что в недрах несчастной зреет грозный недуг, его зловещие симптомы нетрудно угадать.

Уже давным-давно г-жа де Фермон не дает воли слезам; она устремила на дочь горячий взгляд сухих глаз: такой, без единой слезинки, взгляд говорит о лихорадочном состоянии, которое медленно и тайно подтачивает ее. С каждым днем г-жа де Фермон, как и ее дочь, все больше ощущает томительную слабость и растущее изнеможение – предвестники исподволь развивающейся, но пока еще скрытой серьезной болезни; но, боясь напугать Клэр, а главное не желая, если можно так выразиться, напугать самое себя, она изо всех сил борется, против начальных проявлений пожирающего ее недуга.

Движимая такими же великодушными мотивами, Клэр, страшась встревожить мать, старается скрыть свои страдания. Обе эти несчастные женщины, которых гложет одно и то же горе, видимо, поражены одной и той же болезнью.

В разгаре обрушившихся на человека невзгод наступает такая пора, когда будущее рисуется столь ужасным, что даже самые энергические натуры, не решаясь взглянуть прямо в лицо своим бедам, закрывают глаза и стараются обмануть себя безрассудными иллюзиями.

Именно в таком положении были г-жа де Фермон и ее дочь.

Чтобы дать представление о терзаниях этой женщины, угнетавших ее в те долгие часы, когда она неотступно смотрела на свою задремавшую дочь, думая о прошлом, настоящем и будущем, мы должны описать возвышенные и святые муки матери, муки скорбные, исполненные отчаяния, способные свести с ума: в них сплетаются волшебные воспоминания, зловещие страхи, грозные предчувствия, горестные сожаления, губительный упадок духа, взрывы бессильного гнева против виновника всех постигших ее бед, тщетные мольбы, жаркие молитвы и, наконец... наконец, устрашающие сомнения во всемогущей справедливости того, кто остается глух к воплю, рвущемуся из самой глубины материнской души... этому священному воплю, чей отзвук должен бы достичь небес, ибо мать вопиет: «Пожалей мою дочь!»

– Как ей, должно быть, сейчас холодно, – говорила несчастная мать, слегка прикасаясь своей озябшей рукой к заледеневшим рукам своего ребенка, – она совсем заколелена. А какой-нибудь час тому назад она вся горела... У нее лихорадка!.. К счастью, она об этом не подозревает... Господи боже, ведь ей так холодно!.. Ведь одеяло это такое тонкое... Я прикрыла бы ее сверху моей старой шалью... но, если я сниму эту шаль с двери, на которую ее повесила... эти пьяные мужланы начнут, как вчера, подглядывать в замочную скважину или в щели разошедшейся двери...

Господи, какой ужасный этот дом!

Знай я, что тут за постояльцы... до того, как внесла плату за две недели вперед... мы бы

тут ни за что не остались... но ведь я ничего не знала... Когда у тебя нет никаких бумаг, тебя гонят из приличных меблированных комнат. А как мне было догадаться, что мне может когда-нибудь потребоваться мой паспорт?.. Когда мы выехали из Анже в собственной карете... ибо я полагала неприличным, чтобы моя дочь путешествовала в почтовом дилижансе... разве могла я предположить, что...

В эту минуту ее жалобы были прерваны взрывом ярости:

– Но ведь это же настоящая подлость... только потому, что этот нотариус вздумал меня обобрать, ныне я доведена до самой ужасной крайности, и я ничего не могу сделать, не могу бороться с ним! Ничего не могу сделать!.. Но нет... Будь у меня деньги, я могла бы обратиться в суд; обратиться в суд... чтобы услышать, как будут смешивать с грязью имя моего доброго и благородного брата... чтобы услышать, что он, разорившись, наложил на себя руки и сделал это после того, как промотал, растратил все мое состояние и состояние моей дочери... Судиться... для того чтобы услышать, будто он довел нас до крайней нищеты!.. О нет, никогда! Никогда! И все же, если память о моем брате священна, то ведь и жизнь и будущее моей дочери для меня тоже священны... но ведь у меня нет никаких доказательств, уличающих нотариуса, и я только вызову бесполезный, ненужный скандал...

– И что самое ужасное, самое ужасное, – продолжала она после короткого молчания, – это то, что порою, разгневанная и раздраженная нашим ужасным жребием, я решаюсь обвинять моего брата... признавать, что нотариус, быть может, прав, обвиняя моего брата... как будто, если я стану проклинать двух людей, а не одного, это облегчит мои муки... но я почти тотчас сама возмущаюсь собственными предположениями – несправедливыми, отвратительными, направленными против лучшего, честнейшего из братьев! Ох, этот окаянный нотариус! Он даже и не подозревает обо всех ужасных последствиях совершенного им воровства... Он-то думал, что крадет только деньги, а на самом деле он подверг жестокой мучке души двух женщин... двух женщин, которых он обрек умирать на медленном огне... Увы! Да, я не отваживаюсь и никогда не отважусь рассказать моей бедной девочке о моих тягостных опасениях, потому что я не могу так безжалостно огорчить ее... но я сама так страдаю... меня, треплет лихорадка... меня поддерживает только энергия отчаяния; я чувствую, что во мне зреет зародыш болезни... быть может, опасной болезни... да, я чувствую, как она приближается... она все ближе и ближе... все в груди у меня горит, голова раскалывается... Эти симптомы гораздо серьезнее, просто я не хочу в этом сознаться даже самой себе... Господи боже!.. А ну как я совсем разболеюсь... если тяжело заболеть... если мне суждено умереть!.. Нет! Нет! – воскликнула с волнением г-жа де Фермон. – Я не хочу умирать... Покинуть мою Клэр... шестнадцатилетнюю девочку... без всяких средств к существованию, одинокую, брошенную в Париже... разве это мыслимо?.. Нет? Я вовсе не больна, в конце концов, что я такое испытываю?.. У меня небольшой жар в груди, голова тяжелая, все это – результат горя, бессонницы, холода, тревог; любой на моем месте испытал бы упадок сил... Но в этом нет ничего серьезного. Ладно, ладно, главное – не поддаваться слабости... господи боже! Если предаваться столь мрачным мыслям, ко всему прислушиваться в себе... можно и в самом деле заболеть... а мне как раз сейчас самое время болеть!.. Не так ли?! Нужно немедленно искать работу для себя и для Клэр, потому что тот человек, что давал нам раскрашивать – гравюры...

Мгновение помолчав, г-жа де Фермон с негодованием продолжала:

– О, как это было отвратительно!.. Давать нам эту работу ценой позора для Клэр!.. Безжалостно отнять у нас столь хрупкое средство к существованию только потому, что я не согласилась, чтобы девочка одна приходила к нему работать по вечерам!.. Но, может быть, мы найдем какую-нибудь работу в другом месте, ведь я умею шить и вышивать... Да, но, когда никого не знаешь, это так трудно!.. Ведь только недавно я пыталась, но тщетно... Когда живешь в такой дыре, то, понятно, не внушаешь доверия; а ведь те небольшие деньги, что у нас еще остались, скоро кончатся... И что тогда?.. Что делать?.. Что с нами будет?.. Ведь у нас ничего не останется... совсем ничего... ни гроша не останется... А я же была богата!.. Не стану обо всем этом думать... от таких мыслей у меня голова кругом идет... я с ума схожу... Главная моя вина в том, что я слишком упорно об этом думаю, а необходимо отвлечься, и я постараюсь... Эти мрачные

мысли и привели к тому, что я заболела... Нет, нет, я вовсе не больна... Я даже думаю, что меня уже меньше лихорадит, – прибавила несчастная мать, щупая у себя пульс.

Но увы! Пульс у нее бился неровно, прерывисто, с бешеной скоростью, и, ощутив это лихорадочное биение сквозь свою сухую, холодную кожу, она отбросила всякие иллюзии.

Мрачное и тяжелое отчаяние охватило ее, но, совладав с ним, она с горечью проговорила:

– Всемогущий господь! За что ты нас караешь? Разве мы хоть когда-нибудь совершили что-либо дурное? Разве моя дочь не была истинным образцом чистоты и набожности? Разве ее отец не был живым олицетворением честности? Разве я всегда не выполняла достойно свой долг жены и матери? Почему ты позволил этому негодяю сделать нас своими жертвами?.. Меня, а особенно мою несчастную девочку!..

Когда я думаю, что, если бы этот нотариус нас не обобрал, то я бы нисколько не тревожилась за судьбу моей дочери... Мы бы жили сейчас в своем доме, не беспокоясь о будущем, мы бы только с глубокой печалью и скорбью оплакивали смерть моего несчастного брата; года через два или три я бы начала думать о замужестве Клэр, и я нашла бы человека, достойного ее, такой доброй, очаровательной и красивой!.. Разве любой не посчитал, бы себя счастливым, получив ее руку?.. Я ведь собиралась, выговорив себе небольшой пенсион, который позволил бы мне жить рядом с нею, дать ей в приданое все, чем я располагала, ведь у меня было не меньше ста тысяч эю, и я была бы бережлива; а когда юная девушка, такая красивая и такая воспитанная, как мое милое дитя, приносит мужу в приданое больше ста тысяч эю...

Затем, словно по контрасту, г-жа де Фермон с горечью возвратилась в мыслях к печальной действительности и воскликнула точно в бреду:

– Но ведь это просто невысказано! Из-за злой воли какого-то нотариуса я покорно смиряюсь с тем, что моя дочь обречена на самую ужасную нищету!.. А ведь у нее были все права на безоблачное счастье... Если закон оставляет подобное преступление без кары, я этого так не оставлю; ибо, если судьба доводит меня до полного отчаяния и если я не нахожу никакого средства выбраться из того ужасного положения, в которое меня поставил этот негодяй, я сама не знаю, что я сделаю... я, я сама способна буду убить его, этого низкого человека. А потом пусть делают со мною, что хотят... все матери будут на моей стороне... Да... Но моя дочь?.. Что будет с нею? Разве могу я покинуть ее, оставить одну-одинешеньку? Вот в чем ужас... Вот почему я не хочу умирать... Вот почему я не могу убить этого человека. Что будет с нею? Ведь ей всего шестнадцать лет... Она так молода, она чиста и невинна, как ангел... и при этом так красива... Полная заброшенность, нищета, голод... все эти беды... соединившись вместе, могут помутить разум столь юного существа... и тогда на краю какой бездны может она оказаться?! О, это ужасно... чем больше я вдумываюсь в это слово «нищета», тем больше устрашающих угроз я в нем нахожу. Нищета... нищета жестока ко всем, но, быть может, особенно жестока она для тех, кто прожил свою жизнь в довольстве. И вот чего я не могу простить себе: как это, столкнувшись с такими ужасными бедами, я не в силах победить свою злосчастную гордость! Лишь в том случае, когда моя дочь останется буквально без куска хлеба, я решусь просить милостыню... Но ведь это же подло и низко с моей стороны!

И г-жа де Фермон прибавила с сумрачной горечью:

– Этот нотариус обрек меня на нищенство, стало быть, я обязана считаться с существующим положением; теперь мне уже не до щепетильности, не до разборчивости, все это осталось в прошлом; теперь же мне нужно просить милостыню и для себя и ради дочери; да, если я не подыщу работу... мне придется решиться на то, чтобы молить о милосердии посторонних, ибо так пожелал этот нотариус. Без сомнения, и для того, чтобы успешно просить милостыню, нужна определенная сноровка, умение, но это приходит с опытом; я этому научусь; ведь это такое же ремесло, как и всякое другое, – прибавила несчастная женщина душераздирающим голосом. – И мне кажется, что у меня есть все, чтобы разжалобить сердобольных: ужасные беды, мной не заслуженные, и дочь шестнадцати лет... не девочка, а ангел... сущий ангел; но надо суметь, надо отважиться рассказать об этих «преимуществах», и я добьюсь успеха.

– А вообще-то на что, я собственно, жалуюсь? – воскликнула г-жа де Фермон с мрачным смехом. – Материальное благосостояние – вещь непрочная, переходящая... Нотариус, по крайней

мере, заставит меня заняться каким-нибудь ремеслом.

Некоторое время она молчала, погрузившись в раздумье; потом снова заговорила, но уже немного спокойнее:

– Я часто думала о том, чтобы подыскать себе какое-нибудь место; я, например, завидую горничной той дамы, что живет на втором этаже; получи я это место, быть может, на свое жалование я смогла бы удовлетворить насущные потребности Клэр... быть может, с помощью этой дамы мне удалось бы подыскать какую-нибудь работу и для дочери... она останется жить тут... Таким образом мы не расстанемся. Какое счастье... если бы все это так устроилось!.. О нет, нет, нет, это было бы чересчур прекрасно... такое бывает только во сне! А потом, чтобы занять это место, надо, чтобы эту горничную уволили... и, может, тогда ее судьба будет столь же плачевной, как и наша судьба. Ну и что же?! Тем хуже, тем хуже... Разве нотариус проявил щепетильность, обирая меня? Прежде всего – судьба моей дочери. Надо подумать, каким образом войти в доверие к даме со второго этажа. И каким образом устранить ее служанку? Ведь это место было бы для нас неожиданной удачей!

Два или три сильных удара в дверь заставили задрожать г-жу де Фермон и разбудили ее дочь.

– Боже мой! Мама, что случилось? – воскликнула Клэр, рывком приподнимаясь на своем ложе.

Девушка неожиданно и инстинктивно обвила руками шею матери, а та, испугавшись не меньше дочери, прижала ее к груди, со страхом глядя на дверь.

– Мамочка, что же случилось? – повторила Клэр.

– Я и сама не знаю, дитя мое... Успокойся... это пустяки... просто постучали в дверь... может быть, это принесли нам с почты письмо до востребования...

В эту минуту трухлявая дверь снова заходила ходуном: по ней кто-то изо всех сил молотил кулаками.

– Кто там? – дрожащим голосом спросила г-жа де Фермон.

В ответ послышался чей-то грубый, резкий и хриплый голос:

– Да вы что, оглохли, соседки? Эй, слышите... соседки?.. Эй!..

– Что вам угодно, сударь? Я вас не знаю, – проговорила г-жа де Фермон, стараясь унять дрожь в голосе.

– Меня звать Робен... я ваш сосед... дайте-ка мне огоньку, трубку разжечь... да пошевеливайтесь там! Открывайте побыстрее!

– Боже мой! Ведь это хромой верзила, он вечно пьян, – тихо сказала мать дочери.

– Ах, так!.. Дадите вы мне огня, а то я все в щепки разнесу... разрази меня гром!

– Сударь, у меня нет огня...

– Тогда у вас есть серные спички... они у каждого имеются... отоприте... не то...

– Сударь... идите к себе.....

– Стало быть, не хотите отворить... Считаю: раз... два...

– Я попрошу вас удалиться, или я позову на помощь...

– Считаю: раз... два... три... ну, что? Не хотите отворить? Ну тогда я все разнесу!.. Ух, держитесь!..

И негодяй с такой силой бухнул по двери, что она поддалась: жалкая задвижка, на которую была заперта дверь, треснула.

Обе женщины испустили испуганный вопль.

Преодолевая владевшую ею слабость, г-жа де Фермон бросилась навстречу злодею, который уже ступил одной ногою в комнату, и преградила ему путь.

– Сударь, это низко! Я не позволю вам войти! – крикнула несчастная мать, изо всех сил удерживая полуотворенную дверь. – Я стану звать на помощь.

Говоря так, она дрожала при виде этого человека с отвратительным, распухшим от пьянства лицом.

– Чего это вы? Чего это вы? – возразил он. – Разве не должны соседи оказывать друг другу услуги? Надо было отворить дверь, и я бы ее не вышиб.

Затем с тупым упорством пьяницы он прибавил, покачиваясь на ногах, одна из которых была короче другой:

– Я желаю войти и войду... и не уйду, пока не разожгу свою трубку.

– Да нет же у меня ни огня, ни спичек. Ради бога, сударь, идите к себе.

– Неправду вы говорите, вы это придумали для того, чтобы я не мог поглядеть на девчонку, что в кровати лежит. Вчера вы заткнули все щели в двери. Она у вас миленькая, я хочу на нее поглядеть... Берегитесь... Я вам сейчас физиономию расквашу, если вы не дадите мне войти... Говорю я вам, что непременно посмотрю на малышку в постели и разожгу свою трубку... а не то я у вас все сокрушу! А заодно и вас саму!..

– На помощь!.. Господи боже, на помощь! – закричала г-жа де Фермон, чувствуя, что дверь поддается: хромой верзила изо всех сил нажал на нее плечом.

Оробев от этого крика, Робен попятился и погрозил г-же де Фермон кулаком, прибавив:

– погоди, ты мне за все это заплатишь... Нынче же ночью я вернусь и прищемлю тебе язык, так что ты больше вопить не сможешь...

И колченогий верзила, как его называли на острове Черпальщика, ушел, изрыгая проклятия и угрозы.

Госпожа де Фермон, опасаясь, как бы он не вернулся, и видя, что задвижка сломана, с трудом подтащила к двери стол, забаррикадировав вход.

Клэр была так напугана и потрясена этой ужасной сценой, что без сил упала на свое убогое ложе во власти нервного приступа.

Госпожа де Фермон, позабыв о собственных страхах, бросилась к дочери, заключила ее в объятия, дала ей выпить немного воды; ее заботы и ласки привели бедняжку в чувство.

Мало-помалу девушка пришла в себя, мать ей сказала:

– Успокойся... Не надо тревожиться, бедное мое дитя... Этот злой человек уже ушел.

Затем несчастная мать воскликнула с негодованием и невыразимой болью:

– К тому же первопричина всех наших мук и терзаний – этот отвратительный нотариус!..

Клэр оглядывалась вокруг с удивлением и страхом.

– Успокойся же, дитя мое, – продолжала г-жа де Фермон, нежно обнимая дочь, – этот негодяй ушел.

– Боже мой, мамочка, а ну как он снова поднимется и войдет? Ты ведь сама убедилась: ты звала на помощь, и ведь никто не пришел... Умоляю тебя, уйдем из этого дома... Я тут умру от страха.

– Господи! Как ты дрожишь!.. У тебя сильный жар.

– Нет, нет, – ответила юная девушка, стремясь успокоить мать. – Это пустяки, меня лихорадит от испуга, и скоро пройдет... Ну а ты, ты-то как себя чувствуешь? Протяни мне свои руки... Боже мой, они у тебя просто пылают! Теперь я вижу, что ты больна, только хочешь, это от меня скрыть.

– Не думай так, девочка, я себя прекрасно чувствовала! И просто переволновалась, когда к нам вломился этот человек; я спала на стуле глубоким сном и проснулась одновременно с тобой...

– И все же, мамочка, у тебя такие красные глаза... такие красные, да они просто горят!

– Ах, дитя мое, ты ведь сама понимаешь: когда спишь, сидя на стуле, отдых совсем не тот!

– Скажи правду, ты не больна?

– Да нет же, уверяю тебя... А ты как?

– И я не больна; я только все еще дрожу от страха. Умоляю тебя, мамочка, уйдем из этого дома.

– И куда мы денемся? Ты ведь знаешь, с каким трудом нам удалось подыскать даже эту жалкую комнатку... ведь у нас, на беду, нет с собой никаких бумаг, а потом, не забудь: мы уплатили за две недели вперед, и нам этих денег не вернут... а их у нас осталось очень мало... так мало... что мы должны на всем экономить, на чем только можно.

– Может быть, господин де Сен-Реми пришлет нам на днях ответ?

– Я на это больше уже не надеюсь... Ведь я уже так давно ему написала!

– Он, должно быть, не получил твоего письма... Отчего ты не напишешь ему еще раз? Ведь отсюда до Анже не так уж далеко, и ответ от него скоро придет.

– Бедная ты моя девочка, разве ты не знаешь, сколько душевных сил мне это уже стоило?

– Чем ты рискуешь, мама? Он ведь хоть и брюзга, но такой добрый! Разве не был он одним из самых старинных друзей моего отца? И потом он, как-никак, наш родственник...

– Но он ведь и сам беден; у него очень скромное состояние. Может быть, он потому нам и не отвечает, что не хочет причинить лишнее горе, своим отказом.

– Мамочка, а вдруг он не получил нашего письма?

– Ну а если он получил его, девочка?... Одно из двух: либо он сам в столь стесненных обстоятельствах, что прийти нам на помощь не может... либо он не испытывает к нам больше никакого интереса: а тогда зачем подвергать себя возможному отказу и новому унижению?

– Мужайся, мама, ведь у нас остается еще одна надежда... Может быть, нынешнее утро принесет нам добрые вести...

– Ответ от господина д'Орбиньи?

– Вот именно... Я прочла черновик посланного вами письма: вы так трогательно... так просто... так правдиво говорили о постигшем нас несчастье, что он, наверное, почувствовал к нам жалость. По правде говоря, что-то мне подсказывает, что напрасно вы впадаете в отчаяние, не надеетесь на графа.

– Но у него так мало резонов заинтересоваться нашей судьбой! Правда, в былые времена он знал твоего отца, и я часто слышала, как мой бедный брат говорил о господине д'Орбиньи как о человеке, с которым он состоял в очень добрых отношениях, это было до того, как господин д'Орбиньи уехал из Парижа в Нормандию вместе со своей молодой женой...

– Вот это-то как раз и позволяет мне надеяться; у него молодая жена, уж она-то нам непременно посочувствует... А потом, в деревне можно делать столько нужных вещей! Я думаю, что он, например, может взять вас к себе домоправительницей, а я стану работать в бельевой... Ведь господин д'Орбиньи очень богат, дом у него большой, и там всегда много разных дел.

– Так-то оно так, но у нас мало прав на его сочувствие!..

– Ведь мы же так несчастны!

– Ты права, для людей, по-настоящему милосердных, это и в самом деле очень важно.

– Будем уповать на то, что господин д'Орбиньи и его жена именно таковы!

– В конце концов, если нам станет ясно, что ждать от него нечего, я преодолею ложный стыд и напишу герцогине де Люсене...

– Это той самой даме, о которой нам так часто говорил господин де Сен-Реми, и он постоянно расхваливал ее доброе сердце и ее великодушие?

– Да, она дочь князя де Нуармон. Господин де Сен-Реми знал ее еще совсем ребенком, он даже смотрел на нее почти как на собственное дитя, потому что он был очень близок с князем. У госпожи де Люсене должны быть многочисленные знакомства, быть может, она сумеет подыскать мне, да и тебе тоже, какое-нибудь место.

– Без сомнения, мама; но я понимаю твою шепетильность, ты же ее совсем не знаешь, в то время как мой отец и мой бедный дядюшка были немного знакомы с господином д'Орбиньи.

– Ну, а в том случае, если и госпожа де Люсене ничем не сможет нам помочь, я могу прибегнуть к последнему средству.

– Какому же, мамочка?

– Правда, это очень слабая... даже почти безрассудная надежда! Но отчего не попробовать?... Ведь сын господина де Сен-Реми...

– Разве у господина де Сен-Реми есть сын? – воскликнула Клэр, с удивлением перебивая мать.

– Да, девочка, у него есть сын.

– Но он о нем никогда, не упоминал... и тот никогда не приезжал в Анже...

– Это верно; но некоторым причинам, о которых ты ничего не знаешь, господин де Сен-Реми, уехав из Парижа лет пятнадцать тому назад, с тех пор ни разу не видел своего сына.

– Сын целых пятнадцать лет не видел своего отца... Господи, разве такое возможно?..

Эжен Сю

– Увы! Сама видишь, что да... Я тебе вот что скажу: сын господина де Сен-Реми очень богат и очень часто бывает в свете...

– Он очень богат?.. А отец его беден?

– Все свое состояние молодой человек унаследовал от матери...

– Но какое это имеет значение... как же он позволяет, чтобы его отец...

– Его отец ничего бы не принял от сына.

– А почему?

– Я и на этот вопрос не могу тебе ответить, милая моя девочка. Но я не раз слышала, как мой бедный брат говорил о том, что люди очень хвалят этого молодого человека за его великодушные и щедрость... Если он молод и великодушен, стало быть, он добр... Так что, узнав от меня, что мой муж был близким другом его отца, быть может, он пожелает принять в нас участие и постарается найти для нас какую-нибудь работу или место. У него многочисленные связи в высшем свете, и это будет ему нетрудно сделать.

– А потом, может быть, мы через него узнаем, не уехал ли его отец, господин де Сен-Реми, из Анже до того, как вы послали ему письмо; тогда станет понятно и его молчание.

– Я думаю, дитя мое, что отец и сын не поддерживают друг с другом никаких отношений. Но, в конце концов, попытаться можно...

– Разве что вы за это время получите благоприятный ответ от господина д'Орбиньи... Я повторяю вам, что, сама не знаю почему, помимо собственной воли, меня не оставляет надежда.

– Однако, дитя мое, я написала ему уже несколько дней назад, рассказала о причинах постигшей нас беды, и в ответ – ничего... все еще ничего... Письмо, отправленное с почты до четырех часов дня, должно прийти в Обье на следующее утро. Прошло пять дней, и мы могли бы уже получить ответ...

– Быть может, перед тем как ответить тебе, он думает, каким образом он может оказаться нам полезен.

– Да услышит тебя господь бог, дитя мое!

– По-моему, все объясняется так просто, мама... Если бы он не мог ничего для нас сделать, он бы тотчас же тебя об этом известил.

– Да, а если он и мог бы, но не хочет ничего для нас сделать...

– Ах, мамочка... разве так может быть? Не соизволить даже ответить и оставлять нас в неизвестности четыре дня, а то и целую неделю!.. Ведь когда человек несчастен, он всегда надеется...

– Увы! Дитя мое, порою приходится сталкиваться с полным безразличием к бедам, о которых толком ничего не знают!

– Но ваше письмо...

– Разве может он, получив мое письмо, представить себе те тревоги и страдания, какие ежеминутно терзают нас; разве может мое письмо обрисовать ему нашу злосчастную жизнь, все те унижения, которым мы подвергаемся, разве может он понять из него, какое ужасное существование ведем мы в этом отвратительном доме, тот страх, который мы только что испытали?.. И может ли, наконец, мое письмо живописать ему то страшное будущее, какое нас ожидает, если... Но ладно... дитя мое... не будем говорить об этом... Господи боже... ты дрожишь... тебе холодно...

– Нет, мамочка... не обращай внимания; но скажи мне, предположим, что та небольшая сумма денег, что лежит в этом чемодане, уже истрачена, что мы остались совсем без средств... неужели может случиться, что в таком богатом городе, как Париж... мы обе с тобой умрем с голоду и от нищеты... из-за отсутствия работы и только потому, что один злой и дурной человек отобрал у тебя все, чем ты располагала?..

– Молчи, мое бедное дитя...

– Нет, скажи, наконец, мама, неужели это возможно?..

– Увы!

– Но ведь всеведущий и всемогущий господь не может совсем нас покинуть. Ведь мы ни разу в жизни ничем не оскорбили его.

– Умоляю тебя, девочка, не предавайся столь мрачным мыслям... Мне гораздо приятнее видеть, как ты надеешься на лучшее, хотя, быть может, и без особых оснований... Послушай, утешь меня лучше твоими радужными иллюзиями; ты ведь знаешь... я так легко, слишком легко падаю духом...

– Да! Да! Будем уповать на лучшее... это гораздо легче. Племянник содержателя меблированных комнат непременно вернется сегодня с почты с письмом для нас... Придется опять заплатить ему за услугу из ваших скудных средств... и это по моей вине. Если бы вчера и сегодня я не была так слаба, мы бы сами пошли на почту, как третьего дня... но вы не хотели оставлять меня одну в этом доме на время вашего отсутствия.

– Но как же я могла это сделать, дитя мое?.. Посуди сама..., только что... этот негодяй высадил дверь, а что было бы, будь ты в комнате одна!

– Ох, мамочка, молчи, при одной мысли об этом мне становится страшно...

В эту минуту кто-то громко постучал в дверь.

– О небо!.. Это он! – воскликнула г-жа де Фермон, все еще не оправившаяся от страха.

И она изо всех сил придвинула стол вплотную к двери. Ее испуг прошел, когда она услышала голос папаши Мику:

– Сударыня, мой племянник Андре вернулся с почтамта... Он принес письмо, где вместо адреса стоят буквы «Икс» и «Зет»... оно пришло издалека... Восемь су стоят почтовые расходы, а потом комиссионные... всего двадцать су.

– Мамочка... письмо из провинции, мы спасены... оно либо от господина де Сен-Реми, либо от господина д'Орбиньи! Милая мама, ты не будешь больше страдать, ты перестанешь тревожиться за меня, ты будешь счастлива?.. Господь справедлив... Он и впрямь всеблагой!.. – воскликнула юная девушка, и луч надежды озарил ее нежное и очаровательное личико.

– О сударь, благодарю вас... дайте письмо... дайте его поскорее! – воскликнула г-жа де Фермон, торопливо отодвигая стол и приотворяя дверь.

– С вас двадцать су, сударыня, – повторил скупщик краденого, показывая бедной женщине столь вожаденное письмо.

– Я сейчас заплачу вам, сударь.

– Ах, сударыня, я это так, к слову... особой спешки нет... Мне надо подняться на чердак и на крышу; минут через десять я вернусь и на обратном пути получу с вас деньги.

Он протянул письмо г-же де Фермон и ушел.

– Письмо из Нормандии... На почтовой марке стоит штемпель «Обье»... Оно от господина д'Орбиньи! – вскричала г-жа де Фермон, внимательно разглядывая письмо; на конверте стояло: «Госпоже Икс Зет... до востребования, Париж».¹⁴

– Ну что, мамочка, я была права?.. Боже мой, как колотится у меня сердце!

– Так или иначе в этом письме заключен наш счастливый или несчастный жребий... – проговорила г-жа де Фермон взволнованным голосом, указывая на письмо.

Дважды она подносила дрожащую руку к сургучной печати, не решаясь сломать ее.

Она никак не могла собраться с духом.

Кто возьмется описать ужасную тревогу, во власти которой пребывают те, кто подобно г-же де Фермон ожидает прочесть в письме строки, рождающие надежду или повергающие в отчаяние.

Горячее, лихорадочное волнение игрока, который поставил на карту свои последние золотые монеты, и, тяжело дыша, с воспаленным взглядом ожидает окончательного решения своей участи – своей гибели или спасения, – это сильнейшее волнение может дать некоторое понятие об ужасной тревоге, владевшей несчастной женщиной.

В одно мгновение душа такого человека возносится в мир радужных надежд или погружа-

¹⁴ Госпожа де Фермон, написав это письмо в доме, где она прежде жила, и не зная в то время, где она сможет поселиться, просила г-на д'Орбиньи ответить ей письмом до востребования, но так как паспорта у нее не было, то для этого, чтобы получить письмо на почте, она указала вместо адреса эти инициалы: это было достаточно для получения адресованного ей письма. (Примеч. автора)

ется в смертельное отчаяние. В зависимости от того, полагает ли он себя спасенным или отвергнутым, несчастный то и дело переходит от одного чувства к другому, противоположному: от несказанного ощущения радости и признательности к великодушному человеку, который сжалился над его горестной судьбой, к мучительной злобе против равнодушного эгоиста.

Когда речь идет о попавших в беду достойных людях, те, кто часто оказывает помощь, будут, вероятно, оказывать ее всегда... а те, кто всегда отказывает в помощи, будут, быть может, оказывать ее часто, если и те и другие будут знать или будут видеть, какую несказанную радость или какую ужасную боль может принести несчастным надежда на доброжелательную поддержку или же боязнь пренебрежительного отказа... словом, отношение к ним.

– Какая непростительная слабость! – воскликнула г-жа де Фермон, печально улыбнувшись и присев на постель, где лежала ее дочь. – Повторю еще раз: наша судьба заключена в этом письме, бедная моя Клэр... – И она указала на конверт. – Я просто горю желанием узнать, что в нем заключено, и не решаюсь. Если там отказ, то, увы, незачем спешить...

– Ну а если там обещание помощи, мамочка... Если в этом маленьком, с виду ничем не примечательном письме содержатся добрые и утешительные слова, которые успокоят наши тревоги за будущее, если нам обещают скромное место в доме господина д'Орбиньи, то разве каждая потерянная минута не означает потерянный миг счастья?

– Ты права, девочка, но если там, напротив...

– Нет, матушка, вы ошибаетесь, я уверена в хорошем. Когда я вам говорила, что господин д'Орбиньи так долго не отвечал вам, то это объяснялось тем, что он хотел удостовериться в возможности твердо вас обнадежить... Позвольте мне взглянуть на письмо; я уверена, что смогу угадать по одному лишь почерку на конверте, что в нем: хорошие или дурные вести... Да, теперь я уверена, – сказала Клэр, взяв письмо из рук матери, – достаточно посмотреть на этот красивый почерк, безо всяких завитушек, прямой и твердый, и сразу понимаешь, что писал человек верный и великодушный, привыкший приходить на помощь страждущим...

– Умоляю тебя, Клэр, не строй безрассудных надежд, не то у меня совсем не хватит духа распечатать это письмо.

– Боже мой, милая моя матушка, да я, и не распечатывая его, могу сказать вам, что в нем примерно сказано; послушайте: «Сударыня, ваша судьба и судьба вашей дочери вполне достойны нашего участия; вот почему я прошу вас соблаговолить приехать ко мне, если вы хотите взять на себя обязанности моей домоправительницы...»

– Пощади меня, девочка, я снова и снова умоляю тебя... не строй безрассудных надежд... Пробуждение от волшебных грез будет чересчур ужасным... Ну ладно, больше мужества, – проговорила г-жа де Фермон, беря письмо из рук дочери и готовясь сломать наконец сургучную печать.

– Больше мужества? Для вас, пожалуйста! – воскликнула Клэр с улыбкой, охваченная порывом доверия, столь естественным в ее возрасте. – Я в нем не нуждаюсь; я заранее уверена, что в письме – добрые вести. Подождите, хотите, я сама распечатаю письмо? И прочту вам его вслух?... Дайте мне конверт, милая моя трусишка...

– Да, пожалуй, так будет лучше, держи... Но нет, нет, пусть уж лучше я прочту сама.

И г-жа де Фермой с замиранием сердца сломала сургучную печать.

Ее дочь, также глубоко взволнованная, несмотря на кажущуюся уверенность, едва дышала.

– Читай вслух, мама, – попросила она.

– Письмо довольно короткое; написано оно графиней д'Орбиньи, – сказала г-жа де Фермон, взглянув на подпись.

– Тем лучше, это добрый знак... Видишь, мамочка, эта прелестная молодая дама захотела тебе ответить сама.

– Сейчас все узнаем.

И г-жа де Фермой дрожащим голосом прочла нижеследующие строки:

«Сударыня!

Граф д'Орбиньи уже некоторое время серьезно болен и потому не мог в мое

отсутствие ответить на ваше письмо...»

- Видишь, мама, значит, он не виноват.
- Слушай, слушай дальше!

«Возвратившись сегодня утром из Парижа, я спешу написать вам, сударыня, посоветовавшись перед тем с г-ном д'Орбиньи относительно вашей просьбы. Он весьма смутно припоминает те отношения, какие, по вашим словам, существовали между ним и вашим братом. Что касается имени вашего мужа, то оно действительно знакомо г-ну д'Орбиньи, однако он не может вспомнить, при каких обстоятельствах он его слышал, и от кого именно. Мнимое мошенничество, в котором вы столь легкомысленно обвиняете г-на Жака Феррана, который, к нашему великому счастью, является нашим нотариусом, по мнению г-на д'Орбиньи, ужасная клевета, последствия которой вы, без сомнения, дурно рассчитали. Как и я сама, сударыня, мой муж хорошо знает этого весьма почтенного и благочестивого человека, на которого вы столь безрассудно нападаете, и восторгается его необыкновенной честностью. Вот почему я вынуждена сообщить вам, сударыня, что г-н д'Орбиньи, разумеется глубоко сочувствуя затруднительному положению, в котором вы оказались, но не постигая истинных причин ваших невзгод, не считает для себя возможным оказать вам какую-либо помощь.

Соблаговолите, сударыня, принять выражение сожаления г-на д'Орбиньи по этому поводу, а также мои заверения в самых добрых чувствах к вам.

Графиня д'Орбиньи ».

Мать и дочь в горестном изумлении уставились друг на друга: они не в силах были произнести ни слова.

В эту минуту папаша Мику постучал в дверь и сказал:

– Сударыня, могу ли я войти и получить деньги за почтовый сбор и комиссионные услуги? Всего двадцать су.

– Ах да, разумеется! Такая добрая весть стоит, чтобы мы заплатили за нее столько, сколько мы проедаем за два дня, – ответила г-жа де Фермон с горькой улыбкой. Оставив письмо на постели дочери, она подошла к старому чемодану без замка, наклонилась и открыла крышку.

– Нас обокрали! – воскликнула несчастная женщина с испугом. – Теперь у нас нет ничего, больше ничего, – прибавила она упавшим голосом.

И г-жа де Фермон в изнеможении оперлась на чемодан.

– Что ты такое говоришь, мама?.. А сумочка с деньгами?..

Госпожа де Фермон быстро выпрямилась, вышла из комнаты, и, обратившись к скупщику краденого, который продолжал топтаться на пороге, крикнула:

– Сударь, в этом чемодане лежала моя сумочка с деньгами...

При этих словах глаза ее засверкали, а на щеках выступил лихорадочный румянец от возмущения и испуга.

– И сумочку эту, – продолжала она, – у меня украли позавчера, когда мы вместе с дочерью отлучались на час... Эти деньги нужно разыскать, слышите? Ведь вы отвечаете за сохранность нашего имущества.

– Вас обокрали?! Вот выдумка! Мой дом славится своей честностью, – грубо и нагло ответил владелец меблированных комнат. – Вы все это придумали, чтобы не заплатить мне за почтовый сбор и за доставку письма.

– Я повторяю вам, сударь, что эти деньги, – все, чем я располагала, и меня обокрали; нужно отыскать их, или я подам жалобу. И я ни с чем не посчитаюсь, я ни перед чем не остановлюсь... имейте это в виду, я вас предупреждаю.

– Вам только и подавать жалобу! Да ведь у вас и бумаг-то никаких нет... Ступайте же, жалуйтесь на здоровье! Ступайте немедленно... Я вам сам укажу куда!..

Несчастливая женщина была сражена.

Она не могла даже выйти из дому и оставить одну свою дочь: бедная девочка лежала в постели совершенно без сил: она все еще не оправилась от испуга: утром ее до полусмерти напугал хромой верзила, а сейчас ее привели в ужас угрозы скупщика краденого.

Между тем папаша Мику продолжал:

– Все это притворство; у вас не было никакой сумочки с серебром, как не было и сумочки с золотом; просто вы не хотите уплатить мне за доставку письма, не правда ли? Ладно! Мне все равно... Когда вы будете проходить мимо моей двери, я сорву у вас с плеч эту старую черную шаль... Она сильно выцвела, но уж двадцать-то су она, во всяком случае, стоит.

– Ах, сударь! – воскликнула г-жа де Фермон, обливаясь слезами. – Помилосердствуйте, пожалейте нас... ведь эта скромная сумма серебром – это все, что у нас с дочерью оставалось; господи, и вот ее украли, и теперь у нас не осталось ничего... слышите, ничего... Мы просто-напросто умрем с голода!..

– Да я – то что могу поделать, как я могу помочь?! Если вас и вправду обокрали... и унесли ваше серебро (мне в это что-то не верится), то ваши денежки уже давно, как говорится, плакали!

– Господи боже! Господи боже!

– Молодчик, который обстригал это дело, вряд ли будет таким добрым малым, чтобы пометить ваши серебряные монеты и держать их у себя, чтобы его с ними сцапали; не думаю, чтобы это мог сделать кто-либо из постояльцев, потому как еще нынче утром я говорил дяде дамочки со второго этажа, что у нас тут тихо, как в деревушке; так что, коли вас обокрали, это и впрямь беда. Можете подать сто тысяч жалоб, но не получите ни одного сантима... ничего вы не добьетесь... это я вам говорю... можете мне поверить... Эй-эй! – крикнул папаша Мику, прерывая свою речь. – Да что это с вами?.. Вы побледнели как мел... Будьте поосторожнее!.. Мадемуазель, вашей матушке дурно!.. – прибавил скупщик краденого, быстро подойдя к несчастной женщине и в последнюю минуту подхватив ее: сраженная последним ударом, она лишилась чувств; лихорадочная энергия, которая так долго поддерживала г-жу де Фермон, оставила ее при новом испытании.

– Мамочка!.. Что с тобою? Боже мой! – воскликнула Клэр, все еще лежавшая в постели.

Скупщик краденого, еще достаточно сильный, несмотря на то, что ему уже стукнуло пятьдесят, охваченный чувством мимолетной жалости, подхватил г-жу де Фермон на руки, толкнул коленом дверь, мешавшую ему войти в комнату, и сказал, обращаясь к Клэр:

– Мадемуазель, простите, что я вхожу к вам, когда вы лежите в постели, но приходится: мне нужно отвести вашу матушку... она без чувств... но это, должно быть, недолго продлится.

Увидя входящего мужчину, Клэр испустила крик ужаса и закуталась с головой в одеяло.

Папаша Мику усадил г-жу де Фермой на стул, стоявший возле походной кровати, и ушел, оставив дверь полуотворенной, ибо задвижку от нее сломал хромоногий верзила.

Через час после этого последнего потрясения серьезная болезнь, уже давно подтачивавшая г-жу де Фермой и угрожавшая ее жизни, наконец проявилась.

Вся в жару, в лихорадке, в страшном бреде, несчастная женщина легла в постель своей совершенно растерявшейся дочери, а та – одна-одинешенька, почти столь же больная, как и ее мать, без гроша в кармане, без средств к существованию трепетала от страха, боясь, что в любую минуту в комнату может ворваться злодей, живший на той же лестничной площадке.

Глава VI УЛИЦА ШАЙО

Мы опередим на несколько часов г-на Бадино, который торопился попасть из Пивоваренного проезда в дом виконта де Сен-Реми.

Виконт, как мы уже говорили, жил, на улице Шайо; он один занимал небольшой очаровательный особняк, окруженный двором и садом, в пустынном квартале, хотя и расположенном по соседству с Елисейскими полями – самым модным местом для прогулок парижан.

Нет смысла перечислять все те преимущества, которые г-н де Сен-Реми, весьма склонный к

любовным похождениям, извлекал из местоположения своего жилища, столь умело выбранного им. Скажем только, что любая женщина могла очень быстро попасть к нему, пройдя через небольшую калитку обширного сада; калитка эта выходила во всегда безлюдный переулок, соединявший улицу Марбеф с улицей Шайо.

Наконец, благодаря поистине чудесной случайности одно из самых превосходных садоводств столицы также имело редко используемый выход в тот же переулок; таким образом, таинственные посетительницы г-на де Сен-Реми в случае неожиданной и непредвиденной встречи были всегда вооружены вполне благовидным и, так сказать, буколическим предлогом, объяснявшим, почему они оказались в этом роковом переулке.

Они могли бы сказать, что направлялись к знаменитому садовнику-цветоводу за букетом редких цветов, ибо он по праву славился своими замечательными теплицами.

Эти прелестные посетительницы, впрочем, солгали бы лишь наполовину: у самого виконта, щедро одаренного истинным вкусом к изысканной роскоши, была собственная прекрасная теплица, тянувшаяся вдоль переулка, о котором мы уже упомянули; маленькая, скрытая кустами дверь выходила в этот очаровательный зимний сад, который упирался прямо в будуар (да простят нам это старомодное слово), расположенный в нижнем этаже особняка.

Да будет нам позволено сказать без всякой метафоры, что женщина, переступавшая этот опасный порог, чтобы попасть к г-ну де Сен-Реми, шла навстречу своей гибели по цветущей тропе; ибо, особенно зимою, эта очаровательная аллея была окаймлена пышными кустами красивых и благоуханных цветов.

Госпожа де Люсене, ревнивая, как и всякая страстная женщина, потребовала у виконта ключ от этой маленькой двери.

Если мы чуть подробнее остановимся на общем характере этого необычного жилища, то должны будем заметить, что оно, так сказать, отражало, как в зеркале, одно из тех постыдных существований, которых с каждым днем становится, к счастью, все меньше и меньше, но о которых стоит упомянуть, как о странных приметах описываемой эпохи; мы хотим поговорить о существовании тех мужчин, которые играют в жизни женщин ту роль, какую играют в жизни мужчин куртизанки; за отсутствием более точного определения мы назовем таких людей, если нам это будет позволено, мужчинами-куртизанками.

В этом отношении внутреннее убранство особняка г-на де Сен-Реми представляло собою довольно любопытное зрелище.

Но прежде всего надо сказать, что особняк этот был разделен на две совершенно различные половины.

В нижнем этаже виконт принимал женщин.

На втором этаже принимал своих партнеров по карточной игре, сотрапезников, людей, с которыми он вместе охотился, словом, тех, кого именуют приятелями...

Поэтому в нижнем этаже была расположена спальня: здесь все было в золоте, в зеркалах, в цветах, атласе и кружевах; рядом находились небольшая гостиная для музицирования, тут можно было увидеть арфу и фортепьяно (г-н де Сен-Реми был отличный музыкант) и кабинет, где висели картины и были собраны различного рода редкости; будуар соседствовал с теплицей; кроме того, была здесь и крошечная уютная столовая на две персоны, где можно было мигом накрыть на стол и убрать со стола; имелась здесь и ванная – законченный образец восточной изысканной роскоши, а помимо всего, была тут и небольшая библиотека, частично подобранная по каталогу библиотеки, которую Ламеттри составил для Фридриха Великого.

Незачем говорить, что все эти комнаты, обставленные с редким вкусом, с поистине сказочной роскошью, были украшены малоизвестными полотнами Ватто, никому не ведомыми холстами Буше, скульптурными группами статуэток из не покрытого глазурью фарфора и терракоты; «а подставках из яшмы или брекчии стояли копии изящных статуэток из белого мрамора: их подлинники хранятся в музее Лувра. Прибавьте к этому, что летом все как бы обрамлялось зелеными кустами и цветниками густого сада, безлюдного, полного цветов, населенного певчими птицами, освежаемого ручейком быстро бегущей воды: перед тем как оросить зеленую лужайку, она обрушивалась на нее с высоты черного утеса и сверкала как полоса серебристого газа, а за-

тем, блеснув как перламутровая пластина, терялась в прозрачном водоеме, где плавали и резвились белые лебеди.

Когда же опускалась теплая ясная ночь – сколько было трепетной тени, благоухания, загадочной тишины в купях источающих аромат деревьев, чья густая листва служила нерукотворным балдахинем, словно сплетенным из тростника и индийских циновок!

Зимой же, напротив, все, кроме застекленной двери, что вела в теплицу, все было плотно заперто: прозрачные шелка занавесей, сеть отделанных кружевом драпировок придавали слабому дневному свету какой-то таинственный оттенок; на столиках, секретерах и комодах – всюду виднелись вазы с экзотическими растениями: они походили на огромные чаши, отливавшие золотом и эмалью.

В этом безмолвном убежище, наполненном пряно пахнущими цветами, сладострастными полотнами художников, вы как бы дышали атмосферой любви, пьянящей атмосферой, переполнявшей душу и чувства жгучим томлением.

Наконец, чтобы полностью воздать должное этому дому, напоминавшему античный храм, воздвигнутый для любви либо в честь обнаженных богинь Древней Греции, добавим, что в нем жил молодой и красивый человек, эlegantный и утонченный, то остроумный, то нежный, то романтичный, то любострастный, то насмешник, сумасброд и весельчак, то полный очарования и прелести, прекрасный музыкант, одаренный тем вибрирующим голосом, полным страсти, слушая который женщины ощущают глубокое волнение... почти физическое возбуждение, словом, человек, прежде всего влюбленный... всегда влюбленный... Таким был виконт де Сен-Реми.

В Афинах его бы, без сомнения, боготворили, безмерно обожали, обожествляли как нового Алкивиада; но в наши дни в описываемую нами эпоху виконт был всего лишь презренным изготовителем подложных векселей, всего лишь жалким мошенником.

Второй этаж особняка г-на де Сен-Реми, напротив, являл собою жилище мужчины-холостяка.

Именно здесь он принимал своих многочисленных друзей, причем все они принадлежали к высшему обществу.

Тут вы не встретили бы ничего кокетливого, ничего, отмеченного печатью женственности: простая и строгая обстановка, вместо украшений – дорогое и красивое оружие; портреты скаковых лошадей, которые принесли виконту множество великолепных золотых и серебряных кубков, стоявших на столиках и подставках; курительная комната и гостиная, где играли в карты или метали кости, соседствовали с убранной до блеска столовой, где восемь персон (число приглашенных строго соблюдается, когда речь идет об изысканном обеде) не один раз высоко оценивали искусство повара и превосходные вина из собственного погреба виконта; затем составлялась партия в вист, игра часто принимала весьма нервический характер, ибо ставки поднимались до пятисот и даже шестисот луидоров; а в иные дни гости – каждый в свой черед – шумно постукивали стаканчиком для игральные костей.

Теперь, когда мы описали две различные половины особняка г-на де Сен-Реми, читатель, надеемся, соизволит последовать за нами в, так сказать, более низменные пределы – иными словами, войдет в каретный двор и поднимется по маленькой лестнице, что вела в весьма комфортабельные покои Эдвардса Паттерсона, ведавшего конюшней виконта де Сен-Реми.

Сей знаменитый *coachman*¹⁵ пригласил в тот день к себе на завтрак г-на Буайе, доверенного камердинера виконта. Очень хорошенькая служаночка-англичанка удалась, принесла перед тем чайник, и двое мужчин остались вдвоем.

Эдвардсу было на вид лет сорок; никогда еще более искусный и толстый кучер не отягощал сиденье более внушительной округлой частью тела, не обрамлял белым париком более багровую физиономию и не держал с большей эlegantностью в кулаке левой руки вожжи запряженной в карету четверни. Столь же превосходный знаток лошадей, как Татерсейл из Лондона, не уступавший в молодости столь опытному кучеру, как прославленный и уже пожилой Чиффни,

¹⁵ Кучер (англ.).

Эдвардс был сущей находкой для виконта де Сен-Реми, ибо тот обрел в его лице – а такое редко встречается – не только прекрасного кучера, но и человека, умеющего великолепно тренировать скаковых лошадей; виконт держал их в своей конюшне, чтобы иметь возможность заключать выгодные пари.

Эдвардс, когда он не восседал в своей нарядной, расшитой золотом коричневой ливрее на сиденье кареты, украшенной гербами виконта, сильно смахивал на почтенного английского фермера; в таком обличье мы и представим его читателю, присовокупив, однако, что, несмотря на добродушную и румяную физиономию Эдвардса, опытный наблюдатель мог бы угадать в нем безжалостное и дьявольское коварство барышника.

Его гость, г-н Буайе, доверенный камердинер г-на де Сен-Реми, был высокий и сухощавый человек с гладкими седыми волосами, полысевшим лбом, пронизательным взглядом, с холодным, скрытым и сдержанным выражением лица; он употреблял в своей речи изысканные выражения, отличался весьма учтивыми манерами, держался весьма непринужденно, кое-что почищал, придерживался консервативных взглядов в политике и мог с честью исполнять партии первой скрипки в любительском квартете; время от времени он величественным жестом брал понюшку табака из своей золотой, отделанной тонким жемчугом табакерки... после чего небрежно разглаживал тыльной стороной кисти, не менее ухоженной, чем у его хозяина, складки на своей сорочке из тонкого голландского полотна.

– Знаете ли вы, любезный мой Эдвардс, – объявил Буайе, – что ваша служаночка вполне сносно справляется со своими обязанностями домоправительницы почтенного дома?

– Право же, она очень милая девица, – отвечив Эдвардс, который превосходно говорил по-французски, – и я возьму ее в мое собственное заведение, если я все же решусь обзавестись таковым; кстати, раз уж мы оказались вдвоем, любезный мой Буайе, потолкуем о наших делах, вы ведь знаете в них толк?

– Да, я кое в чем разбираюсь, – скромно ответил Буайе, беря очередную понюшку табака. – Когда занимаешься делами других людей, то, само собой разумеется, кое-чему непременно научишься.

– Я хотел бы получить от вас очень важный для меня совет; именно для этого я пригласил вас к себе на чашку чая.

– Весь к вашим услугам, любезный мой Эдвардс.

– Вы знаете, что, помимо тренировки скаковых лошадей, я условился с господином виконтом о том, что буду полностью ведать его конюшней – и животными и людьми, – иными словами, восемью лошадьми и пятью или шестью гругами и подручными, получая за все это двадцать четыре тысячи франков в год. «Сколько, по-вашему, стоят по самой дешевой цене мои лошади и экипажи?» – спросил господин де Сен-Реми. «Господин виконт, восемь лошадей не могут быть проданы дешевле, чем по три тысячи франков каждая (и это так, Буайе, ибо за пару лошадей для фаэтона заплатили пятьсот гиней), так что всего получится за лошадей двадцать четыре тысячи франков. Что касается экипажей, у нас их четыре, положим за все двенадцать тысяч франков, прибавим эти деньги к тем двадцати четырем тысячам, что вырчим за лошадей, получится тридцать шесть тысяч франков». – «Превосходно! – продолжал господин виконт, – купите у меня все оптом за эту сумму, при одном условии: помимо причитающихся вам двадцати четырех тысяч франков вы оставите себе остальные двенадцать тысяч, но зато в течение полугода вы будете по-прежнему ухаживать за лошадьми, ведать людьми и экипажами, но все это останется на этот срок в моем распоряжении».

– И вы благоразумно согласились на эту сделку, Эдвардс? Ведь предложение вам было сделано, можно сказать, золотое.

– Конечно, через две недели установленные шесть месяцев истекут, и я вступаю во владение и лошадьми и экипажами.

– Чего уж проще. Акт был составлен господином Бадино, стряпчим господина виконта. Так в каком же моем совете вы нуждаетесь?

– Как мне лучше поступить? Продать лошадей и экипажи в связи с отъездом господина де Сен-Реми, а продать их будет легко, и за хорошую цену, потому что он известен как лучший зна-

ток лошадей в Париже; или же мне стоит самому заняться торговлей лошадьми, завести собственную конюшню, ведь начало уже положено? Что вы мне посоветуете?

– Я советую вам поступить так же, как поступлю я сам.

– А именно?

– Я ведь нахожусь в таком же положении, как и вы.

– Вы?

– Господин виконт ненавидит заниматься всякого рода мелочами; когда я поступил к нему на службу, у меня были кое-какие сбережения, вместе с отцовским наследством составила сумма в шестьдесят тысяч франков; я ведал расходами по дому, как вы ведали конюшной, и все эти годы господин виконт платил мне жалованье, даже не проглядывая счета; приблизительно в то же время, что и вы, я обнаружил, что хозяин задолжал мне двадцать тысяч франков и тысяч шестьдесят мы остались должны поставщикам; и тогда господин виконт предложил мне, как он предложил вам, чтобы рассчитаться с долгами, приобрести у него всю обстановку особняка, включая столовое серебро, кстати, очень красивое, очень дорогие полотна разных живописцев и все остальное; оптом мы оценили имущество в сто сорок тысяч франков. Уплатить мне и поставщикам надо было восемьдесят тысяч франков, таким образом, оставалось еще шестьдесят тысяч, я обязался употребить их все до последнего сантима на стол, жалованье прислуге и прочие нужды, но больше ни на что; таково было условие заключенной нами сделки.

– Ибо на этих расходах вы кое-что зарабатывали.

– Разумеется, ибо я сговорился с поставщиками, что уплачу им деньги только после продажи имущества, – сказал Буайе, втягивая носом добрую понюшку табака. – Так что к концу этого месяца...

– Вся обстановка будет принадлежать вам, так же, как лошади и экипажи – мне.

– Конечно, господин виконт тоже не остался внакладе: он сохранил возможность продолжать все последнее время вести любезный его сердцу образ жизни... то есть жить как вельможа и одновременно оставить с носом своих кредиторов: ведь за обстановку, столовое серебро, лошадей, экипажи – за все было уплачено им наличными деньгами, когда он достиг совершеннолетия, а теперь все это стало нашей собственностью – вашей и моей.

– Стало быть, господин виконт будет разорен?

– Он сумел разориться всего за пять лет...

– А унаследовал господин виконт?..

– Жалкий миллион франков наличными деньгами, – ответил с явным пренебрежением г-н Буайе, беря очередную понюшку табака. – Прибавьте к этому миллиону примерно двести тысяч долгу, так что сумма получается подходящая... Все это я вам рассказываю, любезный мой Эдвардс, потому что я собирался сдавать внаем англичанам весь этот превосходно обставленный особняк, как он есть: с бельем, хрусталем, фарфором, столовым серебром, теплицей; думаю, что многие из ваших соотечественников согласились бы на весьма высокую плату.

– Еще бы! А почему вы раздумываете?

– Понимаете, вещи могут упасть в цене, такой риск существует! И потому я решил продать дом со всей обстановкой. Господин виконт слывет таким знатоком антикварной мебели и произведений искусства, что принадлежащее ему имущество пойдет чуть ли не по двойной цене: таким образом, я положу в карман кругленькую сумму! Поступайте как я, Эдвардс, продайте, продайте все и не вздумайте на вырученные деньги пускаться в биржевые спекуляции; вы ведь прославленный кучер виконта де Сен-Реми, вас всякий захочет заполучить к себе; кстати, как раз вчера мне говорили о хотя еще и несовершеннолетнем, но уже дееспособном кузене герцогини де Люсене: этот юный герцог Монбризон возвратился из Италии со своим наставником и намерен обустроить свой дом. У него добрых двести пятьдесят тысяч земельной ренты, любезный мой Эдвардс, слышите: двести пятьдесят тысяч годовой ренты... Вот с таким капиталцем он вступает в самостоятельную жизнь. Ему двадцать лет, он человек доверчивый и полный иллюзий, ему не терпится начать тратить деньги, он расточителен, как принц... Я знаком с его дворецким, могу сказать вам это по секрету, он даже предложил мне место главного камердинера; глупец, вздумал мне покровительствовать!

И г-н Буайе, пожав плечами, шумно втянул в нос очередную понюшку табака.

– Вы надеетесь его выжить оттуда?

– Черт побери! Он либо наглец, либо просто болван. Он хочет взять меня к себе, ибо полагает, что ему незачем меня бояться! Не пройдет и двух месяцев, как я займу его место.

– Двести пятьдесят тысяч ливров земельной ренты! – заметил раздумчиво Эдварде. – И хозяин еще совсем молодой человек... Да, это место стоящее...

– Говорю вам, что там многое можно сделать. Я переговорю о вас со своим покровителем, – сказал г-н Буайе с нескрываемой иронией. – Поступайте туда на службу, ведь такое состояние, как у герцога, имеет крепкие корни, там можно надолго закрепиться. Это ведь не жалкий миллион господина виконта; такие деньги что снежный ком: под лучами парижского солнца он быстро тает – и всему конец! Я сразу же понял, что буду здесь, так сказать, перелетной птицей; и в общем-то жаль, потому что служить в нашем доме было почетно, и до последней минуты я буду служить господину виконту со всем уважением и почетом, какого он заслуживает.

– Любезный мой Буайе, право же, я вам весьма благодарен и принимаю ваше лестное предложение; но я вот о чем подумал: а не предложить ли мне молодому герцогу приобрести конюшню господина виконта? Она ведь в полном порядке, можно сказать, на ходу, ее знает и ею восхищается весь Париж.

– И то верно, вы можете совершить выгодное дельце.

– А почему бы и вам не предложить этот особняк, так прекрасно обставленный и украшенный? Где он лучше-то найдет?

– Черт побери, Эдвардс, я всегда знал, что вы человек умный, меня это не удивляет, но, признаюсь, вы мне подали превосходную мысль! Надо нам обратиться к господину виконту, он человек славный и не откажется замолвить за нас словечко перед молодым герцогом; он скажет ему, что, уезжая в Герольштейн в составе миссии, к которой он причислен, он хочет разом избавиться от своего дома и имущества. Послушайте: сто шестьдесят тысяч франков за прекрасно обставленный особняк, двадцать тысяч франков за столовое серебро и картины, пятьдесят тысяч франков за лошадей и экипажи, все это составит двести тридцать тысяч франков; по-моему, это замечательное предложение для богатого молодого человека, который желает обустроиться наилучшим образом; он потратит в три раза больше, чтобы приобрести столь элегантный, столь изысканный особняк со всеми службами! Потому что, надо признаться, Эдварде, никто лучше господина виконта не знает толк в роскошной жизни.

– Какие у него лошади!

– А какая вкусная еда! Годфруа, его повар, уйдет отсюда в сотню раз более искусным, чем пришел: господин виконт давал ему превосходные советы, он наделил его такой утонченностью!

– Помимо всего прочего, говорят, что господин виконт замечательный игрок!

– Восхитительный!.. Он выигрывает огромные суммы с еще большей невозмутимостью, чем проигрывает... А между тем я никогда не видел человека, который проигрывал бы деньги с большей выдержкой.

– А женщины, Буайе, а женщины! Уж вы бы могли многое о них порассказать, ведь вы один-то и вхожи в покои, расположенные в первом этаже...

– У меня свои секреты, как и у вас, мой милый.

– У меня?

– Когда господин виконт играл на скачках, разве не было у вас при этом своих тайн? Я не хочу подвергать сомнению честность жокеев ваших противников... Однако ходили разные слухи...

– Тише, любезный мой Буайе: истинный джентльмен никогда не бросает тень на репутацию жокея своего противника, если тот, проявив слабость, прислушался к его посулам...

– Так же, как человек порядочный никогда не бросает тень на репутацию женщины, которая была особенно любезна с ним; а потому, повторяю, будем хранить свои тайны, вернее сказать, тайны господина виконта, мой дорогой Эдвардс.

– Да, кстати... а что он собирается делать сейчас?

– Он едет в Германию в хорошей дорожной карете, имея в кармане семь или восемь тысяч

Эжен Сю

франков, которые ему удастся наскрести. О, я не тревожусь за судьбу господина виконта, он из тех людей, которые, как говорится, даже падая, всегда удерживаются на ногах...

– А он не ждет никакого наследства?

– Никакого, потому что его отец человек небогатый.

– Его отец?

– Вот именно...

– Разве отец господина виконта не умер?..

– Он был жив, во всяком случае, еще месяцев пять или шесть тому назад; господин виконт писал ему по поводу каких-то фамильных бумаг...

– Но он ведь тут никогда не появлялся?

– На то есть своя причина: вот уже пятнадцать лет, как отец господина виконта живет в провинции, в городе Анже.

– Но разве господин виконт не навещает его?

– Кого? Своего отца?

– Ну да.

– Никогда... никогда. Ни разу он к нему не ездил!

– Они что же, в ссоре?

– То, что я вам сейчас расскажу, – не тайна, я узнал обо всем от бывшего доверенного слуги князя де Нуармона.

– Отца госпожи де Люсене? – спросил Эдварде, лукаво и многозначительно поглядев на собеседника; однако г-н Буайе, верный своей обычной сдержанности и корректности, сделал вид, что ничего не заметил, и холодно продолжал:

– Герцогиня де Люсене и в самом деле дочь князя де Нуармона; отец господина виконта был близким приятелем князя; герцогиня в ту пору была совсем еще юной девушкой, и граф де Сен-Реми очень ее любил, он обращался с ней так фамильярно, как будто она была его дочерью. Все эти подробности известны мне из рассказа Симона, доверенного слуги князя; я могу говорить обо всей этой истории не обвиняясь, потому что история, которую я хочу вам поведать, была в свое время на устах у всего Парижа. Несмотря на то, что отцу господина виконта уже шестьдесят лет, он человек железной воли, он храбр как лев, а его честность можно смело назвать легендарной: он не располагал почти что ничем, когда женился по любви на будущей матери господина виконта, довольно богатой молоденькой особе: она располагала миллионом франков, и мы с вами имели честь наблюдать, как эти деньги буквально растаяли на наших глазах.

При этих словах г-н Буайе поклонился.

Эдвардс последовал его примеру.

– Брак этот был поначалу весьма счастливым; но в один прекрасный день отец господина виконта, как говорили, совершенно случайно обнаружил эти окаянные письма, из которых явствовало, что во время одной из его отлучек – это произошло года через три или четыре после свадьбы – его супруга прониклась нежной страстью к какому-то польскому графу.

– С этими поляками такое часто случается. Когда я служил у маркиза де Сенвалья, госпожа маркиза... дама неистовая...

Господин Буайе прервал своего собеседника.

– Любезный мой Эдвардс, вам надлежит знать об узах родства, связывающих знатные семейства, и лишь потом говорить; в противном случае вы можете попасть в весьма неловкое положение.

– Каким образом?

– Маркиза де Сенваль – сестра герцога де Монбризона, поступить на службу к которому вы желаете...

– Вот чертовщина!

– Судите сами, что произошло бы, если бы вы стали говорить о ней такие вещи в присутствии завистников или доносчиков: вы бы и суток не остались в доме герцога...

– Вы совершенно правы, Буайе... я постараюсь разузнать обо всех нужных фамильных связях...

– Я продолжаю... Итак, отец господина виконта обнаружил после двенадцати или пятнадцати лет счастливого брака, что жена изменила ему с польским графом. К несчастью либо, напротив, к счастью, господин виконт родился ровно через девять месяцев после того, как его отец... а точнее, граф де Сен-Реми возвратился домой после своей роковой отлучки, так что, несмотря на все весьма основательные предположения, он так и не мог окончательно увериться в том, что господин виконт – плод прелюбодеяния. Тем не менее граф немедленно разошелся с женой, не пожелал взять ни одного су из ее состояния, которое она принесла ему в приданое, и уехал жить в провинцию, располагая всего лишь восьмьюдесятью тысячами франков; но послушайте дальше, и вы поймете всю злобность его дьявольского характера. Хотя оскорбление было нанесено ему за пятнадцать лет до того, как он об этом узнал, и срок давности вроде бы истек, отец господина виконта в сопровождении господина де Фермона, одного из его родичей, пустился на поиски поляка-соблазнителя и настиг его в Венеции после того, как почти полтора года разыскивал его чуть ли не во всех городах Европы.

– Каков упрямец!..

– Он злобен, как демон, говорю я вам, любезный мой Эдвардс... В Венеции и состоялся кровопролитный поединок, в ходе которого поляк был убит. Все произошло по всем правилам; однако отец господина виконта выказал, как говорят, такую свирепую радость, увидя, что поляк смертельно ранен, что его родичу, господину де Фермону, пришлось буквально силой увести его с места поединка, ибо граф, по его словам, хотел самолично убедиться в том, что его враг испустит дух у него на глазах.

– Что за человек! Что за человек!..

– После этого граф возвратился в Париж, отправился к своей бывшей жене и сообщил ей, что он только что убил ее поляка; затем он снова уехал к себе в провинцию. С тех пор он ни разу не видел ни ее, ни сына, он безвыездно жил в Анже, и живет он там, как говорят, точно сущий бирюк на те средства, что еще сохранились у него от тех восьмидесяти тысяч франков, значительную часть из которых он, сами понимаете, поистратил, гоняясь за пресловутым поляком. В Анже он ни с кем не видится, кроме жены и дочери его родственника де Фермона, который умер несколько лет назад. Вообще-то семья де Фермонов – злосчастная семья, ибо брат госпожи де Фермон, по слухам, несколько месяцев тому назад пустил себе пулю в лоб.

– А что с матерью господина виконта?

– Он потерял ее уже давно. Вот почему господин виконт, достигнув совершеннолетия, получил в свое распоряжение состояние матери... Но ведь вы сами убедились, дражайший Эдвардс, что, промотав это наследство, господин виконт ни на какое другое рассчитывать не может. Вряд ли что-нибудь ему достанется от отца...

– Который, помимо всего прочего, его, как видно, терпеть не может.

– Он ни разу не пожелал с ним свидеться после сделанного им оскорбительного открытия, тем более что он, без сомнения, убежден, что господин виконт – сын поляка.

Беседа этих почтенных людей была прервана появлением выездного лакея гигантского роста: он был в тщательно напудренном парике, хотя было всего одиннадцать часов утра.

– Господин Буайе, – сказал великан, – господин виконт уже дважды звонил в колокольчик.

Буайе был, видимо, расстроен тем, что он пренебрег своими обязанностями, он поспешно поднялся с места и последовал за слугою с такой торопливостью и с таким подчеркнутым почтением, словно не он был настоящим владельцем особняка своего хозяина.

Глава VII ГРАФ ДЕ СЕН-РЕМИ

Прошло часа два после того, как Буайе, расставшись с Эдвардсом, вернулся, чтобы выслушать распоряжения виконта де Сен-Реми, когда отец виконта постучал в двери особняка на улице Шайо.

Граф де Сен-Реми был человек высокого роста, еще очень подвижный и крепкий, несмотря на свои годы; его загорелое смуглое лицо резко контрастировало с белоснежной бородой и во-

лосами; густые черные брови почти прикрывали пронизательные, глубоко посаженные глаза. Мизантроп по натуре, он словно из какого-то вызова носил потрепанное платье, однако весь его облик говорил о внутреннем достоинстве и горделивом спокойствии, и это внушало уважение к нему.

Двери в дом его сына растворились, и граф вошел.

Швейцар в пышной коричневой ливрее, шитой серебром, со старательно напудренным париком, в шелковых чулках, показался на пороге своей хорошо обставленной швейцарской, которая не больше походила на закопченное логово четы Пиппле, чем модная бельевая лавка походит на каморку бедной портнихи.

– Господин де Сен-Реми у себя? – отрывисто спросил граф.

Швейцар вместо ответа с презрительным удивлением посмотрел на белую бороду, поношенный сюртук и выдавшую виды шляпу незнакомца, стоявшего перед ним с тяжелой дубинкой в руке.

– Господин де Сен-Реми у себя? – нетерпеливо повторил свой вопрос граф, возмущенный наглым поведением лакея.

– Господина виконта нет дома.

Процедив эти слова, собрат г-на Пиппле собрался уже захлопнуть дверь и недвусмысленным жестом предложил незнакомцу уйти.

– Я подожду, – ответил граф.

И шагнул вперед.

– Эй, приятель! Приятель! Так не входят в благородный дом! – крикнул швейцар, кинувшись за графом и схватив его за руку.

– Как, негодяй! – вскричал старик, с угрожающим видом поднимая свою дубинку. – Ты смеешь прикасаться ко мне!..

– Я осмелюсь и на большее, если вы тотчас же не удалитесь. Я ведь сказал вам, что господина виконта нет дома, а потому убирайтесь вон.

В эту минуту Буайе, привлеченный громкими голосами, показался на крыльце дома.

– Что здесь за шум? – осведомился он.

– Господин Буайе, этот человек хочет непременно войти, хотя я сказал ему, что господина виконта дома нет.

– Хватит! – резко сказал граф, обращаясь к Буайе, подошедшему ближе, – я хочу видеть своего сына... Если его нет, я подожду...

Мы уже говорили, что Буайе знал о том, что у его хозяина есть отец, известный своей нелюдимостью: будучи к тому же недурным физиономистом, Буайе ни на мгновение не усомнился в том, что перед ним граф де Сен-Реми; он склонился в почтительном поклоне и сказал:

– Если господин граф соизволит за мною последовать, то я весь к его услугам...

– Ступайте вперед, – проговорил граф де Сен-Реми и последовал за Буайе, повергнув в глубокое изумление швейцара.

Следуя по пятам за камердинером, граф поднялся на второй этаж, здесь он вместе со своим провожатым прошел через рабочий кабинет Флорестана де Сен-Реми (отныне мы будем называть виконта по имени, чтобы читатель не спутал его с отцом), и тот наконец ввел графа в находившуюся по соседству небольшую гостиную: она располагалась прямо над будуаром, помещавшимся на первом этаже.

– Господину виконту пришлось отлучиться сегодня утром, – сказал Буайе, – если господин граф возьмет на себя труд подождать его, то я думаю, что он скоро возвратится.

С этими словами камердинер вышел из комнаты.

Оставшись один, граф равнодушным взглядом обвел гостиную; но внезапно он вздрогнул, щеки у него побагровели, на лице отразилось сильное волнение, а черты его лица исказились от гнева.

Он увидел портрет своей бывшей жены... матери Флорестана де Сен-Реми.

Старик скрестил руки на груди, опустил голову, словно желая прогнать это видение, и быстро зашагал из угла в угол.

– Как странно! – вырвалось у него. – Эта женщина уже давно умерла; я убил ее любовника, а моя рана все так же болит, все так же мучительна, как в первый день... Как видно, жажда мести все еще не угасла во мне, моя угрюмая нелюдимость, из-за которой я живу одиноко, вдали от мира, все еще не излечила мою душу от нанесенного мне оскорбления. Да, смерть сообщника этой недостойной женщины смыла мой позор в глазах общества, но не изгладила его из моей памяти.

«О! Я чувствую, что моя ненависть не проходит потому, что я все время думаю: меня обманывали целых пятнадцать лет! Целых пятнадцать лет я окружал почетом и уважением ничтожную женщину, которая самым низким образом обманула меня. Все те годы я любил ее сына, сына, рожденного ею в грехе, так, как будто он был моим собственным ребенком... ибо отвращение, которое мне ныне внушает этот Флорестан, со всей очевидностью подтверждает, что он – плод супружеской измены!

И тем не менее у меня нет полной уверенности в том, что он – дитя незаконной страсти; вполне возможно, что он все-таки мой сын... и порою эта возможность нестерпимо терзает меня...

Ну, а если бы он оказался моим сыном?! Тогда то, что я его совершенно покинул, та отчужденность, которую я неизменно выказывал к нему, мой отказ видеться с ним – все это просто непростительно. Впрочем, он богат, молод, счастлив; чем я мог быть ему полезен?.. Да, но его сыновья нежность могла бы, возможно, смягчить горе, причиненное мне его матерью!»

Таковы были мысли графа. После короткого раздумья он пожал плечами и произнес вслух:

– К чему эти бессмысленные и безрассудные предположения?! Они только вновь бередают мои раны, но ни к чему не ведут! Надо быть мужчиной и преодолеть нелепое и мучительное волнение, которое я испытываю при мысли, что я вот-вот вновь увижу того, кого целых десять лет я любил, кого я просто боготворил, кого я обожал как сына, моего сына! Да, я вновь увижу его, его, отпрыска того человека, которого я с нескрываемой радостью поверг на землю своею шпагой, того человека, чья кровь текла потоком, наполняя меня радостью!.. А они помешали мне насладиться его агонией... видом его смерти!.. О! Откуда им было знать, что это значит – быть раненным так жестоко, как был ранен я!.. А ко всему еще – думать, что мое имя, навсегда окруженное почетом и уважением, затем столь часто произносили с наглой усмешкой... как произносятся имя обманутого мужа!.. Думать, что мое имя... имя, которым я всю жизнь так гордился, ныне носит сын того человека, у которого я готов был вырвать сердце... О! Я и сам не понимаю, как это я не схожу с ума при одной этой мысли!

И граф де Сен-Реми, продолжая в волнении шагать по комнате, машинально приподнял портьеру, которая отделяла гостиную от рабочего кабинета Флорестана, и прошелся по кабинету.

Через какую-нибудь минуту после того, как он вышел из гостиной, небольшая дверь, искусно скрытая обоями, тихонько отворилась, и г-жа де Люсене, закутанная в большую шаль из зеленого кашемира, в простенькой шляпке черного бархата вошла в гостиную, которую только что покинул граф.

Поясним причины столь неожиданного появления герцогини.

Накануне Флорестан де Сен-Реми назначил на следующее утро свидание герцогине. Она, как мы уже сказали, получила от него в свое время ключ от маленькой калитки, выходившей в переулок, и потому, как обычно, прошла через теплицу, рассчитывая найти Флорестана в его покоях на нижнем этаже. Не найдя его там, герцогиня решила (так уже не раз бывало), что виконт пишет какое-нибудь письмо у себя в кабинете... Потайная лестница вела из будуара на второй этаж. Г-жа де Люсене безбоязненно поднялась по ней, полагая, что г-н де Сен-Реми запретил, как он всегда поступал в таких случаях, кого бы то ни было принимать.

На беду, угрожающий визит г-на Бадино вынудил Флорестана поспешно уйти из дому, и он совсем позабыл о свидании, которое назначил г-же де Люсене.

Не видя никого, герцогиня уже собиралась переступить порог кабинета, как вдруг портьера, отделявшая кабинет от гостиной, заколебалась и герцогиня оказалась лицом к лицу с отцом Флорестана.

Она не смогла сдержать испуганного возгласа.

– Клотильда! – воскликнул ошеломленный граф. Близкий друг князя де Нуармона, отца г-жи де Люсене, граф де Сен-Реми знал ее совсем юной девушкой и даже еще ребенком, вот почему он в былое время запросто называл ее по имени.

Герцогиня застыла как изваяние, с изумлением глядя на белобородого и дурно одетого старика, чьи чертам были, однако, ей смутно знакомы.

– Вы, Клотильда! – повторил граф с горьким упреком. – Вы... здесь у моего сына!

Эти последние слова воскресили неясные воспоминания г-жи де Люсене: она узнала наконец отца Флорестана и воскликнула:

– Господин де Сен-Реми!

Положение было столь ясное и недвусмысленное, что герцогиня, чей решительный и вместе с тем эксцентричный нрав хорошо известен читателю, пренебрегла возможностью прибегнуть ко лжи, чтобы объяснить графу, почему она оказалась в покоях Флорестана; рассчитывая на почти отеческую привязанность, которую тот некогда к ней испытывал, она протянула ему руку и сказала тем ласковым, сердечным и одновременно дерзким тоном, который был присущ только ей одной:

– Знаете что... не браните меня... ведь вы мой самый старинный друг; вспомните, ведь лет двадцать назад вы называли меня своей милой Клотильдой...

– Да... именно так я вас и называл... но...

– Я уже заранее знаю все, что вы мне хотите сказать, однако вам известен мой девиз: «То, что есть – есть... А чему быть, того не миновать!..»

– Ах, Клотильда!.. Клотильда!..

– Избавьте меня от ваших упреков, лучше позвольте мне сказать о той радости, какую я испытываю, вновь свидясь с вами; ведь ваше присутствие напоминает мне о стольких вещах... мой бедный отец... мои навсегда ушедшие пятнадцать лет... Ах! Какое счастье, когда тебе всего пятнадцать лет!

– Именно потому, что ваш отец был мне другом, я...

– О да, – подхватила герцогиня, прерывая г-на де Сен-Реми, – он вас так любил! Помните, он называл вас, смеясь, «человеком прямых путей»... Вы вечно повторяли ему: «Вы слишком балуете Клотильду... будьте осторожны», а он, обнимая меня, отвечал вам: «Я и сам знаю, что балую ее, и мне надобно торопиться баловать ее еще больше, ибо очень скоро свет похитит ее у меня, чтобы баловать в свой черед». Он был так добр и так хорош, мой отец! Господи, какого друга я потеряла в его лице!.. – В прекрасных глазах герцогини де Люсене блеснула слеза; затем, вновь протянув руку графу де Сен-Реми, она произнесла взволнованным голосом: – Нет, правда, я счастлива, я так счастлива опять увидеть вас; вы пробудили столько воспоминаний, таких дорогих, таких милых моему сердцу!..

И г-н де Сен-Реми, хотя он давно и хорошо знал ее своеобразный и решительный нрав, был смущен той непринужденной легкостью, с какой Клотильда отнеслась к щепетильному положению, в котором она оказалась; легко сказать: встретить в доме своего любовника его отца!

– Если вы в Париже уже не первый день, – продолжала г-жа де Люсене, – как нехорошо, что вы даже не пришли повидать меня сразу; ведь так приятно было бы поговорить о прошлом... ибо, признаюсь, я уже приближаюсь к тому возрасту, когда так радостно сказать старому другу: «А помните, как...»

Положительно, герцогиня не говорила бы с более невозмутимой беспечностью, если бы граф пришел к ней с утренним визитом в особняк герцога де Люсене!

И все-таки г-н де Сен-Реми не удержался и строго произнес:

– Вместо того чтобы беседовать о прошлом, нам было бы уместнее потолковать о настоящем... ведь мой сын может вернуться с минуты на минуту... и...

– Нет, – возразила Клотильда, прерывая графа, – не бойтесь, у меня есть ключ от калиточки в теплице, а к тому же о приходе виконта всегда предупреждают, позвонив в колокольчик, как только он приближается к калитке, выходящей на улицу; услышав колокольчик, я тут же исчезну столь же таинственно, как и появилась, и не помешаю вашей радости от свидания с Флореста-

ном. Какой сладостный сюрприз вы ему готовите... ведь вы так давно совсем покинули его!.. Кстати, это я, скорее, могла бы во многом вас упрекнуть.

– Упрекнуть меня?.. Но в чем?..

– Конечно, могла бы... Какого наставника, какую нравственную опору имел он, вступая в свет? А ведь множество практических дел требуют советов отца... Так что, говоря откровенно, совсем начистоту, очень дурно, что вы...

И тут герцогиня де Люсене, уступая своему причудливому нраву, невольно остановилась и, громко рассмеявшись, сказала графу:

– Вы должны признать, что положение складывается по меньшей мере странное, весьма пикантно, что не вы мне, а я вам читаю наставления!

– Это и в самом деле странно; но я не заслуживаю ни ваших похвал, ни ваших укоров, я пришел к сыну... но пришел сюда не ради него... Он в таком возрасте, когда уже не нуждается в моих советах.

– Что вы хотите этим сказать?

– Вы должны знать, по каким причинам я ненавижу свет, а особенно столичный свет, – сказал граф, и в голосе его прозвучали мучительные и напряженные интонации. – Вот почему должны были возникнуть особые обстоятельства, обстоятельства, чрезвычайно важные для того, чтобы я уехал из Анже, а главное, пришел в этот дом... Но я был вынужден преодолеть свое отвращение и повидать всех тех, кто мог бы мне помочь или дать полезный совет в том деле, которое необыкновенно важно для меня.

– О, в таком случае, – воскликнула г-жа де Люсене с трогательной горячностью, – прошу вас, полностью располагайте мной, если я хоть чем-нибудь могу быть вам полезна! Нужно ли за кого-нибудь походатайствовать? Господин де Люсене пользуется немалым влиянием, ибо в те дни, когда я езжу обедать к моей двоюродной бабушке госпоже де Монбризон, он принимает в нашем доме и кормит обедом многих депутатов; такие вещи без важных резонов не делаются: связанные с этим хлопоты и неудобства должны ведь приносить хоть какую-нибудь пользу... я бы сказала так: приобретаешь известное влияние на тех людей, которые ныне сами пользуются влиянием. Повторяю еще раз: если мы можем чем-нибудь вам услужить, располагайте нами целиком и полностью. Кстати, у меня есть еще юный кузен, молодой герцог де Монбризон, он – пэр Франции и связан со всеми пэрами, его сверстниками. Возможно, и он что-либо сможет сделать. В таком случае, надейтесь и на него, я вам ручаюсь. Словом, повторяю, располагайте и мною, и всеми моими родными, а вы ведь знаете, что я – настоящий и преданный друг!

– Да, я это знаю... и не отказываюсь от вашей поддержки... хотя... – Послушайте, мой милый Альцест, ведь все мы принадлежим к светскому обществу, так будем же вести себя как светские люди; здесь ли мы находимся или находились бы в другом месте, какое это имеет значение, я думаю, что это не относится к тому делу, которое вас занимает, а теперь оно сильно занимает и меня, поскольку оно касается вас. Поговорим же о нем, и поговорим основательно... я на этом настаиваю...

С этими словами герцогиня подошла к камину, оперлась на него и протянула поближе к огню самую прелестную ножку на свете, которая у нее, видимо, озябла.

С удивительным тактом герцогиня де Люсене воспользовалась представившимся случаем, чтобы больше не говорить о виконте и побудить графа де Сен-Реми поделиться с нею тем, чему он явно придавал столь важное значение...

Клотильда вела бы себя совершенно по-иному в присутствии матери Флорестана: тогда бы она с радостью и гордостью долго рассказывала бы своей собеседнице, как ей, Клотильде, дорог сын графини.

Несмотря на весь свой ригоризм и суровость, граф де Сен-Реми невольно поддался влиянию этой, если так можно выразиться, дерзкой прелести молодой женщины, которую он хорошо знал и любил, когда она была совсем еще девочкой, и он почти совсем забыл, что беседует с любовницей своего сына.

Как, впрочем, не заразиться поучительным примером поведения человека, попавшего в крайне неловкое положение, но, казалось, не придающего или не желающего придавать значения

трудности тех обстоятельств, в которых он оказался?

– Возможно, вам неизвестно, Клотильда, – сказал граф, – что уже очень давно я постоянно живу в Анже?

– Нет, я это знаю.

– Несмотря на то, что я искал полнейшего уединения, я все-таки выбрал именно этот город, потому что там проживал один мой родственник, господин де Фермон, после постигшего меня ужасного несчастья он вел себя по отношению ко мне как брат. Он сопровождал меня в поездках по всем городам Европы, где я рассчитывал настичь того человека, которого жаждал убить, он был даже моим секундантом во время дуэли...

– Да, и дуэли жестокой; отец в свое время мне подробно все рассказал, – с грустью откликнулась г-жа де Люсене. – Но, к счастью, Флорестан ничего не знает об этом поединке... и о причинах, что привели к нему...

– Мне не хотелось, чтобы он перестал уважать свою мать, – ответил граф, подавляя невольный вздох... Потом он продолжал свой рассказ: – Несколько лет тому назад господин де Фермон скончался в Анже, он умер у меня на руках, оставив жену и дочь; несмотря на мой угрюмый и нелюдимый нрав, я не могу не любить их, потому что нигде на свете вы не встретите более благородных и прекрасных созданий. Я жил один в отдаленном городском предместье; но, когда приступы моей черной меланхолии на время отпускали меня, я посещал госпожу де Фермон и ее дочь, и мы беседовали, вспоминая того, кого безвозвратно потеряли. Как и при его жизни, я вновь обретал и укреплял душевное равновесие в мирном общении с этой семьей, которой я уже давно отдал всю ту привязанность, на какую еще был способен. Брат госпожи де Фермон жил в Париже; он взял на себя заботу о делах и об имуществе сестры после кончины ее мужа и поместил у какого-то нотариуса сто тысяч экю – все состояние вдовы. Через некоторое время на госпожу де Фермон обрушилась новая ужасная беда; ее брат, господин де Ренвиль, наложил на себя руки: случилось это приблизительно восемь месяцев тому назад. Я как только мог утешал ее. Едва оправившись от горя, она уехала в Париж с тем, чтобы привести в порядок свои денежные дела. Через некоторое время я узнал, что по ее просьбе распродали скромную обстановку того дома, который она нанимала в Анже, и вырученную сумму употребили на уплату оставшихся после ее отъезда долгов. Встревоженный всем этим, я навожу справки и узнаю, что, по неясным слухам, эта несчастная женщина и ее дочь живут в крайней нужде, ибо они оказались, без сомнения, жертвами какого-то банкротства. Если госпожа де Фермон и могла на кого-то рассчитывать в столь крайних обстоятельствах, то лишь на меня... однако я не получил от нее ни малейшей весточки. Только утратив связи с этой близкой и милой моему сердцу семьей, я по-настоящему оценил, как они важны и дороги для меня. Вы не можете себе представить все те страдания, все те тревоги, какие терзали меня после отъезда госпожи де Фермон и ее дочери... Ведь муж одной и отец другой был для меня как брат... так что мне необходимо было во что бы то ни стало разыскать обеих женщин, понять, почему, совершенно разорившись, они не обратились ко мне за помощью, даже зная, что я небогат; вот я и приехал в Париж, поручив в Анже одному человеку поставить меня в известность, если он по случайности узнает что-либо новое о несчастных.

– И что же?

– Как раз вчера я получил письмо из Анже... нового ничего нет. Приехав в столицу, я начал поиски... прежде всего я отправился в тот дом, где прежде жил брат госпожи де Фермой. Там мне сказали, что они проживают на набережной канала Сен-Мартен.

– А что вы узнали по этому адресу?

– Что они там некоторое время действительно жили, но потом съехали, а куда – неизвестно. К сожалению, до сих пор все мои попытки найти их оказались тщетными. После долгих, но бесплодных поисков, не желая вовсе потерять надежду, я и решил прийти сюда: быть может, госпожа де Фермон, которая по непонятным причинам не обратилась ко мне ни за помощью, ни за поддержкой, решила прибегнуть к помощи моего сына, сына лучшего друга ее покойного мужа.

Без сомнения, эта последняя надежда была почти ни на чем не основана... но я не хотел

ничем пренебречь, стремясь отыскать эту бедную женщину и ее дочь.

– По правде говоря, было бы весьма странно, если бы речь шла о тех же самых особах... к которым проявила интерес и участие госпожа д'Арвиль...

– О каких особах вы говорите? – осведомился граф.

– Скажите, вдова, о которой вы рассказывали, еще молода, не правда ли? И у нее очень благородное лицо?

– Разумеется; но что вы о ней знаете?

– А ее дочери, которая мила, как ангел, всего лет шестнадцать?

– Да... да...

– И зовут ее Клэр?

– О, пощадите! Скажите мне, где они?

– Увы! Этого-то я не знаю.

– Не знаете?

– Вот как все произошло... Одна дама моего круга, госпожа д'Арвиль, приехала ко мне и спросила, не знаю ли я некой вдовы, у которой есть дочь Клэр; брат этой вдовы недавно покончил с собой. Госпожа д'Арвиль обратилась ко мне потому, что ей на глаза попала записка со словами: «Написать госпоже де Люсене». Собственно, это была даже не записка, слова эти она прочла в конце чернового наброска письма, которое эта несчастная женщина послала неизвестной нам особе, прося о помощи.

– Она хотела написать вам... но почему именно вам?

– Сама не знаю... Я ведь с нею незнакома.

– Но она-то, она-то вас знала! – воскликнул граф де Сен-Реми, которому в голову пришла неожиданная мысль.

– Почему вы так думаете?

– Сотни раз она слышала, как я рассказывал о вашем отце, о вас; о вашем прекрасном и великодушном сердце. И, погибая от нужды, она решила прибегнуть к вам.

– И в самом деле, это можно объяснить и так...

– Ну, а госпожа Д'Арвиль... как мог попасть к ней в руки черновик того письма?

– И этого я не знаю; все, что мне известно, – это то, что, не имея точных сведений о том, где находятся несчастная мать и ее дочь, госпожа д'Арвиль, я полагаю, напала на их след.

– В таком случае, я надеюсь на вас, Клотильда: познакомьте меня с госпожой д'Арвиль, я должен увидеть ее уже сегодня.

– Невозможно! Ее муж недавно стал жертвой ужасного случая: он вертел в руках пистолет, думая, что тот не заряжен; неожиданно раздался выстрел, и несчастный был убит на месте.

– Ах! Это ужасно!

– Маркиза тотчас же уехала из Парижа, она решила провести первое время траура у своего отца, в Нормандии.

– Клотильда, заклинаю вас, напишите ей сегодня же, расспросите ее обо всем, что она знает; коль скоро она прониклась сочувствием к этим бедным женщинам, скажите ей, что в моем лице она обретет самого ревностного помощника; мое единственное желание – поскорее разыскать вдову моего друга, я хочу разделить с нею и с ее дочерью те небольшие средства, которыми я еще располагаю. Отныне они – моя единственная семья.

– А вы все тот же, как всегда, преданный и великодушный! Можете смело положиться на меня, я сегодня же напишу госпоже д'Арвиль. А куда мне адресовать вам письмо?

– В Аньер, до востребования.

– Снова ваши причуды! Отчего вы остановились там, а не в Париже?

– Я ненавижу Париж из-за тех воспоминаний, которые с ним связаны, – отвечал г-н Сен-Реми с сумрачным видом. – Мой старый врач, господин Гриффон, с которым у меня сохранились хорошие отношения, владеет небольшим загородным домом на берегу Сены, возле Аньера; зимой он там не живет и предложил мне там обосноваться; это, собственно говоря, одно из столичных предместий; я бы мог, набегавшись за день в поисках моих пропавших друзей, возвращаться туда вечером и быть в полном одиночестве, что мне по душе... Вот я и принял его предложение.

– Стало быть, я напишу вам в Аньер; кстати, я уже сейчас могу сказать вам одну вещь, которая, быть может, сослужит вам службу, ее сообщила мне госпожа д'Арвиль... Причина разорения госпожи де Фермон – мошеннические проделки некоего нотариуса, у которого хранилось все состояние вашей родственницы... Этот человек отрицает, что эти деньги были переданы ему на хранение.

– Вот негодай!.. А как его зовут?

– Господин Жак Ферран, – ответила герцогиня, давась от смеха.

– До чего же вы странное существо, Клотильда! Ведь речь идет не просто о серьезных, а весьма печальных событиях, а вы смеетесь! – с удивлением и досадой воскликнул граф.

И в самом деле, г-жа де Люсене, вспомнив о любовном признании нотариуса, не могла удержаться от взрыва веселости.

– Простите меня, друг мой, – проговорила она, – дело в том, что этот нотариус – человек весьма своеобразный... и о нем рассказывают такие смешные истории... Но, говоря серьезно, если репутация порядочного человека, которой он пользуется, заслужена им не больше, чем репутация человека благочестивого... (а я заявляю, что он ею пользуется не по праву), то наш нотариус просто проходимец каких мало!

– Где он живет?

– На улице Сантье.

– Я нанесу ему визит... То, что вы мне о нем сказали, подтверждает некоторые мои сомнения.

– Какие сомнения?

– Подробно разузнав об обстоятельствах смерти брата бедной моей приятельницы, я был почти что склонен поверить, что этот несчастный человек не наложил на себя руки... он погиб от руки убийцы.

– Великий боже! А что заставило вас предположить, что совершено преступление?

– Тут есть много резонов, но сейчас было бы слишком долго рассказывать вам о них; я прощаюсь с вами... Не забывайте же о том, что вы предложили мне помощь от своего имени и от имени господина де Люсене...

– Как?! Вы уходите... даже не повидав Флорестана?

– Встреча с ним была бы для меня очень мучительна, вы сами должны это понять... Я решил на нее единственно из надежды что-либо узнать от него о госпоже де Фермой: мне не хотелось пренебречь ни одной самой малой возможностью разыскать ее; а теперь прощайте...

– Боже! Вы просто безжалостны!

– Разве вы этого не знали?..

– Я знаю другое: никогда еще ваш сын так не нуждался в ваших советах...

– Это еще почему? Разве он не богат, разве он не счастлив?..

– Да, он богат и счастлив, но он совершенно не разбирается в людях! Он безумно расточителен, потому что доверчив и великодушен, он всегда, везде и во всем ведет себя как вельможа, и я боюсь, что его добротой злоупотребляют. Если бы вы только знали, какое у него благородное сердце! Я ни разу не отваживалась отчитывать его за непомерные траты и безалаберность, прежде всего потому, что я и сама не менее сумасбродна, а потом... по разным другим причинам; но вы, напротив, вы могли бы...

Госпожа де Люсене не успела закончить фразу.

Внезапно послышался голос Флорестана де Сен-Реми.

Он поспешно вошел в кабинет, примыкавший к гостиной; резким движением запер за собою дверь и произнес с тревогой в голосе, обращаясь к человеку, вошедшему вместе с ним:

– Но это просто невыносимо!..

– Повторяю вам, – раздался в ответ ясный и пронзительный голос г-на Бадино, – повторяю вам, что если вы не поторопитесь, то в четыре часа дня вас арестуют... Ибо ежели до этого времени наш приятель не получит деньги, он подаст жалобу в канцелярию прокурора, а вы ведь знаете, что такого рода подлог ведет... прямо на каторгу... мой милый виконт!..

Глава VIII ТРУДНЫЙ РАЗГОВОР

Невозможно описать взгляд, которым обменялись г-жа де Люсене и отец Флорестана, услышав эти грозные слова: «...ведет... прямо на каторгу!» Граф побледнел как полотно; он оперся о спинку стула, ноги у него подкосились.

Его имя, окруженное почетом благородное имя... опозорено ныне человеком, которого он всегда считал плодом супружеской измены!

Когда первые минуты оцепенения прошли, пылавшее гневом лицо старика, угрожающий вид, с которым он направился к двери кабинета, выражали столь ужасную и непоколебимую решимость, что герцогиня де Люсене схватила его за руку и тихим голосом, в котором слышалась глубокая убежденность, сказала:

– Он не виновен... клянусь вам!.. Молчите и слушайте дальше...

Граф остановился. Ему так хотелось поверить тому, что говорила герцогиня!

Она же и в самом деле была уверена в честности Флорестана.

Для того чтобы спокойно принимать все новые и новые жертвы этой женщины, столь безрассудно щедрой и великодушной, жертвы, которые одни только и могли уберечь его от ареста и преследований Жака Феррана, виконт убедил г-жу де Люсене, в том, что он был обманут каким-то негодяем, всучившим ему в уплату фальшивый вексель, и теперь его, виконта, могли заподозрить в сообщничестве с этим мошенником, ибо он пустил этот вексель в оборот.

Герцогиня де Люсене знала: Флорестан неосторожен, расточителен, безалаберен; но она никогда, ни на одну минуту не считала, что он способен не только на низкий или подлый поступок, но даже на малейшее проявление нечистоплотности или непорядочности.

Дважды давая ему займы крупные суммы денег, когда он попадал в весьма затруднительное положение, она хотела оказать ему дружескую помощь, и виконт ни разу не брал у нее денег без обещания вскоре же возратить их, ибо, по его словам, ему самому были должны вдвое большие суммы.

Внешняя роскошь жизни, которую он вел, позволяла этому верить. К тому же г-жа де Люсене, уступая порыву своей природной доброты, думала только о том, чтобы быть полезной Флорестану, в его словах она ни разу не усомнилась; разве мог бы он в противном случае брать в долг такие большие деньги?! Ручаясь за честность Флорестана, умоляя старого графа дослушать до конца беседу его сына с незнакомцем, герцогиня полагала, что речь может идти о том, что доверчивостью виконта злоупотребили и что он сможет полностью оправдать себя перед отцом.

– Повторяю еще раз, – продолжал Флорестан изменившимся голосом, – этот Пти-Жан просто подлец! Он уверил меня, что у него нет больше векселей, помимо тех, что я получил из его рук частью вчера и частью три дня назад... Я полагал, что этот чертов вексель пущен в оборот, что по нему придется платить месяца через три, в Лондоне, в банке «Адамс и Компания».

– Да, да, – снова послышался пронзительный голос Бадино, – я знаю, милейший виконт, что вы весьма ловко обстряпали это дельце; ваш подлог должен был обнаружиться тогда, когда вы были бы уже далеко отсюда... Но вы вознамерились провести человека, более умелого, чем вы.

– Эх! Нашли время, когда поучать меня, жалкий вы человек!.. – в ярости закричал Флорестан. – Ведь вы же сами свели меня с тем субъектом, который всучил мне эти векселя!

– Вот что, дражайший мой аристократ, – холодно ответил Бадино, – поспокойнее!.. Вы ловко подделываете подписи на коммерческих бумагах, и это чудесно, но это не резон обращаться с вашими друзьями со столь неприятной фамильярностью. Если вы еще позволите себе такой тон... я уйду – и выпутывайтесь из этой истории как знаете...

– А вы полагаете, что можно сохранить хладнокровие в моем положении?.. Если то, что вы мне говорите, правда, если он подаст сегодня жалобу в канцелярию прокурора, я пропал...

– Так я ведь именно об этом вам и толкую, разве что... вы снова прибегнете к помощи вашего очаровательного провидения с голубыми глазами...

– Это невозможно...

– Ну, тогда делать нечего, покоритесь судьбе. Разумеется, это досадно, ведь вексель-то последний... из-за каких-то жалких двадцати пяти тысяч франков... отправиться дышать южным воздухом... в Тулон... Это не то что неловко, а просто глупо, бессмысленно! И как только столь умелый человек, как вы, дал загнать себя в тупик?

– Господи, что же делать? Что делать?.. Ведь все, что вы видите тут, мне больше не принадлежит, у меня нет даже двадцати луидоров.

– Ну а ваши друзья?

– Эх! Я уже должен всем, у кого можно было взять в долг; вы что, считаете меня таким глупцом, который ждал бы до сегодняшнего дня и не обратился бы к ним?

– Это верно, прошу прощения... Погодите, давайте потолкуем спокойно, это лучший способ прийти к разумному решению. Только что я хотел объяснить вам, как вас обошел еще больший ловкач, чем вы. Но вы не захотели меня выслушать.

– Ладно, говорите, если это чему-нибудь путному послужит.

– Подведем некоторые итоги; месяца два назад вы мне сказали: «У меня есть на сто тридцать тысяч франков векселей, все они долгосрочные и из разных банков; любезный Бадино, отыщите средство пустить их в оборот...»

– Ладно!.. Говорите дальше!..

– Не торопите меня... Я попросил у вас разрешения посмотреть эти векселя... И вот не знаю уж, какое смутное чувство подсказало мне, что все эти векселя фальшивые, хотя подделаны они мастерски. Признаюсь, я никогда не подозревал, что вы обладаете столь явным каллиграфическим талантом; однако, занимаясь судьбой вашего состояния с тех пор, как вы лишились всякого состояния, я знал, что вы совершенно разорены. Ведь через мои руки прошел акт, по которому ваши лошади, экипажи, обстановка особняка принадлежали отныне Буайе и Эдвардсу... Так что с моей стороны не было нескромным весьма удивиться, увидев, что вы обладаете коммерческими векселями на столь внушительную сумму. Ведь так?

– Избавьте меня от рассказа о своем удивлении и переходите к делу...

– Извольте... У меня достаточно опыта или осторожности... чтоб никогда прямо не вмешиваться в дела подобного сорта; а посему я вас направил к третьему человеку, и он, будучи не менее проницателен, чем я, сразу же заподозрил, что вы хотите сыграть с ним дурную шутку.

– Быть этого не может: если бы он считал эти векселя подложными, он бы не стал их учитывать.

– Сколько он вам отсчитал наличными за эти векселя на сто тридцать тысяч франков?

– Наличными я получил двадцать пять тысяч франков, а на остальную сумму он выдал мне другие векселя...

– И много ли вы получили по ним денег?..

– Ни гроша, вы ведь сами знаете: векселя-то оказались дутые... но ведь двадцатью пятью тысячами он все-таки рискнул!

– До чего вы еще молоды, милейший виконт! Вы обещали мне сто луидоров комиссионных, и я, разумеется, поостерегся сообщить этому третьему лицу об истинном состоянии ваших дел... Он предполагал, что вы еще человек с деньгами, к тому же он знал, что вас боготворит знатная дама, очень богатая, которая никогда не покинет вас в трудную минуту; так что он почти уверен, что уж свои денежки он всегда вернет, хотя бы мировой сделкой; конечно, он рисковал, без сомнения, остаться в убытке, но зато он рассчитывал и много заработать, и его расчет оказался верным; ибо третьего дня вы как миленький отсчитали ему сто тысяч франков, чтобы выкупить фальшивый вексель на пятьдесят восемь тысяч, а вчера вручили тридцать тысяч франков за другой такой же вексель... Правда, на сей раз он удовольствовался тем, что получил с вас только сумму, указанную в векселе. Каким образом вы раздобыли вчера эти тридцать тысяч франков? Черт меня побери, если я знаю! Ибо вы у нас человек единственный в своем роде... Так что, сами видите, что вы купили последний вексель на двадцать пять тысяч франков, таким образом он получит с вас сто пятьдесят пять тысяч франков за те двадцать пять тысяч франков, что он вам первоначально вручил, вот почему я почел себя вправе сказать, что вас обошел больший ловкач, чем вы сами.

– Но почему он сказал мне, что этот последний вексель, который он сегодня предъявляет к оплате, пущен им в оборот?

– Да чтобы вас не спугнуть; он ведь вам уже раньше говорил, что оба векселя, за исключением того, который был на пятьдесят восемь тысяч франков, пущены им в оборот; но когда вы заплатили за первый вексель, вчера появился на свет второй, а сегодня, – третий.

– Негодяй!..

– Послушайте, один знаменитый правовед сказал: «Каждый за себя и каждый про себя...» Мне очень нравится этот афоризм. Но поговорим хладнокровно: то, как ведет себя Пти-Жан, доказывает (кстати, между нами говоря, я не буду удивлен, если окажется, что, несмотря на свою репутацию человека благочестивого, Жак Ферран с ним в доле и принимает участие в этой спекуляции), так вот, его поведение доказывает, повторяю я, разохотившись после ваших первых платежей, Пти-Жан спекулирует сейчас на вашем последнем векселе, как он спекулировал на двух предыдущих, ибо он уверен, что друзья не допустят того, чтобы вы предстали перед судом присяжных. Так что вы должны уяснить себе, не слишком ли вы злоупотребили их добротой и не ободрали ли вы их как липку, удастся ли вам выжать из них еще малую толику золота. Ибо, если через три часа вы не раздобудете двадцать пять тысяч франков, благороднейший виконт, вы окажетесь в остроге.

– Когда вы наконец перестанете твердить мне об этом без передышки?!

– Дело в том, что, прислушиваясь к моим словам, вы, быть может, согласитесь попробовать выдернуть еще одно, последнее перо из крылышка этой щедрой и великодушной герцогини...

– Повторяю вам, об этом и думать нельзя... Найти за три часа еще двадцать пять тысяч франков после всех тех жертв, на которые она пошла ради меня... нет, было бы безумием на это надеяться.

– Для того, чтобы вам понравиться, счастливейший из смертных, можно пойти на все, даже на невозможное...

– Эх, да она уже и так делала все возможное и невозможное... попросить у своего мужа сто тысяч франков и получить их! Нет, такого рода чудеса дважды не повторяются. Вот что, любезный Бадино, до сих пор у вас не было оснований на меня жаловаться... я всегда был щедрым с вами, попытайтесь получить хотя бы недолгую отсрочку у этого мерзавца, у Пти-Жана!.. Вы ведь знаете, я неизменно нахожу способ вознаградить того, кто мне служит; покончив с этим океанным делом, я вступаю на новое поприще... и вас я не обижу.

– Пти-Жан столь же непоколебим, сколь вы безрассудны.

– Я безрассуден...

– Попробуйте-ка лучше вызвать у вашей великодушной подружки сочувствие к вашему ужасному жребия... Какого черта! Расскажите ей прямо и откровенно все как есть; не повторяйте опять, что вы стали жертвой мошенников, а признайтесь, что мошенником стали вы сами.

– Никогда я не признаюсь ей в этом, позор ужасный, а пользы – никакой.

– Вы предпочитаете, чтобы она завтра узнала обо всем из «Судебной газеты»?

– В моем распоряжении есть еще три часа, я могу бежать.

– А куда вы направитесь без денег?! Напротив же, судите сами: выкупив этот последний фальшивый вексель, вы окажетесь в великолепном положении: у вас не останется ничего, кроме долгов. Послушайте, обещайте мне, что вы еще раз потолкуете с герцогиней. Вы ведь третий калач! Вы сумеете пробудить к себе сочувствие, несмотря на все ваши проступки; в худшем случае вас станут немного меньше уважать или уж на самый худой конец вовсе перестанут уважать, но вылезти из затруднения вам помогут. Послушайте, повторяю, потолкуйте еще разок с вашей прелестной приятельницей; а я тем временем побегу к Пти-Жану, я сделаю все; что в моих силах, чтобы выторговать у него час или два отсрочки.

– Дьявольщина! Мне предстоит испить до дна чашу позора!

– Ступайте же! Желаю удачи, будьте нежны, страстны, очаровательны; я иду к Пти-Жану и буду ждать вас там до трех часов... позднее никак нельзя... ведь канцелярия прокурора закрывается в четыре часа пополудни...

С этими словами г-н Бадино вышел из кабинета.

Когда дверь за ним закрылась, послышался голос Флорестана: с глубоким отчаянием он повторял:

– Боже мой! Боже мой! Боже мой!

Во время этого разговора, который обнажил перед графом всю низость его сына, а перед г-жой де Люсене – всю низость человека, которого она слепо любила, оба они стояли, не шевелясь, едва дыша, подавленные этим ужасным открытием.

Немыслимо передать немое красноречие горестной сцены, действующими лицами которой были молодая красавица и старый граф: больше уже не оставалось никаких сомнений в том, что Флорестан совершил преступление. Протянув руку в направлении кабинета, где находился его сын, старик усмехнулся с горькой иронией и уничтожающе посмотрел на г-жу де Люсене, словно желая сказать: «Вот человек, ради которого вы забыли всякий стыд, тот, кому вы приносили бесчисленные жертвы! Вот тот человек, которого я, по вашим словам, покинул, за что вы меня осуждали!...»

Герцогиня поняла этот немой упрек; под гнетом стыда она на мгновение опустила голову.

Она получила ужасный урок...

Затем мало-помалу жестокая тревога, исказившая черты лица г-жи де Люсене, уступила место надменному негодованию. Непростительные грехи этой светской женщины искупались, по крайней мере, ее самозабвенной любовью, ее отважной преданностью, ее щедростью и великодушием, открытым ее нравом и ее неумолимым отвращением ко всему низкому, подлому и трусливому.

Еще достаточно молодая, красивая и утонченная, она не испытывала чувства унижения от того, что ее возлюбленный эксплуатировал ее чувство, но теперь, когда ее любовь к Флорестану мгновенно испарилась, эта высокомерная и решительная женщина не чувствовала по отношению к нему ни ненависти, ни гнева; мгновенно, без какого-либо постепенного перехода невыносимое отвращение, ледяное презрение убили ее чувство, прежде такое сильное; отныне она уже не была возлюбленной, которую недостойно обманул ее возлюбленный, она вновь превратилась в светскую женщину, которая внезапно обнаружила, что человек ее круга оказался мошенником, совершившим подлог, и потому его следует выгнать вон.

Если даже предположить, что какие-либо обстоятельства и могли бы смягчить и как-то извинить бесчестный поступок Флорестана, г-жа де Люсене не стала бы принимать их в расчет; по ее мнению, человек, преступивший законы чести вследствие порочности, увлечения или слабости, больше для нее не существовал; честь, порядочность были для нее вопросом жизни.

Единственное горестное чувство, владевшее герцогиней, было понимание того, какое ужасное впечатление произвело на графа, старого ее друга, столь неожиданное и тяжкое открытие.

Вот уже несколько мгновений он, казалось, ничего не видит и не слышит; вперив глаза в портьеру, опустив голову, бессильно уронив руки, он мертвенно побледнел; время от времени судорожный вздох вздымал его грудь.

Такое оцепенение у человека решительного и энергичного было более страшно, нежели самый яростный взрыв гнева.

Госпожа де Люсене с тревогой наблюдала за ним.

– Мужайтесь, друг мой, – сказала она графу тихим голосом. – Ради вас... ради меня самой... ради этого человека... я знаю, как мне следует теперь поступить.

Старик пристально посмотрел на нее; затем, словно выведенный из своей оцепенелости сильным потрясением, он вскинул голову, на его лице появилось угрожающее выражение, и, забыв, что сын может услышать его, он воскликнул:

– И я тоже знаю, как мне надлежит поступить ради вас, ради себя самого и ради этого человека...

– Да кто это там? – раздался удивленный голос Флорестана.

Госпожа де Люсене, боясь встретиться с виконтом, исчезла в маленькой потайной двери и поспешно сбежала по укрытой от посторонних глаз лестнице.

Флорестан, все еще продолжая вопрошать, кто находится в гостиной, и не получая ответа,

откинул портьеру и вошел туда. И оказался с глазу на глаз с графом.

Длинная белая борода настолько изменила облик г-на де Сен-Реми, он был так бедно одет, что сын, не выдавший отца уже несколько лет, сперва не узнал его: подойдя к графу, он спросил с угрожающим видом:

– Что вы тут делаете?.. Кто вы такой?

– Я – муж этой женщины! – отвечал г-н де Сен-Реми, указывая на портрет покойной графини.

– Отец! – в страхе воскликнул Флорестан, отпрянув: он вспомнил лицо графа, чьи черты уже давно позабыл.

Стоя с грозным видом, пылающим от гнева взглядом, покрасневшим от негодования челом, отбросив назад свои белоснежные волосы, скрестив руки на груди, граф подавлял, буквально испепелял своего сына, а тот, опустив голову, не решался поднять глаза.

Однако г-н де Сен-Реми по какой-то тайной причине сделал над собой невероятное усилие, чтобы сохранить самообладание, и не выдать владевший им гнев.

– Отец! – повторил Флорестан дрожащим голосом. – Вы все время были здесь?..

– Да, я был здесь...

– И все слышали?..

– До последнего слова.

– Ах! – горестно воскликнул виконт, закрывая лицо руками.

Наступило короткое молчание.

Флорестан, сначала донельзя удивленный и огорченный неожиданным появлением отца, уже вскоре подумал, как человек предприимчивый, о той пользе, какую он может извлечь из столь невероятного стечения обстоятельств.

«Еще не все потеряно, – сказал он себе. – Появление моего отца – это перст судьбы. Он теперь знает все и не захочет, чтобы его имя было опозорено; он человек небогатый, но уж двадцать пять тысяч франков у него, конечно, найдутся. Поведем игру осторожно... Проявим ловкость, изобразим порыв отчаяния, глубокое волнение... тогда можно будет оставить в покое герцогиню, а я буду спасен!»

Затем, придав чертам своего очаровательного лица выражение глубокой печали и уныния, выдавив из глаз слезы раскаяния, придав своему голосу дрожащие нотки, он самым патетическим тоном воскликнул, в отчаянии ломая руки:

– Ах, отец!.. Я до того несчастен!.. Увидеть вас после стольких лет разлуки... и в такую минуту!.. Разумеется, я кажусь вам виновным, таким виновным! Но соблаговолите выслушать меня, умоляю вас; позвольте мне не оправдаться перед вами, но хотя бы объяснить мое поведение... Согласны ли вы на это, отец?..

Граф де Сен-Реми не ответил ни слова; лицо его оставалось бесстрастным; он опустился в кресло, на спинку которого перед тем опирался, и, сидя в нем, подпирая ладонью подбородок, молча смотрел на своего сына.

Если бы Флорестан знал причины, переполнявшие душу его отца ненавистью, яростью и жадной мести, то, испуганный наружным спокойствием графа, он, без сомнения, не сделал бы попытки обмануть отца, как обманывал простака Жеронта.

Однако, не подозревая о зловещих подозрениях, связанных с тайной его рождения, ничего не зная об измене своей матери, Флорестан был уверен в успехе задуманного им обмана, полагая, что главное – разжалобить своего отца, человека хотя и нелюдимого, но весьма гордого своим родовым именем, а уж тогда тот пойдет на крайние жертвы, лишь бы не допустить того, чтобы имя это было опозорено.

– Отец, – робко начал Флорестан, – позвольте же мне попытаться, не снимая с себя вины, объяснить вам, в силу каких невольных увлечений, я почти что против собственной воли дошел до... постыдных деяний... которых я не отрицаю...

Виконт принял упорное молчание отца за молчаливое согласие и продолжал:

– Когда я, к несчастью, лишился матери... моей бедной матери, которая меня так любила... мне было всего двадцать лет... Я был совершенно одинок... не у кого было спросить совета... не

у кого было искать поддержки... Я обладал весьма значительным состоянием... С детства привыкнув жить в роскоши... я уже не мог обходиться без нее... она стала для меня необходимой. Я и не подозревал, как трудно достаются людям деньги, я тратил их без счета и без меры... К несчастью... я говорю, к несчастью, это-то меня и погубило, мои траты, мои самые безрассудные траты были замечены и оценены как проявление элегантности... Обладая хорошим вкусом, я затмевал людей, которые были в десять раз богаче меня... Первые успехи опьянили меня, и я стал законодателем в роскоши, подобно тому как становятся человеком военным или государственным мужем; да, я любил роскошь не потому, что пошло кичился ею, я полюбил ее так, как живописец любит свои полотна, как поэт любит свои стихи; как всякий артист, я ревностно относился к своему творчеству: а моим творчеством была... роскошь. Я жертвовал всем ради того, чтобы ее умножить, я хотел, чтобы моя роскошь была красива, величественна, чтобы она проявлялась во всем, чтобы одна вещь в моем доме гармонировала с другой... начиная с моей конюшни и кончая моими трапезами, начиная с моего платья и кончая убранством моего особняка. Я жаждал, чтобы вся моя жизнь была образцом непогрешимого вкуса и элегантности. Как всякий артист, я, наконец, жаждал аплодисментов толпы и восторгов людей из высшего общества; и этого столь редкого успеха я достиг...

Пока Флорестан говорил, черты его лица мало-помалу утрачивали лицемерное выражение, глаза его горели от искреннего восторга. Теперь он говорил правду: поначалу его и в самом деле увлек не столь часто встречающийся дар постигать красоту роскоши.

Виконт внимательно посмотрел на отца, и ему почудилось, что лицо графа слегка смягчилось.

Он продолжал со все возрастающим возбуждением:

– Я стал оракулом и знатоком моды, моя похвала или осуждение приобрели силу закона; меня ставили в образец, мне подражали, меня прославляли, мною восторгались – все это происходило в высшем свете Парижа, другими словами, Европы, всего мира... Женщины разделяли всеобщее увлечение мною, самые очаровательные дамы спорили между собой, кому выпадет удовольствие присутствовать на празднествах, которые я давал для избранных гостей, везде и всюду неизменно восторгались несравненной элегантностью этих приемов, отличавшихся безукоризненным вкусом... ни один миллионер не мог не только затмить меня, но даже сравниться со мной; наконец, я превратился в человека, которого нарекли «королем моды»... Этот титул все вам объяснит, если вы понимаете его смысл и значение...

– Я отлично понимаю... и я уверен, что на каторге вы изобретете необыкновенно элегантный и изящный способ носить кандалы... Способ этот уже скоро станет модным среди всех обитателей каторги, и его назовут... способом Сен-Реми, – сказал старик с кровотокающей иронией... И тут же прибавил: – А ведь Сен-Реми – это и мое имя!..

Он умолк, продолжая сидеть все в той же позе: подперев подбородок рукою.

Флорестану потребовалось немалое самообладание, чтобы стерпеть боль от раны, нанесенной ему столь едким сарказмом.

Он продолжал уже более спокойным и смиренным тоном:

– Увы! Отец, я ведь не из кичливой гордости рассказываю вам о моих былых успехах... ибо, повторяю вам, именно этот успех и погубил меня... Человек изысканный, вызывавший зависть и лесть, человек, перед которым заискивали не какие-нибудь прихлебатели, жаждавшие поживиться крохами с моего стола, а люди, чье положение в обществе было гораздо более высоким, чем мое, люди, перед которыми у меня было только одно преимущество – элегантность... а ведь элегантность, изящество играют в мире роскоши ту же роль, что непогрешимый вкус – в искусстве... я не выдержал испытания успехом, и голова у меня пошла кругом... Я перестал считать деньги: я понимал, что растрочу свое состояние за несколько лет, но не задумывался над этим. Разве мог я отказаться, от этой блестящей лихорадочной жизни, где одни удовольствия сменялись другими, одни утехи следовали за другими, после одного праздника затевался другой, меня пьянили наслаждения, мне кружили голову восторги... О, если, бы вы только знали, отец, какое это ощущение, когда тебя всюду встречают... как героя дня!.. Когда, входя в гостиную, ты слышишь восторженный шепот, которым встречают тебя... ты слышишь, как одна из женщин

говорит другой: «Это он... вот он!..» О, если б вы только знали это...

– Я знаю, – холодно сказал граф, обрывая сына, – я знаю... – Не меня позы, он прибавил: – Да, несколько дней назад на городской площади собралась толпа; внезапно послышался громкий шепот... похожий на тот, которым вас встречают там, где вы появляетесь, затем взоры всех собравшихся, особенно женщин, остановились на очень красивом малом... совсем так, как они останавливаются на вас... и женщины эти показывали друг дружке на него, приговаривая: «Это он... вот он...» – совсем так, как приговаривают они, видя вас...

– Но кто же был этот человек, скажите, отец?

– Это был мошенник, которого за подлог вели в железном ошейнике к позорному столбу.

– Ах! – воскликнул Флорестан, с трудом подавляя ярость. Затем, изобразив глубокую, но притворную скорбь, он прибавил: – Отец, вы просто безжалостны ко мне... что же я еще могу вам сказать? Ведь я не пытаюсь отрицать свои поступки... я только стремлюсь объяснить вам роковые увлечения, которые к ним привели. Так вот! Можете обрушить на меня самый жестокий сарказм, я все-таки попытаюсь дойти до конца в своей исповеди и постараюсь добиться того, чтобы вы поняли то лихорадочное возбуждение, которое погубило меня, ибо тогда вы, быть может, пожалуете меня... Да, ибо жалеют ведь безумца... а я был тогда безумцем... Зажмурив глаза, я отдавался блестящему вихрю удовольствий, увлекая с собой самых очаровательных женщин, самых приятных мужчин. Как же я мог остановиться? Это все равно, что сказать поэту, изнемогающему под тяжестью творчества, поэту, чей гений разрушает его здоровье: «Остановитесь, хотя вы и охвачены неистовым вдохновением!» Нет, я... я не мог остановиться, не мог отказать от королевства, которое сам и создал, уйти оттуда с позором, разоренным и осмеянным, чтобы раствориться в никому не известной черни; позволить восторжествовать надо мною завистникам, которым я до тех пор успешно противостоял, которых я подавлял и сокрушал!.. Нет, нет, сделать этого я не мог!.. Во всяком случае, по своей воле. И вот наступил роковой день, когда в первый раз у меня не оказалось свободных денег. Я был просто изумлен, как будто такой день не должен был непременно наступить. Однако у меня еще оставались мои лошади, мои экипажи, обстановка этого особняка... Расплатившись с долгами, предварительно все распродав, я мог бы сохранить какие-то жалкие шестьдесят тысяч франков... быть может... Что бы я стал делать со столь мизерной суммой? И тогда, отец, я сделал первый шаг по стезе бесчестия... Я пока еще оставался честным... я истратил только то, что мне принадлежало; но начиная с того дня я стал делать долги, которые – это было очевидно – уплатить не смогу... Я продал все, что мне принадлежало, двум из моих слуг, чтобы рассчитаться с ними и получить возможность еще полгода, не возвращая долги кредиторам, наслаждаться роскошью, которая всегда опьяняла меня... Чтобы уплачивать карточные проигрыши и продолжать мои безумные траты, я начал брать деньги у ростовщиков; затем, чтобы расплатиться с этими ростовщиками, я брал в долг у друзей, а чтобы расплатиться с друзьями, стал брать займы у своих возлюбленных. Исчерпав все эти возможности, я оказался над пропастью... Из честного человека я превратился в афериста... Но я еще не сделался преступником... И тут я заколебался... я хотел было решиться на отчаянный шаг... участвуя в нескольких поединках, я уже знал, что не боюсь смерти... и я решил покончить с собой!..

– Ах, даже так?.. В самом деле? – осведомился граф со свирепой иронией.

– Отец, вы мне не верите?

– Такое решение было принято либо слишком рано, либо слишком поздно! – прибавил граф, по-прежнему не меняя позы и сохраняя бесстрастный вид.

Флорестан, думая, что ему удалось разжалобить отца, рассказав ему о своих планах самоубийства, счел необходимым усилить впечатление от этой сцены театральным эффектом.

Он отпер шкафчик, достал оттуда небольшой флакон зеленоватого стекла и поставив его на столик, сказал графу:

– Некий шарлатан-итальянец продал мне этот яд...

– И. этот яд... был приготовлен... для вас? – спросил старик, по-прежнему подпирая подбородок рукой.

Флорестан понял истинный смысл этих слов.

На сей раз на лице его отразилось неподдельное негодование, ибо он сказал правду.

В один прекрасный день ему и в самом деле взбрело в голову покончить с собой; но то была лишь мимолетная фантазия! Люди его пошиба слишком трусливы, чтобы решиться хладнокровно и без свидетелей принять смерть, которой они, защищая свою дворянскую, а вернее, светскую честь, смотрели в лицо во время дуэли.

Вот почему он воскликнул, на этот раз не обманывая графа:

– Да, я пал очень низко... но все же не до такой степени, отец. Этот яд я хранил для себя!

– И под конец испугались? – осведомился граф, не меняя позы.

– Признаюсь, я отступил перед этим крайним решением; ведь еще не все было потеряно: люди, которым я задолжал деньги, были богаты и могли подождать. Ведь я был ещё молод, у меня были нужные связи, я надеялся если не восстановить утраченное состояние, то, по крайней мере, добиться известного положения в обществе, определенной независимости, которая могла бы поддержать мой престиж... Многие мои друзья, быть может, даже менее способные, чем я, сделали быструю карьеру на дипломатическом поприще. А я ведь не лишен некоторого честолюбия... Стоило мне только пожелать, и я был зачислен в состав посольской миссии, направлявшейся в княжество Герольштейн... К несчастью, через несколько дней после этого назначения карточный долг одному человеку, которого я ненавидел, поставил меня в крайне затруднительное положение... я уже использовал все свои возможности... И тогда мне в голову пришла роковая мысль. Будучи уверен в собственной безнаказанности, я совершил низкий поступок... Как видите, отец, я ничего от вас не скрыл... я признаю всю отвратительность моего поведения, я не пытаюсь ни в чем преуменьшить свой позор... У меня остаются два выхода, и я готов принять любой из них... Первый выход – покончить, с собой... но таким образом оставить ваше имя запятанным, ибо, если я сегодня же не выкуплю за двадцать пять тысяч франков этот окаянный вексель, жалоба будет подана, скандал разразится, и – живой или мертвый – я буду опозорен. Есть и другой выход, отец: броситься в ваши объятия... и умолять вас: «Спасите своего сына, спасите ваше достойное имя от позора...» А я клянусь вам завтра же уехать в Африку, поступить на военную службу простым солдатом и либо встретить там свою смерть, либо возвратиться к вам в один прекрасный день, доблестью искупив свое позорное прошлое... Я говорю вам сейчас, отец, чистую правду... Оказавшись в столь крайних и безвыходных обстоятельствах, иного выхода я для себя не вижу... Решайте же... либо я умру, покрытый позором, либо благодаря вам... я буду жить, чтобы исправить свой проступок... Все, что я говорю, – отнюдь не угрозы и не пустые слова запутавшегося юноши, слышите, отец... Мне двадцать пять лет, и у меня достанет мужества либо покончить с собой... либо стать солдатом, потому что идти на каторгу я не хочу...

Граф встал с места.

– Я не желаю, чтобы имя мое было опозорено, – холодно сказал он Флорестану.

– Ах, отец. Вы мой спаситель! – с жаром воскликнул виконт.

Он уже готов был броситься в объятия графа, но тот ледяным жестом остановил этот порыв.

– Вас, кажется, ждут до трех часов дня... у того человека, в чьих руках находится подложный вексель?

– Да, отец... а сейчас уже два часа...

– Пройдем к вам в кабинет... дайте мне перо и бумагу.

– Вот они, отец. Старик быстро написал:

«Я обязуюсь заплатить в десять часов вечера двадцать пять тысяч франков, которые должен мой сын.

Граф де Сен-Реми».

– Вашего кредитора интересуют только деньги; вопреки угрозам мое обязательство заставит этого человека согласиться на новую отсрочку; пусть он побывает у господина Дюпона, моего банкира, в доме номер семь по улице Ришелье; там ему подтвердят надежность этого доку-

мента.

– О, дорогой отец!.. Каким образом смогу я когда-нибудь...

– Вы будете ждать меня нынче вечером... в десять часов, я принесу вам деньги... Пусть ваш кредитор ждет меня тут...

– Да, отец; а послезавтра я отправлюсь в Африку... Вы убедитесь, способен ли я быть неблагодарным?! Возможно, позднее, когда я смою свой позор, вы согласитесь принять мою признательность.

– Вы мне ничем не обязаны; я уже сказал, что отныне мое имя больше никогда не будет опозорено, и оно не будет опозорено, – холодно ответил граф де Сен-Реми.

Взяв свою дубинку, лежавшую на письменном столе, он направился к двери.

– Отец, протяните мне, по крайней мере, вашу руку! – воскликнул Флорестан умоляющим тоном.

– Здесь, сегодня вечером, в десять часов, – ответил граф, не подавая руки сыну.

С этими словами он вышел.

– Спасен!.. – вскричал Флорестан, и лицо его засияло. – Спасен!

Затем, после минутного размышления, он прибавил:

– Почти спасен... Ну, это не важно, одно к одному., Быть может, вечером я признаюсь ему и в другой истории. Он уже сделал первый шаг... И не захочет остановиться на полпути, вступив на столь благородную стезю, ибо его первая жертва окажется бесполезной, если он не пойдет и на вторую... А потом, стоит ли ему это рассказывать?.. Никто о том никогда не узнает!.. В самом деле, если ничто не раскроется, я сохраню деньги, которые он даст мне для покрытия этого последнего долга... Мне с трудом удалось растрогать его, этого окаянного старика!!! Едкость его саркастических фраз заставила меня усомниться в его благих намерениях; однако моя угроза покончить с собой, боязнь увидеть опозоренным свое имя заставили его решиться; да, именно по этому больному месту и надо было его ударить... Он, без сомнения, не так уж беден, как это может показаться с первого взгляда... Если у него была сотня тысяч франков, то он ее, конечно, приумножил, соблюдая такую бережливость... Повторю еще раз: его приход – это перст судьбы... Вид у него свирепый, но думаю, что, в сущности, он человек добродушный... А теперь поспешим к этому сутяге!

Виконт позвонил в колокольчик. На пороге показался Буайе.

– Как же это вы не предупредили меня о том, что в доме находится мой отец? Вы проявили непростительную небрежность...

– Я дважды пытался обратиться к господину виконту, когда он вошел в сад с господином Бадино; однако господин виконт, должно быть, поглощенный разговором со своим собеседником, махнул рукой, давая мне понять, чтобы я его не беспокоил... Я не позволил себе настаивать... Я был бы глубоко огорчен, если бы господин виконт счел меня виновным в небрежности.

– Ну ладно... Прикажите Эдвардсу без промедления запрячь в кабриолет пару рысаков.

Буайе склонился в почтительном поклоне.

Когда он выходил из кабинета, в дверь постучали.

Буайе с немым вопросом посмотрел на виконта.

– Войдите! – крикнул Флорестан.

Второй камердинер вошел в комнату, держа в руке небольшой позолоченный поднос.

Буайе принял у него из рук поднос с ревностной услужливостью и с почтительной поспешностью направился к виконту.

Тот взял с подноса довольно объемистый конверт, запечатанный черной восковой печатью.

Слуги неслышно вышли из кабинета.

Флорестан вскрыл конверт. В нем лежали двадцать пять тысяч франков в казначейских билетах... Никакой записки не было.

– Положительно, сегодня необыкновенно удачный день! – воскликнул виконт. – Спасен! На этот раз безусловно и полностью спасен!.. Побегу к ювелиру... а впрочем, – сказал он себе, – быть может... Нет, обождем... против меня не может возникнуть и тени подозрения... Стоит сохранить эти двадцать пять тысяч... Черт побери! До чего ж я глуп, что усомнился в своей счаст-

ливой звезде!.. В ту самую минуту, когда она, казалось, померкла, она вдруг загорается еще ярче!.. Но откуда появились эти деньги? Почерк на конверте мне незнаком... поглядим на печать... на вензель... Ну да, да... я не ошибся: буква «Н» и буква «Л»... Это она, Клотильда!..

Но как она могла узнать?.. И ни одного словечка... Это весьма странно! Но зато своевременно!.. Ах, господи боже! Теперь я вспомнил... Ведь на сегодняшнее утро я назначил ей свидание... Угрозы этого Бадино выбили меня из колеи... И я забыл о Клотильде... Подождав меня внизу, она, должно быть, ушла?.. Без сомнения, этот конверт с деньгами – деликатный способ напомнить мне, что она боится, не забываю ли я о ней, озабоченный денежными затруднениями. Да, это косвенный упрек в том, что я не обратился за помощью к ней, как обычно... Добрая Клотильда! Всегда остается самой собой!.. Щедра и великодушна как королева! Как досадно, что я дошел с ней до денежных просьб... ведь она еще так хороша! Да, порою я об этом жалею... но ведь я прибегаю к ее помощи лишь в самых крайних случаях... Меня нужда заставляет.

– Кабриолет господина виконта подан, – объявил, входя в кабинет, Буайе.

– Кто принес это письмо? – спросил у него Флорестан.

– Не знаю, господин виконт.

– Действительно, я спрошу об этом внизу. Но, скажите, на первом этаже меня никто не ждет? – прибавил Флорестан, выразительно взглянув на камердинера.

– Сейчас там больше никого нет, господин виконт.

«Стало быть, я не ошибся, – подумал Флорестан, – Клотильда не дождалась меня и ушла».

– Не соблаговолит ли господин виконт уделить мне две минуты? – спросил Буайе.

– Говорите, но поторопитесь.

– Эдвардс и я слышали, что герцог де Монбризон хотел бы обзавестись собственным особняком; не будет ли господин виконт так добр и не предложит ли он герцогу свой особняк со всей обстановкой и конюшню, которая в полном порядке... Для меня и для Эдвардса тем самым представился бы весьма удобный случай сбыть все с рук, а для самого господина виконта, быть может, это прекрасный случай объяснить, почему он вдруг решил все распродать.

– Черт побери, а вы ведь совершенно правы, Буайе... я и сам предпочту такую сделку... Я увижусь с Монбризоном и поговорю с ним. Каковы ваши условия?

– Господин виконт отлично понимает... что нам хотелось бы как можно лучше воспользоваться его щедростью.

– И получить больше того, что вы заплатили... Это ясно как день! Что ж, поглядим... Ваша цена?

– За все про все двести шестьдесят тысяч франков, господин виконт.

– И сколько же вы заработаете на этом с Эдвардсом?..

– Около сорока тысяч франков, господин виконт...

– Неплохо! Впрочем, куда ни шло... Ведь, в конце концов, я доволен вами обоими... и если бы я составлял завещание, то именно такую сумму отказал бы вам и Эдвардсу.

И виконт вышел из кабинета, чтобы отправиться сначала к своему кредитору, а затем к герцогине де Люсене: он ведь не подозревал, что эта дама слышала весь его разговор с Бадино.

Глава IX ОБЫСК

Особняк герцога де Люсене был одним из, можно сказать, королевских жилищ Сен-Жерменского предместья, которые казались особенно грандиозными, ибо занимали огромную территорию; современный дом без труда уместился бы в лестничной клетке любого из этих дворцов, и можно было бы возвести целый квартал на том пространстве, которое они занимали.

В уже описанный нами день, часов в девять вечера, обе створы громадных ворот особняка распахнулись, чтобы пропустить во двор великолепную двухместную карету: красиво описав круг в огромном дворе, кабриолет этот остановился перед широким крыльцом, пройдя которое можно было попасть в первую прихожую.

Пока два резвых и сильных скакуна перебирали ногами, постукивая копытами по звонким

плитам двора, гигантского роста выездной лакей отворил дверцу, украшенную гербами; молодой человек легко выпрыгнул из блестящего экипажа и быстро взбежал по пяти или шести ступеням крыльца.

Этот молодой человек был виконт де Сен-Реми.

Выйдя от своего кредитора, который, удовольствовавшись обязательством, подписанным отцом Флорестана, согласился на новую отсрочку и пообещал прийти за деньгами на улицу Шайо в десять вечера, виконт де Сен-Реми решил заехать к г-же де Люсене, чтобы поблагодарить ее за новую услугу, которую она ему оказала; не встретившись с герцогиней утром, он приехал к ней в особняк с победоносным видом, рассчитана я застать ее *prima sera*,¹⁶ в час, когда она обычно принимала его.

По тому, как поспешно Сидевшие в передней два лакея кинулись отворять застекленную дверь, едва узнав экипаж Флорестана, по необычайно почтительному виду, с которым остальные слуги торопливо вставали с места, когда мимо проходил виконт, наконец, по еще некоторым неприметным, но многозначительным признакам нетрудно было угадать, что прибыл второй, а вернее сказать, настоящий хозяин дома.

Когда герцог де Люсене возвращался к себе с зонтом в руке, обутый в огромного размера башмаки (он терпеть не мог выезжать днем из дому в экипаже), слуги встречали его столь же почтительно; однако от глаз внимательного наблюдателя не укрылась бы заметная разница в выражении лиц прислуги, когда она встречала мужа герцогини или ее возлюбленного.

Такую же торопливую любезность выказали и находившиеся в гостиной камердинеры, когда туда вошел Флорестан; в ту же минуту один из них сопровождал его во внутренние покои, чтобы доложить о его приходе г-же де Люсене.

Никогда еще виконт не ощущал себя до такой степени в зените славы, никогда еще он не чувствовал себя более непринужденно, более самоуверенно, никогда еще у него не был столь победительный вид...

Победа, которую он одержал утром над своим отцом, новое доказательство привязанности со стороны герцогини де Люсене, радость от сознания того, что он таким чудесным образом выпутался из того ужасного положения, в которое попал, возродившаяся вера в свою счастливую звезду – все это придавало его красивому лицу выражение отваги и превосходного расположения духа, а это еще более усиливало его очарование; словом, никогда еще виконт не чувствовал себя так безмятежно.

И по-своему он был прав.

Никогда его тонкая и гибкая фигура не отличалась столь непринужденной осанкой; никогда еще чело его не было столь ясным, а взгляд столь высокомерным; никогда еще его гордости до такой степени не льстила мысль: «Весьма знатная дама, владычица этого дворца, принадлежит мне, она буквально у моих ног... Еще этим утром она приходила в мой дом и ждала меня там...»

Проходя через три или четыре гостиных, что вели в небольшой будуар, где обычно находилась в этот час герцогиня, Флорестан предавался этим тешившим его самолюбие тщеславным мыслям. Бросив на ходу последний взгляд в висевшее на стене зеркало, он окончательно укрепился в самом высоком о себе мнении.

Камердинер, распахнув обе створки двери, ведущей в гостиную герцогини, громко возвестил:

– Господин виконт де Сен-Реми!

Нет возможности передать удивление и гнев герцогини!

Она думала, граф не скрыл от своего сына, что она тоже слышала его разговор с Бадино.

Мы уже сказали: поняв всю степень низости Флорестана, г-жа де Люсене внезапно и мгновенно избавилась от любви к нему, и ее прежнее чувство уступило место ледяному презрению.

Помимо того, мы сказали: несмотря на все свое легкомыслие и все свои грехи, герцогиня

¹⁶ Ранним вечером (*ut.*).

де Люсене сохранила в чистоте и нетронутости свое представление о прямоте, чести, рыцарской верности, о силе характера и требовательности к себе, которыми должен обладать мужчина; в самих ее недостатках было что-то возвышенное, в самих ее пороках присутствовала некая добродетель: относясь к любви столь же раскованно, как к ней относятся мужчины, она гораздо больше, чем они, была способна на истинную преданность, великодушие, мужество, а главное, испытывала отвращение и ужас перед любым проявлением низости.

Госпожа де Люсене собиралась ехать на светский раут; поэтому, хотя она еще не надела своей бриллиантовой диадемы, одета она была с присущим ей вкусом и элегантностью; на ней было роскошное платье, она открыто и смело ярко румянила щеки до самых век, как это было принято при королевском дворе, красота ее, особенно заметная на свету, ее стройная фигура, фигура богини, ступающей по облакам, делали еще более впечатляющим присущий ей гордый вид знатной светской дамы, которым мало кто обладал в высшем свете, и, следуя своему капризу или прихоти, она могла быть дерзкой до невероятия...

Надменный и решительный нрав герцогини де Люсене нам уже известен: пусть же читатель представит теперь ее негодующее лицо и разгневанный взор, которым она встретила виконта; он между тем, приблизившись к ней, как всегда элегантный и улыбающийся, сказал с доверительной, исполненной любви улыбкой:

– Моя дорогая Клотильда...! как вы добры! Как вы...

Виконт не успел закончить фразу.

Герцогиня продолжала сидеть в кресле не шевелясь; но ее нетерпеливый жест, ее разгневанный взор выразили такое презрение – равнодушное и вместе с тем уничтожающее, – что Флорестан загнулся и замер на месте...

Он не мог произнести ни слова, не мог сделать ни шага вперед.

Никогда еще он не видел г-жу де Люсене такой. Он не мог поверить, что перед ним та самая женщина, которая всегда была с ним ласкова, нежна, темпераментна и покорна; ибо нет на свете женщины более смиренной и готовой на все, чем женщина с характером, остающаяся наедине с человеком, которого она любит и которому полностью подчиняется.

Когда первая минута удивления миновала, Флорестан устыдился собственной слабости; обычная его дерзость взяла верх. Сделав шаг по направлению к герцогине де Люсене, он попытался завладеть ее рукой и сказал с особенной лаской в голосе:

– Боже мой! Клотильда, что случилось?.. Никогда еще ты не была так хороша и вместе с тем...

– Ах! Ваша наглость переходит всякие пределы! – воскликнула герцогиня, отпрянув с таким отвращением и высокомерием, что Флорестан снова замер; он был ошеломлен и растерян.

Затем, взяв себя в руки и собравшись с духом, он спросил:

– Объясните мне, по крайней мере, Клотильда, причину столь внезапной перемены! Что я вам сделал дурного?.. В чем я провинился перед вами?

Ничего не ответив, г-жа де Люсене, как принято выражаться, смерила его с головы до ног таким оскорбительным и презрительным взглядом, что кровь прилила к лицу Флорестана и он воскликнул, не помня себя от гнева:

– Я знаю, сударыня, что вы обычно резко обрываете свои связи... Вы что же, решили порвать со мной?

– Какая нелепая претензия! – ответила герцогиня с сардоническим взрывом смеха. – Знайте, сударь, что, когда лакей обкрадывает меня... я не порываю с ним... я выгоняю его вон...

– Милостивая государыня!..

– Довольно, – отрывистым и оскорбительным тоном отрезала герцогиня, – ваше присутствие для меня нестерпимо! Что вам тут нужно? Разве вы не получили деньги?

– Стало быть, это правда... Я верно угадал... Эти двадцать пять тысяч франков...

– Посланы вам для того, чтобы вы могли выкупить ваш последний подложный вексель! Имя вашей семьи будет спасено от позора. Вот и все... а теперь ступайте отсюда...

– Ах, поверьте...

– Мне очень жаль этих денег, они могли бы оказать поддержку многим честным людям...

но следовало позаботиться о том, чтобы избежать позора для вашего отца, да и для меня.

– Стало быть, Клотильда, вы все знали?.. О, значит, теперь мне остается только одно: умереть! – воскликнул Флорестан с пафосом, изображая крайнюю степень отчаяния.

В ответ на его трагическую фразу герцогиня бесцеремонно расхохоталась и прибавила, между двумя взрывами шумной веселости:

– Боже мой! Никогда не думала, что низость может быть столь смешна!

– Милостивая государыня!.. – воскликнул Флорестан, и лицо его исказилось от ярости.

Обе створки дверцы с шумом распахнулись, и камердинер возгласил:

– Господин герцог де Монбризон!

Несмотря на все свое самообладание, Флорестан с огромным трудом старался скрыть гнев и злобу, которые человек более искушенный, чем юный герцог, конечно, заметил бы.

Герцогу де Монбризону едва исполнилось восемнадцать лет.

Представьте себе очаровательное, почти девичье лицо, ослепительно белую кожу с легким румянцем, белокурые волосы, нежно очерченный подбородок, на котором едва пробивался первый пушок нарождавшейся бороды; прибавьте ко всему этому большие карие глаза, чуть застенчивый, но живой взгляд, тонкую и гибкую талию, почти такую же, как у герцогини де Люсене, и вы, быть может, представите себе портрет молодого герцога, походившего на самого прелестного Керубино, какого только доводилось графине де Альмавива и ее служанке наряжать в женский чепчик, вдоволь налюбовавшись белизной его шеи, отливавшей слоновой костью.

Виконт де Сен-Реми то ли из слабости, то ли из дерзости все же решил остаться в гостиной...

– Как это мило, Конрад, что вы вспомнили обо мне сегодня вечером! – проговорила герцогиня де Люсене приветливо и нежно, протягивая руку юному герцогу.

Молодой человек собрался было обменяться рукопожатием со своей кузиной, но Клотильда слегка приподняла руку и весело сказала ему:

– Лучше поцелуйте мне руку, кузен, ведь вы еще в перчатках.

– Простите меня великодушно, кузина... – пробормотал юноша и припал губами к очаровательной обнаженной руке, которую протянула ему герцогиня.

– Что вы собираетесь делать нынче вечером, Конрад? – спросила г-жа де Люсене, не обращая никакого внимания на хранившего молчание Флорестана.

– Да ничего особенного, кузина; уйдя от вас, я поеду в клуб.

– Ни в коем случае: вы будете сопровождать герцога де Люсене и меня к госпоже де Сенваль, она сегодня принимает; и она уже несколько раз просила меня ей вас представить.

– Дорогая кузина, я буду счастлив подчиниться вашему желанию.

– Кроме того, говоря откровенно, не по душе мне, что вы уже хотите приобрести привычку ездить в клуб; что за прихоть? У вас ведь есть все основания рассчитывать, что вас будут охотно принимать и даже усиленно приглашать на светские приемы и вечера... И вам следует там почаще бывать.

– Я готов, дорогая кузина..

– А так как я вам гожусь почти что в бабушки... мой милый Конрад, я буду постоянно на этом настаивать. Вы, правда, уже дееспособны, но полагаю, что вам еще долго будет нужно заботливое попечение, и вам придется примириться с тем, что опекать вас буду я.

– С великой радостью, почту за счастье, кузина! – с живостью воскликнул юный герцог.

Невозможно описать немую ярость, охватившую Флорестана, который по-прежнему стоял прислонившись спиной к камину.

Ни герцог, ни Клотильда не обращали на него ни малейшего внимания. Зная, как быстро герцогиня де Люсене принимает решения, он предполагал, что у нее достанет презрения к нему и отваги на то, чтобы тотчас же, прямо в его присутствии, начать открыто кокетничать с юным герцогом де Монбризоном.

Но он был неправ; герцогиня питала к своему кузену почти что материнскую привязанность: ведь он родился чуть ли не у нее на глазах. Однако юный герцог был так красив, он, казалось, был так обрадован любезным и теплым приемом, оказанным ему его знатной кузиной, что

ревность или, скорее, гордость приводила Флорестана в отчаяние; сердце его болезненно сжималось, его терзала зависть к Конраду де Монбризону, этому красивому и богатому аристократу, который с таким блеском вступал – в жизнь, полную удовольствий, развлечений и пьянящих успехов, в ту самую жизнь, которую он, Флорестан, разочарованный, презираемый, обесчещенный и опозоренный, покидал навсегда.

Виконт де Сен-Реми обладал, если можно так выразиться, мужеством, идущим от головы: в припадке гнева или из тщеславия он мог отважиться на дуэль; но, по природе человек ничтожный и безнадежно испорченный жизнью, он не обладал тем душевным мужеством, которое может преодолеть дурные склонности или, по крайней мере, придает человеку силы избежать позора, добровольно наложив на себя руки.

Яростно негодуя на адское презрение, которое выказывала по отношению к нему герцогиня, полагая, что юный герцог де Монбризон станет его преемником, виконт де Сен-Реми решил потягаться дерзостью с г-жой де Люсене, а если потребуется, то и затеять ссору с Конрадом.

Герцогиня, возмущенная наглостью Флорестана, даже не смотрела в его сторону; а юный герцог де Монбризон, с обожанием глядевший на кузину, невольно позабыл о правилах приличия: он даже не поздоровался и не сказал ни слова виконту, с которым был знаком.

Господин де Сен-Реми направился к Конраду, стоявшему к нему спиной, слегка притронулся к его руке и промолвил сухим, полным иронии тоном:

– Добрый вечер, милостивый государь... приношу тысячу извинений, что до сих пор не заметил вашего прихода.

Герцог де Монбризон, понимая, что он и в самом деле поступил неучтиво, стремительно обернулся и сердечно сказал виконту:

– Сударь, я и вправду смущен... Но я позволю себе надеяться, что моя кузина, послужившая невольной причиной моей рассеянности, соизволит простить мне невнимательность, проявленную к вам... и...

– Конрад, – проговорила герцогиня, выведенная из себя наглостью Флорестана, который не только не уходил, но еще и вел себя вызывающе, – Конрад, полноте; не нужно никаких извинений... в них нет необходимости.

Господин де Монбризон, полагая, что герцогиня в шуточной форме упрекает его за слишком формальное извинение, весело сказал, обращаясь к виконту:

– Я не стану настаивать на дальнейших объяснениях, сударь, раз уж моя кузина мне это запрещает... Как видите, ее опека надо мной уже началась.

– И опека эта такой малостью не ограничится, дорогой герцог, уж будьте уверены. И вот в предвидении этого – я уверен, что герцогиня поспешит облечь свое покровительство в нечто более осязаемое, – повторяю, в предвидении этого мне пришлось в голову сделать вам одно предложение...

– Вы хотите сделать мне какое-то предложение, сударь? – спросил Конрад, уже несколько задетый сардоническим тоном Флорестана.

– Именно вам... дело в том, что я через несколько дней уезжаю в княжество Герольштейн с дипломатической миссией, в состав которой я включен... И хотел бы отделаться от своего особняка со всей его обстановкой и с конюшней, которая в полном порядке. Вы же, со своей стороны, должны достойным образом обустроиться... – При этих словах виконт нагло посмотрел на герцогиню де Люсене. – Ведь это было бы весьма пикантно... не правда ли, высокочтимая госпожа герцогиня?

– Я вас что-то плохо понимаю, сударь, – проговорил г-н де Монбризон, удивляясь все больше и больше.

– Я вам скажу, Конрад, почему вы не можете принять предложение, которое вам только что сделали, – сказала Клотильда.

– А почему герцог не может принять мое предложение, высокочтимая госпожа герцогиня?

– Милый мой Конрад, то, что вам предлагают купить, уже продано другим людям... понимаете... так что вас ждут большие неприятности: вас ограбят, как в темном лесу.

Флорестан в ярости кусал губы.

– Берегитесь, сударыня! – воскликнул он.

– Как? Угрозы... здесь... Вы забываетесь, сударь! – крикнул юный герцог.

– Полноте, Конрад, не обращайтесь внимания, – сказала г-жа де Люсене с невозмутимым спокойствием, беря конфету из бонбоньерки. – Человек чести не должен и не может компрометировать себя, имея дело с этим господином. Если он настаивает, я вам сейчас объясню почему.

Готов был разразиться ужасный скандал, но в это время обе створки двери распахнулись, и в гостиную вошел герцог де Люсене, вошел, по своему обыкновению, шумно, стремительно и бурно.

– Как, моя дорогая, вы уже готовы? – спросил он, обращаясь к жене. – Да это чудо какое-то... просто поразительно!.. Добрый вечер, Сен-Реми, добрый вечер, Конрад... Ах, перед вами несчастнейший человек... другими словами, я не сплю, я не ем, я до такой степени оступел, что и передать не могу... Бедняга д'Арвиль, какой ужасный случай!

И герцог де Люсене плюхнулся на кушетку с подлокотниками и далеко отшвырнул свою шляпу с жестом отчаяния; затем, положив левую ногу на колено правой, он, по своему обыкновению, ухватился правой рукой за носок левого башмака, продолжая издавать горестные возгласы.

Волнение Конрада и Флорестана понемногу улеглось, так что г-н де Люсене, кстати сказать, человек на редкость рассеянный и ненаблюдательный, ничего не заметил.

Герцогиня де Люсене, отнюдь не от замешательства – она была из тех женщин, которых, как известно читателю, нельзя никогда и ничем смутить, – но потому, что присутствие Флорестана становилось для нее все более неприятным и нестерпимым, обратилась к мужу:

– Мы можем ехать, когда вам будет угодно, я хочу представить Конрада госпоже де Сенваль.

– Нет, нет, нет! – завопил герцог, выпуская свою ногу из руки и хватая одну из подушек, лежавших на кушетке.

Он из всех сил ударил по злосчастной подушке кулаками, к великому изумлению Клотильды, которая от неожиданного вопля мужа даже немного подскочила в кресле.

– Господи, милостивый государь, что с вами? – спросила она. – Вы меня смертельно напугали.

– Нет! – повторил герцог, отпихивая подушку; затем он резко вскочил с места и заходил по гостиной, размахивая руками. – Я не могу, никак не могу смириться с мыслью, что этот бедный д'Арвиль умер. А вы, Сен-Реми?

– Случай и в самом деле ужасный! – согласился виконт, который, внутренне горя ненавистью и гневом, тщетно пытался поймать взгляд юного герцога де Монбризона.

Однако Конрад после последних слов своей кузины, не из недостатка мужества, но из гордости, упорно не хотел встречаться глазами с человеком, столь страшно опозоренным.

– Помилосердствуйте, милостивый государь, – сказала герцогиня, обращаясь к мужу и вставая с кресла, – не стоит сожалеть о господине д'Арвиле столь шумно, а главное, столь причудливо... Прошу вас, позвоните и вызовите сюда моих слуг.

– Нет, вы только подумайте, – проговорил г-н де Люсене, ухватившись за шнурок сонетки, – ведь еще три дня тому назад он был совершенно здоров и полон жизни... а сегодня, что осталось от него сегодня?! Ничего... ничего!!! ничего!!!

Произнеся три последних слова, герцог с такой силой дергал за шнурок сонетки, продолжая жестикулировать рукой, что тот оторвался от пружины, упал на канделябр, где горели свечи, и опрокинул две из них; при этом одна из свечей упала на камин, разбив прелестную небольшую чашку из старинного севрского фарфора, а другая покатила по лежавшему перед камином ковру из горносталя: вспыхнувшее пламя поспешно затоптал ногою Конрад.

В ту же минуту два камердинера, встревоженные неистовым звоном, торопливо вбежали в гостиную и увидели, что герцог де Люсене так и сидит, держа в руке шнурок от сонетки, а герцогиня звонко хохочет, глядя на стремительный полет свечей, а герцог де Монбризон вторит ее веселому смеху.

Один только виконт де Сен-Реми не смеялся.

Герцог де Люсене, привыкший к такого рода происшествиям, причиной коих бывал он сам, сохранял полную невозмутимость; он швырнул шнурок от сонетки одному из слуг и сказал:

– Заложить карету герцогини.

Перестав смеяться, Клотильда заметила:

– Право же, сударь, только вы одни способны вызвать смех по столь прискорбному поводу.

– Прискорбному!.. – воскликнул герцог. – Скажите лучше, ужасному... скажите лучше, устрашающему! Знаете, со вчерашнего дня я только и думаю, сколько есть людей, даже из числа моих родственников, которые, по моему мнению, могли бы с большим основанием умереть вместо этого бедняги д'Арвиля. Например, мой племянник д'Анберваль, которого трудно вынести из-за его ужасного заикания; или же, того лучше, ваша тетушка Меренвилль, которая нам все уши прожужжала жалобами на свои нервы, на свою мигрень, которая при этом каждодневно, не в силах дожидаться обеда, пожирает целый котелок паштета, как какая-нибудь привратница! Вы разве так уж сильно привязаны к вашей тетушке Меренвилль?

– Послушайте, милостивый государь, да вы просто с ума сходите! – воскликнула герцогиня, пожимая плечами.

– Но ведь это же суцая правда, – настаивал герцог, – пусть уж лучше умрут два десятка безразличных вам людей вместо одного вашего друга... Вы согласны со мной, Сен-Реми?

– Безусловно.

– Помните ту старинную историю о портном? Ты знаешь эту историю о портном, Конрад?

– Нет, не знаю, кузен.

– Ты тотчас же поймешь, почему я о ней вспомнил. Некого портного осудили на казнь через повешение; во всем городке больше портных не было. Как поступают горожане? Они пришли к судье и сказали ему: «Господин судья, у нас в городе только один портной, а башмачников трое; если вам все равно, повесьте лучше одного из них вместо портного, нам хватит и двух башмачников». Ты понимаешь смысл этой истории, Конрад?

– Понимаю, кузен.

– А вы, Сен-Реми?

– Я тоже.

– Карета госпожи герцогини! – возгласил один из слуг.

– Ах, так! Но почему вы не надели ваши бриллианты? – неожиданно спросил у жены герцог де Люсене. – К этому платью они бы очень подошли!

Виконт де Сен-Реми вздрогнул.

– Ведь мы так редко выезжаем в свет вместе, – продолжал герцог де Люсене, – и вы могли бы доставить мне удовольствие, надев их. До чего они прекрасны, эти бриллианты... Вы видели бриллианты герцогини, Сен-Реми?

– Да... господин виконт хорошо знаком с моими бриллиантами, – ответила Клотильда. Потом она прибавила: – Подайте мне руку, Конрад...

Господин де Люсене последовал за герцогиней вместе с виконтом де Сен-Реми, который едва сдерживал гнев.

– А разве вы не поедете с нами к Сенвалям, виконт? – спросил герцог.

– Нет... это невозможно, – поспешно ответил тот.

– Послушайте, Сен-Реми, госпожа де Сенваль – еще одна особа... да что я говорю, одна... их там двое... и я охотно бы пожертвовал обоими, ибо ее муж тоже внесен в мой список.

– Какой список?

– Список людей, чья смерть была бы для меня совершенно безразлична, если бы д'Арвиль остался с нами.

В первой гостиной герцог де Монбризон помогал герцогине надеть ее длинную накидку; обратившись к нему, г-н де Люсене сказал:

– Раз уж ты едешь с нами, Конрад... пусть твой экипаж следует за нашим... Разве только вы все же поедете к Сенвалям, Сен-Реми, тогда я сяду вместе с вами... и расскажу вам еще одну славную историю, она ничуть не хуже истории о портном.

– Благодарю вас, герцог, – сухо сказал виконт де Сен-Реми, – но сопровождать вас на при-

ем я не могу.

– В таком случае, до свидания, мой милый... А вы что, поссорились с моей женой? Смотрите-ка, она садится в экипаж, даже не простившись с вами.

И в самом деле, карета герцогини подкатила к крыльцу, и молодая женщина с легкостью поднялась в нее.

– А вы, кузен? – спросил Конрад, ожидавший из учтивости, пока герцог сядет в карету.

– Садитесь же! Садитесь! – сказал герцог де Люсене, задержавшись на крыльце, – он любовался красивыми лошадьми, запряженными в экипаж виконта.

– Это и есть ваши гнедые, Сен-Реми?

– Да.

– А до чего живописен ваш толстый Эдвардс... Какой у него осанистый вид!.. Поистине настоящий кучер из благородного дома!.. Вы только поглядите, как ловко он держит вожжи в руке!.. Надо отдать вам должное, виконт, я бы сказал: «Один только этот чертов Сен-Реми умудряется обладать всем самым лучшим».

– Госпожа де Люсене и ее кузен ждут вас, дорогой герцог, – с горечью сказал виконт де Сен-Реми.

– Вероятно, черт побери... я веду себя как грубиян!.. До свидания, Сен-Реми... Ах, совсем забыл, – проговорил герцог де Люсене, останавливаясь посреди крыльца, – если у вас не будет более интересного занятия, приезжайте к нам завтра обедать: лорд Дадли прислал мне из Шотландии куропаток, вернее, тетеревов. Представляете, это такие громадины... Условились, не правда ли?

И герцог присоединился наконец к своей жене и Конраду.

Виконт де Сен-Реми остался на крыльце один, провожая взглядом отъехавший экипаж.

Тем временем подъехал его собственный кабриолет.

Он поднялся в экипаж, бросил взгляд, полный гнева, ненависти и отчаяния, на этот особняк, куда он так часто входил, точно хозяин, и откуда его с позором изгнали.

– Домой! – резко бросил он.

– В особняк! – крикнул выездной лакей Эдвардсу, захлопывая дверцу кабриолета...

Читатель понимает, какие горестные и унылые мысли одолевали виконта де Сен-Реми по дороге домой.

Когда экипаж подъехал к дому, Буайе, поджидавший хозяина в крытой галерее, сказал:

– Господин граф уже наверху, он ожидает там господина виконта.

– Превосходно...

– Там также находится тот человек, которому господин виконт велел прийти к десяти часам вечера; это господин Пти-Жан...

– Хорошо, хорошо.

«Господи, ну и вечерок выдался!» – подумал Флорестан, поднимаясь на второй этаж, где его ожидал отец; он застал графа в гостиной, где происходила их утренняя беседа.

– Тысяча извинений, отец! Простите, что я не попал домой до вашего прихода... но я...

– Человек, в чьих руках находится подложный вексель, здесь? – спросил старик, обрывая сына.

– Да, отец, он ждет внизу.

– Пусть поднимется сюда...

Флорестан позвонил в колокольчик; на пороге показался Буайе.

– Попросите господина Пти-Жана подняться сюда.

– Слушаюсь, господин виконт, – сказал Буайе и вышел из кабинета.

– Как вы добры, отец, что не забыли о своем обещании.

– Я всегда помню о том, что обещал...

– Как несказанно я вам благодарен!.. Не знаю, как я смогу выказать эту...

– Я не хотел, чтобы мое имя было обещано, – прервал его граф. – И оно не будет обещано...

– Да, не будет!.. Да, оно не будет обещано, я клянусь вам, отец...

Граф посмотрел на сына со странным выражением лица и повторил:

– Да, мое имя не будет обесчещено!

Потом он прибавил с сардонической усмешкой:

– А вы почему в этом так уверены? Разве вы прорицатель?

– Нет, но в своей душе я читаю твердую решимость в этом.

Отец Флорестана ничего не ответил.

Он ходил из угла в угол гостиной, сунув обе руки в карманы своего длинного редингота. Ой был очень бледен.

– Господин Пти-Жан, – доложил Буайе, вводя в комнату человека с хитрым, гнусным и ко-рыстным лицом.

– Где этот вексель? – спросил граф.

– Вот он, сударь, – ответил Пти-Жан (подставное лицо нотариуса Жака Феррана), протягивая вексель графу.

– Тот ли это вексель? – спросил старик у своего сына, показывая ему документ.

Кинув взгляд на вексель, Флорестан сказал:

– Да, тот самый, отец.

Граф вытащил из кармана своего камзола двадцать пять тысяч франков казначейскими билетами, протянул их сыну и приказал:

– Уплатите!

Флорестан вручил деньги Пти-Жану и взял у него из рук вексель со вздохом облегчения.

Пти-Жан тщательно вложил банковые билеты в потрепанный бумажник и откланялся.

Граф де Сен-Реми вышел вместе с ним из гостиной, а Флорестан тем временем старательно разрывал вексель на клочки.

– По крайней мере, у меня остались еще двадцать пять тысяч франков от Клотильды, – проговорил он. – Если ничто не откроется... эти деньги – пусть слабое, но все-таки утешение. Но, подумать только, как она обращалась со мной!.. Да, кстати, что такого мог сказать мой отец Пти-Жану?

Скрип ключа в двери заставил виконта вздрогнуть.

Его отец возвратился в гостиную.

Теперь он был еще бледнее, чем прежде.

– Мне показалось, отец, что кто-то запер на ключ дверь в мой кабинет?

– Да, это я запер ее.

– Вы, отец? А зачем? – с изумлением спросил Флорестан.

– Я вам сейчас скажу.

Граф уселся в кресло, передвинув его так, чтобы сын не мог уйти по потайной лестнице, что вела на первый этаж.

Не на шутку встревоженный, Флорестан обратил вдруг внимание на зловещее выражение лица графа де Сен-Реми и теперь с опаской следил за каждым его движением и жестом.

Он не мог объяснить, в чем дело, но испытывал смутный страх.

– Нынешним утром, когда вы меня увидели, у вас мелькнула одна-единственная мысль: «Отец ни за что не позволит опозорить свое имя, он заплатит... если мне удастся ловко притвориться и убедить его в моем раскаянии».

– Ах, неужели вы можете подумать...

– Не прерывайте меня... Но я не попался на удочку; в вас нет ни стыда, ни сожаления, ни угрызений совести, вы порочны до глубины души, у вас в жизни не было ни проблеска порядочности; вы не начали воровать, пока вы обладали средствами для удовлетворения ваших потребностей, это именуют честностью богачей вашего пошиба; потом на свет явились бестактные поступки, вслед за ними – поступки низкие и, наконец, пришел черед преступлению: вы совершили подлог. Но это только начальная пора вашей жизни... и она может показаться прекрасной и чистой по сравнению с тем образом жизни, какой вас ожидает впереди...

– Да, так случится, если я не изменю своего поведения, согласен; но я изменю его, клянусь вам в этом, отец.

– Вы ни в чем не изменитесь...

– Однако...

– Повторяю: вы ни в чем не изменитесь... Изгнанный из того круга, где вы до сих пор вращались, вы очень скоро станете преступником, подобно тем мерзавцам, среди которых вы непременно окажетесь: так что вы непременно станете вором... а если вам это понадобится, то и убийцей. Вот что вас ждет впереди.

– Я стану убийцей?! Я?!

– Да, вы, ибо вы подлец и трус!

– Я дрался на нескольких поединках и при этом доказал...

– А я говорю вам, что вы трус! Вы предпочли бесчестие смерти! И наступит такой день, когда вы для того, чтобы ваши новые преступления не выплыли на свет, пойдете на то, чтобы отнять жизнь у другого человека. Но это не должно произойти, я не желаю, чтоб это могло произойти. Я появился в самое время, чтобы спасти, по крайней мере, свое имя от публичного позора. С этим пора покончить.

– Что это значит, отец... покончить? Что вы этим хотите сказать?! – воскликнул Флорестан, которого все больше и больше пугало грозное выражение лица графа и его все возрастающая бледность.

Внезапно в дверь кабинета громко постучали; Флорестан направился было в кабинет, чтобы отпереть дверь и тем самым положить конец разговору с отцом, который приводил его в ужас, но граф железной рукой схватил его за плечо и удержал на месте.

– Кто там стучит? – спросил граф.

– Именем закона, отворите!.. Отворите!.. – раздался в ответ чей-то голос.

– Стало быть, это был еще не последний подложный вексель? – негромко спросил г-н де Сен-Реми, грозно взглянув на сына.

– Это был последний... клянусь вам, отец, – ответил Флорестан, тщетно стараясь освободиться от мощной руки графа.

– Именем закона... Отворите!.. – снова послышался голос.

– Что вам угодно? – спросил граф.

– Я комиссар полиции; я пришел произвести обыск в доме виконта де Сен-Реми, которого обвиняют в краже бриллиантов... У господина Бодуэна, ювелира, есть веские доказательства. Если вы не отопрете добром, сударь... я вынужден буду распорядиться взломать дверь.

– Уже вор! Значит, я не ошибся, – едва слышно проговорил граф. – Я пришел, чтобы убить вас... но слишком поздно.

– Убить меня?! – вскричал виконт.

– Вы достаточно позорили мое имя; пора с этим покончить; у меня с собой два пистолета... либо вы сами пустите себе пулю в лоб... либо я сам вас застрелю и скажу, что вы покончили с собой в отчаянии, дабы спастись от позора.

И граф с пугающим хладнокровием достал свободной рукою пистолет из своего кармана и протянул сыну, сказав:

– Довольно! Если вы не трус, пора покончить счеты с жизнью!

После новых и столь же тщетных попыток вырваться из рук графа, его сын в ужасе отпрянул и смертельно побледнел.

По ужасному и неумолимому взгляду отца он понял, что рассчитывать на его жалость не приходится.

– Отец! – в отчаянии воскликнул он.

– Вам надо умереть!

– Я глубоко раскаиваюсь в содеянном!

– Слишком поздно!.. Вы слышите?! Они уже ломятся в дверь!

– Я искуплю все свои поступки!

– Они сейчас войдут! Стало быть, мне придется самому вас убить?

– Пощадите меня!

– Дверь уже поддается!.. Ты сам этого хотел!..

И граф приставил дуло своего пистолета к груди Флорестана.

Шум, доносившийся в гостиную, и в самом деле говорил о том, что дверь в кабинет продержится недолго.

Виконт понял, что погиб.

Но внезапно отчаянное решение промелькнуло у него в голове; он больше не вырывался из рук отца и сказал ему с показной твердостью и решимостью:

– Вы правы, отец... дайте мне ваш пистолет. Я достаточно обесчестил свое имя, жизнь, которая ждет меня впереди, действительно ужасна, нет смысла бороться за нее. Давайте пистолет. И вы увидите, трус ли я или нет. – Он протянул руку за пистолетом. – Но скажите, по крайней мере, хоть одно слово, одно слово утешения, жалости, скажите мне его на прощанье, – прибавил Флорестан.

Дрожащие губы, бледность, искаженное отчаянием лицо – все выдавало ужасное волнение, владевшее в эту минуту виконтом.

«А что, если он все-таки мой сын?! – со страхом подумал граф, не решаясь передать пистолет Флорестану. – Но, если это мой сын, я тем меньше должен колебаться перед тем, как принести его в жертву».

Дверь в кабинет теперь непрерывно трещала, не оставалось сомнений, что она вот-вот будет взломана.

– Отец... они сейчас войдут... О, теперь я наконец понимаю, что смерть для меня – благодеяние... Спасибо... спасибо... но протяните мне хотя бы руку и простите меня.

Несмотря на всю свою твердость, граф невольно содрогнулся и сказал взволнованным голосом:

– Я вас прощаю.

– Отец... дверь сейчас распахнется... ступайте к ним навстречу... пусть, по крайней мере, на вас не падет подозрение... А потом если они войдут сюда, то помешают мне покончить с собой... Прощайте...

В соседней комнате послышались шаги нескольких человек.

Флорестан приставил к груди дуло пистолета.

Выстрел раздался в то самое мгновение, когда граф, стремясь избежать ужасного зрелища, отвернулся и бросился вон из гостиной; обе половины портьеры сошлись за ним.

При звуке выстрела, при виде смертельно бледного и совершенно потерянного графа, полицейский комиссар замер на месте и жестом запретил своим помощникам переступить порог гостиной.

Предупрежденный Буайе о том, что виконт заперся в кабинете с отцом, полицейский чиновник все понял и с уважением отнесся к огромному горю старика.

– Умер!!! – с болью воскликнул граф, закрывая лицо руками – Умер!!! – повторил он в изнеможении. – Но это было необходимо, лучше смерть чем позор... И все-таки это ужасно!

– Милостивый государь, – печально произнес полицейский комиссар после короткого молчания, – избавьте самого себя от горестного зрелища, покиньте этот злополучный дом... Сейчас мне предстоит выполнить уже иной долг, еще более тягостный, чем тот, что привел меня сюда.

– Вы правы, сударь, – ответил граф де Сен-Реми. – Что касается человека, ставшего жертвой этого мошенничества, передайте ему, пожалуйста, чтобы он обратился к господину Дюпону, банкиру.

– Его контора на улице Ришелье?.. Он всем хорошо известен, – ответил полицейский комиссар.

– В какую сумму оцениваются похищенные бриллианты?

– Они стоили около тридцати тысяч франков, милостивый государь; человек, их купивший и обнаруживший, что они украдены, заплатил эту сумму... вашему сыну.

– Столько я могу еще заплатить. Пусть ювелир придет послезавтра к моему банкиру, и я с ним все улажу.

Полицейский комиссар поклонился.

Граф вышел из кабинета.

После его ухода полицейский чиновник, глубоко потрясенный этим неожиданным происшествием, медленно направился к гостиную, вход в которую был закрыт портьерой.

С волнением он приподнял ее.

– Никого!.. – воскликнул он, опешив; внимательно оглядев гостиную, он не нашел в ней ни малейших следов трагического происшествия, которое вроде бы только что случилось.

Затем, обнаружив небольшую дверь, искусно скрытую обоями, он кинулся к ней.

Дверь была заперта снаружи – со стороны потайной лестницы.

– Ну и хитрец!.. Именно через эту дверь он сбежал! – с досадой воскликнул полицейский.

Виконт в присутствии отца приставил пистолет прямо к сердцу, но затем весьма ловко чуть-чуть сдвинул его, и пуля пролетела под мышкой; после чего он, не теряя времени, исчез.

Полицейские старательно, самым тщательным образом обыскали весь дом, но Флорестана нигде не обнаружили.

Пока его отец и полицейский комиссар разговаривали друг с другом, виконт быстро сбежал по лестнице, прошел через будуар и теплицу, а затем по пустынной улице добежал до Елисейских полей.

Зрелище столь низкой развращенности человека, живущего среди роскоши, – зрелище весьма прискорбное.

Мы это знаем.

Однако из-за отсутствия разумных и прочных устоев богатым классам также роковым образом присущи свои беды, свои пороки и свои преступления.

На каждом шагу мы встречаемся с таким удручающим явлением, как безрассудная и бесплодная расточительность, какую мы только что описали, и она непременно ведет в конечном счете к разорению, утрате уважения окружающих, к низости и позору.

Да, повторяем, это жалкое и вместе с тем злое зрелище... его можно сравнить разве что со зрелищем цветущей нивы, которую бессмысленно опустошила стая хищных зверей...

Спору нет, наследство, частная собственность священны и неприкосновенны, и такими они должны оставаться.

Богатство, накопленное человеком или полученное им в наследство, должно невозбранно принадлежать ему, даже если оно своим блеском ослепляет глаза людей бедных и страждущих.

Еще долго будет существовать страшное несоответствие, которое существует ныне между положением миллионера Сен-Реми и ремесленника Мореля.

Но именно потому, что такое неизбежное несоответствие освящено и охраняется законом, те, кто обладает огромным богатством, обязаны пользоваться им, следуя правилам нравственности, как и те, кто обладает только честностью, смирением, мужеством, как и те, кто ревностно трудится.

С точки зрения здравого смысла, прав человека и, разумеется, в интересах всего общества крупное состояние должно стать неким полученным в наследство денежным вкладом, который доверен разумным, умелым, сильным и великодушным людям, и они должны одновременно приумножать и расходовать свое состояние таким образом, чтобы все то, что, по счастью окажется согрето его яркими и благотворными лучами, оживало, становилось лучше и плодоносило.

Порою так и бывает, но лишь в редких случаях.

Сколько молодых людей, подобно виконту де Сен-Реми, становятся в двадцать лет обладателями весьма внушительного состояния либо поместья, и они безрассудно растрачивают свое состояние, предаваясь безделью, становясь рабами скуки или порока (а порой и низости), только потому, что не знают, как лучше употребить свое богатство с пользой и для самих себя и для окружающих!

Другие богачи, напуганные непрочностью благ земных, самым отвратительным образом копят деньги.

Наконец, иные, зная, что деньги, не пущенные в оборот, постепенно тают, предаются безнравственным и азартным биржевым спекуляциям, которым власти споспешествуют и покровительствуют; при этом спекуляторы неизбежно становятся либо плутами, либо жертвами обмана.

А разве может быть иначе?

Кто наставляет неопытную молодежь? Кто учит ее хотя бы начаткам бережливости индивидуальной, которая в конечном счете оборачивается бережливостью всего общества?

Никто не учит.

Богач со своим богатством, как и бедняк со своей бедностью, живет в нашем обществе, он предоставлен самому себе.

Общество не заботит ни избыток средств у одного, ни нужда другого.

Никто не думает о том, что нравственность необходима богачу ничуть не меньше, чем бедняку.

Но разве не власть имущие должны выполнять великую и благородную задачу?

Проникшись, наконец, искренним сочувствием и жалостью к неимущим, ко все возрастающей нужде тружеников, которые пока еще сохраняют покорность, уничтожив губительную конкуренцию между всеми и каждым, приступив, наконец, к решению неотложной проблемы упорядочения условий труда, власть имущие подадут тем самым благодетельный пример сочетания интересов труда и капитала.

Но этот союз труда и капитала должен быть честным, разумным и справедливым, он должен обеспечить благосостояние ремесленника, не нанося при этом ущерба имуществу богача... и тогда вновь созданные узы доброжелательства и благодарности скрепят этот союз и навсегда сохраняют мир и спокойствие в государстве...

Какие грандиозные последствия ожидают нас, если все это воплотить в жизнь!

Кто же из богачей станет тогда колебаться в выборе между бесчестными и губительными возможностями биржевой спекуляции, мрачными утехами скопидомства, безрассудным тщеславием разорительного мотовства – и разумным использованием своего богатства, одновременно плодотворным и благодетельным, в результате чего распространится благосостояние, укрепится нравственность, воцарится счастье и радость во многих семьях.

Глава X ПРОЩАНИЕ

... Поверил – увидал – и плачу...

Вордсворт

На следующий день после описанного нами вечера, когда граф де Сен-Реми был так низко обманут своим сыном, в тюрьме Сен-Лазар, в час отдыха заключенных, происходила трогательная сцена.

В тот день, когда узниц вывели на прогулку, Лилия-Мария сидела на скамейке возле водоема во внутреннем дворе тюрьмы: скамейка эта уже получила название Скамьи Певуньи, и по молчаливому уговору другие заключенные не занимали это место, где Певунья любила сидеть, ибо благотворное влияние молодой девушки за последние дни еще больше возросло.

Певунья любила эту скамью, стоявшую возле самого водоема, ибо невзрачный бархатистый мох, покрывавший закраины этого водоема, напоминал ей зелень полей, а прозрачная вода, наполнявшая его, напоминала ей небольшую речку, что протекала в Букевале.

Для печального взгляда заключенного пучок травы уже олицетворяет луг, а один цветок – целую клумбу...

Полностью поверив ласковым обещаниям г-жи д'Арвиль, Лилия-Мария вот уже два дня ожидала, что ее освободят из тюрьмы.

Хотя у нее не было никаких оснований для тревоги, но ее выход из тюрьмы почему-то задерживался, и молодая девушка, привыкшая к постоянным невзгодам, не решалась поверить, что она скоро будет на свободе...

После того как Лилия-Мария вновь оказалась в обществе этих падших созданий, чья речь ежеминутно оживляла в ее душе неискоренимое воспоминание о давнем позоре, свойственная ей грусть стала еще более тягостной.

Но дело было не только в этом.

Была еще одна причина, которая рождала в ней смятение и горькие размышления, почти пугала ее: то была страстная экзальтация, сопровождавшая ее признательность Родольфу.

Странная вещь! Молодая девушка как будто сознавала всю глубину своего падения именно потому, что сознание это напоминало ей о том, что отделяло ее от этого человека, чье величие казалось ей почти нечеловеческим, человека, обладавшего одновременно необычайной добротой... и могуществом, пугавшим злодеев...

Несмотря на то, что, боготворя Родольфа, Лилия-Мария вместе с тем питала к нему глубочайшее уважение, она иногда, увы, со страхом думала, не принимает ли ее обожание характер любви, столь же тайной, сколь и глубокой, столь же целомудренной, сколь и тайной, столь же безнадежной, сколь и целомудренной!

Бедная девочка с особенной силой почувствовала, что в ее сердце поселилось столь огорчавшее ее чувство во время разговора с г-жой д'Арвиль, которая сама питала к Родольфу сильную страсть, о чем он не подозревал.

После ухода маркизы, после ее столь обнадеживавших обещаний Лилия-Мария, казалось бы, должна предаваться радости, думая о скорой встрече со своими друзьями из Букеваля, о том, что ей предстоит увидеться вскоре и с Родольфом...

Но нет, она не испытывала радости.

Ее сердце болезненно сжималось. К ней все время возвращались воспоминания о резких словах, о высокомерных испытующих взглядах маркизы д'Арвиль, которыми она встретила восторг, охвативший несчастную узницу, когда та заговорила о своем благодетеле.

Словно по какому-то необъяснимому наитию Певунья частично проникла в тайну г-жи д'Арвиль.

«Моя восторженная благодарность г-ну Родольфу задела эту молодую даму, такую красивую и занимающую такое высокое положение в обществе, – говорила себе Певунья. – Теперь мне понятна горечь, прозвучавшая в ее словах: они говорили о ревности, смешанной с презрением ко мне...

Подумать только! Она ревнует ко мне! Стало быть, – она его любит... но, значит, и я тоже его люблю?.. Выходит, мое сердце невольно сыграло со мной предательскую шутку?..

Мне любить его... – мне... навеки опозоренной, неблагодарной и несчастной... о, если бы это и впрямь случилось... лучше смерть, во много раз лучше смерть...»

Поспешим сказать, что бедное дитя, всячески терзавшее себя, преувеличивало характер своего чувства, которое ей казалось любовью.

К ее глубочайшей признательности Родольфу присоединилось невольное восхищение его обаянием, его красотой, его силой, всеми теми качествами, что выделяли его среди остальных людей; и невозможно представить себе что-либо более чистое и возвышенное, чем ее восторженное преклонение перед Родольфом, но оно оборачивалось сильным и страстным чувством, ибо физическая красота всегда влечет к себе.

И, наконец, голос крови, чье значение столь часто отрицают, голос крови – немой, неведомый или нераспознанный – порою начинает властно звучать в душе человека; порывы страстной нежности, которая влекла Лилию-Марию к Родольфу и которая так пугала ее, ибо, не зная о том, что он ее отец, она неверно понимала ее причины, повторяем, эти порывы нежности были следствием таинственной симпатии родственных натур; порывы эти столь же необъяснимы, но и столь же явственны, как фамильное сходство...

Одним словом, если бы Лилия-Мария узнала, что Родольф ее отец, она легко объяснила бы самой себе то влечение к нему, которое она испытывала; и тогда бы, осведомленная обо всем, она без всяких угрызений совести любовалась бы красотой своего отца.

Вот чем следует объяснить угнетенное состояние бедной девочки, хотя она, казалось бы, должна была радоваться, ожидая, что вот-вот выйдет на свободу из тюрьмы, как ей пообещала г-жа д'Арвиль.

Итак, Лилия-Мария, печальная и задумчивая, сидела на скамье возле водоема, машинально наблюдая за веселой игрой нескольких бесстрашных птичек, которые то и дело садились на каменные закраины водоема. Она ненадолго прервала свою работу: юная девушка обшивала кай-

мой детскую распашонку.

Надо ли говорить читателю, что распашонка эта составляла часть приданого для новорожденного, которое готовили Мон-Сен-Жан ее подруги по заключению: они сделали это после трогательного призыва Лилии-Марии.

Несчастливая дурнушка, которой покровительствовала Певунья, сидела у ног юной девушки; трудясь над крошечным чепчиком, будущая мать время от времени бросала на свою покровительницу взгляд, исполненный одновременно благодарности, робости и преданности... так смотрит верный пес на своего хозяина.

Красота, прелесть и очаровательная мягкость Лилии-Марии не только вызывали глубокое уважение у этой униженной женщины, но и привлекали ее.

Всегда есть нечто святое в душевных порывах даже самого опустившегося человека, когда в сердце его впервые пробуждается признательность; а ведь до сих пор никто еще не вызывал у Мон-Сен-Жан столь благоговейного чувства пылкой благодарности; чувства, совершенно, не знакомого ей.

Прошло несколько минут, Лилия-Мария слегка вздрогнула, вытерла слезу и снова усердно принялась за работу.

– Стало быть, вы даже в час отдыха не хотите прекратить работу, мой добрый ангел-хранитель! – сказала Мон-Сен-Жан Певунье.

– Но ведь я не дала денег на покупку приданого для ребенка... потому я и должна внести свою долю трудом... – ответила молодая девушка.

– Вашу долю! Господи, твоя воля... Но без вас вместо этого доброго полотна, вместо этой теплой фланели мне пришлось бы закутывать моего малыша в грязные лохмотья, что валяются во дворе... Я очень благодарна моим товаркам, они были так добры ко мне... это правда... но вы! О, вы!.. Как мне все вам высказать? – прибавила несчастная женщина, подбирая слова и силясь получше выразить свою мысль. – Пойдите, – вдруг сказала она, – видите, вон солнце... Не правда ли, вон солнце...

– Да, Мон-Сен-Жан, говорите, я вас слушаю, – ответила Лилия-Мария, наклоняя свою очаровательную головку к безобразному лицу своей собеседницы.

– Господи боже... Да вы станете смеяться надо мной, – с грустью продолжала Мон-Сен-Жан, – я хочу вам получше все сказать... и не знаю как...

– Все равно говорите, говорите.

– У вас такой добрый, такой ангельский взгляд! – проговорила несчастная узница в каком-то восторге. – Он придает мне смелости... Да, у вас такие добрые глаза... Знаете, я все же попробую сказать, что хотела; вон солнце, не так ли? Оно так славно светит и греет, от этого в тюрьме становится все веселее, на него так приятно смотреть и чувствовать его ласковые лучи, правда?

– Конечно...

– Но вот что я думаю... солнце... оно ведь не само появилось на небе, и если я благодарна ему, то я еще больше должна быть благодарна...

– Тому, кто его создал, не правда ли, Мон-Сен-Жан?.. Вы совершенно правы... Ему мы должны молиться, боготворить его... Он – это бог.

– Все так... об этом-то я и думаю! – с радостью воскликнула несчастная. – Все так: я должна благодарить своих товарок, но вам я должна молиться, вас я должна боготворить, Певунья, потому как вы сделали их добрыми ко мне, а ведь раньше-то они были злые.

– Нет, благодарить надо бога, а не меня, Мон-Сен-Жан.

– Нет, нет... вас, вас надо благодарить... я это вижу... Вы были ко мне добры, а уж потом, с вашей помощью, стали добры ко мне и другие.

– Но если я так добра, как вы говорите, Мон-Сен-Жан, то ведь такой меня сделал господь бог, стало быть, его-то и надо благодарить.

– Ах, да, конечно... может, и так... коли вы так говорите, – нерешительно произнесла несчастная узница, – Если вам это приятно... пусть так и будет... в добрый час...

– Да, милая моя Мон-Сен-Жан... молитесь ему почаще... Это будет самым лучшим доказа-

тельством, что вы меня хоть немного любите...

– Люблю ли я вас, Певунья! Боже мой! Боже мой!!! Но разве вы не помните, что вы говорили другим арестанткам, которые хотели меня избить? «Ведь вы не только ее бьете... вы бьете также и ее ребенка...» Так вот!.. То же самое и я скажу: я люблю вас не только за себя, я люблю вас также за моего ребенка...

– Спасибо, большое спасибо, Мон-Сен-Жан, мне доставляют радость ваши слова.

И Лилия-Мария взволнованно протянула руку своей собеседнице.

– Какая у вас красивая маленькая ручка, прямо как у феи!.. До чего она беленькая, до чего крошечная! – воскликнула Мон-Сен-Жан, попятившись; она как будто боялась прикоснуться своими красными и не слишком чистыми руками к этой прелестной руке.

Тем не менее, немного поколебавшись, она почтительно прикоснулась губами к тонким пальчикам Лилии-Марии; затем, внезапно опустившись на колени, она принялась пристально разглядывать ее с глубоким, сосредоточенным вниманием.

– Подойдите ближе и сядьте сюда... рядом со мною, – сказала ей Певунья.

– Ох нет, даже не просите... ни за что... никогда...

– Но почему?

– Дисциплина и уважение, как в свое время говаривал мой brave Мон-Сен-Жан: солдаты сидят отдельно, и офицеры отдельно, каждый со своей ровней.

– Да вы с ума сошли... Между нами нет никакой разницы...

– Никакой разницы... Господи, твоя воля! И вы говорите такое, когда я своими глазами вижу, какая вы есть, вы ведь красивы, как королева; послушайте, ну что вам мешает?.. Позвольте уж мне остаться на коленях, мне так хочется насмотреться на вас, я буду смотреть на вас, как все это время... Конечно... как знать? Хоть я такая некрасивая, настоящее страшилище, может, мой ребеночек будет похож на вас... Говорят, иногда, когда долго смотришь на кого-нибудь... случается и такое.

Потом, повинувшись щепетильности и деликатности, которая могла показаться неправдоподобной в женщине подобного пошиба, видимо, боясь унизить или задеть Лилию-Марию своею странной просьбой, Мон-Сен-Жан печально прибавила:

– Нет, нет, я это в шутку сказала, не бойтесь, Певунья... Я не позволю себе больше глядеть на вас с такой тайной мыслью... если только вы сами мне не разрешите... Мой ребеночек будет таким же безобразным, как я... ну и что из того?.. Я его из-за этого меньше любить не стану: бедный, злосчастный мой малыш, он, как говорится, не просил рожать его... И если он выживет... что с ним будет? – прибавила она с сумрачным и подавленным видом. – Увы! Да... Что будет с ним, господи боже?

При этих, словах Певунья затрепетала.

В самом деле, что ожидало ребенка этой несчастной, униженной женщины, опустившейся, нищей, всеми презираемой?.. Какая судьба была уготована ему?.. Что ожидало его в будущем?!

– Не надо так думать, Мон-Сен-Жан, – возразила Лилия-Мария. – Вы должны уповать на то, что ваш ребенок встретит на своем пути людей добрых и милосердных.

– Ох, во второй-то раз так не повезет, вы уж мне поверьте, Певунья, – с горечью сказала Мон-Сен-Жан, качая головой, – я вот вас встретила... такую, как вы есть... и это такой счастливый случай... И, знаете, не в обиду будь вам сказано, я предпочла бы, чтоб такое счастье выпало не мне, а ему, моему ребеночку. Вот мое заветное желание... и это все, что я могу ему дать.

– Молитесь, усердно молитесь... И бог вас услышит.

– Ладно, я стану молиться, если вам это доставит удовольствие, Певунья, может, это и впрямь принесет мне счастье; правда, я бы никогда не поверила, коли мне сказали бы: вот Волчица тебя колотит, ты для всех, как говорится, козел отпущения, на тебе все зло срываю, а вот найдется такой ангелочек, он спасет тебя, его милый добрый голосок окажется сильнее всех, сильнее самой Волчицы, а кто не знает, до чего она сильная и злая!..

– Так-то оно так, но ведь Волчица стала очень добра к вам, когда она подумала о том, что вас надо жалеть вдвое больше всякой другой.

– Ох, и то правда... Но ведь это благодаря вам, и я этого никогда не забуду... Но скажите

мне, Певунья, почему она, Волчица, на другой же день попросила, чтоб ее перевели в другое отделение тюрьмы... а ведь она, хоть у нее и бывают приступы ярости, вроде бы без вас уже обходиться не могла?

– Да, она немного норовиста...

– Чудно все это... Одна женщина из того отделения тюрьмы, где сейчас сидит Волчица, говорит, что Волчица-то совсем переменялась...

– В чем же она переменялась?

– Она теперь никого не задевает, никому не угрожает, а все сидит такая печальная-печальная... и все прячется по углам; а коли с ней заговаривают, поворачивается спиной и ничего не отвечает... Вот диво-то: она ведь все время орала, а теперь сидит как немая... А потом, та женщина сказала мне еще одну вещь... да только в это я не верю.

– Что ж она сказала?

– Она говорит, что видела, как Волчица плакала... Ну, чтоб Волчица плакала, того быть не может.

– Бедная Волчица! Это из-за меня она решила перейти в другое отделение тюрьмы... Я, сама того не желая, причинила ей горе, – со вздохом сказала Певунья.

– Да как вы могли хоть кому-нибудь причинить горе, вы, мой добрый ангел-хранитель...

В эту минуту надзирательница, г-жа Арман, вошла во внутренний двор тюрьмы.

Поискав глазами Лилию-Марию, она направилась к ней, улыбаясь с довольным видом.

– У меня добрые новости, дитя мое...

– О чем вы говорите, сударыня? – спросила Певунья, вставая.

– Ваши друзья о вас не забыли, они получили разрешение на то, чтобы выпустить вас на волю... Господин начальник тюрьмы только что получил об этом уведомление.

– Возможно ли это, сударыня? Ах, какое счастье! Боже мой!..

Волнение Лилии-Марии было столь сильным, что она побледнела, приложила руку к сильно бьющемуся сердцу и без сил вновь опустилась на скамью.

– Успокойтесь, дитя мое, – сказала ей г-жа Арман ласково, – к счастью, такие потрясения не опасны.

– Ах, сударыня, я так вам благодарна!..

– Без сомнения, это маркиза д'Арвиль добилась вашего освобождения... Там пришла какая-то пожилая дама, ей поручено отвезти вас к особам, которые проявляют к вам большой интерес... Подождите меня, я сейчас вернусь за вами, мне надо только зайти в мастерскую и сказать там несколько слов.

Трудно описать выражение уныния, которое появилось на лице Мон-Сен-Жан, когда та узнала, что ее добрый ангел-хранитель, как она называла Певунью, вот-вот покинет тюрьму.

Горе этой несчастной женщины было вызвано не столько боязнью, что ее опять превратят в козла отпущения другие арестантки, сколько болью от того, что ей придется расстаться с единственным существом, которое впервые проявило какой-то интерес к ее судьбе.

Мон-Сен-Жан, которая по-прежнему сидела возле скамьи, ухватилась обеими руками за космы своих всклокоченных волос, беспорядочно выбивавшихся из-под старого черного чепца, словно хотела их выдернуть с корнем; потом это неистовое проявление горя уступило место изнеможению, голова ее бессильно упала на грудь, и она замерла в неподвижности, не произнося ни слова, как и прежде, закрыв лицо руками и упершись локтями в колени.

Несмотря на ту радость, которую Лилия-Мария ощутила, узнав, что ее выпускают из тюрьмы, она невольно вздрогнула, вспомнив, что Сычиха и Грамотей заставили ее поклясться, что она не будет сообщать своим благодетелям о своей прискорбной судьбе.

Но эти зловещие мысли быстро оставили Лилию-Марию, уступив место радостной надежде вновь увидеть Букеваль, г-жу Жорж, Родольфа, которому она хотела рассказать о Волчице и Марсиале и попросить помочь им; теперь ей даже казалось, что восторженное чувство, которое она испытывала к своему благодетелю, чувство, за которое она корила себя, не будучи подогреваемо горем и одиночеством, уляжется, как только она вновь вернется к своим мирным сельским занятиям, которые ей так нравилось делить со славными и простыми обитателями фермы.

Удивленная молчанием своей соседки по заключению, молчанием, о причинах которого она и не подозревала, Певунья слегка притронулась к плечу несчастной арестантки и сказала:

– Мон-Сен-Жан, коль скоро я выхожу на волю... не могу ли я быть вам чем-нибудь полезна?

Почувствовав прикосновение руки Певуньи, несчастная арестантка вздрогнула всем телом, уронила руки на колени и повернула к молодой девушке свое лицо, залитое слезами.

Такое сильное горе выражало это лицо, что Мон-Сен-Жан даже перестала казаться дурнушкой.

– Боже мой... что с вами? – спросила Певунья. – Отчего вы так горько плачете?

– Ведь вы, вы уходите! – прошептала несчастная, и голос ее прервался от рыданий. – А я как-то и думать забыла, что раньше или позже наступит такой день, когда вы выйдете на свободу... и я вас больше никогда... никогда не увижу... ни разочка...

– Поверьте, я всегда буду помнить о вашей дружбе, Мон-Сен-Жан.

– Господи боже, господи боже!.. Подумать только, ведь я вас уже так полюбила... Когда я вот тут сидела, у ваших ног, прямо на земле... мне казалось, что я спасена... что мне больше нечего бояться. Я говорю все это совсем не потому, что другие арестантки, может, снова начнут награждать меня тумаками, я к этому привыкла, жизнь у меня всегда была нелегкая... Но мне под конец стало казаться, что мне повезло, когда я встретилась с вами, что вы принесете счастье моему ребеночку, уже потому только, что вы сжалились надо мной... Знаете, это сущая правда: когда ты привык к тому, что с тобой дурно обращаются, ты больше, чем другие, ценишь доброту... – Новый взрыв рыданий прервал ее речь, потом она воскликнула: – Ладно, все кончено... в самом деле... Ведь это должно было случиться не сегодня, так завтра... Я сама виновата, что думать об этом забыла... Все кончено... Ничего больше не осталось... ничего...

– Ну что вы! Мужайтесь, я буду вспоминать о вас так же, как и вы обо мне.

– Ох, тут уж нечего говорить: пусть меня режут на куски, но я от вас вовек не отступлюсь и никогда вас не забуду! Даже когда стану старой-престарой, все равно у меня перед глазами будет стоять ваше красивое ангельское личико. Первое, чему я научу своего ребеночка, – это произносить ваше имя, Певунья, потому как он только по вашей милости не помрет от холода...

– Послушайте, Мон-Сен-Жан, – сказала Лилия-Мария, глубоко тронутая привязанностью несчастной арестантки, – я не могу ничего обещать для вас самой... хоть я и знакома с очень милосердными людьми; но для вашего ребенка... Это дело другое... Он-то ведь ни в чем не виноват, и люди, о которых я вам только что сказала, быть может, захотят взять его на воспитание, если только вы согласитесь с ним разлучиться...

– Мне с ним разлучиться?.. Никогда, нет, никогда! – воскликнула Мон-Сен-Жан с необыкновенным волнением. – Что же тогда со мной будет, ведь я уже так к нему привязалась.

– Но... как вы сумеете вырастить и воспитать его? Неважно, кто у вас родится – девочка или мальчик, надо, чтобы ваш ребенок вырос честным, а для этого...

– Надо, чтобы он ел честно заработанный хлеб, не так ли, Певунья? Я и сама об этом думаю, в том теперь вся моя гордость; я всякий день говорю себе: когда выйду отсюда на волю, ни за что больше не примусь за прежнее занятие, не стану под мостом стоять... Лучше уж стану тряпичницей, пойду улицы подметать, но зато буду честной; я должна так поступить если не для себя, то для моего ребеночка, коли уж мне выпала честь родить его... – прибавила Мон-Сен-Жан с гордым видом.

– А кто станет присматривать за ребенком, когда вы на работу уйдете? – спросила Певунья. – Не лучше ли будет, если, как я надеюсь, это окажется возможным, отдать его на воспитание добрым людям, живущим в деревне? Девочка вырастет хорошей работницей на ферме, а мальчик сделается хорошим землепашцем. А вы время от времени будете навещать своего ребенка, и в один прекрасный день вам, может, удастся забрать его к себе или поселиться с ним: в деревне ведь жизнь такая дешевая!

– Но как же мне с ним разлучиться, как мне с ним разлучиться?! Ведь он будет моей единственной радостью, больше-то меня никто на свете не любит!

– Надо больше думать о ребенке, а не о себе, бедная вы моя Мон-Сен-Жан; дня через два

или три я напишу госпоже Арман, и, если моя просьба по поводу вашего ребенка увенчается успехом, вам не придется больше говорить, думая о нем, так, как вы недавно говорили, что меня очень опечалило: «Увы, господи боже, что станется с моим ребеночком?»

Надзирательница, г-жа Арман, прервала разговор двух узниц; она пришла за Лилией-Марией.

Мон-Сен-Жан снова разразилась рыданиями и оросила горячими слезами руки молодой девушки; потом она упала на скамью и застыла в тупом оцепенении, даже не думая о том, что Лилия-Мария только что пообещала ей позаботиться о ребенке.

– Бедное создание! – воскликнула г-жа Арман, выходя из внутреннего двора тюрьмы вместе с Лилией-Марией. – Ее глубокая признательность к вам заставила меня переменить к лучшему свое мнение о ней самой.

Узнав об освобождении Певуньи, другие арестантки не только не завидовали тому, что ей так повезло, но, напротив, радовались за нее; несколько женщин окружили Лилию-Марию и сердечно распрощались с нею, от чистого сердца поздравляя ее с тем, что она так скоро выходит на волю.

– Что ни говори, – заметила одна из арестанток, – а эта молоденькая блондиночка заставила нас пережить немного радости... когда мы раскошелились на приданое для ребеночка Мон-Сен-Жан. В тюрьме долго будут об этом вспоминать.

Когда Лилия-Мария в сопровождении надзирательницы покинула здание тюрьмы, г-жа Арман сказал ей:

– Теперь, дитя мое, ступайте на склад, сдайте там арестантскую одежду и опять наденьте ваше платье, платье крестьяночки, оно хоть и простенькое, но так вам к лицу; прощайте, я уверена, что вы будете счастливы, ведь вам покровительствуют люди почтенные, достойные всяческого уважения, и вы теперь покидаете наше заведение, с тем чтобы больше никогда сюда не вернуться... Но... смотрите-ка... кажется, я совсем расчувствовалась, – продолжала г-жа Арман, чьи глаза наполнились слезами, – я не в силах скрыть, до чего я к вам привязалась, милая вы моя девочка! – Заметив, что и у Лилии-Марии глаза увлажнились, надзирательница прибавила: – Надеюсь, вы на меня не сердитесь, что я невольно опечалила вас перед самым освобождением?

– Ах, сударыня... разве не благодаря вашему хорошему отзыву обо мне молодая знатная дама, которой я обязана своей свободой, проявила интерес к моей судьбе?!

– Да, и я просто счастлива, что я так поступила; предчувствие меня не обмануло...

В эту минуту зазвонил колокол.

– Работа в мастерских опять начинается, мне надо спешить туда... Прощайте, еще раз прощайте, милое мое дитя!..

И г-жа Арман, взволнованная не меньше, чем Певунья, нежно обняла молодую девушку; затем она приказала одному из тюремных служащих:

– Проводите барышню на вещевой склад.

Через четверть часа Лилия-Мария, одетая в то самое крестьянское платье, в котором мы видели ее на ферме в Букевале, входила в тюремную канцелярию, где ее ждала г-жа Серафен.

Экономка Жака Феррана приехала за несчастной девочкой, чтобы отвезти ее на остров Черпальщика.

Глава XI ВОСПОМИНАНИЯ

Жак Ферран легко и быстро добился освобождения Лилии-Марии из тюрьмы, ибо для этого нужно было простое административное распоряжение.

Узнав от Сычихи, что Певунья находится в тюрьме Сен-Лазар, он немедленно обратился к одному из своих постоянных клиентов, человеку весьма уважаемому и влиятельному, и сказал тому, что некая молодая девушка, поначалу сбившаяся с пути, но теперь искренне раскаявшаяся, заключена в тюрьму Сен-Лазар, и потому возникла опасность, что, общаясь с другими арестантками, она может поколебаться в принятом ею благоразумном решении. Об этой юной девице

весьма похвально отзываются люди весьма уважаемые, которые хотят заняться ее судьбой, после того как она выйдет из тюрьмы, прибавил Жак Ферран. А потому он очень просит своего высокопочтенного и влиятельного клиента, просит во имя нравственности и религии, а также для того, чтобы эта несчастная ступила на стезю добродетели, добиться ее освобождения.

Наконец, нотариус, стремясь обеспечить себе безопасность на случай последующих разысканий, настоятельно и убедительно просил своего клиента не упоминать, что именно он, Жак Ферран, умолял его совершить это благое дело; просьба эта, приписанная скромности нотариуса в вопросах благотворительности, ибо он был известен, как человек благочестивый и весьма почтенный, была строжайшим образом выполнена: с просьбой об освобождении Лилии-Марии упомянутый выше клиент нотариуса обратился от своего имени; добившись этого, он послал Жаку Феррану распоряжение выпустить на свободу Певунью, с тем чтобы тот переслал его покровителям молодой девушки.

Вручив бумагу начальнику тюрьмы, г-жа Серафен прибавила, что ей поручено проводить Певунью в дом тех людей, что принимают участие в ее судьбе.

После прекрасного отзыва о Лилии-Марии, который надзирательница дала маркизе д'Арвиль, в тюрьме никто не сомневался, что юная арестантка обязана своим освобождением именно вмешательству маркизы.

Так что домоправительница нотариуса не могла никоим образом вызвать недоверие у своей жертвы.

Госпожа Серафен, как и приличествовало обстоятельствам, изо всех сил старалась походить на добрую женщину; надо было быть очень опытным наблюдателем, чтобы разглядеть скрытое коварство, фальшь и жестокость, которые таились под ее лицемерной улыбкой и в ее вкрадчивом взгляде.

Несмотря на всю свою злодейскую сущность, которая сделала г-жу Серафен доверенным лицом и сообщницей во всех преступлениях ее хозяина, она против воли была поражена трогательной красотой и прелестью юной девушки, которую сама же, когда та была ребенком, предала в руки Сычихи... и которую теперь вела на верную гибель...

– Ну что ж, милая барышня, – сказала г-жа Серафен медоточивым голосом, – вы, должно быть, очень довольны, что выходите на волю из тюрьмы?

– О да, сударыня, и я, без сомнения, обязана этим покровительству госпожи д'Арвиль, которая была ко мне так добра...

– Вы не ошиблись... но идемте... мы и так уже задержались... а дорога у нас впереди не близкая.

– Мы ведь поедem на ферму в Букеваль, к госпоже Жорж, не так ли, сударыня? – спросила Певунья.

– Да... разумеется, мы поедem в деревню... к госпоже Жорж, – ответила экономка нотариуса, стремясь не допустить и тени сомнения у Лилии-Марии. Затем она прибавила, придав своему лицу выражение лукавого добродушия; – Но это еще не все... Прежде чем вы свидитесь с госпожой Жорж, вас ожидает небольшой сюрприз; идемте... там, внизу, нас ждет фиакр... Какой вздох облегчения вырвется из вашей груди, когда вы выйдете отсюда на волю... милая барышня!.. Ну, пошли, пошли... Ваша покорная слуга, господина.

И г-жа Серафен, поклонившись письмоводителю и его помощнику, вышла из канцелярии вместе с Певуньей.

Их сопровождал тюремный сторож, которому было поручено отворять ворота.

Когда последние ворота закрылись за обеими женщинами, они оказались в широком проходе, выходящем на улицу Фобур-Сен-Дени; и тут они столкнулись с молодой девушкой, которая, без сомнения, спешила на свидание с кем-то из заключенных.

Это была Хохотушка... Хохотушка, как всегда быстрая и проворная; простенький, хотя и кокетливый, свежeweглаженный чепец, украшенный лентами вишневого цвета; которые так чудесно подходили к ее гладко причесанным на пробор черным волосам, необыкновенно мило обрамлял ее красивую мордашку; белоснежный воротник ниспадал на длинное коричневое платье из шотландки. На руке у нее висела соломенная сумка; благодаря ее легкой и осторожной поход-

ке ботинки со шнуровкой на толстой подошве были совсем чистые, хотя она пришла, увы, изда- лека.

– Хохотушка! – воскликнула Лилия-Мария, узнав свою старинную подружку по заключе- нию¹⁷ и по загородным прогулкам.

– Певунья! – в свою очередь вскричала гризетка.

И обе юные девушки бросились в объятия друг к другу.

Трудно было бы представить себе более очаровательное зрелище, чем нежная встреча этих двух столь непохожих внешне девушек, которым едва исполнилось шестнадцать лет: обе были прелестны, хотя и лица и красота у них были различные.

Одна – блондинка с огромными печальными глазами, с профилем редкой чистоты, с чуть побледневшим в тюрьме лицом, немного грустным, но ставшим за последнее время более одухо- творенным; она походила на одну из тех очаровательных поселенок Грёза, которые отличаются удивительно свежим колоритом и почти прозрачным ликом... словом, то было невыразимое со- четание мечтательности, доброты и грации...

Другая – пикантная брюнетка, с круглыми румяными щечками, красивыми черными глаза- ми, простодушным смехом, оживленной физиономией; она являла собою восхитительный образ юности, беззаботной и веселой, редкий и трогательный образец доброты и снисходительности, глубокой порядочности, сохраненной несмотря на трудную жизнь, и радости, не уничтоженной ежедневным нелегким трудом.

Обменявшись невинными ласками, обе подружки теперь не отрываясь смотрели одна на другую.

Хохотушка просто сияла, обрадованная этой встречей... Певунья была явно смущена.

При виде Хохотушки Певунья вспомнила о тех редких счастливых и покойных днях, кото- рые предшествовали ее первому грехопадению.

– Так это ты... какая радость! – восклицала гризетка.

– Боже мой, ну конечно, какая приятная неожиданность!.. Мы так давно не виделись с то- бой... – отвечала Певунья.

– Ах, теперь я больше не удивляюсь тому, что уже полгода не встречала тебя... – снова за- говорила Хохотушка, заметив, что Певунья одета как крестьяночка. – Ты, стало быть, живешь в деревне?

– Да... с некоторых пор, – ответила Лилия-Мария, опуская глаза.

– И ты, как и я, навещала кого-то в тюрьме?

– Да... я приходила... я только что повидала кое-кого, – ответила Лилия-Мария, запинаясь и покраснев от стыда.

– А теперь возвращаешься к себе? Должно быть, это далеко от Парижа? Миленькая ты моя Певунья... ты все такая же добрая, я узнаю твой нрав... Помнишь ту бедную женщину, что ро- жала, а ты отдала ей свой тюфяк, белье и те деньги, что у тебя оставались, а ведь мы собирались потратить их в деревне... Ты уже тогда бредила деревней, дорогая моя поселяночка.

– А ты не больно-то любила деревню, Хохотушка; но по доброте сердечной ради меня ез- дила со мною за город.

– Нет, и для себя тоже... потому что ты всегда была такая серьезная, но стоило тебе по- пасть в лес или на лужок, и ты становилась такой счастливой, такой веселой, такой сумасброд- ной, что при одном взгляде на тебя я испытывала огромное удовольствие!.. Но позволь еще по- глядеть на тебя. Как тебе идет этот красивый круглый чепец! Ты в нем просто прелесть! В самом деле тебе на роду написано ходить в чепчике поселянки, а мне – в чепчике гризетки. Значит, ты живешь теперь так, как тебе хотелось, и должна быть довольна своей судьбой... Впрочем, меня это не удивляет... Когда я перестала тебя встречать, я подумала: «Моя милая, славная Певунья

¹⁷ Читатель, быть может, помнит, что, рассказывая о первых годах своей жизни Родольфу, во время их разговора в кабачке Людоедки, Певунья упоминала о Хохотушке, которая, будучи таким же заброшенным и бездомным ребен- ком, как она сама, жила вместе с нею до пятнадцати лет в исправительном доме. (Примеч. автора)

не создана для жизни в столице, ведь она настоящий лесной цветок, как в песне поется, а такие цветы в Париже не приживаются, тамошний воздух для них вреден... Так что Певунья, должно быть, нашла себе приют у каких-нибудь добрых людей в деревне». Ведь так оно и получилось, не правда ли?

– Да... – ответила Лилия-Мария, вновь покраснев.

– Но только... я в одном должна тебя упрекнуть.

– Меня? А в чем?

– Ты должна была меня предупредить... ведь так, сразу, не расстаются... ты бы хоть весточку о себе подала.

– Я... я уехала из Парижа так поспешно, – ответила Певунья, смущаясь все больше и больше, – что просто не могла...

– О, я на тебя не сержусь, я слишком рада тому, что снова вижу тебя... В самом деле, ты правильно поступила, уехав из Парижа, знаешь, тут так трудно жить спокойно; я уж не говорю, что бедная и одинокая девушка, такая, как мы с тобой, может, сама того не желая, пойти по дурной дорожке... Когда тебе даже посоветоваться не с кем... и заступиться за тебя некому... а мужчины все время обещают тебе золотые горы; ну, и бедность, сама знаешь, иногда бывает так трудно сносить... Послушай, ты помнишь эту миленькую Жюли, она была такая хорошенькая? И Розину помнишь, блондинку с черными глазами?

– Да... я их обеих помню.

– Так вот, милая моя Певунья! Их обеих обманули, а потом бросили, и, переходя от одной беды к другой, они в конце концов опустили и стали такими дурными женщинами, каких держат в этой тюрьме...

– Ах, боже мой! – воскликнула Лилия-Мария; она густо покраснела и опустила голову.

Хохотушка, не поняв истинной причины этого возгласа своей подружки, продолжала:

– Они, конечно, виноваты и, если хочешь, достойны презрения, не спорю; но, видишь ли, добрая моя Певунья, нам с тобой выпало счастье остаться порядочными и честными: тебе – потому что ты поселилась в деревне в обществе славных крестьян, а мне – потому что у меня просто времени не было заниматься любовными интрижками... Обоителям я предпочитала моих птиц, и вся моя отрада состояла в том, что, прилежно трудясь, я могла, поселиться в очень миленькой квартирке... Нельзя быть слишком строгими к другим; господи боже, кто знает... может, несчастный случай, низкий обман или нищета во многом объясняют дурное поведение Розины и Жюли... и, окажись мы на их месте, мы ведь тоже могли бы поступить как они!..

– О, я их совсем не обвиняю... – с горечью сказала Лилия-Мария. – Мне их очень жаль...

– Ну ладно, ладно, мы ведь очень спешим, милая барышня, – сказала г-жа Серафен, нетерпеливо протягивая руку к своей жертве.

– Сударыня, позвольте нам побыть еще немного вместе, я ведь так давно не видела мою милую Певунью, – жалобно сказала Хохотушка.

– Так ведь уже поздно, девочки мои; уже три часа, а путь нам предстоит долгий, – ответила г-жа Серафен, весьма недовольная встречей двух подружек; потом она прибавила: – Ладно, я даю вам еще десять минут...

– Ну а ты, – сказала Лилия-Мария, беря руки Хохотушки в свои, – у тебя ведь такой легкий характер; ты по-прежнему весела? По-прежнему всем довольна?..

– Еще несколько дней назад я была и весела и довольна, но сейчас...

– У тебя какое-нибудь горе?

– У меня? Ах да, ты ведь меня хорошо знаешь... я всегда была беззаботна и весела... И нрав у меня не переменялся, но, к несчастью, не все люди такие, как я... И коли у других горе, то я горюю вместе с ними.

– Ты все такая же добрая...

– А как же иначе!.. Представь себе, я прихожу сюда повидать одну бедную девушку, мою соседку... она кроткая, как овечка, а ее несправедливо обвиняют, и, знаешь, мне так ее жаль; зовут ее Луиза Морель, она дочка честного и порядочного работника, он даже помешался, так сильно горевал.

При имени Луизы Морель, одной из жертв нотариуса, г-жа Серафен вздрогнула и внимательно посмотрела на Хохотушку.

Лицо гризетки ей было совсем незнакомо; тем не менее экономка Жака Феррана стала внимательно прислушиваться к разговору обеих девушек.

– Бедняжка! – воскликнула Певунья. – Как она, должно быть, рада, что ты не позабыла ее в беде!

– Но это еще не все, просто какое-то злосчастное невезение; ведь сюда я пришла издалека... и была я в другой тюрьме... в мужской...

– Ты ходила в мужскую тюрьму?

– Ах господи, да, там у меня есть еще один подопечный, и он все время грустит... вот видишь мою соломенную сумку (и Хохотушка показала ее подруге), так я разделила ее на две половинки, и каждая половинка для одного из них: нынче я принесла Луизе немного чистого белья, а перед тем кое-что отнесла бедному Жермену... моего подопечного так зовут; послушай, как только я вспоминаю, что у меня сегодня там произошло, мне плакать хочется... Это глупо, я и сама понимаю, что плакать там нельзя, но я уж так устроена.

– А почему тебе плакать хочется?

– Понимаешь, Жермен до того убивается, что его посадили в тюрьму вместе со злоумышленниками, он до того подавлен, что ему все не мило, он совсем ничего не ест и тает прямо на глазах... Я это заметила и подумала: «У него вовсе нет аппетита, сделаю-ка я ему какое-нибудь лакомство из тех, что ему так нравились, когда мы еще были соседями, может, оно ему и тут по вкусу придется...» Когда я говорю «лакомство», ты не подумай, что это какая-нибудь диковинка, просто я купила спелые желтые яблоки, протерла их с сахаром и молока прибавила; все это я налила в очень хорошенькую чашку, чистую-пречистую, и отнесла ему в тюрьму, я сказала, что сама приготовила это кушанье, потому как то было его любимое блюдо, прежде, когда было все хорошо, понимаешь? Я думала, он хоть немного поест... Ну, так вот...

– Что же случилось?

– Есть ему все равно не захотелось, но он вдруг как расплачется, когда узнал эту чашку, я из нее часто пила при нем молоко, и у него ручьем полились слезы... а ко всему еще я и сама, как ни сдерживалась, под конец разревелась. Видишь, как мне не везет: хотела сделать как лучше... утешить его, а еще больше опечалила.

– Да, но знаешь, должно быть, эти слезы были ему приятны!

– Все равно, мне-то ведь хотелось его хоть немного утешить! Но я тебе рассказываю о нем, а толком не объяснила, кто он такой; это мой бывший сосед... он самый честный и порядочный человек на свете, такой мягкий, такой робкий, ну совсем как девушка; я всегда любила его как верного товарища, как брата.

– О, теперь я понимаю, почему его горе стало и твоим горем.

– Еще бы! Но сейчас ты поймешь, какое у него доброе сердце. Я уже собиралась уходить и, как всегда, спросила у него, какие будут поручения, а чтобы его немного развеселить, прибавила, что я ведь теперь веду его хозяйство и стараюсь быть прилежной и аккуратной, чтобы сохранить за собой это место. И тогда он, улыбнувшись через силу, попросил меня принести ему тот роман Вальтера Скотта, который он мне когда-то читал по вечерам, пока я работала; роман этот называется «Айвен...», «Айвенго», да, да, именно так. Я очень любила эту книгу, и он дважды прочел ее мне вслух... Бедный Жермен! Он ведь был такой внимательный и услужливый...

– Ему хотелось вспомнить о той счастливой поре его жизни...

– Конечно, потому он и попросил меня пойти в тот же самый кабинет для чтения, но не брать там на время, а купить для него те несколько томиков, которые он читал мне вслух... Да, именно купить... А ты сама посуди, какая это для него жертва, ведь он так же беден, как мы с тобой.

– Да, у него чудесное сердце! – с волнением воскликнула Певунья.

– Видишь, и тебя это растрогало, как и меня, когда он попросил меня об этом, миленькая моя Певунья. Но, понимаешь, чем больше мне хотелось расплакаться, тем старательнее я улыбалась, потому как разреветься во время посещения заключенного, которого ты хотела развеселе-

лить, – это уж слишком!.. И вот, чтобы скрыть подступавшие слезы, я стала вспоминать разные смешные положения, в какие попадал старик еврей, один из персонажей этого романа; в свое время они нас обоих очень забавляли... Но чем больше я говорила, тем печальнее он смотрел на меня, а в глазах у него стояли большие-пребольшие слезы. Ну и конечно же, сердце у меня просто разрывалось; я изо всех сил удерживала слезы, но через четверть часа и сама расплакалась; когда мы прощались, он разрыдался, а я мысленно твердила себе, сердясь на собственную глупость: «Если я так и дальше буду утешать и веселить его, то мне незачем к нему приходить, а ведь я все время обещаю самой себе, что заставлю его смеяться». И видишь, что получается на деле!

При имени Жермена, другой жертвы нотариуса, г-жа Серафен наострила уши.

– А что он такого натворил, этот молодой человек? Почему его упрятали в тюрьму? – спросила Лилия-Мария.

– Он! – воскликнула Хохотушка, мгновенно переходя от умиления к негодованию. – Он-то ничего дурного не сделал, но его преследует один старый изверг, нотариус... Тот самый, что засадил в тюрьму и Луизу.

– Ту самую Луизу, которую ты сегодня навещала?

– Вот именно; она была служанкой у нотариуса, а Жермен был у него кассиром... Слишком долго тебе рассказывать, в чем этот человек несправедливо обвиняет Жермена... Но одно я могу тебе твердо сказать: этот злодей точно взбесился и терзает несчастных Луизу и Жермена, а ведь они не сделали ему ничего дурного... Но немного терпения – и каждый еще получит по заслугам...

Хохотушка произнесла последние слова с таким выражением лица, что г-жа Серафен встревожилась. До сих пор она не вмешивалась в разговор девушек, но тут вдруг сказала Лилии-Марии вкрадчивым голосом:

– Милая барышня, уже поздно, нам пора идти... нас ведь ждут. Я понимаю, что рассказ вашей подружки вас сильно занимает, ибо я сама, хоть и не знаю ни юной девушки, ни молодого человека, о которых идет речь, сильно огорчена. Господи боже! Неужели возможно, что есть такие злобные люди! А как, кстати., зовут этого мерзкого нотариуса, о котором вы говорили, барышня?

У Хохотушки не было причин опасаться г-жи Серафен. Тем не менее, помня о настоятельных советах Родольфа, который велел ей соблюдать особую сдержанность и никому не говорить о том, что он тайно покровительствует Жермену и Луизе, девушка пожалела, что у нее вырвались слова: «Немного терпения – и каждый еще получит по заслугам».

– Этого злого человека зовут Жак Ферран, сударыня, – ответила Хохотушка и, чтобы поправить некоторую свою нескромность, весьма ловко прибавила: – И с его стороны особенно дурно мучить Луизу и Жермена, потому что никому до них дела нет... кроме меня... ну, а я – то что могу для них сделать?!

– Беда, да и только! – воскликнула г-жа Серафен. – А я было подумала, когда вы сказали: «Немного терпения...», что вы надеетесь на какого-нибудь покровителя, который пришел бы на помощь несчастным и защитил бы их от этого злодея-нотариуса.

– Увы, вовсе нет, сударыня, – прибавила Хохотушка, чтобы окончательно рассеять подозрения, возникшие у г-жи Серафен, – сами подумайте, кто будет настолько великодушен, чтобы встать на сторону этих злосчастных молодых людей и выступить против такого богатого и влиятельного человека, как этот господин Ферран?

– О, есть люди достаточно великодушные, чтобы встать на их защиту! – воскликнула Певунья после недолгого размышления, и в голосе ее прозвучала с трудом сдерживаемая восторженность. – Да, я знаю человека, который считает своим долгом защищать тех, кто страдает, и человек, о котором я говорю, надежный защитник людей честных и грозный противник злодеев.

Хохотушка с удивлением поглядела на Певунью; она уже собиралась сказать, подумав о Родольфе, что она тоже знает человека, который смело принимает сторону слабого против сильного; но, продолжая следовать советам своего соседа (она ведь так называла принца Родольфа), гризетка ответила своей подружке:

– Правда? Ты знаешь такого великодушного человека, который готов прийти на помощь бедным людям?

– Да, знаю... и хотя я уже прибегала к его жалости и к его благотворительности, умоляя помочь некоторым людям, я уверена, что, если бы он только знал о незаслуженном несчастье Луизы и господина Жермена... он бы спас их и покарал их преследователя... потому что его доброта и его справедливость так же неисчерпаемы, как у самого господина бога...

Госпожа Серафен с изумлением посмотрела на свою жертву.

– Эта девочка, видно, гораздо опаснее, чем мы думали! – прошептала она. – И если бы мне было позволено проявить к ней жалость, то ее слова делают неизбежным «несчастный случай», который должен нас от нее избавить.

– Миленькая Певунья, раз у тебя есть такой добрый знакомый, умоляю тебя, попроси его помочь моей славной Луизе и моему Жермену, потому как они не заслужили своего печального удела, – сказала Хохотушка, подумав, что ее друзья только выиграют, если вместо одного защитника у них будет два.

– Будь спокойна, обещаю тебе сделать все, что смогу, для твоих подопечных; я расскажу о них господину Родольфу, – проговорила Лилия-Мария.

– Господину Родольфу?! – с нескрываемым удивлением воскликнула Хохотушка.

– Именно ему, – ответила Певунья.

– Какому господину Родольфу?.. Коммивояжеру?

– Я не знаю, чем он занимается... Но почему ты так удивилась?

– Потому что я тоже знаю одного господина Родольфа.

– Быть может, этот не тот, кого я знаю.

– Поглядим. Расскажи мне о своем: каков он на вид.

– Он молодой!..

– Мой тоже.

– Лицо у него такое благородное и доброе...

– И у моего тоже... Но, господи, твой совсем такой, как и мой! – вскричала Хохотушка, все больше и больше удивляясь.

Потом она прибавила:

– Он что, брюнет с маленькими усиками?

– Да.

– Скажи, наконец, он такой высокий и худощавый?.. И у него такая гибкая талия... и вид у него совсем такой, как нужно... для коммивояжера... Ну как, похож твой на моего?

– Нет сомнения, этот тот самый, – сказала Певунья. – Только одно вот меня удивляет: почему ты думаешь, что он коммивояжер?

– Ну, что до этого, то я уверена... он мне сам сказал.

– Так ты с ним знакома?

– Знакома ли я с ним? Да ведь он мой сосед.

– Кто? Господин Родольф?

– Его комната находится на пятом этаже, рядом с моей.

– Его комната?.. Его?..

– А что тут удивительного? Все очень просто; он ведь зарабатывает всего тысячу пятьсот или тысячу восемьсот франков в год; и поэтому может снимать только недорогое жилье... Правда, образцом бережливости его не назовешь, он даже толком не знает, во что обходится его платье... Вот каков мой любезный сосед...

– Нет, нет, это не тот... – сказала Лилия-Мария после некоторого раздумья.

– Ах так? А что твой – чудо какой бережливый?

– Видишь ли, Хохотушка, тот, о котором я тебе говорю, – сказала Лилия-Мария с восторгом, – такой всеильный... все произносят его имя с любовью и почтением... даже его внешность волнует и подавляет... Так и хочется опуститься перед ним на колени, до того он добр и величествен...

– Ну, тогда я не знаю, милая Певунья; пожалуй, я, как и ты, скажу: это не тот; мой госпо-

дин Родольф и не всесилен, и вовсе не подавляет; он просто очень славный малый, всегда веселый, и на колени перед ним никто не становится; напротив, он совсем простой, потому что предложил даже помочь натереть пол у меня в комнате, я уж не говорю о том, что он собирался пригласить меня на воскресную прогулку... Так что, сама видишь, никакой он не знатный человек. Но о чем только я говорю! Как ты понимаешь, мне сейчас не до прогулок! И Луиза, и мой бедный Жермен в тюрьме, и, пока они не выйдут на волю, никаких развлечений у меня не будет.

Вот уже несколько мгновений Лилия-Мария о чем-то напряженно думала: она вдруг припомнила, что, когда впервые познакомилась с Родольфом в кабачке Людоедки, и вид его, и речь были совсем такие, как у завсегдатаев низкопробных кабаков. А может быть, он играл перед Хохотушкой роль коммивояжера?

Но для чего ему надо было так преображаться?

Видя, что Певунья задумалась, гризетка снова заговорила:

– Не ломай надо всем этим голову, милая моя Певунья: раньше или позже мы непременно узнаем, знакомы ли мы с одним и тем же господином Родольфом; когда ты увидишь своего, заговори с ним обо мне, а когда я увижу моего, спрошу его о тебе; таким образом мы сразу же узнаем, один и тот же это человек или нет.

– А где ты живешь, Хохотушка?

– На улице Тампль, в доме номер семнадцать.

«Вот что весьма странно и что нужно непременно разузнать, – подумала г-жа Серафен, внимательно прислушивавшаяся к разговору подружек. – Этот таинственный и всесильный господин Родольф, который выдает себя за коммивояжера, живет по соседству с этой молоденькой работницей; кстати, она, как видно, знает гораздо больше, чем говорит; и этот защитник угнетенных живет также в одном доме с Морелем и Брадаманти... Ладно, ладно, если гризетка и мнимый коммивояжер будут впредь мешаться в дела, которые их не касаются, мы будем знать, где их найти».

– Как только я поговорю с господином Родольфом, я тебе напишу, – сказала Певунья, – и сообщу свой адрес, чтобы ты могла мне ответить; но повтори мне твой адрес, боюсь, что я его не запомнила.

– Постой-ка, а ведь у меня с собой как раз те карточки, которые я оставляю своим клиентам, – сказала Хохотушка, протягивая Лилии-Марии маленькую карточку, на которой великолепным круглым почерком было написано: «Мадемуазель Хохотушка, модистка, улица Тампль, дом номер семнадцать». – Написано так, будто отпечатано в типографии, правда? – прибавила гризетка. – Это еще бедный Жермен написал их для меня, эти карточки, в лучшие времена. Господи, какой он был добрый, какой внимательный!.. Послушай, могут сказать, что я, как нарочно, заметила и оценила все его достоинства только теперь, когда он так несчастен... И сейчас я все время упрекаю себя, что так долго ждала, чтобы полюбить его...

– Стало быть, ты его любишь?

– Ах, бог мой, конечно, люблю!.. Должен же у меня быть повод для того, чтобы приходить к нему в тюрьму... Согласись, что я странное существо, – прибавила Хохотушка, подавляя вздох и смеясь сквозь слезы, как сказал поэт.

– Ты, как и прежде, добра и великодушна, – сказала Певунья, нежно пожимая руки своей подружки.

Госпожа Серафен, без сомнения, сочла, что уже достаточно много узнала из разговора двух девушек; поэтому она довольно резко сказала Лилии-Марии:

– Идемте, идемте, милая барышня, нам пора; уже поздно, а мы и так потеряли добрых четверть часа.

– Какая она брюзга, эта старуха!.. Не нравится мне ее лицо, – чуть слышно сказала Хохотушка Певунье. Затем, уже громко, она прибавила: – Когда ты опять попадешь в Париж, милая моя Певунья, не забудь обо мне: твой приход доставит мне такое удовольствие! Я буду просто счастлива провести с тобой целый день, покажу тебе мое гнездышко, мою комнату, моих птишек!.. Да, у меня есть певчие птички... это моя роскошь.

– Я постараюсь приехать и повидать тебя, но в любом случае напишу тебе; ну ладно, Хохо-

тушка, прощай, прощай... Если б ты только знала, как я рада, что встретила тебя!

– Я тоже... но, надеюсь, видимся мы не в последний раз, а потом мне не терпится узнать, тот ли самый человек твой господин Родольф или другой... Напиши мне об этом поскорее, прошу тебя.

– Да, да, напишу... Прощай, Хохотушка.

– Прощай, моя миленькая, моя славная Певунья.

И юные девушки снова нежно обнялись, стараясь скрыть свое волнение.

Хохотушка направилась в тюрьму, чтобы проведать Луизу; она могла это сделать благодаря разрешению, которое получил для нее Родольф.

Лилия-Мария поднялась в фиакр вместе с г-жой Серафен, которая приказала кучеру ехать в Батиньоле и высадить их у заставы.

Короткая проселочная дорога вела от этого места почти прямо к берегу Сены, неподалеку от острова Черпальщика.

Лилия-Мария не знала Парижа и потому не могла заметить, что экипаж ехал по совсем другой дороге, чем та, что вела к заставе Сен-Дени. Только когда фиакр остановился в Батиньоле, она сказала г-жа Серафен, предложившей ей выйти из экипажа:

– Но мне кажется, сударыня, что это не та дорога, что ведет в Букеваль... А потом, как же мы дойдем пешком отсюда до фермы?

– Я только одно могу вам сказать, милая барышня, – с напускной сердечностью ответила экономка нотариуса. – Я выполняю распоряжения ваших благодетелей... и вы их очень огорчите, если не решитесь последовать за мною.

– О, сударыня, не думайте так, пожалуйста! – воскликнула Певунья. – Вы посланы ими, и я не вправе ни о чем спрашивать... Я слепо пойду вслед за вами; вы мне только скажите, хорошо ли себя чувствует госпожа Жорж?

– Как нельзя лучше!

– А господин Родольф?

– Он себя чувствует тоже превосходно.

– Значит, вы его знаете, сударыня? Но только что, когда я говорила о нем с Хохотушкой, вы не проронили об этом ни слова.

– Потому что я не должна была ничего говорить... Вам понятно? Мне даны строгие приказания...

– Это он вам их дал?

– До чего ж она любопытна, эта милая барышня, до чего любопытна! – сказала со смехом домоправительница нотариуса.

– Вы совершенно правы, сударыня; простите мне эти лишние вопросы. Раз мы идем пешком туда, куда вы меня ведете, – прибавила Лилия-Мария, чуть улыбнувшись, – значит, я скоро узнаю то, что мне так хочется узнать.

– В самом деле, милая барышня: через каких-нибудь четверть часа мы будем на месте.

Экономка Жака Феррана и Певунья, оставив позади последние дома Батиньоля, шли теперь по поросшей травой дороге, окаймленной кустами орешника.

День был ясный и теплый; правда, по небу медленно плыли облака, позлащенные закатом: солнце уже клонилось к западу и бросало теперь косые лучи на холмистый берег, по другую сторону Сены.

По мере того, как Певунья приближалась к реке, ее бледные щеки чуть порозовели; она с наслаждением вдыхала чистый живительный воздух полей.

Ее нежное личико выражало такое трогательное удовольствие, что г-жа Серафен сказала девушке:

– Вы, кажется, очень довольны, милая барышня?

– О да, сударыня... ведь я вот-вот увижу госпожу Жорж, а быть может, и господина Родольфа... Я хочу попросить его помочь нескольким очень несчастным беднякам... и, надеюсь, он облегчит их участь... Как же мне не радоваться?! Если даже мне и было грустно, то скоро моя грусть рассеется... А потом, вы только поглядите... какое веселое над нами небо с чуть розове-

ющими облаками! А до чего зеленая трава... просто не по сезону! А там, внизу, за ивами, видите реку... какая она широкая... Господи, в ней отражается солнце, и она так блестит, что просто ослепляет... вода, можно сказать, отливает золотом... совсем недавно так же блестела на солнце вода в маленьком водоеме во дворе тюрьмы... Бог не забывает о несчастных арестантах... Он посылает и им луч солнца, – прибавила Лилия-Мария, и на лице у нее появилось выражение благоговейной признательности.

Затем, ощутив чувство свободы, такое сильное у вышедших на волю узников, она воскликнула в порыве наивной радости:

– Ах, сударыня, видите... там, посреди реки, прелестный маленький остров, обсаженный ивами и тополями, а на нем – беленький домик у самой воды... как, должно быть, здесь чудесно летом, когда деревья покрыты зеленеющей листвой... какая, верно, тут царит тишина, какая свежесть и аромат!

– Право, – проговорила г-жа Серафен со странной улыбкой, – я просто в восторге, что вам так нравится этот островок.

– А почему, сударыня?

– Потому что мы туда и направляйся.

– На этот остров?

– Да. А почему вас это удивляет?

– Меня и вправду это немного удивляет...

– А если вы встретите там своих друзей?

– Что вы говорите!

– Ваших друзей, собравшихся вместе, чтобы отпраздновать ваше освобождение из тюрьмы? Разве не будет это для вас очень приятным сюрпризом?

– Возможно ли это?! И госпожу Жорж... и господина Родольфа?..

– Послушайте, милая барышня, с вами я чувствую себя как беззащитное дитя... у вас такой тихий, невинный вид, а на самом деле вы заставляете меня говорить то, что мне говорить не положено.

– Значит, я опять их увижу... О, сударыня, сердце у меня так колотится!

– Не спешите, пожалуйста, идите медленнее, мне понятно ваше нетерпение, но я с трудом поспеваю за вами... милая вы моя сумасбродка...

– Простите меня, сударыня, мне так не терпится скорее попасть туда.

– Это вполне понятно... Я вас за это не упрекаю, напротив...

– Теперь дорога круто пошла вниз, и очень она неровная, не хотите ли опереться на мою руку, сударыня?

– Отказываться не стану, милая барышня... вы ведь молоды и проворны, а я уже старенькая.

– Обопритесь же на мою руку сильнее, сударыня, не бойтесь, меня это не утомит...

– Спасибо милая барышня, ваша помощь мне вот как нужна! Здесь такой крутой спуск...

Но вот мы и вышли на ровную дорогу.

– Ах, сударыня, неужели я и вправду увижу госпожу Жорж? Не могу в это поверить!

– Еще немного терпения. Через каких-нибудь четверть часа вы ее увидите и тогда в это поверите!

– Одного я только не могу понять, – прибавила Лилия-Мария, на мгновение задумавшись, – почему это госпожа Жорж ждет меня тут, а не у нас на ферме?

– По прежнему она все такая же любопытная, эта милая барышня, все такая же любопытная...

– Как нескромно я себя веду, не правда ли, сударыня? – с улыбкой спросила Певунья.

– Признаться, меня так и подмывает рассказать, что за сюрприз готовят вам друзья...

– Сюрприз? Они готовят мне сюрприз, сударыня?

– Послушайте, оставьте же меня в покое, милая проказница, вы еще, чего доброго, принудите меня заговорить против воли...

Мы покинем теперь г-жу Серафен – и ее жертву на дороге, ведущей к реке.

А сами поспешим попасть на остров Черпальщика за несколько минут до того, как они перед ним появятся.

Глава XII ЛОДКА

– Что это? Вы уже уезжаете?
– Уехать! И больше не слышать ваших благородных речей! Нет, клянусь небом! Я остаюсь
здесь...

(Вольфганг, сц. вторая)

Ночью вид у острова, где жило семейство Марсиалей, был зловещий; но при ярком свете солнца это окаянное место казалось как нельзя более веселым.

Окаймленный ивами и тополями, почти целиком покрытый густою травой, среди которой змеились тропинки, сверкавшие желтым песком, остров этот был богат фруктовыми деревьями; имелся на нем и небольшой огород. Посреди фруктового сада можно было разглядеть лачугу, крытую соломенной кровлей, в ней-то и хотел поселиться Марсиаль вместе с Франсуа и Амандиной. В этой стороне остров заканчивался остроконечным выступом, превращенным в свайный мол и укрепленным толстыми столбами, с тем чтобы препятствовать оползням.

Перед домом, стоявшим неподалеку от пристани, помещалась беседка; летом она была увита хмелем и диким виноградом и служила достаточно уютным прибежищем, где стояли столики для посетителей кабачка.

К одной стороне дома, выкрашенного белой краской и покрытого черепичной крышей, примыкал дровяной сарай с чердаком – он как бы служил небольшим флигелем, гораздо более низким, чем сам дом. В верхней части этого флигеля можно было различить окно: сейчас оно было плотно прикрыто ставнями, обитыми листами железа; снаружи ставни эти были закреплены двумя поперечными железными перекладинами, плотно сидевшими в стенах благодаря прочным железным скобам.

На воде покачивались три ялика, привязанные к сваям небольшой пристани.

Присев на корточки в одном из яликов, Николя проверял, легко ли приподнимается люк, который он приладил на днище ялика.

Стоя на скамье перед беседкой, Тыква, приложив ко лбу руки козырьком, смотрела вдаль, в ту сторону, откуда должны были появиться г-жа Серафен и Лилия-Мария, направившиеся к берегу, откуда они должны были добраться до острова.

– Пока что никого не видать, ни старухи, ни девчонки, – сказала Тыква, слезая со скамьи и обращаясь к Николя. – Получится, как вчера! Только даром прождем. Если они не подойдут за полчаса, придется уехать, не дождавшись их; дело, затеянное у Краснорукого, куда важнее, а он нас ждет. Торговка драгоценностями должна прийти к нему на Елисейские поля к пяти часам вечера. А нам надо поспеть туда до нее. Нынче утром Сычиха снова нам об этом напомнила...

– Ты права, – ответил Николя, выбравшись из лодки. – Черт бы побрал эту старуху, заставляет столько времени ждать себя безо всякого толку! Люк ходит как по маслу. Но из-за нее мы можем оба дела упустить...

– К тому же Краснорукий в нас нуждается – вдвоем-то они не управятся.

– Это верно; ведь, пока все это будет происходить, надо, чтобы Краснорукий находился перед кабачком, на стреме, а Крючок не так силен, чтобы без посторонней помощи затолкать торговку в подвал... ведь она, тетка эта, брыкаться станет.

– А помнишь, Сычиха с усмешкой говорила нам, что она в этом подвале держит Грамотея... он там у нее вроде как на всем готовом живет!

– Нет, он в другом подвале. Тот, где он сидит, гораздо глубже, и когда вода в реке поднимается, она заливает подвал.

– Он там, должно, совсем одичал, Грамотей-то! Подумать только: сидит там одинешенек, да к тому же слепой!

- Ну, будь он зрячим, все равно он ничего бы не увидел: там темно, как в устье печи.
- Так или иначе, когда он, для развлечения, пропоет все романсы да песенки, какие знает, время для него потянется куда как долго.
- Сычиха говорит, что он там развлекается, охотясь на крыс, а их в подвале видимо-невидимо.
- Скажи, Николя, раз уж речь зашла о тех, кто дичает от скуки и тоски, – продолжала Тыква со злобной улыбкой, показав пальцем на забитое листьями железа окно, – тот, кто там сидит, должно быть, желчью исходит!
- Ба!.. Дрыхнет, наверное... С утра он больше не стучит, да и пес его перестал лаять.
- Может, он придушил собаку, чтобы съесть ее. Ведь уже два дня они там, верно, подышают от голода и от жажды.
- Это уж их забота... Если Марсиалью это нравится, пусть еще, сколько хочет, протянет. А когда он кончится... мы скажем, что умер он от болезни, так что все пройдет без сучка без задоринки.
- Ты так думаешь?
- Не думаю, а уверен. Этим утром мать по дороге в Аньер встретила папашу Феро, рыбака; он удивился, что уже два дня не встречает своего дружка Марсиаля, а мать ему и сказала, что Марсиаль в постели лежит, он так тяжело заболел, что нет надежды на выздоровление. Папаша Феро проглотил эту весть как миленький... он о том и другим расскажет, и, когда Марсиаль кончится, это никого не удивит.
- Да, но он ведь не сразу помрет, это еще долго протянется.
- Ничего не поделаешь! Другого-то способа от него избавиться у нас не было. Он, Марсиаль, коли его разозлить, до того свирепеет! А ко всему он зол как дьявол и силен как бык; и он ведь держался настороже, к нему и подойти-то было опасно; а теперь, когда дверь его крепко заколочена, что он может сделать? И окно, сама знаешь, зарешечено на славу.
- Видишь ли... он мог бы выломать брусья... выдолбив перед тем штукатурку своим ножом, он так бы и сделал, но я влезла на лестницу и все руки искромсала ему топориком, била его по пальцам всякий раз, когда он принимался за дело.
- Выходит, ты на своем посту не зевала! – сказал злодей, ослабившись. – Стало быть, ты знатно позабавилась!
- Надо же было дать тебе время заколотить ставни железом, которое ты привез от папаши Мику.
- То-то он, верно, бесился... наш милый братец!
- Он скрежетал зубами как одержимый; два или три раза он пробовал спихнуть меня с лестницы, просовывал сквозь прутья решетки свою дубинку и колотил ею изо всех сил; да только одна рука у него была занята, и выломать решетку он не мог. А нам того и надо было.
- Хорошо еще, что у него в комнате нет печной трубы!
- И что дверь там крепкая, а руки у него изранены! Не будь того, он, пожалуй, проделал бы дыру в полу.
- Ну, там ведь балки крепкие, как бы он сквозь них пролез? Нет, нет, нам нечего бояться, он оттуда не выберется: ставни снаружи обиты железом и закреплены двумя железными перекладинами, дверь снаружи заколочена трехдюймовыми гвоздями. Так что гроб его так же прочен, как дубовый или свинцовый!
- Скажи-ка, а что, как Волчица выйдет из тюрьмы и явится сюда разыскивать своего милого, как она его называет?..
- Ну и что ж! Мы ей скажем: ищи!
- Кстати, если бы мать не заперла этих скверных ребят, они бы способны были, как крысы, прогрызть дверь и вызволить Марсиаля! Этот негодник Франсуа зол как черт с тех пор, как мы – а он об этом догадывается – замуровали старшего брата.
- Вот оно что! Тогда нельзя оставлять их в комнате наверху, когда мы уйдем с острова! Ведь их окошко не зарешечено; достаточно им выйти наружу и...
- В эту минуту крики и плач, доносившиеся из дома, привлекли внимание и Тыквы и Николя.

Они увидели, что дверь из кухни, до тех пор притворенная, с шумом захлопнулась; минуту спустя бледное и зловещее лицо вдовы показалось в зарешеченном окне.

Своей худой рукою тетка Марсиаль сделала знак Тыкве и Николя подойти ближе.

– Слышишь, какой там шум? Готов биться об заклад, что Франсуа опять буянит, – сказал Николя. – Ну и негодяй же наш братец Марсиаль! Не будь его, этот мальчишка недолго бы нам противился. Ну, я пошел, а ты гляди в оба! И коли увидишь, что две бабы подходят к берегу, сразу же кликни меня.

Тыква снова залезла на скамью и смотрела, не приближаются ли г-жа Серафен и Певунья; Николя вошел в дом.

Бедная Амандина стояла на коленях посреди кухни и, обливаясь слезами, просила мать сжалиться над Франсуа;

Не помня себя от ярости, мальчик отступил в угол и угрожающе размахивал топориком Николя; видимо, на сей раз он твердо решил отчаянно сопротивляться воле матери.

Как всегда невозмутимая, как всегда, храня молчание, вдова указала Николя на вход в погреб, находившийся под кухней; дверь в погреб была полуоткрыта, и мать знаком велела своему сыну запереть туда Франсуа.

– Нет, меня там не запрут! – закричал мальчик, чьи глаза сверкали, как у дикой кошки. – Нет, – решительно повторил он, – вы хотите уморить нас голодом, меня и Амандину, как и нашего брата Марсиаля.

– Мама... ради бога, позволь нам остаться в нашей комнатке, наверху, как вчера, – упрашивала девочка умоляющим тоном, молитвенно сложив ладони... – в этом мрачном и темном погребе нам будет слишком страшно.

Вдова посмотрела на Николя с нетерпеливым видом, она словно бы упрекала его в том, что он все еще не выполнил ее приказа; затем снова повелительным жестом указала на Франсуа.

Увидя, что брат подходит к нему, мальчик, с отчаянием размахивая топориком, крикнул:

– Если меня попробуют запереть в погребе, не важно кто – мать, брат или Тыква, – тем хуже для вас... Я ударю топориком, а он ведь острый!

Как и вдова, Николя понимал, что необходимо непременно помешать детям прийти на помощь Марсиалю в то время, когда никого другого в доме не будет; надо было также скрыть от них страшную сцену, которая должны была вскоре произойти, ибо из их окна наверху видна была река, в которой злодеи собирались утопить Лилию-Марию.

Но Николя был столь же труслив, сколь свиреп; боясь получить удар опасным топориком, которым размахивал его младший брат, он не решался приблизиться к Франсуа.

Вдова, которую выводила из себя нерешительность сына, схватила Николя за плечо и резко подтолкнула его к Франсуа.

Однако Николя снова попятился и крикнул:

– Если он меня поранит, что я тогда буду делать, мамаша? Вы ведь прекрасно знаете, что мне вскоре понадобятся обе руки, а я все еще чувствую боль после удара дубинкой, который мне нанес этот мерзавец Марсиаль.

Вдова только презрительно пожала плечами и шагнула к Франсуа.

– Не подходите ко мне, матушка! – вне себя от ярости завопил мальчишка. – А не то вы заплатите мне за все колотушки, на которые вы не скупились для меня и Амандины.

– Братец, позволь лучше им запереть нас. О господи, не смей бить нашу мать! – воскликнула в испуге Амандина.

Вдруг Николя увидел лежавшее на стуле большое шерстяное одеяло, которым пользовались, когда гладили белье; он схватил его, сложил вдвое и ловко накинул на голову Франсуа; мальчик, несмотря на свои судорожные усилия, не мог выпутаться из одеяла и воспользоваться топориком, который держал в руке.

Тогда-то Николя кинулся к нему и с помощью матери отнес брата в погреб.

Амандина все еще стояла на коленях посреди кухни; увидя, что брата тащат в погреб, она быстро поднялась с колен и, преодолевая владеющий ею страх, сама направилась в это мрачное убежище. Дверь за братом и сестрой захлопнулась, и ее заперли двойным поворотом ключа.

– Это по вине мерзавца Марсиаля дети теперь будто взбесились и так злятся на нас! – воскликнул Николая.

– С самого утра из его комнаты не слышно ни звука, – сказала с задумчивым видом вдова и вздрогнула, – ничего не слышать...

– Это доказывает, мать, что ты хорошо поступила, когда намеренно сказала папаше Феро, этому рыбаку из Аньера, что Марсиаль вот уже два дня не встает с постели, что он так тяжело болен, что вот-вот околет. Так что, когда все будет кончено, это никого не удивит.

Наступило короткое молчание; казалось, вдова пытается отогнать от себя какую-то мучительную мысль; потом она вдруг спросила:

– Сычиха приходила сюда, пока я была в Аньере?

– Да, мать, приходила.

– А почему она не осталась, чтобы вместе с нами поехать к Краснорукому? Я ей не доверяю.

– Ну да вы никому не доверяете, мать: сегодня – Сычихе, вчера – Краснорукому.

– Краснорукий разгуливает на воле, а мой сын Амбруаз томится в Тулоне, а ведь кражу-то они совершили вместе.

– И что вы все время об этом твердите?.. Краснорукий выпутался потому, что он известный пройдоха, вот и все. Сычиха тут не осталась, потому что у нее на два часа дня была назначена встреча возле Обсерватории, она должна была свидеться с тем высоким господином в трауре, по просьбе которого она выкрала из деревни какую-то девчонку, а Грамотей и Хромуля ей помогали; чтобы обстричь это дельце, высокий господин в трауре нанял фиакр, а на козлах сидел Крючок. Вот я вам что скажу, мать: бояться того, что Сычиха нас выдаст, нечего, потому как она рассказывает нам о своих ловких проделках, а мы про наши дела при ней ни гу-гу! Так что будьте спокойны, матушка, как говорится, ворон ворону глаз не выклюет. А денек сегодня должен быть удачный; подумать только: ведь у торговки драгоценностями часто бывает в сумке на двадцать, а то и на тридцать тысяч бриллиантов, не пройдет и двух часов, и мы посадим ее в подвал у Краснорукого!.. Вы только прикиньте: одних бриллиантов тысяч на тридцать!

– Ну а пока мы будем управляться с этой торговкой, где будет Краснорукий? На улице перед кабаком! – сказала вдова подозрительно.

– А где, по-вашему, он должен быть? А если кто пойдет к кабачку, разве не должен он его отвадить и помешать войти туда, где мы будем обдѣлывать свое дело?..

– Николая! Николая! – вдруг закричала Тыква, остававшаяся на своем посту. – Появились две женщины...

– Скорее, скорее, мать, берите свою шаль; я отвезу вас на тот берег, по крайней мере, хоть это будет сделано.

Вдова сняла свою траурную косынку и надела чепец из черного тюля. Потом она завернулась в большую шаль из шотландки в серую и белую клетку, заперла дверь на кухню, а ключ положила за ставень на первом этаже; после чего последовала за сыном на пристань.

Почти против воли она, перед тем как покинуть остров, бросила долгий взгляд на окно комнаты Марсиаля, нахмурила брови и плотно сжала губы; при этом она снова сильно вздрогнула и чуть слышно прошептала:

– Это по его вине, по его собственной вине...

– Николая, ты их видишь?! Там, внизу, на склоне холма, одна одета как крестьянка, а другая как городская! – воскликнула Тыква, указывая рукой на берег реки.

Госпожа Серафен и Лилия-Мария спускались по узкой тропинке, огибавшей довольно крутой и высокий откос, откуда была видна печь для обжига гипса.

– Подождем условного знака, а то как бы не опростоволоситься, – ответил Николая.

– Ты что, слепой! Разве ты не признал толстуху, что позавчера к нам приходила! Гляди, она в той же оранжевой шали. А как торопится эта молоденькая крестьяночка! Вот дуреха-то, она, видно, не подозревает о том, что ее ждет.

– Да, теперь я признал толстуху. Пошли, дело идет на лад, дело идет на лад! Да, вот мы как с тобой уговоримся, Тыква, – прибавил Николая. – Я усажу старуху и девчонку в ялик с люком, а

ты поплывешь за мной на другом ялике, след в след, и смотри – гребни повнимательнее, чтоб я мог одним прыжком перескочить в твою лодку, как только я открою люк и мой ялик пойдет ко дну.

– Не бойся, я не впервой на веслах сижу, ведь так?

– Да я не боюсь потонуть, ты-то ведь знаешь, как я плаваю! Но, коли я вовремя не перескочу в твою лодку, бабы, барахтаясь в воде, чтобы не утонуть, еще, чего доброго, уцепятся за меня... А это уж спасибо! Не хочу я наглотаться воды вместе с ними.

– Старуха машет носовым платком, – сказал Тыква. – Они уже у самой воды.

– Давайте, давайте, мать, садитесь в лодку, – сказал Николая, отчаливая. – Когда они обе увидят, что вы в моей лодке приплыли, они ничего бояться не станут... А ты, Тыква, прыгай в другой ялик и гребни получше, сестра. Ах да, прихвати-ка мой багор и положи его рядом с собой, он острый, как копье, и может мне пригодиться. Ну, в путь! – прибавил разбойник, положив в лодку Тыквы длинный багор с острым железным наконечником.

Через минуту оба ялика, в одном из которых сидели Николая и его мать, а в другом – Тыква, причалили к берегу, где г-жа Серафен и Лилия-Мария уже ожидали их несколько минут.

Пока Николая привязывал свою лодку к колу, воткнутому к землю, г-жа Серафен подошла к нему и чуть слышным шепотом проговорила:

– Скажите, что госпожа Жорж нас ждет.

Затем, уже громко, домоправительница нотариуса прибавила:

– Мы немного опоздали, мой милый?

– Да, сударыня: госпожа Жорж уже несколько раз про вас спрашивала.

– Вот видите, милая барышная, госпожа Жорж нас ожидает, – проговорила г-жа Серафен, поворачиваясь к Певунье, которая, несмотря на доверие, каким она прониклась, почувствовала, как у нее сжалось сердце при виде зловещих лиц вдовы, Тыквы и Николая.

Но, услышав имя г-жи Жорж, она успокоилась и ответила:

– И мне тоже не терпится увидеть госпожу Жорж; хорошо, что добираться на остров нам недолго.

– А как она будет довольна, эта милая дама! – воскликнула г-жа Серафен. Потом, обратившись к Николаю, она попросила: – Вот что, молодой человек, подгоните вашу лодку еще ближе к берегу, чтобы нам удобнее было сесть в нее. – И, снова понизив голос, она прибавила: – Надо непременно утопить девчонку; если она всплывет на поверхность, снова погрузите ее в воду.

– Сказано – сделано! А вы сами не бойтесь: как только я подам знак, протяните мне руку. Она в одиночку пойдет ко дну, для этого все готово, а вам страшиться нечего, – так же тихо ответил Николая.

Затем со свирепым безразличием, ибо его не тронули ни красота, ни молодость Лилии-Марии, он протянул девушке руку.

Слегка опершись на нее, Певунья вошла в лодку.

– Теперь ваш черед, любезная дама, – сказал Николая г-же Серафен.

И протянул руку старухе.

Было ли это предчувствие, недоверчивость или просто страх, что она не успеет перебраться из лодки, где сидели Николая и Певунья, когда суденышко пойдет ко дну, но домоправительница Жака Феррана, попятившись, сказала Николаю: – Пожалуй, я лучше сяду в лодку той барышни. И она уселась рядом с Тыквой.

– В добрый час, – ответил Николая, обменявшись выразительным взглядом с сестрою.

И, упершись веслом в берег, он сильно оттолкнул лодку.

Дождавшись, пока г-жа Серафен устроится возле нее, Тыква оттолкнула от берега свою лодку.

Неподвижно стоя на берегу, сохраняя полную невозмутимость и полное равнодушие ко всему происходящему, вдова, задумавшись и целиком уйдя в свои мысли, упорно не сводила глаз с окна в комнате Марсиаля, которое можно было различить сквозь ветви тополей.

Тем временем оба ялика, в первом из которых сидели Певунья и Николая, а во втором – г-жа Серафен и Тыква, медленно отплывали от песчаного берега.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

Глава I КАКОЕ СЧАСТЬЕ – СВИДЕТЬСЯ ВНОВЬ!

Прежде чем рассказать читателю о развязке драмы, которая происходила в лодке с подъемным люком, принадлежавшей Марсиалям, мы вернемся немного назад. Через несколько минут после того, как Лилия-Мария покинула в сопровождении г-жи Серафен тюрьму Сен-Лазар, вышла на свободу и Волчица.

Благодаря хорошим отзывам г-жи Арман и начальника тюрьмы, которым хотелось вознаградить ее за доброту, проявленную к Мон-Сен-Жан, любовницу Марсиаля выпустили на волю досрочно.

Надо сказать, что в душе этой испорченной, опустившейся и неукротимой женщины произошла необыкновенная перемена к лучшему.

Мысленно рисуя себе картину мирной, хотя трудной и одинокой жизни, о которой ей говорила Певунья, Волчица теперь с отвращением думала о той жизни, которую, она вела прежде.

Удалиться в глубь лесов вместе с Марсиалем – такова была отныне ее единственная цель, ее навязчивая мысль, против которой восставали, но тщетно, ее прошлые дурные инстинкты; эта странная женщина неотвязно думала о возможных переменах, после того как, желая избежать все возрастающего влияния на нее со стороны Певуньи, попросила перевести ее в другое отделение тюрьмы.

Для того чтобы добиться столь быстрого и искреннего «обращения» Волчицы, которое стало еще более надежным и упрочилось, после того как Волчица преодолела свои дурные привычки, Лилия-Мария, следуя своему наивному здравому смыслу, рассуждала приблизительно так:

«Волчица, женщина решительная и сильная, страстно любит Марсиаля; поэтому она должна с радостью встретить возможность переменить ту позорную жизнь, которой она впервые начала стыдиться, и всецело посвятить себя заботам о том крутом и нелюдимом человеке, чьи вкусы и наклонности она хорошо изучила, человеку, искавшем одиночества не только потому, что оно было ему по душе, но и потому, что он хотел избавиться от всеобщего презрения, каким была окружена его отвратительная семья».

Опираясь на эти простые соображения, возникшие у нее во время разговора с Волчицей, девушка сумела повлиять на дерзкий нрав своей собеседницы, страстно любившей Марсиаля, и ей удалось преобразить эту падшую женщину в женщину достойную и порядочную... Ибо разве не была владевшая отныне Волчицей мечта выйти замуж за Марсиаля и удалиться вместе с ним в глубь лесов, чтобы жить там своим трудом, не боясь лишений, разве не была уже эта мечта мечтой порядочной женщины?

Уверовав в ту поддержку, которую, по словам Певуньи, окажет новобрачным неизвестный благодетель, Волчица спешила теперь сделать столь заманчивое предложение своему возлюбленному, немного страшась в глубине души его отказа: ведь Певунья, заставив ее покраснеть и устыдиться прошлой жизни, одновременно объяснила Волчице, в каком ложном положении та находилась, будучи всего лишь любовницей Марсиаля.

Оказавшись на воле, Волчица думала только об одном: о встрече со своим милым, как она говорила. Уже несколько дней она не получала от него никаких известий. Надеясь застать его на острове Черпальщика, она решила, что если даже не встретит его там, то дождется его возвращения: а потому она, не торгуясь, наняла кабриолет и попросила как можно быстрее доставить ее к Аньерскому мосту, по которому она и проехала за четверть часа до того, как г-жа Серафен и Певунья, которые шли от заставы пешком, вышли к берегу реки неподалеку от печи для обжига гипса.

В тех случаях, когда Марсиаль не приезжал за нею на лодке, чтобы отвезти ее на остров, Волчица обращалась к старому рыбаку по имени Феро, который жил возле самого моста.

В четыре часа пополудни кабриолет остановился в самом начале небольшой улочки городка Аньер. Волчица уплатила пять франков кучеру, одним прыжком выскочила из экипажа и поспешила к жилищу папаша Феро, рыбака и лодочника.

Волчица успела сменить тюремную одежду на собственную: она была теперь в платье из мериносовой шерсти темно-зеленого цвета, в красной кашемировой шали с разводами и тюлевым чепце, украшенном лентами; ее вьющиеся волосы были только слегка приглажены. Ей так не терпелось как можно скорее увидеть Марсиаля, что она одевалась не столько старательно, сколько поспешно.

Всякая другая женщина после долгой разлуки, без сомнения, не пожалела бы времени, чтобы выглядеть красивее во время первого свидания, но Волчицу мало интересовали все эти «тонкости», требовавшие времени. Прежде всего ей было важно увидеть своего милого: это неудержимое стремление было вызвано не только ее страстной любовью, которая часто приводит почти в исступление женщин такого рода, но также и властной потребностью рассказать Марсиалю о том благотворном решении, которое она приняла после разговора с Лилией-Марией.

Волчица довольно быстро дошла до дома рыбака.

Сидя на пороге, папаша Феро, старик с совершенно белыми волосами, чинил свои рыбацкие сети. Заметив его, Волчица еще издали крикнула:

– Вашу лодку, папаша Феро, скорее, скорее!..

– Ах, это вы, барышня. Добрый день... Давненько мы вас тут не видали.

– Да, верно, но готовьте свою лодку... быстро... и едем на остров!..

– Ах, вот оно что! Ну, это просто судьба, милая вы моя, – нынче это никак невозможно.

– Это еще почему?

– Мой малый взял ялик и отправился в Сент-Уэн, там сегодня молодые состязаются в гребле... На всей реке, вплоть до пристани, не осталось ни одной лодки...

– Черт побери! – крикнула Волчица, топнув ногой и сжимая кулаки. – Это, как нарочно, для меня придумали!

– Верно!.. Даю вам слово, я очень огорчен, что не могу отвезти вас на остров... Потому как он, видать, очень плох...

– Очень плох! Кто? Марсиаль? – воскликнул Волчица, схватив папашу Феро за воротник. – Марсиаль болен?

– А вы разве не знаете?

– Марсиаль болен?

– Именно он; но вы мне блузу порвете. Сохраняйте спокойствие.

– Он болен? А давно?

– Дня два или три как он хворает.

– Быть того не может! Он бы мне написал.

– Как бы не так! Он так тяжело болен, что и писать не может.

– Так тяжело болен, что и писать не может?! А он где, на острове? Вы знаете наверняка?

– Сейчас вам все расскажу... Представьте себе, нынче утром я повстречал вдову Марсиаль. Обычно я, как только ее увижу на улице, то, сами понимаете, перехожу на другую сторону, потому как не по душе мне ее общество; так вот...

– Но что мой милый, что мой милый? Где он?

– Не торопитесь. Столкнувшись с вдовою носом к носу, я на сей раз не мог уклониться от разговора; у нее всегда такой злобный вид, что оторопь берет, а я этого не выношу. «Вот уже два дня, как я не видел вашего Марсиаля, – сказал я ей. – Он что, в город уехал?» В ответ она уставилась на меня своими глазами... такими глазами... что, будь это не глаза, а пистолеты, она бы сразила меня наповал, как кто-то сказал.

– У меня все внутри кипит! Ну а дальше? Дальше?

Папаша Феро немного помолчал, потом прибавил:

– Постойте-ка, любезная девица, раньше пообещайте мне сохранить все в тайне, тогда я

вам расскажу, что знаю.

– Это о моем милоте?

– О нем. Ведь Марсиаль добрый малый, хоть голова у него дурная; и коли с ним случится беда по вине это старой мерзавки, его мамы, или по вине его негодяя брата, это будет куда как досадно.

– Но что с ним происходит? Что мать и брат с ним сделали? И где он сейчас? Говорите, говорите же!

– Ладно, куда ни шло! Но вы опять ухватились за мою блузу! Отпустите ворот! Если вы меня будете все время перебивать и рвать на мне одежду, я никогда не кончу свой рассказ, и вы ничего не узнаете.

– Ох, где только набраться терпения! – воскликнула Волчица, гневно топая ногой.

– А вы никому не передадите того, что я вам расскажу?

– Нет! Нет! Нет!

– Честное слово?

– Папаша Феро, меня из-за вас удар хватит!

– Ох, что за девица, что за девица! Голова у нее совсем дурная! Ну ладно, вот что было дальше. Во-первых, надо вам сказать, что Марсиаль все чаще и чаще ссорится со своими родителями, и, коли они выкинут с ним какую плохую шутку, меня это не удивит. Вот почему мне так досадно, что ялика моего нынче нет, потому как надеяться, что они вас на остров отвезут, нечего. Ни Николая, ни эта мерзавка Тыква вас туда не доставят.

– Я это и сама хорошо знаю. Но что все-таки вам сказала мать моего милого? Он что же, на острове заболел?

– Да не сбивайте вы меня, вот как все было, нынче утром я и говорю вдове: «Вот уже два дня, как я не видел Марсиаля, а ялик его стоит на приколе; он что, в город уехал?» В ответ на это она злобно на меня поглядела и отвечает: «Он болен, лежит дома, на острове, да болен так тяжело, что, должно, не поднимется». Ну, я говорю сам себе: «Как это так? Всего три дня тому назад я...» Что такое? Куда вы?! – воскликнул папаша Феро, прерывая свой рассказ. – Да куда вы?! Куда вас черт понес?!

Решив, что жизни Марсиаля угрожают его родственники, Волчица, потеряв голову от страха за него и охваченная яростью, не дослушала старого рыбака и пустилась во всю прыть вдоль Сены.

Для того чтобы читатель хорошо понял следующую сцену, необходимы некоторые топографические данные.

Остров Черпальщика расположен ближе к левому берегу реки, нежели к правому, где сели в лодки г-жа Серафен и Певунья.

Волчица находилась на левом берегу Сены.

Остров Черпальщика не слишком холмист, однако он по всей своей длине покрыт пригорками, что с одного берега не увидишь того, что происходит на противоположном берегу, а уж тем более на противоположном берегу реки. Вот почему – возлюбленная Марсиаля не видела, как Певунья садилась в лодку, а достойные члены семейства Марсиалей не могли видеть Волчицу, когда она подбегала к противоположному берегу Сены.

Напомним, кстати, читателю, что загородный дом доктора Гриффона, где временно поселился граф де Сен-Реми, стоял на склоне косогора, возле отлогого берега реки, куда, не помня себя от волнения, примчалась Волчица.

Она проскочила, не заметив их, мимо обоих мужчин, которые, ошеломленные ее потерянным видом, обернулись и долго смотрели ей вслед. Два эти человека были граф де Сен-Реми и доктор Гриффон.

Узнав о том, что ее милоте грозит опасность, Волчица, не долго думая, понеслась что было сил к тому месту, где он сейчас находился и где над его жизнью нависла угроза. Но чем больше она приближалась к реке против острова, тем яснее понимала, что попасть на остров Черпальщика ей будет очень трудно. Как ей уже говорил старый рыбак, рассчитывать на лодку, принадлежащую какому-нибудь постороннему человеку, она не могла, а никто из членов семейства

Марсиалей перевозить ее на остров не стал бы.

Задыхаясь, с пылающим лицом, со сверкающим взглядом, она остановилась на том месте берега, откуда была всего ближе до остроконечной косы острова, который, как бы описав дугу, меньше всего был удален от левого берега Сены.

Сквозь лишенные листья тополя и ивы, росшие на острове, Волчица разглядела крышу дома, где, быть может, умирал в эти минуты Марсиаль.

Завидев эту кровлю, она испустила свирепый вопль, сорвала с головы чепец, сбросила наземь платье и осталась в одной только нижней юбке, а затем бесстрашно бросилась в реку, прошла несколько шагов по дну, пока вода не достигла ее горла, а потом, перестав чувствовать под ногами дно, быстро поплыла по направлению к острову.

Она являла собой зрелище человека, исполненного дикой энергии.

С каждым мощным взмахом руки длинные густые волосы Волчицы, растрепавшиеся благодаря ее быстрым движениям, развевались вокруг ее головы, как грива, отливавшая медью.

Если бы не горящий взгляд, устремленный к дому Марсиалей, не искаженные черты ее лица, выдававшие ужасную тревогу, можно было бы подумать, что возлюбленная браконьера играет с волнами – до того легко, свободно и даже горделиво плыла эта женщина. Ее крепкие белые руки, на которых татуировка говорила о предмете ее любви, руки, обладавшие почти мужской силой, мощно рассекали воду, и она взлетала брызгами и скатывалась жемчужными каплями с ее широких плеч и высокой груди; в эти минуты Волчица походила на мраморный бюст, наполовину погруженный в воду.

Внезапно с противоположного берега острова Черпальщика донесся отчаянный крик, говоривший об ужасной, безнадежной агонии.

Волчица вздрогнула и замерла.

Потом, держась одной рукой на воде, она другой рукою отбросила за спину свои густые волосы и прислушалась.

До нее снова донесся крик, но уже более слабый, прерывистый, умолявший о помощи: то был крик погибавшего человека.

А затем вновь наступила гробовая тишина.

– Мой милый!!! – закричала Волчица и яростно поплыла вперед.

Она была в такой тревоге, что ей показалось, будто она узнала голос Марсиаля.

Граф и доктор, мимо которых Волчица пробежала с невероятной быстротой, не смогли догнать ее, чтобы призвать к благоразумию.

Они достигли того места на берегу, которое находилось прямо против острова, как раз в ту самую минуту, когда послышались один за другим два ужасных крика.

И остановились столь же испуганные, как Волчица. Видя, что молодая женщина бесстрашно борется с волнами, оба воскликнули:

– Несчастная утонет!

Но опасения их были напрасны.

Возлюбленная Марсиаля плавала как выдра; еще несколько сильных взмахов рук, и смелая женщина достигла острова!

Она поднялась на ноги и, для того чтобы выйти на сушу, ухватилась за одну из свай, которые образовали на оконечности острова нечто вроде выступавшего в реку мола; вдруг мимо этих выступавших из воды свай медленно проплыло тело какой-то девушки, одетой в крестьянское платье; именно платье и удерживало ее на поверхности воды.

Движением, более быстрым, чем мысль, Волчица одной рукой стремительно схватила утопленницу за край платья, держась другою рукой за одну из свай. Она с такой силой притянула к себе тонувшую девушку, которую пыталась спасти, что несчастная, проплывавшая мимо свай, на мгновение исчезла под водой, хотя в этом месте можно было достать до дна ногами.

Обладавшая недюжинной силой и ловкостью, Волчица вытащила на поверхность реки Певунью (ибо это была она), которую, однако, не узнала, и взяла ее в свои сильные руки, как берут малого ребенка; потом она сделала несколько шагов по дну реки и положила недвижимую девушку на покрытый травой берег острова.

– Мужайтесь! Мужайтесь! – крикнул Волчице граф де Сен-Реми, видевший, как и доктор Гриффон, смелый поступок молодой женщины. – Мы пройдем по Аньерскому мосту, сядем в лодку и поспешим вам на помощь.

И двое мужчин бегом направились к мосту.

Однако Волчица не расслышала их слов.

Повторим, что с правого берега Сены, где еще находились Николя, Тыква и достойная их мамаша после того, как совершилось отвратительное преступление, было нельзя увидеть то, что происходило на противоположной стороне острова вследствие его холмистой поверхности.

Лилия-Мария, которую от резкого движения Волчицы затянуло на несколько мгновений под свайный мол, ненадолго погрузилась в воду, так что убийцы ее не видели и сочли, что их жертва утонула, а река поглотила ее.

Через несколько минут вниз по течению проплыл еще один труп женщины, но Волчица этого не заметила.

То был труп домоправительницы нотариуса.

Коварная женщина умерла, погибла...

Николя и Тыква, не меньше Жака Феррана, были заинтересованы в том, чтобы свидетельница и сообщница совершенного ими нового преступления исчезла навсегда: поэтому, когда лодка с подъемным люком пошла ко дну вместе с Певуньей, Николя перепрыгнул в ялик, где сидели Тыква и г-жа Серафен; при этом он так сильно раскачал это суденышко, что домоправительница нотариуса покачнулась; воспользовавшись этим, злодей столкнул ее в воду и прикончил ударом багра.

Тяжело дыша, в полном изнеможении Волчица, опустившись на колени на траву рядом с Певуньей, медленно собиралась с силами и вглядывалась в лицо той, кого она только что вырвала из лап смерти.

Пусть читатель представит себе, как она была ошеломлена, узнав в утопленнице свою подружку по тюрьме.

Подружку, которая оказала столь быстрое и столь благотворное влияние на ее судьбу...

Волчица была так потрясена, что на миг даже забыла о Марсиале.

– Певунья! – воскликнула она.

И, нагнувшись, опираясь на руки и на колени, с растрепанными волосами, в одежде, с которой струилась вода, Волчица не сводила глаз с несчастной девочки, которая почти без дыхания лежала перед ней на траве. Смертельно бледная, безжизненная, с полуоткрытыми, но невидящими глазами, с прилипшими к вискам прекрасными белокурыми волосами, с посиневшими губами, с уже окоченевшими ручками Певунья казалась мертвой...

– Певунья! – повторила Волчица. – Какой невероятный случай! А я-то спешила к моему милому, чтобы рассказать ему о том добре, что она мне сделала, и той боли, что она мне причинила, о ее словах и о ее обещаниях, о том решении, которое я приняла! Бедная девочка, я вновь нахожу ее, но уже мертвую! Но нет, нет! – воскликнула Волчица, еще больше наклоняясь к Лилии-Марии и почувствовав, что бедняжка чуть слышно дышит. – Нет! Господи! Господи боже! Она еще дышит, я спасла ее от верной смерти... Мне еще ни разу в жизни не приходилось никого спасать. Ах, как это приятно, как это согревает душу. Да, но что с моим милым? Надо ведь и его спасать. Быть может, он сейчас хрипит и задыхается перед смертью. Мамаша и брат могут его убить. Но не могу же я оставить здесь эту бедную девушку, отнесу ее, пожалуй, в дом Марсиалей, пусть вдова окажет ей первую помощь, а меня проведет к ее старшему сыну: не то я там все сокрушу, всех перебью. Ох, нет для меня ни матери, ни сестры, ни брата, коль скоро дело касается моего милого!

И, разом поднявшись с земли, Волчица подхватила Певунью на руки.

С этой легкой ношей она бросилась бежать к дому Марсиалей, не сомневаясь, что вдова с дочерью, несмотря на всю их злобу, не оставят без помощи Лилию-Марию.

Когда возлюбленная Марсиаля достигла возвышенной части острова, откуда видны были оба берега Сены, Николя, его мать и сестра ушли уже далеко.

Уверившись, что совершенное ими двойное убийство увенчалось успехом, они торопливо

направились в кабачок Краснорукого.

В те же самые минуты какой-то человек, притаившись во впадине, за печью для обжига гипса, незримо присутствовал при ужасной сцене и, также уверившись, как Николя, что преступление удалось, незаметно скрылся.

Человек этот был нотариус Жак Ферран!

Одна из лодок Николя покачивалась на воде, ее удерживал кол, к которому она была привязана, возле того места на берегу Сены, где уселись в ялики Певунья и г-жа Серафен.

Едва Жак Ферран выбрался из-за печи для обжига гипса и направился обратно в Париж, как граф де Сен-Реми и доктор Гриффон, торопливо пробежавшие по Аньерскому мосту, поспешили сюда, надеясь попасть на остров в лодке Николя, которую они заметили еще издали...

К великому своему удивлению, добежав до дома Черпальщика, Волчица обнаружила, что входная дверь заперта.

Уложив в беседке Певунью, которая все еще не пришла в себя, возлюбленная Марсиаля подошла вплотную к дому. Она хорошо знала, где расположено окно в комнату ее милого; چگونه же было ее удивление, когда она увидела, что ставни на этом окне забиты листами железа, а снаружи листы эти закреплены железными перекладами!

Частично угадав правду, Волчица испустила хриплый и громкий крик и принялась звать во всю мочь:

– Марсиаль, милый мой!..

Ей никто не ответил.

Испуганная этим гробовым молчанием, Волчица начала кружить вокруг дома, как кружит настоящая волчица, почуявшая запах своего самца и стремящаяся отыскать вход в логово, где он находится.

Время от времени она продолжала громко звать:

– Мой милый, где ты? Милый, ты меня слышишь?!

В бессильной ярости она раскачивала решетку на кухонном окне, стучала кулаками о стену... расшатывала дверь.

Потом она вновь испустила дикий вопль.

Несколько негромких ударов по внутренней стороне ставня на окне в комнату Марсиаля прозвучали в ответ на вопли Волчицы.

– Он там! – радостно закричала она, разом остановившись под окном своего возлюбленного. – Он там! Если понадобится, я ногтями сорву эти железные листы, но во что бы то ни стало раскрою ставни.

Проговорив эти слова, она увидела высокую лестницу, прислоненную к полуотворенному ставню в зале нижнего этажа; Волчица с силой ухватила за лестницу, и при этом с подоконника упал на землю оставленный вдовой ключ.

– Если я смогу отворить ее, – проговорила Волчица, вставляя ключ в замочную скважину входной двери, – я смогу подняться в комнату моего милого. Смотри-ка, отпирается! – радостно воскликнула она. – Значит, мой милый спасен!

Войдя в кухню, Волчица с удивлением услышала крики обоих детей, запертых в погребе; услышав неожиданный шум, они звали на помощь.

Вдова, полагая, что никто не приедет на остров и не войдет в дом во время ее отсутствия, удовольствовалась тем, что заперла дверь в погреб, где томились Франсуа и Амандина, а ключ оставила в замочной скважине.

Освобожденные Волчицей, брат и сестра быстро выбежали из погреба.

– О, Волчица! Спасите нашего братца Марсиаля, они хотят уморить его! – закричал Франсуа. – Вот уже два дня, как они законопатили его в комнате.

– Но они его хоть не изранили?

– Нет, нет, думаю, что нет.

– Стало быть, я вовремя подросла! – крикнула Волчица, кинувшись вверх по лестнице.

Потом, поднявшись на несколько ступенек, она остановилась и крикнула:

– А о Певунье я и позабыла! Амандина, быстро раздуй огонь в печи; вы оба с братом пере-

Эжен Сю

несите сюда и положите возле очага бедную девочку, она тонула, но я ее спасла. Она лежит в беседке. Франсуа, подай-ка мне колун, топор, на худой конец железный прут, я хочу выломать дверь моего милого.

– Валяется тут колун для колки дров, да только он слишком тяжел для вас, – ответил мальчик, с трудом таща по полу огромный молот с заостренным концом.

– Слишком тяжел?! – воскликнула Волчица и стремительно подхватила тяжелую железную громадину, которую в другое время, быть может, с трудом бы приподняла.

Затем она вновь побежала вверх по лестнице, перепрыгивая через четыре ступеньки, и продолжала повторять детям:

– Бегите, бегите скорей, разыщите девушку и положите ее возле огня.

Буквально в два прыжка Волчица оказалась в глубине коридора, куда выходила дверь комнаты Марсиаля.

– Мужайся, мой милый, твоя Волчица здесь! – крикнула она. И, приподняв обеими руками колун, обрушила сильный удар на застонавшую дверь.

– Они забили дверь снаружи гвоздями. Сперва вытащи эти гвозди, – донесся до нее слабый голос Марсиаля.

Опустившись на колени, Волчица с помощью заостренного конца колуна, собственных ногтей, которые она поломала, и пальцев, которые ободрала, не без труда вытащила гвозди из дверного косяка и из пола.

Наконец дверь распахнулась.

И Марсиаль, бледный, с окровавленными руками, без сил упал на протянутые к нему руки Волчицы.

Глава II ВОЛЧИЦА И МАРСИАЛЬ

– Наконец-то я тебя вижу, держу тебя в своих объятиях, я тебя... – воскликнула Волчица, нежно обнимая и крепко сжимая своими сильными руками Марсиаля, и в голосе ее звучала радость и свирепая жажда обладания.

Затем, поддерживая своего милого, почти неся его на руках, она помогла бедняге опуститься на скамью, стоявшую в коридоре.

Несколько минут Марсиаль чувствовал ужасную слабость, он был растерян и пытался прийти в себя после страшного потрясения, которое лишило его последних сил и привело в полное изнеможение.

Волчица спасла своего возлюбленного в ту минуту, когда он, совершенно подавленный, впавший в отчаяние, чувствовал приближение смерти: он погибал не столько от голода, сколько от недостатка воздуха, который не проникал в небольшую комнату, где не было очага, а значит, и вытяжной трубы, не было никаких щелей, ибо, движимая жестокой предусмотрительностью, Тыква заткнула старыми тряпками все самые незаметные щели, имевшиеся на двери, так что помещение оказалось герметически закупоренным.

Трепеща от счастья и еще не улегшейся тревоги, с мокрыми от слез глазами, Волчица, опустившись на колени, напряженно ловила каждое выражение, сменявшееся на лице Марсиаля.

Он же, казалось, мало-помалу возрождался, возвращался к жизни, вдыхая всей грудью чистый и целебный для него воздух.

Несколько раз вздрогнув всем телом, он поднял отяжелевшую голову, испустил глубокий вздох и открыл глаза.

– Марсиаль, это я, твоя Волчица! Как ты себя чувствуешь?

– Уже лучше, – ответил он слабым голосом.

– Господи боже! Чего тебе дать? Воды? Или, может уксуса принести?

– Нет, нет, – ответил Марсиаль, который дышал все легче и легче. – Мне нужен только воздух только воздух, один только воздух, ничего, кроме воздуха!

Волчица, рискуя порезать руки, выбила кулаками все четыре оконных стекла: она не смог-

ла открыть окно, ей мешал сделать это стоявший там тяжелый стол.

– Вот теперь я дышу, теперь я дышу, и в голове у меня проясняется, – сказал Марсиаль, постепенно приходя в себя.

Затем, будто только сейчас сообразив, какую услугу оказала ему возлюбленная, он воскликнул с выражением несказанной благодарности:

– Без тебя я бы помер, славная моя Волчица!

– Ладно... ладно... а как ты сейчас-то себя чувствуешь?

– Все лучше и лучше.

– А есть хочешь?

– Нет, я еще для этого слишком слаб. Знаешь, больше всего я страдал от недостатка воздуха. Под конец я уже задыхался, совсем задыхался... это просто ужасно.

– Ну а теперь?

– Я вновь оживаю, точно из могилы выхожу, и выхожу из нее благодаря тебе.

– Но погляди на свои руки, на свои бедные руки! Они все изрезаны!.. Да что они с тобой сделали, господи боже!

– Николая и Тыква не решились вторично в открытую напасть на меня, вот они и замуровали меня в моей комнате, чтобы я тут околел с голоду. Я хотел помешать им забить железом ставни, и тогда моя сестрица стала бить меня по пальцам топориком!!!

– Изверги! Они пытались уверить людей, будто ты помираешь от тяжелой болезни; твоя мать уже распустила слух, что ты в безнадежном состоянии. И это сделала твоя мать, мой милый, твоя родная мать!..

– Послушай, не говори мне о ней, – с горечью попросил Марсиаль.

Потом, впервые заметив, что вся одежда на Волчице мокрая и одета она как-то странно, он воскликнул:

– Да что с тобой приключилось? С волос у тебя стекает вода, ты в одной нижней юбке... И она насквозь промокла!

– Какая разница! Главное, что я тебя спасла, спасла!

– Да объясни мне, где ты так промокла?

– Я знала, что ты в опасности... а лодки найти не могла...

– И ты добралась до острова вплавь?!

– Да. Но погляди на свои руки, позволь я их поцелую. Тебе, должно, очень больно... Вот изверги!.. И меня тут, рядом, не было!

– Ох, до чего ты у меня славная, моя Волчица! – воскликнул с чувством Марсиаль. – Ты самая храбрая и самая славная среди всех славных и храбрых женщин!

– А разве ты не говорил всегда: «Смерть подлецам и трусам!»

И Волчица показала на свою руку, где были вытатуированы эти ничем не смываемые слова.

– Да, ты у меня отважная и неустрашимая! Но тебе холодно, ты вся дрожишь.

– Дрожу, да только не от холода.

– Все равно... Войди в комнату, возьми там плащ Тыквы и закутайся в него.

– Но...

– Я так хочу.

В одно мгновение Волчица закуталась в плащ из шотландки и тут же возвратилась к Марсиально.

– Подумать только: ради меня... ты ведь могла утонуть! – повторил Марсиаль, с восхищением глядя на нее.

– Да нет же... там чуть было не утонула молоденькая девушка, и я у самого острова спасла ее.

– Стало быть, ты еще и ее спасла? А где же она?

– Внизу, с детьми; они там ухаживают за ней.

– А кто она такая, эта девушка?

– Господи боже! Если б ты только знал, какой случай, счастливый случай нас свел! Эта од-

на из моих товаров по тюрьме Сен-Лазар, она такая необыкновенная, знаешь...

– А чем же она необыкновенная?

– Представь себе, что я ее вместе и любила и ненавидела, потому как она сразу поселила в моей душе и счастье и гибель...

– Она?

– Да, и это с тобой связано.

– Со мной?

– Послушай, Марсиаль... – Волчица запнулась, но потом прибавила: – Знаешь, но нет, нет... я никогда не решусь.

– Да в чем дело-то?

– Я тебя вот о чем спросить хотела... Я и приехала, чтоб тебя повидать и чтоб спросить, потому что, уезжая из Парижа, я ведь не знала, что ты в опасности.

– Ну, ладно. Говори дальше.

– Да я не решаюсь...

– Не решаешься после всего того, что ты для меня сделала?!

– Вот именно потому. Выйдет так, будто я хочу получить награду...

– Хочешь получить награду! Разве я не обязан тебе многим? Разве ты не выхаживала меня в прошлом году, не сидела возле моей постели дни и ночи?

– Но ты ведь мой милый!

– Именно потому, что я твой милый и всегда им буду, ты и должна говорить со мной совершенно открыто.

– Ты всегда будешь моим милым, Марсиаль?

– Всегда! И это так же верно, как то, что меня зовут Марсиаль. Для меня в целом свете не будет другой женщины, кроме тебя, знай это, Волчица! То, что ты была такой-сякой, это никого, кроме меня, не касается... ведь я люблю тебя, а ты – меня, и я обязан тебе жизнью. Только за то время, что ты в тюрьме пробыла, я стал другим. Во мне многое переменилось!.. Я тут долго думал и решил, что ты больше не будешь такой, как была.

— Что ты этим хочешь сказать?

– Не хочу я больше с тобой расставаться, но не хочу больше расставаться также с Франсуа и Амандиной.

– С твоим младшим братом и сестренкой?

– Да, с ними; отныне я должен быть для них, можно сказать, как отец. Понимаешь, это накладывает на меня обязанности, мне надо остепениться, потому как я должен о них заботиться. Из них хотели вырастить злодеев, законченных злодеев, и, чтобы их спасти, я их отсюда увезу.

– А куда?

– Я еще и сам толком не знаю; но скажу наверняка – далеко от Парижа.

– А что будет со мной?

– С тобой? А ты тоже поедешь с нами.

– Поеду с вами?! – воскликнула Волчица, остолбенев от радости: она не могла поверить в такое счастье. – И я больше с тобой не расстанусь?

– Нет, моя славная Волчица, никогда! Ты поможешь мне воспитать этих ребятишек... Я тебя хорошо знаю; коли я скажу тебе: «Я хочу, чтобы моя милая, бедная сестрица Амандина выросла честной девушкой, поговори-ка с ней обо всем, хорошенько объясни ей что к чему», то я уверен, что ты будешь для нее хорошей матерью.

– Ох, спасибо тебе, Марсиаль, большое спасибо!

– Мы станем жить как честные работники; будь спокойна, работа для нас найдется, и мы будем работать не покладая рук. По крайней мере, эти дети не станут негодьями, как их отец и мать, а меня больше не будут обзывать сыном и братом людей, кончивших свой век под ножом гильотины, а по тем улицам, где знали тебя, я ходить не стану... Но что с тобой? Что с тобой такое?

– Марсиаль, мне кажется, я схожу с ума...

– Сходишь с ума?

– Да, от радости.

– Почему это?

– Потому что, видишь ли, это слишком хорошо!

– Ты о чем?

– О том, что ты мне только что сказал... Ох, знаешь, все это слишком хорошо... Разве только то, что я спасла Певунью, принесло мне счастье... Да, верно, так и случилось.

– Да объясни мне наконец толком, что с тобой такое?

– Ведь то, что ты мне предложил, Марсиаль, я сама тебе предложить хотела. Понимаешь, Марсиаль?!

– Ты о чем?

– Я сама хотела тебя попросить!..

– Уехать из Парижа?..

– Да... – быстро сказала Волчица. – И уйти жить с тобою в леса... где у нас был бы небольшой чистенький домик и дети, которых я бы любила всей душой! Знаешь, как бы я их любила?! Так, как может Волчица любить детей от своего милого! А потом, если б ты только согласился, – сказала, затрепетав от волнения, Волчица, – я бы стала теперь называть тебя не своим милым... А своим мужем... потому как без этого мы не получим того места, – с живостью прибавила она.

Марсиаль в свой черед с удивлением посмотрел на Волчицу: ее последние слова были ему непонятны.

– О каком месте ты толкуешь?

– О месте лесного обходчика...

– И я его получу?

– Да...

– А кто мне даст его?

– Покровители той молодой девушки, которую я спасла.

– Да они меня и знать не знают!

– Но я-то ей все про тебя рассказала... и она похлопочет за нас перед своими покровителями.

– Ну а что ты ей про меня наговорила?

– Сам понимаешь, ничего дурного!

– Славная ты моя Волчица...

– А потом, знаешь, в тюрьме быстро начинаешь доверять друг другу; а эта девушка была такая милая, такая добрая, что я, сама того не желая, вдруг почувствовала, что меня так и тянет к ней; да я и сразу догадалась, что она не из «наших».

– А кто ж она такая?

– Этого я не знаю, ничего я в этом не пойму, но за всю свою жизнь я никогда таких, как она, не видала и речей таких не слыхала; она, точно колдунья, сразу узнает, что у тебя на сердце; когда я ей сказала, как сильно тебя люблю, она из-за одного этого проявила сочувствие к нашей судьбе... Она заставила меня устыдиться моей прошлой жизни не потому, что говорила мне резкие слова, ты ведь знаешь, на меня такие слова не действуют, просто она говорила о том, как хороша честная трудовая жизнь, жизнь нелегкая, но спокойная, такая, когда я смогу жить с тобою в глуши лесов, как тебе по душе. Но только она сказала, что, вместо того чтоб быть браконьером, ты станешь лесным обходчиком, а я перестану быть твоей любовницей... а буду тебе настоящей женой, а потом у нас появятся красивые детишки, и они будут выбегать тебе навстречу, когда ты по вечерам будешь возвращаться домой с обхода вместе с собаками и с ружьем за спиной, ну, а потом мы станем ужинать на полянке перед нашей хижинкой на свежем ночном воздухе, под сенью высоких деревьев, а потом ляжем спать, довольные и счастливые... Ну что тебе еще сказать?.. Я против воли слушала ее, как слушают волшебную сказку. Если б ты только знал... она так хорошо... так хорошо говорила... что все, что она описывала, я видала как наяву... Будто и не спала, а видала чудесные сны.

– Ах да, верно! Это была бы славная и хорошая жизнь! – воскликнул Марсиаль, подавляя вздох. – Понимаешь, Франсуа еще не совсем испортился, но он, бедняга, так долго жил с Николя и Тыквой, что для него вольный лесной воздух подошел бы больше, чем городской. Амандина помогала бы тебе по хозяйству; ну, а уж я был бы таким лесным обходчиком, какого не часто встретишь: недаром же я был известным браконьером... А ты бы хозяйничала в доме, славная моя Волчица... и потом, как ты говоришь, и дети были бы с нами... чего бы нам еще не хватало?... Знаешь, когда привыкнешь к своему лесу, чувствуешь себя там как дома. Можешь там целый век прожить, и он промелькнет, как один день... Но, послушай, что это я так размышляю? Знаешь, не стоило тебе говорить мне о такой жизни... кроме сожалений, это ни к чему не ведет.

– Я тебя не прерывала... потому как то же самое, что ты мне сейчас сказал, я говорила там Певунье...

– Как это?

– А вот так! Слушая все ее волшебные сказки, я ей отвечала: «Вот беда, что все эти воздушные замки, как вы сами говорите, в жизни не встречаются, Певунья!» И знаешь, что она мне сказала в ответ, Марсиаль? – спросила Волчица, и глаза ее вспыхнули от радости.

– Нет, не знаю.

– Она сказала: «Пусть Марсиаль на вас женится, вы оба пообещаете вести честную жизнь, и место, которого вы так жаждете, я изо всех сил постараюсь для вас получить».

– Она пообещала для меня место лесного обходчика?

– Да... именно для тебя...

– Но ты верно говоришь, это просто чудный сон. Если для того, чтобы получить это место, надо только жениться на тебе, славная ты моя Волчица, я бы на тебе завтра и женился, будь у меня только на что жить; потому как с нынешнего дня... ты уже мне жена... понимаешь, моя настоящая жена.

– Марсиаль... я и вправду тебе жена?

– Моя настоящая, моя единственная жена, и я хочу, чтобы ты звала меня своим мужем... как будто мы уже в мэрии побывали.

– О, стало быть, Певунья была права... Знаешь, как это приятно сказать: «Мой муж!» Марсиаль, ты увидишь, какова твоя Волчица в хозяйстве, какова она в работе, ты все это увидишь...

– Ну а это место... Ты действительно веришь?..

– Бедная милая Певунья, коли она ошибается... только в том, что другие захотят нам помочь... Но у нее был такой вид, будто она всем сердцем верит в то, что говорит... Кстати, только что, когда я выходила из тюрьмы на волю, надзирательница мне сказала, что покровители Певуньи, люди очень знатные, добились ее освобождения как раз сегодня; это доказывает, что ее благодетели – люди влиятельные и что она сдержит свое обещание.

– Ах! – вдруг закричал Марсиаль, вставая. – Не знаю, о чем мы только с тобой думаем!

– Что такое?

– Эта молодая девушка... она ведь там, внизу, может, она помирает... нам надо бы ей помочь, а мы тут сидим да разговариваем...

– Не тревожься, Франсуа и Амандина там, возле нее; они бы поднялись наверх, случись там что-нибудь, угрожай ей опасность. Но вообще-то ты прав, пойдем к ней; я хочу, чтобы ты сам на нее поглядел, поглядел на ту, что, может быть, принесет нам счастье.

И Марсиаль, опираясь на руку Волчицы, начал медленно спускаться на первый этаж.

Прежде чем они оба войдут на кухню, мы расскажем читателю о том, что произошло, после того как Лилия-Мария была поручена заботам детей.

Глава III ДОКТОР ГРИФФОН

Франсуа и Амандина только-только успели перенести Лилию-Марию в кухню и уложить ее возле очага, когда граф де Сен-Реми и доктор Гриффон, которые приплыли на остров в лодке Николя, вошли в дом.

Пока дети раздували огонь и подбрасывали в очаг вязанки тополиных ветвей, которые пламя быстро охватывало, весело разгораясь, доктор Гриффон оказывал бездыханной девушке первую помощь.

– Бедняжке на вид не больше семнадцати лет! – воскликнул глубоко растроганный граф.

Потом он спросил, обращаясь к доктору:

– Что вы скажете, друг мой?

– Удары пульса едва различимы; но странная вещь: кожа у нее на лице совсем не посинела, как это обычно происходит, когда человек задыхается, погрузившись в воду, – ответил врач с поразительным хладнокровием, задумчиво глядя на Певунью.

Доктор Гриффон был человек высокого роста, худой, бледный и совершенно лысый, только на затылке у него росли два редких кустика черных волос, которые он старательно зачесывал на виски; лицо со впалыми щеками, изборожденное морщинами от усиленных занятий, было холодное, умное и сосредоточенное.

Обладая огромными познаниями и незаурядным опытом, широко практикующий врач, пользовавшийся громкой известностью и стоявший во главе крупного лазарета (мы еще встретимся с ним позднее), доктор Гриффон имел только один недостаток: он, если можно так выразиться, совершенно отвлекался от больного и занимался лишь болезнью; молод или стар был пациент, богат или беден, была ли то женщина или мужчина – это его мало интересовало, он думал только о том, любопытен ли данный недуг, с точки зрения науки; одно лишь это его занимало.

Вообще все люди существовали для него только как пациенты.

– Какое у нее прелестное личико!.. До чего она хороша, несмотря на чудовищную бледность! – вскричал граф де Сен-Реми, внимательно глядя на Певунью с нескрываемой грустью. – Видали ли вы хоть когда-нибудь такие нежные, такие чистые черты лица, любезный доктор?.. И она так молода... так молода!..

– Возраст тут не имеет никакого значения, – отрывисто ответил доктор Гриффон, – так же, как не имеет значения и то, попала ли вода в легкие, хотя когда-то это считалось смертельным... Но это грубое заблуждение; впрочем, опыты Гудвина... превосходные опыты знаменитого Гудвина это блистательно доказали.

– Но послушайте, доктор...

– Да ведь это же совершенно достоверный факт... – ответил доктор Гриффон, целиком поглощенный своим любимым ремеслом. – Чтобы установить наличие посторонней жидкости в легких, Гудвин несколько раз погружал в чан, наполненный чернилами, собак и кошек; он держал их там несколько мгновений, а потом вытаскивал еще живыми; затем, немного погодя, он препарировал этих славных животных... И что же? Препарировав их, он убедился, что чернила проникли к ним в легкие, однако наличие посторонней жидкости в органах дыхания не привело к смерти его четвероногих пациентов.

Граф знал, что доктор в глубине души человек прекрасный, но неистовая страсть к познанию часто заставляла его казаться жестким, даже почти жестоким.

– Есть ли у вас, по крайней мере, хоть какая-нибудь надежда? – нетерпеливо спросил граф де Сен-Реми.

– Конечности у пациентки совсем ледяные, – ответил врач, – так что надежды остается очень мало.

– Господи! Умереть в таком юном возрасте... бедная девочка!.. Это просто ужасно.

– Зрачок неподвижен... расширен... – невозмутимо продолжал врач, приподнимая краем пальца холодное как лед веко Лилии-Марии.

– Станный вы человек! – воскликнул граф, с трудом сдерживая негодование. – Ведь вас можно счесть безжалостным, а между тем вы бодрствовали над моим ложем целые ночи напролет... Да будь я вам родным братом, вы и тогда бы не выказывали ко мне большую преданность.

Доктор Гриффон, продолжая оказывать помощь Певунье, ответил графу, даже не взглянув на него и не изменяя своей обычной флегматичности:

– Черт побери, неужели вы полагаете, что можно каждый день встретиться с лихорадкой, сопровождаемой расстройством координации движений, с такой на редкость осложненной и

столь любопытной для изучения лихорадкой, как та, которой вы болели?! Это был великолепный медицинский случай!.. Вы слышите, любезный друг, просто великолепный! Ступор, бред, судороги в сухожилиях, внезапные обмороки, да знаете ли вы, что ваша драгоценная лихорадка отличалась множеством самых неожиданных симптомов? Вас даже поражал – а это уж такое редкое, я бы сказал, редчайшее явление! – временный и частичный паралич, если вам угодно знать... Да ради одного этого ваша болезнь имела право на мое пристальное и заботливое внимание: ведь вы поставили передо мной труднейшую и великолепнейшую задачу! Ибо, откровенно говоря, мой любезный друг, у меня теперь только одно заветное желание: встретить еще хотя бы раз такую великолепную лихорадку... Но такой редкостной удачи два раза в жизни не бывает!

Выслушав столь необычную тираду, граф только нетерпеливо пожал плечами.

Как раз в эту минуту в кухню, опираясь на руку Волчицы, спустился Марсиаль; его подруга, как помнит читатель, надела поверх своей вымокшей одежды плащ Тыквы, сшитый из шотландки.

Пораженный бледностью возлюбленного Волчицы и заметив его руки, покрытые запекшейся кровью, граф воскликнул:

– Кто этот человек?

– Мой муж... – ответила Волчица, посмотрев на Марсиаля с неопикуемой добротой и величайшей гордостью.

– У вас замечательная и неустрашимая жена, сударь, – сказал граф Марсиалю, – я сам видел, как она с редким мужеством спасала эту бедную девочку.

– О да, сударь, у меня добрая и неустрашимая жена, – ответил Марсиаль, сделав ударение на последнем слове, в свой черед посмотрев на Волчицу одновременно с нежностью и страстью. – Да, она неустрашима и отважна!.. Ведь она и мне спасла жизнь!..

– Вам тоже? – с удивлением спросил граф.

– Поглядите на его руки, на его бедные израненные руки! – воскликнула Волчица, вытирая слезы, которые смягчили дикий блеск ее глаз.

– Да, это ужасно! – вырвалось у графа. – У бедняги изрублены руки... Взгляните, пожалуйста, доктор.

Немного повернув голову и посмотрев через плечо на многочисленные порезы, которыми Тыква исполосовала руки Марсиаля, доктор Гриффон сказал молодому человеку:

– Сожмите и разожмите кулак. Марсиаль не без труда проделал это.

Доктор пренебрежительно пожал плечами, продолжая хлопотать над Певуньей, и сказал как бы с сожалением:

– Ничего серьезного в этих ранах нет... ни одно из сухожилий не повреждено, через неделю пациент сможет свободно действовать руками.

– Это правда, сударь?! Мой муж не останется калекой? – с благодарностью в голосе вскричала Волчица.

Доктор, не говоря ни слова, отрицательно покачал головой.

– Ну а что с Певуньей, сударь? Она останется в живых, не правда ли? – снова спросила Волчица. – О, она непременно должна жить – и я, и мой муж так ей обязаны!.. – Потом, повернувшись к Марсиалю, она прибавила: – Бедная девочка, видишь, она совсем такая, как я тебе рассказывала... и она, быть может, станет причиной нашего счастья; ведь это она подала мне мысль пойти к тебе и сказать тебе то, что я сказала... Подумать только, и вот по воле случая я спасла ее... и возле твоего дома!..

– Она наше доброе провидение... – проговорил Марсиаль, потрясенный красотой Певуньи. – Какое у нее ангельское личико! Ох, она ведь будет жить, правда, господин доктор?

– Ничего определенного я не могу сказать, – отвечал врач. – Но скажите, может она остаться в этом доме? Будет ли тут за ней надлежащий уход?

– Здесь? – крикнула Волчица. – Да ведь здесь убивают!

– Помолчи! Помолчи! – произнес Марсиаль.

Граф и доктор с удивлением посмотрели на Волчицу.

– Этот дом на острове пользуется дурной славой в округе... так что эти слова меня вовсе не удивляют, – тихо сказал граф де Сен-Реми, наклоняясь к доктору.

– Стало быть, вы были жертвой насилия? – спросил граф у Марсиаля. – Вам тут нанесли эти раны?

– Все это пустое, сударь... Здесь у меня возникла ссора... Потом она перешла в драку... Вот меня и поранили... Но эта молоденькая крестьянка тут оставаться не может, – добавил он с сумрачным видом, – в этом доме не останусь ни я сам... ни моя жена... ни мой младший брат и сестренка, которых вы видите... Мы собираемся оставить остров и никогда сюда больше не вернемся.

– Ох, какое счастье! – хором воскликнули дети.

– Тогда как же нам поступить? – спросил доктор, глядя на Певунью. – Нечего и думать о том, чтобы перевезти пациентку в Париж в том состоянии прострации, в котором она пребывает. Но вот что, ведь мой дом отсюда в двух шагах; моя садовница и ее дочь будут для нее превосходными сиделками... Раз эта чуть не задохнувшаяся утопленница вызывает в вас участие, мой дорогой Сен-Реми, вы будете следить, чтобы за ней заботливо ухаживали, а я стану наведываться и осматривать ее каждый день.

– А вы еще разыгрываете роль безжалостного человека! – воскликнул граф. – На самом же деле у вас самое великодушное сердце, как вы только что нам доказали...

– Если пациентка скончается, а это вполне возможно, мне предстоит сделать весьма интересное вскрытие, оно позволит подтвердить лишний раз утверждение Гудвина.

– То, что вы говорите, просто ужасно! – возмутился граф.

– Для того, кто умеет читать, как положено врачу, труп человека, – это книга, благодаря которой учишься спасать жизни больных, – невозмутимо ответил доктор Гриффон.

– В конце концов вы творите добро, – с горечью сказал г-н де Сен-Реми, – и это главное. Бог с ней, с причиной, лишь бы благодеяние совершалось! Бедная девочка, чем больше я смотрю на нее, тем большее участие она вызывает во мне.

– И она его заслуживает, сударь! – восторженно воскликнула Волчица, подходя ближе.

– Вы ее знаете? – спросил граф.

– Знаю ли я ее, сударь? Ей, должно быть, я буду обязана всем счастьем моей будущей жизни; спасая ее, я сделала для нее меньше, чем она сделала для меня.

И Волчица со страстной любовью взглянула на своего мужа; отныне она больше не называла Марсиаля «своим милым».

– Да кто ж она такая? – снова спросил граф.

– Сударь, она – сущий ангел, она лучше всех на свете. Да, и хоть одета она как крестьянка, нет такой богатой женщины, нет такой знатной дамы, которая говорила бы так хорошо, как она. А ее нежный голосок звучит как райская музыка. Она благородная девушка, и мужественная, и такая добрая!

– А каким образом она упала в воду?

– Вот этого-то я и не знаю, сударь.

– Стало быть, она не крестьянка?

– Крестьянка? Да вы только поглядите на ее белые, маленькие ручки, сударь.

– И то правда, – сказал граф де Сен-Реми. – Тут какая-то тайна!.. Но как ее зовут, как ее фамилия?

– Послушайте, – прервал этот разговор доктор, – надобно перенести пациентку в лодку.

Полчаса спустя Лилия-Мария, которая все еще не пришла в себя, была перенесена в дом врача; ее уложили в хорошую постель и поручили материнскому попечению садовницы г-на Гриффона, к которой присоединилась и Волчица.

Доктор Гриффон пообещал графу де Сен-Реми, который проникался все большим и большим участием к Певунье, возвратиться в тот же вечер, чтобы осмотреть ее.

Марсиаль вместе с Франсуа и Амандиной уехал в Париж, но Волчица не захотела оставить Лилию-Марию до тех пор, пока бедняжка не будет вне опасности.

Остров Черпальщика опустел.

Мы вскоре встретимся с его зловещими обитателями у Краснорукого, где они должны были увидаться с Сычихой, для того чтобы вместе с нею убить г-жу Матье.

Но до этого мы поведем читателя на свидание, которое Том, брат Сары, назначил ужасной мегере, сообщнице Грамотея.

Глава IV ПОРТРЕТ

... Полуженщина, полужмя...
(Вольфганг, действие I, сцена II)

Томас Сейтон, брат графини Сары Мак-Грегор, нетерпеливо прогуливался по бульвару, неподалеку от Обсерватории, когда наконец увидел приближавшуюся Сычиху. Отвратительная старуха была в белом чепце, ее плечи и спину окутывала большая красная клетчатая шаль; кончик круглого и острого, как бритва, стилета величиной с гусиное перо высовывался сквозь дно большой соломенной сумки, которую она несла в руке, и потому любой человек мог заметить грозное острие этого смертоносного оружия, принадлежавшего Грамотею.

Однако Том Сейтон не обратил внимания на то, что Сычиха была вооружена.

– Часы на башне Люксембургского дворца пробили три раза, – прохрипела старуха. – Надеюсь, я не опоздала... пришла тютелька-в-тютельку.

– Идемте, – сказал ей в ответ Томас Сейтон.

Идя впереди Сычихи, он миновал несколько пустырей, вошел в какую-то безлюдную улочку, расположенную против улицы Кассини, остановился посреди этого проезда, перегороженного турникетом, открыл небольшую калитку, сделал знак Сычихе следовать за ним и, пройдя вместе с нею несколько шагов по густо усаженной деревьями аллее, сказал старухе:

– Ждите меня здесь.

И исчез.

– Только бы он не заставил меня прождать его тут слишком долго, – пробормотала Сычиха, – я ведь должна встретиться в пять часов у Краснорукого с Марсиалями, чтобы укокошить торговку драгоценностями. Да, кстати, а как там мой чингал?¹⁸ Ах негодник! Он высунул свой нос в окошечко, – прибавила старуха, видя, что кончик стилета высунулся из плетеной соломенной сумки. – Вот, не надела я на него пробку, он и безобразничает...

Вытащив из сумки стилет, снабженный деревянной рукояткой, она аккуратно уложила его опять в сумку так, чтобы он не был виден.

– Это оружие Громилушки, – проговорила она. – Как он только не выпрашивал его у меня, говорил, что чингал ему необходим, чтобы убивать крыс, они, мол, просто изводят его в подвале!.. Бедные зверьки! Ведь у них чаще всего лишь одна потеха – донимать этого безглазого старика! Ничего, ничего, пусть они его малость погрызут!.. И я не хочу, чтобы он причинял им вред, этим славным крысятам, потому и не отдаю ему чингал... К тому же он мне самой, может, скоро понадобится, чтобы сподручней управиться с этой торговкой... У нее на тридцать тысяч бриллиантов!.. Немало на долю каждого придется! Да, денек, видать, будет удачный... не то что в прошлый раз, когда я к этому разбойнику-нотариусу ходила и надеялась изрядно пощипать его. Ах, черт побери! Сколько я его ни страшала, сколько ни говорила, что, коли он не даст мне денег, я донесу в полицию о том, что его горничная через посредство Турнемина отдала мне Певунью, когда та совсем маленькая была, он совсем не испугался. Обозвал меня старой лгуньей и выставил за дверь... Ладно, ладно! Я напишу письмо без подписи тем людям на ферме, где жила Воровка, и расскажу им, что Жак Ферран бросил девочку еще малым ребенком... Может, они знают ее родных, и, когда Певунья выйдет из тюрьмы Сен-Лазар, этому прохвосту-нотариусу жарко станет... Но кто-то идет. Смотрите-ка... да ведь это та самая бледная дамочка, что была

¹⁸ Кинжал.

переодета мужчиной в тот вечер в кабачке Людоедки, она туда приходила вместе с этим высоким господином, что просил меня здесь обождать, а позднее мы их обоих ограбили вместе с Громилушкой в старых развалинах, возле собора Парижской богородицы, – прибавила Сычиха, заметив, что в конце аллеи показалась Сара Мак-Грегор. – Видать, они опять что-то задумали; ведь мы, должно быть, для этой дамочки выкрали Певунью с фермы. Ну что ж, коли она хорошо заплатит за новое дельце, мне это вполне подходит.

Подойдя ближе к Сычихе, которую Сара видела впервые после описанной нами сцены в кабаке Людоедки, она поглядела на старуху с тем чувством презрения и брезгливости, какое испытывают люди определенного круга, когда им приходится вступать в сделку с проходимцами, которые бывают нужны им либо как сообщники, либо как послушные орудия.

Томас Сейтон, который всегда был деятельным помощником и пособником своей сестры в ее преступных замыслах, хотя он и считал их в общем-то бесполезными, теперь решил отказаться и дальше играть столь постыдную роль; тем не менее он согласился в последний раз помочь сестре установить прямые связи с Сычихой; однако он объявил Саре, что не станет принимать участие в новых кознях, которые они задумают совершить.

Поняв, что ей не удастся вернуть Родольфа, разрушая те узы и привязанности, которые, как она полагала, дороги ему, графиня надеялась теперь, как мы уже говорили, обмануть его с помощью недостойного плутовства, успех которого мог бы помочь ей осуществить ту давнюю мечту, которую лелеяла эта упрямая и жестокая женщина.

Речь шла о том, чтобы убедить Родольфа, будто дочь, которую родила от него Сара Мак-Грегор, не умерла, и найти девушку, какую можно было выдать за эту его дочь.

После короткого молчания Сара сказала Сычихе:

– Ловки ли вы, решительны и не болтливы?

– Я ловка, как обезьяна, решительна, как дог, и нема, как рыба, вот какова я, Сычиха, и такой сотворил меня дьявол, чтобы я могла получше служить вам, коли потребуется... так что я на все способна... – со смехом ответила старуха. – Надеюсь, что мы лихо завладели для вас юной крестьянкой, кстати, она сидит сейчас в тюрьме Сен-Лазар и пробудет там еще добрых два месяца.

– Сейчас не о ней речь, а совсем о других вещах...

– Как вам будет угодно, милая дамочка! Важно только, чтоб вслед за тем, о чем вы меня попросите, появились бы денежки. А уж тогда-то нас с вами водой не разольешь!

Сара Мак-Грегор не могла скрыть гримасу отвращения.

– Должно быть, вы знаете, – спросила она, – каких-нибудь простых людей... людей обездоленных?

– Ну, таких-то в нашем городе побольше, чем миллионеров... только выбирай! Слава богу, нищих в Париже много!

– Мне нужна бедная сиротка, и, главное, такая, что лишилась родителей в раннем детстве. Но этого мало: надо, чтобы у нее было красивое личико, добрый нрав и чтобы было ей не больше семнадцати лет.

Старуха с удивлением посмотрела на Сару.

– Я думаю, такую сиротку отыскать нетрудно, – продолжала графиня, – ведь есть столько подкидышей...

– Ах, вот что вам нужно! Но скажите, милая дамочка, вы, должно, совсем позабыли про Певунью... А ведь она-то как раз вам и нужна!

– Что это еще за Певунья!

– Та самая девчонка, которую мы выкрали для вас с фермы в Букевале!

– Да не о ней теперь речь, я ведь вам уже сказала!

– Да вы меня выслушайте, а главное вознаградите за добрый совет; вам ведь нужна сиротка, кроткая, как овечка, и красивая, как ясный день, и надо, чтоб ей было не больше семнадцати лет, ведь так?

– Вот именно...

– Ну так вот! Возьмите себе Певунью, когда она выйдет на волю из тюрьмы Сен-Лазар; вам

ведь просто повезло, она как будто нарочно для вас создана, потому как ей было всего шесть лет, когда этот проходимец Жак Ферран, а тому уже десять лет, передал мне ее на воспитание да еще добавил тысячу франков в придачу – только бы от нее избавиться... Ведь тогда Турнемин, что сейчас на каторге в Рошфоре, ее ко мне и привел... и сказал, что от этой девчонки хотят избавиться или на худой конец распустить слух, будто она померла...

– Жак Ферран... вы так сказали? – воскликнула Сара столь изменившимся голосом, что Сычиха даже попятилась и опешила. – Нотариус Жак Ферран, – снова заговорила Сара, – поручил вашим заботам этого ребенка... и...

Она не в силах была продолжать.

Волнение графини было слишком сильно; она протянула к Сычихе руки, которые судорожно подергивались; изумление и радость исказили черты ее лица.

– Никак не пойму, чего это вы так всполошились, милая моя дамочка, – сказала старуха. – А ведь это все проще простого... Десять лет тому назад Турнемин, старый мой кореш, мне сказал: «Хочешь взять к себе шестилетнюю девчонку, от которой хотят избавиться? Будет ли она жить или околеет, это не важно; зато заработаешь тысячу франков; а с девчонкой делай что хочешь...»

– С тех пор прошло десять лет?! – воскликнула Сара.

– Ровно десять...

– Это была белокурая девочка?

– Уж такая белокурая...

– И с голубыми глазами?

– С голубыми глазами, а вернее сказать, со светло-синими, как васильки.

– И это та самая... что жила на ферме?..

– Мы упрятали ее в тюрьму Сен-Лазар... Надо сказать, я не думала, что встречу ее в деревне... Воровку-то...

– О господи! Господи! – воскликнула Сара, упав на колени, воздев руки и возведя глаза к небу. – Воистину пути твои неисповедимы... Я простираюсь ниц перед твоим промыслом. О, неужели такое счастье возможно?.. Нет, нет, я все еще не могу в это поверить... это было бы чудесно... нет, быть не может!..

Потом, быстро поднявшись с колен, графиня сказала Сычихе, которая смотрела на нее в полной растерянности:

– Пойдемте...

И Сара пошла впереди старухи быстрым шагом.

Дойдя до конца аллеи, она поднялась на несколько ступенек, что вели к застекленной двери в кабинет, пышно обставленный дорогой мебелью.

Сычиха уже собиралась было последовать за графиней, но та жестом приказала ей оставаться снаружи.

Потом Сара громко позвонила в колокольчик.

На пороге показался слуга.

– Меня ни для кого нет дома... и пусть никто сюда не заходит... понятно?.. Ни один человек...

Слуга вышел из комнаты. Сара для верности закрыла дверь на задвижку. Сычиха слышала приказание, которое графиня отдала слуге, и видела, как та задвинула задвижку.

Потом графиня повернулась к старухе и сказала:

– Входите побыстрее и закройте за собой дверь.

Сычиха вошла в кабинет.

Торопливо отперев секретер, Сара достала оттуда ларец из черного дерева, отнесла его на письменный стол, стоявший посреди комнаты, и сделала знак Сычихе подойти поближе.

В ларце было несколько ящичков, стоявших один на другом: в них лежали великолепные драгоценности.

Графиня так торопилась добраться до самого дна ларца, что поспешно швыряла на стол футляры, в которых красовались изумительные ожерелья, браслеты, диадемы; украшавшие их

рубины, изумруды и бриллианты переливались множеством огней.

Сычиха была ослеплена этим богатством.

Она была вооружена, она была наедине с графиней в запертой комнате; убежать затем из этой комнаты не стоило труда, риска не было никакого...

Адская мысль зародилась в мозгу этой чудовищной женщины. Однако, для того чтобы осуществить новое злодеяние, нужно было осторожно достать из сумки кинжал и подойти вплотную к графине, не вызвав у нее подозрения.

С коварством дикой кошки, которая, крадучись, хищно подбирается к своей добыче, старуха воспользовалась тем, что Сара была целиком занята поисками, и незаметно обошла вокруг стола, отделявшего ее от намеченной жертвы.

Сычиха уже начала было осуществлять свое вероломное намерение, но вдруг ей пришлось застыть на месте.

Графиня вытащила с самого дна шкатулки какой-то медальон, нагнулась над столом, протянула Сычихе дрожащую руку и сказала:

– Поглядите на этот портрет.

– Да это же Воровка! – крикнула старуха, пораженная удивительным сходством. – Ведь на этом портрете та самая девочка, которую мне доверили; так и вижу ее, она была совсем такая, когда ее привел ко мне Турнемин... У нее были длинные вьющиеся локоны, я их тут же обстригла и выгодно продала, черт побери!..

– Вы ее узнаете? Это именно она? О, заклинаю вас, только не обманывайте... только не обманывайте меня!

– Говорю вам, милая дамочка, что это Воровка, она тут совсем как живая, – проговорила Сычиха, стараясь незаметно еще ближе подойти к графине. – Даже сейчас она еще похожа на этот портрет... Коли вы на нее поглядите, просто рот разинете от удивления!

У Сары не вырвался ни горестный крик, ни крик ужаса, когда она узнала, что ее дочь на протяжении десяти лет жила в нищете, всеми покинутая...

Она не испытала ни малейших угрызений совести, вспомнив, что ведь она сама жестоким образом вырвала бедную девочку из того мирного убежища, куда ее поместил Родольф.

Эта бесчеловечная мать даже не стала расспрашивать Сычиху с естественной в подобных обстоятельствах тревогой об ужасном прошлом своего ребенка.

Нет! Честолюбие уже давно задушило в душе графини даже подобие материнского чувства и материнской нежности.

Сейчас ее охватила не радость от того, что нашлась ее дочь, нет, она теперь с новой силой предавалась надежде на то, что ей наконец удастся осуществить свою давнюю горделивую мечту, которую она лелеяла всю жизнь...

Родольф проявил участие к несчастной девочке, он, даже не зная ее, обогрел и приласкал... Что ж будет, когда он узнает, что она... его дочь!!

Ведь он свободен... а она, Сара, теперь вдова...

Перед глазами Сары уже сверкала корона великой герцогини.

Между тем Сычиха, передвигаясь мелкими шажками, наконец подошла к одному из концов стола и уже отвесно пристроила свой кинжал в соломенной сумке, его рукоятка теперь чуть высывалась наружу... так что сжать ее в руке ничего не стоило...

Старуха была теперь всего лишь в нескольких шагах от графини.

– Умеете ли вы писать? – неожиданно спросила Сара.

И, отодвинув рукой ларец и драгоценности, она открыла бювар, лежавший перед чернильницей.

– Нет, сударыня, писать я не обучена, – на всякий случай ответила Сычиха.

– Тогда писать я буду сама под вашу диктовку... Расскажите мне подробно обо всех обстоятельствах, при которых вам передали в руки эту маленькую девочку.

И, усевшись в кресло, стоявшее перед письменным столом, Сара взяла перо и поманила к себе Сычиху. Единственный глаз старухи зловеще засверкал. Наконец-то... она стояла возле самого кресла графини! Сара, склонившись над столом, приготовилась писать.

– Я стану читать вам вслух то, что вы расскажете, читать буду медленно и раздельно, – проговорила графиня, – а вы меня поправите, если я в чем-нибудь ошибусь.

– Ладно, сударыня, – сказала Сычиха, следя за малейшими движениями Сары.

Затем она скользнула правой рукой в свою соломенную сумку, чтобы незаметно ухватиться за рукоятку кинжала.

Графиня начала писать:

«Я заявляю, что...»

Но тут она остановилась и, повернувшись к Сычихе, которая уже нащупала рукоятку своего кинжала, спросила:

– А когда именно вручили вам эту девочку?

– В феврале тысяча восемьсот двадцать седьмого года.

– А кто ее к вам привел? – снова спросила графиня, все так же глядя на Сычиху.

– Пьер Турнемин, он теперь на каторге в Рошфоре... А ему самому девочку отдала госпожа Серафен, экономка нотариуса.

Графиня снова начала писать, а потом вслух прочитала:

«Я заявляю, что в феврале тысяча восемьсот двадцать седьмого года, человек по имени...»

Сычиха достала свой кинжал...

Она уже подняла его, готовясь ударить свою жертву в спину, между лопатками...

Но тут Сара снова обернулась.

Сычиха, боясь, что ее застанут врасплох, поспешно опустала правую руку с кинжалом за спинку кресла, в котором сидела графиня, и нагнулась к ней, чтобы ответить на новый вопрос.

– Я позабыла, как зовут того человека, что привел к вам девочку, – сказала Сара.

– Пьер Турнемин, – ответила Сычиха.

– Пьер Турнемин, – повторила графиня, продолжая писать, – тот, что ныне находится на каторге в Рошфоре, привел ко мне девочку, которую ему вручила экономка господина...

Окончить фразу графине не удалось.

Сычиха, тихонько освободившись от своей соломенной сумки, которая бесшумно скользнула к ее ногам, набросилась на графиню столь же стремительно, сколь яростно, левой рукой она схватила Сару за шею и придавила ее лицо к столу, а правой рукою вонзила ей кинжал в спину, между лопатками...

Это ужасное нападение было совершено с такой быстротой и неожиданностью, что графиня не успела издать ни крика, ни стона.

Она так и осталась сидеть в кресле, уткнувшись лбом в крышку стола. Перо выпало из ее руки.

– Точно таким же ударом Громилушка... уколошил того старичка на улице Руль, – пробормотала чудовищная старуха. – Еще одна, которая никогда больше не заговорит... Ее счеты с жизнью покончены.

Сычиха, торопливо собрав драгоценности и побросав их в свою соломенную сумку, в спешке не заметила, что ее жертва еще дышит.

Совершив ограбление и убийство, отвратительная старуха отперла застекленную дверь и быстро пошла по аллее, обсаженной зеленеющими деревьями, затем проскользнула в небольшую калитку, что вела на безлюдную улицу, и миновала пустыри.

Возле Обсерватории она наняла фиакр, который отвез ее на Елисейские поля, к Красноручному. Читатель уже знает, что вдова Марсиаль, Николая, Тыква и Крючок назначили Сычихе встречу в этом притоне для того, чтобы ограбить и убить там г-жу Матье.

Глава V

АГЕНТ СЫСКНОЙ ПОЛИЦИИ

Читатель уже знаком с кабачком «Кровоточащее сердце», который расположен на Елисейских полях, неподалеку от проспекта Кур-ла-Рен, в одном из широких оврагов, что находился по соседству с этим излюбленным местом для прогулок парижан еще несколько лет тому назад.

Обитатели острова Черпальщика еще не появились.

После отъезда Брадаманти, который, как мы уже знаем, отправился вместе с мачехой маркизы д'Арвиль в Нормандию, Хромуля вернулся жить к своему отцу.

Стоя на страже на верхней ступеньке лестницы, колченогий мальчишка должен был подать знак о приходе Марсиалей условным возгласом; тем временем Краснорукий доверительно беседовал с агентом сыскной полиции, неким Нарсисом Борелем: читатель, быть может, помнит, что мы встречали его в кабачке Людоедки, куда он пришел, чтобы арестовать двух злодеев, обвиненных в убийстве.

Это был человек лет сорока, коренастый и сильный, краснощекий, с острым и пронзительным взглядом; лицо у него было гладко выбрито, для того чтобы ему легче было менять свой внешний вид, что было необходимо во время его сопряженных с опасностью действий, ибо ему часто приходилось соединять способность преображаться, свойственную актерам, с мужеством и энергией солдата для того, чтобы суметь поймать тех или иных преступников, с которыми ему приходилось бороться, прибегая и к хитрости, и к решительности. Словом, Нарсис Борель был одним из самых действенных и полезных орудий того провидения в миниатюре, как скромно и непритязательно именуют полицию.

Но вернемся к той беседе, какую вели Нарсис Борель и Краснорукий... Она, судя по всему, носила весьма оживленный характер.

– Да, вас обвиняют в том, что, пользуясь своим двойственным положением, – говорил агент сыскной полиции, – вы безнаказанно принимаете участие в кражах, которые совершает шайка самых опасных злоумышленников; вы, ничтоже сумняшеся, сообщаете ложные сведения о них сыскной полиции... Берегитесь, Краснорукий, если это подтвердится, с вами поступят безо всякого снисхождения.

– Увы! Я знаю, что меня обвиняют в подобных вещах, и это очень для меня огорчительно, любезный господин Нарсис, – отвечал Краснорукий, придавая своей лисьей мордочке выражение лицемерного сожаления. – Но надеюсь, что нынче мне наконец воздадут должное и мою добросовестность признают безо всяких оговорок.

– Поживем – увидим!

– И как только можно подозревать меня?! Разве я не доказывал много раз свою преданность? Разве не я, скажите прямо, помог вам в свое время арестовать на месте преступления Амбруаза Марсиаля, одного из самых опасных злоумышленников Парижа? Потому как верно говорят: порода, она всегда себя окажет, а порода этих Марсиалей, должно, вывелась в аду, и, если господь бог соизволит, она туда и отправится.

– Все это хорошо, даже превосходно, но ведь Амбруаза-то предупредили, что его собираются арестовать, и не явись я на час раньше того времени, которое вы мне указали, он бы от меня улизнул.

– Неужто вы полагаете, господин Нарсис, что я его тайно предупредил о вашем приходе?

– Я твердо знаю одно: этот разбойник в упор выстрелил в меня из пистолета: к счастью, пуля попала мне в руку.

– Конечно, господин Нарсис, спору нет, что ваше занятие не обходится без таких незадач.

– Ах, вы называете это незадачей!

– Вот именно, потому как этот негодяй наверняка собирался вклепить вам пулю прямо в грудь!

– Целил ли он в руку, в грудь или в голову – не в этом дело, я не о том толкую; в каждом ремесле есть свои неприятности.

– Но зато и свои удовольствия, господин Нарсис, и свои удовольствия! Возьмем, к примеру, такой случай: человек такой смышленный, такой ловкий, такой храбрый, как вы... долгое вре-

мя выслеживает целую шайку преступников, он преследует их, обходя квартал за кварталом, притон за притоном, и делает это с помощью такой надежной ищейки, как ваш покорный слуга, Краснорукий; и вот наконец человек этот, следуя за ними по пятам, загоняет их в мышеловку, из которой ни одному злодею не удастся ускользнуть; признайтесь, господин Нарсис, что такое дело доставит большое удовольствие... истинную радость охотнику... Не говоря уж о той пользе, какую поимка этой шайки принесет правосудию, – с важностью прибавил содержатель кабачка «Кровоточащее сердце».

– Я готов буду согласиться с вами, если ищейка окажется надежной, но только сильно боюсь, что это не так.

– Ах, господин Нарсис, неужто вы думаете...

– Я думаю, что, вместо того чтобы указывать нам верный путь, вы забавляетесь тем, что сбиваете нас с дороги, и таким образом злоупотребляете тем доверием, каким пользуетесь. Каждый день вы обещаете помочь нам захватить эту шайку... но этот счастливый день так никогда и не наступает.

– Ну а коли он наступит именно сегодня, господин Нарсис, в чем я совершенно уверен, и коли я помогу вам заграбастать сразу и Крючка, и Николая Марсиаля, и вдову, и ее дочь, и Сычиху в придачу, тогда вы признаете, что улов будет что надо? Тогда-то вы перестанете меня подозревать?

– Тогда перестану. Больше того, вы окажете нам настоящую услугу, потому что у нас есть очень сильные, почти достоверные подозрения о преступной деятельности этих людей, но веских доказательств, к сожалению, нет.

– Так что небольшая, но надежная улика, которая позволит их замести и разом спутать все их карты, будет вам куда как полезна, господин Нарсис?

– Без всякого сомнения... А вы можете меня заверить, что это не вы подтолкнули их на задуманное ими преступление?

– Я тут ни при чем, клянусь честью! Сама Сычиха явилась и предложила мне заманить сюда торговку драгоценностями: эта чертова одноглазая баба выведала у моего мальчишки, что гранильщик алмазов Морель, что живет на улице Тампль, работает над настоящими драгоценными камнями, а не над фальшивыми, к тому же Сычиха узнала, что тетка Матье часто носит в своей сумке драгоценные камни на знатную сумму... Я притворился, что принимаю предложение Сычихи собраться тут вместе с Марсиалями и Крючком, с тем чтобы вы могли накрыть сразу всю шайку.

– А куда подевался Грамотей, этот опаснейший преступник, наделенный богатырской силой и жестокостью, он ведь всегда действовал заодно с Сычихой? И принадлежал к числу завсегдатаев кабачка Людоедки.

– Грамотей?.. – переспросил Краснорукий, прикидываясь удивленным.

– Ну да, каторжанин, бежавший из Рошфора: его настоящее имя Ансельм Дюренель, и его приговорили к пожизненному заключению. Теперь нам стадо известно, что он изуродовал себе лицо, чтобы стать неузнаваемым... Вы о нем ничего не знаете?

– Ничего... – не моргнув глазом, ответил Краснорукий, у которого были свои резоны для этой лжи, ибо Грамотей был заточен в одном из подвалов под кабачком.

– Есть все основания предполагать, что Грамотей совершил несколько новых убийств. Очень важно было бы поймать его.

– Вот уже месяца полтора о нем ничего не слышно.

– Недаром вас упрекают в том, что вы потеряли его след.

– Все время упреки! Всегда упреки, господин Нарсис!..

– Ну, упрекают-то вас не без причины... А что вы можете сказать о контрабанде?..

– Неужто я должен знать все о людях определенного пошиба! И о контрабандистах тоже? И это для того, чтобы наводить вас на их след?.. Донес же я вам о той трубе, по которой перекачивали спиртное, она тянулась от заставы Трон вплоть до дома на улице...

– Все это я знаю, – сказал Нарсис Борель, прерывая Краснорукого, – но вы ведь доносите на одного злоумышленника, а позволяете скрыться доброму десятку таких же и продолжаете

безнаказанно заниматься темными делишками... Я не сомневаюсь, что вы, как хороший теленок, двух маток сосете, по известной поговорке.

– Ах, господин Борель... не такой я жадный, чтоб заниматься таким бесчестным делом...

– Но это еще не все; на улице Тампль, в доме номер семнадцать, живет некая женщина по фамилии Бюрет, та, что деньги под заклад дает: так вот, ее обвиняют в том, что она скупает у вас краденое.

– Да что я – то могу поделывать, господин Нарсис? Люди до того злы, чего хочешь про тебя наговорят!.. Скажу еще раз: мне приходилось иметь дело со многими людьми, с завзятыми негодяями, я даже прикидываюсь, что я один из них... даже хуже, чем они, а все для того, чтобы они мне доверяли... но знаете, как я страдаю, что мне приходится вести себя как они... у меня просто душа разрывается... а все потому, что я верно и преданно вам служу, понимаете... а то бы я нипочем не стал заниматься такими делами...

– Бедный вы мой... мне от всей души жаль вас.

– Вот вы смеетесь, господин Нарсис... Но коли вы верите этим рассказам, почему вы не устроили облаву у мамыши Бюрет, да и в моем доме обыск не произвели?..

– Сами знаете почему... потому что мы не хотим спугнуть преступников, которых вы обещаете предать в наши руки бог знает с каких пор.

– Я вам выдам их, господин Нарсис; часа не пройдет, как их всех схватят и повяжут... и труда на это большого не потребуется, потому как среди них три бабы; а что касается Крючка и Николая Марсиаля, то они свирепы как тигры, да трусливы как зайцы.

– Тигры ли они или зайцы, – ответил Нарсис Борель, приподнимая длинные полы своего сюртука и показывая на рукоятки двух пистолетов, торчавших из карманов его панталон, – у меня есть, чем их укротить.

– И все-таки вы поступите разумно, коли прихватите с собой парочку ваших людей, господин Нарсис, потому как, когда этих злодеев загонишь в угол, они порою просто сатанеют.

– Я поставлю двух своих людей в вашем небольшом низком зальце, рядом с той комнатой, куда вы пригласите пройти торговку бриллиантами... при первом же крике я войду в одну дверь, а мои люди – в другую.

– Тогда не мешкайте, потому как вся шайка вот-вот соберется, господин Нарсис.

– Ладно, пойду расставляю по местам своих людей. Только бы это не пришлось делать даром, как в прошлые разы.

Беседу их прервал условленный свист, который должен был служить сигналом.

Краснорукий подошел к окну, чтобы увидеть, о чем приближении его предупреждает Хромуля.

– Смотрите-ка, вот и Сычиха пожаловала. Ну что? Теперь-то вы мне верите, господин Нарсис?

– Да, кое о чем это говорит, но дело-то еще не кончено; словом, поглядим, что будет дальше. Ну, я побежал расставлять своих людей по местам.

И агент сыскальной полиции выскользнул в боковую дверь.

Глава VI СЫЧИХА

От торопливого шага, от злобного лихорадочного возбуждения после совершенного грабежа и убийства, от которого она еще не пришла в себя, отвратительная физиономия Сычихи побарговела, а ее единственный зеленый глаз сверкал дикой радостью.

Хромуля следовал за ней вприпрыжку, припадая на ногу.

В ту минуту, когда старуха спускалась с нижних ступенек лестницы, сын Краснорукого, движимый злобным озорством, наступил на волочившийся по земле подол ее платья.

Неожиданная задержка заставила старуху споткнуться. Не сумев удержаться на лестнице, она упала на колени, выставив перед собою обе руки и невольно выпустив драгоценную соломенную сумку, из которой выпал золотой браслет, украшенный изумрудами и отборным жемчу-

гом...

Сычиха, которая при падении содрала кожу с пальцев, торопливо подняла браслет, что не укрылось от пронизательного взгляда Хромули; потом она встала на ноги и вне себя от ярости набросилась на хромого мальчишку, который подошел к ней и лицемерно спросил:

– Ах, господи боже! У вас что, нога подвернулась?

Ничего не ответив Хромуле, Сычиха схватила его за волосы, нагнулась к его лицу и изо всех сил укусила мальчика в щеку; кровь так и брызнула из-под зубов.

Странное дело! Несмотря на свой злобный нрав, несмотря на то, что Хромуля почувствовал ужасную боль, он не издал ни крика, ни жалобы...

Он только вытер кровь с лица и сказал, принужденно смеясь:

– Я предпочел бы, чтоб в следующий раз вы меня так крепко не целовали, Сычиха...

– Злой мальчишка, макака ты этакая, зачем ты нарочно наступил на подол моего платья?..

Хотел, чтоб я упала?

– Я? Да что вы такое говорите?.. Клянусь, что я это сделал не нарочно, любезная моя Сычиха. Разве когда-нибудь ваш Хромуля хотел причинить вам боль?.. Он вас слишком для этого любит; вы можете его, сколько хотите, колотить, грубо с ним обходиться, кусать его, все равно он привязан к вам, как щенок привязан к своему хозяину, – сказал мальчишка вкрадчивым и медовым голоском.

Обманутая притворством Хромули, Сычиха поверила в его слова и ответила:

– В добрый час! Коли я тебя напрасно укусила, это зачтется тебе в другой раз, когда ты того заслужишь, маленький разбойник... Ну ладно, да здравствует радость!.. Нынче я зла не помню... Где твой папаша, этот плут?

– Он дома... Хотите, чтобы я за ним пошел?..

– Не надо. Марсиали уже пожаловали?

– Пока еще нет...

– Стало быть, у меня есть времечко заглянуть к Чертушке; мне нужно с ним поговорить, с этим безглазым стариком...

– Вы спуститесь в подвал к Грамотею? – спросил Хромуля, с трудом скрывая охватившую его дьявольскую радость.

– А тебе-то что до этого?

– Мне?

– Да, тебе. Ты меня спросил об этом с каким-то странным видом.

– Потому что я думаю об одной довольно странной вещи.

– Это еще о какой?

– Думаю, что хорошо бы вам принести ему колоду карт для развлечения, – ответил Хромуля с усмешкой, – это его малость развеселит... А то что у него за игры? Его только крысы кусают! Игра-то, может, и беспроигрышная, да под конец, должно, надоедает.

Сычиха громко расхохоталась этой жестокой шутке и сказала хромому мальчишке:

– Я тебя люблю как мать, макака ты этакая!.. Не знаю ни одного мальчишки более испорченного, чем ты... Ступай и принеси свечу, посветишь мне, когда я буду спускаться в подвал к Громилушке... и дверь там отворить поможешь... Ты ведь знаешь, что одной мне не под силу с ней управиться?

– Нет, дудки! Там, в подвале, слишком темно, – сказал Хромуля, отрицательно покачав головой.

– Что? Что? Ты злой как бес – и трусишь? Хотела бы я на это поглядеть... ступай, да побыстрее, и скажи отцу, что я скоро буду... что я на минуту зашла к Чертушке... потолковать об оглашении к нашей свадьбе... Эхе-хе, – пробормотала чудовищная старуха, осклабясь, – слушайка, да поторопись же, ты будешь у нас дружкой на свадьбе и, коли станешь хорошо себя вести, получишь мою подвязку...

Хромуля с недовольным видом отправился за свечой.

Ожидая его, Сычиха, все еще опьяненная успешной кражей, засунула правую руку в свою соломенную сумку и стала перебирать лежавшие там драгоценности.

Она и хотела-то спуститься в подвал к Грамотею, чтобы на время припрятать там свое сокровище, а вовсе не для того, чтобы, по обыкновению, насладиться муками своей очередной жертвы..

Мы вскоре расскажем читателю, почему с согласия Краснорукого Сычиха водворила Грамотея в тот самый подвал, куда в свое время этот злодей затолкал Родольфа.

Хромуля с подсвечником в руке появился на пороге кабачка.

Сычиха вошла вслед за ним в низкую комнату, где находился широкий люк с двумя дверцами, нам уже знакомый.

Сын Краснорукого заслонял огонек свечи ладонью; он шел перед старухой и начал медленно спускаться по каменной, очень крутой лестнице; ее нижняя ступенька почти упиралась в толстую дверь, ведущую в подвал, который чуть было не сделался могилой Родольфа.

Дойдя до нижней ступеньки, Хромуля притворился, будто он не решается идти дальше вместе с Сычихой.

– Ну чего ты, скверный копуша!.. Ступай вперед, – потребовала старуха, обратившись к нему.

– Черт побери!.. Тут такая темень... а потом вы так торопитесь, Сычиха. Знаете, что я вам скажу?.. Послушайте, я, пожалуй, лучше вернусь наверх... держите-ка подсвечник.

– А как я управлюсь с дверью, болван?! Я ведь одна, без твоей помощи, не смогу отворить дверь в подвал! Ступай, ступай вперед.

– Нет... мне чересчур страшно.

– Смотри-ка, я за тебя сейчас примусь... берегись!..

– Ну, коли вы еще и грозитесь, я пошел наверх...

И Хромуля сделал несколько шагов назад.

– Ну ладно! Слушай... будь молодцом, – снова заговорила Сычиха, подавив гнев, – и я тебе кое-что подарю...

– В добрый час! – отозвался Хромуля, снова спускаясь вниз. – Коли вы будете говорить со мной в таком тоне, вы можете из меня хоть веревки вить, мамаша Сычиха.

– Спускайся, спускайся побыстрее, я очень спешу...

– Идет! Только вы мне пообещайте, что позволите малость подразнить Грамотея.

– В другой раз... нынче у меня времени нет.

– Да недолго, чуть-чуть; дайте мне его только немного побесить...

– Говорю тебе: в другой раз... Я ведь сказала тебе, что сегодня мне недосуг, я наверх спешу.

– А зачем тогда вам открывать дверь в его покой?

– Это тебя не касается. Ну что, скоро ты там? Может, Марсиали уже собрались в кабачке, а мне с ними потолковать надобно... Будь же славным мальчиком, и ты не пожалеешь... иди сюда.

– Знаете, видать, я вас сильно люблю, Сычиха... вы со мной делаете все, что хотите, – сказал Хромуля, медленно приближаясь к старухе.

Тусклый, колеблющийся свет горевшей в подсвечнике свечи слабо освещал темный коридор, черная тень отвратительного мальчишки вырисовывалась на позеленевшей от сырости, потрескавшейся стене.

В конце этого прохода сквозь полутьму можно было различить низкий выщербленный свод, ведущий в подвал, и толстую дверь на ржавых железных петлях; из окружающей тьмы ярким пятном выступали белый чепец и красная клетчатая шаль Сычихи.

После долгих усилий старухи и хромого мальчишки дверь, скрипя на ржавых петлях, отворилась.

Облако сырого пара вырвалось из этой мрачной пещеры, мрачной, как ночь.

Подсвечник, стоявший на земле, отбрасывал блики на первые ступеньки каменной лестницы, ведущей в подвал, ее последние ступеньки полностью терялись во мраке.

Громкий вопль, вернее, дикий рев донесся из глубины подвала.

– Ах! Вот и Чертушка здороваается со своей мамашей, – со злобной иронией прохрипела Сычиха.

И она начала спускаться по ступенькам, чтобы спрятать свою соломенную сумку в каком-нибудь темном закоулке.

– Я хочу есть! – закричал Грамотей, и голос его задрожал от ярости. – Видно, меня решили уморить, как бешеного пса!

– Ты проголодался, котик? – спросила Сычиха, громко расхохотавшись. – Ну что ж!.. Пососи свой большой палец...

Послышалось звяканье цепи, которую сильно натянули... Потом донесся долгий яростный вздох.

– Берегись! Берегись! Не то сделаешь больно своей ножке, как на ферме в Букевале. Бедный ты мой папочка! – вмешался хромой мальчишка.

– А ведь он прав, этот сорванец! Веди себя спокойно, Громилушка, – продолжала старуха. – И кольцо, и сама цепь выкованы на славу, безглазый ты старик, – они ведь куплены у папаша Мику, а он продает добрый товар. Ты ведь сам во всем виноват; зачем было позволять, чтоб тебя связали во сне! А там уж остались пустяки: надеть кольцо на столб, а цепь тебе на ногу и водворить тебя сюда... здесь ведь свежо... и ты тут лучше сохранишься, старый франт!

– Одно только плохо: он тут, пожалуй, мохом обрастет, – вставил Хромуля.

Из подвала снова донеслось звяканье цепи.

– Эй! Эй! Чертушка, что ты скачешь, как майский жук, привязанный за лапку?! – сказала старуха. – Так и кажется, что я это вижу...

– Майский жук, скок! Скок! Скок! Грамотей – твой муженек! – пропел хромоногий мальчишка.

Этот стишок еще больше развеселил Сычиху. Засунув свою сумку в щель в рассевшейся стене, тянувшейся вдоль лестницы, она спросила, выпрямляясь:

– Ты что-нибудь видишь, Чертушка?..

– Ни черта он не видит, – сказал Хромуля.

– А ведь он прав, этот мальчишка! Ну так вот, слушай меня, Громилушка: незачем тебе было, на обратном пути с фермы, валять дурака, добряка из себя строить... незачем было мешать мне обезобразить Воровку, плеснув ей в лицо серную кислоту! Ты тогда вдруг вспомнил о своей молчунье;¹⁹ она, мол, в тебе почему-то заговорила! Я и поняла, что доброе тесто, из которого ты был слеплен, стало скисать, что тебя на честность потянуло... а отсюда только шаг до доноса... и в один прекрасный день ты на нас накапаешь,²⁰ и нас слопают... вот тогда-то, безглазый...

– Вот сейчас безглазый старик тебя и слопают, Сычиха, потому что он оголодал! – крикнул хромой мальчишка, изо всех сил толкнув старуху в спину.

Не ожидавшая этого толчка, Сычиха упала вперед, разразившись ужасным проклятием.

Слышно было, как она покатилась вниз по каменной лестнице.

– Куси... куси... куси!.. Сычиха теперь в твоих руках, Чертушка... Набросься-ка на нее, старик! – завопил Хромуля.

Потом, схватив соломенную сумку, лежавшую под камнем, куда засунула ее старуха, он быстро вскарабкался по лестнице, громко крича со свирепым смехом:

– Ну как, Сычиха? По-моему, этот толчок стоит предыдущего? На сей раз ты уж меня до крови не укусишь. Ах! Ты думала, что я не затаил на тебя зла?.. Нет уж, спасибо... у меня до сих пор кровь идет.

– Я держу ее... Эх, я крепко держу ее! – донесся из глубины подвала голос Грамотея.

– Ну, коли ты ее удержишь, доход пополам! – ответил, оскалившись, Хромуля.

И он остановился на верхней ступеньке лестницы.

– Помогите! – закричала Сычиха сдавленным голосом.

– Спасибо тебе, Хромуля, – вновь послышался хриплый голос Грамотея, – спасибо!

¹⁹ Совесть.

²⁰ Донесешь.

Затем донесся его громкий вздох, выражавший устрашающую радость.

– Знаешь, я прощаю тебе все то зло, что ты мне причинил... – снова раздался голос Грамотея. – И в награду... ты сейчас услышишь, Хромуля, как поет Сычиха! Навостри-ка уши и слушай песню этой птицы, что накликает смерть.

– Bravo!.. Я занял место в передней ложе, – откликнулся хромой мальчишка, усаживаясь на верхней ступеньке лестницы.

Глава VII В ПОДВАЛЕ

Хромуля, сидевший на верхней ступеньке лестницы, высоко поднял подсвечник, стараясь осветить ужасающую сцену, которая разыгрывалась в глубине подвала; однако там царил слишком густой мрак, и слабый свет не мог его рассеять.

Сын Краснорукого ничего не мог разглядеть.

Борьба между Грамотеем и Сычихой была яростной, но приглушенной не слышно было ни слова, ни крика.

Лишь время от времени из подвала доносилось шумное дыхание или подавленный стон, что всегда сопровождает трудные и долгие усилия.

Хромуля, как мы уже сказали, сидевший на каменной ступеньке, принялся размеренно стучать ногами, как это делают зрители, которым не терпится дождаться начала спектакля; затем он испустил крик, характерный для завсегдатаев райка в третьестепенных театрах:

– Эй вы, там!.. Давайте занавес... Начинайте пьесу... Пусть зазвучит музыка!..

– Ох, я тебя крепко держу, не вырвешься, – прохрипел Грамотей на дне подвала, – и ты...

Отчаянная попытка Сычихи вырваться прервала его фразу. Она отбивалась с необычайной силой, какую придает человеку страх смерти.

– Громче... ничего не слышать! – крикнул хромой мальчишка.

– Можешь сколько угодно кусать мне руки, я тебя крепко держу, – снова донесся голос Грамотея.

Затем, когда ему, без сомнения, удалось скрутить Сычиху, он прибавил:

– Так-то оно лучше... А теперь слушай меня...

– Хромуля, позови сюда отца! – закричала Сычиха, задыхаясь. – На помощь!.. На помощь!.. – прохрипела она сдавленным голосом.

– Выгнать вон старуху! Она мешает слушать, – ответил хромой сорванец, покатываясь со смеху. – Долой клаку!

Вопли Сычихи не могли быть никем услышаны, ибо они едва доносились из глубокого подземелья.

Злополучная негодяйка, убедившись, что она не может ждать помощи от сына Краснорукого, решила на последнюю попытку:

– Хромуля, пойдй за отцом, и я отдам тебе свою сумку; в ней полно драгоценностей... я ее спрятала под камнем в стене...

– Какая щедрость! Благодарю вас, сударыня... Да твоя сумка уже давно у меня в руках! Слышишь, как там позвякивают твои камешки?.. – спросил Хромуля, покачивая сумкой. – Но вот что тебе скажу: дай-ка мне немедля горячую лепешку за два су, и я пойду поищу отца!

– Пожалей меня, и я...

Больше ничего Сычиха сказать не сумела.

Снова наступило гробовое молчание.

Хромой мальчишка опять начал размеренно стучать ногами по каменной ступеньке лестницы, где он сидел на корточках, сопровождая свой стук выкриками:

– Так вы все не начинаете? Эй! Давайте, занавес, а не то я вам задам жару!.. Пьесу!.. Музыка!..

– Этаким манером, Сычиха, ты меня не одолеешь и не оглушишь своими криками, – вновь послышался через несколько минут голос Грамотея: ему, как видно, удалось заткнуть рот стару-

хе. – Ты отлично понимаешь, – продолжал он медленно, осипшим голосом, – что я не собираюсь с тобой сразу покончить. Пытка за пытку! Ты довольно заставила меня страдать. Мне надо с тобой долго говорить, о многом рассказать, а уж потом я тебя порешу... да... у нас будет долгий разговор... страшный для тебя... вот какая тебя ждет агония, слышишь?

– Эй, старик, только без глупостей! – закричал, приподнимаясь, хромоногий мальчишка. – Ты уж как следует ее проучи, но большого вреда ей не причиняй. Вот ты сказал, что убьешь ее... Но ведь это только для вида? Не так ли? Я очень привязан к моей Сычихе. Я ведь дал ее тебе, можно сказать, взаймы, так что верни ее в целости... не угрожь ее... Я не хочу, чтоб мою Сычиху ужокошили... Смотри, а не то я за отцом пойду.

– Будь спокоен, она получит только то, что заслужила... Я преподам ей полезный урок... – раздался голос Грамотея: он хотел успокоить Хромулю, боясь, что мальчишка и в самом деле пойдет искать помощи для Сычихи.

– Ну, тогда в добрый час. Bravo! Наконец-то пьеса начинается, – проговорил сын Красно-рукого; он не думал, что Грамотей и в самом деле решил прикончить отвратительную старуху.

– Давай потолкуем с тобой, Сычиха, – заговорил Грамотей ровным голосом. – Прежде всего, видишь ли... после того сна, что я видел на ферме в Букевале, когда у меня перед глазами прошли все мои преступления, после этого сна, от которого я чуть в уме не тронулся... и, верно, еще окончательно тронусь, потому что, когда сидишь один в крошечном мраке, как я, все мысли против воли возвращаются к этому сну... И вот во мне произошла странная перемена... Да... я ужаснулся своей былой жестокости. Во-первых, я не позволил тебе изуродовать Певунью, но то были еще пустяки... Посадив меня на цепь в этом подвале, заставив меня мучиться от голода и от холода, но тем самым избавив от того наваждения, в котором ты меня держала... ты оставила меня наедине с моими ужасными мыслями.

Ох! Тебе не понять, что значит быть одному... всегда одному... да еще с черной завесой перед глазами, как мне говорил неумолимый человек, покаравший меня...

Понимаешь... это так ужасно!

Ведь в этом самом подвале я набросился на него, чтобы убить... и тот же самый подвал стал местом моих мук... И будет, вероятно, моей могилой... Говорю тебе, это просто ужасно. Все, что мне этот человек предсказывал, сбылось. Он мне сказал: «Ты злоупотреблял собственной силой... впредь ты станешь игрушкой тех, кто слабее тебя».

Так оно и случилось.

Он сказал мне: «Отныне, отрезанный от внешнего мира, ты останешься наедине с постоянным воспоминанием о твоих былых преступлениях, и наступит день, когда ты в них раскаешься».

И день этот наступил... одиночество очистило меня...

А я никогда бы не поверил, что такое возможно.

Вот еще одно доказательство того, что... я теперь не такой злодей, каким был раньше: я испытываю огромную радость от того, что ты в моих руках, что ты здесь, исчадие ада... но моя цель не в том, чтобы отомстить тебе за мои муки... а в том, чтобы отомстить тебе за тех, кто стал нашими жертвами. Да я просто выполню долг... когда своими руками покараю тебя, мою со-общницу.

И какой-то внутренний голос говорит мне, что, попади ты мне в руки раньше, много крови... много крови не пролилось бы по твоей вине.

Я ныне прихожу в ужас, думая об убийствах, которые совершил, и все-таки... не покажется ли это тебе странным? Безо всякой боязни, полный уверенности в своей правоте, я скоро убью тебя самым страшным, самым изощренным способом... Скажи... скажи... тебе это понятно?

– Bravo!.. Прекрасно сыграно... безглазый старик! Это задевает за живое! – завопил Хромуля, хлопая в ладоши. – Но ведь ты все это говоришь так, для смеха?

– Конечно, для смеха, – послышался в ответ хриплый голос Грамотея. – Вот что, Сычиха, надо мне наконец объяснить тебе, как я мало-помалу стал раскаиваться. Это признание будет жутким, черствая женщина, но оно докажет также, почему я должен быть беспощаден к тебе, совершая над тобою месть во имя тех, кто был нашими жертвами. Мне надо поторопиться... Ра-

доть от того, что ты здесь, в моих руках... горячит мне кровь... она сильно бьет мне в виски... совсем так, как это бывает, когда я думаю о том жутком сне, и мой ум мешается... Может, это приближается один из тех приступов, которым я теперь подвержен... но у меня хватит времени дать тебе почувствовать, что твоя страшная смерть приближается, вот почему я заставлю тебя выслушать меня до конца.

– Здорово сказано! – крикнул Хромуля. – Сычиха, теперь твой черед подать реплику! Ты что, роли своей не знаешь? Пусть тогда пекарь²¹ подскажет тебе слова, старая!

– Ох, напрасно ты вырываешься и пробуешь меня укусить, – донесся голос Грамотея после короткого молчания, – все равно тебе не освободиться... Ты мне прокусила пальцы до самой кости... Но, если ты не перестанешь дергаться, я вырву тебе язык...

Продолжим наш разговор.

Все время оставаясь один, один во мраке, где стояла гробовая тишина, поначалу я испытывал приступы бессильной ярости... бешеной, но бессильной... Впервые голова у меня пошла кругом. Да... я не спал, но видел все тот же сон... понимаешь? Все тот же сон... Старичок с улицы Руль... Женщина, которую мы утопили... Торговец скотом... И ты... паришь надо всеми этими призраками...

Говорю тебе, это было ужасно.

Я ведь слепой... И мои мысли принимают определенную форму, обрастают плотью, и они непрестанно предстают передо мною такими, будто я их вижу, будто могу пощупать руками... Они воссоздают черты моих жертв. Да если бы мне и не снился этот жуткий сон, все равно мой рассудок, который постоянно погружен в воспоминания, был бы помрачен этими видениями... Без сомнения, когда ты лишен зрения, преследующие тебя, как наваждение, мысли возникают в мозгу точно живые образы... Однако... иногда, когда я, охваченный страхом, покорно взираю на эти призраки... мне начинает казаться, что грозные видения вроде бы немного жалеют меня... Они расплываются, меркнут и исчезают... И тогда мне чудится, будто я просыпаюсь после кошмарного сна... Но я ощущаю себя таким слабым, таким подавленным, таким разбитым... И ты, пожалуй, не поверишь... да еще вдобавок рассмеешься, Сычиха, я плачу... Слышишь? Я плачу... Чего же ты не смеешься? Смейся же... Смейся!..

Из груди Сычихи вырвался сдавленный и глухой стон.

– Да, – продолжал Грамотей, – я плачу, потому что я мучаюсь... И ярость тут не поможет. Я говорю себе: «Завтра, и послезавтра, и всегда я буду во власти тех же самых бредовых видений и того же самого мрачного уныния...»

Какая невыносимая жизнь! Ох, какая невыносимая жизнь!

Ох, отчего я не предпочел смерть, почему я согласился, чтобы меня заживо погребли в этой бездне, которую постоянно углубляют мои собственные мысли! Слепой, одинокий, лишенный свободы... Кто и что может отвлечь от терзающих меня угрызений совести? Никто... ничто... Когда призраки ненадолго перестают проноситься взад и вперед по черной завесе, стоящей у меня перед глазами, начинаются другие муки... Это раздирающие душу мысли. Я говорю себе: «Останься я честным человеком, я бы сейчас был на свободе, я жил бы спокойно и счастливо, окруженный любовью и уважением своих близких... А вместо того я слеп и посажен на цепь в этом подземном узилище, я весь во власти моих прежних сообщников».

Увы! Сожаление об утраченном счастье – это первый шаг к раскаянию.

А когда к раскаянию присоединяется сознание искупления, жестокого и страшного искупления... которое переворачивает всю твою жизнь, превращая ее в бесконечную бессонницу, наполненную галлюцинациями, несущими вездю, или размышлениями, исполненными отчаяния... тогда, быть может, человеческое прощение приходит на смену угрызениям совести и жажде искупления.

– Остерегись, старик! – закричал хромой мальчишка. – Ты повторяешь слова из чужой роли, из роли господина Моэссара... Мы их уже слышали! Слыхали!

²¹ Дьявол.

Но Грамотей не стал даже прислушиваться к выкрику сына Краснорукого.

– Тебя удивляет, что ты слышишь от меня такие речи, Сычиха? Продолжай я упиваться воспоминаниями о своих кровавых преступлениях или о жизни на каторге, во мне так и не произошла бы столь благодетельная перемена. Я это хорошо понимаю. Но о чем мог я думать, когда сидел здесь, слепой, одинокий, терзаемый угрызениями совести, которые оживали во мне? О новых преступлениях? Но как их совершить? О побеге? Но как его осуществить? Ну, а если бы мне даже удалось бежать... куда бы я пошел?.. Что бы стал я делать, очутившись на воле?

Нет, отныне мне предстоит жить вечно в полном мраке, жить, мучась раскаянием и терзаясь из-за страшных, ужасных призраков, которые преследуют меня...

И тем не менее все-таки... слабый луч надежды... вдруг пронизывает окружающий меня мрак... минутный покой утишает мои страдания... Да... порою мне удастся заклясть преследующих меня призраков, противопоставляя им воспоминания о моем честном и мирном прошлом, обращаясь мыслью к первой поре моей молодости, к моему детству...

Видишь ли, по счастью, даже самые закоренелые преступники могут, по крайней мере, припомнить несколько прожитых ими мирных лет, когда они еще ни в чем не были повинны, и они могут противопоставить эти годы своим последующим годам, преступным и кровавым. Ведь никто не рождается злодеем... Даже люди самые порочные в детстве были еще чистыми и даже добрыми... они тоже знали сладостные дни, свойственные этому волшебному возрасту... Так что я, повторяю тебе, ощущаю горькое утешение, говоря себе: «Ныне я окружен всеобщим отвращением и ненавистью, но ведь было такое время, когда и меня любили, когда обо мне заботились, ибо я был добр и никому не причинял вреда...»

Увы! Когда мне это удастся... я мысленно обращаюсь к далекому прошлому... ведь только в воспоминаниях о нем я нахожу некоторое утешение...

Последние слова Грамотей произнес гораздо менее грубым и резким тоном; этот неукротимый человек был, казалось, сильно взволнован. Затем он прибавил:

– Видишь ли, все эти мысли так благотворно влияют на меня, что ярость моя проходит... мужество... сила... стремление покарать тебя слабеет... нет, не стану я проливать твою кровь...

– Bravo, старик! Вот видишь, Сычиха, он угрожал тебе понарошку!.. – закричал Хромуля, хлопая в ладоши.

– Нет, не стану я проливать твою кровь, – снова повторил Грамотей, – ведь это было бы опять убийство... а с меня хватит и трех призраков... а потом, как знать?.. Быть может, однажды и ты тоже расквасишься?

Говоря все это, Грамотей машинально чуть-чуть разжал руки, что дало Сычихе известную свободу движений.

Она немедленно воспользовалась этим, схватила кинжал, который спрятала после попытки убить Сару за корсажем, и нанесла сильный удар Грамотею, чтобы избавиться от него.

Злодей испустил пронзительный крик от сильной боли.

Его свирепая ненависть к Сычихе, жажда мести, ярость, все кровожадные инстинкты внезапно пробудились в нем; он пришел в неистовство от этого неожиданного нападения, и ужасный взрыв гнева помутил его разум, который и так был поколеблен всем пережитым.

– Ах, ехидна!.. Я почувствовал твой ядовитый зуб! – завопил он голосом, дрожащим от бешенства, изо всех сил стиснув Сычиху, которая надеялась освободиться из его железных объятий. – Ты гнездилась в этом подвале... ползала по нему?.. – прибавил он, уже не помня себя. – Но я сейчас раздавлю тебя... змея или сова... Ты, должно, ждала, когда появятся призраки... Да, да, кровь уже бешено стучит у меня в висках... в ушах стоит звон... голова идет кругом... они, верно, вот-вот появятся... Да, я не ошибся... Ох, вот и они... они приближаются из кромешного мрака. До чего они бледны... а их кровь течет и дымится... Тебя это пугает... ты вырываешься... Ну ладно! Будь спокойна, ты их не увидишь, этих призраков... нет... нет ты не увидишь их... мне тебя жаль... и я ослеплю тебя... И ты будешь, как и л, безглазой...

Грамотей ненадолго умолк.

Сычиха испустила такой чудовищный вопль, что хромой мальчишка подпрыгнул на каменной ступеньке и вскочил на ноги.

Отчаянные вопли Сычихи, казалось, усилили до предела слепую ярость Грамотея.

– Пой... – говорил он приглушенным голосом, – пой, Сычиха... пой свою песнь смерти!.. Ты должна быть счастлива, ты ведь больше не видишь призраков трех убитых нами людей... старичка с улицы Руль... женщины, которую мы утопили... торговца скотом... А я, я их вижу, они приближаются... они прикасаются ко мне... Ох! Как им, должно быть, холодно... Ах!..

Последние проблески разума угасли в этом злодее, их потушил его ужасающий крик, крик буйнопомешанного...

Теперь Грамотей больше ничего не говорил, он больше не рассуждал; он действовал и рычал как дикий зверь, отныне он подчинялся только свирепому инстинкту: он истреблял ради истребления!

В крошечном мраке подвала происходило что-то ужасное.

Оттуда доносился только странный топот, непонятное шарканье, время от времени его прерывал глухой шум, могло показаться, что ящик с костями ударяют о камень, и ящик этот, который пытаются расколоть, подпрыгивает и падает наземь.

И каждый удар сопровождался пронзительными, прерывистыми стонами и дьявольским хохотом.

Потом послышалось предсмертное хрипение... как видно, началась агония.

И после этого не слышно было ни стонов, ни воплей.

Лишь по-прежнему доносился непонятный яростный топот... глухие удары... какой-то хруст...

Но вскоре раздался далекий шум шагов и чей-то голос прозвучал под сводом, ведущим в подвал... В начале подземного прохода вспыхнули какие-то огоньки.

Оцепеневший от ужаса Хромуля, который оказался свидетелем мрачной сцены, разразившейся в подвале, – он при ней присутствовал, хотя и не видел ее, – заметил, что несколько человек с фонарями в руках торопливо спускаются по лестнице. В одну минуту в подвал ворвались несколько агентов сыскальной полиции во главе в Нарсисом Борелем, следом за ними туда вбежали солдаты Национальной гвардии.

Хромого мальчишку схватили на первых ступеньках лестницы, ведущей в подвал, он держал в руке соломенную сумку Сычихи.

Нарсис Борель в сопровождении своих помощников первым вошел в подвал, где находился Грамотей.

Все они замерли на месте при виде отвратительного зрелища.

Прикованный цепью, охватывавшей его ногу, к огромному камню, лежавшему посреди подвала, Грамотей – ужасный, чудовищный, со всклокоченной гривой нечесаных волос, с длинной бородой, с пеною на губах, одетый в окровавленные лохмотья, – кружил как бешеный зверь вокруг этого камня, волоча за обе ноги труп Сычихи, голова которой была страшно изуродована, разбита и расплющена. Только после долгой и яростной борьбы удалось вырвать у него из рук кровавые останки его сообщницы и после этого связать его самого.

Преодолев упорное сопротивление Грамотея, полицейским удалось перенести его в низкую залу кабачка Краснорукого, просторную полутемную залу, с одним-единственным окном.

В ней уже сидели в наручниках и под охраной Крючок, Николая Марсиаль, его мать и сестра.

Их арестовали в ту самую минуту, когда они набросились на г-жу Матье и пытались ее придушить.

Сейчас она приходила в себя в соседней комнате.

Лежавший на полу Грамотей, которого с трудом удерживали два агента сыскальной полиции, был легко ранен в руку Сычихой; но он, видимо, окончательно помешался, ибо пыхтел и ревел как бык, которого собираются прикончить. Время от времени по его телу проходила судорога, и он приподнимался, вырываясь из рук державших его людей.

Крючок сидел, понурившись, его обычно бледное лицо было теперь свинцового цвета, губы побелели, свирепые глаза уставились в одну точку, длинные прямые и черные волосы падали на воротник синей блузы, разорванной, когда он пытался сопротивляться; он сидел на скамье,

руки его, перехваченные в запястье стальными наручниками, неподвижно покоились на коленях.

Совсем юношеский вид этого негодяя (ему едва исполнилось восемнадцать лет), правильные черты его безбородого, однако уже испитого и порочного лица делали еще более отвратительной печать разврата и преступления, которой была уже отмечена его жалкая физиономия.

Он не шевелился и не произносил ни слова.

И невозможно было догадаться, говорила эта внешняя невозмутимость о подавленности или о хладнокровной энергии; он часто дышал и время от времени вытирал закованными руками холодный пот со лба.

Рядом с ним сидела Тыква; ее чепец был разорван, рыжеватые волосы, схваченные на затылке шнурком, свисали позади головы редкими и растрепавшимися прядями. Она была не столько подавлена, сколько разгневана, ее пожелтевшие и впалые щеки чуть порозовели; Тыква с презрением смотрела на брата, который в полной прострации сидел на стуле напротив.

Предчувствуя, какая его ждет судьба, этот разбойник ушел в самого себя, он повесил голову, колени его дрожали и стучались друг о друга, злодей был во власти ужаса; зубы его судорожно клацали, и он глухо стонал.

Одна только мамаша Марсиаль, вдова казненного, стоявшая прислонясь к стене, не утратила свойственной ей отваги. Высоко подняв голову, она смотрела вокруг себя твердо и непоколебимо; лицо ее, походившее на медную маску, не выражало ни малейшего волнения...

Однако, увидев Краснорукого, которого препроводили в ту же самую низкую залу, после того как он присутствовал при тщательном обыске, который комиссар полиции и его письмоводитель самолично произвели в доме, однако – повторим – при виде Краснорукого черты лица вдовы против ее воли исказились: небольшие глаза, обычно тусклые, загорелись, как у разъяренной гадюки; губы побелели, и она вытянула вперед закованные руки... Затем, словно пожалев об этом молчаливом выражении гнева и бессильной ярости, она подавила волнение, и на лице ее вновь появилось выражение холодного спокойствия.

Пока комиссар полиции с помощью письмоводителя составлял протокол, Нарсис Борель, довольно потирая руки, с удовлетворением поглядывал на захваченных им злоумышленников; эта важная акция избавляла Париж от шайки опасных преступников; вынужденный признать полезную роль, которую сыграл в этом деле Краснорукий, он не удержался и бросил на кабатчика выразительный взгляд, полный признательности.

Вплоть до суда отец Хромули должен был разделить участь выданных им людей и вместе с ними сидеть в тюрьме; как и все они, он был в наручниках; он даже больше, чем остальные дрожал, разумеется притворно, вид у него был подавленный, он изо всех сил гримасничал, стремясь придать своей лисьей мордочке выражение отчаяния, и временами выпускал жалобные вздохи. Краснорукий то и дело обнимал Хромулю, как будто эти отцовские ласки приносили кабатчику некоторое утешение.

Хромоногий мальчишка был совершенно равнодушен к проявлениям родительской нежности: он только что узнал, что впредь до особого распоряжения ему предстоит отправиться в тюрьму для малолетних преступников.

– Ох, какое это горе – расстаться с моим милым сынишкой! – восклицал Краснорукий, притворяясь разнеженным и растроганным. – Оба мы несчастнее всех, мамаша Марсиаль... ибо нас разлучают с нашими детьми.

Вдова не могла дольше сохранять хладнокровие; она не сомневалась в том, что их предал именно Краснорукий, она это заранее предчувствовала и поэтому крикнула:

– Я знала, что это ты продал моего сына, который сейчас в Тулоне... Вот тебе, Иуда!.. – При этих словах она плюнула в лицо кабатчику. – А теперь ты продаешь нас, наши головы... Ну и пусть! Пусть все поглядят на то, как надо умирать... на то, как умирают настоящие Марсиали!

– Да... мы не испугаемся Курносой, – прибавила Тыква, охваченная диким возбуждением.

Вдова с уничтожающим презрением взглянула на Николая и сказала дочери:

– Этот трус опозорит нас на эшафоте!

Несколько минут спустя вдова и Тыква в сопровождении двух агентов полиции сели в фиакр, который должен был доставить их в тюрьму Сен-Лазар.

Крючок, Николя и Краснорукий были препровождены в тюрьму Форс.

Грамотея отправили в камеру предварительного заключения при тюрьме Консьержери, где имелись помещения, куда временно помещали умалишенных.

Глава VIII ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

... Дурные люди, которые причиняют зло другим, сами не знают, что оно часто оказывается более жестоким, чем им хотелось.

Шиллер.

Валленштейн, действие второе

Через несколько дней после того, как была убита г-жа Серафен, умерла Сычиха и в трактире Краснорукого была арестована шайка злоумышленников, Родольф пришел в дом семнадцать на улице Тампль.

Мы уже говорили о том, что, решив помериться хитростью с Жаком Ферраном, разоблачить его тайные преступления, принудить нотариуса их исправить и страшным образом покарать этого негодяя, если тот с помощью присущей ему ловкости и лицемерия сумеет избежать возмездия закона, Родольф приказал доставить в Париж из немецкой тюрьмы креолку – недостойную жену негра Давида.

Эта женщина, столь же красивая, сколько порочная, и столь же очаровательная, сколько опасная, прибыла в столицу накануне, получив предварительно подробные указания от фон Грауна.

Читатель уже знает из последнего разговора Родольфа с г-жой Пипле, что она весьма искусно предложила г-же Серафен взять Сесили в услужение вместо Луизы Морель; домоправительница нотариуса охотно приняла это предложение и обещала переговорить об этом с Жаком Ферраном, что она и сделала, всячески расхвалив Сесили своему хозяину утром того дня, когда ее самое утопили возле острова Черпальщика.

Родольф пришел для того, чтобы узнать, как прошло первое знакомство Сесили с нотариусом.

К своему величайшему удивлению, он, войдя в швейцарскую, обнаружил, что, хотя уже было одиннадцать часов утра, г-н Пипле еще лежит в постели, а Анастаси стоит возле его ложа и собирается поить его каким-то отваром; привратник, однако, не шевелился и ничего не отвечал жене, его лоб и глаза были скрыты огромным хлопчатобумажным колпаком; решив, что муж еще не проснулся, Анастаси задернула полог его кровати; обернувшись, она увидела Родольфа. Немедля, по своей привычке, она стала навтыяжку и поднесла свою левую ладонь к парику.

– Я вся к вашим услугам, лучший из моих жильцов, – сказала она. – Знаете, я совершенно потеряна, ошеломлена и нахожусь в полном изнеможении. В нашем доме такое творится... не говоря уж о том, что Альфред со вчерашнего дня не встает с постели.

– А что с ним такое?

– Об этом можно и не спрашивать!

– Но что все-таки случилось?

– Да все то же самое. Этот изверг все больше и больше терзает Альфреда, он сведет его с ума, у меня уже просто руки опускаются...

– Опять Кабрион?!

– Опять он.

– Да он просто сатана!

– В конце концов я в это поверю, господин Родольф: дело в том, что этот мерзавец все время угадывает, когда меня нет дома... Только я шагну за порог, а он уж тут как тут и подкрадывается к моему милому старичку, а тот-то ведь беззащитен, как малое дитя. Еще вчера, когда я уходила к нотариусу, к господину Феррану... Кстати, и там немало новостей.

– Ну, а что Сесили, – с живостью спросил Родольф, – я как раз и пришел осведомиться...

– Подождите, лучший из моих жильцов, не сбивайте меня; я должна столько... столько вещей вам рассказать... что, коли вы меня перебьете, я совсем запутаюсь.

– Хорошо... я вас слушаю.

– Прежде всего о том, что в нашем доме делается: представьте себе, арестовали тетку Бюрет.

– Это ту, что ссужает деньги под залог, она, кажется, на третьем этаже живет?

– Господи боже, она самая! У нее, видимо, было еще немало других занятий! Она ведь не просто процентщица была, а еще и темными делишками промышляла: краденое укрывала, ворованное покупала, закладов не возвращала, одних улещала да ублажала, других же развращала да совращала. И все-то у нее, у мошенницы, складно выходило! А всего хуже, что ее старого хахала, Краснорукого-то, нашего главного квартиросъемщика, тоже под стражу взяли... Говорю вам, весь наш дом просто ходуном ходит, вот оно что!

– Краснорукого... тоже арестовали?

– Да, его прямо в собственном кабачке на Елисейских полях сцапали; там всех замели, даже его сыночка Хромулю, этого скверного колченогого мальчишку... Говорят, у него там кучу убийств совершили, там целая шайка злодеев собиралась; Сычиху, одну из подружек тетки Бюрет, придушили, и, не подоспей вовремя полиция, они бы прикончили мамашу Матье, торговку бриллиантами, ту, что работу Морелю давала, этому бедняку... Видали, какие новости!

– Краснорукого взяли под стражу! Сычиху убили! – удивленно прошептал Родольф. – Эта ужасная старуха заслужила такой участи, по крайней мере, теперь бедняжка Лилия-Мария отомщена.

– Да, вот что у нас здесь произошло... не считая новой подлой выходки этого Кабриона, я вам сейчас расскажу, что проделал этот разбойник... Вы сами убедитесь, до чего он обнаглел! Когда арестовали тетку Бюрет и мы узнали о том, что наш главный квартиронаниматель Краснорукий тоже попался, я сказала моему дорогому старичку: «Сбегай-ка немедля к домовладельцу и сообщи ему, что Краснорукий угодил в тюрьму». Альфред и ушел. Часа через два он возвращается... ни жив ни мертв и дышит как загнанная лошадь.

– А что с ним произошло?

– Сейчас узнаете, господин Родольф! Представьте себе, шагах в десяти от нас тянется длинная белая стена; и вот мой старичок, выйдя из дома, ненароком поглядел на эту стену... и что же он там увидел? Крупными буквами углем там было написано: «Пипле – Кабрион». Оба имени были соединены жирной чертой; эта черта, соединяющая моего Альфреда с этим проходимцем Кабрионом, больше всего задела моего старичка. Словом, надпись эта выбила его из колеи. Прошел он еще шагов десять, и что вы думаете? На больших воротах такая же надпись: «Пипле – Кабрион»! И опять между ними черная черта! Пошел он дальше, и вот, господин Родольф, чуть ли не на каждом шагу видит, что на домах, на воротах – повсюду красуются те же имена: Пипле и рядом – этот окаянный Кабрион! У бедного моего Альфреда просто искры из глаз посыпались! Ему казалось, что все прохожие оглядываются на него; от стыда он надвинул свою шляпу на лоб и на глаза. Затем он направился на бульвар, надеясь, что этот проходимец Кабрион писал свои гадости только на улице Тампль. Как бы не так!.. На домах, стоящих вдоль бульвара, везде, где только было можно, виднелась надпись: «Пипле – Кабрион до самой смерти»!! Наконец мой бедный Альфред с трудом доплелся до жилья владельца нашего дома, мой бедный муж был настолько не в себе, что целых четверть часа что-то лепетал, бормотал, запинаясь и мямлил, стоя перед домовладельцем, который, понятно, ничего не понял из того, о чем говорил ему мой супруг; потеряв терпение, домовладелец обозвал моего старичка болваном и приказал ему прислать меня для объяснений. Ладно! Альфред вышел от него и направился домой уже другой дорогой: он не хотел больше видеть своего имени, начертанного на стенах рядом с именем Кабриона... Но не тут-то было!..

– Что? Ему опять попала на глаза надпись: «Пипле – Кабрион»?

– Вы как в воду глядели, лучший из моих жильцов! И потому мой злополучный супруг вернулся домой ни жив ни мертв, он был до того растерян и подавлен, что решил бежать из страны. Когда он мне все рассказал, я, как могла, успокоила его и ушла, повела мадемуазель Се-

силы знакомиться с нотариусом... а уж потом я намеревалась заглянуть к нашему домовладельцу... И вы думаете, что на этом конец? Как бы не так! Не успела я выйти за дверь, как Кабрион, дожидавшийся, когда я уйду из дома, набрался нахальства и прислал сюда двух мерзавок, и эти наглые бабы принялись терзать Альфреда... Знаете, у меня просто волосы дыбом встают... но я вам немного погодя все расскажу... а теперь лучше покончим с нотариусом.

Стало быть, я села в фиакр с мадемуазель Сесили, как вы мне посоветовали... Она была в своем красивом костюме немецкой крестьяночки; я собиралась сказать господину Феррану, что она в нем приехала и у нее не было времени купить себе другое платье.

Хотите верьте, хотите нет, господин Родольф, но я увидела на своем веку немало красивых девиц; да я и сама в пору ранней молодости была хоть куда, но я никогда не встречала девицы – я и о себе молодой говорю, – которой Сесили не могла бы дать сто очков вперед... Самое главное, во взгляде ее огромных черных глаз, этих дьявольских глаз... есть что-то... есть что-то... словом, что-то эдакое непонятное, но, можно сказать наверняка, взгляд этот сражает тебя наповал... Ну и глазищи у нее!

Вот что я вам скажу: мой Альфред – вне подозрения! Но, когда она в первый раз на него поглядела, он стал красный, как свекла, бедный мой старичок!.. И потом целый час ерзал на стуле, как будто на крапиве сидел; а потом он мне признался, что уж и сам не знает почему, но взгляд Сесили напомнил ему о тех диких историях, какие ему рассказывал этот бесстыжий Брадаманти, вгоняя в краску моего добродетельного старичка, моего застенчивого Альфреда...

– Ну а что нотариус? Что нотариус?

– Я как раз об этом-то и хочу вам рассказать, господин Родольф. Приехали мы к господину Феррану часов в семь вечера; я попросила привратника передать его хозяину, что пришла госпожа Пипле со служанкой, о которой ему, должно быть, говорила госпожа Серафен, она-то и велела с нею прийти. И тут привратник тяжело вздыхает и спрашивает меня, знаю ли я о том, что приключилось с госпожой Серафен? Я говорю, что ничего про это не знаю... Ах, господин Родольф, вот вам еще одна потрясающая история!

– А что именно произошло?

– Серафенша поехала за город с какой-то своей родственницей и потонула.

– Утонула?.. Отправилась за город зимой?! – спросил с удивлением Родольф.

– Господи боже, господин Родольф, говорю вам, что она потонула... И меня это скорее удивляет, чем огорчает; ведь после беды, что случилась с бедняжкой Луизой, на которую Серафенша донесла, я ее, эту Серафеншу, терпеть не могла! Так что, признаюсь, я сказала себе: «Она потонула, туда ей и дорога! Она потонула... ну и что?.. Я из-за этого не помру...» Уж такая я есть!

– А что господин Ферран?

– Привратник сперва сказал мне, что вряд ли я смогу повидать его хозяина, но все же попросил меня обождать у него в швейцарской; а через минуту он явился за мной; мы прошли двором и потом оказались в какой-то комнате на первом этаже.

Там догорала восковая свеча, больше никакого света не было. Сам нотариус сидел в углу, возле очага, где чадили полупотухшие головешки... Прямо не комната, а берлога! Я прежде никогда не видала господина Феррана... Боже правый! До чего ж он дурен! Если бы такой, как он, предложил бы мне трон в Аравии, лишь бы я согласилась наставить рога моему Альфреду...

– А как вам показалось, нотариус был поражен красотой Сесили?

– Разве что поймешь по его лицу, когда он в зеленых очках... Но такой старый святоша вряд ли хорошо разбирается в женщинах. Однако, когда мы обе вошли в комнату, он вроде бы подскочил на стуле; верно, удивился при виде эльзасского костюма Сесили: потому как она в своих коротких юбочках и синих чулках с красными стрелками, облежавших ее стройные ножки, походила на крестьянок, что торгуют метелочками, только она в тысячу раз лучше! Черт побери, какие у нее икры!.. А точеные щиколотки!.. А крошечные ступни!.. Словом, нотариус при виде ее просто оторопел.

– Должно быть, его поразил причудливый костюм Сесили?

– Надо думать! Но приближалась решающая минута. Хорошо, что я припомнила то изрече-

ние, о котором вы мне как-то говорили, это меня и выручило.

– О каком изречении идет речь?

– Помните, вы сказали: «Если один чего-нибудь хочет, другой нипочем не согласится, а если один чего-либо не хочет, другой непременно сделает». И тогда я сама себе сказала: «Надо мне помочь лучшему из моих жильцов избавиться от его немки, уговорив хозяина Луизы. Ладно, смелее! Надо только хорошенько притвориться». И вот, не дав нотариусу дух перевести, я ему и говорю:

«Вы уж нас простите, сударь, за то, что моя племянница одета так, как в ее краях одеваются; но она только приехала, другого наряда у нее нет, а мне не на что ей другое платье купить, тем более что и смысла нет. Мы и пришли к вам только потому, что вы госпоже Серафен сказали, будто согласны повидать Сесили, потому как я о ней хорошо отзывалась. Но только я не думаю, что Сесили вам подойдет».

– Очень хорошо, госпожа Пипле, – заметил Родольф.

«Почему это ваша племянница мне не подойдет?» – спросил нотариус: он по-прежнему сидел в углу возле очага и смотрел на нас поверх очков.

«Потому что Сесили уже начала скучать по родным местам, сударь. Она здесь всего третий день, а уже хочет вернуться назад, говорит, что согласна даже просить милостыню на большой дороге, торгуя метелочками, как ее односельчанки».

«А вы, ее родственница, согласитесь на это?» – спросил меня нотариус.

«Так-то оно так, сударь, я и вправду ей родня; но только она хоть и сирота, но ей уже двадцать лет, и она вольна поступать как ей вздумается».

«Полноте! Вольна поступать как ей вздумается! В ее возрасте надо слушаться родных», – резко сказал господин Ферран.

И тут Сесили принялась хныкать, вся дрожа, она прижалась ко мне: как видно, нотариус нагнал на нее страху...

– А что же господин Ферран? – спросил Родольф.

– Он все что-то бормотал, а потом сказал ворчливым голосом: «Покинуть на произвол судьбы девицу в таком возрасте, да это значит – желать ее гибели! Хорошенький выход придумали: пусть, мол, она возвращается в Германию, прося милостыню по дорогам! И вы, ее тетка, соглашаетесь на это?..»

«Хорошо, хорошо! – сказала я про себя. – Ты сам лезешь вперед, скряга, уж теперь-то я всучу тебе Сесили, не будь я Анастаси Пипле!»

«Я и вправду ей тетка, – ответила я тоже ворчливо, – но меня родство с ней не радует, у меня и без нее хлопот полон рот! По мне, уж лучше, чтоб она вернулась восвояси, не будет у меня на шее сидеть. Черт бы побрал родственников, которые присылают нам такую вот взрослую девицу, не научив ее, как надо жить!»

И тут Сесили, которая вроде бы что-то хотела сказать, вдруг залилась слезами... А нотариус прочистил горло, как проповедник, и громко заговорил:

«Вы отвечаете перед господом богом за эту девицу, которую провидение вручило вам как дар, и будет преступлением толкнуть ее на гибельный путь! Я согласен помочь вам в богоугодном деле: если ваша племянница пообещает мне быть работающей, честной и богобоязненной, особенно если она твердо пообещает никогда и ни под каким видом не отлучаться из дому, я тогда проявлю к ней жалость и возьму ее к себе в услужение».

«Нет, нет, лучше уж я вернусь домой», – проговорила сквозь слезы Сесили.

«Да, ее опасное коварство по-прежнему при ней... – подумал Родольф. – Вот адское создание! Но я вижу, что она превосходно поняла то, что ей наказывал барон фон Граун».

Вслух принц спросил:

– А что, господин Ферран был, верно, недоволен упрямством Сесили?

– Да, господин Родольф; он сперва что-то пробурчал, а потом резко сказал:

«Дело не в том, что вы считаете для себя лучшим, мадемуазель, вы должны поступать так, как должно, и делать то, что приличествует. Господь бог не оставит вас, если вы будете вести себя достойно и станете исполнять все религиозные обряды. Жить вы будете в моем доме, дом

этот весьма строгий, но богобоязненный; если тетушка вас в самом деле любит, она воспользуется моим предложением; сначала я вам положу скромное жалованье, но, если вы своим благонамерением и рвением заслужите большего, позднее, быть может, я его увеличу».

«Дело идет на лад! – сказала я себе. – Наш нотариус попался. Вот я и всучила тебе Сесили, старый скряга, бессердечный старик! Ведь Серафенша сколько лет у тебя служила, а ты даже и не вспоминаешь о том, что она только позавчера потонула...» А вслух я сказала:

«Спору нет, сударь, место у вас завидное, но что поделаешь, коли девчонка по родным краям скучает...»

«Поскучает и перестанет, – говорит мне в ответ нотариус. – Ну вот что, решайтесь... говорите прямо: «да» или «нет»? Ежели вы согласны, приводите ко мне завтра вашу племянницу в это же время, и она тотчас же поступит ко мне в услужение... Привратник объяснит ей все, что надо будет делать... Ну а что до жалованья, то я на первых порах положу ей двадцать франков в месяц, и питаться она здесь будет».

«Ах, сударь, накиньте хотя бы еще пять франков!..»

«Нет, там видно будет... Если я буду ею доволен, тогда поглядим... Но только я вас заранее предупреждаю, что племянница ваша никуда из дому выходить не будет, и к ней пусть никто сюда не является».

«Ох ты, господи! Да кто к ней может сюда прийти, господин хороший? Кроме меня, она никого в Париже не знает, а мне надо дом сторожить; я и так с трудом освободилась, чтобы ее к вам привести; так что вы и меня здесь больше не увидите, она теперь для меня как посторонняя будет, вроде бы она и не приезжала в Париж из своей стороны. Ну а чтоб она никуда из дому не выходила, то это проще простого: пусть она и дальше щеголяет в своем эльзасском костюме, в таком виде она не посмеет выйти на улицу».

«Вы совершенно правы, – говорит мне в ответ нотариус. – А к тому же вполне благопристойно для юной девицы быть одетой так, как одеваются у нее на родине... Пусть она остается одетой, как и положено эльзаске».

«Ну вот что, – сказала я Сесили, которая, понурившись, продолжала хныкать, – надо тебе решаться, моя милая: хорошее место в таком почтенном доме не каждый день найдешь; ну а коли ты откажешься, тогда устраивайся как хочешь, я больше твоими делами заниматься не стану».

И тут Сесили с тяжелым вздохом, скрепя сердце отвечает, что она согласна остаться в доме у нотариуса, но, если и через две недели ее будет точить тоска по родным краям, она уйдет и вернется восвояси.

«Я вас силком удерживать не намерен, – говорит господин Ферран, – мне нетрудно подыскать себе служанку. Вот вам задаток, и пусть ваша тетушка приведет вас сюда завтра вечером».

Сесили продолжала хныкать. Я взяла у нотариуса задаток для нее: этот старый скаред дал всего сорок су, и мы возвратились сюда.

– Превосходно, госпожа Пипле! – воскликнул Родольф. – Я своего обещания не забыл, вот обещанные вам деньги за то, что вы пристроили эту злополучную девицу и избавили меня от забот о ней.

– Подождем до завтрашнего вечера, лучший из моих жильцов, – сказала г-жа Пипле, не беря протянутые ей Родольфом деньги, – а ну, как господин Ферран возьмет да и передумает, когда я завтра вечером приведу к нему Сесили...

– Не допускаю, что он вдруг передумает, – возразил Родольф. – Кстати, а где сейчас Сесили?

– Сидит в комнате, что находится рядом с квартирой отставного майора; она, как вы ей наказали, никуда не выходит; на вид она такая послушная, что твоя овечка, хотя глаза у нее... Ах! Какие у нее глаза!.. Да, кстати, об этом майоре, вот уж, доложу вам, каверзник, каких мало! Он тут сюда заявился, когда его мебель перевозили, и сказал мне, что если будут приходить письма на имя госпожи Венсан, то это письма для него и надо их переслать ему на улицу Мондови, в дом номер пять. Хороша птица! Каков хитрец: велит писать ему на имя какой-то женщины!.. Но это еще не все, у него хватило нахальства спросить у меня, куда делись его дрова!.. «Ваши дрова?! Может, вы еще спросите, куда подевалась ваша роща?» – переспросила я. Ну да,

после него и вправду остались две жалких повозки дров... но каких дров? Почти все сырые да трухлявые, ведь этот скупердяй сухих дров почти не покупал, деньги берег!.. А еще кочевряжится! «Мои дрова!» А я ему и выложила: «Сожгла я ваши дрова, чтобы ваши пожитки не отсырели! Коли бы не я, на вашей расшитой ермолке шампиньоны выросли, да и на вашем халате зеленом тоже, на том самом, в каком вы часто щеголяете, ожидая свою дамочку, да только напрасно наряжались, она ведь насмеялась над вами...»

Глухой и жалобный стон Альфреда заставил г-жу Пипле прервать свою речь.

– Вот мой милый старичок голос подает, должно, проснулся... Вы позволите мне к нему подойти, лучший из моих жильцов?

– Разумеется... Но потом я хочу еще кое о чем вас спросить...

– Ну, как ты себя чувствуешь, милый? – спросила г-жа Пипле у мужа, отодвигая полог. – Видишь, вот и господин Родольф, он уже знает о новой гнусной выходке Кабриона и от всего сердца жалеет тебя.

– Ах, сударь! – воскликнул привратник, с трудом поворачивая голову и глядя на Родольфа. – На сей раз мне не оправиться, изверг поразил меня в самое сердце. Надо мной теперь насмеяется весь Париж... На стенах чуть ли не всех домов столицы можно прочесть мое имя... соединенное с именем этого негодяя. Всюду написано «Пипле – Кабрион», и наши имена соединяет жирная черта... Понимаете, сударь... длинная и жирная черта... Подумать только; в глазах жителей столицы Европы я... мое имя теперь нераздельно с именем этого окаянного озорника!

– Господин Родольф об этом уже знает, но чего он не знает так это твоего вчерашнего приключения с теми двумя здоровенными девками, этими мерзавками!

– Ах, сударь, – заговорил Альфред жалобным тоном, – этот изверг приберег напоследок самую чудовищную гнусность, она уже переходит все границы.

– Послушайте, любезный господин Пипле, расскажите-ка мне подробнее о вашей новой беде.

– Все, чем он меня до сих пор донимал, не идет ни в какое сравнение с этой его выходкой... Он, сударь, дошел до предела... Он прибегнул к самым постыдным приемам... Не знаю, хватит ли у меня сил рассказать обо всем вам... Смущение, стыд будут останавливать меня на каждом шагу.

Господин Пипле с трудом приподнялся на своем ложе, стыдливо прикрыл грудь отворотами своего шерстяного жилета и начал свой рассказ такими словами:

– Супруга моя перед этим куда-то вышла; я был поглощен горестными размышлениями по поводу того, что мое имя было опозорено – ведь оно написано рядом с именем этого негодяя на стенах чуть ли не всех домов столицы; и вот, чтобы немного отвлечься, я принялся подбивать подметки на паре сапог – я уже раз двадцать брался за них и откладывал в сторону из-за того, что мой палач постоянно преследовал меня. Я присел к столу и вдруг увидел, что дверь швейцарской отворяется и входит какая-то женщина.

Она была в плаще с капюшоном; я из учтивости приподнялся со стула и поднес ладонь к своему цилиндру. И в эту минуту вторая женщина, на которой тоже был плащ с капюшоном, входит в швейцарскую и запирает за собой дверь.

Немного удивленный такой бесцеремонностью, а также тем, что обе женщины хранили полное молчание, я снова встаю со стула и впяты подношу ладонь к шляпе... И тут, сударь, нет, нет, я никогда не решусь продолжать... Моя стыдливость восстает против этого...

– Послушай, старый святоша... мы ведь тут все мужчины... рассказывай дальше.

– И тогда, – вновь заговорил Альфред, красный как рак, – их плащи внезапно падают на пол, и что я вижу? Передо мной стоят не то сирены, не то нимфы, безо всякой одежды, если не считать туники из листьев, с венками, тоже из листьев на голове; я просто окаменел. И тогда они обе приближаются, протягивают ко мне руки, чтобы обнять меня и ввергнуть...²²

– Мерзавки! – вспыхнула Анастаси.

²² То были две танцовщицы из театра Порт-Сен-Мартен, приятельницы Кабриона, в балетных трико.

– Заигрывание этих бесстыдниц, – продолжал привратник, охваченный целомудренным негодованием, – глубоко возмутило меня; и, следуя своей привычке, которой я неизменно придерживаюсь во всех самых трудных обстоятельствах моей жизни, я сидел не шевелясь на своем стуле; и тогда, воспользовавшись тем, что я словно бы остолбенел, обе сирены, шагая точно под музыку, стали приближаться ко мне, дрыгая ногами и описывая в воздухе круги руками... Я по-прежнему сидел не шелохнувшись. А они подошли ко мне совсем вплотную и... обняли меня.

– Мерзавки... Вздумали обнимать человека в летах, да к тому же еще и женатого! – возмутилась Анастаси. – Ах, будь я при этом... с метлою в руках... я бы им показала, как ходят под музыку и дрыгают ногами... Потаскухи несчастные!

– Когда я почувствовал, что они меня обнимают, – продолжал Альфред, – у меня кровь в жилах остановилась... Мне показалось, что я умираю... И тут одна из сирен... самая нахальная, такая высокая блондинка, склонилась ко мне на плечо, сорвала с меня шляпу и обнажила мне голову, все это она проделала, приплясывая и описывая круги руками. А ее подружка, ее сообщница, вытащила из-под окутывавшей ее листвы ножницы, собрала в толстую прядь волосы, те, что еще росли у меня на затылке, и все их обрезала, слышите, сударь, все, без остатка... и тоже при этом приплясывала; а потом она пропела, притоптывая ногой: «Это – для Кабриона... Это – для Кабриона!»

Наступила пауза, прерываемая жалобными вздохами привратника. Потом он продолжал свой рассказ:

– Наглое насилие надо мной продолжалось... я в отчаянии поднял глаза и увидел, что к застекленной двери швейцарской снаружи прижалась адская физиономия Кабриона: на голове у него была остроконечная шляпа, а козлиная его борода чуть растрепалась... И он смеялся, смеялся... Он был до того противный! Чтобы не видеть этой отвратительной образины, я прикрыл глаза... А когда я их снова открыл, все исчезло... Я по-прежнему сидел на стуле... с обнаженной головою и совсем без волос! Вы теперь сами видите, сударь, что Кабрион этот с помощью коварства добился своей цели. Сколько он при этом выказал упорства и наглости, к каким средствам прибегал! Боже правый... И этот человек пытался выдать меня за своего друга!.. Сперва он написал тут на вывеске, будто мы оказываем дружеские и прочие услуги. Но, не довольствуясь этим... он добился того, что ныне наши имена красуются рядом – он соединил их жирной чертой – чуть ли не на всех домах столицы. И теперь в Париже не осталось ни одного человека, который может усомниться в том, что меня связывает тесная дружба с этим проходимцем; мало того, негодяй пожелал завладеть моими волосами, и он их получил... все до последнего волоска, они достались ему благодаря плутовству этих бесстыжих сирен. И теперь, сударь, сами видите, что мне остается только одно: покинуть Францию... мою прекрасную Францию... где я надеялся всегда жить и умереть.

С этими словами Альфред откинулся на спину и в отчаянии сложил руки.

– Напротив, милый мой старичок! – воскликнула г-жа Пипле. – Теперь, заполучив твои волосы, изверг оставит тебя в покое.

– Оставит меня в покое! – возопил привратник, судорожно подскочив в постели. – Да ты плохо его знаешь, он ведь ненасытен. Кто может догадаться, чего еще ему понадобится от меня?

На пороге привратничкой показалась Хохотушка; ее появление прервало поток жалоб г-на Пипле.

– Не входите, пожалуйста, мадемуазель! – крикнул г-н Пипле, сохраняя верность своей целомудренной чувствительности. – Я лежу в постели, в ночном белье.

Сказав это, привратник натянул простыню до самого подбородка. Хохотушка послушно остановилась на пороге.

– А я как раз собирался зайти к вам, соседка, – сказал Родольф, обращаясь к девушке. – Будьте добры минуту подождать меня. – Затем, повернувшись к Анастаси, он прибавил: – Не забудьте, пожалуйста, отвести Сесили к господину Феррану.

– Будьте спокойны, лучший из моих жильцов, в семь часов вечера она будет уже на месте. Теперь ведь жена Мореля уже выходит из комнаты, я попрошу ее постеречь в мое отсутствие швейцарскую: Альфред отныне не захочет ни за какие коврижки остаться один.

Глава IX СОСЕД И СОСЕДКА

Розовое личико Хохотушки с каждым днем бледнело все больше; ее прелестная мордашка, до сих пор такая свежая и круглая, теперь начала мало-помалу удлиниться; пикантная физиономия Хохотушки, обычно такая оживленная и сияющая, стала еще серьезнее и печальнее с того дня, когда гризетка повстречалась с Лилией-Марией у ворот тюрьмы Сен-Лазар.

– Как я рада вас видеть, сосед, – сказала девушка Родо-льфу, когда они вышли из швейцарской г-жи Пипле. – Знаете, мне надо вам столько рассказать.

– Прежде всего, соседка, скажите, как вы себя чувствуете? Сейчас поглядим внимательно на ваше красивое личико... по-прежнему ли оно румяно и весело? Увы, нет! Я вижу, что вы сильно побледнели... Не сомневаюсь, что вы слишком много работаете...

– О нет, господин Родольф, поверьте, я уже теперь приноровилась к тому, что приходится больше трудиться... А вид у меня такой просто от горя. Господи боже, ведь всякий раз, как я попадаю бедного Жермена, я грущу все сильнее и сильнее.

– Он что, все так же подавлен?

– Еще больше, чем прежде, господин Родольф. И самое прискорбное вот что: все, что я делаю для того, чтобы его утешить, обращается против меня... такая уж у меня судьба. – При последних словах слезы заволокли большие черные глаза Хохотушки.

– Объясните мне все подробнее, соседка.

– Ну вот, к примеру, вчера: я пошла повидать его и захватила с собой книгу, он просил меня, раздобыть ее, потому что это – роман, мы его вместе читали в радостные дни, когда были соседями. И вот при виде этой книги Жермен залился слезами... меня это не удивляет, это так понятно. Конечно же!.. Он вспомнил о тех мирных и таких чудесных вечерах, которые мы проводили в моей уютной комнатке, сидя вдвоем у камелька, и мысленно сравнил их со своей ужасной жизнью в тюрьме... Бедный Жермен, как все это жестоко!

– Успокойтесь, милая соседка, – сказал Родольф молодой девушке. – Я вам уже говорил, что, когда Жермен выйдет из тюрьмы и его невиновность будет всеми признана, он встретится со своей матерью и друзьями и очень скоро забудет – рядом с ними и с вами – о той поре, когда он подвергался тяжким испытаниям.

– Я понимаю, господин Родольф, но покамест он так терзается. И потом, это еще не все...

– А что же еще?

– Дело в том, что он ведь единственный порядочный человек среди всех этих злоумышленников, и они его терпеть не могут, потому что он не хочет с ними водиться. Надзиратель, который сторожит в приемной зале, а он очень славный человек, сказал мне, что надо убедить Жермена не держаться так гордо, это, мол, в его собственных интересах... Он должен сблизиться с этими злодеями, пусть постарается... но только Жермен того не может, это, как говорится, сильнее его, и я вся дрожу, боюсь, что они со дня на день могут дурно с ним обойтись... – Хохотушка внезапно остановилась, смахнула слезу и прибавила: – Но что это я, все о себе да о себе? Совсем забыла, что хотела поговорить с вами о Певунье.

– О Певунье? – с удивлением спросил Родольф.

– Позавчера, когда я ходила навестить Луизу в тюрьме Сен-Лазар, я ее встретила.

– Кого? Певунью?

– Да, господин Родольф.

– В тюрьме Сен-Лазар?

– Она выходила из ворот с какой-то старой дамой.

– Быть того не может! – воскликнул пораженный Родольф.

– Уверяю вас, сосед, что это была именно она.

– Должно быть, вы ошиблись.

– Нет, нет! Хоть она и была одета как крестьянка, я ее тотчас узнала; она по-прежнему красивая, только бледная, и вид у нее такой же милый и грустный, как прежде.

– Стало быть, она в Париже... А я об этом не знаю! Нет, не могу этому поверить. А что она делала в тюрьме Сен-Лазар?

– Верно, как и я, пришла кого-нибудь проведать; я не успела ее подробнее расспросить; старая дама, что с ней была, такая брюзга и все куда-то торопилась... Значит, вы ее тоже знаете, нашу Певунью, господин Родольф?

– Разумеется.

– Выходит, больше сомневаться ни к чему, значит, она мне именно с вас говорила.

– Обо мне?

– Да, о вас, сосед. Представьте себе, когда я ей рассказала о беде, чтостряслась с Луизой и Жерменом, такими добрыми и такими честными, которых преследует этот злощущий Жак Ферран, – конечно, я удержалась и не сказала ей, что вы ими обоими интересуетесь, так как вы мне запретили об этом говорить, – так вот, Певунья мне объявила, что если бы одна великодушная особа, с которой она, Певунья, знакома, узнала бы о злосчастной и незаслуженной судьбе бедных моих узников, то особа эта наверняка пришла бы им на помощь. А я у нее спросила, как имя этой особы, в ответ она назвала ваше имя, господин Родольф.

– Тогда это она, именно она...

– Сами понимаете, мы обе были очень удивлены таким открытием, вернее сказать, сходством имен; и потому мы пообещали написать друг другу, одного ли того же Родольфа мы знаем... И сдается, что вы, сосед, один и тот же Родольф.

– Да, я интересовался судьбой этой бедной девочки... Но то, что вы мне рассказали, то, что вы встретили ее в Париже, так меня поразило, что, если бы вы не привели мне таких подробностей о вашей встрече с нею, я по-прежнему считал бы, что вы заблуждаетесь... Однако прощайте, соседка... то, что я узнал от вас о Певунье, заставляет меня откланяться... Оставайтесь и дальше столь же осторожной, никому не говорите о том, что неизвестные друзья в свой срок окажут покровительство и Луизе и Жермену. Эту тайну необходимо сохранять сейчас больше, чем когда-либо раньше. Кстати, а как поживает семейство Мореля?

– Все он» чувствуют себя с каждым днем лучше, господин Родольф, сама госпожа Морель уже поднялась на ноги, а дети просто на глазах поправляются. Все они обязаны вам своим благополучием, да и самой жизнью... Вы были так щедры к ним, так великодушны!.. А как себя чувствует сам Морель, как его здоровье?

– Гораздо лучше... Как раз вчера я справлялся о нем; время от времени у него наступает просветление, и теперь появилась твердая надежда, что его вылечат от безумия... Мужайтесь, милая соседка, и до скорого свидания... Вы ни в чем не нуждаетесь? Вам хватает тех денег, что вы зарабатываете?

– О да, господин Родольф; я ведь прихватываю теперь часть ночи, и мне это совсем не трудно, ведь я все равно почти не сплю.

– Увы, бедная вы моя! Боюсь, что папа Пету и Рамонетта не слишком много поют, если они ждут, чтобы вы первая запели...

– Вы не ошибаетесь, господин Родольф; я и мои пташки, мы теперь совсем не поем. Господи, вы, пожалуй, станете надо мной смеяться, господин Родольф, но все равно я скажу: по моему, они понимают, что мне так грустно!.. Да, и они теперь не встречают меня веселым щебетаньем, а встречают теперь такой нежной, такой жалобной трелью, как будто хотят утешить меня. Не правда ли, я просто сумасшедшая, что этому верю, господин Родольф?

– Вовсе нет. Я уверен, что птички – ваши добрые друзья, и они вас так любят, что замечают ваше горе.

– И то правда, мои милые маленькие пташки такие умные! – простодушно сказала Хохо-тушка, очень обрадовавшись, что сосед поддержал ее веру в то, что канарейки, скрашивающие ее одиночество, так умны и прозорливы.

– Тут сомнений быть не может: чувство признательности всех делает умнее. А теперь прощайте... Вернее, до скорого свидания, соседка, надеюсь, уже недалек тот день, когда ваши красивые глаза опять станут веселыми, такими веселыми, что папе Пету и Рамонетте нелегко будет за вами угнаться.

– Как хорошо, если это окажется правдой, господин Родольф! – воскликнула Хохотушка, подавив тяжкий вздох. – Прощайте же, сосед.

– Прощайте, соседка, до скорой встречи.

Родольф никак не мог уразуметь, почему г-жа Жорж, не предупредив его, отвезла в Париж Лилию-Марию или позволила девушке поехать туда одной: он спешил возвратиться к себе, чтобы послать нарочного в Букеваль.

В ту минуту, когда принц очутился на улице Плюме, он увидел, что у дверей его особняка остановилась почтовая карета: это вернулся из Нормандии Мэрф.

Эсквайр поехал туда, как мы уже говорили, для того, чтобы разрушить зловещие планы мачехи г-жи д'Арвиль и ее сообщника Брадаманти.

Глава X МЭРФ И ПОЛИДОРИ

Лицо у сэра Вальтера Мэрфа сияло.

Выйдя из кареты, он отдал слугам принца пару пистолетов, снял свой длинный дорожный сюртук и, не тратя времени на то, чтобы переодеться, последовал за Родольфом, который, не скрывая нетерпения, направился в свои апартаменты.

– Хорошие новости, ваше высочество, хорошие новости! – воскликнул эсквайр, оставшись вдвоем с Родольфом. – С негодяев сорвана маска, господин д'Орбиньи спасен... Вы вовремя послали меня туда... Опоздай я всего на час, и новое преступление совершилось бы!

– А как госпожа д'Арвиль?

– Она просто светится от радости, что вновь обрела нежную привязанность отца, она несказанно рада, что, последовав вашим советам, прибыла вовремя для того, чтобы вырвать его из лап неминуемой смерти.

– Стало быть, Полидори...

– Был и на этот раз достойным сообщником мачехи госпожи д'Арвиль. Но какое чудовище эта мачеха! А как хладнокровна!.. Как дерзка!.. Ну а уж этот Полидори!.. Ах, ваше высочество, вы как-то сказали, что хотите поблагодарить меня за то, что вы именуете доказательствами моей преданности вам...

– Я всегда говорил о доказательствах твоей дружбы, мой славный Мэрф...

– Так вот, ваше высочество, никогда, никогда еще моя дружба к вам не подвергалась более трудному испытанию, чем в сложившихся там обстоятельствах, – сказал эсквайр полусерьезным и полуплутивым тоном.

– Что ты хочешь этим сказать?

– То, что я щеголял в костюме угольщика, то, что я претерпел, бродя по улицам Сите, и *tutti quanti*²³ мои деяния – ничто, просто ничто, ваша светлость, по сравнению с той поездкой, какую я только что совершил в обществе этого окаянного Полидори.

– Что я слышу? В обществе Полидори?..

– Да, я привез его с собой...

– Привез с собой?

– Вот именно... Судите сами, какой у меня был спутник... Целых двенадцать часов мне пришлось пробыть рядом с человеком, которого я презираю, которого я ненавижу больше, чем кого-либо другого на свете. Уж лучше путешествовать в обществе змеи... самой ненавистной для меня твари.

– А где Полидори сейчас?

– Он в доме на аллее Вдов... под хорошей и надежной охраной...

– И что же, он не противился и послушно поехал с тобой?

– Нет, совсем не противился... Я предоставил ему выбор: быть на месте арестованным

²³ Все остальные (*ut.*).

французскими властями или стать моим узником на аллее Вдов. Он без колебаний предпочел второе.

– Ты совершенно правильно поступил, лучше, чтобы он был тут, у нас под руками. Ты просто золотой человек, мой милый старый Мэрф... Но расскажи мне о своей поездке. Мне не терпится узнать, как тебе удалось изобличить эту недостойную женщину и ее столь же недостойного сообщника.

– Это оказалось куда как просто: я лишь в точности следовал вашим указаниям, и мне удалось устроить и раздавить этих гнусных людишек. В сложившихся обстоятельствах вы, ваше высочество, как всегда, были на высоте: вы спасли людей порядочных и покарали злодеев. Поистине вы подобны благодетельному провидению!..

– Сэр Вальтер, сэр Вальтер, вспомните о льстивых речах барона фон Грауна, – сказал Родольф улыбаясь.

– Ладно, пусть так, ваше высочество. Я приступаю к рассказу, а еще лучше будет, если вы соблаговолите сначала прочесть вот это письмо маркизы д'Арвиль, из него вы узнаете обо всем, что произошло до моего приезда, который привел в полное замешательство Полидори.

– Где это письмо? Давайте его сюда скорее.

Мэрф вручил Родольфу письмо маркизы и прибавил:

– Как было между нами условлено, я не стал провожать госпожу д'Арвиль в дом ее отца, а слез раньше и остановился в гостинице, вернее, на постоялом дворе, он находится в нескольких шагах от замка: там я должен был дожидаться часа, когда понадобится госпоже маркизе.

Родольф с нетерпением и нежным вниманием принялся за чтение письма. Вот что в нем было написано:

«Ваше высочество!

Я и так у вас в неоплатном долгу, отныне я вам обязана еще и жизнью моего отца!..

Я буду излагать только факты; они вам скажут лучше меня, как безмерна моя благодарность вам, она переполняет меня до самой глубины души.

Поняв всю важность советов, которые вы мне передали через сэра Вальтера Мэрфа, нагнавшего меня по дороге в Нормандию вскоре после того, как я выехала из Парижа, я постаралась как можно скорее попасть в замок Обье.

Уж не знаю почему, но физиономии встретивших меня людей показались мне зловещими; я не увидела среди них ни одного из наших старых слуг, живших в доме; меня никто не знал, и мне пришлось назвать себя. Я узнала, что отец уже несколько дней серьезно болен и что моя мачеха только что привезла врача из Парижа.

Сомнений больше не было: речь шла о докторе Полидори.

Я хотела, чтобы меня тут же проводили к отцу, и спросила, где сейчас старый камердинер, к которому отец был сильно привязан. Оказалось, что некоторое время тому назад этот человек покинул замок; об этом мне сообщил дворецкий, проводивший меня в предназначенные мне покои; после этого он сказал, что пойдет предупредить о моем приезде мою мачеху.

Владело ли мною предубеждение, была ли я во власти заблуждения? Но мне чудилось, что мой приезд был нежелательным для теперешних отцовских слуг. Все в замке казалось мне каким-то мрачным, даже зловещим. В том расположении духа, в котором я пребывала, человек старается ничего не упустить и сделать правильные выводы. Я замечала повсюду следы беспорядка и нерадивости, могло показаться, что все вокруг решили не уделять должного внимания жилищу, ибо его вскоре предстояло покинуть.

Мое беспокойство, моя тревога возрастали с каждой минутой.

Кое-как устроив дочь и ее гувернантку в моей комнате, я уже собиралась отправиться к отцу, как вдруг вошла моя мачеха.

Несмотря на присущее ей двуличие и свойственное ей самообладание, она, как

мне показалось, была ошеломлена моим внезапным приездом.

– Господин д’Орбиньи не ожидал вашего визита, сударыня, – сказала она мне. – Он в таком тяжелом состоянии, что такого рода сюрприз может оказаться для него гибельным. Вот почему я полагаю необходимым оставить его в неведении и не сообщать ему о вашем появлении; ведь он не сможет понять, чем вызван ваш приезд, и...

Я не дала ей закончить фразу.

– Произошло огромное несчастье, сударыня, – ответила я. – Умер господин д’Арвиль... Он стал жертвой роковой неосторожности. После этого ужасного происшествия я не могла оставаться в своем доме в Париже, и я хочу провести первое время траура возле своего отца.

– Стало быть, вы теперь вдова!.. Какое неслыханное везение! – воскликнула моя мачеха с яростью.

Вы ведь знаете обстоятельства моего злосчастного брака, который эта женщина устроила, чтобы отомстить мне, и потому вашему высочеству будет понятна вся жестокость ее возгласа.

– Именно потому, что я опасаясь, как бы и вам, сударыня, не выпало на долю столь неслыханное везение, я и приехала сюда, – сказала я ей, быть может, и немного неосторожно. – Я хочу видеть своего отца.

– Сейчас это совершенно невозможно, – ответила она, побледнев, – встреча с вами будет для него опасной встряской.

– Если мой отец так серьезно болен, – воскликнула я, – как могло случиться, что меня об этом не известили?

– Такова была воля самого господина д’Орбиньи, – ответила мне мачеха.

– Я вам не верю, сударыня, и хочу сама убедиться в правдивости ваших слов, – сказала я и сделала шаг к двери.

– Повторяю вам, что ваше неожиданное появление может нанести вашему отцу непоправимый вред, – воскликнула она, встав передо мной и преграждая мне путь. – Я не позволю вам войти в покои господина д’Орбиньи, прежде чем я не сообщу ему о вашем приезде со всеми предосторожностями, каких требует его состояние.

Я была в ужасной растерянности, ваше высочество. Мое неожиданное появление и в самом деле могло причинить опасное волнение отцу; но моя мачеха, обычно такая хладнокровная, отличавшаяся таким самообладанием, теперь, казалось, была настолько испугана моим присутствием, у меня были столь веские основания сомневаться в том, что она искренне заботится о здоровье моего отца, человека, за которого она вышла замуж из алчности, и, наконец, присутствие в замке доктора Полидори, убийцы моей матери, – все это переполняло меня ужасом, и, понимая, что мое появление может стать причиной сильного волнения отца, я больше не колебалась, сознавая, что его жизни грозит опасность, и только я могу его спасти.

– Я хочу немедленно видеть отца, – сказала я мачехе.

И хотя она вцепилась мне в руку, я направилась к двери...

Потеряв над собой власть, эта женщина попыталась вторично, чуть не силой помешать мне выйти из комнаты... Ее невероятное упорство удвоило мою тревогу, и я вырвалась из ее рук. Зная, где расположены покои отца, я опрометью кинулась туда и вошла...

О ваше высочество! Никогда в жизни я не забуду представшее мне зрелище и то, что затем последовало...

Мой отец изменился до неузнаваемости; он сильно исхудал, был бледен, и черты его лица выражали сильное страдание; он полулежал в большом кресле, откинув голову на подушку...

Возле камина, совсем рядом с моим отцом, стоял доктор Полидори; сиделка поднесла ему чашку, и он уже собирался накапать в нее несколько капель какой-то

жидкости из небольшого хрустального флакона, который был у него в руке.....

Длинная рыжая борода придавала его физиономии особенно зловещий вид. Я вошла так стремительно, что у Полидори вырвался удивленный жест, он обменялся выразительным взглядом с моей мачехой, которая поспешно вошла в комнату следом за мной, и, вместо того чтобы подать моему отцу приготовленное питье, он поставил флакон на камин.

Подчиняясь инстинкту, в котором я до сих пор не могу отдать себе отчета, я быстро завладела флаконом.

Тут же заметив удивление и страх, овладевший моей мачехой и Полидори, я мысленно поздравила себя с тем, что так поступила. Мой отец, ошеломленный моим приходом, казалось, был этим возмущен, чего, впрочем, я ожидала. Полидори бросил на меня свирепый взгляд; несмотря на присутствие сиделки и моего отца, я боялась, что этот негодяй, поняв, что его преступление вот-вот раскроется, может дойти до крайности.

Я поняла, что в этот решающий миг мне необходима поддержка; я позвонила, в комнату быстро вошел какой-то слуга; я попросила его передать моему камердинеру – тот был заранее мною предупрежден, – чтобы он отправился на постоянный двор и принес мне несколько нужных мне вещей; сэр Вальтер Мэрф знал: для того чтобы не вызвать подозрений у моей мачехи в том случае, если мне придется послать за ним в ее присутствии, я прибегну к такому условному знаку.

Изумление моего отца и моей мачехи было так велико, что слуга вышел из комнаты раньше, чем они успели произнести хотя бы одно слово; и тогда я успокоилась: через несколько минут должен был появиться рядом со мною сэр Вальтер Мэрф.

– Что все это значит? – спросил у меня отец слабым голосом, но тон у него был властный и разгневанный. – Вы приехали сюда, Клеманс... без моего приглашения... Затем, не успев появиться в моих покоях, вы завладеваете флаконом, в котором содержится микстура, прописанная мне врачом... Объясните мне ваше сумасбродство!..

– Выйдите из комнаты, – приказала моя мачеха сиделке. Та послушно удалилась.

– Успокойтесь, друг мой, – продолжала моя мачеха, обращаясь к моему отцу. – Вы ведь знаете, что малейшее волнение может причинить вам вред. Коль скоро ваша дочь пожаловала сюда против вашей воли и ее присутствие вам неприятно, обопричьтесь о мою руку, я провожу вас в маленькую гостиную; а тем временем наш славный доктор объяснит госпоже д'Арвиль, до какой степени ее поведение неосторожно, чтобы не сказать более...

И она бросила многозначительный взгляд на своего сообщника.

Я угадала намерения моей мачехи. Она хотела увести отца, оставить меня наедине с Полидори: в возникших крайних обстоятельствах он применил бы, без сомнения, силу, чтобы вырвать у меня флакон, который мог послужить неопровержимой уликой, явным доказательством его преступных замыслов.

– Вы совершенно правы, – сказал мой отец, обращаясь к моей мачехе. – Раз меня преследуют даже в моем собственном доме, не уважая моей воли, я уйду и освобожу место назойливым людям.

И, с трудом поднявшись, отец оперся на руку моей мачехи и сделал несколько шагов, направляясь в маленькую гостиную.

В ту же минуту Полидори двинулся ко мне; я, не теряя времени, подошла к отцу и сказала ему:

– Я хочу объяснить вам свое неожиданное появление, объяснить, почему я, как вам кажется, странно себя веду... Со вчерашнего дня – я вдова... И со вчерашнего дня мне известно, что ваша жизнь под угрозой, отец.

Он, сгорбившись, передвигался с трудом. При этих моих словах отец остановился, с усилием выпрямился и, с глубоким удивлением посмотрев на меня, воскликнул:

– Вы овдовели?.. Моя жизнь под угрозой?! Что все это значит?

– Кто осмелился угрожать жизни господина д'Орбиньи, сударыня? – с вызовом спросила моя мачеха.

– Да, от кого исходит эта угроза?.. – подхватил Полидори.

– От вас, сударь, и от вас, сударыня, – ответила я.

– Какое ужасное, какое отвратительное обвинение!.. – воскликнула моя мачеха и шагнула ко мне.

– Я докажу то, что сказала... – ответила я.

– Но ведь это страшное обвинение!.. – вырвалось у моего отца.

– Я сию же минуту покину этот дом, коль скоро на меня возводят здесь столь неслыханную клевету! – вскричал Полидори с деланным негодованием человека, чья честь оскорблена.

Поняв, какая ему угрожает опасность, он, без сомнения, хотел спастись бегством.

В ту самую минуту, когда он отворял дверь, на пороге появился сэр Вальтер Мэрф и преградил путь шарлатану».

Родольф прервал чтение письма, протянул руку эсквайру и сказал ему:

– Превосходно, старый друг, твое появление должно быть, сразило негодяя.

– Вы нашли точное слово, ваше высочество... Он стал мертвенно бледным... попятился на два шага, ошеломленно глядя на меня; казалось, он был раздавлен... И в самом деле: встретить меня в такую минуту в сердце Нормандии!.. Ему, должно быть, почудилось, что он видит страшный сон... Но вернитесь к письму, ваше высочество, и вы увидите, что эта окаянная графиня д'Орбиньи в свой черед была сражена благодаря тому, что вы мне своевременно сообщили о том, что она нанесла визит этому шарлатану Брадаманти-Полидори, пришла к нему домой на улицу Тампль... Ибо, что ни говори, ведь действовали-то вы... вернее сказать, я был всего лишь орудием, послушным вашей мысли... и клянусь вам: никогда еще вы столь удачно и столь своевременно не заменяли провидение – а оно порою запаздывает, – как в сложившихся обстоятельствах.

Родольф только улыбнулся и вновь стал читать письмо г-жи д'Арвиль.

«При виде сэра Вальтера Мэрфа Полидори буквально окаменел; моя мачеха переходила от удивления к изумлению, а мой отец, сильно взволнованный всем происходящим и ослабевший от болезни, без сил опустился в какое-то кресло. Сэр Вальтер Мэрф запер на два поворота ключа дверь, в которую вошел; затем он остановился перед другой дверью, что вела в соседнюю комнату, с тем чтобы помешать доктору Полидори ускользнуть через нее, и, обратившись к моему отцу, самым почтительным образом сказал ему:

– Тысяча извинений, граф, за ту вольность, что я себе позволил; но побудила меня так действовать крайняя необходимость, продиктованная защитой ваших интересов; вы сейчас поймете, в чем дело... Меня зовут Вальтер Мэрф, это может подтвердить вам стоящий здесь негодяй, который при виде меня дрожит всем телом; я советник его высочества великого герцога – правителя Герольштейна.

– Это верно, милостивый государь... – пролепетал охваченный страхом Полидори, обращаясь к графу д'Орбиньи.

– Но в таком случае, сударь... что привело вас в мой дом? Что вам угодно? – спросил мой отец.

– Сэр Вальтер Мэрф, – ответила я отцу, – приехал сюда вместе со мной, чтобы изобличить негодяев, чьей жертвой вы чуть было не стали.

Затем я протянула сэру Вальтеру хрустальный флакон и сказала:

– По счастливому наитию я завладела этим флаконом в ту самую минуту, когда доктор Полидори собирался влить несколько капель содержащейся в нем жидкости в питье, которое он приготовился дать моему отцу.

– Врач из соседнего городка исследует в вашем присутствии содержимое этого флакона, который я вручаю вам, граф, – сказал сэр Вальтер Мэрф, – и если будет установлено, что он содержит сильный и медленнодействующий яд, то у вас больше не останется сомнений в том, какой опасности вы подвергались; к великому счастью, вас избавила от этой опасности нежная привязанность вашей дочери.

Мой бедный отец смотрел поочередно то на свою жену, то на доктора Полидори, то на меня, то на сэра Вальтера с потерянным видом; черты отца выражали неизъяснимую тревогу. По его удрученному лицу можно было угадать, какая ужасная борьба надрывала его душу. Он, без сомнения, изо всех сил противился охватывавшим его ужасным подозрениям, он страшился, что ему придется признать все коварство, все злодейство моей мачехи; наконец, закрыв лицо руками, он воскликнул:

– Господи боже, боже правый!.. Все, что я услышал, ужасно... невероятно... невозможно! Быть может, я просто вижу кошмарный сон?!

– Нет, это не сон!.. – с вызывающей дерзостью закричала моя мачеха. – Все это кошмарная действительность: вы выслушали жестокую клевету, ее заранее измыслили для того, чтобы погубить злосчастную женщину, единственное преступление которой – стремление посвятить вам всю жизнь! Пойдемте, пойдемте мой друг, мы не останемся здесь ни минуты, – прибавила она, обращаясь к моему отцу, – надеюсь, ваша дочь не посмеет удержать вас силой, помимо вашей воли...

– Да, да, уйдем, – ответил мой отец, не помня себя, – все, что я услышал, – неправда, не может быть правдой, я не хочу больше ничего слышать, мой ум мешается, ужасные подозрения могут поселиться в моем сердце, и они отравят те немногие дни, что мне еще остались, и ничто не сможет утешить меня, если я поверю столь отвратительным козням.

Мой отец так сильно страдал, он был в таком отчаянии, что мне захотелось во что бы то ни стало положить конец этой столь жестокой для него сцене. Сэр Вальтер Мэрф догадался об этом; однако он хотел, чтобы истина целиком и полностью открылась и чтобы справедливость восторжествовала; вот почему он сказал, обращаясь к моему отцу:

– Еще только несколько слов, граф! Я понимаю, что вам будет очень тяжело и больно узнать о том, что женщина, которая, как вы полагали, была из чувства признательности привязана к вам, на самом деле – лицемерное чудовище; но я уповаю на то, что вы почерпнете некоторое утешение в искренней привязанности вашей дочери, а она неизменно питала и питает ее к вам.

– Это переходит всякие границы! – в ярости завопила моя мачеха. – По какому праву вы, сударь, и вы, сударыня, возводите на меня столь ужасную клевету? На какие доказательства вы опираетесь? Вы утверждаете, что в этом флаконе яд?.. Я отрицаю это, сударь, и буду отрицать до тех пор, пока вы не докажете обратного; ну а если даже доктор Полидори по ошибке смешал два разных лекарства, из-за чего они стали вредными, то по какому праву вы обвиняете меня в том, будто я того желала... обвиняете меня в том, что я его сообщница... что я хотела... О нет, нет, я даже не могу произнести этого слова... Одна мысль о таком плане уже преступна! Я снова повторяю, сударь, я требую, чтобы вы предоставили доказательства – и вы, милостивая государыня, также, – опираясь на которые вы осмелились возвести на меня столь ужасную клевету!.. – закончила моя мачеха с невероятной наглостью.

– Да, какие у вас есть доказательства?! – воскликнул мой несчастный отец. – Нужно положить конец мукам, которым вы меня подвергаете.

– Я бы не пришел сюда, не имея веских доказательств, граф, – ответил сэр

Вальтер, – и эти доказательства будут сейчас подтверждены ответами находящегося тут негодяя.

Затем сэр Вальтер обратился по-немецки к доктору Полидори, который успел уже немного оправиться, но, услышав обращенные к нему слова эсквайра, снова и окончательно потерялся».

– Что ж ты такое ему сказал? – спросил Родольф у сэра Вальтера Мэрфа, отвлекаясь он чтения письма.

– Я сказал ему несколько веских слов, ваше высочество. Вот к чему они сводились: «С помощью бегства ты избежал наказания, к которому тебя приговорило правосудие великого герцогства; ныне ты живешь в Париже, на улице Тамплъ, под фальшивым именем некоего Брадаманти; всем известно, каким отвратительным ремеслом ты промышляешь; ты отравил первую жену графа д'Орбиньи; три дня тому назад госпожа д'Орбиньи побывала у тебя дома и привезла тебя сюда для того, чтобы отравить своего мужа. Его высочество находится сейчас в Париже, в руках у него есть доказательства всего того, о чем я тебе только что сказал. Если ты скажешь всю правду и тем изобличишь эту презренную женщину, ты можешь рассчитывать не на помилование, конечно, но на смягчение кары, которой ты заслуживаешь; ты последуешь за мной, вернее, поедешь со мной в Париж, я поселю тебя в надежном месте, и ты там пробудешь до тех пор, пока его высочество не решит твою судьбу. Если же ты откажешься следовать за мною, тебя ждет одно из двух: либо его высочество потребует и добьется твоей высылки из Франции в Герольштейн, либо я немедленно пошлю в соседний город за полицейским чиновником, передам ему флакон с ядом, тебя тут же возьмут под стражу, затем произведут обыск в твоей квартире в доме семнадцать на улице Тамплъ, а ты ведь хорошо знаешь, что там найдут немало компрометирующих тебя вещей, и французское правосудие займется тобой... Так что выбирай...»

Мои разоблачения, обвинения и угрозы, как он понимал, вполне обоснованные, тут же возымели действие, они просто сразили этого негодяя, который не ожидал ни того, что я так осведомлен, ни того, что я захвачу его на месте преступления. Надеюсь на смягчение ожидавшей его участи, он без колебаний согласился принести в жертву свою сообщницу и сказал мне в ответ: «Спрашивайте, я скажу всю правду относительно этой женщины».

– Хорошо, очень хорошо, славный мой Мэрф, меньшего я от тебя и не ожидал.

– Пока я разговаривал с Полидори, черты лица мачехи госпожи д'Арвиль исказились до неузнаваемости от страшного испуга, хотя она и не понимала по-немецки. Но по все возраставшей подавленности своего сообщника, по тому, с каким умоляющим видом он на меня посмотрел, она поняла, что он полностью в моей власти. В смертельной тревоге она пыталась встретиться взглядом с Полидори, чтобы подбодрить его и убедить все сохранить в тайне; однако он старательно отводил глаза.

– А что же граф?

– Он испытывал невыразимое волнение; он изо всех сил судорожно впивался пальцами в подлокотники своего кресла, по лбу его струился пот, он тяжело дышал и не сводил с меня пристального пылающего взора. Им владела не менее мучительная тревога, чем та, что терзала его жену. Письмо госпожи д'Арвиль расскажет вам, ваше высочество, чем закончилась эта тягостная сцена.

Глава XI КАРА

Родольф снова начал читать письмо г-жи д'Арвиль.

«Поговорив несколько минут по-немецки с Полидори, сэр Вальтер Мэрф обратился к шарлатану уже по-французски: – А теперь отвечайте. Верно ли, что эта дама, – спросил сэр Вальтер, указывая на мою мачеху, – когда первая жена графа заболела, ввела вас в его дом в качестве врача?»

– Да, это сделала она... – ответил Полидори.

– Верно ли то, что, желая помочь осуществлению ужасных планов этой дамы... вы пошли на преступление и прописывали смертельные дозы лекарств графине д'Орбиньи, чья болезнь поначалу была вовсе не опасной?

– Да, – подтвердил Полидори.

Из груди моего отца вырвался горестный стон, и он сперва воздел обе руки, а затем бессильно уронил их.

– Это гнусная ложь! – закричала моя мачеха. – Все это низкие выдумки, они стакнулись, чтобы погубить меня.

– Помолчите, сударыня! – властно сказал сэр Вальтер Мэрф.

Потом он снова обратился к Полидори:

– Правда ли, что три дня тому назад эта дама приходила к вам на квартиру, в дом номер семнадцать по улице Тампль, где вы живете под чужим именем как некий господин Брадаманти?

– И это правда.

– Не предложила ли вам эта дама приехать сюда для того, чтобы умертвить графа д'Орбиньи, как вы умертвили в свое время его жену?

– Увы! Я не в силах это отрицать, – пробормотал Полидори.

При столь ужасном признании мой отец поднялся с кресла с угрожающим видом: негодующим, жестом он указал моей мачехе на дверь; потом, раскрыв мне свои объятия, прерывающимся голосом воскликнул:

– Во имя твоей злосчастной матери прости меня! Прости!.. Я заставил ее много страдать... Но, клянусь тебе, я не причастен к преступлению, которое свело ее в могилу...

И, прежде чем я успела тому помешать, мой отец опустился на колени.

Когда сэр Вальтер и я подняли моего отца с пола, он был в обмороке.

Я позвонила слугам; сэр Вальтер взял доктора Полидори под руку и вышел вместе с ним; на пороге он оглянулся и сказал моей мачехе:

– Послушайте меня, сударыня, и не позже, чем через час, оставьте этот дом: в противном случае я передам вас в руки правосудия.

Презренная женщина вышла из комнаты; легко догадаться, ваше высочество, что она была во власти страха и ярости.

Когда мой отец пришел в себя, все происшедшее показалось ему страшным сном. Как это ни печально, но мне пришлось рассказать ему о первых подозрениях, возникших у меня в связи с преждевременной смертью матери, подозрениях, которые, когда я узнала от вас, ваше высочество, о прошлых преступлениях доктора Полидори, превратились в уверенность.

Мне пришлось также рассказать отцу, как меня преследовала из ненависти моя мачеха, преследовала вплоть до моего замужества, и о том, какие у нее были цели, когда она принудила меня выйти замуж за маркиза д'Арвиля...

Если раньше мой отец питал непростительную слабость к этой женщине, которой он слепо верил, то теперь, все узнав, он не чувствовал к ней ни малейшей жалости; в отчаянии он обвинял себя в том, что оказался чуть ли не сообщником этой чудовищной женщины, предложив ей руку после смерти моей матери: он хотел, чтобы ее отдали под суд; но я объяснила ему, что это вызовет отвратительный скандал, что процесс над ней принесет ему много волнений и неприятностей; я уговорила его просто прогнать ее навсегда, обеспечив самым необходимым для жизни, ибо она носит его имя.

Лишь с большим трудом удалось мне склонить отца ограничиться этим умеренным наказанием, и он поручил мне самой изгнать ее из замка. Как вы сами понимаете, такое поручение было для меня весьма тягостно; я подумала, что, быть может, сэр Вальтер возьмет эту миссию на себя... Он согласился».

– Черт побери, я с радостью согласился на это, ваше высочество, – сказал Мэрф Родольфу. – Что может быть приятнее того, когда тебе предоставляется возможность дать, как говорится, «последнее причастие» злодею...

– А что сказала эта женщина? – спросил Родольф.

– Госпожа д'Арвиль была так добра, что попросила отца назначить этой презренной женщине пенсioen в размере ста луидоров; я посчитал, что это уже не доброта, просто слабость: довольно того, что решили не предавать в руки правосудия столь опасную негодяйку! Я отправился к графу, и он полностью согласился с моими доводами; было решено, что презренная получит на все про все двадцать пять луидоров, с тем чтобы она могла подыскать себе какое-нибудь занятие или работу. «А каким таким ремеслом, какой такой работой могу я, графиня д'Орбиньи, заняться?» – нагло спросила меня эта женщина. «Черт побери, это уж ваша забота, – ответил я. – Вы ведь можете стать сиделкой или гувернанткой. Но только послушайте меня и подыщите себе самую скромную и незаметную профессию, ибо, если у вас хватит смелости назвать свое имя, имя, которое вы заполучили с помощью преступления, всякий удивится, почему это графиня д'Орбиньи оказалась в столь незавидном положении; станут наводить справки, и сами понимаете, к каким приведет последствиям ваше безумное решение ворошить прошлое. Так что уж лучше заберитесь в какую-нибудь глушь, пусть о вас поскорее забудут; станьте госпожой Пьер или госпожой Жак и постарайтесь раскаться, если только вы на это способны».

«И вы полагаете, сударь, – сказала она мне с заранее обдуманым театральным эффектом, – что я не потребую тех благ, на которые мне дает право мой брачный контракт?» – «Ну, разумеется, сударыня! – ответил я. – Что может быть справедливее! Было бы просто недостойно со стороны господина д'Орбиньи не выполнить своих брачных обетов и не оценить должным образом всего того, что вы совершили, а главное, того, что вы собирались совершить... ради него... Начните тяжбу... Непременно начните, обратитесь за помощью к правосудию; не сомневаюсь, что оно примет вашу сторону, а не сторону вашего супруга...» Через четверть часа после нашей беседы эта тварь уже была по пути в соседний город.

– Ты совершенно прав: весьма тягостно оставлять почти безнаказанной столь гнусную мерзость, – заметил Родольф. – Но скандальный процесс... А ведь старый граф и так очень слаб... Нет, об этом нельзя было и думать.

Родольф вновь обратился к письму г-жи д'Арвиль.

«Мне довольно легко удалось убедить отца покинуть замок Обье в тот же день: слишком печальные воспоминания терзали бы его здесь. Хотя его здоровье и пошатнулось, поездка, которая займет несколько дней, развлечет его, а это вместе с переменной воздуха должно быть для него благотворно; так сказал врач, который заменил доктора Полидори, я не откладывая вызвала этого врача из соседнего города. Отец пожелал, чтобы он исследовал содержимое флакона, не сказав ему, в чем дело, врач ответил, что может сделать это только у себя, пообещав, что через два часа он сообщит результат исследования. По его заключению, несколько доз этого зелья, изготовленного с адским умением, могут через определенный промежуток времени привести к смерти пациента, причем никаких следов отравления не останется, будут только симптомы распространенной болезни, врач даже назвал ее.

Через несколько часов, ваше высочество, я уезжаю отсюда вместе с отцом и дочерью в Фонтенбло; мы там пробудем некоторое время, а затем по желанию моего отца возвратимся в Париж, но жить будем не в моем доме: мне ведь нестерпимо оставаться в нем после прискорбного несчастного случая, который там произошел.

Как я уже говорила вам в начале моего письма, ваше высочество, последние события доказывают, в каком я долгу перед вами, ибо ваша забота обо мне поистине неистощима!.. Вы вовремя предупредили меня об опасности, вы помогли мне своими советами, меня так поддержал ваш друг – милейший и мужественный сэр Вальтер Мэрф... Благодаря всему этому мне удалось избавить отца от неминуемой опасно-

сти, и теперь я не сомневаюсь в том, что он полностью вернет мне свою любовь и нежность...

Прощайте, ваше высочество! Я не в силах сказать вам больше... Душа моя переполнена чувствами, охвачена волнением, я не смогу вам выразить все то, что я испытываю.

Д'Орбиньи – д'Арвиль

Я спешно распечатываю это письмо, ваше высочество, для того, чтобы исправить забывчивость, которая повергает меня в смятение. Следуя вашим возвышенным советам, побуждавшим меня к благодеяниям, я отправилась в тюрьму Сен-Лазар провести томящихся там узниц; там мне встретила злосчастная девочка, которой вы так сочувствуете... Ее ангельская кротость, ее почтительное смирение приводят в восторг почтенных женщин, надзирающих за поведением заключенных... Я понимаю, что, известив вас о том, что Певунья (таково, если не ошибаюсь, ее прозвище) находится в этой тюрьме, я дам вам возможность безотлагательно добиться ее освобождения; эта бедная девочка сама расскажет вам, в силу каких зловещих обстоятельств ее похитили из того убежища, куда вы поместили ее, и заточили в эту тюрьму, где она заставила окружающих по достоинству оценить ее душевную чистоту.

Позвольте мне также напомнить вам, ваше высочество, о двух несчастных женщинах, матери и дочери, которых обобрал нотариус Ферран... Мне так хочется оказать им необходимое покровительство. Но где они теперь? Нет ли у вас хотя бы каких-нибудь сведений о них? Прошу вас, окажите милость, постарайтесь отыскать их след, с тем чтобы по возвращении в Париж я могла бы заплатить нравственный долг: ведь я дала себе обет всемерно помогать несчастным!..»

– Стало быть, Певунья уехала с фермы в Букевале, ваше высочество? – воскликнул Мэрф, не менее удивленный, чем Родольф, этим неожиданным известием.

– Мне только сегодня сказали, что видели, как она выходила из ворот тюрьмы Сен-Лазар, – ответил Родольф. – Я просто теряюсь в догадках: молчание госпожи Жорж смущает и тревожит меня... Бедненькая Лилия-Мария! Какие новые невзгоды обрушились на нее? Надобно тотчас же послать нарочного на ферму, пусть он садится на лошадь и не мешкая доставит мое письмо госпоже Жорж: я попрошу ее немедленно приехать в Париж; попроси, пожалуйста, барона фон Грауна получить пропуск для посещения тюрьмы Сен-Лазар... Госпожа д'Арвиль пишет мне, что Лилия-Мария попала в эту тюрьму. Впрочем, нет, – произнес Родольф после короткого раздумья, – ее там уже нет, ведь Хохотушка встретила ее, когда бедная девушка выходила из тюремных ворот в сопровождении какой-то пожилой женщины. Кто бы это мог быть? Госпожа Жорж? А если то была не она, то куда же направлялась Певунья? И кто все-таки ее сопровождал?²⁴

– Терпение, ваше высочество. Еще до вечера вы будете знать, что произошло; а завтра надо будет порасспросить этого окаянного Полидори; он сказал мне, что должен рассказать вам о каких-то важных делах, но рассказать он хочет об этом вам одному...

– Мне тяжело и противно с ним встречаться, – печально сказал Родольф, – ведь я не видел этого человека с того самого рокового дня... когда я...

Родольфу трудно было продолжать, он умолк и закрыл лицо руками.

– Эх, черт побери! Для чего вашему высочеству соглашаться на просьбу Полидори? Пригрозите ему французским правосудием или высылкой в Герольштейн, и он струсит и откроет мне то, что хочет открыть только вам.

– Ты прав, милый мой друг, ибо встреча с этим негодяем еще больше оживит ужасные вос-

²⁴ Читатель помнит, что г-жа Жорж, обманутая посыльным Сары, который сказал ей, что Родольф распорядился увезти Лилию-Марию из Букеваля, не тревожилась за свою подопечную и со дня на день ждала ее приезда.

поминания, с которыми связано столько непоправимых горестей... начиная со смерти моего отца и кончая гибелью моей маленькой дочери... Не знаю, чем это объяснить, но, по мере того как я становлюсь старше, мне все больше недостает этой девочки... Как бы я ее боготворил! Как мне был бы дорог и бесценен этот плод моей первой любви, моих первых и чистых верований, вернее сказать, моих юношеских иллюзий!.. Я излил бы на этого очаровательного невинного ребенка всю ту нежную привязанность, которой недостойна его отвратительная мать; и потом, мне кажется, что эта милая девочка, о которой я так мечтал, с ее прекрасной душой, с ее очаровательными достоинствами, утешала бы меня в моем горе, избавила бы меня от угрызений совести, которые, увы, связаны со зловещими обстоятельствами ее появления на свет...

– Господи, я с огорчением замечаю, ваше высочество, что все эти бесплодные и жестокие сожаления приобретают все большую власть над вашим разумом.

После короткого молчания Родольф сказал Мэрфу:

– Я могу теперь сделать тебе одно признание, старый мой друг: я люблю... Да, я люблю всем сердцем одну женщину, достойную самой глубокой, самой почтительной и преданной привязанности... И вот, с той поры, как мое сердце вновь открыто для самой нежной любви, с тех пор, как я вновь способен испытывать самое сладостное чувство, я еще сильнее ощущаю боль из-за утраты дочери... Казалось, я мог опасаться, что новая сердечная привязанность ослабит горечь моих сожалений от этой утраты... Но нет: моя способность любить только возросла... Мне кажется, что я стал теперь лучше, стал милосерднее, а потому мне больше, чем когда-либо прежде, больно оттого, что я не могу обожать и лелеять свою дочь...

– Все это так понятно, ваше высочество! Простите меня за смелое сравнение: подобно тому, как некоторые люди бывают веселы и благожелательны во хмелю, вы, полюбив, стали еще добрее и великодушнее.

– Тем не менее моя ненависть к злодеям также стала сильнее; мое отвращение к Саре усиливается, без сомнения, из-за того горя, какое мне принесла смерть дочери. Я хорошо себе представляю, что эта дурная мать пренебрегала девочкой, что, когда моя женитьба развеяла ее тщеславные надежды, она, движимая своим безжалостным эгоизмом, должно быть, передала ребенка чужим и корыстолюбивым людям, и моя дочь, возможно, погибла, потому что о ней совсем не заботились... Тут есть и моя вина... Я тогда недостаточно осмыслил и оценил степень священного долга, который накладывает на человека отцовство... Когда я внезапно понял истинную сущность характера Сары, я должен был не мешкая отобрать у нее свою дочь и заботиться о девочке с любовью и нежностью. Я обязан был предвидеть, что графиня всегда будет и останется бесчеловечной матерью... Так что, как видишь, во всем этом есть и моя вина, и моя вина...

– Ваше высочество, горе помрачает ваш разум. Разве могли вы после всех известных вам зловещих событий... промедлить хотя бы один лишний день, ведь вы же были вынуждены немедленно отправиться в долгую поездку... Она была как...

– Как искупление! Ты прав, мой друг, – сказал удрученный Родольф.

– А вы ничего не слыхали о графине Саре после вашего отъезда, ваше высочество?

– Ничего. После гнусного оговора, дважды едва не погубившего госпожу д'Арвиль, я не имел о графине никаких известий... Ее присутствие в Париже мне тягостно, мысль об этом неотступно преследует меня; мне чудится, что мой злой гений где-то здесь, рядом, что мне угрожает какая-нибудь новая беда.

– Терпение, ваше высочество, терпение... По счастью, въезд в Германию ей запрещен, а ведь Германия уже ждет нас.

– Да... Мы скоро туда уедем. Но, по крайней мере, за время моего короткого пребывания в Париже я исполнил священный обет, данный себе самому, я сделал еще несколько шагов по достойной одобрения стезе, идти по которой ради искупления мне повелела августейшая и милосердная воля... Как только сын госпожи Жорж будет оправдан и выпущен на волю; как только мать заключит его наконец в свои объятия; как только Жак Ферран будет уличен в своих преступлениях и наказан; как только я упрочу положение и будущее всех порядочных и трудолюбивых людей, которые своим смирением, мужеством и честностью заслужили мое сочувствие, –

мы тотчас же возвратимся в Германию; тогда я, по крайней мере, смогу считать, что мое пребывание во Франции не было бесплодным.

– Особенно если вам удастся сорвать маску с этого отвратительного Жака Феррана, ведь он, можно сказать, краеугольный камень, вернее, движущая сила множества преступлений, ваше высочество!

– Хотя цель и оправдывает средства... хотя в борьбе с таким законченным негодяем излишняя щепетильность неуместна, я иногда жалею, что привлек Сесили для того, чтобы воздать ему по заслугам и наказать его.

– Она, кажется, должна приехать с минуты на минуту?.

– Она уже приехала.

– Сесили уже здесь?

– Да... Но я не пожелал ее видеть; фон Граун дал ей самые подробные указания, и она пообещала в точности придерживаться их.

– Сдержит ли она свое обещание?

– Ее очень многое к тому обязывает; прежде всего, она надеется на смягчение собственной участи и боится, что ее могут тотчас же отослать в Германию, в ту тюрьму, где она была; фон Граун не будет спускать с нее глаз, и при первой же выходке Сесили ее вышлют туда, откуда привезли.

– Это верно; ведь она тут находится, можно сказать, в бегах; как только узнают, за какие преступления она была приговорена к пожизненному заключению, ее немедленно препроводят в Германию.

– И еще одно: если бы даже собственный интерес не принуждал Сесили служить нашим планам, поставленная перед ней задача может быть выполнена только с помощью хитрости, коварства и дьявольской привлекательности, а потому она должна быть в восторге – и, по словам барона фон Грауна, она действительно в восторге – оттого, что ей представился случай употребить те отвратительные качества, которыми она так щедро наделена.

– Скажите, ваше высочество, а она все так же хороша собой?

– Фон Граун находит, что она стала еще привлекательнее, чем прежде; по его словам, он был просто ослеплен ее красотой, особенно пикантна она в эльзасском наряде, который сама себе выбрала. Барон говорит, что огненный взгляд этой чертовки по-прежнему оказывает какое-то магическое действие.

– Знаете, ваше высочество, я никогда не был, как говорится, вертопрахом, человеком без душевного благородства и нравственных устоев... Так вот! Встреть я в двадцать лет эту Сесили и даже знай о том, что она женщина опасная и порочная до мозга костей, я бы не поручился за свой рассудок, если бы долго находился под огнем ее больших черных глаз, которые сверкают на ее хотя и бледном, но пылком лице... Да, клянусь небом, боюсь даже подумать о том, куда бы увлекла меня столь пагубная страсть.

– Меня это не удивляет, достойный мой друг, потому что я хорошо знаю эту женщину. Скажу тебе больше: барон фон Граун был просто испуган той прозорливостью, с какой Сесили мгновенно поняла, а вернее угадала, что ей надлежит сыграть перед нотариусом роль женщины, одновременно вызывающей и почти целомудренной.

– Но удастся ли ее ввести к нему в дом так легко, как вы надеетесь, уповая на рекомендации госпожи Пипле? Люди такого склада, как Жак Ферран, ведьма подозрительны!

– Я рассчитывал, и не без оснований, на то, что при виде Сесили он не устоит и его недоверчивость будет побеждена.

– Он уже видел ее?

– Да, вчера. Судя по рассказу госпожи Пипле, он, без сомнения, был очарован нашей креолкой, потому что тут же решил взять ее в услужение.

– В таком случае, ваше высочество, наша игра выиграна.

– Надеюсь; дикая алчность и свирепое сластолюбие толкнули палача Луизы Морель на самые отвратительные преступления... Это же самое сластолюбие и эта же самая алчность приведут к тому, что он понесет жестокую кару за свои злодеяния... а кара эта, что самое главное,

пойдет на пользу его жертвам... ибо ты ведь знаешь, к чему должны привести все усилия креолюки.

– Сесили!.. Сесили!.. Никогда еще столь дурная женщина, никогда еще женщина, столь испорченная и опасная, никогда еще женщина со столь черной душою не служила воплощению в жизнь столь высоконравственного плана, достижению столь справедливой цели!.. Ваша светлость, а как отнесся ко всему этому Давид?

– Он все одобрил; он всей душой презирает Сесили, она внушает ему ненависть и отвращение, но теперь он смотрит на нее как на орудие справедливого возмездия. «Если эта окаянная женщина, причинившая мне столько зла, – сказал он мне, – может рассчитывать на некоторое сострадание, то лишь в том случае, если она поможет жестоко покарать этого негодяя, Феррана, сделавшись для него безжалостным демоном».

В дверь осторожно постучал привратник. Мэрф вышел из комнаты и тотчас же вернулся с двумя письмами в руках: одно из них было адресовано Родольфу.

– Это весточка от госпожи Жорж, – воскликнул принц, пробежав глазами письмо.

– Что она пишет, ваше высочество?.. Как Певунья?..

– Сомнений больше нет, – ответил Родольф, дочитав письмо до конца. – Опять какой-то мрачный заговор. Вечером того дня, когда бедная девочка исчезла с фермы и госпожа Жорж собиралась сообщить мне об этом, какой-то человек, приехавший верхом, сказал, что он прибыл по моему приказанию, чтобы успокоить ее; он прибавил, что мне известно о неожиданном исчезновении Лилии-Марии и что через несколько дней я сам привезу ее обратно на ферму. Несмотря на это, госпожа Жорж тревожится за судьбу своей подопечной, ибо не получает от меня никаких известий; она сгорает от желания что-либо узнать о своей милой дочери, как она называет бедную девочку.

– Как все это странно, ваше высочество.

– С какой целью могли похитить Лилию-Марию?

– Ваше высочество, – внезапно сказал Мэрф, – по-моему, тут дело не обошлось без графини Сары.

– Сары? А почему ты так думаешь?

– Сопоставьте это происшествие с тем, что она оговорила госпожу д'Арвиль...

– А ведь ты, пожалуй, прав! – воскликнул Родольф в озарении. – Это очевидно... теперь я понимаю... да, всегда один и тот же расчет... Графиня упорно надеется, что если ей удастся разрушить все мои привязанности, то она тем самым заставит меня почувствовать потребность в сближении с ней. Ее надежды столь же безрассудны, как и отвратительны. Однако надо положить конец гнусному преследованию с ее стороны. Она нападает не только на меня, но и на всякого, кто заслуживает уважения, сочувствия, жалости! Немедленно пошли барона фон Грауна к графине, пусть он ей официально заявит, что у меня есть полная уверенность в том, что она причастна к похищению Лилии-Марии и если она не даст всех необходимых сведений для того, чтобы разыскать бедную девочку, я буду беспощаден и поручу барону фон Грауну прибегнуть к помощи правосудия.

– Судя по письму госпожи д'Арвиль, Певунья находится в тюрьме Сен-Лазар.

– Да, она там находилась, но Хохотушка утверждает, что видела ее на свободе, перед входом в тюрьму. Тут кроется какая-то тайна, и надо проникнуть в нее.

– Я немедленно передам ваши распоряжения барону фон Грауну, ваше величество; позвольте мне только перед этим распечатать это письмо; его прислал мне из Марселя доверенный человек, я просил его позаботиться о Поножовщике, он должен был помочь бедному малому уехать в Алжир.

– И что же? Поножовщик уехал туда?

– Ваше высочество, произошло нечто странное!

– Что именно?

– Поножовщик долго ждал в Марселе, пока какое-нибудь судно отправится в Алжир; с каждым днем он становился все тревожнее и печальнее, а в тот день, когда судно должно было отплыть, он вдруг заявил, что предпочитает возвратиться в Париж.

– Как странно!

– Хотя мой доверенный человек, как было заранее условлено, хотел вручить Поножовщику весьма значительную сумму денег, тот взял лишь столько, сколько необходимо для того, чтобы добраться до столицы; из письма следует, что Поножовщик вот-вот появится в Париже.

– Ну, тогда он сам и объяснит нам, почему переменял свое решение; а теперь не мешкая направь фон Грауна к графине Мак-Грегор, а сам поезжай в тюрьму Сен-Лазар и все разузнай там о Лилии-Марии.

Через час барон фон Граун возвратился от графини Сары Мак-Грегор.,

Вопреки обычному своему хладнокровию дипломат был сильно взволнован; как только привратник проводил его к Родольфу, тот заметил, что барон очень бледен.

– Ну что, барон?.. Отчего вы бледны?.. Вы видели графиню?

– Ах, ваше высочество!..

– Да что случилось?

– Ваше высочество, приготовьтесь выслушать весьма неприятное известие.

– В чем все-таки дело?..

– Графиня Мак-Грегор...

– Продолжайте!..

– Ваша светлость, прошу покорнейше простить меня, но я вынужден сообщить вам о столь непредвиденном, столь зловещем событии, столь...

– Графиня умерла?

– Нет, ваше высочество... Но почти нет надежды на то, что она останется в живых... Ее ранили ударом кинжала.

– Это и впрямь ужасно! – воскликнул Родольф, почувствовав невольную жалость к Саре, несмотря на всю свою неприязнь к ней. – А кто совершил это преступление?

– Это неизвестно, ваше высочество. Покушение на убийство сопровождалось кражей, злоумышленник проник в покои графини и унес множество драгоценностей.

– А как все же она сейчас себя чувствует?

– Ее положение почти безнадежно, ваше высочество... Она до сих пор еще без сознания... Брат ее подавлен и потрясен.

– Надо будет каждый день справляться о состоянии здоровья графини, мой милый барон...

В эту минуту вошел Мэрф, возвратившийся из тюрьмы Сен-Лазар.

– Узнай печальную новость, – сказал ему Родольф, – графиню Сару чуть не убили... Ее жизнь в серьезной опасности.

– Ах, ваше высочество! Хотя она во многом виновата, но трудно не пожалеть ее.

– Да, подобный конец просто страшен!.. А что с Певуньей?

– Она была вчера выпущена на свободу, ваше высочество, и полагают, что по заступничеству госпожи д'Арвиль.

– Быть того не может! Напротив, сама госпожа д'Арвиль просит меня предпринять необходимые шаги и добиться освобождения этой несчастной девочки из тюрьмы.

– Все это так, ваше высочество... И тем не менее, какая-то пожилая женщина, вполне респектабельная на вид, явилась в тюрьму Сен-Лазар с распоряжением выпустить Певунью на волю. И они вместе покинули тюрьму.

– То же самое мне рассказывала и Хохотушка; но кто такая эта пожилая женщина, которая пришла в тюрьму за Лилией-Марией? Куда они направились вдвоем? Что означает эта новая тайна? Возможно, графиня Сара могла бы кое-что разъяснить, но она теперь в таком состоянии, что ничего нам сказать не может. И может случиться, что она унесет этот секрет с собой в могилу!

– Но кое-какой свет на все происшедшее мог бы пролить, без сомнения, ее брат Томас Сейтон. Он всегда был ближайшим советником графини.

– Сестра его умирает; речь, видимо, идет о каких-то очередных кознях, так что он ничего говорить не станет. Но вот что, – прибавил Родольф по размышлении, – нужно непременно узнать имя того, кто был заинтересован в том, чтобы Лилия-Мария вышла из тюрьмы; тогда мы

непрерывно что-нибудь выясним.

– Это правильно, ваше высочество.

– Постарайтесь разузнать, кто это мог быть, и как можно скорее повидайте этого человека, дорогой барон. Если вам самому это не удастся, привлечите к розыскам вашего господина Бадино, не пренебрегайте ничем, но во что бы то ни стало обнаружьте след бедной девочки.

– Ваше высочество, вы можете полностью рассчитывать на мое рвение.

– Право же, ваше высочество, быть может, это к лучшему, что Поножовщик возвращается в Париж; его услуги могут быть нам весьма полезны... в предстоящих поисках, – заметил Мэрф.

– Ты говоришь вполне резонно, да, теперь я буду с нетерпением ожидать приезда в столицу моего славного спасителя; я никогда не забуду, что обязан ему жизнью

Глава XII КОНТОРА НОТАРИУСА

Несколько дней прошло с тех пор, как Жак Ферран взял к себе в услужение Сесили.

Мы поведем читателя в уже знакомое ему место – в контору нотариуса; был тот час, когда письмоводители завтракают.

В тот день произошло нечто неслыханное, из ряда вон выходящее, чудесное! Вместо скудного и малоаппетитного рагу, которое каждое утро приносила служащим – а то были люди молодые – покойная г-жа Серафен, посреди стоявшего в центре комнаты стола в старой картонной коробке красовалась огромная холодная индейка, а вокруг нее лежали два свежих мягких хлеба, головка голландского сыра и стояли три запечатанные бутылки вина; старая свинцовая чернильница, наполненная солью и молотым перцем, служила солонкой; таково было меню трапезы.

Каждый из письмоводителей, вооружившись ножом и волчьим аппетитом, ждал часа, когда можно будет приступить к этому пиру, с жадным нетерпением; некоторые из молодых людей даже усердно работали челюстями, хотя жевать пока еще было нечего; при этом они проклинали запаздывавшего старшего письмоводителя, без которого, соблюдая иерархию, нельзя было приступить к завтраку.

Прогресс, а вернее, столь радикальная перемена в обычном рационе служащих конторы Жака Феррана говорила о том, что в доме царит полное смятение.

Нижеследующая беседа, в высшей степени беотийская (если нам будет позволено употребить это слово, которое приобрело популярность по милости весьма остроумного писателя²⁵), позволит несколько прояснить столь важные обстоятельства.

– Перед вами индюшка, которая при своем появлении на свет никак не ожидала, что ей когда-либо придется украсить собой завтрак письмоводителей нашей нотариальной конторы.

– Точно так же патрон этой конторы при своем появлении на свет... в качестве нотариуса никак не ожидал, что ему придется отвалить на завтрак своим письмоводителям целую индейку.

– Потому как что ни говори, а индейка эта принадлежит нам, – завопил мальчишка-рассыльный с вожделием записного гурмана.

– Милый мой рассыльный, ты забываешься, дружок: эта птица останется для тебя незнакомой, вернее сказать, чужестранкой!

– А как истинный француз, ты должен ненавидеть чужестранцев.

– Все, что можно для тебя сделать, – это дать тебе поглотить ее лапы.

– Ведь они – прекрасная эмблема той скорости, с какой ты разносишь бумаги нашей конторы.

– А я-то надеялся, что мне хоть ее скелет достанется, – пробормотал рассыльный,

– Конечно, его можно было бы пожаловать тебе... но у тебя нет на это права: получится то же самое, что получилось с хартией тысяча восемьсот четырнадцатого года, которая так и осталась всего лишь скелетом свободы, которую обкорнали! – заявил писец, игравший в нотариаль-

²⁵ Луи Денуайе.

ной конторе роль Мирабо.

– Ну уж коли речь зашла о скелете, – вмешался кто-то из молодых людей с грубой бесчувственностью, – то к месту вспомнить о скелете мамыши Серафен, упокой господи ее душу! Ведь с тех пор, как она утонула во время загородной прогулки, мы больше не обречены хлебать ее варево, что равносильно бессрочным каторжным работам.

– И вот уже почти неделю патрон вместо того, чтобы пичкать нас скудным завтраком...

– Щедро выдает каждому по сорок су в день.

– Именно потому я и говорю: упокой господи душу мамыши Серафен!

– И то верно: при ней патрон бы в жизни не отвалил нам по сорок су в день.

– Это огромная сумма!

– Сумма просто баснословная!

– Во всем Париже не сыщешь другую такую контору...

– Не сыщешь во всей Европе!

– Во всей вселенной нет другой такой конторы, где простому писцу выдают по сорок су на завтрак!

– Кстати, о госпоже Серафен... Кто из вас видел служанку, которую взяли на ее место?

– Эту эльзаску, которую привела сюда однажды вечером привратница того дома, где жила бедная Луиза? Об этом мне сказал наш привратник.

– Вот именно.

– Нет, я ее еще не видал.

– И я не видел.

– Черт побери! Да ее и невозможно увидеть, ведь патрон просто взбесился, он делает все, чтоб помешать нам даже приблизиться к флигельку во дворе!

– Теперь ведь порядок в конторе поддерживает привратник, он сам же тут и убирает... Как же ты увидишь эту красотку?!

– Ну так вот! Я ее видел!

– Ты?

– Каким образом?

– А какая она из себя?

– Высокая? Маленькая?

– Молодая? Или старая?

– Заранее готов побиться об заклад, что мордашка у нее не такая миловидная, как у бедной Луизы... Славная была девочка!

– Слушай-ка! Коли ты ее видел, новую служанку, скажи хоть, какова она на вид?

– Я не то чтоб ее хорошо разглядел... я видел, вернее сказать, только ее чепчик, надо признать, прехорошенький!

– Ах, вот оно что! Ну и что у нее за чепчик?

– Чепчик у нее бархатный, вишневого цвета; такие чепчики носят продавщицы метелочек...

– Эти эльзаски? Ну понятно, раз она эльзаска.

– Стоп, стоп, стоп...

– Шут вас побери! Чему вы удивляетесь? «Обжегшись на молоке, дуют на воду...»

– Ах, вот и Шаламель заговорил! Ну, ответь: какое отношение имеет эта твоя поговорка к чепчику эльзаски?

– Ровно никакого.

– Зачем же ты ее изрекаешь?

– Потому что «за добро добром платят», а еще потому, что «всякий бездельник – друг человека».

– Ну вот: коли Шаламель начал сыпать своими глупыми поговорками, в которых ни складу ни ладу, это займет не меньше часа. Слушай, расскажи-ка нам лучше все, что ты знаешь об этой новой служанке?

– Позавчера я проходил по дорожке возле флигеля; она стояла, облокотившись на под-

оконник, перед одним из окон первого этажа.

– Кто «она»? Дорожка?

– Перестань чепуху молоть! Служанка стояла. Снизу стекла в окне были очень грязные, и рассмотреть эльзаску я не мог; но посредине стекла были почище, так что, я увидел ее вишневого цвета чепчик и густые черные кудри, черные как смоль, мне показалось, что она причесана на манер римского императора Тита.

– Готов биться об заклад, что наш патрон вряд ли разглядел сквозь свои зеленые очки столько, сколько ты умудрился разглядеть! Он ведь из тех людей, о которых говорят: останься он вдовоем с женщиной на Земле – и род людской прекратится!

– Ничего удивительного: «Хорошо смеется тот, кто смеется последний», тем более что «точность – вежливость королей».

– Боже правый! До чего утомителен этот Шаламель, когда он сыплет своими поговорками!

– Черт побери! «Скажи мне, с кем ты водишься, и я скажу тебе, кто ты!»

– Уф! До чего красиво!

– А я вот что думаю: по-моему, наш патрон из-за своего суеверия все больше тупеет.

– Может, им овладело раскаяние, и потому он выдает каждому из нас по сорок су на завтрак...

– Скорее он просто свихнулся.

– Или заболел.

– Мне уже несколько дней кажется, что у него какой-то потерянный вид.

– Да, его что-то почти совсем не видно... Раньше он, нам на горе, появлялся у себя в кабинете ни свет ни заря и все время чего-то от нас требовал, а теперь по два дня в контору носа не кажет.

– Оттого-то старший письмоводитель просто завален работой.

– И мы нынче утром, того и гляди, околеем с голоду, дожидаясь его!

– Да, в нашей конторе большие перемены!

– Представляете, как был бы удивлен этот бедняга Жермен, узнай он о том, что у нас происходит. «Вообрази, дружище, – сказал бы я ему, – патрон выдает каждому из нас по сорок су на завтрак». – «Ни за что не поверю, того быть не может», – услышал бы я в ответ. – «Еще как может! Патрон сказал об этом мне самому, Шаламелю». – «Ты что, смеешься?» – «Да совсем не смеюсь! Вот как все это было: первые два или три дня после смерти мамыши Серафен мы вообще без завтрака сидели; с одной стороны, это было неплохо – по крайней мере, не хлебали ее вариво! Но, с другой стороны, нам приходилось тратить свои денежки на еду. Но сколько-то мы терпели, говоря себе: «У патрона нет теперь ни домоправительницы, ни служанки, когда он опять прислугу заведет, мы опять начнем давиться по утрам отвратительной похлебкой». Ну так вот! Ничего подобного, мой милый Жермен: патрон опять завел служанку, а наш завтрак так и остался погребенным в реке забвения! И тогда меня, как говорится, послали парламентаром к патрону изложить ему жалобы наших желудков. Когда я пришел к нотариусу, он о чем-то беседовал со старшим письмоводителем. «Не буду я вас больше кормить по утрам, – проворчал он угрюмо, думая о чем-то своем, – у моей новой служанки нет времени возиться с вашим завтраком». – «Но ведь было условлено, сударь, что вы обязаны давать нам еду по утрам». – «Ладно, покупайте себе что-нибудь на завтрак, а я вам буду давать на это деньги. Сколько вам понадобится? Сорок су на каждого хватит?» – прибавил он, все глубже и глубже погружаясь в свои мысли. Он сказал «сорок су», но мог с таким же успехом сказать и «сто су» либо «двадцать су»! «Да, – поспешил я ответить, – сорока су хватит!» – «Идет! – ответил он. – Старший письмоводитель будет выдавать вам деньги, а я с ним сочтусь». С этими словами патрон захлопнул дверь у меня перед носом. Согласитесь, господа, что Жермен будет просто поражен щедростью нашего патрона.

– Жермен скажет, что патрон, должно быть, употребил много спиртного.

– Вернее, злоупотребил спиртным!

– Шаламель, уж лучше сыпь поговорками, но не занимайся игрою слов!

– Нет, серьезно: я думаю, что патрон болен. За последнюю неделю он стал просто незна-

ваем: щеки у него так ввалились, что в них твой кулак войдет!

– А уж до чего он стал рассеян! На это стоит поглядеть. Вчера он приподнял на лоб свои очки, чтобы пробежать глазами какой-то счет, так вот, глаза у него были красные и светились как горящие угли.

– Ну что ж, он был в своем праве, ведь «добрый счет дружбе не помеха»!

– Не мешай мне говорить. Поверьте, господа, все это весьма странно. Я подаю ему бумагу, а он сидит не поднимая головы.

– Кто? Патрон? Да, все это и впрямь куда как странно. Отчего это он сидел не поднимая головы? Верно, кипел от гнева, если только его привычки, как ты утверждаешь, круто не переменялись.

– Ох, до чего ты несносен, Шаламель! Говорю тебе, что я подал ему бумагу вверх ногами.

– Вот он, должно быть, разворчался!

– Как бы не так! Да он этого просто не заметил; просидел, уставившись на бумагу, минут десять, так и сверлил ее своими глазищами, а потом вернул мне ее... пробормотав: «Все правильно!»

– И он все время держал ее вверх ногами?

– Все время...

– Стало быть, он ее не читал?

– Черт побери, конечно! Разве только он умеет читать снизу вверх...

– Вот диковина!

– У него был до того хмурый вид и вместе с тем такой жалкий, что я не решился ничего сказать и вышел из его кабинета с таким видом, как будто ничего не случилось.

– А со мной дня четыре тому назад вот что было: я сидел в рабочем кабинете старшего письмоводителя; и тут приходит какой-то клиент, за ним второй, потом третий, всех их пригласил к такому-то часу патрон. Они долго ждут, затем теряют терпение; по их просьбе я стучу в дверь, ведущую в кабинет нотариуса; никто не отвечает, тогда я толкаю дверь и вхожу...

– Ну и что же?

– Господин Ферран скрестил руки на письменном столе и положил на них свою плешивую голову, зрелище, надо сказать, было малопривлекательное... и в такой позе он сидел не двигаясь.

– Спал, что ли?

– Я тоже так подумал. Подошел к нему поближе и сказал: «Сударь, там собрались клиенты, которым вы велели прийти...» Он даже не пошевелился. «Сударь!..» – говорю я опять. Никакого ответа. Тогда я легонько тронул его за плечо, а он как выпрямится, словно его бес укусил! При этом его большие зеленые очки съехали на самый кончик носа, и я увидел... Вы мне ни за что не поверите...

– Так что ты все-таки увидел?

– Слезы у него на глазах...

– Шутишь?!

– Ну, тут ты, брат, перехватил!

– Это наш патрон плакал? Ни в жизнь не поверю!

– Если он когда и заплачет... то лишь тогда, когда рак свистнет!

– Или когда куры вместо обычных яиц начнут золотые нести!

– Та-та-та! Можете и дальше чепуху болтать, а только я все своими глазами видел.

– Патрон плакал?

– Говорят вам, плакал! А потом он пришел в ярость оттого, что я его в таком состоянии застукал; он торопливо поправил свои очки и как завопит: «Ступайте!.. Ступайте!..» – «Однако, сударь...» – «Ступайте вон!..» – «Сударь, там собрались клиенты, вы их сами на этот час пригласили и...» – «Нет у меня времени, пусть они убираются ко всем чертям, да и вы вместе с ними!» И тут он вскочил с таким угрожающим видом, будто собирался вытолкнуть меня за дверь: я дольше ждать не стал, выскользнул из кабинета и отправил всех клиентов восвояси, вид у них при этом был весьма недовольный, ну это понятно... но, желая спасти честь нашей конторы, я сказал им, что патрон заболел, что у него... коклюш.

Эту занимательную беседу служащих нотариальной конторы прервало появление старшего письмоводителя; он вошел запыхавшись, его встретили приветственными возгласами, и все взгляды мигом обратились на холодную индюшку; в этих взглядах явно читались нетерпение и алчность.

– Не в обиду будь вам сказано, ваша милость, но вы заставляете чертовски долго вас ждать, – заявил Шаламель.

– Берегитесь! – поддержал его еще кто-то. – В следующий раз... наш аппетит не будет столь послушным!

– Ах, господа, моей вины тут нет... Я волновался и злился не меньше вашего... Но даю вам честное слово: наш патрон свихнулся!

– Ну, а я вам что говорил!

– Но позавтракать-то нам это не помешает?!

– Скорее, напротив!

– Мы и с полным ртом поговорить сумеем.

– Даже еще сподручнее будет говорить! – закричал рассыльный.

А Шаламель, старательно разрезавший индюшку, сказал старшему письмоводителю:

– С чего вы взяли, что наш патрон тронулся?

– Мы и сами подумали, что он малость не в себе, когда он положил нам по сорок су на завтрак... ежедневно.

– Признаюсь, что это меня удивило так же, как и вас, господа. Но то была мелочь, сущая мелочь по сравнению с тем, что только сейчас произошло.

– А что такое стряслось?

– Неужели наш злосчастный патрон дойдет до такого сумасбродства, что будет отправлять нас обедать в ресторан «Синий циферблат»?

– А потом мы за его счет станем ходить в театр?

– А после театра в кофейню, чтобы скоротать вечерок за кружкой пунша?

– А потом...

– Господа, можете потешаться сколько вам угодно, но сцена, при которой я только что присутствовал, вовсе не располагает к шуткам, она скорее вселяет страх.

– Понятно. Расскажите нам поподробнее об этой сцене.

– Да, вот именно, – вмешался Шаламель, – не приступайте покамест к завтраку, потому что мы все обратились в слух.

– Кажется, не только в слух, но позволительно сказать – и в челюсти, дети мои! Я понимаю, куда вы клоните: пока я стану рассказывать, вы будете работать челюстями... и покончите с индюшкой раньше, чем я с моей историей. Терпение, оставим мою историю на десерт.

Голод ли прищпоривал молодых писцов или любопытство, сказать не беремся; но они с такой быстротой занялись гастрономической операцией, что старший письмоводитель смог приступить к своему повествованию почти тотчас же.

Боясь, как бы нотариус не застал их врасплох, в соседней комнате поставили на часах рассыльного, на долю которого щедро выделили скелет и лапы индюшки.

Вот что рассказал старший письмоводитель своим сотоварищам:

– Прежде всего... вам следует знать, что привратника уже несколько дней сильно тревожило состояние здоровья нашего патрона: привратник, как известно, ложится спать поздно, и вот он несколько раз замечал, что господин Ферран среди ночи выходит в сад, невзирая на холод и дождь, и прохаживается там большими шагами. Однажды привратник осмелел, вышел из швейцарской и спросил у нотариуса, не нужно ли ему чего. Патрон велел ему отправляться спать таким тоном, что с тех пор привратник сидел смирно, что он и делает всякий раз, когда Жак Ферран выходит ночью в сад, а происходит это чуть ли не каждый день, причем поступает он так в любую погоду.

– А может быть, наш патрон просто лунатик?

– Это маловероятно... Но такого рода ночные прогулки говорят о его сильном волнении... Теперь перехожу к моей истории... Перед тем как идти к вам, я на минуту заглянул в кабинет

Эжен Сю

патрона, чтобы дать ему на подпись несколько бумаг... Взявшись за дверную ручку, я смутно услышал какой-то разговор. Я остановился перед дверью... и различил два или три глухих возгласа... они походили скорее на приглушенные стоны. С минуту я поколебался, а потом вошел в кабинет... Дело в том, что я боялся, не произошло ли какое-нибудь несчастье... Итак, я открыл дверь...

– И что?

– Что я увидел? Патрон стоял на коленях... прямо на полу...

– На коленях?

– Прямо на полу?

– Вот именно... Он стоял на коленях прямо на полу... Голову он закрыл руками... а локтями уперся в сиденье стоявшего в углу старого кресла...

– Так все же проще простого... Какие мы дураки! Он ведь известный ханжа, вот и решил лишний раз помолиться.

– Ну, коли так, то это была весьма странная молитва! Были слышны только сдерживаемые стоны, да еще время от времени он бормотал сквозь зубы: «Боже мой... боже мой... боже мой!..», словно был в полном отчаянии. А потом... вот что самое странное... Судорожным движением он поднес руки к груди, как будто хотел расцарапать ее ногтями, при этом рубашка его распахнулась, и я отчетливо увидел на его волосатой груди небольшой красный бумажник, он висел у него на шее... на стальной цепочке...

– Вот так штука... вот так штука... Ну и что из того?

– А то, что, увидя все это, я никак не мог решить: оставаться мне в кабинете или уйти.

– Надо признаться, и я на вашем месте был бы в нерешительности, не знал бы, какой политики придерживаться.

– Я застыл на месте... в полном замешательстве, и вдруг наш патрон поднимается и разом поворачивается в мою сторону; в зубах у него был старый носовой платок в клеточку... очки его остались лежать в кресле... Нет... нет, господа, я в жизни не видел у человека такого выражения лица: он походил на помешанного. Я в страхе попятился... Клянусь, я был не на шутку испуган! И тогда он...

– Схватил вас за горло?

– Не угадали. Сперва он уставился на меня с потерянным видом; потом выронил носовой платок, который, без сомнения, разорвал в клочья, когда скрипел зубами, и с воплем кинулся ко мне в объятия, отчаянно крича: «Господи, до чего я несчастен!»

– Что за выходка?!

– Вот тебе и выходка! Ну ладно!.. Но, признаюсь, когда он поднял голову, напоминавшую обтянутый кожей череп, и произнес эти слова... таким душераздирающим голосом... я бы даже сказал, почти певучим и нежным голосом...

– Нежным голосом... ну, знаете... нет на свете такой трещотки, нет такой осипшей совы, чье уханье не покажется нежной музыкой по сравнению со скрипучим голосом нашего патрона!

– Все это, возможно, и так, но тем не менее в ту минуту голос его звучал так жалобно, что я был растроган, тем более что господин Ферран обычно не склонен давать волю своим чувствам. «Сударь, – начал я, – поверьте...» – «Перестань! Перестань! – ответил он, не дав мне договорить. – Становится легче, когда можешь кому-нибудь признаться, как сильно ты страдаешь...» Он явно принимал меня за кого-то другого.

– Патрон обратился к вам на «ты»? В таком разе вы должны поставить нам две бутылки бордоского вина:

«Когда патрон на «ты» с тобой,
Плати за выпивку, друг мой!»

Так гласит поговорка, а это – дело святое! Ведь поговорки выражают народную мудрость.

– Послушайте, Шаламель, да оставьте наконец свои ребусы! Понимаете, господа, когда я услышал, что патрон говорит мне «ты», я тут же понял, что он либо обознался, либо в лихора-

дочном жару. Я высвободился из его объятий и сказал ему: «Успокойтесь, сударь!.. Успокойтесь!.. Это я, старший письмоводитель». Тут он тупо уставился на меня.

– В добрый час! Наконец-то вы говорите правду.

– Глаза у него блуждали. «Что?! Как вы сказали?.. – воскликнул он. – Это вы тут?.. А чего вы хотите?..» И при каждом новом вопросе он проводил ладонью по лбу, как будто стремился разогнать туман, обволакивавший его мозг.

– Туман, обволакивавший его мозг... Вы говорите как по писаному... Bravo! Послушайте, наш глубокоуважаемый старший письмоводитель, этак мы с вами скоро сочиним целую мелодраму:

Когда ты о душе сказал так хорошо и прямо,
Садись и сочини скорее мелодраму!

– Да помолчи наконец, Шаламель!

– Что же все-таки творится с нашим патроном?

– Ей-богу, ничего понять не могу! Но одно могу сказать совершенно твердо: когда к нему вернулось самообладание, он запел совсем по-иному. Господин Ферран грозно нахмурил брови и быстро заговорил, не давая мне даже времени ответить: «Что вы тут делаете? Давно ли вы здесь находитесь?.. Выходит, я не могу спокойно побыть в своем кабинете? Меня и тут окружают лазутчики! Что я говорил? Что вы услышали? Отвечайте... Отвечайте же!» При этом у него был такой злобный вид, что я поторопился сказать: «Я ничего не слышал, сударь, я только что вошел». – «Вы меня не обманываете? Вы не лжете?» – «Нет, сударь». – «Ну ладно! А что вам угодно?» – «Вы должны подписать несколько бумаг, сударь». – «Давайте их сюда». И он принимается подписывать, подписывать одну бумагу за другой... даже не читая. Так он подмахнул с полдюжины нотариальных актов, он, который обычно своего росчерка не поставит, не прочитав бумагу, можно сказать, по складам, по буквам, да еще не раз, а два – с первой строки и до последней. Время от времени рука его останавливалась, казалось, им владеет навязчивая идея, а потом он опять принимался быстро-быстро, почти судорожно выводить свою подпись. Когда все было подписано, он предложил мне убираться к себе; выйдя из его кабинета, я услышал, как он стал спускаться по лесенке, ведущей во двор.

– Я снова возвращаюсь к своему вопросу... Что с ним все-таки творится?

– Господа, а может, он так горюет по госпоже Серафен?

– Как бы не так! Станет он о ком-нибудь горевать? Он-то!

– Я еще вот о чем подумал: привратник мне говорил, что священник из церкви Благовещения и его викарий несколько раз приходили сюда, чтобы повидать патрона, однако он их не принял. Это просто поразительно! Не принял их, а ведь они раньше отсюда просто не вылезали!

– А меня совсем другое занимает; хотел бы я узнать, какой именно работой занимались во флигеле столяр и слесарь?

– А ведь они там провозились целых три дня.

– А потом, однажды вечером, туда отнесли какую-то мебель, ее привезли в большом крытом фургоне.

– Ей-богу, господа! Я не в силах разгадать сию тайну, как сказал Лебедь из Камбрэ!

– А может быть, его мучит совесть из-за того, что он упек Жермена в тюрьму...

– Кого мучит совесть? Это его-то?! Нет, нашего патрона так просто не проймешь, он крепкий орешек, как говаривал Орел из Мо!

– Ну и шутник же этот Шаламель!

– Кстати, о Жермене; бедняга хлебнет горя в тюрьме, там появилось такое пополнение...

– Ты о чем?

– Я прочел в «Судебной газете», что в одном из подземных кабаков на Елисейских полях захватили шайку воров и убийц...

– Да, такие кабаки – сущие вертепы...

– Так вот, эту шайку злодеев отправили в тюрьму Форс.

– Бедный Жермен! Он угодил в славную компанию!

– В тюрьму, где томится Луиза Морель, тоже прибудет пополнение; говорят, что в эту шайку входило целое семейство воров и убийц: от отца и до сына... от матери до дочери...

– Понятно: преступниц из этой шайки отправят в тюрьму Сен-Лазар, где отбывает заключение Луиза.

– Быть может, кто-нибудь из членов этой шайки и зарезал графиню, что живет возле Обсерватории, она одна из клиенток нашего патрона. Он постоянно отправляет меня осведомляться о здоровье этой графини! Сдается, оно его сильно занимает. Надо отдать ему справедливость, тут он сохранил ясность рассудка... Еще вчера он опять посылал справиться о самочувствии графини Мак-Грегор.

– Ну и что ты узнал?

– Там все по-прежнему: сегодня надеются, на завтра приходят в отчаяние, никогда толком неизвестно, доживет ли она до вечера или нет; позавчера совсем уже перестали надеяться, а вот вчера сказали, что смутная надежда все-таки есть; ее состояние осложняется тем, что у нее мозговая горячка.

– А тебя впустили в дом? Ты видел комнату, где было совершено покушение на убийство?

– Как бы не так!.. Меня дальше калитки не пустили, а привратник у них не из разговорчивых, от него ничего толком не узнаешь...

– Господа... внимание, будьте осторожны! Сюда идет патрон! – закричал рассыльный, вбегая в комнату со скелетом индюшки в руках.

И молодые люди тотчас же поспешили каждый к своему столу, склонились над бумагами и застрочили перьями, а мальчишка-рассыльный в мгновение ока сунул обгрызенный скелет индюшки в картонную коробку с папками для дел.

На пороге и в самом деле появился Жак Ферран.

Он был без своего обычного головного убора – старого колпака из черного шелка, и его рыжие волосы, кое-где перемежавшиеся седыми прядями, в беспорядке падали на обе щеки; жилы, выступавшие на плешивой голове, казалось, разбухли от крови, курносое лицо с запавшими щеками было мертвенно бледным. Различить выражение глаз, скрытых под большими зелеными очками, было невозможно, но все черты его физиономии были так искажены, что становилось понятно: этого человека пожирает какая-то страсть!

Он медленно пересек помещение нотариальной конторы, ничего не сказав своим служащим, даже не заметив, чем они заняты, затем вошел в комнату старшего письмоводителя, также пересек ее, вошел в свой кабинет, не задержался и там, почти тотчас же спустился по лесенке, ведущей во двор.

Проходя, Жак Ферран не прикрыл за собой ни одной двери, и писцы могли сколько угодно удивляться необъяснимым и весьма странным переменам в поведении своего патрона, который, поднявшись по одной лестнице, почти тотчас же спустился по другой, ни на минуту не остановившись ни в одной из комнат, которыми он машинально проходил.

Глава XIII

ЛЮБОСТРАСТНЫМ НЕ БУДЬ...

Однако, вместо того чтобы придерживаться того светлого и чистого, что можно обрести в той обители умов и сердец, создаваемой дружбой, я уступал мерзкому влиянию собственной похоти, я покорялся жажде сладострастия, столь сильной в тогдашнем моем возрасте, и вождение точно туман окутывало меня, помрачая очи моего разума.

... Я неумеренно предавался плотским утехам, и жар грубых страстей сжигал мое сердце, безжалостно испепеляя все, что было во мне крепкого и сильного.

... Когда я смотрел на моих сотоварищей, которые бахвалились своим распутством и получали тем большее удовольствие, чем низменнее был их разврат, я испытывал чувство стыда из-за того, что не мог похвастаться подвигами такого рода.

(Исповедь блаженного Августина, книга II, главы II и III)

Стояла темная ночь.

Глубокая тишина, которая царит во флигеле, где живет Жак Ферран, время от времени нарушается завыванием ветра и шумом дождя, что потоками низвергается на землю.

Эти заунывные звуки еще сильнее подчеркивают угрюмое одиночество этого жилища.

В одной из спален, расположенной на втором этаже, с большим комфортом заново обставленной и украшенной огромным пушистым ковром, перед камином, где ярко пылает огонь, стоит молодая женщина.

Странная вещь! Посреди двери, старательно запертой на засов, – дверь эта проделана в стене, противоположной той, где стоит кровать, – замечаешь небольшое окошечко в пять или шесть квадратных дюймов, которое можно открыть и изнутри и снаружи.

Лампа с абажуром отбрасывает мягкий свет на стены комнаты, оклеенной обоями гранатового цвета; полог на кровати, занавески на окне, равно как и покрывало на широкой софе, сшиты из дамасского шелка и шерсти того же – гранатового – цвета.

Мы так подробно описываем эти приметы известной роскоши, которая совсем недавно появилась в жилище нотариуса, ибо роскошь эта свидетельствует о полном и решительном изменении в привычках Жака Феррана, до тех пор отличавшегося отвратительной скупостью и спартанской нетребовательностью во всем, что относилось к уюту (особенно если дело касалось других).

На фоне этих гранатовых обоев, одновременно яркого и теплого оттенка, вырисовывается силуэт Сесили, которую мы попытаемся описать.

Высокая и необыкновенно гибкая, креолка находится в самом расцвете молодости. Ее сильные и красивые плечи, ее пышные бедра еще больше подчеркивают необычайно тонкую, хотя и округлую талию; легко поверить в то, что Сесили вполне может воспользоваться вместо пояса своим ожерельем.

Ее эльзасский костюм одновременно и скромнен и кокетлив, он отличается причудливой театральностью, но она-то как нельзя лучше служит тому эффекту, который Сесили и намеревалась произвести.

Спенсер из черного казимира, полуоткрытый на высокой груди, довольно длинный, но с короткими рукавами, плотно охватывавший спину, был обшит пурпурной шерстяной нитью на обшлагах и украшен двумя рядами маленьких пуговиц из чеканного серебра. Короткая меринсовая юбка оранжевого цвета, которая на первый взгляд кажется слишком широкой, тем не менее прекрасно облегает ее поистине скульптурные бедра и позволяет видеть до половины прелестные колени креолки: на ней алые чулки с синими стрелками, такие чулки можно увидеть на полотнах старых фламандских мастеров, которые столь охотно показывают каждому подвязки на ногах своих дебелых матрон.

Никогда еще ни один художник не мог даже мечтать о такой изумительной линии ноги, какая была у ножек Сесили! Сильные, с тонкой щиколоткой и округлой икрой, они оканчивались миниатюрной стопой, изящно обутой в крошечный башмачок из черного сафьяна с золотыми застежками.

Сесили, чуть перегнувшись влево, стоит против зеркала, которым увенчан камин... Большой вырез ее спенсера позволяет увидеть стройную шею и полную, но упругую грудь ослепительной белизны.

Креолка сняла свой чепчик вишневого цвета, чтобы сменить его перед сном на легкий шелковый платок; при этом открылись ее великолепные, густые, иссиня-черные волосы, разделенные прямым пробором и вьющиеся от природы; они ниспадают по ее щекам до того места, где шея уходит в плечи.

Нужно хорошо знать, с каким неподражаемым вкусом креолки повязывают вокруг головы платки ослепительно ярких цветов для того, чтобы наглядно представить себе очаровательный ночной головной убор Сесили: легкая ткань в красную, голубую и оранжевую полосу весьма пикантно контрастировала с ее черными кудрями, выбивавшимися из-под платка и обрамлявшими множеством шелковистых завитков ее бледные, но круглые и налитые соками щеки...

Закинув за голову полные руки, Сесили кончиками своих точеных словно из слоновой кости пальчиков завязывала на затылке широкий бант, чуть сдвинув его налево, почти к самому уху.

Черты лица у Сесили таковы, что, раз увидев, их невозможно забыть.

Надменный, чуть выпуклый лоб венчает безупречный овал ее лица; у нее матово бледная кожа, свежая и атласная, как лепестки у камелии, слегка позолоченные солнечным лучом; большие, нет, огромные глаза поражают каким-то необыкновенным выражением, ибо громадные черные и блестящие зрачки занимают почти все глазное яблоко, оно лишь чуть виднеется в уголках глаз, затененных веками, которые украшены густыми и длинными ресницами; у нее четко очерченный подбородок; прямой и тонкий нос заканчивается двумя вздрагивающими ноздрями; они раздуваются при малейшем волнении; рот у нее одновременно вызывающий и нежный, алые губы необыкновенно свежи.

На этом бледном лице особенно заметны огромные сверкающие глаза и влажные ярко-красные губы, блестящие как смоченный коралл.

Скажем прямо: эта высокая креолка, довольно полная, но статная, сильная и гибкая, как пантера, являла собою воплощение грубой чувственности, какая расцветает только под палящим солнцем тропиков.

Разумеется, все слышали разговоры о темнокожих женщинах, общение с которыми гибельно для европейцев, об этих оболстительных вампирах: они опьяняют свою жертву, прельщают ее своими ужасными чарами, высасывают из нее до последней капли золото и кровь, так что злополучному мужчине остается только одно – глотать свои слезы и глотать свое сердце, как выражаются в народе.

Такой женщиной и была Сесили.

Надо сказать, что ее отвратительные инстинкты некоторое время сдерживала сильная привязанность к Давиду, и она дала им волю уже в Европе, где под влиянием цивилизованного общества и умеренного климата они несколько смягчились и проявлялись уже по-иному.

В отличие от себе подобных женщин, которые свирепо набрасываются на жертву и стремятся как можно скорее отнять состояние и саму жизнь у злополучного человека, попавшего в их сети, Сесили завораживала своего поклонника гипнотическим взглядом и мало-помалу затягивала его в огненный вихрь страсти, которую, казалось, излучала; затем, убедившись, что он окончательно потерял голову и совершенно изнемог под бременем невыносимых мук, порожденных неутоленным желанием, она с удовольствием и каким-то изощренным и жестоким кокетством доводила его до исступления; затем, следуя своему природному инстинкту, она буквально пожирала его, сжимая в своих смертоносных объятиях.

И это было еще ужаснее.

Голодный тигр, который одним прыжком настигает свою жертву и с ревом разрывает ее на части, внушает меньший ужас, чем змея, которая молча завораживает жертву, мало-помалу высасывает из нее кровь, обвивается вокруг бессильной жертвы, сжимая ее, как тисками, неумолимо, хотя и медленно, дробит ее мышцы и кости, ощущает, как та трепещет под ее укусами, и словно бы насыщается не только кровью своей добычи, но и ее муками.

Как мы уже говорили, Сесили вскоре после приезда в Германию была развращена ужасным распутником; затем, втайне от Давида, любившего ее со слепым обожанием, некоторое время околдовывала и соблазняла мужчин, пользуясь своей опасной привлекательностью; однако уже вскоре произошел громкий скандал, и все похождения Сесили были преданы гласности; обнаружили столь отвратительные подробности, что эту женщину приговорили к пожизненному заключению.

Прибавьте к этим тлетворным чертам натуры Сесили гибкий ум, коварство, вкрадчивость и незаурядные способности, позволившие ей за какой-нибудь год с легкостью овладеть французским и немецким языками: она не только бегло говорила на них, но даже изъяснялась с, видимо, присущим ей от природы красноречием; вообразите себе порочность, достойную распутных императриц Древнего Рима, отвагу и мужество, не покидавшие ее ни при каких обстоятельствах, дьявольскую злобу, и вы представите себе, какова была новая служанка Жака Феррана – женщи-

на, которая без колебаний решилась проникнуть в это волчье логово.

Но странное дело! Узнав от барона фон Грауна о том, какую вызывающую, но платоническую роль ей предстоит сыграть в доме нотариуса, поняв, что, обольщая Жака Феррана, она должна помочь свершиться справедливому мщению, Сесили дала себе слово сыграть эту роль с любовью, а вернее с ужасной ненавистью, какой она прониклась к нотариусу, узнав о мерзком насилии, которое он совершил в отношении несчастной Луизы, и почувствовав при этом искреннее негодование; рассказать обо всем этом креолке пришлось для того, чтобы она была настороже и была готова дать отпор сдобренным лицемерием побуждениям и попыткам этого изверга.

Теперь мы полагаем необходимым сказать несколько слов о том, как отнесся Жак Ферран к предстоящему появлению Сесили в его доме.

Когда г-жа Пипле привела молодую женщину к нотариусу и сказала, что Сесили – сирота, до которой ей мало дела, что она ее опекать не собирается, Жак Ферран был даже не столько поражен красотой креолки, сколько загипнотизирован ее неотразимым взглядом; этот завораживающий взгляд с первой же минуты зажег жгучий огонь в крови нотариуса и помутил его разум.

Ибо, как мы уже говорили, отмечая безрассудную дерзость его речей во время разговора с герцогиней де Люсене, человек этот, обычно прекрасно владевший собой, хладнокровный; коварный и хитрый, забывал о своих холодных расчетах, о своей осторожности и скрытности, когда демон сладострастия овладевал его помыслами.

А ко всему, у него не было никаких оснований остерегаться попечений г-жи Пипле.

После своего разговора с привратницей г-жа Серафен предложила нотариусу взять в услужение взамен Луизы некую одинокую девицу, за которую она ручается... Жак Ферран принял это предложение своей домоправительницы, надеясь безнаказанно воспользоваться в своих целях шатким положением новой служанки, у которой не было никаких покровителей.

Словом, не имея никаких поводов для подозрительности, Жак Ферран находил в ходе последних событий новые резоны для спокойствия.

Все отвечало его тайным желаниям.

Смерть г-жи Серафен избавила его от опасной сообщницы.

Смерть Певуньи (а он был уверен, что она умерла) избавляла от, можно сказать, живой улики, свидетельствующей о его давнем преступлении.

Наконец, благодаря смерти Сычихи и неожиданной гибели графини Мак-Грегор (она находилась в безнадежном положении) он мог отныне не бояться двух этих женщин, чьи разоблачения и угрозы могли оказаться для него пагубными...

Поэтому, повторяем: даже тени подозрения не закрадывалось в душу Жака Феррана, и ничто не могло поколебать того неожиданного и неотразимого впечатления, которое произвела на него Сесили, как только он ее увидел; вот почему он с жадностью ухватился за возможность завлечь в свой дом, в свое уединенное жилище, мнимую племянницу г-жи Пипле.

Особенности характера, наклонностей и прежних поступков Жака Феррана, уже хорошо известные читателю, вызывающая красота креолки, которую мы, как могли, описали, а также еще некоторые обстоятельства, о которых мы скажем ниже, помогут читателю понять, как мы надеемся, почему нотариус внезапно воспылил неистовой страстью к Сесили, этой прельстительной и опасной женщине.

Ко всему еще уместно добавить, что если женщины такого рода отталкивают и отвращают от себя людей с нежными и возвышенными чувствами, то они производят неизгладимое впечатление, оказывают просто колдовское влияние на людей с грубой чувственностью, таких, как Жак Ферран, и полностью подчиняют их себе.

Подобные сладострастники с первого взгляда угадывают, что перед ними такие женщины, ибо они с первой же минуты к ним вождедеют; роковая власть таких женщин влечет сластолюбцев к ним, и уже вскоре таинственные чары, гипнотическое влияние налагают на них оковы и заставляют падать к ногам их чудовищного идеала; ибо только эти женщины и могут утишить нечистый жар, сжигающий души рабов похоти.

Таким образом, неотвратимый рок, суливший справедливое возмездие, неумолимо притягивал и толкал нотариуса к Сесили. Он ступал на стезю грозного искушения.

Свирепое сластолюбие побудило Жака Феррана совершить гнусное преступление, безжалостно, с яростью преследовать семью честных бедняков, обрекая ее на нищету, на безумие, на гибель...

Именно сладострастие должно было стать ужасной карой для этого великого преступника.

Ибо замечено, что в силу некой роковой справедливости нередко извращенные, противоземные страсти несут в себе возможность наказания...

Возвышенная любовь, если даже на нее не отвечают взаимностью, находит известное утешение в нежной дружбе, в чувстве уважения, которым женщина, достойная обожания, неизменно вознаграждает любящего ее человека, если она не может ответить ему более нежным чувством. Если такая награда и не утишает горе злосчастливого возлюбленного, если его отчаяние столь же неисцелимо, как и его любовь, он может, по крайней мере, открыто признаваться в своей несчастной любви и даже гордиться ею...

Но чем можно вознаградить дикую страсть, плотское влечение, которое доходит до неистовства?

Прибавим, что такое плотское влечение столь же неумолимо властвует над грубыми натурами, сколь неумолимо властвует над натурами возвышенными высокая любовь...

Нет, не только глубокая и всепоглощающая любовь возникает внезапно, ослепляя и поработывая человека, не только она сосредотачивает все его помыслы, все его порывы на владычице его сердца и делает невозможным для него любую другую привязанность, решает всю его дальнейшую судьбу.

Грубая плотская страсть тоже может достичь невероятной силы, как это случилось с Жаком Ферраном; и тогда все те проявления, которые сопутствуют единственной, всепоглощающей, непреодолимой и возвышенной любви, сопутствуют и грубой страсти; но в первом случае они высоконравственны и чисты, а во втором случае – низменны и безнравственны.

Хотя Жаку Феррану и не суждено было добиться успеха и вкушать наслаждение, прекрасная креолка остерегалась полностью лишить его надежды; но ее смутные и двусмысленные обещания, которыми она баюкала нотариуса, так тесно переплетались с ее жестокими капризами, что служили для него источником лишних терзаний и еще сильнее скрепляли раскаленные цепи, которые приковывали его к соблазнительнице.

Если читателя удивляет, что нотариус, человек столь решительный и властный, до сих пор не прибегнул ни к силе, ни к коварству для того, чтобы преодолеть обдуманное заранее сопротивление Сесили, то он, читатель, забывает о том, что креолка ничуть не походила на бедную Луизу. К тому же на следующий же день после своего появления в доме нотариуса креолка, как мы сейчас расскажем, стала играть совсем другую роль, чем та, с помощью которой она проникла в его жилище: дело в том, что Жака Феррана мнимая служанка долго дурачить бы не могла.

Подробно узнав от барона фон Грауна о судьбе Луизы и о тех отвратительных средствах, благодаря которым злосчастная дочь гранильщика алмазов Мореля сделалась добычей этого сладострастника, Сесили предприняла все меры предосторожности, с тем чтобы уже в первую ночь своего пребывания в доме нотариуса почувствовать себя в полной безопасности.

Вечером, когда она впервые осталась наедине с Жаком Ферраном, он, боясь ее спугнуть, сделал вид, что даже не смотрит в ее сторону, и отрывистым тоном велел Сесили отправляться спать; тогда она простодушно призналась ему, что по ночам боится воров; однако, прибавила креолка, она очень сильна, решительна и готова защитить себя.

– А чем вы собираетесь защищаться? – спросил нотариус.

– А вот чем... – ответила Сесили, достав из широкой шерстяной накидки, в которую она куталась, небольшой остро отточенный кинжал, вид которого заставил Жака Феррана призадуматься.

Тем не менее, поверив в то, что его новая служанка боится только воров, нотариус проводил Сесили в предназначенную для нее комнату (то была бывшая комната Луизы). Внимательно оглядев все кругом, креолка, дрожа и опуская глаза, сказала, что все из того же страха она просидит всю ночь на стуле, потому что, как она убедилась, на двери нет ни задвижки, ни запора.

Жак Ферран уже был полностью под властью ее чар, но, боясь испортить дело, зародив по-

дозрения у Сесили, он ворчливо сказал молодой женщине, что она просто взбалмошная дура, если так страшится воров; однако он пообещал ей, что на следующий день к двери приделают задвижку.

В ту ночь креолка так и не легла спать.

На следующее утро нотариус вошел к ней в комнату, чтобы познакомить Сесили с кругом ее обязанностей. Он решил в первые несколько дней, прибегнув к лицемерию, проявить сдержанность в отношении своей новой служанки для того, чтобы внушить ей доверие; однако, пораженный красотой Сесили, которая при свете дня показалась ему еще более привлекательной, он потерял голову, ослепленный овладевшим им вождением, и, запинаясь, стал расхваливать гибкий стан и красоту Сесили.

Наделенная редкой проницательностью, креолка уже с первой встречи с нотариусом поняла, что он очарован ею; выслушав его пылкие комплименты, она внезапно решила отказаться от притворной скромности и, как говорится, сбросить маску.

Вот почему она приняла весьма дерзкий вид.

Жак Ферран продолжал вновь и вновь восторгаться прелестным лицом и тонкой талией своей новой служанки.

– Поглядите на меня внимательнее, – решительно сказала ему Сесили. – Хотя я и одета как эльзасская крестьянка, разве я хоть сколько-нибудь похожу на прислугу?

– Что вы хотите этим сказать?! – воскликнул нотариус.

– Посмотрите на эту руку... – продолжала молодая женщина. – По-вашему, она привыкла к тяжелой работе?

И она показала Жаку Феррану свою белую, красивую руку, с тонкими, будто точеными пальцами и розовыми отполированными ногтями; только чуть более темные лунки говорили о том, что рука эта принадлежит темнокожей.

– Ну, а эта нога принадлежит, по-вашему, служанке?

И она выставила очаровательную ножку, обутую в кокетливый башмачок; нотариус впервые обратил внимание на эту прелестную ножку и теперь пожирал ее глазами, отводя от нее взгляд только для того, чтобы полюбоваться красивым лицом Сесили.

– Я сказала своей тетке Пипле то, что меня устраивало; она ничего не знает о моей прошлой жизни и потому поверила, что я попала в столь трудное положение... из-за смерти моих родителей; но вы, надеюсь, достаточно прозорливы и вряд ли разделите ее заблуждение, мой любезный хозяин?

– Кто же вы на самом деле?! – воскликнул Жак Ферран, донельзя удивленный такими речами.

– Это моя тайна... По хорошо известным одной только мне причинам мне пришлось покинуть Германию, переодевшись крестьянкой: я должна некоторое время оставаться в Париже: мне придется здесь прятаться, и чем незаметнее, тем лучше. Тетка, думая, что я сильно нуждаюсь, предложила мне место служанки в вашем доме, она рассказала мне, что у вас ведут уединенную жизнь, и предупредила, что мне не будет позволено никуда отлучаться... Я тотчас же согласилась. Сама того не подозревая, она предупредила мое самое большое желание. Ну кто станет искать меня здесь, кто может меня тут обнаружить?!

– Стало быть, вы скрываетесь?! А что вы такого натворили, что вам приходится скрываться?

– Возможно, за мной числятся кое-какие интимные грешки... но и это – моя тайна.

– А каковы ваши дальнейшие намерения, мадемуазель?

– Они все те же. Если бы не ваши красноречивые похвалы по поводу моей гибкой талии и моей неопишуемой красоты, я бы в жизни не сделала вам таких признаний... Впрочем, ваша проницательность раньше или позже позволила бы вам многое угадать... А потому послушайте меня внимательно, любезный мой хозяин: я приняла на время положение, а вернее, роль служанки, к тому меня вынуждают обстоятельства... у меня достанет мужества довести эту роль до конца, я приму все связанные с этим последствия... я буду прислуживать вам добросовестно, с рвением и буду выказывать вам должное уважение – все это для того, чтобы сохранить место служанки...

иными словами, надежное и никому не известное убежище. Но при первой же вашей попытке любезничать со мною, при малейшей вольности с вашей стороны я немедленно уйду от вас, не потому, что я недотрога... надеюсь, ничто во мне не говорит о преувеличенной стыдливости...

И Сесили бросила на нотариуса взгляд, говоривший о такой нескрываемой чувственности, что он содрогнулся до самой глубины души.

– Нет, я отнюдь не недотрога, – продолжала креолка с вызывающей улыбкой, показывая при этом свои ослепительно белые зубы. – Избави бог! Когда меня охватывает любовная страсть, вакханки кажутся скромными монашенками по сравнению со мной... Но будьте справедливы... и вы согласитесь с тем, что ваша недостойная служанка готова добросовестно выполнять свои обязанности... Отныне вам известна моя тайна, или, по крайней мере, часть моей тайны. Быть может, вы случайно захотите вести себя как человек любезный и галантный? Вы находите, что я слишком хороша для прислуги? Не хотите ли поменяться ролями и стать моим рабом? Ну что ж! Говоря откровенно, я предпочла бы такую возможность... но при одном непременном условии: я никуда и никогда не буду отлучаться из дому, а вы будете относиться ко мне только по-отечески... это не помешает вам говорить мне, что вы находите меня очаровательной: в том будет состоять награда за вашу преданность и скромность...

– И это будет единственная награда? Одна-единственная? – пробормотал Жак Ферран.

– Да, единственная... разве только одиночество и демон соблазна сведут меня с ума... Впрочем, это невозможно, потому что вы будете рядом и, так как вы человек святой, вы станете отгонять нечистого.

– Поэтому решайте, – продолжала Сесили, – но только никаких полумер... либо я буду служить вам, либо вы будете служить мне! В противном случае я покину ваш дом... попрошу тетку подыскать мне другое место... Все это, должно быть, кажется вам очень странным, согласна... Но если вы принимаете меня за авантюристку... без всяких средств к существованию, вы глубоко ошибаетесь... Я хотела, чтобы тетка была моей слепой сообщницей и ни о чем не подозревала, я оставила ее в убеждении, что я так бедна, что даже не могу купить себе другую одежду... Однако вы сами можете убедиться в том, что мой кошелек отнюдь не пуст; вот поглядите: в нем есть и золото... и бриллианты... – Сказав это, Сесили показала нотариусу объемистый кошелек из красного щелка, полный золотых монет, среди которых поблескивали драгоценные камни. – К сожалению, никакие деньги на свете не помогут мне отыскать такое надежное убежище, как ваш дом, такое уединенное, ибо вы живете столь уединенно... Поэтому примите одно из двух моих предложений, этим вы окажете мне услугу. Как видите, я всецело полагаюсь на вас; ведь сказать вам: «Я вынуждена скрываться» – все равно, что сказать: «Меня разыскивают»... Но уверена в том, что вы меня не выдадите, даже если и найдете способ выдать меня...

Это столь романтическое признание, это неожиданное изменение в облике Сесили внесло полную смуту в сознание Жака Феррана.

Кто же эта женщина? Почему она скрывается? Только ли случай привел ее в его дом? Если же, напротив, она проникла сюда с какой-то тайной целью, то что это за цель?

Это странное приключение породило в уме нотариуса немало различных предположений, но ему и в голову не могла прийти истинная причина того, почему креолка появилась в его доме. Ведь у него не было, вернее, он полагал, что у него нет иных врагов, кроме жертв его сладострастия или алчности; ну, а все они находились в столь бедственном положении, были так обездолены и несчастны, что он не мог допустить, будто кто-либо из них мог расставить ему западню, использовав Сесили как приманку.

И к тому же: с какой целью могли они расставить ему такую западню?

Нет, внезапное преображение креолки зародило лишь одно опасение в мозгу Жака Феррана: он подумал, что эта женщина, явно скрывающая правду, возможно, просто авантюристка, которая, считая его богачом, проникла в дом для того, чтобы обмануть его, использовать в собственных интересах и, если ей это удастся, женить на себе.

Однако, хотя его скардность и жадность были возмущены при этой мысли, он с трепетом обнаружил, что эти его подозрения, эти раздумья пришли слишком поздно... он мог, правда, одним только словом успокоить свою тревогу, приказав этой женщине покинуть его дом.

Но произнести это слово он уже не хотел...

Все эти беспокойные мысли разве только на несколько мгновений вырвали его из состояния жгучего восторга, почти исступления, в каком он пребывал, пожирая глазами эту женщину, которая была так красива и чья чувственная красота просто поработала его... С первого же дня знакомства он был околдован ею, полностью оказался в ее власти.

Он уже любил ее, неистово любил... на собственный лад...

Уже одна мысль о том, что эта обольстительная красавица может покинуть его дом, была для него нестерпима: он уже ощущал приступы свирепой ревности при одной мысли, что Сесили может щедро оделить какого-нибудь другого мужчину дарами своего сладострастия, в чем она отказывает ему, и, возможно, будет отказывать всегда; и Жак Ферран находил мрачное утешение, говоря себе:

«Пока она будет безвыходно находиться в моем доме, никто другой не сможет ею обладать».

Дерзкие речи этой женщины, ее пламенные взгляды, вызывающая вольность ее манер убедительно подтверждали, что она и в самом деле была отнюдь не недотрога. И это обстоятельство, наполнявшее смутной надеждой нотариуса, еще больше укрепляло власть Сесили над ним.

Одним словом, сладострастие Жака Феррана заглушало в нем голос холодного рассудка, и он слепо погружался в поток разнузданного вожделения, уносящий его навстречу гибели.

Было условлено, что Сесили будет служанкой только для вида: это поможет избежать скандальных кривотолков; больше того, чтобы еще надежнее обеспечить безопасность его «гости», нотариус решил не нанимать другой прислуги, он согласился обслуживать и ее, и себя самого собственными силами; соседний трактирщик будет доставлять еду, вместо завтрака служащие конторы станут получать наличные деньги, а привратник будет поддерживать чистоту в служебных помещениях. Помимо того, Жак Ферран пообещал немедленно же обставить комнату, отведенную Сесили во втором этаже, по ее вкусу; она предложила было взять расходы на себя... но он отказался и потратил на мебель, две тысячи франков...

Такая неслыханная щедрость говорила о неслыханной силе владевшей им страсти.

С этого дня для него началась ужасная жизнь.

Запершись в своем уединенном доме, недоступный для всех, все сильнее подпадая под ярмо своей неистовой страсти, отказавшись от попыток проникнуть в тайну этой странной женщины, Жак Ферран из господина Сесили превратился в ее раба; он сделался ее лакеем, сам прислуживал ей за трапезами, сам убирал ее комнату.

Предупрежденная бароном фон Грауном о том, что Луиза была захвачена врасплох потому, что ее опоили каким-то снотворным зельем, креолка пила только совершенно прозрачную воду и употребляла только такую пищу, в которую нельзя было ничего подсыпать; тщательно обследовав отведенную ей комнату, она убедилась, что в стенах нет потайной двери.

Впрочем, нотариус довольно скоро понял, что Сесили – не такая женщина, которую можно захватить врасплох или которой можно пытаться безнаказанно овладеть силой. Она была сильна, ловка и вооружена опасным кинжалом; так что только бешеное исступление могло толкнуть человека на какую-либо отчаянную попытку насилия, но она была готова дать отпор любой угрозе, избежать малейшей опасности...

Однако, для того чтобы окончательно не обескуражить нотариуса и не дать ослабеть его страсти, креолка порою делала вид, что ее трогают его заботы и что ей льстит безмерная власть над ним. И тогда, намекая, что в силу его безраздельной преданности и самоотречения он, возможно, заставит ее забыть о том, как он стар и безобразен, коварная женщина не без удовольствия рассказывала ему, прибегая к самым дерзким и зажигательным выражениям, какими несказанными дарами сладострастия она опьянила бы его, если бы каким-либо чудом сама воспылала к нему страстью.

Слушая такие речи молодой и красивой женщины, Жак Ферран иногда чувствовал, что его ум мешается... соблазнительные картины повсюду преследовали и сжигали его; и в памяти нотариуса невольно представала отравленная туника Несса – этот античный символ нестерпимых мук.

Оказавшись во власти невыносимых страданий, он терял силы, аппетит, сон.

Случалось, по ночам, невзирая на холод и дождь, он выходил в сад и быстро шагал там взад и вперед, стараясь таким способом утихомирить, притушить опалявший его внутренний жар.

В другие ночи этот любострастный старик долгими часами не сводил горящего взора, со спящей креолки; дело в том, что, движимая адской снисходительностью, она позволила ему проделать окошечко в двери, что вела к ней в комнату, и окошечко это часто, весьма часто оставалось открытым, ибо цель Сесили заключалась в том, чтобы постоянно прищипывать животную страсть этого человека, остававшуюся неудовлетворенной, и нотариус приходил в отчаяние, близкое к помешательству, а это должно было помочь ей выполнить полученный приказ...

Судя по всему, роковая минута приближалась.

С каждым днем все неотвратимее становилась кара, ожидавшая Жака Феррана, кара, соразмерная совершенным им преступлениям...

Негодяй испытывал адские муки. Поглощенный своей нечистой страстью, совсем потеврявший голову, утративший самообладание, забросивший самые важные дела, переставший заботиться о поддержании своей репутации человека строгих правил, человека серьезного и благочестивого (правда, репутацией этой он пользовался отнюдь не по праву, он снискал ее, долгие годы прибегая к притворству и хитрости), нотариус приводил теперь в изумление своих служащих явным душевным расстройством, он вызывал недовольство своих постоянных клиентов, потому что отказывался принимать их, он грубо отдалил от себя священников, которые были прежде обмануты его лицемерной святостью и не уставали на все лады восхвалять его.

Жак Ферран то впадал в полную прострацию, исторгавшую у него слезы, то им овладевали приступы яростного гнева; когда его неистовство достигало высшего предела, он, оставаясь в одиночестве, рычал по ночам как дикий зверь; эти приступы бешенства заканчивались болезненным ощущением полной разбитости, но и это патологическое оцепенение не приносило ему покоя, он испытывал такой упадок сил, что не мог ни о чем думать; его постоянно терзал жгучий огонь в крови, губительный для человека в годах, не дававший ему ни минуты отдыха или передышки... Его душа, его мозг, его чувства, казалось, были охвачены адским пламенем...

Как мы уже говорили, Сесили, стоя перед зеркалом, совершала ночной туалет.

Услышав легкий шум, доносившийся из коридора, она даже не повернула голову в сторону двери.

Глава XIV ОКОШЕЧКО

Несмотря на шум, донесшийся до Сесили из-за двери, она продолжала спокойно заниматься своим ночным туалетом; достала из-под корсажа, куда он был засунут наподобие корсетной пластинки, кинжал длиною в пять или шесть дюймов, в ножнах из черной шагреновой кожи; рукоятка кинжала была из черного дерева, украшенного серебряной нитью, то была довольно непритязательная рукоятка, но зато, как говорится, подогнанная «по руке».

Это было отнюдь не игрушечное оружие, не роскошная безделушка.

Сесили вытащила кинжал из ножен и с величайшей осторожностью положила его на мраморную крышку камина; лезвие у этого кинжала из дамасской стали великолепной закалки было треугольное, все его грани – искусно заточены; острым, как игла, кончиком лезвия можно было легко проткнуть монету, и он бы при этом даже не затупился...

Кинжал был пропитан сильным и стойким ядом, так что малейший укол лезвия был смертельным.

Когда Жак Ферран однажды усомнился в том, что оружие это и в самом деле столь опасно, креолка в его присутствии проделала опыт *in anima vili*,²⁶ иными словами, на злосчастной соба-

²⁶ На подопытном животном (*лат.*).

чонке, жившей в доме: молодая женщина слегка уколола ее в нос, и бедное животное растянулось на полу, погибло в ужасных конвульсиях.

Положив кинжал на камин, Сесили сбросила свой спенсер из коричневого сукна, обнажив при этом плечи, грудь и руки словно женщина в бальном наряде.

По обычаю многих темнокожих женщин, Сесили не носила корсета, его заменял ей второй корсаж из плотного полотна, тесно облегавший стан; ее оранжевая юбка была прикреплена к этому своего рода белому лифу с короткими рукавами и очень открытому, все это вместе взятое создавало некий костюм, гораздо менее строгий, чем спенсер, и чудесно сочетавшийся с ярко-красными чулками и шелковым платком, кокетливо завязанным вокруг красивой головы креолки. Ее руки и плечи были удивительно совершенной формы, две маленькие ямочки и черная бархатистая родинка придавали им еще большее очарование.

Чей-то долгий вздох привлек к себе внимание Сесили.

Она улыбнулась, обвивая один из своих точеных пальцев прядью вьющихся волос, выбившейся из-под ее шелкового платка.

– Сесили!.. Сесили!.. – произнес чей-то грубый, но одновременно жалобный голос.

И тут же в узком окошечке показалось курносое и мертвенно-бледное лицо Жака Феррана; в темноте зрачки его сверкали.

Сесили, до тех пор молчавшая, начала тихонько напевать какую-то креольскую песенку.

Слова этой песни были нежны и выразительны. Хотя молодая женщина пела негромко, звуки ее низкого контральто покрывали шум сильного дождя и резкие порывы ветра, от которых старый дом, казалось, вздрагивал до основания.

– Сесили!.. Сесили!.. – повторил нотариус умоляющим тоном.

Креолка разом перестала петь, быстро повернула голову с таким видом, будто она только теперь услышала голос Жака Феррана, и небрежной походкой подошла к двери.

– Как, любезный хозяин! – Она смея ради называла так нотариуса. – Оказывается, вы здесь!

Легкий акцент придавал еще большее очарование ее звонкому и чуть резкому голосу...

– О, как вы хороши в таком наряде! – пробормотал сладострастник.

– Вы находите? – кокетливо спросила креолка. – Правда ведь, что этот шелковый платок очень подходит к моим волосам?

– С каждым днем вы мне кажетесь все краше и краше!

– А как вам нравится моя рука? Вы часто видели такую белизну?

– Изыди!.. Изыди, исчадие ада!.. – в ярости крикнул Жак Ферран.

Сесили звонко расхохоталась.

– Нет, нет, я больше не в силах так страдать... О, если бы я не страшился смерти, – глухим голосом проговорил нотариус, – но умереть – значит больше вас не видеть, а ведь вы так хороши!.. Уж лучше я буду страдать, но зато любоваться вами.

– Любуйтесь сколько вашей душе угодно... окошечко для того и служит... и также для того, чтобы мы могли с вами беседовать, как два добрых друга... и этим скрашивать наше одиночество... хотя, по правде говоря, я от него не слишком страдаю... Ведь вы такой славный господин!.. Вот какие опасные признания я могу вам делать из-за запертой двери...

– Окаянная дверь!.. А вы не хотите ее отпереть? Вы ведь убедились в том, как я послушен! Сегодня вечером я мог попытаться войти к вам в комнату, но я того не сделал.

– Послушны-то вы послушны, но этому есть две причины... Во-первых, вы прекрасно знаете, что треволения бродячей жизни заставили меня обзавестись кинжалом... я с ним никогда не расстаюсь, рука у меня крепкая, и я хорошо владею этой ядовитой драгоценностью, ее лезвие острее, чем зуб гадюки... Во-вторых, вам хорошо известно, что в тот день, когда у меня появятся основания жаловаться на вас, я навсегда покину этот дом, а вы останетесь тут столь же или даже сильнее влюбленным в меня... потому что вы оказали мне честь, мне, вашей недостойной служанке, – и полюбили меня.

– Вы говорите «моей служанке»! Да это я ваш слуга, ваш раб... осмеянный и презираемый...

– В общем-то это, пожалуй, правда...
– И вас это нисколько не трогает?
– Меня это немного развлекает... Ведь дни... а особенно ночи... тянутся так долго!..
– О, будь ты проклята!
– Нет, говоря серьезно, у вас такой потерянный вид, лицо у вас так искажено, что мне это даже льстит... Правда, это довольно жалкая победа, но ведь здесь никого другого, кроме вас, нет...

– Выслушивать такое!.. И не иметь возможности ничего изменить... и только исходить бессильной яростью!

– Господи, куда девался ваш хваленый ум!!! Быть может, никогда еще я не говорила вам ничего более нежного...

– Насмехайтесь, насмехайтесь...

– Да я вовсе не насмехаюсь... Никогда еще я не встречала человека ваших лет... который был бы так сильно влюблен... и, надо признаться, что человек молодой и красивый не был бы способен на столь бешеную страсть. Ведь юный Адонис, восторгаясь вами, на самом деле восторгается самим собой... он любит, я бы сказала, лишь кончиками губ... а потом, осчастливить его... что может быть проще! Он воспримет это как должное... даже благодарности настоящей не почувствует... Совсем другое дело осчастливить такого человека, как вы, любезный мой господин... О, для него это было бы равносильно обладанию небом и землей, он бы считал, что исполнились его самые безумные мечты, самые невероятные надежды! Ведь если бы кто-нибудь вам сказал: «Сударь, вы страстно любите Сесили; если я захочу, она через мгновение будет вашей», – разве не сочтете вы, что человек этот обладает сверхъестественной силой, легендарным могуществом?.. Разве не так, мой дорогой господин?

– О, так, так...

– Вот видите! Так вот, если б вы сумели по-настоящему убедить меня в силе вашей страсти, мне, быть может, пришла бы в голову странная фантазия, сыграть перед самой собой роль этого всемогущего человека и выступить вашим ходатаем... Понимаете?

– Я понимаю только одно: вы опять насмехаетесь надо мною... насмехаетесь, как всегда, без всякой жалости!

– Все может быть... в одиночестве порой рождаются самые невероятные фантазии!..

До сих пор в голосе Сесили слышались сардонические нотки; но последние слова она произнесла задумчиво и серьезно, сопроводив их таким долгим и красноречивым взглядом, что нотариус затрепетал.

– Замолчите! И не смотрите на меня так! – взмолился он. – Вы сведете меня с ума... Уж лучше скажите прямо: «Никогда!» Тогда я смогу, по крайней мере, ненавидеть вас, прогнать вас из моего дома! – воскликнул Жак Ферран, невольно цепляясь за смутную надежду. – Да, тогда бы я ничего от вас не ждал. Но горе мне, горе!.. Теперь я уже достаточно знаю вас и потому, против собственной воли, продолжаю надеяться, что в один прекрасный день вы от нечего делать или из высокомерной прихоти, быть может, даруете мне то, на что я не могу рассчитывать, ибо вы не любите меня... Вы говорите, что я должен убедить вас в силе моей страсти... Господи, неужели вы не замечаете, до чего я несчастен?! Я ведь делаю все для того, чтобы вам угодить... Вы хотите жить скрытно, недоступно для любопытных взглядов – и я прячу вас от этих взглядов, даже с серьезным риском для моей репутации; потому что в конечном счете так и не знаю, кто вы такая; но я уважаю вашу тайну, я никогда с вами о ней даже не заговариваю... Когда я попробовал расспросить вас о прошлом... вы не захотели мне отвечать...

– Ну что ж! Признаю, что была неправа; и сейчас я хочу дать вам доказательство полного моего доверия к вам, мой любезный господин! Выслушайте мою исповедь.

– Еще одна горькая для меня насмешка, не так ли?

– Нет... я говорю совершенно серьезно... Нужно, чтобы вы, по крайней мере, знали о прошлой жизни той, кому вы так великодушно оказываете гостеприимство. – И Сесили прибавила с притворным раскаянием и самым жалобным тоном: – Я дочь бравого солдата, брата госпожи Пипле, которая доводится мне теткой; я получила воспитание гораздо лучшее, чем у людей мое-

го круга; меня соблазнил, а затем оставил богатый молодой человек. И тогда, стремясь избежать гнева моего старика отца, весьма щепетильного в вопросах чести, я бежала из своей родной страны... – И тут, разразившись смехом, Сесили прибавила: – Вот, полагаю, весьма трогательная и, главное, весьма правдоподобная история моих заблуждений, о таких историях мы часто слышим. Удовлетворите ею свое любопытство в ожидании иных более пикантных признаний.

– Я и не сомневался, что речь пойдет об очередной жестокой шутке, – сказал нотариус, сдерживая ярость. – Вас ничто не может растрогать... ничто... Что же поделать? По крайней мере, рассказывайте хоть что-нибудь. Я служу вам как последний лакей, ради вас я пренебрегаю самыми важными для меня делами, я уже толком не понимаю, что делаю... я стал предметом удивления и насмешек для моих служащих... мои постоянные клиенты опасаются поручать мне вести их дела... Я порвал отношения с несколькими благочестивыми особами, с которыми прежде часто виделся... я даже, подумать не решаюсь о том, что обо мне говорят, чем объясняют полную перемену в моих привычках... И вы, не знаете, нет, вы не знаете, к каким ужасным последствиям для меня может привести моя безумная страсть к вам... Разве все это не говорит о моей преданности, о тех жертвах, какие я приношу?... Вам угодно иметь еще другие доказательства?... Скажите какие! Может быть, вам нужно золото? Меня считают более богатым, чем на самом деле... но я готов...

– А что прикажете делать мне сейчас с вашим золотом? – спросила Сесили, прерывая нотариуса и пожимая плечами. – Для того чтобы жить в этой комнате, золото не нужно... Не больно-то вы изобретательны!

– Но разве моя в том вина, что вам нравится сидеть здесь как в тюрьме... Или вам не подходит сама эта комната? Вы хотели бы жить в более роскошном покое? Говорите... Приказывайте...

– А зачем? Я еще раз спрашиваю вас: зачем? О, вот если бы я поджидала тут дорогого мне человека... пылающего любовью, которую он внушает и которую разделяет сам, тогда бы я жаждала золота, шелков, цветов, изысканных духов с необыкновенным ароматом; все дивные предметы роскоши, все самое пышное, самое чудесное понадобилось бы мне для того, чтобы служить рамкой для моей пламенной любви, – сказала Сесили с такой страстью в голосе, что нотариус вздрогнул всем телом.

– Ну так что ж! Все эти предметы роскоши... достаточно вам сказать лишь слово и...

– Зачем они мне? Для чего они мне? К чему рама, если нет картины?... А обожаемый мною человек... где его найти, где... дорогой мой господин?

– Да, это-правда!.. – с горечью воскликнул Жак Ферран. – Ведь я стар... я уродлив... я могу вызвать у вас только брезгливое отвращение... Эта женщина обливает меня презрением... она жестоко играет мною... а у меня нет сил прогнать ее... У меня достанет сил только на то, чтобы страдать.

– Ох, до чего несносный плакса! Ох, глупец, способный только на слезливые жалобы! – воскликнула Сесили сардоническим и презрительным тоном. – Он умеет только одно: стенать и приходить в отчаяние... а между тем он уже десять дней сидит взаперти рядом с молодой женщиной... находится наедине с нею в уединенном доме...

– Но ведь эта женщина пренебрегает мною... но ведь эта женщина вооружена кинжалом... но ведь эта женщина запирается у себя в комнате на ключ!.. – в бешенстве завопил нотариус.

– Ну и что? Победы пренебрежение этой женщины; заставь ее выронить кинжал из рук; убеди ее отпереть дверь, которая вас разделяет... добейся этого не грубой силой... и тогда она окажется бессильна перед тобой...

– Как же мне этого добиться?

– Силой твоей страсти!..

– Силой страсти... Но как мне зажечь в ней ответную страсть, господи?

– Я вижу, что ты всего лишь заурядный нотариус и святоша в придачу!.. Ты просто жалок... Неужели я должна учить тебя, как действовать?! Ты уродлив – стань грозным, и тогда о твоём уродстве забудут. Ты стар – будь сильным и энергичным, и тогда о твоём возрасте забудут... Ты внушаешь отвращение – научись внушать страх. Да, тебе не дано быть гордым скаку-

ном, который победоносно ржет в табунае кобылиц, с нетерпением ждущих его, не будь же, по крайней мере, глупым верблюдом, который опускается на колени и ждет, пока его навьючат... Стань тигром... старым тигром, который ревет над окровавленной добычей и тем хорош... и потому тигрица из глубины пустыни отвечает на его зов...

Слушая эти речи, не лишённые дерзости и природного красноречия, Жак Ферран не мог сдержать дрожь: он был потрясен свирепым, почти что диким выражением лица Сесили; грудь молодой женщины бурно вздымалась, ноздри ее раздувались, рот был хищно оскален, и она не сводила с нотариуса пламенного взгляда своих огромных черных глаз.

Никогда еще Сесили не казалась ему такой красивой...

– Говорите, говорите еще, – воскликнул он в экстазе, – на сей раз вы не насмехаетесь, вы говорите серьезно... О, если б я только мог!..

– Хотеть – значит мочь, – отрывисто сказала креолка.

– Но...

– Но, скажу я тебе, хотя ты и стар, хотя ты и отвратителен... я бы согласилась оказаться на твоём месте, потому что мне бы представилась тогда возможность соблазнить молодую, красивую и страстную женщину, ибо одиночество отдавало ее мне во власть, женщину, которая все знает и все умеет... женщину, которая на такое способна... И я бы уж соблазнила ее! А затем, когда моя цель была бы достигнута, все то, что прежде было против меня, с той поры обратилось бы мне на пользу... С какой гордостью, с каким торжеством я могла бы сказать себе: «Мне удалось заставить ее забыть и о моем возрасте, и о моем уродстве! Любовь, которую она мне выказывает, рождена не жалостью, не извращенной прихотью, она завоевана моим умом, моей отвагой, моей настойчивостью и энергией... ее вызвала, наконец, моя безмерная страсть к этой женщине... Да, пусть отныне сюда являются юные красавцы, полные прелести и очарования, эта прекрасная молодая женщина, которую мне удалось покорить многими доказательствами моей пылкой и безграничной страсти, даже не поглядит на них; нет, она и не посмотрит в их сторону, ибо она знает, что эти изнеженные щеголи не поступятся даже узлом на своем шейном платке, даже прядью своих волос ради того, чтобы послушно выполнить любое ее самое фантастическое желание... зато я, если она, к примеру, бросит свой носовой платок в пылающий огонь, по первому ее знаку брошусь в раскаленную печь и, как старый тигр, буду рычать от радости...»

– Да, я так и поступлю!.. Попробуйте, попробуйте! – вскричал Жак Ферран вне себя от волнения.

Сесили еще ближе подошла к окошечку в двери и, устремив на нотариуса пристальный и пронизывающий взгляд, продолжала:

– Ибо эта молодая женщина будет твердо знать, что если ей в голову придет самый необыкновенный каприз, то юные красавцы прежде всего станут думать о своих деньгах, коль скоро они у них есть, либо – за неимением денег – о своих низменных интересах... в то время как ее старый тигр...

– Ни на что не посмотрит... он... слышите, ни на что не посмотрит... Состояние... честь... он готов будет всем пожертвовать, всем!..

– Это правда? – спросила Сесили, прикоснувшись своими очаровательными пальцами к костлявым и поросшим волосами пальцам Жака Феррана; просунув свои руки между прутьями решетки, которой было забрано окошечко, он судорожно вцепился в них.

Он впервые почувствовал, впервые ощутил, до чего свежа гладкая кожа креолки...

Жак Ферран побледнел еще больше, из его груди вырвался хриплый стон.

– Разве может эта молодая женщина не воспылать страстью? – спросила Сесили. – Ведь если она взглядом укажет своему старому тигру на ее врага... и скажет: «Ударь его», – то он...

– То он тут же ударит! – завопил Жак Ферран, стараясь прижаться своими пересохшими губами к пальцам креолки. – Чтобы овладеть тобой, – закричал негодяй, – я готов совершить даже преступление...

– Подожди, господин... – внезапно сказала Сесили, отдергивая руку, – лучше уходи... я больше не узнаю тебя... до сих пор ты мне казался уродливым, но теперь... уходи, уходи.

С этими словами она резко повернулась и отошла от двери.

Коварная креолка сумела придать своему жесту и своим словам невероятное правдоподобие; взгляд ее казался одновременно изумленным, разгневанным и пылким, он как нельзя более естественно выражал ее досаду, вызванную тем, что она на минуту позабыла о безобразной внешности Жака Феррана, и злополучный сладострастник почувствовал себя во власти неистой надежды; он еще сильнее вцепился в прутья решетки, которой было забрано окошечко, и закричал:

– Сесили, куда ты?.. Вернись... вернись... приказывай что хочешь, я стану твоим тигром!..

– Нет, нет, господин... – отвечала креолка, все дальше и дальше уходя от двери. – Лучше, для того чтобы отогнать беса, который искушает меня, я спою одну из песен, что поют в моих родных краях... Ты слышишь меня, господин?.. Ветер на дворе усилился, буря свирепствует... в такую ночь двум возлюбленным особенно приятно и радостно сидеть рядышком у очага, где весело потрескивают дрова!!

– Сесили... вернись!.. – жалобно молил Жак Ферран.

– Нет, нет, позднее... когда я смогу это сделать, не опасаясь самой себя... но свет этой лампы меня слепит... от сладостной неги мои веки смыкаются... Я и сама не понимаю, что за волнение владеет мной... уж лучше я побуду в полумраке... мне кажется, то будет сумрак наслаждения... сумрак истомы...

Произнеся эти слова, Сесили подошла к камину, погасила лампу, сняла со стены висевшую там гитару, поворошила кочергой головни. Отсветы огня, горевшего в камине, освещали просторную комнату.

Припав к узкому окошечку, Жак Ферран не шевелился; вот такая картина открывалась его взору.

Посреди освещенного круга, образованного дрожащими языками пламени, Сесили полулежала на широкой софе, обитой узорчатым гранатовым шелком, медленно перебирая струны гитары и извлекая из них мелодичные звуки; вся ее поза выражала негу и отрешенность.

Пламя, пылавшее в камине, отбрасывала красные блики на лицо и на фигуру креолки, довольно ярко освещая ее; в остальной части комнаты царил полумрак.

Пусть читатель, для того чтобы лучше представить себе эту картину, вспомнит о том, какой таинственный, почти фантастический вид приобретает комната, в которой пламя очага борется с огромными тенями, подрагивающими на стенах и на потолке...

На улице ураган бушевал все сильнее, свист и рев ветра был слышен в доме.

Беря аккорды на своей гитаре, Сесили не сводила гипнотического взгляда с Жака Феррана, а он как замороженный пожирал ее глазами.

– Вот что, мой господин, – сказала креолка, – послушайте песню, что поют в наших краях; там не умеют слагать рифмованные стихи, у нас в ходу речитатив, как его называют знатоки, и после каждой паузы возникает певучая мелодия, она сопровождает всякий куплет; песня получается непритязательная, даже порою наивная, но я уверена, что она вам понравится, господин... Та песня, что я спою, зовется «Влюбленная женщина», это она говорит, это она поет...

И Сесили начала свою песню: она скорее декламировала, чем пела, и слова играли большую роль, нежели мелодия.

Нежные и волнующие аккорды гитары служили ей аккомпанементом.

Вот эта песнь креолки:

«Везде цветы, всюду цветы.

Мой возлюбленный вот-вот придет! Я дрожу, я трепещу от счастья.

Солнце, не свети так ярко, сладострастие больше подходит полумраку.

Благоухают цветы, но их свежему аромату мой любимый предпочитает мое жаркое дыхание...

Дневной свет не ранит его очей, ибо он смежит веки под моими поцелуями...

Приди же, ангел мой! Приди... грудь моя бурно вздымается, кровь в моих жилах кипит...

Приди... приди... приди...»

Слова эти, произнесенные с таким нетерпеливым жаром, словно креолка обращала их к невидимому любовнику, сопровождалась чарующей мелодией, она как бы усиливала их; прелестные пальцы Сесили извлекали из гитары, инструмента, как известно, не слишком громкого, вибрирующие звуки, удивительно нежные и гармоничные.

Взволнованное лицо Сесили, ее влажные, затуманенные негою глаза, которые она не сводила с нотариуса, казалось, выражали томление и жажду желанной встречи.

Слова любви, опьяняющая мелодия, пламенные взгляды, чувственная красота креолки, ночная тишина – все это вместе взятое до такой степени возбуждало Жака Феррана, что разум его помутился.

Теряя над собой власть, он воскликнул:

– Сжался... Сжался надо мной, Сесили!.. Голова у меня идет кругом!.. Остановись, не то я умру!.. О, хоть бы мне сойти с ума!..

– А теперь послушайте второй куплет, господин, – сказала креолка, вновь тронув струны. И она продолжала с еще большей страстью свою песню:

«Будь мой любимый рядом и коснись он рукою моего обнаженного плеча, такая острая дрожь пройдет по моему телу, что мне почудится, будто я сейчас умру.

Будь он рядом со мной... и коснись он своими кудрями моей щеки, прежде бледная щека заалеет как роза...

Моя всегда бледная щека вспыхнет...

Душа души моей, будь ты здесь... мои пересохшие уста, мои жадные губы не вымолвят ни слова...

Жизнь жизни моей, будь ты здесь, я, даже изнемогая от любви... не попрошу пощады...

Тех, кого я люблю так, как люблю тебя... я убиваю страстью...

О ангел мой! Приди... Грудь моя бурно вздымается, кровь моя в жилах кипит...

Приди... приди... приди...»

Первую строфу своей песни Сесили исполнила со сладострастной негой, во вторую строфу, особенно в ее последние слова, она вложила все неистовство дикой страсти.

Казалось, музыка бессильна была передать овладевшее креолкой бурное и пылкое желание; она вдруг отшвырнула в сторону гитару... и, приподнявшись на софе, протянула руки к двери, за которой стоял Жак Ферран, и безумным, почти умирающим голосом прошептала:

– О, приди же... приди... приди...

Эти полные страсти слова Сесили сопровождала таким огненным взглядом, что описать его мы не в силах... Из груди Жака Феррана вырвался дикий вопль:

– Смерть!.. Смерть тому, кого ты станешь так любить... к кому ты станешь обращаться с какими пылкими речами! – закричал он, колотясь о дверь в приступе ревности и – бешеной страсти. – Возьми все мое состояние... возьми саму жизнь... но прежде даруй мне хотя бы минуту всепоглощающего сладострастия... которое ты рисуешь огненными словами.

Гибкая, как пантера, Сесили одним прыжком оказалась у двери; наклонившись к окошечку, она с непостижимым притворством сделала вид, будто из последних сил борется с охватившей ее страстью и заговорила едва слышным голосом, трепеща и словно сдерживая волнение:

– Ничего не поделаешь!.. Я вынуждена тебе признаться... я сама вся горю... пламенные слова этой песни воспламенили меня. Я ни за что не хотела подходить к этой двери... и вот я здесь, возле нее... помимо собственной воли... потому что в моем мозгу звучат слова, которые ты недавно произнес: «Если ты скажешь «ударь»... я ударю...» Стало быть, ты и впрямь так любишь меня?

– Чего ты хочешь?.. Золота?.. Всего моего золота?..

– Нет... мне и своего хватит...

– Есть ли у тебя враг? Я убью его,

- У меня нет врагов...
- Хочешь стать моей женой? Я тотчас женюсь на тебе...
- Я замужем!..
- Так чего же ты хочешь? Господи боже!.. Чего же ты все-таки хочешь?..
- Докажи мне, что тобою владеет слепая, неистовая страсть ко мне, что ты готов для нее всем пожертвовать!..
- Я готов! Я пожертвую всем... всем!.. Но что мне надо сделать?
- Я сама не знаю... Но в какой-то миг блеск твоих глаз ослепил меня... Если ты сейчас, немедленно, дашь мне доказательство неистовой любви, которая способна взволновать женщину до глубины души, наполнить ее исступленным восторгом, я не знаю, на что я готова пойти!.. Поторопись же! Ведь я капризна, и завтра настроение, владеющее мной сейчас, возможно, пройдет бесследно.
- Но какое доказательство я могу тебе дать немедленно, здесь? – завопил негодяй, ломая руки. – Какая жестокая мука! Доказательство! Скажи, какое доказательство тебе нужно?
- Да ты просто глупец! – ответила Сесили, отходя от окошечка и изображая на лице досаду, презрение и гнев. – Видно, я ошиблась! Я-то думала, что ты способен дать мне непреложное доказательство своей любви! Доброй ночи!.. Жаль, конечно...
- Сесили!.. О, не уходи, вернись!.. Но что должен я сделать? Подскажи... В голове у меня мутится... что мне делать? Что мне делать?
- Думай! Ищи!..
- Господи боже! Господи боже!..
- Я-то была готова уступить соблазну, если бы ты сам того захотел... Больше такой случай не повторится...
- Но скажи, наконец... Должен же человек сказать, чего он хочет! – вне себя от отчаяния крикнул нотариус.
- Угадай...
- Объясни хоть что-нибудь, намекни... прикажи!..
- Эх! Если б ты меня действительно хотел так страстно, как ты утверждаешь... ты б нашел средство убедить... Доброй ночи...
- Сесили!
- Я сейчас захлопну окошечко... вместо того, чтобы отворить дверь...
- Сжался!.. Послушай...
- На миг мне показалось, что голова у меня закружилась от страсти... Но теперь этот порыв прошел... Все угасло, в моей душе опять воцарился мрак... В ту минуту я думала только о том, что ты мне безмерно предан... и готова была отодвинуть засов... но, нет, нет... ты сам не захотел... О, ты даже не понимаешь, как много ты потерял... Прощай, святой человек...
- Сесили... послушай... останься... я придумал, я нашел! – воскликнул Жак Ферран после недолгого молчания с таким взрывом радости, который невозможно передать.
- У прохвоста голова шла кругом.
- Туман, рожденный порочной страстью, помрачил его рассудок; охваченный слепой и бешеной похотью, он потерял всякую осторожность, перестал владеть собою, даже инстинкт самосохранения покинул его...
- Ну что же? Так в чем доказательство твоей любви? – спросила креолка.
- Она подошла было к камину и взяла лежавший на нем кинжал, но при последних словах нотариуса медленно вернулась к окошечку; фигура ее была слабо освещена горевшим в камине огнем...
- Незаметно от Жака Феррана она набросила на дверь железную цепочку, висевшую на двух крюках; один из них был прочно вделан в филенку двери, другой – в косяк.
- Послушай, – заговорил нотариус хриплым и прерывающимся голосом, – послушай... Если я отдам тебе во власть свою честь... все свое состояние... даже самую жизнь... прямо здесь... тотчас же... тогда ты поверишь в то, что я тебя страстно люблю? Достаточно ли тебе будет такого доказательства моей безумной страсти? Ответь!

– Ты предашь мне во власть свою честь... свое состояние... саму свою жизнь!.. Ничего не понимаю...

– Если я открою тебе ужасную тайну, такую, что может привести меня на эшафот, тогда ты станешь моей?

– Стало быть, ты... преступник? Да ты смеешься надо мной... А как же твоя хваленая, твоя строгая нравственность?

– Чепуха, ложь!..

– А твоя хваленая честность?

– Тоже ложь...

– А твоя всем известная святость?

– И это ложь...

– Выходит, ты слывешь святым, а на самом деле – ты демон?! Ты просто бахвалишься... Нет, не может человек так ловко лукавить, не может он обладать такой волей, таким холодным умом и такой энергией, не может он быть так дерзок и отважен, чтобы суметь снискать такое доверие и такое уважение окружающих.... Каким же адским презрением к людям должен обладать такой человек, если он осмелится бросить столь дерзкий вызов обществу!

– Я именно такой человек... Мне свойственно подобное презрение к людям, и я – бросил столь дерзкий вызов обществу! – воскликнул Жак Ферран, этот изверг, с пугающей гордостью.

– Жак!.. Жак!.. Не говори таких вещей! – пронзительным голосом закричала Сесили, чья грудь бурно вздымалась от притворного волнения. – Ты сведешь меня с ума...

– Возьми мою голову за свои ласки!.. Согласна?

– Ах! Наконец-то я слышу голос истинной страсти!.. – вырвалось у креолки. – Подожди... Вот мой кинжал... Ты обезоружил меня...

Жак Ферран просунул руку между прутьев решетки, которой было забрано окошко, осторожно взял из рук Сесили смертоносное оружие и швырнул его в глубь коридора.

– Сесили... Значит, ты мне веришь? – вскричал он не помня себя.

– Верю ли я тебе?! – воскликнула креолка, с силой сжимая своими прелестными ручками судорожно сведенные костлявые руки нотариуса. – Да, я верю тебе... потому что у тебя опять такой взгляд, какой был недавно, и этот взгляд завораживает меня... Твои глаза горят диким, свирепым огнем... Жак... я люблю такие твои глаза!

– Сесили!!

– Ты, должно быть, говоришь правду...

– Говорю ли я правду?! О, ты сама в этом убедишься!

– Твое чело так грозно... Твое лицо устрашает... Послушай, ты вселяешь страх и восторг, как разъяренный тигр... Но ты ведь говоришь правду, не так ли?

– Говорю тебе: я совершал преступления!

– Тем лучше... раз, признаваясь в них, ты доказываешь этим свою страсть ко мне...

– А что, если я тебе все расскажу?

– Я все приму как должное... Коль скоро ты так слепо, так отважно вверяешься мне, Жак, то уже не идеального возлюбленного из моей песни стану я призывать... Это тебе... тебе, мой тигр... тебе скажу я: «Приди... приди... приди...»

Произнеся эти слова с деланной страстью и жаром, Сеси-ли подошла близко, совсем близко к окошечку, и Жак Ферран ощутил на своем лице горячее дыхание креолки, а к его поросшим волосами пальцам неожиданно прикоснулись ее крепкие и свежие губы; старый сатир вздрогнул, как от электрического тока.

– О, ты будешь моей!.. Я стану твоим тигром! – завопил он. – А потом, если захочешь, можешь осрамить меня, можешь добиться, чтобы мне отрубили голову... Моя честь, моя жизнь отныне принадлежат тебе.

– Твоя честь?

– Да, именно честь! Слушай же... Десять лет тому назад мне доверили маленькую девочку и вручили двести тысяч франков, предназначенных для нее. Я бросил ребенка на произвол судьбы, затем мне удалось сострять фальшивое свидетельство о ее смерти, так что для всех она

слыла мертвой, а деньги я присвоил себе...

– Какой смелый и дерзкий поступок!.. Кто бы мог ожидать такого от тебя?

– Слушай дальше. Я ненавижу своего кассира... Однажды вечером он взял из моего стола немного золота, которое вернул на следующий день; но, для того чтобы погубить этого несчастного простофилю, я обвинил его – в том, будто он украл у меня солидную сумму. Мне поверили, и его заключили в тюрьму... Теперь ты видишь, что моя честь в твоих руках?

– О!.. Ты и впрямь любишь меня, Жак, да, ты любишь меня... Раз ты доверяешь мне такие тайны!.. Значит, моя власть над тобой так велика?! Но я не останусь неблагодарной... Подставь мне свою голову, где зародились такие дьявольские планы... я хочу поцеловать твой лоб...

– О! – воскликнул нотариус вне себя от восторга. – Если даже здесь, рядом, воздвигнут эшафот... я не отступлю... Но слушай еще... Девочка, которую я в свое время бросил на произвол судьбы, недавно вновь встретила на моем пути... Это встревожило меня... и я приказал убить ее...

– Ты?.. Но как?.. Каким образом?.. Где это произошло?..

– Это было несколько дней тому назад... возле Аньерского моста... есть такой остров... остров Черпальщика... там некий Марсиаль утопил ее в лодке с подъемным люком... Тебе достаточно этих подробностей? Теперь-то ты мне веришь?

– Ты просто дьявол!.. Исчадь ада!.. Ты меня пугаешь, и вместе с тем меня влечет к тебе... ты будишь во мне страсть... Какой же ты обладаешь властью!

– Слушай, слушай дальше... Некоторое время назад один человек доверил мне большие деньги – сто тысяч эю... Я заманил его в ловушку... и пустил пулю в лоб... А потом доказал, что то было самоубийство. Когда его сестра попросила меня вернуть ей его вклад, я заявил, что не получал никаких денег от него... Так что отныне я целиком в твоей власти... Отвори же дверь!

– Жак... Слышишь: я тебя обожаю!.. – воскликнула креолка с деланным восторгом.

– О, пусть меня ждет тысяча смертей, я их не боюсь! – завопил нотариус в упоении, какое невозможно описать. – Да, ты была права... Будь я молод и красив, я не мог бы испытать такой радости, такого торжества... Где ключ?! Дай мне ключ!.. И отодвинь засов...

Креолка вынула ключ из запертой изнутри двери и протянула его Жаку Феррану в окошечко, при этом она потерянно прошептала:

– Жак... я теряю рассудок!..

– Наконец-то ты моя! – закричал сладострастник, зарывав от страсти, и торопливо повернул ключ в замке.

Однако дверь не отворилась: ее держал засов.

– Иди же ко мне, мой тигр!.. Иди... – проговорила Сесили умирающим голосом.

– Засов... отодвинь засов!.. – закричал Жак Ферран.

– А что, если ты меня обманываешь? – вдруг воскликнула креолка. – Что, если все твои тайны придуманы, и ты просто потешаешься надо мной?!

Нотариус оцепенел, он был ошеломлен. Ведь он уже считал, что его нечистые желания близки к осуществлению, и эта последняя задержка привела его в исступление.

Он стремительно поднес руку к груди, распахнул жилет, с яростью сорвал с шеи стальную цепочку, на которой висел небольшой бумажник красной кожи, схватил его и показал Сесили; при этом он проговорил хриплым, задыхающимся голосом:

– Этого бумажника достаточно для того, чтобы мне отрубили голову. Отодвинь засов, и я вручу тебе эту роковую улику...

– Давай сюда бумажник, мой старый тигр... – вскричала Сесили.

С грохотом отодвинув засов левой рукою, она правой выхватила у нотариуса бумажник...

Жак Ферран выпустил его из рук только тогда, когда почувствовал, что дверь под его нажимом поддалась...

Увы, дверь поддалась, но лишь приоткрылась, всего на полфута: ее удерживала в таком положении цепочка, укрепленная на крюках.

При этом неожиданном препятствии сластолюбец всем телом навалился на дверь; от его

отчаянных усилий дверь заходила, но не распахнулась.

Сесили с быстротой молнии, зажав бумажник зубами, отворила окно, выбросила во двор свой плащ и с невероятной ловкостью и проворством спустилась вниз, с помощью веревки с узлами, которую она заблаговременно привязала к перилам балкона; она мгновенно достигла земли, точно выпущенная из лука легкая и стремительная стрела... Затем она торопливо закуталась в плащ и помчалась к швейцарской, где ночью никого не было; проникнув туда, она дернула за шнур от входной двери и очутилась на улице; здесь она прыгнула в ожидавший ее экипаж: с того самого дня, когда креолка поселилась в доме Жака Феррана, каждый вечер, по распоряжению барона фон Грауна, на всякий случай в двадцати шагах от жилища нотариуса стояла наготове карета...

Запряженные в нее две сильные лошади тотчас пустились вскачь.

Прежде чем Жак Ферран сумел обнаружить бегство Сесили, она уже достигла соседнего бульвара...

А теперь вернемся к этому извергу.

Сквозь полуоткрытую дверь ему не было видно окно, которым креолка воспользовалась для того, чтобы подготовить и осуществить свой побег...

С яростью нажав на дверь своим широким плечом, нотариус сорвал цепочку, еще державшую дверь...

Он стремительно ворвался в комнату...

И никого там не обнаружил...

Веревка с узлами еще покачивалась на перилах балкона, высунувшись из окна, он увидел ее...

А затем, при свете луны, выглянувшей из-за туч, разогнанных сильным ветром, он различил, что в дальнем углу двора, возле крытого прохода, распахнута калитка.

Жак Ферран сразу же обо всем догадался.

У него оставался последний проблеск надежды.

Полагаясь на свою силу, он решительно перешагнул через перила балкона и в свой черед спустился во двор при помощи все той же веревки и поспешно выбежал на улицу.

Улица была пуста...

На ней никого не было видно.

Только издали доносился стук колес экипажа, быстро увозившего креолку.

Сперва нотариус подумал, что то был какой-то задержавшийся до ночи экипаж, и не придал никакого значения услышанному им стуку колес.

Но почти тотчас же он понял, что это уезжала неизвестно куда Сесили, увозя с собою неоспоримую улику его преступлений!..

Понял он и то, что у него нет никаких шансов разыскать ее.

При этой ужасной мысли он без сил опустился на стоявшую у входа в дом каменную тумбу.

Жак Ферран долго просидел на ней в неподвижности – молча и словно окаменев.

Он сидел с блуждающим взором, вытаращив глаза, стиснув зубы, в углах его рта выступила пена: сам того не сознавая, он терзал ногтями свою грудь, из которой сочилась кровь...

Мысли его мешались, ему чудилось, что он летит в бездонную пропасть.

Когда нотариус стряхнул наконец свое оцепенение и встал, ноги у него подкашивались, он зашагал, тяжело ступая и пошатываясь; все кружилось у него перед глазами, как у пьяного, не успевшего протрезвиться человека...

С силой захлопнув калитку, что вела на улицу, он возвратился во двор...

Тем временем дождь прекратился.

Но ветер по-прежнему дул, и свистел, и гнал по небу тяжелые, серые облака, которые заволакивали луну, но не полностью гасили ее блеск, и тусклый свет падал на стены дома.

Холодный ночной воздух немного освежил и успокоил Жака Феррана; надеясь унять сжигающий его внутренний огонь, он углубился в мокрые аллеи сада и быстро зашагал, то и дело спотыкаясь; время от времени он подносил к своему лбу сжатые кулаки...

Шагая наудачу, он дошел до конца какой-то аллеи, она упиралась в полуразрушенную теплицу.

Внезапно он наткнулся на кучу свежевскопанной земли.

Он машинально посмотрел себе под ноги и увидел измазанное кровью белье.

Жак Ферран оказался возле той ямы, которую вырыла Луиза Морель, чтобы похоронить в ней своего мертвого ребенка...

Ее ребенка... который был также ребенком нотариуса...

Несмотря на всю свою черствость, несмотря на владевшую им ужасную тревогу, Жак Ферран задрожал от страха.

Было во всем этом что-то роковое...

Он подвергся жестокой каре за свое сладострастие... И вот случай привел его к могиле невинного младенца... младенца, который был несчастным плодом совершенного им насилия и его чудовищного любострастия!..

При других обстоятельствах Жак Ферран, не задумываясь, наступил бы на эту могилу и прошел дальше с присущим ему чудовищным равнодушием, но, исчерпав всю свою дикую энергию в только что описанной нами сцене, он вдруг почувствовал внезапную слабость и ужас...

На лбу его выступил холодный пот, колени задрожали, ноги подкосились, он рухнул на землю возле разверстой могилы и долго лежал без движения.

Глава XV ТЮРЬМА ФОРС

... Необъяснимая ошибка! Несправедливая ошибка! Ужасная ошибка!
(Вольфганг, книга вторая)

Подробное описание нижеследующих сцен, возможно, приведет к тому, что нас упрекнут в том, будто мы нарушаем целостность нашего повествования, включая в него эпизодические картины; однако нам кажется, что именно сейчас, когда важные вопросы, связанные с порядками в исправительных тюрьмах, вопросы, неотделимые от общественного порядка вообще, вот-вот не то чтобы будут разрешены (наши законодатели конечно же воздержатся от этого), но будут, по крайней мере, широко обсуждаться, повторяю, нам кажется вполне уместным описать внутреннюю жизнь тюрьмы – этого своеобразного чистилища, этого зловещего порождения цивилизации.

Одним словом, мы сочли достаточно интересным, набросать несколько портретов заключенных, принадлежавших к различным сословиям, и рассказать о том, какие семейные и иные отношения связывают их с внешним миром, от которого этих людей отделяют прочные тюремные стены.

А потому, надеемся, нам простят то, что мы позволили себе сгруппировать вокруг некоторых действующих лиц нашей книги, уже знакомых читателям, несколько второстепенных персонажей: с их помощью нам легче будет изложить некоторые критические соображения, глубже, полнее познакомить читателя с тюремной жизнью.

Войдем же в тюрьму Форс.

Нет ничего мрачного, ничего зловещего во внешнем виде этого дома, где содержат заключенных; находится он в квартале Марэ, на улице Короля Сицилии.

Посреди первого тюремного двора устроено несколько куртин, засаженных кустарником; из земли уже выглядывают и зеленеют ранние цветы – примулы и подснежники; крыльцо, увенчанное проволочной сеткой, увитой узловатыми лозами дикого винограда, ведет в одну из семи или восьми крытых галерей, предназначенных для прогулки заключенных.

Внушительные здания, образующие тюремные дворы, сильно смахивают на солдатскую казарму либо на фабрику, которую поддерживают в идеальном порядке.

Сложены эти тюремные здания из белого камня, у них большие и широкие окна, куда свободно проникает чистый и свежий воздух. Плиты и булыжник, которым вымощены внутренние

дворы, чисто подметены. В нижних этажах расположены просторные помещения, где зимой тепло, а летом прохладно, в дневное время заключенные здесь работают, обедают, беседуют между собой.

В верхних этажах находятся просторные спальни, потолки в них высокие – высота стен от десяти до двенадцати футов, – плиточный пол вымыт до блеска; вдоль стен – два ряда железных кроватей, на каждой помимо соломенного тюфяка лежит толстый и мягкий матрас, подушка в виде валика, простыни из белого полотна и теплое шерстяное одеяло...

При виде этого заведения, отвечающего требованиям известного уюта и гигиены, каждый человек невольно испытывает сильное изумление, ибо мы привыкли думать, что тюрьмы – это какие-то унылые и мерзкие бараки, темные и грязные.

Но это заблуждение.

Если есть на свете что-либо унылое, мерзкое и темное, то это те трущобы, вроде жилища гранильщика алмазов Мореля, в которых множество бедных и честных тружеников влачат жалкое существование; изможденные, исхудалые, эти люди вынуждены уступать свое убогое ложе бедной жене и с отчаянием мириться с тем, что их бледные, хилые и полуголодные дети дрожат от холода на смрадной соломенной подстилке.

А как разительно отличаются друг от друга по своему внешнему виду обитатели этих двух разных жилищ!

Вечно озабоченный повседневными нуждами своей семьи, с трудом сводя концы с концами, отчаянно борясь с конкуренцией таких же бедолаг, как он, из-за которой его заработок все время уменьшается, трудолюбивый ремесленник мыкает горе, надрывается, не знает ни передышки, ни отдыха, он прерывает свой изнурительный труд лишь тогда, когда буквально валится от усталости. А наутро после тяжелого сна, напоминающего скорее болезненное забытие, он снова оказывается лицом к лицу с теми же заботами, теми же гнетущими мыслями о дне сегодняшнем и теми же тревогами за завтрашний день.

Закаленный в горниле порока, равнодушный к своему прошлому, вполне довольный жизнью, которую он ведет, уверенный в будущем (он может «упрочить» его новым правонарушением или преступлением), конечно, жалеющий о том, что он лишился свободы, но обретающий достаточное возмещение за это, благодаря известным удобствам, которыми он пользуется, знающий, что он выйдет из тюрьмы с солидной суммой денег в кармане, которую заработает в заключении благодаря умеренному и не слишком утомительному труду, пользующийся если не уважением своих сотоварищей по камере, то своеобразным почтением с их стороны, рожденным его цинизмом и испорченностью, арестант, напротив, поражает своей постоянной беззаботностью и веселостью.

Спросим еще раз: чего ему, собственно, не хватает?

Разве не находит он в тюрьме удобное убежище, мягкую постель, хорошую пищу, высокий заработок,²⁷ легкий труд, а главное – и это важнее всего – подходящую для него компанию, компанию, повторяем, где уважение к нему находится в прямой зависимости от тяжести его злодеяний.

Закоренелый преступник не знает, таким образом, ни голода, ни холода. И что ему до того, что он внушает людям порядочным отвращение и ужас?!

Он этих людей не видит, он их не знает.

Его преступления приносят ему славу, он черпает в них силу и влияние, которым пользуется в среде злодеев, среди коих живет в будет жить.

Так что бояться стыда ему не приходится.

Вместо благодетельных замечаний и укоров, которые могли бы заставить его покраснеть и почувствовать раскаяние за прошлые злодеяния, он слышит дикие похвалы, и они побуждают его и впредь красть и убивать.

²⁷ Да, заработок у арестанта высокий, если иметь в виду, что, находясь на полном довольствии, он получает от пяти до десяти су в день. Много ли найдется рабочих, которые могут ежедневно откладывать такую сумму?!

Не успев оказаться в тюрьме, он уже вынашивает планы будущих преступлений.

И это вполне логично.

Если его снова выследят и возьмут под стражу, он найдет в тюрьме возможность отдохнуть в относительном комфорте, обретет он там также веселых и дерзких сотоварищей по разгулу и преступлению...

Ну а если кто-либо из правонарушителей менее испорчен, чем остальные, может быть, хотя бы он подвержен угрызням совести? Отнюдь нет, ибо он служит предметом жестоких шуток и насмешек, его встречают громким и злобным улюлюканьем, осыпают страшными угрозами.

Наконец – случай настолько редкий, что он давно уже стал исключением из правила, – предположим, что некий заключенный выходит на свободу из тюрьмы, этого жуткого чистилища, с твердым намерением вернуться на стезю добра, проявляя для этого чудеса усердия в работе, мужество, терпение и честность, допустим, что ему даже удалось скрыть свое позорное прошлое, но достаточно случайной встречи с кем-нибудь из его сотоварищей по заключению, чтобы тут же рухнули с таким трудом возведенные леса, которые должны были помочь ему построить новое существование.

И произойдет это вот почему.

Оказавшийся на свободе закоренелый преступник тут же предложит своему раскаявшемуся дружку принять участие в выгодном «деле»; тот, несмотря на опасные угрозы своего бывшего приятеля, отказывается участвовать в готовящемся злодеянии; и тотчас же анонимный донос раскрывает перед обществом прошлую жизнь злосчастного человека, который хотел во что бы то ни стало скрыть свои былые преступления и искупить свой грех достойным поведением.

И тогда, вновь окруженный презрением окружающих или, во всяком случае, недоверием тех, в ком он уже вызвал сочувствие своим упорным трудом и честностью, опять попав в нужду, озлобленный проявленной к нему несправедливостью, обезумев от невзгод, уступая малопомалу роковым и зловещим соблазнам, человек этот, уже почти совсем исправившийся, снова – и теперь уже навсегда – окажется на дне пропасти, из которой он с таким трудом выбрался.

В нижеследующих сценах мы попытаемся показать чудовищные и неизбежные последствия от пребывания арестантов в общих камерах.

После долгих веков, отмеченных варварством, после гибельных колебаний ныне, кажется, начинают понимать, что неразумно помещать в безмерно порочную атмосферу тех людей, которых чистый и целебный воздух мог бы еще спасти.

Сколько веков потребовалось для того, чтобы понять: собирая вместе зараженных опасными пороками людей, неизбежно способствуют распространению заразы, и болезнь становится неизлечимой.

Сколько веков потребовалось для того, чтобы понять: есть лишь одно лекарство против быстро распространяющейся заразы, которая угрожает общественному организму.

Это одиночное заключение!..

Мы будем считать себя счастливыми в том случае, ежели голос наш будет пусть даже не принят во внимание, но хотя бы услышан в хоре тех голосов, гораздо более красноречивых и весомых, которые совершенно справедливо и с похвальной настойчивостью требуют безоговорочно и неукоснительно применять систему одиночного заключения.

Быть может, когда-нибудь наступит такой день, когда общество поймет наконец, что зло – вовсе не хроническая, неизлечимая болезнь, а явление в общем-то случайное, что преступление – почти всегда результат извращения таких наклонностей и порывов человека, которые по природе своей не таят опасности для других, однако становятся опасными из-за невежества, эгоизма или нерадивости властей, ибо тогда они искажаются и перерождаются; а ведь душевное здоровье, равно как и здоровье телесное, всецело зависит от соблюдения всесторонней гигиены; она-то предохраняет от всякого рода недугов или исцеляет от них.

Господь бог дарует всем и каждому различные устремления, а порою и непомерные аппетиты, жажду уюта и комфорта; общество же должно позаботиться о равновесии интересов своих членов и об удовлетворении их потребностей.

Каждый человек получает в удел от природы силу, добрую волю и здоровье, и он имеет

право, высочайшее право на справедливо оплачиваемый труд, который должен обеспечить его, по крайней мере, самым необходимым, должен дать ему возможность оставаться здоровым и сильным, деятельным и работоспособным... тогда он будет добрым и честным, ибо жизнь его будет счастливой.

Там, где царит нищета и невежество, возникает пагубная обстановка, рождающая людей с извращенным нравом и опустошенной душой. Оздоровите эти клоаки, внедрите образование, обеспечьте людей работой и справедливой оплатой за нее, вознаграждайте их по заслугам, и очень скоро люди, больные и телом и душой, возродятся для добра, а ведь добро – залог здорового духа и основа нравственности.

А теперь мы поведем читателя в тюрьму Форс, в залу, где происходят свидания с заключенными.

Это довольно темное помещение, разделенное в длину на две равные части узким коридором, огороженным с обеих сторон железными решетками.

Одна из двух этих частей залы сообщается с внутренними помещениями тюрьмы: она предназначена для заключенных.

Другая примыкает к тюремной канцелярии: она предназначена для людей с воли, которым разрешено свидание с арестантами.

Эти встречи и разговоры осуществляются через двойной ряд упомянутых выше решеток в присутствии надзирателя: он сидит в конце узкого коридора, образованного этими железными сетками.

Внешний вид заключенных, собравшихся в тот день в приемной зале, дал бы немало пищи для размышлений всякому любителю контрастов: некоторые из арестантов кутались в лохмотья, другие, судя по одежде, принадлежали к рабочему сословию, иные представляли здесь буржуазию.

К различным сословиям принадлежали и посетители, пришедшие повидать заключенных; кстати сказать, то были главным образом женщины.

Как правило, у арестантов гораздо менее грустный вид, чем у посетителей; как это ни покажется странным и даже страшным, но из опыта известно, что у людей, которые провели три или четыре дня в общей камере, трудно обнаружить следы горя или стыда!

Даже те, кого поначалу пугает это отвратительное общение, довольно быстро привыкают к нему; где уж им устоять против заразы: оказавшись в окружении опустившихся субъектов, слыша только ругань и проклятия, они вступают на стезю свирепого соперничества и потому ли, что хотят добиться уважения своих сотоварищей по камере, состязаясь с ними в цинизме, или потому, что стараются найти забвение в этом, если так позволено выразиться, «нравственном дурмане», новички почти всегда выказывают столько же испорченности и вызывающей веселости, как и завсегдатаи тюрьмы.

Но вернемся в залу для свиданий с заключенными.

Несмотря на громкий гул, создававшийся многими голосами, одновременно звучавшими в узком коридоре, ибо арестанты и посетители все время разговаривают друг с другом, и те и другие в конце концов приноравливались и умудрялись разговаривать между собой: для этого им необходимо было ни на мгновение не отвлекаться и ни в коем случае не прислушиваться к тому, что говорят соседи, так что велась некая тайная беседа двух людей, а вокруг громко обменивалось словами множество других пар, при этом каждый должен был прислушиваться к своему собеседнику и пропускать мимо ушей то, что говорилось вокруг.

Среди заключенных, вызванных в залу для встречи с посетителями, был и Николя Марсиаль, устроившийся поодаль от того места, где сидел надзиратель.

Мрачная подавленность, в которой пребывал этот злодей, когда его взяли под стражу, уступила теперь место циничной самонадеянности.

Отвратительное и разлагающее влияние соседей по тюремной камере уже принесло свои плоды.

Если бы этого негодяя сразу же посадили в одиночную камеру, он, не успев оправиться от уныния, в которое его привел неожиданный арест, оставшись наедине со своими мыслями о со-

вершенных им преступлениях, напуганный ожиданием неизбежной кары, без сомнения, испытывал бы если не раскаяние, то, уж во всяком случае, благодетельный для него страх, и ничто бы не отвлекало этого арестанта от подобных мыслей.

А кто может сказать, какое благотворное влияние способны оказать на человека, преступившего закон, постоянные размышления о совершенных им злодеяниях и неизбежная мысль об ожидающем его наказании?..

И совсем другое дело, если этот правонарушитель окажется в гуще закоренелых злодеев, в чьих глазах малейший признак раскаяния рассматривается как трусость или, того хуже, как предательство, и «отступника» ждет суровая расплата; ибо эти злодеи до такой степени очерствели душой, настолько подозрительны и недоверчивы, что смотрят как на доносчика на всякого человека (если такой окажется в их среде), который угрюм и печален, потому что сожалеет о совершенном им проступке или преступлении, не разделяет их дерзкой беспечности и сторонится их, избегает общения с ними.

Оказавшись, как мы уже сказали, в гуще злоумышленников, Николя Марсиаль, хорошо и давно знакомый по рассказам своих дружков с тюремными нравами, одолел охватившую его при аресте слабость и постарался поддержать репутацию своей фамилии, хорошо знакомой ворами и убийцам.

Несколько заключенных, уже не в первый раз имевших дело с правосудием, знали его отца, кончившего жизнь на эшафоте, другие знали его брата-каторжника; и потому эти ветераны преступного мира встретили Николя с неприкрытым интересом, затем взяли его под свое покровительство.

Братский прием, оказанный сыну вдовы Марсиаль убийцами и ворами, привел его в восторг; похвалы, раздававшиеся со всех сторон по адресу его преступной семьи, опьяняли Николя. Он довольно быстро забыл, очутившись в преступной компании, о том, что его ожидало в будущем, и вспоминал о своих прошлых преступлениях только для того, чтобы хвастаться ими и таким способом вырастать в глазах своих сотоварищей по камере.

Вот почему Николя Марсиаль держал себя теперь достаточно нагло, в то время как по физиономии его посетителя можно было догадаться, что того гложет растерянность и тревога.

Этим посетителем был папаша Мику, скупщик краденого и содержатель меблированных комнат в Пивоваренном проезде, в чьем доме были вынуждены поселиться г-жа де Фермон и ее дочь – жертвы преступной алчности Жака Феррана.

Папаша Мику хорошо понимал, какое наказание грозит ему за то, что он много раз покупал по дешевке ворованные вещи, которые приносили ему Николя Марсиаль и многие другие.

С тех пор как сын вдовы был арестован, скупщик краденого оказался, можно сказать, во власти этого преступника, ибо тот мог указать на него как на человека, постоянно скупавшего у него ворованное. И хотя это обвинение трудно было подтвердить бесспорными уликами, оно тем не менее было весьма опасно для папаши Мику и угрожало ему серьезными неприятностями; именно поэтому, когда какой-то вышедший на свободу заключенный передал ему требования Николя, папаша Мику поторопился их выполнить.

– Ну, что новенького? Как идут у вас дела, папаша Мику? – спросил злодей.

– Я весь к вашим услугам, мой милый, – отвечал скупщик краденого с поспешностью. – Как только ко мне пришел присланный вами человек, я тотчас же...

– Постойте-ка! С чего это вы вдруг перестали говорить мне «ты», папаша Мику? – прервал его речь Николя с язвительной усмешкой. – Может, вы меня теперь презираете... потому как я попал в беду?..

– Да нет, дружок, я никого не презираю... – ответил скупщик краденого, которому вовсе не хотелось подчеркивать свою былую близость с негодяем.

– Ладно! Тогда, как и раньше, говорите мне «ты», а то я подумаю, что вы уже не питаете ко мне прежней дружбы, а это причинит мне большое горе.

– В добрый час... – проговорил папаша Мику со вздохом. – Так что я немедля занялся твоими небольшими поручениями...

– Вот это совсем другие речи, папаша Мику... в душе я всегда знал, что вы не забываете

старых друзей. Принесли мне табачку?

– Я передал два фунта табаку в тюремную канцелярию, мой милый.

– Надеюсь, высшего сорта?

– Самого наилучшего...

– А окорок прихватили?

– Он уже тоже в канцелярии вместе с четырехфунтовым белейшим хлебом; и к этому я прибавил еще небольшой сюрприз для тебя, ты, верно, его не ожидал... я принес еще полдюжины крутых яиц и добрую головку голландского сыра...

– Вот это я называю: поступать по-дружески! А вино не забыли?

– Там тебя уже ждут шесть запечатанных сургучом бутылок, но только, знаешь, тебе будут выдавать лишь по одной бутылке в день.

– Ничего не поделаешь!.. Придется с этим примириться.

– Надеюсь, ты мной доволен, дружок?

– А то как же! Очень доволен и буду доволен и впредь, папаша Мику, потому как этот окорок, этот сыр, эти яйца и это вино у меня быстро уйдут, я их мигом проглочу... но, как кто-то сказал, только жратва у меня кончится, другая сейчас же появится благодаря папаше Мику, он опять принесет мне чем полакомиться, потому как я с ним хорош.

– Как?! Ты хочешь, чтобы я еще?!..

– Я хочу, чтобы через денька два или три вы немного пополнили мой запас провизии, папаша Мику.

– Черт меня побери, если я это сделаю! – возмутился папаша Мику. – Хватит с тебя и одного раза.

– Хватит и одного раза? Ну нет! Окорок и вино хороши каждый день, вы и сами это знаете.

– Не спорю, только я не брался закармливать тебя вкусными вещами!

– Ах, папаша Мику! Нехорошо это, несправедливо отказывать в окороке мне, человеку, который не раз приносил вам свинчатку.

– Замолчи, несчастный! – с испугом пробормотал скупщик краденого.

– Нет уж! Я призову в свидетели дворника.²⁸ Я скажу ему: «Представьте себе, папаша Мику...»

– Ладно, ладно! – закричал скупщик краденого, поняв с испугом, что Николая, разозлившись, чего доброго, злоупотребит той властью, которую ему дает их сообщничество. – Я согласен... Когда управишься с едой, какую я тебе принес, я пополню твои запасы.

– Вот это дело... Это справедливо... И не забудьте послать кофе моей мамаше и Тыкве, они сидят в тюрьме Сен-Лазар; дома они привыкли каждое утро выпивать по чашке кофе... Не хочется лишать их этого удовольствия.

– Как? Еще и кофе! Да ты разорить меня хочешь, прохвост!

– Как вам будет угодно, папаша Мику... Не будем больше об этом говорить... Пожалуй, я лучше спрошу у дворника...

– Хорошо, будет им кофе, – прервал его скупщик краденого. – Но чтоб тебя черти взяли!.. Будь проклят тот день, когда я с тобой познакомился!

– А вот я, папаша Мику, я, напротив, сейчас особенно рад, что с вами в свое время познакомился! Я почитаю вас как кормильца, как отца родного!

– Надеюсь, у тебя больше нет ко мне поручений? – с горькой улыбкой спросил скупщик краденого.

– Как же... есть... передайте, пожалуйста, моей мамаше и сестре, что если я и оробел малость при аресте, то теперь больше не дрожу, я теперь так же смело настроен, как и они обе.

– Непременно передам. Это все?

– Погодите-ка. Я забыл вас вот о чем попросить: принесите мне две пары теплых шерстяных чулок... Вы ведь не хотите, чтобы я тут простуду подхватил.

²⁸ Судью.

- Я хочу, чтобы ты окошел!
- Спасибо, папаша Мику, всему свой черед; но это будет позже, а сегодня мне совсем другое нравится... Я хочу пожить в свое удовольствие. Если они не укоротят меня, как укоротили отца... я еще поживу на славу!
- Да, ничего не скажешь, хороша твоя жизнь...
- Не хороша, а просто замечательна! С тех пор как я сюда попал, я живу, что твой король! Если б здесь имелись лампионы и бенгальский огонь, их бы зажгли в мою честь, когда стало известно, что я сын знаменитого Марсиаля, который кончил свои дни на эшафоте...
- Трогательно до слез! Таким родством можно гордиться.
- А что? Ведь сколько есть разных там герцогов да маркизов... Почему же у нашего брата не может быть своей собственной знати?! – проговорил злодей со свирепой иронией.
- Конечно... Ведь дядя Шарло раздает вам на Королевской площади ваши дворянские грамоты...
- Ну уж, конечно, не священник... И вот что я вам еще скажу: в тюрьме хорошо тому, кто принадлежит к грандам,²⁹ тогда ему ото всех почет, а не то на тебя смотрят как на последнего человека. Стоит только поглядеть, как тут обращаются с теми, кто не принадлежит к воровскому миру, да к тому же еще и важничает... Знаете, в нашей камере оказался человек по фамилии Жермен, этакий юнец чистюля; так вот он ото всех нос воротит, он нас, видите ли, презирает! Но только пусть он свою шкуру побережет! Он все скрытничает, а у нас в камере думают, что он доносчик... Коли окажется, что это так, ему уж пересчитают ребра... для острастки.
- Ты сказал: Жермен? Фамилия этого молодого человека Жермен?
- Да... а вы что, его знаете? Выходит, он из нашего мира? Ну тогда, несмотря на дурацкий вид...
- Знать-то я его знаю... но если он тот Жермен, о котором мне рассказывали, то за ним кое-что числится...
- Что именно?
- Тот Жермен чуть было не угодил в западню, которую не так давно ему расставили Волосатый и колченогий верзила.
- А почему это?
- Этого я не знаю. Они говорили, что где-то в провинции Жермен этот продал³⁰ кого-то из их шайки.
- Я так и думал... Конечно – доносчик. Ну что ж! Его отделают как надо, этого легавого! Я шепну пару слов своим дружкам... Это их раззадорит. А что, колченогий верзила все еще нагоняет страху на ваших жильцов?
- Слава богу, я наконец-то избавился от этого проходимца! Ждите его к вам не сегодня, так завтра.
- Вот здорово! Тогда уж мы поохочем и повеселимся вволю! Уж этот не станет воротить нос!
- Да, уж весело будет, коли он встретит тут Жермена... Будь уверен, этому молодчику достанется на орехи... если он – тот самый...
- А почему зацапали колченогого верзилу?
- Он подбил на кражу одного арестанта, который только-только вышел на волю и хотел заняться честным трудом. Как бы не так! Колченогий верзила ловко втравил его в сомнительное

²⁹ Крупным вора́м.

³⁰ Предал, донес. Читатель, вероятно, помнит, что Жермен, из которого один из приятелей его отца, Грамотея, хотел сделать преступника, отказался участвовать в ограблении банкира в городе Нанте: служивший у него Жермен предупредил своего хозяина об этом преступном замысле, а сам бежал в Париж. Некоторое время спустя он повстречал в столице того злодея, чьим сообщником не захотел стать в Нанте. Негодяй начал выслеживать Жермена, и тот чуть было не попал в расставленную ему западню. Стремясь избежать дальнейших опасностей, Жермен съехал из дома на улице Тампль и никому не сообщил свой новый адрес.

дело. Он испорчен до мозга костей, этот прохвост! Я уверен, что это он взломал чемодан двух женщин, что живут у меня в комнатенке на пятом этаже.

– Каких женщин? Ах да!.. Вспомнил: это мать и дочь... и дочка вас сильно распалила, старый разбойник! Вы все твердили, до чего она хороша.

– Они уже больше никого распалить не будут: в этот час мать, думаю, уже померла, а дочь еле дышит. У меня останется двухнедельная плата за жилье – они мне вперед заплатили, но черт меня побери, если я потрачу хотя бы грош на их похороны! У меня и без того большие убытки, уж не говорю о лакомствах, которые ты просишь приносить тебе и твоей семье: сам понимаешь, это сильно помогает моим доходам! Да, везет мне в этом году...

– Ах! Ах! Ах! До чего вы любите жаловаться, папаша Мику! А между тем у вас денег куры не клюют. Ну ладно, я вас больше не задерживаю!

– И то хорошо!

– Вы расскажете мне, что новенького у моей мамы и Тыквы, когда опять принесете мне провизию?

– Да... уж придется...

– Ах, чуть было не забыл... хорошо, что вы еще не ушли... Купите мне заодно новый картуз из шотландского бархата с помпоном, а то мой совсем износился.

– Тебе еще и картуз понадобился?! Ты что, потешаешься надо мной?

– Нисколько, папаша Мику, мне нужен картуз из шотландского бархата. Это моя давняя мечта.

– Ты, видно, задумал разорить меня?

– Напрасно вы кипятитесь, папаша Мику. Просто скажите: «да» или «нет». Ведь я вас не принуждаю... но хватит...

Немного подумав, скупщик краденого вспомнил, что он во власти Николя Марсиаля, и поспешно встал, опасаясь, что, если его визит затянется, негодяй потребует у него еще чего-нибудь.

– Ладно... получишь свой картуз, – пробурчал он. – Но берегись: если ты не уймешься и еще чего-нибудь запросишь, я тебе ничего не дам. И будь что будет! Ты на этом потеряешь не меньше меня.

– Не беспокойтесь, папаша Мику, я не вымогатель какой и не заставлю вас петь не своим голосом, чтоб вы не сорвали его; это будет досадно: вы так здорово умеете лазаря петь!

Скупщик краденого вышел, с возмущением передернув плечами, а надзиратель велел отвести Николя Марсиаля в его камеру.

В ту самую минуту, когда папаша Мику выходил из приемной залы для свиданий с заключенными, в нее вошла Хохотушка.

Надзиратель, человек лет сорока, был отставной солдат с обветренным и смелым лицом; одет он был в форменную куртку и синие панталоны, на голове у него чуть набекрень сидела фуражка; на воротнике куртки и на ее отворотах были вышиты серебром две звезды.

При виде гризетки он заулыбался, и на его физиономии появилась приветливая и доброжелательная улыбка; ему всегда нравились ласковая забота и трогательная доброта девушки, то, как она встречала Жермена, едва только тот появлялся в приемной для свидания с нею.

Надо сказать, что и Жермен мало походил на других арестантов; его сдержанность, мягкость и постоянная грусть вызывали сочувствие к нему у служащих тюрьмы; впрочем, они остерегались открыто выражать свое сочувствие, опасаясь, что, узнав о нем, его отвратительные со товарищи по заключению станут еще хуже относиться к Жермену, а ведь они, как мы уже говорили, и так смотрели на него с подозрением и неприязнью.

На улице дождь лил потоками; однако Хохотушка, надев башмаки на деревянной подошве и вооружившись зонтом, мужественно вступила в борьбу и с ветром и с дождем.

– Какая отвратительная погода, милая барышня! – воскликнул надзиратель добродушным тоном. – Не всякий решится выйти из дому в такой ливень!

– Когда всю дорогу думаешь о том, какое удовольствие доставит бедному арестантику твой приход, тогда, сударь, не обращаешь внимания на дурную погоду!

– Мне незачем спрашивать, к кому вы пришли и кого хотите повидать...

– Конечно... А как он поживает, мой милый Жермен?

– Я вам вот что скажу, милая барышня: я много заключенных повидал. Все они грустят поначалу, грустят день, второй, а потом мало-помалу привыкают и ведут себя как все остальные... Больше того, случается, что тот, кто первое время особенно убивался, затем нередко веселится больше других... Но господин Жермен не такой, у него с каждым днем вид все более удрученный.

– Это-то меня сильнее всего огорчает.

– Когда я несу службу во дворе, куда выводят на прогулку заключенных, я краем глаза слежу за ним: и он вечно один... Я уже вам говорил, постарайтесь уговорить его не сторониться уж до такой степени своих сотоварищей по камере... Надо, чтобы он с ними заговаривал, отвечал, когда к нему обращаются, а то ведь кончится тем, что они все его люто возненавидят... Мы-то наблюдаем за порядком во внутренних дворах, когда арестантов выводят на прогулку, но долго ли до беды...

– Ах! Господи боже! Скажите, сударь, ему теперь грозит опасность?

– Да нет, ничего определенного... но только эти злодеи видят, что он не их пошиба, и они его терпеть не могут, потому что он человек порядочный и держится особняком.

– Я ему столько раз говорила, столько раз просила вести себя так, как вы сказали, сударь, стараться разговаривать хотя бы с теми, кто не так зол... Но это сильнее его, не может он одолеть свое отвращение к ним...

– Неправ он... ох как неправ! Долго ли начать ссору, а там и до драки дойдет.

– Боже мой! Боже мой! А нельзя его как-нибудь отделить от других?

– Два или три дня назад я заметил, что заключенные вынашивают какие-то замыслы против него, и я тогда же посоветовал ему попроситься в другое отделение тюрьмы, где есть одиночные камеры.

– Ну а он что?

– Я только об одном не подумал... много одиночных камер теперь как раз ремонтируют – у нас ведь тюрьму в порядок приводят; а остальные одиночные камеры все заняты, свободных нет.

– Нет ведь эти злые люди могут убить Жермена! – воскликнула Хохотушка со слезами на глазах. – А если у него случайно найдутся покровители, смогут они что-нибудь для него сделать, сударь?

– Нет, ничего другого не придумаешь: надо найти способ выхлопотать для него отдельную камеру, хотя бы за плату.

– Увы!.. Стало быть, он погиб, раз уж другие арестанты так взъелись на него...

– Успокойтесь, барышня, мы уж постараемся получше за ними следить... Но только повторяю вам еще раз, милая барышня... посоветуйте ему держаться проще, поближе сойтись с другими... Ведь только первый шаг труден!

– Я уж всеми силами постараюсь внушить ему это, сударь! Но для человека порядочного и чистосердечного это куда как трудно... Ну как ему сблизиться с такими людьми?!

– Из двух зол надо выбирать меньшее. Ладно, пойду и скажу, чтобы привели господина Жермена. Впрочем, обождите, – прибавил надзиратель, передумав. – Я вижу, что остались всего два посетителя... они скоро уйдут... а других нынче не будет... ведь пробило уже два часа... Чуть позднее я велю привести господина Жермена... и вы с ним потолкуете спокойно... Когда вы останетесь вдвоем, я могу впустить его в коридор, тогда между вами будет одна решетка вместо двух, а это куда приятнее.

– Господи, сударь, до чего вы добры... как я вам благодарна!

– Тсс!.. Еще кто-нибудь вас услышит, и сразу появятся завистники. Садитесь пока что в сторонке, на скамью, и как только этот мужчина и та женщина уйдут, я пошлю за господином Жерменом.

Надзиратель направился на свой пост внутри коридора. А Хохотушка с грустью уселась на самый краешек скамьи, предназначенной для посетителей.

Пока гризетка ожидает прихода Жермена, мы хотим, чтобы читатели послушали разгово-

ры, которые ведут заключенные, оставшиеся в зале для свиданий, с посетителями, после того как оттуда ушел Николя Марсиаль.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

Глава I ОСТРОСЛОВ

Подле Крючка стоял арестант лет сорока пяти, хилый, тщедушный, с тонким и умным лицом, жизнерадостным и насмешливым, с огромным, почти беззубым ртом; когда он говорил, губы его кривились то влево, то вправо, как свойственно людям, привыкшим обращаться к уличной толпе; курносый, с огромной, почти совсем плешивой головой, он носил старый жилет из серого сукна и выцветшие дырявые брюки в заплатках: голые, покрасневшие от холода ноги, неряшливо завернутые в тряпки, были обуты в деревянные башмаки.

Его звали Фортюне Гобер, по прозвищу Острослов; в прошлом фокусник, он уже отбыл срок за изготовление фальшивых монет, а ныне был обвинен в том, что бежал с места ссылки и совершил кражу со взломом.

Пробыв всего несколько дней в тюрьме Форс, Гобер, ко всеобщему удовольствию, стал исполнять роль рассказчика.

Теперь такие лица встречаются редко, но в прошлые годы каждая камера имела своего рассказчика, который за небольшую плату помогал арестантам коротать бесконечные зимние вечера, и тогда заключенные не ложились спать сразу при наступлении сумерек.

Любопытно отметить, что в душах этих несчастных возникает потребность в вымышленных и волнующих историях; и что удивительно для нас: порочные до мозга костей, воры, убийцы особенно любят сюжеты, где выражены благородные, героические чувства, истории, в которых выведен беспомощный, великодушный герой и где доброта торжествует над темными силами.

Точно так же падшие женщины любят простодушные, трогательные, элегические романы и почти всегда отвергают чтение непристойных произведений.

Врожденный инстинкт доброты, желание мысленно отрешиться от того унижения, которое им приходится терпеть, не вызывают ли они в душах несчастных женщин симпатии к одним рассказам и отвращение к другим?

Итак, Гобер отлично излагал героические истории, где униженный, после множества приключений, в конце концов побеждает своего преследователя. Гобер к тому же обладал чувством юмора, его реплики отличались едкостью и шутливостью – отсюда и возникла кличка «Острослов».

Он только что вошел в приемное помещение.

Напротив него, по ту сторону решетки, стояла женщина лет тридцати пяти, бледная, с приятным и привлекательным лицом, бедно, но опрятно одетая. Она горько плакала, вытирая слезы платком.

Гобер смотрел на нее ласково и в то же время нетерпеливо.

– Послушай, Жанна, – обратился он к ней, – брось это ребячество, вот уже шестнадцать лет, как мы с тобой не виделись, если ты все время будешь закрывать платком глаза, мы никогда друг друга не узнаем...

– Дорогой брат, бедный Фортюне... Я задыхаюсь от слез... Не могу говорить...

– Какая же ты смешная! Перестань. Ну что с тобой?

Его сестра перестала рыдать, вытерла слезы и, глядя на него с изумлением, сказала:

– Что со мной? Как! Я снова вижу тебя в тюрьме, когда ты уже отсидел пятнадцать лет!..

– Правда, сегодня исполнилось полгода, как я вышел из центральной тюрьмы в Мелене... Я не навестил тебя в Париже, потому что пребывание в столице мне запрещено...

– И снова взят!.. Боже мой! Что же ты опять натворил? Почему покинул Боженси, где ты находился под надзором? – Почему?.. Надо спросить, почему я туда поехал.

– А, понимаю.

– Жанна, слушай, нас разделяет решетка, но представь себе, что я тебя целую, обнимаю, как это должно бы быть, когда не видишь сестру целую вечность. Теперь поговорим.

Один арестант из Мелена, по имени Хромой, сообщил мне, что в Боженси проживает его знакомый, бывший каторжник; он принимает к себе на фабрику свинцовых белил вышедших на волю... Знаешь, что представляет собой работа на этой фабрике?

– Нет.

– Хорошее занятие, через месяц любой заболевает свинцовой болезнью. Из троих рабочих – один умирает, другие, не скрою, тоже умрут, но живут пока в свое удовольствие, пируют год, полтора... К тому же работа неплохо оплачивается, не то что в иных местах. Ребята, родившиеся в рубашке, живут два-три года, но это уже долгожители. Да, на этой работе умирают, но она не такая уж тяжелая.

– Фортюне, зачем же ты стал трудиться там, где умирают?

– А что же я должен был делать? Когда я находился в Мелене, в тюрьме, как фальшивомонетчик, мне не могли найти занятие по моим силам, ведь я – фокусник и был не сильнее блохи, потому мне поручили изготавливать игрушки для детей. Один парижский фабрикант считал, что выгодно, чтобы куклы, игрушечные трубы, деревянные сабли мастерили арестанты. За пятнадцать лет я столько наточил, насверлил, наврезал игрушек, что их хватило бы для малышей целого парижского квартала... в особенности было много труб... и трещоток... Услышав эти звуки, целый батальон заскрежетал бы зубами, горжусь этим. Отбыв свой срок в тюрьме, я прослыл мастером двухгрошовых труб. Мне разрешили избрать поселение за сорок лье от Парижа; оставался единственный заработок – делать игрушки... Даже если бы все в поселке от мала до велика начали дуть в мои трубы, то и тогда я не оправдал бы свои расходы; не мог же я заставить всех жителей трубить с утра до вечера, меня бы приняли за авантюриста.

– Боже мой... ты всегда шутишь...

– Лучше смеяться, чем плакать. В конце концов, убедившись, что недалеко от Парижа могу заработать на жизнь, только лишь занимаясь изготовлением игрушек, отправился в Боженси, чтобы работать на фабрике белил. Это такое пирожное, от которого распирает желудок, и... готово, над вами поют за упокой. Пока не подох – можно жить и зарабатывать; это ремесло мне нравится не меньше, чем воровское; чтобы воровать, у меня не хватало ни смелости, ни силы, а тут совершенно неожиданно подвернулось дело, о котором я тебе рассказал.

– Даже если бы ты был смелым и сильным, так просто воровать бы не стал.

– Так считаешь?

– Да, ведь ты совсем неплохой человек, случайно связался с жуликами, тебя ведь силой втянули в компанию.

– Да, дорогая, но вот видишь, пятнадцать лет в Централле... так закоптят человека, что он становится как эта трубка, хотя вошел туда чистым, какой она была новая. Выйдя из Мелена, я чувствовал себя слишком трусливым, чтобы заниматься воровством.

– Но ты же занялся смертельно опасным делом? Мне кажется, Фортюне, ты совсем не такой скверный, каким представляешься.

– Послушай, хоть я и был очень хилым, но черт знает почему подумал, что натяну нос этому свинцу, что болезнь меня не одолеет, пройдет мимо, словом, что я стану одним из опытных мастеров фабрики. Выйдя на волю, я стал транжирить накопленные денежки, которые заработал в тюрьме за свои рассказы.

– А, это те истории, которые мы когда-то слышали, они так нравились нашей маме, помнишь?

– Да! Славная была женщина, разве она не подозревала, что я в Мелене?

– Нет, думала, что ты уехал на острова...

– Как тебе объяснить, сестричка: все свои шутки я унаследовал от отца, ведь он готовил меня в фокусники, я помогал ему на представлениях, глотал паклю, изрыгал огонь, стало быть,

не мог коротать время с сыновьями пэров Франции и встречался лишь с голытьбою. Что до Боженси, то, выйдя из Мелена, я промотал все свои денежки. Когда пробудешь пятнадцать лет в клетке, захочется же подышать свежим воздухом, порезвиться, хоть я и не гурман, но белила могли раз и навсегда меня доконать; зачем тогда копить деньги, я тебя спрашиваю! Наконец я прибываю в Боженси, почти без гроша в кармане, разыскиваю Волосатого, друга Верзилы, хозяина фабрики. Благодарю покорно! Фабрика белил исчезла с лица земли; бывший каторжник закрыл ее – там в течение года умерло одиннадцать человек. И я остался в этом городе изготавливать игрушки, имея в качестве рекомендации свидетельство об освобождении. Я искал работу по силам, а силенок-то у меня не было; ты понимаешь, как меня принимали; то назовут вором, то негодяем, то бежавшим из тюрьмы, и, где бы я ни появлялся, каждый держался за карманы, стало быть, я не мог избежать голодной смерти в этой дыре, где должен был прожить целых пять лет. Поняв что к чему, я убежал с места ссылки и направился в Париж, чтобы там заняться своим ремеслом; у меня не было средств нанять карету с четырьмя лошадьми, потому весь путь прошел пешком, побираясь и страшась жандармов, как собака палки; мне посчастливилось, и я благополучно добрался до Отея; изнуренный, адски голодный, одетый, как видишь, не нарядно. – И Гобер с ухмылкой взглянул на свои лохмотья. – В кармане у меня не было ни гроша, меня могли задержать как бродягу. А тут, черт побери, представился случай... Хоть я и трус, но бес меня попутал...

– Тише, брат, – сказала сестра, боясь, чтоб тюремщик, хотя и находившийся довольно далеко от Гобера, не услышал столь опасного признания.

– Ты боишься, что нас подслушают, – возразил он, – не беспокойся, я не скрываю, меня захватили на месте преступления, ничего не мог отрицать, во всем сознался, знаю, что меня ждет, получу сполна.

– Боже мой, – плача, произнесла сестра. – Как ты хладнокровно рассуждаешь...

– Ну а если я буду говорить гневно, какой от этого толк? Послушай, будь умницей, неужели это я должен утешать тебя, а не ты меня?

Жанна, вздохнув, вытерла слезы.

– Что касается моего дела, – продолжал Гобер, – то под вечер я подходил к Отею совсем обессиленный: хотел войти в Париж ночью; уселся подле живой изгороди, чтобы отдохнуть и подумать о будущем. Размышляя, уснул; какой-то шум разбудил меня; уже стемнело; я прислушался... оказалось, по дороге, за изгородью, идут мужчина и женщина. Он спрашивает: «Ты думаешь, нас могут обворовать? Разве мы не оставляли дом без присмотра?» – «Да, но у нас в комодке тогда не хранилось сто франков», – ответила жена мужу. «А кто об этом знает, глупая», – возразил муж. «Ты прав», – сказала она, и они удалились. Честное слово, такой случай нельзя было упускать, ведь никакой опасности. Я подождал немного, вышел на дорогу и вижу в двадцати шагах отсюда маленький крестьянский дом, в котором, несомненно, хранилось сто франков, ведь здесь на дороге только и была одна хибарка. Я решаю: «Мужайся, старина, вокруг никого, темная ночь, если нет собаки (ты знаешь, я всегда боялся собак), дело сделано». К счастью, собаки не оказалось. Для верности я стучу в дверь, никто не отвечает... Это придаст мне уверенности. Ставни окон были закрыты, я раздвигаю их палкой, пролезаю через окно в комнагу; в печи догорает огонь, он светит мне; я вижу комод, ключа нет, тогда щипцами открываю ящик и под кучей белья обнаруживаю в чулке деньги; больше ничего не беру, прыгаю из окна и падаю... угадай куда... Вот удача!..

– Бог ты мой, да говори же!

– На спину полевого сторожа, который в это время возвращался в деревню.

– Боже мой!

– Луна взошла; он меня заметил, когда я лез через окно, и схватил. Такой парень, как он, мог бы повалить десять таких, как я... Я слишком труслив, чтобы оказать сопротивление. Чулок был у меня в руке, он услышал звон монет, схватил его и положил в свою сумку, а меня заставил идти с ним в Отей. Мы прибыли к мэру в сопровождении жандармов и мальчишек, затем вернулись к дому и стали поджидать хозяев. Они вернулись, дали показание... Не было никакой возможности отрицать, я во всем сознался и подписал протокол; мне надели наручники, и марш...

– И вот ты опять в тюрьме... быть может, надолго?

– Послушай, Жанна, не хочу обманывать тебя, дорогая, лучше уж скажу тебе сразу...

– Что еще такое, о боже!..

– Подожди, не волнуйся!

– Говори же!

– Так вот, речь идет теперь не о тюрьме!

– А что?

– За воровство ночью, со взломом, за то, что влез через окно в жилой дом, – я рецидивист... Адвокат мне объяснил, получу пятнадцать либо двадцать лет каторги и буду выставлен к позорному столбу. Это точно как в аптеке.

– На каторгу! Но ты такой хилый, ты умрешь там, – рыдая, воскликнула несчастная женщина.

– А если бы я стал работать на фабрике белил?

– Но каторга, боже ты мой, каторга!

– Это тюрьма на открытом воздухе, придется ходить в красной куртке вместо коричневой; и потом, я всегда горел желанием видеть море... Разве мне подходит быть парижским ротозеем, а?

– А позорный столб... несчастный!.. Стоять там среди презирающей тебя толпы... О боже мой, дорогой брат!

И несчастная вновь разрыдалась.

– Ладно, Жанна, будь умницей... надо потерпеть только четверть часа, притом, кажется, сидя... К тому же разве я не привык видеть толпу? Когда показывал фокусы, вокруг меня всегда была куча народа, представляю себе, что я фокусник, а если станет невтерпеж, то закрою глаза, и мне будет казаться, что никто меня не видит.

Рассуждая с такой развязностью, несчастный не пытался проявить циничную бесчувственность к преступлению, а стремился утешить и успокоить сестру своим поддельным равнодушием.

Человеку, привыкшему к тюремным нравам, у которого всякий стыд неминуемо потерян, каторга действительно представляется лишь сменой обстановки, сменой куртки, как с ужасающей правдивостью говорил Гобер, это лишь «куртка другого цвета».

Большинство арестантов центральных тюрем даже предпочитают каторгу, их влечет шумная жизнь, которую там ведут осужденные, они часто готовы совершить даже убийство, чтобы попасть в Брест или Тулон. Это понятно, и до каторги их труд был таким же тяжелым.

А условия труда честных портовых рабочих – тот же ад. Они начинают и кончают работу в те же самые часы; а логово, в котором отдыхают от непомерной усталости, порой бывает не лучше, чем казарма ссыльного.

«Но они свободны!» – возразят мне.

«Да, свободны... один день в неделю!.. воскресенье – отдых, как и у арестантов».

«Но они не чувствуют стыда, позора?»

А что такое стыд, позор для отверженных, которые ежедневно закаляют душу в адском горниле, которые проходят через все стадии подлости в этой школе, где они взаимно влекут друг друга к гибели, где наиболее опасные преступники считаются наиболее уважаемыми людьми?

Таковы последствия современной системы наказаний.

Многие преступники охотно идут в тюрьму! Каторги... добиваются!..

.....

– Двадцать лет неволи. Боже мой! Боже мой! – повторяла бедная сестра Гобера.

– Успокойся же наконец, Жанна, мне дадут столько, сколько я смогу выдержать; я слишком слаб для исполнения тяжелых работ. Если там не будет, как в Мелене, фабрики игрушек, мне дадут легкую работенку, например, в больнице, я ведь покладистый человек, добрый малый, буду рассказывать, как рассказываю здесь, и заставлю начальников и товарищей уважать меня,

тебе я pošлю разрисованные кокосовые орехи и соломенные шкатулки для племянников и племянницы. Что поделаешь, бутылка открыта – надо пить.

– Написал бы хоть мне, что приезжаешь в Париж, я попыталась бы тебя приютить, бездомного.

– Черт возьми, я, конечно, собирался пойти к тебе, но хотел явиться не с пустыми руками, кстати, вижу, что ты тоже живешь не ахти как. Да, а что твои дети, муж?

– Не говори мне о нем

– Все бражничает? Жаль, ведь он неплохой работник.

– Много горя доставил мне... поверь, у меня хватает своих бед, а тут еще твое несчастье...

– А что муж?

– Три года, как он покинул меня, продал все домашние вещи, оставил меня и детей без гроша... Соломенный тюфяк – вот вся наша мебель.

– Почему ты мне не дала знать?

– Не хотела тебя огорчать.

– Бедная Жанна! Как же ты живешь с тремя детьми?

– Да, хлебнула горя; работала сдельно бахромщицей, изнемогала совсем, соседки помогали, смотрели за детьми, когда я уходила; а потом, хоть мне и не везло, улыбнулось счастье, да не удалось им воспользоваться, муж помешал...

– Что такое?

– Фабрикант-басонщик рассказал одному клиенту о моем муже, который оставил меня без гроша, продал всю домашнюю утварь, что я работаю из последних сил, чтобы вырастить детей; однажды, возвратившись домой, вижу, появилась хорошая кровать, мебель, белье – все это сделал добрый клиент фабриканта.

– Добрый клиент!.. Бедная сестра!.. Почему ты не сообщила о своей нужде! Я бы не транжирил деньги, а послал бы тебе.

– Я на свободе, а ты за решеткой, и я стала бы просить у тебя...

– Именно у меня; я был сыт, жил в тепле за чужой счет; заработок оставался, но, зная, что зять настоящий мастер, а ты трудолюбивая хозяйка, я, ни о чем не думая, транжирил денежки с открытым ртом и закрытыми глазами.

– Мой муж был хорошим работником, это верно, но у него помутился разум; а мне помогли, и я воспряла духом, моя старшая дочь стала немного зарабатывать; мы были счастливы, не знали, что ты в Мелене. Работа ладилась, дети были одеты, ни в чем не нуждались, это придавало мне силу... мужество... Даже удалось отложить тридцать пять франков, и вдруг явился муж. Год с ним не встречалась; видя, что у нас появилась мебель, мы прилично одеты, он, не стесняясь, поселился у нас, оставил работу, забрал мои деньги, пьянствовал, а когда я жаловалась, избивал меня.

– Негодяй!

– К тому же он привел в квартиру гулящую девку, жил с ней; пришлось все терпеть. Наконец, стал продавать мебель, я, видя, что дело плохо, иду к адвокату, спрашиваю его, как поступить, ведь он опять ограбит квартиру, оставит нам соломенный тюфяк.

– Как поступить! Очень просто! Надо было вышвырнуть его.

– Но я не имела права. Адвокат сказал, что муж может располагать всем имуществом как глава семьи и жить, не работая; это, конечно, несчастье, но я должна подчиниться. Однако же то, что его любовница находится под одной с нами крышей, дает мне право на развод и на раздел имущества, так у них принято говорить... Тем более что у меня есть свидетели, которые покажут, что муж избивал меня; я могу подать на него в суд, но, чтобы добиться развода, нужно, по крайней мере, триста – четыреста франков. Ты представляешь себе? Это все, что я могу заработать за год! Где можно одолжить сумму?... И потом, одолжить – еще можно, но нужно и возвратить... Пятьсот франков, сразу... целое состояние.

– Есть, однако, простое средство собрать пятьсот франков, – с горечью сказал Гобер, – голодать целый год... питаться воздухом и работать... Удивительно, что адвокат не дал тебе такого совета.

– Ты все шутишь...

– Нет, – с негодованием воскликнул Гобер. – Это подло... чтоб закон грабил бедных. Что ж происходит? Ты честная, уважаемая мать семейства, работаешь изо всех сил, чтобы достойно воспитать детей. Твой муж отъявленный негодяй, он бьет тебя, живет на твой счет, пропивает в кабаке заработанные тобою деньги. Ты обращаешься в суд... добиваешься защиты, хочешь прогнать лодыря, пожирающего твой хлеб и хлеб твоих детей... А законники отвечают: «Да, вы правы, ваш муж мерзкий шалопай, правосудие вас поддержит, но вам это будет стоить пятьсот франков». Пятьсот франков!.. Сумма, на которую ты с семьей можешь жить в течение года!.. Понимаешь, Жанна, ясно одно, есть, как говорится, два рода людей: те, кто повешены, и те, кто заслуживает виселицы.

.....

Хохотушка, одинокая и задумчивая, сидя молча, слышала все, что говорила бедная женщина, которой она горячо сочувствовала. Она решила рассказать об этом Родольфу, как только встретит его, и не сомневалась, что он поможет Жанне.

Глава II СОПОСТАВЛЕНИЕ

Хохотушка, увлеченная рассказом Жанны о ее печальной судьбе, не сводила с женщины глаз; она попыталась сесть к ней поближе, как вдруг в приемную вошел новый посетитель и, вызвав одного из арестантов, за которым тотчас же пошли, уселся на скамью между Жанной и гризеткой.

Хохотушка, увидев этого человека, отодвинулась от него с удивлением и страхом.

Она узнала в нем полицейского, исполнявшего приказ Феррана об аресте Мореля как должника.

Это напомнило Хохотушке имя нотариуса, упорно преследовавшего Жермена, и ее печаль, которая несколько померкла, пока она слушала трогательные и мучительные признания сестры Гобера, еще более усилилась.

Гризетка прислонилась к стене и погрузилась в свои тягостные размышления.

– Послушай, Жанна, – продолжал Гобер, веселое и насмешливое лицо которого вдруг помрачнело, – я не силач и не храбрец, но если б оказался в вашем доме, когда муж так обижал тебя, ему бы несдобровать... Но ведь ты сама вела себя с ним глупо...

– Что я могла поделать?.. Волей-неволей приходится терпеть то, чему не можешь противиться! Все, что можно было продать, муж продал, все, вплоть, до воскресного платья моей доченьки, и на эти деньги ходил в кабак со своей любовницей.

– Но почему ты отдавала ему заработанные тобой деньги?.. Почему не прятала их?

– Прятала, но он избивал меня... и я вынуждена была их отдавать... уступала даже потому, что не могла выносить побои; мне казалось, что в конце концов он так избьет меня, что я долго не смогу работать. А вдруг он сломает мне руку, что тогда будет?.. Кто позаботится о моих детях, накормит их? Если мне придется лежать в больнице, они за это время умрут с голода. Теперь тебе ясно, почему я предпочла отдавать деньги мужу? Чтобы не быть искалеченной... не способной трудиться.

– Бедная женщина! Вот беда!.. Люди болтают о мучениках, а как раз ты-то и есть мученица! – Я никому не делала зла, хотела только работать, заботиться о муже, о детях. Но что поделать, на свете есть счастливые и несчастные, добрые и злые люди.

– Да, и удивительно, как счастливы добряки!.. Но ты наконец совсем избавилась от своего негодяя мужа?

– Надеюсь, ведь он ушел, продав все, вплоть до деревянной кровати и колыбели малышей... Но когда я подумаю о том, что он замышляет еще более страшное...

– Что еще?

– Задумал-то не он, а эта скверная гадина, любовница, его Подстрекает. Потому и говорю тебе об этом. Однажды он мне сказал: «Если в семье есть хорошенькая дочь и ей исполнилось пятнадцать лет, только дураки не воспользуются ее красотой».

– А, понимаю, он продал платье, а теперь хочет продать и тело!..

– Когда он сказал это, поверь, Фортюне, я остолбенела, но, сказать по правде, после моих упреков он покраснел от стыда; но тут его любовница вмешалась в наш спор и заявила, что отец имеет полное право распоряжаться дочерью, и я одернула эту мерзавку, а он избил меня; после этого я больше их не видела.

– Послушай, Жанна, уголовники, осужденные на десять лет, не совершали таких преступлений, как твой муж... в конце концов, они грабили лишь посторонних... а твой – отъявленный прохвост!

– Вообще-то он по натуре не злой, понимаешь, он свел в кабаках знакомство с дрянной компанией, которая сбила его с толку.

– Да, он не обидит ребенка, но взрослого – это другой разговор...

– В конце концов, что ж поделаешь? Надо смириться с той жизнью, которую даровал нам господь... Во всяком случае, муж ушел от нас, мне нечего бояться, что он меня прибьет, и я воспряла духом... Денег, чтобы купить матрас, у нас не было, он» прежде всего нужны на жизнь, на оплату квартиры, а мы вдвоем с Катрин зарабатываем в день сорок су, двое младших не могут еще работать... у нас нет матраса, мы спим на соломенном тюфяке, солому собрали на нашей улице у дверей упаковщика.

– А я прокутил свои сбережения, прокутил!..

– Что же делать... Ты не мог знать о моей нужде, я тебе ничего не говорила; к тому же мы с Катрин стали работать еще больше... Бедная девочка, если бы ты знал, какая она честная, трудолюбивая и добрая! Все время глядит на меня, угадывает, что она должна сделать; ни на что не жалуется, однако... в свои пятнадцать лет уже повидала много горя! Ах, ты знаешь, Фортюне, иметь такую дочь – большое утешение, – сказала Жанна, утирая слезы.

– Я вижу, она вся в тебя... хорошо, что ты довольна хоть этим...

– Знаешь, я страдаю за нее, о себе и не думаю; веришь ли, вот уже два месяца она работает без отдыха; каждую неделю ходит стирать белье на баржу у моста Менял, платят за это три су в час; день-деньской она работает по дому, крутится как белка в колесе... Что и говорить, она рано познала горе, я понимаю, всякое бывает в жизни, а ведь другие люди всем довольны... Меня огорчает, Фортюне, что я ничем не могу помочь тебе. Однако ж постараюсь...

– Брось! Ты думаешь, я соглашусь принять от тебя что-нибудь? Я сам потребую с каждой пары ушей платить мне по сантиму за мои балясы, а если расскажу повесть – потребую по два су... тебе пригодится. Слушай, а почему ты не наймешь меблированную комнату?.. Тогда твой муж не смог бы ничего продать.

– Комнату? Ты подумай, ведь нас четверо, плата двадцать су в день, а что останется на жизнь? Мы платим пятьдесят франков в год за квартиру.

– Ладно, ты права, – сказал Фортюне с желчной иронией, – работай, выматывай силы, приводи в порядок дом; как только заработаешь немного денег, муж снова тебя ограбит... и в один прекрасный день продаст твою дочь, как продал вашу одежду.

– Нет, ему не удастся... пусть лучше убьет меня... Несчастливая моя Катрин!

– Тебя не убьет, а Катрин продаст! Он твой муж, не так ли? Он глава семьи, как тебе объяснил адвокат, до тех пор, пока вы не будете разведены по закону, а раз у тебя нет пятисот франков, чтобы заплатить за развод, то ты должна покориться; муж имеет право увести дочь куда захочет... Коли он и его полюбовница пожелают погубить девушку, придется ей познакомиться с улицей.

– Боже мой! Но если возможен такой позор, значит... нет правосудия?..

– Правосудие, – произнес Гобер, язвительно рассмеявшись, – это как мясо... слишком дорого, чтоб его ели бедные люди... А вот если речь идет о том, чтобы выслать их в Мелен, поставить к позорному столбу или отправить на каторгу, другое дело... тогда вершат суд бесплатно... Голову рубят тоже бесплатно... все бесплатно... Будьте любезны, возьмите билет, – произнес

Гобер в свойственном ему ироническом тоне, – вам не будет стоять ни десяти су, ни двух су, ни одного су, ни сантима... Нет, господа, сущие пустяки, платить ничего не надо... доступно каждому; надо подставить лишь голову... стрижка и завивка за счет государства... Вот вам бесплатное правосудие... Но чтоб суд вступился за честную мать и ее семью, помешал подлецу мужу избивать и грабить ее, превратить дочь в продажную женщину – такой суд будет стоить пятьсот франков... Моя бедная Жанна, тебе придется от него отказаться.

– Послушай... Фортьюне, – сказала несчастная мать, заливаясь слезами, – ты меня убиваешь...

– Я тоже убит горем, думая о твоей судьбе, твоей семье... понимая, что я ничем не могу помочь... Кажется, я всегда смеюсь... но не ошибайся на этот счет. Понимаешь, Жанна, у меня смех бывает разный: иногда – веселый смех, а иногда – печальный... Не хватает силы и смелости быть злым, гневным, ненавидящим, как другие... у меня все это превращается в шутку. Но мои трусость и слабость не позволили мне стать более скверным человеком, чем я есть. А тут такой случай: эта одинокая избушка, где не было даже кошек, а главное, собак, вот и попытался украсть. К тому же луна светила во все лопатки; ведь темной ночью, когда я один, на меня находит дьявольский страх!..

– В чем я всегда была убеждена, Фортьюне, что ты на самом деле лучше, чем о себе думаешь. Вот почему и надеюсь, что судьи пожалеют тебя.

– Пожалуют? Выпущенного на свободу рецидивиста? Рассчитывай на это! Впрочем, я на них не сержусь: что здесь быть, что в каком другом месте, мне все равно; к тому же ты права, я не злой... а злых ненавижу по-своему: высмеиваю их; чтобы понравиться слушателям, привожу такие истории, в которых жестокие люди, глумящиеся над униженными, в конце концов наказаны... вот я и в жизни веду себя так, как это описывается.

– Неужели они любят такие истории, эти люди, среди которых ты живешь... бедный брат? Никогда бы этому не поверила.

– Послушай! Если я им буду рассказывать о каком-то парне, который ворует и убивает для своего удовольствия и в конце концов попадает, они не станут меня слушать, но если речь идет о женщине, или о мальчике, или, к примеру, о таком бедняге, как я, – а ведь на меня достаточно дунуть, чтобы я свалился, – и меня преследует «мерзкий тип», только для того, чтобы позидеваться, стремясь похвалиться своей силой, тогда они топчут от радости, если узнают, что мерзавец получил наконец по заслугам... У меня есть забавная повестушка «Сухарик и Душегуб», она приводила в восторг арестантов меленской тюрьмы, здесь ее никто не знает. Обещал сегодня рассказать, но нужно, чтобы мне хорошо заплатили, и тогда я все отдам тебе... К тому же «Сухарика» я запишу для твоих детей... Он изрядно позабавит их; «Сухарика» можно читать даже монахиням, так что не смущайся.

– Слушай, дорогой Фортьюне, меня немного успокаивает то, что ты не столь несчастен, как другие.

– Конечно, если бы я был таким, как Жермен – наш арестант, я навредил бы себе. Бедный малый... боюсь, как бы ему не пустили кровь... нависла угроза... вечером готовится расправа...

– Боже мой, его хотят избить? Ты, Фортьюне, по крайней мере, не вмешивайся!

– Не такой я дурак! Мне бы здорово выпали... Прохаживаясь по камере, я слышал, что они намерены сделать: собираются заткнуть ему рот кляпом, а чтобы надзиратель не заметил... хотят окружить его, а один из арестантов будет громко читать газету или книгу... остальные сделают вид, что слушают...

– Но почему они так его ненавидят?

– Потому что он сторонится всех, ни с кем не разговаривает, на «всех смотрит с отвращением, они и решили, что он шпион. Глупо, конечно, напротив, он дружил бы с арестантами, если бы хотел наушничать. К тому же с виду он вполне порядочный господин, и это их раздражает. Во главе заговора староста, по прозвищу Скелет. Он атлет по сравнению с беднягой Жерменом, их жертвой. Я не стану вмешиваться, даю тебе слово; пусть сами разбираются. Видишь, Жанна, нельзя быть мрачным в тюрьме... сразу начинают тебя подозревать, я же никогда не ходил в подозрительных. Ну вот, достаточно поговорили, тебе пора домой, ты ведь теряешь время здесь со

мною... Я-то могу балагурить сколько угодно, а ты – другое дело. Приходи... повидаться, ты знаешь, всегда буду рад. До свидания.

– Брат... побудь еще немного, прошу тебя...

– Нет, нет, тебя ждут дети... Надеюсь, ты им не сказала, что их дядя сидит в тюрьме?

– Они думают, что ты на островах; когда-то и наша мать считала, что ты там. Так, по крайней мере, я могу говорить с ними о тебе.

– В добрый час... ну, ладно, иди.

– Послушай, хоть я и не богата, но так тебя не оставлю; ты ведь мерзнешь, голые ноги, дрянной жилет... Мы с Катрин подберем тебе одежонку. Фортьюне, нам так хочется помочь тебе...

– Чем? Одеждой? У меня одежды полные чемоданы. Когда они придут, я смогу одеться как принц... Послушай, хоть улыбнись. Не хочешь? Ну ладно, серьезно, я не отказываюсь, после того как «Сухарик» наполнит мою копилку... Я тебе все отдам... Прощай, милая Жанна, как только ты придешь, не будь я Острослов, если не заставлю тебя улыбнуться. Ну, иди, я и так слишком тебя задержал.

– Брат... послушай же!..

– Дружище, – обратился Гобер к тюремщику, сидевшему в другом конце коридора, – свидание кончилось, иду к себе. Довольно поговорили.

– Ах, Фортьюне... нехорошо... так выпроваживать меня, – сказала Жанна.

– Наоборот, очень хорошо. До свидания, расскажи завтра детям, что видела меня во сне, что я живу на островах и просил их целовать. Прощай.

– До свидания, Фортьюне, – сказала бедняжка вся в слезах, глядя, как ее брат возвращается в камеру.

Хохотушка, после того как полицейский сел возле нее, не могла слышать разговор Фортьюне и Жанны, но она не спускала с нее глаз, намереваясь, по крайней мере, узнать адрес бедной женщины, чтобы иметь возможность рассказать о ней Родольфу.

Тем временем Жанна поднялась со скамьи, чтобы выйти на улицу, и гризетка подошла к ней и робко заговорила:

– Сударыня, не желая подслушивать ваш разговор, я все же узнала, что вы – бахромщица?

– Да, мадемуазель, – слегка удивленно ответила Жанна. Она сразу почувствовала расположение к Хохотушке, увидев ее изящную фигуру и прелестное лицо.

– Я портниха, шью платья, – продолжала гризетка, – теперь, когда бахромы и позументы в моде, заказчицы часто просят меня отделать ими платье; я подумала, что будет дешевле обратиться за бахромой к вам, а не в лавку, ведь вы работаете на дому, к тому же я могла бы платить вам больше, чем платит фабрикант.

– Верно, мадемуазель, если я сама буду покупать шелк, мне будет выгоднее работать... вы очень добры, что подумали обо мне, я просто поражена...

– Послушайте, сударыня, буду откровенна: я поджидаю здесь человека, которого хочу увидеть; мне не с кем было разговаривать, и я молча сидела подле вас, до того как между нами устроился этот господин, и, поверьте, невольно услышала ваш разговор с братом и узнала о вашей беде, о ваших детях; я подумала: бедные должны помогать друг другу. И вот, узнав, что вы бахромщица, я решила, что смогу кое-чем вам помочь. В самом деле, если вам это подходит, вот мой адрес, дайте мне ваш, и, когда появится заказ, я смогу вас найти.

И Хохотушка вручила сестре Фортьюне адрес. Жанна, растроганная поступком гризетки, искренне ответила ей:

– Ваше лицо не обмануло меня, не подумайте, что я хвастаюсь, но вы похожи на мою дочь, вот почему, когда вы вошли, я внимательно смотрела на вас. Благодарю вас. Если вы обратитесь ко мне, то останетесь довольны моей работой, все будет сделано на совесть... меня зовут Жанна Дюпор... я живу на улице Барийери, дом один.

– Номер один... легко запомнить. Благодарю вас.

– Это я должна благодарить вас, мадемуазель, так трогательно с вашей стороны... вы так добры, что сразу же подумали о том, как мне помочь. Еще раз признаюсь, я просто поражена...

– Но это вполне понятно, госпожа Дюпор, – сказала Хохотушка, мило улыбаясь. – Поскольку я похожа на вашу дочь Катрин, мое предложение не должно вас удивлять.

– Как вы милы... дорогая моя, ведь благодаря вам я выйду отсюда не такой печальной, чем полагала, и, быть может, мы здесь еще не раз встретимся, ведь мы навещаем заключенных.

– Да, сударыня, – со вздохом произнесла Хохотушка.

– Тогда до встречи, во всяком случае, я на это надеюсь... Хохотушка, – произнесла Жанна, бросив беглый взгляд на адрес гризетки.

«Ну вот, – подумала Хохотушка, направляясь к скамье, – теперь я знаю адрес этой бедной женщины, и конечно же Родольф заинтересуется ею, когда узнает, до чего она несчастна, ведь он всегда говорил: если вы встретите кого-либо, испытывающего нужду, обращайтесь ко мне...»

И Хохотушка села на свое прежнее место, с нетерпением ожидая, когда закончится свидание соседа, чтобы можно было вызвать Жермена.

.....

Теперь несколько слов о предшествующей сцене.

К сожалению, надо признать, что возмущение несчастного брата Жанны Дюпор было справедливым... Да... говоря, что закон слишком дорог для бедных, он сказал правду.

Судебное разбирательство по гражданским делам слишком дорого для ремесленников, которые едва сводят концы с концами, получая за свою работу мизерную плату.

В самом деле, если мать или отец, принадлежащие к классу отверженных, пожелают добиться раздельного жительства, на которое они имеют полное право...

Получат ли они такое право?

Нет.

Так как ни один рабочий не в состоянии истратить четыреста – пятьсот франков для оплаты обременительных расходов по судопроизводству. А ведь бедняк ничего не видит, кроме своего очага; хорошее или плохое поведение главы рабочей семьи – это не только моральная сторона дела, это вопрос хлеба насущного...

Судьба простой женщины, какую мы попытались здесь представить, заслуживает не меньшего интереса и внимания, нежели судьба богатой дамы, муж которой плохо с ней обращается или изменяет ей. Несомненно, нельзя видеть муки без сострадания.

Но, если сверх того несчастная мать должна заботиться о голодных детях, разве не чудовищно то, что бедность ставит ее вне закона, предает эту беззащитную женщину, всецело подчиняет ее и ее семью произволу мужа, лентяя и развратника.

И эта чудовищная несправедливость существует поныне.

И любой рецидивист при данных обстоятельствах, как и в других условиях, ссылаясь на закон и логику, мог бы опровергать беспристрастность судебных органов, именем которых он осужден.

Нужно ли говорить, как опасно для общества поощрять такие суждения?

Каковы же будут влияние, моральный авторитет этих законов, применение которых полностью подчинено денежному интересу?

Разве гражданское правосудие так же, как и правосудие по уголовным делам, не должно быть доступно для всех?

Когда речь идет об очень бедных людях, которые не могут прибегнуть к правосудию, чтобы обезопасить себя, не должно ли общество за свой счет предоставить им возможность применения закона, оберегающего честь и покой семьи?

Но оставим эту женщину, которая на всю жизнь обречена быть жертвой грубого произвола мужа, потому что она слишком бедна для того, чтобы по закону добиться развода.

Поговорим о брате Жанны Дюпор.

Он вышел на свободу из развращающей тюрьмы и оказался среди честных людей, отбыв наказание и искупив свою вину.

Какие меры предусмотрело общество для того, чтобы оградить его от новых преступле-

ний?

Никаких...

Дало ли оно ему возможность начать трудовую жизнь, чтобы не пришлось жестоко карать его, как карают рецидивистов?

Нет...

Пагубное влияние ваших тюрем настолько известно, и его так боятся, что тот, кто выходит на свободу, где бы он ни появлялся, вызывает среди окружающих лишь страх, презрение и ужас; будь он даже самым честным человеком, он нигде не найдет работы.

Кроме того, ваш унижительный надзор определяет ему место в небольших поселках, где его прошлая жизнь сразу становится известной, поэтому он не может заняться никаким промыслом, лишь в исключительных случаях администраторы работных домов предоставляют бывшим заключенным работу.

Если освобожденный арестант имел мужество преодолеть дурное искушение, тогда он займется гибельным для его здоровья ремеслом, о котором мы уже повествовали, – изготовлением химических продуктов, обрекающих на смерть тех, кто принимается за этот опасный труд,³¹ или же, если у него хватит сил, он начнет добывать песчаник в лесу Фонтенбло, ремесло, от которого смерть наступает в среднем через шесть лет.

Условия жизни вышедшего на волю заключенного более нестерпимы, более изнурительны, более трудны, нежели те, в которых он находится до пребывания в тюрьме. Перед ним возникают всяческие препятствия, неожиданные преграды, он живет, презираемый всеми, и зачастую терпит бедность и нужду.

И если он не выдержит тяжесть нависшего над ним рока и повторно совершит преступление, то суд наказывает его во много раз более жестоко, чем за первый проступок.

Явная несправедливость... потому что созданные вами условия толкают его на это повторное преступление.

Ведь не требуется даже доказывать, что ваша система наказаний, вместо того чтобы исправлять, развращает людей.

Вместо того чтобы улучшать нравы, она их ухудшает...

Вместо того чтобы исцелять моральный недуг, она превращает его в неизлечимую болезнь.

Суровое наказание, применяемое по вашему варварскому закону к рецидивистам, несправедливо, потому, что рецидив – неуловимое следствие вашего уголовного кодекса.

Суровая кара преступников-рецидивистов была бы справедливой и логичной, если бы тюрьмы оздоравливали, улучшали нравы заключенных, если бы по истечении срока наказания человеку была бы предоставлена хоть какая-то возможность честно трудиться...

Нас удивляют несуразности закона, но что же мы скажем, если сопоставим некое правонарушение с явным преступлением? При этом сопоставлении мы коснемся неизбежных последствий данных акций, а также поразительной несоразмерности наказания, применяемых к правонарушителям и преступникам.

Рассказ арестанта, к которому пришел полицейский, представит нам этот удручающий контраст.

Глава III МЕТР БУЛЯР

Арестанту, появившемуся в приемной после того, как оттуда вышел Гобер, было лет тридцать. Рыжий, с улыбающимся румяным лицом, невысокого роста, что подчеркивало полноту его фигуры, этот узник был одет в длинный сюртук из мягкого серого сукна, схожего с цветом его

³¹ Утверждают, что открыт способ, предохраняющий здоровье несчастных рабочих, занятых в этой ужасной промышленности. См.: «Описание нового способа производства свинцовых белил». Рукопись представлена в Академию наук г-ном Ж.-Н. Ганнал.

брюк; красный бархатный картуз, как говорят, а-ля Перине-Леклер, дополнял его одежду; на ногах у него были отличные туфли, подбитые мехом. И хотя мода на брелоки давно прошла, на нем все же красовалась золотая цепь с часами, увешанная множеством печаток, вырезанных из ценных камней, а на толстых красных пальцах блестели перстни с довольно красивыми самоцветами. То был Буляр – судебный исполнитель, обвиненный в «злоупотреблении доверием».

Его собеседник, как мы уже говорили, был Пьер Бурден, один из полицейских чиновников коммерческого суда, ему было поручено арестовать гранильщика Мореля. Бурден подчинялся Буляру, который выполнял распоряжение Пти-Жана, подставного лица Жака Феррана.

Бурден, низкорослый, но столь же тучный, как и судебный исполнитель, пышность которого ему импонировала, старался походить на него по мере своих возможностей. Как и патрон, он любил драгоценности; в тот день на нем была великолепная булавка с топазом и длинная золотая цепь, протернутая между петлями его жилета.

– Здравствуйте, дорогой Бурден, я был убежден, что вы явитесь на мой зов, – улыбаясь, сказал г-н Буляр писклявым голосом, совершенно не соответствующим его тучной фигуре и расплывшемуся лицу.

– Не откликнуться на ваш зов? – ответил полицейский чиновник. – На это я не способен, мой генерал.

Так, по-военному, Бурден называл судебного исполнителя, под началом которого служил; это обращение, фамильярное и почтительное, часто употреблялось в некоторых кругах служащих и гражданских чиновников.

– Я очень рад, что и в беде вы остались верны нашей дружбе, – весело и сердечно сказал метр Буляр, – и все же начал беспокоиться, письмо вам было послано три дня тому назад, а Бурдена нет как нет...

– Представьте себе, генерал, произошла целая история. Вы помните красавчика виконта с улицы Шайо?

– Сен-Реми?

– Именно. Помните, как он издевался, когда мы хотели его задержать?

– Он вел себя непристойно...

– Кому вы это говорите, я и Маликорн – мы были одурачены, разве можно так поступать?

– Конечно, невозможно, мой славный Бурден.

– К счастью, генерал, вот что произошло: красавчик виконт стал рангом выше.

– Стал графом?

– Нет, был жуликом, ныне – вор.

– Ну и ну!

– Его преследуют за бриллианты, которые он прикарманил. Между прочим, бриллианты принадлежали ювелиру, хозяину этого негодяя Мореля, гранильщика, мы было его схватили на улице Тампль, но вдруг высокий, стройный мужчина с черными усами заплатил за этого голодного бедняка и чуть было не спустил с лестницы меня и Маликорна.

– Ах да, вспоминаю... вы мне рассказывали об этом, мой милый Бурден... Это очень смешно. Но самое смешное то, что привратница дома выплеснула вам на спину горячий суп.

– Вместе с миской, которая разлетелась у наших ног словно бомба. Старая ведьма!

– Это будет зачтено в вашем послужном списке. Ну а что красавчик виконт?

– Я вам сообщал, что Сен-Реми преследовали за кражу... после того как он заверил своего простодушного отца, что хотел застрелиться. Один из моих друзей, агент полиции, зная, что я долгое время гонялся за виконтом, осведомился у меня, не могу ли я навести на след этого франта, не знаю ли, где он может скрываться. Мне было известно место, где он находился, когда в последний раз хотели его арестовать, а он ускользнул, спрятался на ферме в Арнувиле, в пяти лье от Парижа. Но когда мы туда прибыли... было уже поздно... птичка упорхнула.

– К тому же говорят, что при содействии одной знатной дамы он уплатил... по этому векселю.

– Да, генерал... но это не имеет значения, я знал убежище, где прежде он уже прятался, решил, что он там, сообщил об этом полицейскому агенту, моему приятелю, и тот попросил по-

мочь ему и привести его на ферму... Я согласился... почему не поехать за город?

– Где же виконт?

– Исчез! Побродив и пошарив вокруг фермы, мы вошли в дом, затем возвратились, несолоно хлебавши; вот почему я не мог явиться немедленно по вашему приказанию, генерал.

– Я был уверен, что вы не смогли прийти раньше, любезный друг.

– Но, простите за нескромность, какого черта вы-то здесь?

– Канальи, мой друг, целая шайка негодяев, которые из-за ничтожной суммы в шестьдесят тысяч франков подали жалобу против меня, доказывая, что я их ограбил, и, обвинив в злоупотреблении доверием, принуждают меня оставить мою должность...

– Неужели, генерал? Вот горе! Как... мы больше не будем работать под вашим началом?..

– Я на половинном жалованье, мой славный Бурден... А теперь буду в отставке...

– Но кто же эти злые люди?

– Представьте себе, что один из самых неистовых преследователей – вор, вышедший из тюрьмы, поручил мне востребовать какие-то несчастные семьсот франков, я востребовал, получил деньги, но растратил эту сумму, а также деньги многих других, в неудачных финансовых операциях, и все эти канальи подняли такой визг, что был выдан ордер на мой арест, не более не менее как на злоумышленника.

– Как вам трудно приходится, генерал!.. Вам!

– Господи, конечно; но вот что любопытно: этот вор написал мне несколько дней тому назад, что деньги были у него отложены на черный день, черный день наступил (не знаю, что он под этим подразумевает) и что я отвечаю за преступления, которые он может совершить, стремясь избежать нужды.

– Да это поразительно, честное слово!

– Не правда ли? Ловко придумано... В свою защиту чудак склонен сказать это на суде... К счастью, закон не признает такого оправдания.

– Но, в конце концов, мой генерал, вас обвиняют только в злоупотреблении доверием, не так ли?

– Конечно! Вы что, считаете меня вором, Бурден?

– Да что вы, генерал! Я только хотел сказать, что в этом деле нет ничего серьезного: оно не стоит выеденного яйца.

– А что, у меня вид отчаявшегося человека?

– Вовсе нет! Вы никогда еще так хорошо не выглядели. В конце концов, если вас осудят, то это грозит вам двумя-тремя месяцами тюрьмы и штрафом в двадцать пять франков. Я-то знаю закон.

– Этот срок... уверен, что проведу его в свое удовольствие в какой-нибудь частной лечебнице. У меня дружок – депутат.

– Ну, тогда... дело выиграно!

– Знаете, Бурден, я не могу удержаться от смеха: в каком дурацком положении окажутся те, кто заставил посадить меня сюда, ведь они не получают ни гроша из требуемых ими денег. Они принуждают меня продать мою должность. Это не имеет значения, я обязан вручить эту сумму моему предшественнику. Вот увидите, наши простофили окажутся в дураках, как говорит Робер Макэр.

– Я тоже так думаю, генерал. Тем хуже для них.

– Ну ладно, друг мой, поговорим о деле, которое заставило меня просить вас прийти сюда: речь идет о деликатной миссии – о женщине, – произнес Буляр с таинственным самодовольством.

– А, проказник генерал, узнаю вас! О ком же идет речь?

– Я особенно интересуюсь молодой актрисой из «Фоли Драматик»: плачу за ее квартиру, а она мне платит взаимностью, по крайней мере, я так думаю; потому что, вы ведь знаете, дружок, отсутствующие часто бывают неправы. Я хотел бы знать, не совершаю ли ошибку: Александрина (ее зовут Александрина) просит у меня денег. Я никогда не был скуп с женщинами; но, послушайте, я не хочу остаться в дураках. Итак, прежде чем разыгрывать мота с этой милой по-

дружкой, я хотел бы знать, заслужила ли она это своей верностью. Я знаю, что нет ничего более устаревшего, ничего более старомодного, чем верность; но у меня такой предрассудок. Вы мне окажете дружескую услугу, дорогой приятель, если сможете в течение нескольких дней понаблюдать за моей возлюбленной и дать мне знать, как себя вести, либо выведаете у привратницы Александрины, либо...

– Достаточно, мой генерал, – ответил Бурден, прерывая своего собеседника. – Это легче, чем выследить и поймать должника. Положитесь на меня, я узнаю, нарушает ли мадемуазель Александрина ваш договор; по-моему, это маловероятно, я не хочу вам что-либо советовать, генерал, но вы слишком красивый мужчина и слишком щедрый, чтобы женщины не обожали вас.

– Какой бы я ни был, но я не встречаюсь с ней, мой милый, а это большая вина. Словом, я надеюсь на вас, чтобы узнать правду.

– Вам все будет известно, я отвечаю.

– Ах, дорогой друг, как благодарить вас?

– Полноте, генерал!

– Совершенно ясно, славный Бурден, что в этом деле ваш гонорар будет такой же, как за поимку преступника.

– Мой генерал, я не согласен; с тех пор как я работаю под вашим началом, разве вы не позволяли мне всегда стричь наголо должника, удваивать, утраивать суммы и требовать эти деньги так энергично, как будто они причитаются вам?

– Но, дорогой мой, это совсем другое дело, и я, в свою очередь, не согласен...

– Мой генерал, вы унижите меня, если не позволите преподнести вам в дар сведения о мадемуазель Александрине как знак моей преданности.

– Пусть будет так; я перестану состязаться с вами в щедрости. Впрочем, ваша преданность будет приятной наградой за то, что в наших деловых отношениях я всегда поступал снисходительно.

– Понимаю, генерал, но не могу ли я быть полезен в другом отношении? Вам, должно быть, ужасно плохо здесь, вам, который так ценит комфорт! Надеюсь, у вас отдельная камера?³²

– Разумеется, я прибыл вовремя, так как получил последнюю свободную, другие ремонтируют – в тюрьме ведь ремонт. Я устроился как можно лучше в своей камере, мне здесь не скверно, есть печь, я велел принести хорошее кресло, три раза в день подолгу ем, потом перевариваю пищу, гуляю и сплю. Если не считать тревоги из-за Александрины, видите, меня нечего особенно жалеть.

– Но для такого гастронома, как вы, возможности тюрьмы весьма ограничены.

– А торговец съестным на моей улице, разве он создан, так сказать, не для меня? У меня там открытый счет, он посылает мне через день корзину с отменной едой, и, кстати, раз уж вы хотите оказать мне услугу, попросите его жену, эту славную маленькую госпожу Мишонно, которая, между прочим, весьма смазлива...

– Ну и озорник же вы, генерал!..

– Послушайте, дорогой друг, не думайте ничего плохого, – вальяжно ответил судебный исполнитель, – я просто хороший клиент и хороший сосед. Так, значит, попросите милую госпожу Мишонно положить мне завтра в корзину паштет из маринованного тунца... для разнообразия, сейчас как раз сезон, чудесная закуска, от нее очень хочется пить.

– Отличная идея!..

– А потом, пусть госпожа Мишонно опять пришлет мне корзину с вином: бургундским, шампанским и бордо. Скажите ей: так же, как в прошлый раз, она сразу поймет, что это значит, и пусть добавит еще две бутылки старого коньяка тысяча восемьсот семнадцатого года, и фунт кофе, чистого мокко, свежеподжаренного и смолотого.

– Я запишу дату коньяка, чтобы ничего не забыть, – сказал Бурден, вытаскивая из кармана записную книжку.

³² Подсудимые, которым это по карману, могут содержаться в отдельной камере.

– Раз уж вы записываете, дорогой мой, будьте добры, запишите, что я прошу вас доставить сюда мой пуховик.

– Все будет точно исполнено, генерал, не волнуйтесь, я теперь тоже успокоился относительно вашего питания. А на прогулки вы ходите вместе с разбойниками-арестантами?

– Да, бывает очень весело, очень оживленно; выхожу после завтрака, иду то в один двор, то в другой и, как вы выражаетесь, якшаюсь со всяким сбродом. Там царят нравы регентства, нравы Поршерона! Уверяю вас, что, в сущности, они славные люди; среди них есть очень забавные. Самые лютые собраны в так называемом Львином Рву. Ах, дорогой мой, какие страшные лица! Там есть один, которого прозвали Скелет; я никогда не видел ничего подобного.

– Какое странное прозвище!

– Это не прозвище, он и в самом деле тощий, худой и очень страшный! К тому же он еще староста камеры. Самый главный злодей... Он был на каторге, потом воровал и убивал; его последнее убийство такое ужасное, он хорошо знает, что будет казнен, но ему наплевать.

– Какой бандит!

– Все арестанты им восхищаются и дрожат перед ним. Я сразу попал к нему в милость, угостив его сигарой; он подружился со мной и учит меня воровскому жаргону. Я делаю успехи.

– А! А! Как смешно! Мой генерал изучает жаргон!

– Говорю вам, хохочу до упаду, эти парни меня обожают, некоторые со мной даже на «ты». Я не гордый, как тот барчук по имени Жер-Мен, бедняга, у него даже нет средств на отдельную камеру, а корчит из себя большого барина и презирает всех арестантов.

– Но он должен восторгаться тем, что нашел такого порядочного человека, как вы, может разговаривать с вами, если остальные ему так противны?

– Ну вот еще! Он, кажется, даже не заметил, кто я такой, но, если бы и заметил, я бы остерегся оказывать ему внимание. Все в тюрьме терпеть его не могут... Рано или поздно они сыграют с ним дурную шутку, и мне, черт возьми, вовсе не хочется разделять с ним вражду арестантов.

– Вы совершенно правы.

– Это лишило бы меня удовольствия, потому что моя прогулка с арестантами доставляет мне настоящее развлечение... Но только эти разбойники невысокого мнения обо мне, с моральной точки зрения... Понимаете, ведь я в предварительном заключении по обвинению в злоупотреблении доверием... Это ведь ерунда для таких парней... Вот они и смотрят на меня как на ничтожную личность, как говорит Арналь.

– Действительно, рядом с этими фанатиками преступления вы...

– Настоящий пасхальный ягненок, дорогой мой... Ну ладно! Раз вы так услужливы, не будьте мои поручения.

– Будьте спокойны, генерал.

1) Мадемуазель Александрина.

2) Паштет из рыбы и корзинка с винами.

3) Старый коньяк тысяча восемьсот семнадцатого года, молотый кофе и пуховик... Все это вы получите... Больше ничего не надо?

– Ах, я забыл... Вы знаете, где живет Бадино?

– Маклер? Знаю.

– Так вот, будьте добры, скажите ему, что я рассчитываю на его любезность и надеюсь, что он найдет адвоката для ведения моего дела... Я не пожалею тысячи франков.

– Я увижу Бадино, будьте спокойны, генерал; сегодня вечером все ваши поручения будут исполнены, и завтра вы получите то, о чем вы меня просили. До скорой встречи, мужайтесь, генерал.

– До свидания, мой дорогой.

Собеседники покинули приемную: заключенный – выйдя в дверь на одном ее конце, а посетитель – на другом.

.....

Теперь сопоставьте преступление Гобера, рецидивиста, с правонарушением господина Буляра, судебного пристава.

Сравните отправной момент преступлений, причину или необходимость, которая могла толкнуть их на это.

Сопоставьте, наконец, ожидающие их наказания.

Выйдя из тюрьмы, внушая повсюду страх и неприязнь, человек не может заниматься своей профессией в той местности, где ему разрешено проживать; он решает приняться за дело, хотя и опасное для его жизни, но осилить которое он надеется; не получилось.

Тогда он оставляет место ссылки, возвращается в Париж, полагая, что там легче будет скрыть свое прошлое и найти работу. Он приходит туда изнуренный, умирая от голода; случайно узнает, что в соседнем доме лежат спрятанные деньги; уступает пагубному искушению, взламывает ставень, открывает шкаф, крадет сто франков и убегает.

Его арестовывают, сажают в тюрьму... Его судят, осуждают. Как рецидивиста его ожидает пятнадцать – двадцать лет каторжных работ и позорный столб. Он это знает.

Кара чудовищная, но он ее заслужил.

Собственность священна. Тот, кто ночью взламывает вашу дверь, чтобы завладеть вашим достоянием, должен быть жестоко наказан.

Напрасно обвиняемый будет ссылаться на отсутствие работы, на нищету, исключительные, трудные, невыносимые обстоятельства, на нужду, до которой дошел, он, освобожденный каторжник. Что поделаешь, закон один. Общество для своего благополучия и процветания должно обладать безграничной властью и безжалостно карать смелые попытки завладеть чужим имуществом.

Да, этот отверженный, невежественный, опустившийся, этот закоренелый и презираемый всеми рецидивист заслужил свою кару.

Но чего заслуживает тот, кто, обладая разумом, богатством, образованием, окруженный всеобщим уважением, занимая официальное положение, украдет не для утоления голода, а для причуд роскоши или для того, чтобы испытать удачу в биржевой игре?

И украдет не сто франков, а сто тысяч... миллион?

И украдет не ночью, рискуя жизнью, а при свете дня, на глазах у всех?

Украдет не у неизвестного, хранящего свои деньги под замком, а у клиента, доверившего свое состояние честности официального лица, назначенного по закону, к которому клиент поневоле должен был обратиться.

Какого сурового наказания заслуживает тот, кто вместо кражи небольшой суммы вследствие острой нужды украдет ради роскоши значительную сумму?

Не будет ли жестокой несправедливостью налагать на него такое же наказание, какое определяется рецидивисту, дошедшему до крайней нужды, до кражи по необходимости?

«Ну, полноте!» – скажет закон.

Разве можно применять к хорошо воспитанному человеку то же наказание, как к какому-то бродяге? Да что вы!

Разве можно сравнивать правонарушение приличного человека с подлой кражей со взломом? Да что вы!

«Так в чем же дело? – ответит, например, г-н Буляр в согласии с законом. – Пользуясь возможностью, которую мне предоставляет моя контора, я получил для вас известную сумму денег; эту сумму я растратил, употребил по своему усмотрению, от нее не осталось ни гроша; но не думайте, что это нужда заставила меня пойти на растрату! Разве я нищий, нуждающийся? Слава богу, нет, у меня всегда было и есть столько денег, что я мог и могу жить широко. О, успокойтесь, я метил выше, тщеславнее... С вашими деньгами я смело бросился в ослепительные сферы биржевой игры; я мог удвоить, утроить эту сумму в свою пользу, если бы удача мне улыбнулась... к несчастью, мне не повезло! Вы сами видите, что я потерял столько же, сколько и вы...»

«Разве эта растрата, – повторяет закон, – ловкая, ясная, быстрая и дерзкая, совершенная при свете дня, имеет что-нибудь общее с ночным грабежом, со взломом замков и дверей, с от-

мычками, с ломками, с дикими и грубыми инструментами несчастных воров самого низкого пошиба?

Преступления, совершаемые привилегированными лицами; не только переходят в другой разряд, но даже называются иначе».

Горемыка украл булку, разбив в лавке булочника оконное стекло, служанка стащила носовой платок или луидор у своих хозяев – это надлежащим образом квалифицируется как воровство с отягчающими вину и позорящими обстоятельствами и рассматривается судом присяжных.

И это справедливо, особенно в последнем случае.

Слуга, обворовав своего хозяина, преступен вдвойне, он является почти членом семьи, ему везде и в любой час открыты все двери в доме, и он бесчестно изменяет людям, доверием которых пользуется. Вот это то предательство закон и наказывает позорящим приговором.

Повторим еще раз: это справедливо и в правовом и в нравственном отношении.

Но удивительно то, что, когда ваши деньги похищает судебный исполнитель, должностное лицо, деньги, которые вы ему доверяете официально, то закон не только не подводит эту кражу под статью о домашнем воровстве или о воровстве со взломом, но даже не считает этот поступок воровством.

«Как?»

Конечно, нет! Воровство – такое грубое слово. От него несет зловонием... воровство... ужасно! Вот «злоупотребление доверием» – пожалуйста! Эта формула более деликатна, приличнее, больше подходит к общественному положению людей, совершающих... правонарушение! Потому что оно называется «правонарушением»...

И потом, еще одно важное различие. Преступление – слово тоже слишком грубое.

Преступление судит суд присяжных. Злоупотребление доверием – исправительная полиция. Вот верх справедливости! Вот верх правосудия!

Заметим вновь: слуга ворует луидор у своего хозяина, голодный разбивает витрину, чтобы украсть краюху хлеба... вот это – преступления... скорее в суд!

Должностное лицо растрчивает или ворует миллион – это злоупотребление доверием... Достаточно того, что он предстанет перед судом исправительной полиции. А в действительности по законам права, разума, логики, нравственности и гуманности оправдывается ли это чудовищное различие в мерах наказания различием совершенных преступлений?

Чем домашнее воровство, тяжело и позорно наказуемое, отличается от нарушения доверия, за которым следует только суд исправительной полиции?

Не тем ли, что злоупотребление доверием ведет за собой почти всегда разорение целых семейств?

Что же такое злоупотребление доверием, если не домашняя кража, в тысячу раз отягощенная своими ужасающими последствиями и тем, что совершает его официальное должностное лицо?

Или иначе: в чем кража со взломом более преступна по сравнению с воровством, совершенным при злоупотреблении доверием?

Как! Можно ли утверждать, что измена присяге свято соблюдать доверие, оказанное вам обществом, менее преступна, чем воровство со взломом?

И все же такое осмеливаются утверждать.

Так гласит закон.

Да, чем серьезнее преступление, чем больше оно ставит под угрозу существование семей, чем больше оно нарушает безопасность и нравственные устои общества, тем легче оно наказывается.

Так что чем просвещеннее, образованнее, богаче и авторитетнее виновные, тем снисходительнее к ним закон.

Таким образом, закон применяет самую грозную меру наказания, самую позорную к тем отверженным, которые могли бы мы не говорим оправдать себя, но хотя бы упомянуть о невежестве, забитости и нищете, заставившими их совершить преступление.

Эта варварская несправедливость закона глубоко безнравственна. Беспощадно наказывайте

бедняка, посягнувшего на чужую собственность, но также беспощадно наказывайте и должностное лицо, посягнувшее на собственность своих клиентов.

Чтоб мы больше не слышали адвокатских речей, извиняющих, защищающих и оправдывающих. Предусмотренная теперь ничтожная мера наказания – это все равно что оправдание виновных, совершивших гнусный грабеж. Пусть они пользуются доводами, подобными следующим:

«– Мой клиент не отрицает, что растратил означенную сумму. Ему отлично известно, какое ужасное несчастье принесло уважаемому семейству его «злоупотребление доверием»; но что поделать! Авантюристический характер моего клиента побуждает его заключать различного рода рискованные коммерческие сделки, и, увлеченный спекуляцией, охваченный пылом ажиотажа, он не различает, что принадлежит ему, а что другим людям».

Мы утверждаем, что нет никакого различия между вором и растратчиком. Этот последний играет на бирже, возлагая надежду на выигрыш, стремясь стать еще богаче, доставлять себе еще больше наслаждений.

Обобщим эту мысль...

Мы желали бы, чтобы благодаря законодательной реформе злоупотребление доверием, совершенное должностным лицом, было бы определено как воровство и наказуемо в зависимости от похищенной суммы или как воровство в доме, или как воровство рецидивиста.

Компания, в которой работает должностное лицо, должна быть ответственной за суммы, похищенные ее служащим, облеченным доверием и получающим жалованье.

В завершение приведем факты, не требующие комментариев.

Возникает лишь вопрос, живем мы в цивилизованном обществе или среди варваров?

В «Бюллетене суда» 17 февраля 1843 года по поводу апелляции, поданной судебным исполнителем, осужденным за злоупотребление доверием, сказано:

«Суд, рассмотрев обвинительные материалы первой судебной инстанции и принимая во внимание, что мотивы преступления, изложенные обвиняемым перед судом, не отвергают и даже не смягчают установленный перед судом первой инстанции состав преступления,

считая доказанным, что обвиняемый, судебный исполнитель, в качестве доверенного лица взял денежные суммы трех своих клиентов и, когда клиенты затребовали эти суммы, прибегнул к обману и различного рода уловкам;

что в конце концов он похитил и растратил эти суммы, нанеся ущерб клиентам, злоупотребляя их доверием, и что он совершил правонарушение, которое карается по статьям 408 и 406 Уголовного кодекса... и т. д. и т. д.,

подтверждает приговор к двухмесячному тюремному заключению и штрафу в 25 франков».

В этой же газете, немного ниже, можно было в тот же день прочесть: «Пятьдесят три года каторжных работ».

«13 сентября ночью было совершено воровство со взломом в доме, где проживали супруги Брессон, торговцы вином, в деревне Иври.

Свежие следы доказывают, что к стене дома была приставлена лестница и один из ставней окна ограбленной комнаты, выходящего на улицу, был выломан. Большинство выкраденных предметов не представляло ценности: поношенная одежда, старые простыни, дырявые сапоги, кастрюли и к тому же две бутылки белой швейцарской водки. Обвинение, предъявленное некоему Телье, полностью доказано во время судебного процесса, и господин прокурор потребовал для обвиняемого самую суровую меру наказания в силу того обстоятельства, что обвиняемый был рецидивистом. Вот почему суд, доказав виновность по всем статьям без смягчающих вину обстоятельств, приговорил Телье к 20 годам принудительных работ и к позорному

столбу».

Итак, для должностного лица – растратчика – два месяца тюрьмы...

Для рецидивиста – 20 лет каторги и позорный столб.

Что можно добавить к этим фактам? Они сами за себя говорят. Какие печальные и серьезные размышления (мы, по крайней мере, на это надеемся) должны они вызвать?

.....

Верный своему обещанию, старый сторож отправился в камеру за Жерменом.

В то время как судебный исполнитель Буляр вошел в помещение тюрьмы, дверь в коридор отворилась, появился Жермен, и Хохотушка оказалась лицом к лицу со своим бедным другом, отделенная от него только легкой решеткой.

Глава IV ФРАНСУА ЖЕРМЕН

Черты Жермена не отличались правильностью, но такие интересные лица, как у него, встречаются редко; благородная осанка, стройная фигура, одежда простая, но опрятная (серые брюки, застегнутый доверху сюртук); все это бросалось в глаза в тюрьме, где страшная неряшливость входила в привычку у всех заключенных. Белые, чистые руки свидетельствовали о его уходе за собой, что еще усиливало враждебное отношение к нему, ибо моральная развращенность обычно сопровождается физической нечистоплотностью. Спадавшие на лоб вьющиеся длинные каштановые волосы, расчесанные на косой пробор согласно моде того времени, обрамляли его бледное, удрученное лицо; красивые голубые глаза выражали чистосердечие и доброту, а нежная и в то же время печальная улыбка свидетельствовала о доброжелательности и меланхолическом характере, так как, несмотря на свою молодость, он успел многое испытать.

Короче говоря, не было ничего трогательнее этого страдающего, сердечного, покорившегося судьбе лица, а также не существовало ничего более честного, отзывчивого, чем сердце этого молодого человека. Отвергнув клеветнические поклепы Жака Феррана, можно сказать, что причина ареста Жермена доказывала его великодушие; совершив легкомысленный поступок, он, конечно, был виновен, но его можно было бы простить, вспомнив, что сын г-жи Жорж на следующее утро возвратил бы деньги, временно взятые в кассе нотариуса для того, чтобы спасти гранильщика Мореля.

Жермен слегка покраснел, когда увидел за решеткой приемной свежее, прелестное лицо Хохотушки.

Как всегда желая подбодрить своего друга, она старалась казаться веселой и оживленной, но бедная девушка плохо скрывала горе и волнение, внезапно охватывавшие ее, как только она входила в тюрьму. Она сидела на скамье по другую сторону решетки и держала на коленях соломенную сумку.

Старый сторож, вместо того чтобы остаться в приемной, устроился возле печки в конце зала и вскоре задремал.

Теперь Жермен и Хохотушка могли разговаривать свободно.

– Ну, посмотрим, господин Жермен, – проговорила гризетка, как можно ближе прижимаясь к решетке, чтобы лучше разглядеть черты своего друга, – посмотрим, останусь ли я довольна вашим лицом. Оно уже не такое грустное? Гм, вот оно какое. Берегитесь... я рассержусь на вас.

– Как вы добры!.. Сегодня опять пришли навестить меня.

– Опять? Что это – упрек?

– А разве я не обязан упрекнуть вас за то, что вы так внимательны ко мне, ко мне, который ничего не может сделать для вас, кроме как сказать спасибо?

– Заблуждаетесь, сударь, я не менее вас счастлива тем, что прихожу к вам. Значит, и я должна благодарить вас? Вот вы и попались, несправедливый вы человек! Следовало бы нака-

зять вас за ваши дурные мысли и не дарить вам ту вещь, которую я принесла.

– Вновь внимание... Вы, право, чересчур меня балуете. Благодарю, простите, если я слишком часто употребляю это слово, которое вас сердит... все, что я могу сказать.

– Во-первых, вы не знаете, что я вам принесла.

– Разве мне не все равно?

– Мило, нечего сказать!..

– Что бы то ни было, оно от вас! Разве ваша трогательная доброта не вызывает чувства благодарности и...

– И чего? – проговорила Хохотушка, краснея.

– Преданности, – произнес Жермен.

– Скажите уж – почтительности, как обычно пишут в конце письма, – с раздражением заметила Хохотушка. – Вы меня обманываете, вы хотели сказать совсем не то... и вдруг запнулись...

– Уверяю вас...

– Вы меня уверяете... меня уверяете... а я вижу, как вы покраснели. Зачем скрытничать со мной?.. Разве я не ваш верный друг? Будьте откровенны, говорите мне все, – наивно произнесла гризетка, которая ждала признания Жермена, чтобы искренне поведать ему свою любовь.

Великодушное чувство зародилось у нее под влиянием несчастья, постигшего Жермена.

– Я вас уверяю, – со вздохом продолжал узник, – что ничего больше не хотел сказать. Я ничего не скрываю!

– Ну и лгун же вы! – произнесла Хохотушка, топнув ножкой. – Ладно. Вот видите, какой шерстяной шарф? Чтобы наказать вас за вашу скрытность, я вам его не отдам... связала ведь для вас... Я подумала, что, должно быть, так холодно, так сыро в этих больших тюремных дворах, но ему с этим шарфом будет тепло... Ведь он такой зяблик.

– Как, вы сами связали?..

– Да, сударь, я знаю, что вы зяблик, – прервав его, сказала Хохотушка. – Я хорошо помню, как вы мерзли, но из деликатности не позволяли мне бросить лишнее полено в камин, когда проводили со мной вечера. У меня хорошая память!

– И у меня тоже... даже слишком! – взволнованно проговорил Жермен.

– Ну вот, вы опять загрустили, я ведь запретила вам так вести себя.

– Как я должен себя вести, зная о том, что вы сделали для меня с тех пор, как я попал в тюрьму? И вот сейчас ваше внимание, разве оно не благородно? Ведь я знаю, вам приходится работать по ночам для того, чтобы наверстать время, потраченное на свидание. Из-за меня вам слишком много приходится работать.

– Ну вот, вы еще будете жалеть меня за то, что я совершаю отличную прогулку, навещаю друзей, я так люблю ходить... До чего же забавно смотреть на витрины магазинов.

– Но ведь сегодня такой ветер, проливной дождь!

– Сегодня было очень интересно: вы не представляете себе, какие встречаются люди. Одни придерживают шляпу, чтоб ветер не сорвал ее с головы, другие, когда вырывается зонтик, гримасничают, закрывают глаза, в то время как дождь хлещет им в лицо. Сегодня утром всю дорогу была настоящая комедия... я надеялась, что рассмешу вас... А вы не хотите даже улыбнуться...

– Простите меня... я, право, не виноват... но я исполнен глубокой нежности. Этим я обязан вам. Когда я счастлив, я не бываю веселым... ничего не могу поделать...

Хохотушка хотя и продолжала мило кокетничать, но все же пыталась утаить тревожное чувство и потому завела разговор на другую тему.

– Вы утверждаете, что ничего не можете с собой поделать... Но есть препятствия, которые надо преодолеть, а вы уклоняетесь, хотя я вас просила, умоляла.

– Что вы имеете в виду?

– Ваше упрямство! То, что вы избегаете общения с заключенными... не разговариваете с ними. Надзиратель сказал мне, что вам нужно преодолеть это чувство, а вы избегаете всех. Что ж вы молчите, ведь это правда! Дождетесь, что эти люди вам отомстят.

– Если бы вы представили себе, какой ужас они мне внушают... Вы не знаете, по каким

причинам я избегаю их и ненавижу им подобных.

– Догадываюсь... Я читала дневник и письма, которые вы адресовали мне и за которыми я приехала к вам домой после вашего ареста; из них я узнала, каким опасностям вы подвергались, когда приехали в Париж, потому что в провинции вы отказались принимать участие в преступлениях негодяя, который вас воспитывал... узнала о последней ловушке, которую он вам подстроил; чтобы сбить его со следа, вы покинули улицу Тампль, сообщив лишь мне одной свой новый адрес... В этих же бумагах, – опустив глаза, добавила гризетка, – я прочла еще... что...

– О, вы об этом никогда бы не узнали, клянусь вам, если бы не обрушившееся на меня несчастье, – воскликнул Жермен. – Но, умоляю вас, будьте великодушны, простите мне безумство, забудьте его; когда-то я погружался в сказочные мечты, хотя они и были неосуществимы.

Хохотушка вновь пыталась вызвать у молодого человека признание, намекая на мысли, полные нежности и страсти, которые он выразил в письмах и посвятил гризетке; потому что, как мы уже говорили, он всегда пылко и искренне любил ее, но, чтобы наслаждаться сердечной преданностью милой соседки, он скрывал свою любовь, называя ее дружбой.

Став в тюрьме еще более недоверчивым и робким, он не мог представить себе, что Хохотушка любит его искренне и самозабвенно, его, узника, опозоренного ужасным преступлением, в то время как раньше, до постигшего его несчастья, она, казалось, питала к нему лишь дружескую привязанность.

Видя, что ее не понимают, гризетка подавила вздох, не теряя надежды и ожидая более благоприятного момента, когда она сможет раскрыть перед ним глубину своего чувства.

И она смущенно продолжала:

– Господи! Я понимаю, что вы презираете общество этих людей, но это еще не причина, чтобы вызывать их гнев, подвергаться опасности.

– Поверьте, что, следуя вашему совету, я несколько раз пытался заговорить с некоторыми заключенными, казавшимися мне более приличными, но если бы вы знали, что это за люди, как они выражаются!

– Да, это правда, это должно быть ужасно...

– Видите ли, меня больше всего удручает еще то, что я привыкаю к их гнусным речам, которые невольно слышу весь день; да, теперь я мрачно слушаю мерзкие истории, в первые дни вызывавшие мое возмущение, и вот видите, начинаю сомневаться в себе, – с горечью воскликнул он.

– О, господин Жермен, что вы говорите?

– Если мы принуждены жить в таких страшных местах, наш разум в конце концов смиряется с преступными мыслями так же, как мы привыкаем к грубым словам вокруг нас. Господи! Да, я понял теперь, что можно, войдя сюда невинным, хотя и обвиненным, выйти отсюда развращенным.

– Да, но только не вы, к вам это не относится.

– Не только ко мне, но и к людям, в тысячу раз лучше меня. Увы, значит, те, кто сажает нас в тюрьму до суда, приговаривают нас к общению с гнусными людьми, не знают, как мучительно, как тягостно это общение. Они не представляют себе, что если долго дышать этим воздухом, он становится заразным... пагубным для чести человека!..

– Умоляю, не говорите так, вы глубоко огорчаете меня.

– Вы просили меня объяснить, почему я такой грустный... я не хотел делиться с вами, но это единственный способ отблагодарить вас за жалость ко мне.

– Моя жалость... моя жалость...

– Да, я ничего не буду скрывать от вас. Я с ужасом вижу... что не узнаю себя. Напрасно я презираю этих отверженных, избегаю встреч с ними, их присутствие, контакт с ними разлагает меня, как бы я ни противился. Я уверен, что они обладают роковой способностью заражать атмосферу, в которой живут... кажется, что в меня проникает тлетворный дух. Если бы меня оправдали, мне было бы стыдно общаться с честными людьми. Ныне я недоволен, что нахожусь среди арестантов, но я страшусь дня, когда вернусь к порядочным людям... И все это происходит потому, что я сознаю свою беспомощность.

– Беспомощность?

– Свою подлость.

– Вашу подлость? О боже, как несправедливо вы судите себя!

– Разве не подло и не преступно, когда отступаешь перед долгом и честностью? А со мной это и произошло.

– С вами?

– Да, явившись сюда... я не сомневался, что совершил преступление, хотя ему можно было найти оправдание. А теперь оно мне кажется менее серьезным, потому что я наслушался, как воры и убийцы, отличающиеся особой свирепостью, с циничным издевательством говорят о своих злодеяниях; я иногда ловлю себя на том, что завидую их смелому равнодушию и насмехаюсь над своим раскаянием, когда думаю о совершенном мною проступке, столь незначительном по сравнению с другими.

– Вы правы! Ваш поступок скорее доброе дело, чем преступление. Вы были уверены, что сможете на следующее утро вернуть сумму, взятую вами всего на несколько часов, чтобы спасти семью от разорения и, быть может, от смертельной опасности.

– Для чего бы я ни взял, – это в глазах закона и честных людей – воровство. Конечно, один повод к воровству извинительнее, чем другой, но, видите ли, это пагубный симптом, когда, чтобы оправдаться в собственных глазах, сопоставляешь себя с закоренелым преступником. Отныне я не могу сравнивать себя с честными людьми. С течением времени... я убеждаюсь, что совесть тупеет, костенеет... Завтра, может быть, украду, уже не будучи уверенным, что смогу возместить сумму, которую украл с похвальной целью, но, даже если украду из жадности, я, конечно, буду считать себя невинным по сравнению с тем, кто убивает, чтобы украсть... И, однако, сейчас между мною и убийцей такое же расстояние, как между мной и безупречным человеком... И так, потому что есть существа, в тысячу раз более опустившиеся, чем я, моя деградация в моих глазах уменьшается. Если прежде я мог сказать: я тоже честный человек, теперь я буду утешаться тем, что скажу: я менее всех преступен среди отверженных, в обществе которых мне всегда предстоит жить.

– Как – всегда? Ну а когда вы отсюда выйдете?

– Не важно: если я и буду оправдан, эти люди меня уже знают, по выходе из тюрьмы, встретив меня случайно, они будут разговаривать со мной как с арестантом. Поскольку справедливое обвинение, приведшее к суду, не будет известно всем этим несчастным, они станут угрожать мне тем, что разгласят мое прошлое. Вот видите, проклятые узы теперь уже неразрывно связывают меня с этими негодьями... Если бы я был в одиночном заключении до того дня, когда состоится суд, дело было бы иное, никто меня бы не знал и я не знал бы никого и не терзался бы страхом, который парализует мои лучшие помыслы. К тому же, если бы я думал лишь о своей вине, она бы возросла в моих глазах, а не уменьшилась; чем значительнее она бы мне казалась, тем более серьезно было бы искупление, которое я наложил бы на себя в будущем. Поэтому, чем больше вина, за которую прощен, тем больше добра я должен сделать в доступной мне сфере. Потому что один плохой поступок нужно искупить сотней хороших. Но подумаю ли я когда-нибудь, что должен искупить то, в чем сейчас едва раскаиваюсь... Послушайте... я чувствую... что подчиняюсь непреодолимому влиянию, против которого я долго боролся изо всех сил; меня воспитали для зла, и я уступаю своей судьбе: в конце концов, один, без семьи... не все ли равно, стану ли я честным человеком или преступником?.. А впрочем, мои намерения были добрыми и честными... Именно потому, что из меня хотели сделать негодяя, я убежденно говорил себе: никогда я не изменял чести, хотя для меня это было гораздо труднее, чем для любого другого... А теперь... Нет, это ужасно... ужасно... – воскликнул Жермен. И несчастный разразился таким душераздирающим плачем, что бедная Хохотушка не могла больше сдерживать волнение и тоже залилась слезами.

Выражение лица Жермена было невыносимо печальным. Нельзя было оставаться равнодушным к отчаянию этого смелого юноши, боровшегося с роковой заразой, опасность которой угрожала ему и которую он благодаря своей деликатности еще преувеличивал.

Мы никогда не забудем слов человека редкого ума, двадцатилетний опыт работы которого

в тюремном управлении придает особый вес его убеждению: «Если предполагать, что человек вошел в тюрьму по несправедливому обвинению, вошел совершенно невинным, то выйдет он из тюрьмы всегда уже менее честным, чем туда вошел; то, что можно было бы назвать цветком невинной честности, навсегда исчезает при одном соприкосновении с этой тлетворной атмосферой».

Скажем, однако, что Жермен благодаря глубокой порядочности долго и успешно боролся, что он скорее предчувствовал болезнь, нежели в действительности болел ею.

Боязнь увидеть свою ошибку не столь серьезной доказывает, что в тот час он чувствовал всю ее значительность; но все же смущение, страх, сомнения, жестоко волновавшие эту честную и благородную душу, были тревожными признаками приближения болезни.

Хохотушка, руководимая прямою своего ума, женской проницательностью и инстинктом любви, угадала то, о чем мы только что говорили.

Хотя она была вполне уверена, что ее друг еще не утратил своей деликатности, она боялась, что, несмотря на высокую нравственность, Жермен однажды станет равнодушен к тому, что сейчас так жестоко его мучило.

Глава V ХОХОТУШКА

Как бы ни было незыблемым счастье, которым мы наслаждаемся, порою мы охвачены стремлением ощутить невыносимые муки для того, чтобы вслед за тем с благодарностью воспринять благородное величие самопожертвования.
(Вольфганг. Святой дух, книга 2)

Хохотушка, вытерев слезы, обратилась к Жермену, прислонившемуся к решетке, с трогательной, почти торжественной серьезностью. Такого тона он еще от нее не слышал.

– Послушайте, Жермен, быть может, я не ясно выражаюсь, не умею говорить так хорошо, как вы, но то, что я вам скажу, будет искренне и справедливо... Вы заблуждаетесь, утверждая, что одиноки и всеми покинуты...

– Только не думайте, что я забыл все, чем обязан вашему состраданию.

– Я не прерывала вас, когда вы говорили... но теперь, раз вы повторяете это слово, я должна сказать вам, что чувствую к вам совсем не сострадание... объясню вам как умею... Когда мы были соседями, я вас любила как доброго брата, верного друга. Мы оказывали друг другу маленькие услуги, вместе проводили время по воскресеньям, из благодарности я пыталась быть непринужденной, веселой... и мы оба были довольны.

– Довольны? Нет... я...

– Позвольте мне договорить... Когда вам пришлось покинуть дом, где мы жили, я была глубоко огорчена, такого чувства я не испытала бы по отношению к другим соседям.

– Неужто это правда!

– Я знала, что наши приятели-шалопаи очень скоро забудут меня, не то что вы, притом я общалась с ними лишь после того, как решительно заявила им, что наши отношения будут сугубо дружескими. В то время как вы сразу проявили ко мне глубокое уважение; посвящали мне все свое свободное время, выучили меня писать... давали полезные советы, оставались самым преданным моим соседом... и никогда ничего не ждали от меня... за свои труды... Более того, уезжая из дома, вы проявили полное доверие ко мне... вы открыли мне важную тайну, мне, молодой девушке, и я гордилась этим доверием! Вот почему, разлучившись с вами, я часто вспоминала вас, забыв других моих соседей. Это правда, вы знаете, я никогда не лгу.

– Неужели это так!.. Вы относились ко мне иначе – чем к другим?

– Конечно, ведь я не бессердечная. Да, я была убеждена, что нет на свете человека лучше Жермена; только он слишком серьезный; впрочем, будь у меня подруга, которая захотела бы выйти замуж и быть очень счастливой, я бы ей посоветовала выйти за Жермена; это был бы рай для милой хозяйки!

– Вы предназначили меня другой, – с грустью проговорил Жермен.

– Да, я радовалась бы, если бы, женившись, вы были счастливы, потому что относилась к вам как к доброму другу. Вот видите, я говорю вам все откровенно.

– Душевно благодарю, для меня большое утешение узнать, что вы предпочли меня другим.

– Вот так я относилась к вам до тех пор, пока вас не постигло несчастье. Тогда я получила ваше трогательное письмо, где вы рассказали мне о вашем поступке, который вы называли ошибкой, а я – прекрасным и добрым делом; тогда вы поручили мне пойти к вам на квартиру и взять ваши дневники, из записей я поняла, что вы меня всегда любили, но не смели в этом признаться. Я знала, что вы позаботились о моем будущем, ведь болезнь, отсутствие заработка могли пагубно сказаться на моей жизни. На случай насильственной смерти – а вы могли ее бояться – вы завещали мне небольшую сумму, заработанную трудом и бережливостью...

– Да, ведь если бы я был жив, а вы остались без работы или заболели бы, то скорее обратились за помощью ко мне, чем к кому-либо другому? Не правда ли? Скажите, я не ошибался?

– Да, конечно! К кому же я, по-вашему, должна была обратиться?

– Мне приятно слышать эти слова, я нахожу в них утешение!

– Вы представить себе не можете, что я испытала, читая завещание, какое это печальное слово! Каждая строчка заключала в себе воспоминание обо мне, заботу о моем будущем; и все эти доказательства преданности я должна была узнать только после вашей смерти. Ну как же иначе? Такое поведение, не надо удивляться, внезапно порождает любовь; это так естественно... не правда ли, господин Жермен?

Девушка призналась в этом с трогательной наивностью, устремив взгляд своих больших черных глаз на Жермена; но он вначале даже не понял ее признания, так как не мог представить себе, что Хохотушка его любит.

Слова эти были произнесены столь искренне, что они дошли до глубины души узника, и он, бледнея, воскликнул:

– Что вы говорите? Я боюсь... быть может, я... заблуждаюсь!..

– Повторяю, с той минуты, как я убедилась, что вы так добры ко мне, и увидела, как вы несчастны, я почувствовала, что полюбила вас; и если бы теперь моя подруга захотела выйти замуж, – сказала Хохотушка, улыбаясь и краснея, – я не стала бы советовать ей выйти за вас, господин Жермен.

– Вы меня любите!

– Я сама сказала, что люблю вас, ведь вы меня об этом не спрашиваете.

– Неужели это возможно?

– А ведь я уже два раза пыталась заставить вас уразуметь это! Что ж, этот господин не хочет понять моего намека, он принуждает меня признаться во всем. Быть может, я скверно поступила, но так как бранить меня за мою смелость можете только вы, мне уже не так страшно.

Затем взволнованно и серьезно она сказала ему:

– Вы сейчас показались мне таким удрученным и в таком отчаянии, что я не могла скрывать свое чувство, может быть, мое чистосердечное признание избавит вас от горьких переживаний. До сих пор я не смогла отвлечь вас и утешить, мои лакомства портят вам аппетит, от моих шуток вы плачете, но, быть может, на этот раз... Что с вами? – воскликнула Хохотушка, видя, что Жермен закрыл лицо руками. – Разве не жестоко так вести себя? Что бы я ни сделала, что бы ни сказала... вы по-прежнему несчастны; стало быть, вы слишком злой, себялюбивый человек! Можно подумать, что страдаете лишь вы и больше никто!..

– Увы, как мне горько! – с отчаяньем воскликнул Жермен. – Вы меня любите, тогда как я уже недостоин вас!

– Вы недостойны? Что вы говорите! В ваших словах – ни капли здравого смысла! Значит, и я была недостойна вашей дружбы, ведь я тоже была когда-то в тюрьме... но от этого я не перестала быть честной девушкой?

– Но вас взяли в тюрьму потому, что вы были бедным, покинутым ребенком, в то время как я! Боже, это огромная разница.

– Что касается тюрьмы, то тут нам нечего укорять друг друга! А вот я действительно че-

столюбива! В моем положении я имела право надеяться только на брак с рабочим. Ведь я – найденыш, у меня ничего нет, кроме маленькой комнаты и мужественного характера, и все-таки я отважно осмелилась предложить вам себя в жены!

– Увы, тогда это была моя сокровенная мечта, счастье моей жизни! Но теперь, когда надо мною тяготеет позорное обвинение, я злоупотребил бы вашим великодушием, вашим сочувствием. Нет, нет.

– Боже мой! – с болью и нетерпением воскликнула Хохотушка. – Я же вам говорила, что не жалею вас, а люблю. Только о вас и думаю, не могу ни спать, ни есть, ваше милое грустное лицо всюду меня преследует. Разве это жалость? Ваш голос, ваш взор проникают до глубины моего сердца. Я вижу теперь в вас столько нового, чего прежде не замечала, и это просто сводит меня с ума. Я люблю ваше лицо, ваши глаза, вашу осанку, ваш ум, ваше доброе сердце. Неужели все это – жалость? Я сама не понимаю, почему любила вас как друга, а теперь люблю как возлюбленного, почему была всегда сумасбродной и веселой, когда питала к вам дружеские чувства, почему теперь всецело поглощена иной любовью? Не знаю! Почему раньше не замечала, что вы и красивый и добрый и что вас можно пылко любить? Не знаю, но догадываюсь, потому что я открыла, как сильно вы меня любили, как вы были благородны и преданы мне, тогда любовь всецело поглотила меня.

– Право, я слушаю вас, и мне кажется, что это сон!

– А я никогда не думала, что осмелюсь во всем вам признаться, меня побудило поступить так ваше отчаянье. Ну что ж, сударь, теперь, когда вы знаете, что я вас люблю как возлюбленного, как мужа, станете ли вы уверять меня, что это жалость?

Великодушные сомнения Жермена должны были наконец уступить место этому смелому и наивному признанию.

Мучительные переживания Жермена сменились неожиданной радостью.

– Вы меня любите! – воскликнул он. – Я верю вам, ваш тон, ваш взгляд – все меня убеждает в том, что это правда! Я не задаю себе вопроса, чем я заслужил такое счастье, я слепо ему отдаюсь... Всей моей жизни не хватит на то, чтобы расплатиться с вами. Я глубоко страдал, но эта минута искупает все!

– Наконец-то вы утешились. О, я была уверена, что добьюсь своего! – воскликнула Хохотушка в порыве искренней радости.

– И такое счастье наступило для меня теперь среди ужасов тюрьмы, когда все меня удручает...

Жермен не мог продолжать.

Эта мысль напомнила ему его реальное положение, и угрызения совести, на миг забытые, снова начали терзать его.

– Но ведь я арестант... я обвинен в воровстве, я буду осужден, быть может, обесчещен!.. Принять вашу бесценную жертву... воспользоваться вашим великодушным увлечением?.. О нет! Нет! Я не настолько низок!

– Что вы говорите?

– Я могу быть приговорен... к длительному тюремному заключению.

– Ну и что? – ответила Хохотушка спокойно и убежденно. – Когда узнают, что я честная девушка, нам разрешат обвенчаться в тюремной церкви.

– Но меня могут держать в тюрьме далеко от Парижа...

– Раз я буду вашей женой, я последую за вами, поселюсь в том же городе, где будете вы, найду себе работу и буду вас навещать каждый день!

– Но я буду опозорен в глазах всех.

– Да ведь вы меня любите больше всех, не правда ли?

– Разве можно об этом спрашивать?..

– А тогда в чем же дело?.. Передо мною вы не опозорены, напротив, вы – жертва вашего доброго сердца.

– Но общество вас осудит, на вас будут клеветать, порицать ваш выбор.

– Общество! Это вы – для меня, а я – для вас. Пусть говорят!

– А потом, когда я выйду из тюрьмы, для меня начнется нищенская, необеспеченная жизнь; быть может, отвергнутый всеми, я никогда не найду работы... а вдруг, хоть об этом и думать ужасно, этот распад нравов, которого я так боюсь, коснется меня, какое будущее ждет вас тогда?

– Вы не станете скверным теперь, когда вы знаете, что я вас люблю, эта мысль даст вам силы бороться с дурным влиянием. Если даже по выходе на свободу вас отвергнут, вы будете убеждены в том, что остались честным человеком и ваша жена примет вас с любовью и благодарностью. Вас удивляют такие слова? Я сама поражена, не знаю, откуда я беру все это, что говорю вам!.. Несомненно, все это говорится от души, это должно вас убедить... Если вы не желаете принять предложение, сделанное искренне, если вам не нужна преданность бедной простой девушки, которая...

Опьяненный счастьем, Жермен прервал Хохотушку.

– О да! Я согласен; да, я чувствую, что отказаться от некоторых жертв – это значит признать, что их недостойн. Я согласен, благородная и смелая девушка.

– Это правда? На этот раз правда?

– Клянусь вам... А кроме того, вы сказали мне нечто, поразившее меня до глубины души и придавшее мне мужество, которого мне не хватало.

– Какое счастье! Что ж я вам сказала?

– Что для вас я должен остаться честным человеком; это дает мне силу для борьбы с пагубным влиянием тюрьмы, я не боюсь теперь тлетворной атмосферы и сохраню достойным вашей любви сердце, принадлежащее вам!

– О Жермен! Как я счастлива! Если я сделала что-нибудь для вас, то как щедро вы меня вознаграждаете!

– Но все же, хотя вы и простили мою вину, я не забуду, что она тяжела, на мне лежит теперь двойной долг, я должен искупить прошлое и заслужить то счастье, которым я вам обязан... Буду стараться делать добро, как бы я ни был беден, случай непременно представится.

– Увы! Боже мой! Это правда, всегда найдешь кого-нибудь, кто несчастнее тебя.

– Если нет денег...

– Тогда выступают слезы, как это случилось со мной, когда я узнала о несчастье семьи Морель.

– И это святая милостыня: милосердие души дороже всякого подаяния.

– Итак, вы согласны! Вы не возьмете свои слова обратно?

– Никогда, никогда, мой друг, моя супруга! Мужество вернулось ко мне, и я точно пробуждаюсь ото сна. Нет больше сомнений. Я чувствовал, что заблуждался, понял, к счастью, что сам обманывал себя. Мое сердце не могло бы так биться, если бы оно навсегда утратило благородные порывы.

– О Жермен, как вы прекрасны, когда говорите так! Как вы успокаиваете не только меня, но и самого себя! Теперь вы мне обещаете, правда? Теперь, когда моя любовь оберегает вас, обещайте, что не будете больше бояться говорить с этими злыми людьми, восстанавливать их против себя?

– Будьте спокойны!.. Видя, что я удручен, они винули меня в том, что я раскаиваюсь, а теперь они подумают, что я такой же циник, как и они.

– Правда! Они вас больше не станут подозревать, и я буду спокойна. Итак, будьте благодарны... теперь вы принадлежите мне... я ваша жена.

В это время зашевелился надзиратель, он проснулся.

– Ну поцелуйте же меня, – тихо сказала Хохотушка. – Поспешите, мой супруг, это будет нашим венчанием.

И девушка, смущаясь, прикоснулась лбом к железной решетке.

Глубоко растроганный, Жермен прильнул губами к ее лицу.

Из глаз заключенного пролилась слеза, словно влажная жемчужина.

Трогательное благословение светлой, печальной и пленительной любви.

.....

– Уже три часа, – поднимаясь, сказал надзиратель, – а посетители могут здесь быть до двух. Ну-с, милая барышня, – обратился он к гризетке, – ничего не поделаешь, надо уходить.

– О, благодарю, сударь, что вы оставили нас одних. Я внушила Жермену бодрость, он не будет больше угрюмым, и ему нечего бояться злых арестантов. Не так ли, мой друг?

– Будьте покойны, – проговорил Жермен, – я теперь буду самым веселым арестантом в тюрьме.

– И в добрый час! Тогда на вас перестанут обращать внимание, – проговорил надзиратель.

– Я тут принесла Жермену шарф, – сказал Хохотушка, – должна я передать его в контору?

– Так полагается. Но раз я уже отступил от правил, допустим еще небольшое нарушение. Пусть уж будет день удач. Отдайте ему сами ваш подарок.

И надзиратель открыл дверь в коридор.

– Этот добрый человек прав. Сегодня действительно особый день, – сказал Жермен, принимая шарф из рук Хохотушки, которые он нежно сжал. – До свидания и до скорой встречи, я теперь не боюсь просить вас приходить возможно чаще.

– А я не буду ждать вашего позволения. До свидания, милый Жермен.

– До встречи, милая Хохотушка.

– Наденьте шарф и не смейте простужаться, здесь так сыро!

– Какой чудный шарф! Подумать только, что вы сами его связали для меня. Я никогда с ним не расстанусь, – сказал Жермен, поднеся подарок к губам.

– Надеюсь, что сегодня у вас появится аппетит. Угодно вам принять от меня маленькое угощение?

– Еще бы, на этот раз я отдам ему должное.

– Думаю, что вы останетесь довольны, господин гурман. Вы расскажите мне, как оно вам понравилось. Еще раз благодарю вас, господин надзиратель, я ухожу сегодня счастливая и успокоенная. Да свидания, Жермен.

– До скорой встречи!

– До встречи навсегда...

Несколько минут спустя Хохотушка, взяв зонтик и галоши, покинула тюрьму в более веселом настроении, чем то, в каком она пришла сюда.

Во время разговора Жермена и гризетки во дворе тюрьмы произошла другая сцена, и мы поведем туда нашего читателя.

Глава VI ЛЬВИНЫЙ РОВ

Хотя внешний вид большой тюрьмы, построенной с соблюдением удобств и чистоты, которых требует гуманность, не представляет собою ничего мрачного, но пребывающие в ней арестанты производят удручающее впечатление.

Жалость и грусть обычно охватывает вас, когда вы находитесь среди женщин. Невольно приходит на ум, что они совершили преступление не по своей воле, а только потому, что попали под губительное влияние первого совратившего их мужчины.

К тому же наиболее преступные женщины сохраняют в глубине души две святые струны, которых не могут порвать самые пагубные, самые неистовые страсти, – любовь и материнство. Говорить о любви и материнстве – значит согласиться с тем, что среди несчастных созданий чистый луч света порою может осветить глубокое нравственное падение.

Но у мужчин, которые отсидели в тюрьме, а затем выходят на волю, нет ничего подобного.

Это сгусток преступлений, это глыба бронзы, которая раскаляется только на огне адских страстей.

Вот почему внешний вид преступников, наполняющих тюрьмы, вызывает чувство ужаса и отвращения.

И, только поразмыслив, вы испытываете сострадание и вместе с тем глубокое огорчение.

Да... глубокое огорчение, ибо, подумав, убеждаешься, что обитатели тюрьмы и каторги – кровавая жатва для палача – прорастает всегда среди тины невежества, нищеты и отупения.

Чтобы составить себе представление о царящих в тюрьме ужасах и кошмарах, пусть читатель последует за нами в «Львиный Ров».

Так называется один из дворов тюрьмы Форс.

Обыкновенно туда сажают самых закоренелых и опасных рецидивистов, обвиняемых в тяжчайших преступлениях.

Но в виду начавшегося ремонта одного из зданий тюрьмы Форс власти вынуждены были временно поместить туда несколько не столь уж закоренелых преступников.

Этих последних, тоже осужденных судом присяжных, по сравнению с обычными арестантами Львиного Рва, можно было счесть добродетельными людьми.

Сцена, которую мы сейчас опишем, происходила при тусклом свете, в серый дождливый день, среди большого квадратного двора, обнесенного высокими белыми стенами с зарешеченными окнами.

В одном конце этого двора виднелась узкая дверь с окошечком; в противоположном – вход в зал с каменным полом – это было отапливаемое помещение с чугунной печью, вокруг которой стояли скамьи, а на них, непринужденно развалившись, вели беседу несколько арестантов.

Другие разгуливали по двору рядами по четыре-пять человек, держа друг друга под руку.

Надо было обладать суровой, мрачной кистью Сальватора Розы или Гойи, чтобы набросать различные типы нравственного и физического уродства, дать представление об отвратительной одежде этих несчастных, закутанных в большинстве случаев в рубище, ведь они находятся в предварительном заключении и, быть может, не виновны, потому им не выдают арестантской одежды. Правда, некоторые получают ее, потому что те лохмотья, в которых они пришли в тюрьму, стали такими грязными и смрадными, что после обязательного прохождения бани носить их нельзя.³³ Тогда заключенные получают куртку и брюки из серого сукна.

Френолог, наблюдая осужденных, не преминул бы заместить истощенные лица, с плоским или вдавленным лбом, с жестоким или коварным взглядом, со злобным или тупым ртом, с огромным затылком; почти у всех было что-то устрашающе звериное.

Лукавые черты лица одного напоминали хитрую изворотливость лисы; иной кровожадный тип походил на хищную птицу, другой напоминал свирепого тигра, а иные выглядели просто тупыми животными.

Прогулка безмолвной толпы людей в глубине двора, похожего на квадратный колодец, с суровыми лицами, с нахальным и циничным смехом, оставляла на редкость мрачное впечатление.

Становилось страшно при мысли о том, что эта свирепая ватага через какое-то время будет вновь на свободе, в обществе, которому она объявила непримиримую борьбу.

Сколько замыслов кровавой мести, будущих убийств постоянно зреют у этих людей под маской бесстыдства и порочности!!!

Опишем ряд броских типов Львиного Рва, а прочих оставим в тени.

Пока надзиратель, дядюшка Руссель, следил за гулявшими по двору преступниками, в большом зале происходил тайный сговор. Среди арестантов находились Крючок и Никола Марсиаль, о которых мы здесь только упомянем. Наиболее заметной фигурой, главой банды, решавшей все вопросы, был заключенный по прозвищу Скелет,³⁴ его имя не раз упоминалось при опи-

³³ В целях гигиены арестованный при своем прибытии в тюрьму, а впоследствии два раза в месяц, посещает баню; потом его одежду подвергают, санитарной обработке. Для арестанта баня с горячей водой — неслыханная роскошь.

³⁴ По поводу прозвища «Скелет» у меня возникло сомнение. В этом году один бедняга по имени Декюр был приговорен к тюремному заключению на один месяц только за то, что занимался бродяжничеством; он действительно демонстрировал на ярмарке подвижность своего скелета, так как сам отличался исключительной и пугающей худобой. Этот персонаж показался нам любопытным, мы им воспользовались; но прототип не имеет ничего общего с нашим вымышленным арестантом. Вот отрывок из допроса Декюра:

сании событий на острове Черпальщика в семье Марсиаля.

Скелет был старостой или управителем зала, где стояла чугунная печь.

Человек довольно высокого роста, лет сорока от роду, он оправдывал свою жуткую кличку тем, что был настолько худ, что даже трудно себе представить; пожалуй, по нему действительно можно было изучать кости человека.

Если лица его сотоварищей в какой-то степени напоминали тигра, ястреба или лисицу, то сдавленный, покатый лоб Скелета, его костлявые, плоские, выдвинутые вперед челюсти и безмерно длинная шея придавали ему удивительное сходство с головой змеи.

Это ужасное подобие усиливалось еще тем, что он был совершенно лысый, а из-под шероховатой кожи его лба, плоского, как у пресмыкающихся, проступали все линии, все выступы его черепа; что касается его безбородой физиономии, то представьте себе старый пергамент, наклеенный прямо на кости лица и натянутый от выступа скул до нижней челюсти, сочленение которой с черепом было отчетливо заметно.

Маленькие косые глаза сидели так глубоко в орбитах, а брови и скулы так выдавались, что под жилистым лбом, от которого отражался свет, виднелись две впадины, буквально заполненные мраком, вблизи казалось, что глаза совсем исчезали в глубине этих двух темных провалов, двух черных дыр, которые придают такой мрачный облик голове Скелета. Длинные зубы, корни которых ясно обрисовывались под натянутой кожей костлявых и плоских челюстей, почти беспрестанно обнажались благодаря обычной судорожной усмешке.

Хотя мускулы этого человека обратились в нечто подобное сухожилиям, он обладал необыкновенной силой. Даже самые сильные люди с трудом выносили объятие его длинных рук с костлявыми пальцами.

Можно сказать, то было дьявольское объятие стального скелета.

Он носил синюю куртку, слишком короткую, обнажавшую (и он этим гордился) его узловатые кисти и часть руки до локтя, вернее сказать, две кости (да простят нам, что мы прибегаем к анатомии), две кости, обтянутые темноватой кожей, разделенные глубоким желобком, где тянулись вены, сухие и грубые, словно струны. Когда он клал руки на стол, казалось, как удачно выразился Гобер, что он кладет на стол набор для игры в кости.

Скелет провел пятнадцать лет на каторге за воровство и попытку совершить убийство, затем бежал и был вновь схвачен во время разбоя.

Последнее убийство отличалось зверской жестокостью, и преступник был убежден, что ему вынесут смертный приговор.

Сильный, энергичный, развращенный, Скелет оказывал исключительное влияние на подчиненных. Учитывая все это, начальник тюрьмы назначил его старостой камеры, то есть поручил ему надзор за порядком, благоустройством и чистотой их помещений и кроватей; Скелет превосходно исполнял свои функции, и ни один из арестантов не смел нарушить его приказания.

Странное и поразительное явление...

Смышленным начальникам тюрем после неудачных попыток назначить старостой кого-нибудь из тех, чье преступление было менее тяжким, пришлось отказаться от этого разумного выбора, отвечающего требованиям морали, и избрать наиболее закоренелого преступника, которого все боялись: именно такой мог навести порядок среди своих сообщников. Итак, – повторим еще раз, – чем больше мерзостей и цинизма проявляет преступник, тем более его уважают и считают с ним.

Председатель. Чем вы занимались в поселке Мэзон во время ареста?

Д. Я исполнял всякие упражнения, чтобы потешить молодежь: придавал своему телу форму скелета, выставлял напоказ свои кости и мускулы, глотал мышьяк, сулему, жаб, пауков и вообще всех насекомых; могу также проглотить огонь и кипящее масло, промывая нутро. Ежегодно меня осматривают известные парижские врачи, такие, как господа Дюбуа, Орфила; они заставляют меня исполнять различные упражнения и т. п.

«Судебный вестник».

Разве этот факт, подтвержденный практикой, не является бесспорным аргументом против порочного обычая – содержать заключенных в общих камерах?

Разве не доказывает он силу порока, смертельно поражающего заключенных, которые в иных условиях могли бы обрести моральное оздоровление?

Именно так; к чему думать о раскаянье, об исправлении, когда придется прожить долгие годы, быть может, всю жизнь в этом аду, где завоевывает уважение лишь наиболее чудовищный преступник.

Разве неизвестно, что внешний мир, порядочное общество не существует для заключенных?

Равнодушный к моральным законам, арестант волей-неволей подчиняется произволу тюремного режима, а так как там судьбами вершат убийцы и воры, которых больше всего боятся и уважают, то любой узник стремится быть среди преступных вожаков.

Вернемся к Скелету, старосте камеры; он стоял среди арестантов, от него не отходили Крючок и Николя Марсиаль.

– Ты говоришь правду? – спросил Скелет у Марсиаля.

– Да, точно; дядя Мику все узнал от Верзилы, который хотел убить этого негодяя... за то, что он кого-то продал...

– Тогда сделать ему темную, и делу конец, – сказал Крючок.

– Скелет давно говорил, что с Жерменом нечего церемониться, надо завалить этого барана.³⁵

Староста вынул изо рта трубку и проговорил тихим голосом, таким хриплым, что его едва было слышно:

– Жермен задирает нос, он мешает нам, шпионит, ведь кто меньше говорит, тот больше слышит; надо было, чтоб его выкинули из Львиного Рва; если бы мы пустили кровь Жермену... его сразу и убрали бы.

– Ну и что... – возразил Николя, – что изменилось?

– Изменилось то, – ответил Скелет, – что если он продал, как говорит Верзила, то живым отсюда не уйдет!

– Туда ему и дорога! – сказал Крючок.

– Нужно проучить, – гневно заговорил Скелет. – Теперь нас преследуют не легавые, а провокаторы. По доносу отрубили головы Жаку и Готье... к вечной каторге приговорили Руссилона...

– А я, а моя мать, а Тыква? А мой брат в Тулоне? – воскликнул Николя. – Разве нас всех не продал Краснорукий? Теперь это доказано; вместо того чтобы посадить с нами, его отправили в Рокетт! Испугались поместить сюда... он, негодяй, чувствовал, что ему несдобровать...

– А я? – сказал Крючок. – Разве Краснорукий не донес на меня?

– А разве меня не предал Жобер, – промолвил юный арестант тонким голосом, жеманно картавя, – человек, предложивший мне дело на улице Сен-Мартен?

Этот юноша, с высоким голосом, бледным, полным и женственным лицом, с лукавыми глазами, был странно одет: на голове у него был красный шелковый платок, завязанный в виде банта надо лбом и прижимавший к вискам две пряди белокурых волос; вместо галстука он носил белую шерстяную шаль с зеленым узором, завязанную на груди; его коричневая суконная куртка исчезала под узким поясом широких штанов из пестрой шотландской материи в клетку.

– Разве это не подлость!.. Разве можно поверить, что человек станет таким мерзавцем, – произнес жеманный юноша. – Я доверял Жоберу как никому на свете.

– Мне, Жавотта, точно известно, что он продал тебя, – ответил Скелет, который, казалось, особенно покровительствовал этому заключенному. – Улика есть: с ним поступили как с Красноруким: не посадили к нам, а направили в Консьержери... Надо с этим кончать... расправиться со злодеем. Негодяи выдают себя за наших друзей, а сами на службе у полиции. Они полагают,

³⁵ Доносчика, «наседку», предателя.

что их шкура будет цела, потому что их сажают в другие тюрьмы, разлучив с теми, кого они предали...

– Верно!..

– Чтоб с этим покончить, арестанты должны относиться к доносчику как к смертельному врагу; не важно, предал ли он Пьера либо Жака, у нас либо в другой тюрьме, это в счет не идет, надо придушить его. Когда мы завалим четырех, другие задумаются, прежде чем выдать воров.

– Прав Скелет, – сказал Николя, – тогда надо начать с Жермена.

– Так и сделаем, – ответил Скелет. – Но подождем Хромого. Если он докажет, что Жермен шпион, тогда все... барашек больше не будет бляеть, его завалят.

– А как же быть с надзирателем? – спросил преступник, которого Скелет называл Жавоттой.

– Я придумал... Нам поможет Острослов.

– Он? Да он же трус.

– И не сильнее блохи.

– Молчать, я сам знаю. Где он?

– Он вернулся из приемной, но его вызвали к тюремной крысе.³⁶

– А Жермен, он все еще в приемной?

– Да, с девицей, которая его навещает.

– Как только он вернется, смотрите в оба! Надо только подождать Гобера, без него не обойтись.

– Без Острослова?

– Конечно...

– А Жермена прикончим?

– Я беру это на себя.

– А как, ведь у нас отобрали ножи!

– А эти клещи хочешь попробовать? Подставляй горло, – заявил Скелет, показывая свои длинные, сухие и твердые, как кусок железа, пальцы.

– Ты задушишь его?

– Сожму немного.

– Но если узнают, что это ты?

– Ну и что? Разве у меня две головы, как у теленка, которого показывают на ярмарке?

– А ведь правда... голову рубят только один раз, а поскольку ты в этом уверен...

– Более чем уверен; адвокат еще вчера мне об этом сказал. Пойман с рукой в мешке и с ножом в горле убитого. Ведь я – обратная кобылка,³⁷ приговор заранее известен... Ладно, я отправлю свою голову посмотреть, что там в корзине у палача, правда или нет, что он надувает казненных и кладет опилки вместо отрубей, которые нам жалует правительство.

– Верно... Приговоренный к казни имеет право на отруби. Помню, моего отца так же обворовали... – подтвердил Марсиаль, разразившись свирепым смехом.

При этой омерзительной шутке все присутствовавшие расхохотались.

Ужасно! И мы ничего не преувеличиваем, напротив, еще смягчаем ужас обычных тюремных пересудов.

Повторяем, нужно все-таки дать представление, хотя бы поверхностное, о том, что говорится, что происходит в этих страшных пагубных школах цинизма, воровства, убийства.

Нужно, чтобы знали о том, с каким показным презрением говорят почти все закоренелые преступники о самых страшных наказаниях, которыми карает их общество.

Тогда, быть может, поймут, что необходимо изменить систему бесплодных наказаний, пагубных общений и заменить их единственным возмездием, которое может, как мы докажем ни-

³⁶ Адвокату.

³⁷ Вновь арестованный рецидивист.

же, устрашить самых закоренелых негодяев.

.....

Собравшиеся в теплом зале арестанты громко засмеялись.

– Тысяча чертей! – заорал Скелет. – Я хотел бы, чтоб наши байки подслушали судьи, которые думают запугать нас гильотиной... Пусть придут к заставе Сен-Жак в день, когда состоится мой бенефис: они увидят, как я, поклонившись толпе, смело скажу: «Папаша Сансон, пожалуйста, дерните шнур!»

Новый взрыв хохота.

– Это длится сколько времени, сколько нужно, чтобы проглотить комок жевательного табака. Шарло дергает за веревку...

– И перед вами открыты двери в преисподнюю, – проговорил Скелет, покуривая трубку.

– Ну и сбрехнул, разве преисподняя есть?

– Болван! Я в шутку говорю... есть нож гильотины, есть голова, которую под нее кладут... вот и все. Теперь, когда я знаю свою дорогу и что мне предстоит Обитель «Утоли моя печали»,³⁸ я бы охотнее пошел туда сегодня, чем завтра, – с диким возбуждением заговорил Скелет. – Да, я хотел бы уже быть там, кровь подступает к горлу, когда подумаю о толпе, которая соберется, чтобы посмотреть на меня. Четыре-пять тысяч зевак столпятся на площади, будут толкаться, драться за лучшее место, будут снимать окна, стулья, словно хотят лицезреть какое-то шествие. Я уже слышу их голоса: «Сдается место! Сдается место!» Будут воинские части, пехота, кавалерия... и всякая всячина... и все это для меня, для Скелета: ведь для честного человека такого зрелища не устроят! Верно, друзья? Вот что придает бодрость. Даже такой трус, как Гобер, и тот пошел бы твердым шагом... ведь все, кто смотрят на вас, распалют вам нутро... потом... мгновение... и ты лихо умираешь... это раздражает судей и честных людей и учит бандитов потешаться над курносой.

– Точно так, – заговорил Крючок, подражая циничному бахвальству Скелета, – нас хотят запугать тем, что палач разложит для нас свой товар, и баста.

– Наплевать на эту машинку, – поддержал Николая. – И тюрьма и каторга – невидаль какая; лишь бы мы все были друзьями. Будем веселиться, пока смерть не пришла!

– Было бы нестерпимо, – произнес юноша с жеманным голосом, – если бы нас навсегда разместили по отдельным камерам; говорят, что так и сделают.

– Ты что! – гневно завопил Скелет. – Не болтай... По камерам – в одиночку, даже не подумаю! Пусть лучше мне отрубят руки и ноги, чем оставаться одному в четырех стенах... не видеть моих парней, не побалагурить с ними. Нет! Предпочту каторгу Центральной тюрьмы; на «лужке»³⁹ ты на воздухе, видишь людей, приходишь, уходишь, болтаешь с друзьями. Вот что я скажу: пусть башка летит, а в отдельную камеру не сяду. Теперь я убежден, что мне конец, ведь верно? А ежели мне скажут: хочешь в пустехонькую камеру на год? Я суну шею под обрезальную машинку! Целый год без людей! Разве вытерпишь?.. О чем думать, когда ты ни с кем не встречаешься...

– А если бы тебя заперли в одиночке силой?

– Я бы там не остался... бежал бы, – заявил Скелет.

– Ну а если б не смог... если б убедился, что нельзя бежать?

– Убил бы первого встречного, чтоб мне сняли голову.

– А если убийц вместо казни будут приговаривать к вечному заключению, что тогда?

Эти слова, казалось, поразили Скелета. Помолчав, он продолжал:

– Тогда я не знаю, что бы сделал... проломил бы башку о стену, умер бы с голода, только

³⁸ Гильотина.

³⁹ Каторга.

чтоб оставаться самим собой! Как! Один... Всю жизнь? Не надеюсь на побег? Так не будет. Нет более отчаянного, чем я, могу зарезать человека за грош... ни за что... во имя чести... Думают, что я прикончил только двоих... но если б заговорили мертвые, то пять-то человек наверняка признали б мою работу.

Бандит расхвастался.

Хвастовство о совершенных убийствах – один из характерных черт лютых злодеев.

Один начальник тюрьмы говорил нам: «Если бы число убийств, которым бахвалятся эти несчастные, соответствовало действительности, то население сильно поредело бы».

– Я то же самое, – сказал Крючок, желая похвастаться, – они считают, что я уложил только мужа молочницы из Сите, но я порешил и других – вместе с длинным Робером, которого казнили в прошлом году.

– Поверьте мне, – продолжал Скелет, – я не боюсь ни огня, ни дьявола, ну так вот, если б я сидел без дружков, уверенный, что никогда не смогу сбежать... дьявольщина... мне бы стало страшно...

– Почему? – спросил Николая.

– Потому что останусь наедине с собой, – отвечал староста.

– Значит, если бы тебе предстояло вновь убивать и если бы вместо каторги и гильотины существовало только одиночное заключение, ты бы не посмел убивать и грабить?

– Черт знает... да... возможно... – ответил Скелет (исторический факт).

Он говорил правду.

Трудно себе представить, какой дикий ужас внушает бандитам одна лишь мысль о возможности сидеть одному в камере, отрезанному от мира.

И не является ли страх преступника убедительным доказательством разумности такого рода наказания?

Но этого мало: строгая изоляция, устрашающая убийц, быть может, волей-неволей повлечет за собой отмену гильотины. Вот каким образом.

Поколение преступников, заполнившее в настоящее время тюрьмы и каторги, воспримет применение одиночного заключения как чудовищную казнь.

Привыкшие к порочному образу жизни в общей массе преступников, которым мы посвятили сдержанный очерк, так как нам пришлось затушевать некоторые умопомрачительные факты, рецидивисты страшатся обособиться от мира подлецов, где они с легким сердцем искупали свои преступления; страшатся, что останутся наедине с воспоминаниями о прошлом... Они вознегодуют, подумав о столь страшном наказании.

Многие предпочитают смерть.

И, решив покончить с жизнью, они не остановятся перед убийством любого...

Удивительная вещь: среди десяти преступников, которые хотят лишиться себя жизни, только бы не находиться в одиночестве, девять совершают убийство, добиваясь смертного приговора, и лишь один решается на самоубийство.

Итак, повторяем, эта уродливая статья варварского законодательства, несомненно, будет исключена из нашего кодекса...

Для того чтобы лишиться убийц надежды найти забвенье в смерти, необходимо упразднить казнь.

Но вечное пребывание в одиночном заключении будет ли достаточно суровой карой за тяжкие преступления, такие, например, как отцеубийство? Некоторые уголовники совершают побег из строго охраняемых тюрем или в крайнем случае надеются убежать. Арестантов, о которых мы говорим, надо лишить не только надежды, но реальной возможности совершить побег.

Вот почему смертная казнь, преследующая цель избавления общества от опасных злодеев, лишь в исключительных случаях приводит к раскаянию; преступник лишен времени искупить содеянное злодеяние... Казнь, которую они принимают, – одни в бесчувственном состоянии, а другие с возмутительным цинизмом, – мы надеемся, будет заменена мучительным возмездием, которое предоставит преступнику полную возможность раскаяться... искупить вину и в то же время позволит закону сохранить жизнь, дарованную человеку богом. Ослепление лишает пре-

ступника возможности убежать из тюрьмы и нанести кому-либо вред.

Итак, смертная казнь, являющаяся его единственной целью, будет в этом отношении справедливо заменена.

Ибо общество убивает не во имя возмездия.

Оно убивает не для того, чтобы заставить страдать, – из всех видов наказаний общество избирает наименее мучительное.⁴⁰

Оно убивает во имя собственной безопасности.

Разве нужно бояться ослепленного узника?

Наконец, вечная изоляция, смягченная общением с честными, набожными людьми, которые посвятят себя этой исцеляющей миссии, позволит убийце замолить грехи в течение долгих лет раскаяния и угрызений совести, возродить свою душу.

.....

Шум и громкие радостные возгласы арестантов, совершавших прогулку по тюремному двору, прервали сговор. Николая вскочил и направился к дверям узнать причину непривычного оживления. Возвратясь в залу, он сообщил:

– Верзила прибыл!

– Верзила! – воскликнул староста. – А где Жермен? Еще не возвратился?

– Нет еще.

– Пора прийти! Я б вручил ему чек на гроб, – пригрозил староста.

Глава VII СГОВОР

Приход Верзила, показания которого могли стать роковыми для Жермена, вызвал шумное оживление среди арестантов. Это был человек среднего роста и, несмотря на свое увечье и тучность, казался ловким и сильным...

В лице его было что-то звериное: оно напоминало морду бульдога; вдавленный лоб, маленькие хищные глаза, отвисшие щеки, могучие челюсти. Нижняя челюсть с длинными зубами или, вернее, щербатыми клыками, выступала вперед, что еще более усиливало его поразительное сходство с этим животным. На нем была шапка из выдры и синее пальто с меховым воротником.

Верзила пришел в тюрьму в сопровождении молодого человека лет тридцати, со смуглым, загорелым лицом, которое не было таким жутким, как у других узников, хотя он старался казаться столь же решительным, как и его приятель. Порой он становился мрачным и на губах его появлялась горькая улыбка.

Верзила, можно сказать, очутился в кругу знакомых; он едва успевал отвечать на приветствия и радушные слова, которыми его осыпали со всех сторон.

– Наконец-то прибыл наш толстый весельчак... Вот хорошо, теперь порезвимся вдоволь.

– Нам тебя доставало.

– Где ты там замешкался?

– Нет, я сварганил все, чтоб нагрянуть к дружкам... Не виноват, легавые не накрыли раньше.

– Верно, старина, сам себя не посадишь, но раз уж попал сюда... Время тянется, давай-ка побалагурим.

– Тебе повезло, у нас Острослов.

– И он здесь? Старый друг по Мелену! Здорово! Здорово! Он поможет нам скоротать время

⁴⁰ Мой отец, доктор Жан-Жозеф Сю, придерживался противоположного мнения; в опубликованных им содержательных наблюдениях он доказывает, что мозг после отсечения головы продолжает в течение некоторого времени функционировать. Эта вероятность заставляет содрогаться от ужаса.

своими побасенками, а слушатели найдутся, сейчас придут новобранцы.

– Кто же?

– Только что в канцелярию... когда меня отправляли сюда, привели двух молодцов... Одного я не знаю... но другой, в синей шапочке и серой куртке, вроде бы знакомый, где-то я видел эту башку... Кажется, у Людоедки из «Белого кролика»... Здоровьяк такой...

– Слушай, Верзила, ты помнишь, в Мелене я спорил с тобой, что и года не пройдет, как тебя опять сгребут?

– Верно, ты выиграл, понимаешь, у меня было больше шансов стать вором, чем получить награду за добродетель. А ты... на чем погорел?

– Сбондил по-американски.

– Понятно, тот же способ?

– Да, все тот же. Иду по своей дорожке. Простая... Если бы мой напарник не был болваном, я не попал бы сюда... Ну да ладно, урок мне на пользу пойдет. Когда опять примусь за дело, буду осторожнее... Я задумал одно дельце...

– Смотри, вот и Кардильяк! – воскликнул Верзила при виде маленького человека, нищенски одетого, с гнусной физиономией, хитрой и злобной, похожего и на лису и на волка.

– Здорово, старина!

– Ах ты, черепаха! – весело ответил заключенный по имени Кардильяк. – Каждый день только и говорили: он придет, он не придет... А этот господин, словно милая бабенка, заставлял себя ждать...

– Ну конечно, конечно!

– Ну а за что ты попался, за что-нибудь стоящее?

– По правде сказать, за кражу со взломом. Прежде удавалось, а на этот раз не удалось... Дело богатое... Кстати, надо будет им еще заняться... Но я и Франк погорели.

Верзила указал всем на своего сообщника.

– Да это Франк! – сказал Кардильяк. – А я и не узнал его, у него борода... Это ты? А я думал, что тебя избрали мэром поселка, ведь ты мечтал стать честным человеком.

– Я сдурил и был наказан, – вдруг заговорил Франк. – Каждому греху – прощение... Полезно один раз... а теперь буду на каторге, пока не подохну. Берегитесь меня, когда выйду!

– В добрый час, хорошо сказано.

– Но что все-таки с тобой произошло, Франк?

– А то, что происходит с любым из нас, дураковатым, кто, выйдя на свободу, пожелал стать честным... Судьба ведь справедлива!.. Когда я вышел из Мелена, у меня было более девятисот франков...

– Это правда, – подтвердил Верзила, – все его несчастья потому, что он, выйдя из тюрьмы, хранил денежки, вместо того чтобы их прокутить. Теперь вы увидите, к чему ведет раскаяние... Окупает ли оно хоть расходы?

– Меня отправили под надзором в Этан, – продолжал. Франк, – я слесарь и работал у хозяина слесарной. Я сказал ему: «Меня освободили из тюрьмы, знаю, что нашего брата не хотят нанимать, но вот вам девятьсот франков под залог, дайте мне какую-нибудь работу, хочу стать честным человеком».

– Черт побери! Такое могло прийти в башку только Франку!

– Да, с башкой у него всегда было неладно.

– Нанялся слесарем!

– Вот шутник!

– Послушайте и вы узнаете, чего он достиг.

– Я предложил накопленные денежки хозяину мастерской в залог, чтоб он дал мне работу. «Я не ростовщик, чтобы брать деньги под проценты, и арестанта в свою мастерскую не пущу. Мне приходится ходить по домам и открывать замки; я пользуюсь доверием. Если узнают, что среди моих рабочих есть каторжник, потеряю заказчиков. За порог, дружок!»

– Не правда ли, Кардильяк, он получил по заслугам?

– Конечно...

– Глупый парень, – с покровительственным видом обратился Верзила к Франку, – надо было сразу с этим кончать, поехать в Париж, спустить все до последнего гроша и потом волей-неволей начать воровать! Ведь-тогда у тебя возникли бы неплохие замыслы.

– До каких пор ты мне будешь талдычить одно и то же? – с раздражением заговорил Франк. – Конечно, было глупо с моей стороны беречь деньги, все равно я ими не воспользовался. Жить под надзором в Этане было нелегко, там было всего четыре слесаря. Первый меня выдал, когда я обратился к другому, то получил тот же ответ... благодарю покорно. Всюду одна и та же песня.

– Видите, – друзья, к чему это ведет? Что там говорить? Мы прокляты навек!

– Вот и остался на мостовой в Этане. Прожил месяц-другой, – продолжал Франк, – денежки уплыли, работы никакой, хоть и был под надзором, я покинул город.

– Дурень, ты должен был сразу же так поступить.

– Явился в Париж, занялся своим ремеслом. Мой хозяин не знал меня, я сказал ему, что приехал из провинции, где считался мастером. Оставшиеся семьсот франков вручил маклеру, который выдал мне вексель. По истечении срока он мне ничего не возвратил. Я вручил вексель судебному исполнителю, тот добился выплаты, и я оставил деньги у него на черный день. Вот тогда-то я и встретил Верзилу.

– Понимаете, это я ускорил черный день, как вы увидите. Франк работал слесарем, изготавливал ключи. Подвернулось дело, он мог бы мне пригодиться. Я предложил ему быть сподручным: у меня были оттиски замков, он должен был изготовить ключи, это его специальность. Парень отказался... он хотел стать честным... Я подумал: надо ему все-таки удружить. Написал одно письмо без подписи его хозяину, несколько писем разослал владельцам таких же мастерских. Сообщил им, что Франк выпущен на свободу из тюрьмы. Хозяин выгнал его, а другие не стали с ним разговаривать. Он нанялся еще в одну мастерскую, но провел там всего неделю, и оттуда его прогнали. Да меняй он хоть десять мест, все равно я не оставил бы его в покое.

– А ведь я тогда не знал, что это ты донес на меня, – заметил Франк, – не то бы я тебе показал.

– Да ведь я не такой дурак. Сказал тебе, что уезжаю в Лонжюмо навестить дядю, а сам остался в Париже. Мне было известно все, что ты делаешь, от малыша Ледрю.

– В общем меня хозяин выгнал с последнего места работы как бродягу, заслужившего петлю. Итак, трудитесь, ведите себя спокойно, и вас спросят не о том, что вы делаете, нет, спросят, чем вы занимались раньше. Очутившись снова без заработка, я подумал: хорошо, что есть деньги, на них можно пожить. Направляюсь к судебному исполнителю, а тот сбежал, все пропало, и я остался без гроша, даже не смог заплатить за квартиру. Представляете, как я бесился!.. В то время Верзила якобы прибыл из Лонжюмо. Он воспользовался моим положением. Я не знал, что делать, хоть вешайся. Убедился, что, если вором был, вором и останешься. Черт возьми, а Верзила стал так меня донимать...

– Что наш славный Франк перестал сопротивляться, – продолжил Верзила. – Он смело подчинился судьбе, принял участие в деле, а дело представлялось богатое. К несчастью, в тот момент, когда мы уже готовы были раскрыть рот, чтобы проглотить кусок, нагрянули легавые и нас замели. Ну что подделаешь, несчастный случай. Без такого в нашем ремесле не обойтись. Чудес на свете не бывает.

– И все же... если бы тот мерзавец не обокрал меня, я бы не очутился здесь, – гневно возразил Франк.

– Довольно тебе, не такая уж беда, – сказал Верзила. – Разве ты был счастлив, когда работал как вол?

– Я был на свободе.

– Да, по воскресеньям, и то, когда не было срочной работы, а остальные дни сидел, как собака на цепи, и не знал, будет ли работа завтра. Слушай, ты не умеешь ценить своего счастья.

– Ты меня этому научишь, – с горечью возразил Франк.

– В конце концов, надо быть справедливым: ты можешь обижаться. Досадно, что не удалось сварганить это дело. Богатая добыча, но еще не поздно: буржуа поуспокоятся, надо вновь к

ним нагрнуть через месяц или два. Богатый дом, очень богатый. Я этим не смогу заняться, предстоит тюрьма, а вот если найду любителя, я ему уступлю этот подряд по дешевке. Отпечатки замков находятся у моей бабы, надо только опять сварганить ключи. Я все расскажу этому парню, и дело пойдет как по маслу. Куш хороший! Десять тысяч франков! Может, это тебя утешит, Франк?

Напарник Верзилы покачал головой и молча скрестил руки на груди.

Кардильяк взял Верзилу под руку, увел его в угол двора и, помолчав, спросил:

– Можно еще заняться тем делом, которое тебе не удалось закончить?

– Да, и через два месяца оно будет как новенькое.

– Ты можешь это доказать?

– Не сомневайся!

– Сколько ты за него хочешь?

– Сто франков на кон, и я сообщу пароль. Предъявишь его моей бабе, она выдаст тебе оттиск, затем сделаешь ключи. В случае удачи выплатишь ей пятую долю.

– Пойдет!

– Раз я буду знать человека, которому она вручила оттиск, он не надует, а если и надует, так я донесу. Вору будет хуже.

– Ты прав... но воры – люди честные, мы можем положиться друг на друга, иначе нельзя браться за дело...

Вот еще уродство ужасных тюремных нравов.

Этот негодяй рассуждал справедливо.

Редко случается, чтобы вор не сдержал слово, данное при подобной сделке. Такие преступные сговоры между ворами заключаются честно. Впрочем, это слово как-то неудобно здесь употреблять. Скажем лучше, что жестокая необходимость обязывает бандитов точно соблюдать договоренность, в противном случае невозможно было бы совершать грабежи и кражи, как это справедливо признал сообщник Верзилы.

За наводку арестанты берут деньги, там же, в тюрьме, договариваются, как совершить грабеж, и в этом мы видим еще одно из пагубных последствий содержания заключенных в общих камерах.

– Если ты говоришь правду, – сказал Кардильяк, – я могу взяться за это дело: улики против меня нет, я убежден, что меня оправдают. Через две недели состоится суд, и дней через двадцать я на свободе. Какое-то время пойдет на то, чтоб осмотреться, смастерить ключи, собрать нужные сведения... а через месяц-полтора можно будет... заняться этим дельцем.

– Да, а за это время хозяева придут в себя... Ведь раз воры побывали в одном доме, все уверены, что во второй раз они не осмелятся прийти сюда; ты это знаешь.

– Знаю. Берусь за это дело. Договорились.

– А чем ты мне заплатишь?.. Давай задаток.

– Смотри, вот моя последняя пуговица; когда их больше не будет, появится еще что-то, – сказал Кардильяк, вырывая одну из обтянутых материей пуговиц, украшавших его старый синий сюртук. Затем он сорвал ногтями обшивку пуговицы, и Верзила увидел, что вместо деревяшки в ней была монета в сорок франков. – Видишь, я могу заплатить тебе задаток, когда мы поговорим о деле.

– Тогда по рукам, старина, – сказал Верзила. – Раз ты скоро выходишь и у тебя есть средства для оплаты моего подряда, могу тебе предложить еще одну сделку; но это уж просто конфетка – кража с наводкой. Уже два месяца, как мы с моей шмарой задумали это дельце... а теперь оно совсем созрело. Представь себе, стоит дом в безлюдном месте, окна первого этажа выходят с одной стороны на пустынную улицу, с другой – в сад; два старика ложатся спать рано, с курами. Когда было беспокойно, они, боясь, что их ограбят, спрятали банку с монетами за обшивку стены... Это моя баба обнаружила след, когда болтала со служанкой. Поверь мне, за этот куш ты заплатишь больше, здесь рыжики как на подносе, только бери.

– Будь спокоен, договоримся... Я вижу, ты славно поработал после Централки.

– Да, мне повезло... Я сбондил всякого добра тысячи на полторы. Ловко обработал мать и

дочь, что живут в Пивоваренном проезде, где и я.

– У скупщика, дядюшки Мику?

– Точно.

– А как поживает твоя жена Жозефина?

– По-прежнему ловкая проныра. Вела хозяйство у этих стариков, о которых я тебе рассказывал. Это она пронюхала про банку с рыжиками.

– Молодец!

– Я горжусь ею... А кстати, насчет проныр, ты хорошо знал Сычиху?

– Да, Николая мне рассказывал, что Грамотей ее искалечил, а потом сам сошел с ума.

– Я думаю, это потому, что он потерял зрение. Несчастный случай. Ну вот что, Кардильяк: раз ты хочешь взять мой подряд, я никому другому поручать не стану.

– Никому. Обо всем условимся вечером.

– Ну ладно, а как вы здесь живете?

– Веселимся до смерти.

– А кто староста?

– Скелет.

– Вот кому палец в рот не клади. Я встречал его у Марсиаля на острове Черпальщика... Мы там кутили с Жозефиной и Толстушкой.

– Кстати, Николая здесь.

– Я хорошо его знаю, дядя Мику мне говорил о нем. Он жаловался, что Николая брал на бога старого бродягу, я тоже от него что-нибудь да сгребу... Скупщики... для этого созданы.

– А вот и Скелет, легок на помине, – сказал Кардильяк, показывая на своего приятеля, старосту, появившегося в дверях.

– Новобранец, на перекличку! – обратился Скелет к Хромому.

– Здесь, – заявил тот, входя в зал вместе с Франком, которого он взял под руку.

Во время разговора Верзила, Франка и Кардильяка Крючок, по приказу Скелета, пошел позвать человек двенадцать – пятнадцать из числа наиболее верных арестантов. Они, чтобы не вызывать подозрения надзирателя, входили в зал не все сразу, а поодиночке.

Остальные заключенные гуляли во дворе, некоторые, по совету Крючка, шумно вели себя, чтобы отвлечь внимание надзирателя от того, что происходило в зале, где собрались Скелет, Крючок, Николая, Франк, Кардильяк, Верзила и еще человек пятнадцать: все они с нетерпением ждали, что скажет староста.

Крючок, которому было поручено следить за надзирателем, стоял подле двери. Скелет, вынув трубку изо рта, спросил Верзилу:

– Знаешь ли ты молодого голубоглазого брюнета, Жермена, вроде бы честного парня?

– Жермен здесь! – злобно воскликнул Верзила.

– Ты его знаешь?

– Знаю ли я его?... – ответил Верзила. – Друзья, он «наседка»... говорю я вам... надо его проучить...

– Да, да, – закричали арестанты.

– Ты убежден, что он наушничал? – спросил Франк. – Не ошибаешься? Погубить невинного человека...

Эти слова не понравились Скелету; наклонившись к Хромому, он шепнул:

– Кто это?

– Знакомый, я с ним работал.

– Ты в нем уверен?

– Да, но он трус, рохля.

– Ладно, буду за ним следить.

– Расскажи, кого Жермен продал, – спросил один из заключенных.

– Рассказывай, Верзила, – повторил Скелет, не спуская глаз с Франка.

– Хорошо, – сказал Верзила, – один житель Нанта по имени Велю, выйдя на волю, воспитывал бездомного мальчика. Когда мальчуган вырос, Велю устроил его в Нанте на службу в кон-

тору банкира, надеясь при помощи Жермена сварганить одно дело, задуманное им уже много лет тому назад, а именно: подлог документа и ограбление банкира тысяч на сто франков. Сделать это предполагалось в два приема... Все уже было готово. Велю надеялся на юнца как на себя; этот шалопай спал там, где находилась касса. Велю объяснил ему свой план. Жермен промолчал, потом сообщил все хозяину и в тот же вечер удрал в Париж.

Арестанты возмущенно зашептались, слышались угрозы в адрес Жермена:

– Это доносчик... Надо его покалечить...

– Я его задену... и затем прикончу...

– Надо раскроить ему рожу, чтоб потом его отправили в госпиталь.

– Молчать! – грозно закричал Скелет.

Арестанты умолкли.

– Говори, – сказал староста Верзиле, продолжая курить.

– У Велю было два дружка. Они думали, что Жермен согласен участвовать в деле и поможет им. В ту же ночь они совершили нападение; но Жермен предупредил банкира, и тот зорко охранял дом. Один из приятелей Велю был пойман, когда он лез в окно, но сам Велю убежал... Он был разгневан предательством Жермена и тем, что не удалось схватить куш, и приехал в Париж. Вдруг, среди бела дня, встречает там юношу. Днем Велю боится что-либо предпринять, но он замечает, где Жермен живет, и ночью мы втроем окружили Жермена... К несчастью, он от нас ускользнул... и удрал с улицы Тампль, где жил раньше; с тех пор мы не могли его найти, но раз он здесь... я требую...

– Не твое дело требовать, – властно заявил Скелет.

Верзила замолчал.

– Этим займусь я, ты уступишь мне шкуру доносчика, я расправлюсь с ним, не зря меня зовут Скелетом. Я – живой труп... мне ведь приготовлена могила в Кламаре; ничем не рискуя, поработаю для наших ребят. Шпионы губят нас больше, чем легавые. Их переводят от нас в Рокетт, а из Рокетт отправляют в Консьержери. Они чувствуют себя в безопасности. Но не выйдет. Когда в каждой тюрьме убьют своего шпиона, не важно, где он предавал, другим будет неповадно... Я покажу пример... Так поступят и другие.

Арестанты, восхищавшиеся смелостью Скелета, столпились вокруг него. Даже Крючок, вместо того чтобы оставаться у двери, присоединился к ним и не заметил, как новичок вошел в зал.

На нем была серая куртка и надвинутый на лоб синий колпак, вышитый красной шерстью. Он вздрогнул, услышав имя Жермена, затем присоединился к толпе, окружавшей Скелета, всячески одобряя жестами и возгласами решение старосты.

– Лихой молодец, Скелет, – сказал один из арестантов, – ну и башка у него!

– Он и самого дьявола не побоится!

– Настоящий мужчина!

– Если бы все арестанты были такими же молодцами... именно тогда мы стали бы судьями и казнили бы честных людей.

– Это было бы справедливо... Всякому свой черед...

– Да... но мы никак не договоримся.

– Все равно... он помогает всем ворами. Зная, что их ждет, доносчики перестанут наушничать.

– Ясное дело.

– Скелету ничего не стоит убить предателя, раз он уверен, что его дни сочтены.

– По-моему, жестоко убивать юношу, – возразил Франк.

– Как, почему, – гневно завопил Скелет, – разве мы не имеем права завалить предателя?

Поразмыслив, Франк сказал:

– Да, он и в самом деле насадка, так ему и надо.

Эти последние слова и показания Верзилы рассеяли сомнение, которое Франк вызвал у присутствующих.

Один лишь Скелет сомневался в том, удастся ли ему выполнить свое намерение.

– А что делать с надзирателем, Живой Труп? Так будем называть тебя, – усмехаясь, спросил Николая Скелета.

– Руссея задержат в другом месте.

– Нет, его уведут в сторону.

– Да...

– Нет.

– Молчать! – крикнул Скелет. Наступила полная тишина.

– Слушайте меня, – хриплым голосом заговорил староста. – Пока тюремщик будет в зале, нельзя его прикончить. У меня нет ножа, а если я стану душить, Жермен начнет кричать, будет отбиваться.

– Как же быть?

– А вот как: Острослов обещал рассказать сегодня историю про Сухарика. Начнется дождь, мы соберемся здесь, доносчик усядется в углу, на свое обычное место. Мы заплатим Гоберу несколько су, чтоб он стал рассказывать... Наступит обеденное время... Надзиратель, видя, что мы сидим спокойно и слушаем сказку о Сухарике, не побоится оставить нас одних, пойдет обедать. Как только он уйдет, у нас будет время, и когда надзиратель вернется, доносчик уже отдаст богу душу... Я все беру на себя, справлялся не с такими... мне помогать не надо...

– Послушайте, – воскликнул Кардильяк, – в это время к нам всегда приходит судебный исполнитель. Если он войдет в зал послушать Гобера и увидит, что здесь душат Жермена, он завопит... Чиновник этот – дрянь, он сидит в отдельной камере, его надо остерегаться.

– Верно, – сказал Скелет.

– Судебный исполнитель? – воскликнул Франк. – Пристав, – с удивлением продолжал он, – а как его фамилия?

– Буляр.

– Я его знаю! – воскликнул Франк, сжав кулаки. – Это он ограбил меня.

– Судебный исполнитель? – спросил староста.

– Да, это он получил для меня семьсот франков и сгреб их.

– Ты его знаешь?.. Он тебя видел? – спросил Скелет.

– Конечно, знаю... К несчастью, я из-за него и попал в тюрьму.

Сообщение это Скелету было не по душе. Он подозрительно посмотрел на Франка, который отвечал на вопросы своих друзей. Затем староста, наклонившись к Верзиле, тихо сказал:

– Этот тип передаст надзирателю о нашем сговоре.

– Нет, ручаюсь, не передаст, но он ничего не понимает, быть может, способен заступиться за Жермена. Лучше удалить его.

– Довольно, – сказал Скелет, а затем спросил Франка: – А ты не хочешь посчитаться с Буляром?

– Дайте мне волю, пусть только придет, я с ним поговорю.

– Он сейчас явится, подготовься.

– Я готов, за мной дело не станет, он свое получит.

– Станут драться, пристава отправят в камеру, а Франка – в карцер, – шепнул староста Верзиле, – и нас избавят от обоих.

– Какой ты мудрец, Скелет! Голова! – с восхищением произнес бандит.

Затем он громко спросил:

– Острослову сказали, что он должен отвлечь надзирателя и что мы прикончим доносчика?

– Нет. Он труслив и добродушен, если б узнал, то не стал бы рассказывать. А когда все произойдет, он поневоле смолчит.

Прозвучал звонок к обеду.

– Эй, воры, жрать! – объявил Скелет. – Сейчас придут Острослов и Жермен. Слушайте все: я Живой Труп, но и доносчик – тоже Живой Труп.

Глава VIII РАССКАЗЧИК

Новый арестант, о котором мы говорили, тот, что носил синий колпак и серую блузу, внимательно слушал и энергично одобрял заговор, угрожавший жизни Жермена. Человек этот, атлетического сложения, вышел незамеченным из теплого зала с другими узниками и присоединился к толпе заключенных, толпившихся во дворе вокруг раздатчиков пищи, разносивших вареное мясо в медных тазах и хлеб в огромных корзинах.

Каждый арестант получал кусок вареной говядины без костей, из которых наутро был сварен жирный суп, и краюху хлеба, на вкус лучше солдатского.⁴¹

Заключенные, у которых были деньги, могли купить в столовой вино и там, как говорится, опрокинуть стаканчик.

Те узники, что, как, например, Николя, получали различные продукты с воли, потчевали своих друзей. В этот день сын казненного преступника пригласил на трапезу Скелета, Крючка и, по совету старосты, Гобера, для того чтобы уговорить его рассказывать про Сухарика и Душегуба. Ветчина, крутые яйца, сыр и белый хлеб – дары подневольной щедрости скупщика Мику – были разложены на скамейке, и Скелет спокойно приготовился отдать им должное, ничуть не мучаясь мыслями об убийстве, которое он собирался хладнокровно совершить.

– Пойди посмотри, не идет ли Острослов, поторопи-ка его, – обратился он к Николя. – Прежде чем покончить с Жерменом, я выпью и закушу. Не забудь сказать Верзиле, что надо натравить Франка на судебного исполнителя, чтоб освободить Львиный Ров от обоих.

– Не волнуйся, но если Франк не проучит судебного исполнителя, то это не по нашей вине...

И Николя вышел из теплого зала.

В это время на дворе появился метр Буляр, он курил сигару; его руки прятались в длинном сюртуке серого сукна, а голова – в фуражке с козырьком, надвинутой на уши. На его румяном и пухлом лице сияла улыбка. Он увидел Николя, который сразу же начал высматривать Франка. Франк и Верзила обедали на скамье и не замечали пристава: они сидели к нему спиной.

Неукоснительно выполняя указания Скелета, Николя, увидев, что метр Буляр подходит к нему, сделал вид, что не замечает его, подошел к Франку и Верзиле.

– Здравствуйте, любезный, – обратился Буляр к Николя.

– А, добрый день, сударь, я вас не заметил. Вы, как обычно, прогуливаетесь?

– Да, мой милый, и сегодня, совершая прогулку, я преследовал двойную цель. Все вам объясню, но сначала, пожалуйста, сигары... Не стесняйтесь. Между друзьями, черт побери, не следует церемониться.

– Благодарю вас. Какая же двойная цель?

– Я вам объясню. Сегодня утром у меня отсутствует аппетит... и я решил, что, обедая среди веселых молодцов, видя, как они поглощают еду, может быть, и я проголодаюсь.

– Неглупо придумано... Но вот что, если вы хотите видеть двух молодчиков, которые лихо пожирают все, что им дают, – сказал Николя, подводя Буляра к скамье Франка, который сидел спиной к нему, – посмотрите на эти морды; сразу почувствуете голод, как будто вы только что съели банку корнишонов.

– А, черт возьми, надо посмотреть на это чудо, – произнес метр Буляр.

– Эй, Верзила! – крикнул Николя. Верзила и Франк разом оглянулись.

Буляр был поражен и невольно разинул рот, узнав человека, которого он ограбил.

Франк, швырнув хлеб и мясо на скамью, в мгновение ока подскочил к метру Буляру и, схватив его за шею, воскликнул:

– Отдай деньги!..

⁴¹ Таков тюремный режим питания: на завтрак арестант получает миску супа, либо мясного, либо постного, разбавленного бульоном. На ужин порцию мяса (четверть фунта) без костей либо порцию овощей из фасоли и картофеля, каждый день разнообразные овощи. Бесспорно, заключенные в силу гуманности должны иметь здоровую и обильную пищу... К тому же заметим, что большинство самых трудолюбивых рабочих, наиболее устроенных, питаются мясным супом и мясом не более десяти раз в год.

– Как... что? Вы меня задушите... я... Друг мой, послушайте меня...

– Деньги, говорю! Хотя теперь уже поздно, из-за тебя я попал сюда.

– Но... я... но...

– Если попаду на галеры, это ты будешь виноват, потому что, не укради ты у меня деньги, я не стал бы воровать, был бы честным человеком, каким желал стать всегда.

Тебя-то оправдают. Тебе-то ничего не будет, но от меня не уйдешь, ты меня запомнишь! Ведь у тебя бриллианты и золото, а ты грабишь бедняков. Негодяй! Вот тебе в рыло, получай... Ну что, хватит? Нет... на вот!

– Помогите! Помогите!.. – завопил Буляр, повалившись у ног Франка, который яростно его избивал.

Другие арестанты, весьма равнодушные к потасовке, окружили дерущихся, вернее избиваемого, так как Буляр, испуганный, запыхавшийся, не оказывал никакого сопротивления, только стремился защитить себя от ударов, наносимых врагом.

К счастью, на крик пристава прибежал надзиратель и оттащил его от Франка.

Метр Буляр, бледный, потрясенный, с подбитым глазом, встал и ринулся к проходной. На полу осталась лежать его фуражка.

– Откройте, – обратился он к надзирателю, – не хочу больше здесь быть. Помогите мне...

– А ты, за избиение господина, за мной, к начальнику тюрьмы, и на два дня в карцер, – заявил надзиратель, схватив Франка за шиворот.

– Плевать я хотел, зато он получил свое, – ответил Франк.

– Слушай, – тихо произнес Верзила, делая вид, что приводит в порядок одежду Франка, – ни слова о шпионе.

– Ладно, но если б остался здесь, то заступился бы за него, ведь убивать за такую вину человека... жестоко, но выдавать вас не стану!

– Не задерживайся! – сказал надзиратель.

– Ну вот, порядок: избавились от того и от другого... теперь возьмемся за Жермена, – заметил Николя.

В то время как Франка уводили со двора, появились Жермен и Гобер.

Жермена нельзя было узнать: лицо его, прежде печальное и унылое, сияло искренней радостью. С гордо поднятой головой он смотрел на всех довольный, уверенный в себе. Он был любим... отныне тюрьма ему не страшна.

Гобер следовал за ним со смущенным видом; он хотел заговорить с ним и наконец, сделав над собой усилие, легонько коснулся Жермена, прежде чем тот приблизился к арестантам, наблюдавшим за ним со скрытой ненавистью. Намеченная жертва не могла от них ускользнуть.

Жермен вздрогнул, когда Гобер дотронулся до него, так как бывший фокусник, одетый в лохмотья, не внушал ему доверия. Но, вспомнив наставления Хохотушки, чувствуя себя счастливым и желая проявить учтивость, Жермен остановился и тихо спросил у Гобера:

– Что вам угодно?

– Поблагодарить вас!

– За что?

– За то, что ваша милая знакомая хочет помочь моей сестре.

– Не понимаю вас, – удивленно сказал Жермен.

– Все объясню. Я только что встретил в канцелярии надзирателя, дежурившего в приемной во время свидания с арестантами.

– А, да... это славный человек...

– Обыкновенно такого не встретишь среди тюремных надзирателей, но наш добрый папаша Руссель не похож на них... он заслуживает, чтобы его так называли... Сейчас он шепнул мне на одно ухо: «Фортюне, дорогой, хорошо ли вы знаете Жермена?» – «Да, его все ненавидят», – ответил я.

Подумав немного, Гобер продолжал:

– Простите за то, что я так отозвался о вас, не обращайтесь внимания... дослушайте до конца. «Да, – сказал я, – я знаю господина Жермена, которого ненавидит весь тюремный двор». – «И вы

также?» – со строгим видом спросил меня наш страж. «Да что вы, я слишком труслив и слишком добродушен, чтобы к кому-нибудь питать ненависть, а тем более к Жермену, который не кажется мне злым. Относятся к нему несправедливо». – «Ну, ладно, Гобер? Вы – молодец, охраняйте Жермена, ведь он оказал вам услугу». – «Каким образом?» – спросил я. А дядюшка Руссель в ответ: «Не вам, но все равно вы должны быть ему благодарны».

– Послушайте, я ничего не понимаю, – улыбаясь, сказал Жермен, – объясните, в чем дело.

– Вот и я также спросил Русселя, мол, объясните, ничего не понимаю. Тогда он мне разъяснил, что не Жермен, а его славная посетительница была так добра к моей сестре. Оказывается, ваша барышня слышала, как моя сестра во время свидания жаловалась мне на свою судьбу, и, когда бедная женщина выходила из приемной, эта милая незнакомка предложила ей посильную помощь.

– Добрая Хохотушка! – с нежностью произнес Жермен. – Она мне об этом не сказала ни слова!

– «Значит, я просто осел, – ответил я Русселю. – Вы правы: Жермен был добр ко мне, ведь его знакомая все равно что он, а моя сестра Жанна все равно что я, и даже больше, чем я».

– Бедняжка Хохотушка! – продолжал Жермен. – Это меня не удивляет, ведь у нее такое великодушное, сострадательное сердце!

– А потом Руссель мне сообщил, что он, не подавая вида, слышал разговор вашей барышни с моей сестрой и предупредил меня: мол, если не поможете Жермену, узнав, что против него заговор, то будете законченным подлецом, Гобер... Я же ответил ему, что в моей душе нет подлости и что раз подружка Жермена обещала поддержать мою сестру, честную и славную женщину... я сделаю все, что смогу, для Жермена... «Как можете, так и помогите, – ответил мне дядюшка Руссель. – Кстати, можете сообщить ему новость...»

– Что именно? – спросил Жермен.

– Завтра освобождается отдельная камера. Руссель просил меня предупредить вас об этом.

– Неужели это правда? О, какое счастье! – воскликнул Жермен. – Этот славный человек прав: вы сообщили мне хорошую новость.

– Честно говоря, я тоже так думаю. Убежден, что ваше место не с такими людьми, как мы, господин Жермен.

Затем Фортюне Гобер, стараясь, чтобы никто не заметил, шепнул Жермену:

– Видите, как они смотрят на нас: недовольны, что я с вами. Я уйду, будьте осторожны. Если к вам станут придирааться, не отвечайте. Они будут искать повод, чтобы поссориться с вами, а затем избить вас. Начнет Крючок. Остерегайтесь его. Я постараюсь успокоить их...

Гобер, сделав вид, будто он нашел что-то на полу, нагнулся, затем привстал и удалился.

– Благодарю вас, добрый вы человек. Я буду осторожен, – сказал Жермен.

Гобер знал лишь о том, что Жермена хотят избить, чтобы его перевели в другую камеру, но он ничего не знал об убийстве, которое замыслил Скелет. Ему не было известно и то, что арестанты рассчитывают воспользоваться его рассказом, чтобы отвлечь внимание надзирателя.

– Эй, лодырь, все болтаешь, – обратился Николя к Гоберу. – Оставь свою баланду, у нас тут пир, усаживайся.

– А где? В «Корзине цветов»? В ресторане «Ванька-Встанька»?

– Шут!.. Нет, в нашем зале. Стол накрыт... пир горой! У нас свинина, яйца, сыр... Я плачу.

– Меня устраивает, жаль только, что сестра будет внакладе, ее дети не часто видят мясо, разве что выпросят у мясника.

– Ладно, торопись, Скелет голоден. Он и Крючок сожрут все сами.

Николя и Гобер вошли в зал. Скелет, сидя верхом на скамье, где была разложена еда, ругался и проклинал всех, ожидая радушного хозяина.

– Наконец-то, улита, где пропадал, что делал? – спросил бандит.

– Да он стоял с Жерменом, – ответил Николя, нарезая окорок.

– Разговаривал с Жерменом? – спросил Скелет, внимательно глядя на Гобера и не переставая пожирать еду.

– Да! – произнес Гобер. – Парень этот пороха не выдумает, даже крутых яиц, глупый он,

этот Жермен! Я слышал, будто он шпионил в тюрьме. Так он ведь болван!

– Ты думаешь? – возразил Скелет, обращаясь к Николаю и Крючку.

– Просто убежден, как и в том, что это окорок! Какого черта вы придумали, что он занимается слежкой? Он вечно один, ни с кем не разговаривает, и к нему никто не обращается, он бежит от нас как от чумы. Так что он может о нас сообщить? Впрочем, скоро он перейдет в одиночную камеру.

– Когда? – вскричал Скелет.

– Завтра он займет свободную камеру.

– Тебе понятно, надо спешить, завалить барана сегодня! Не то опоздаем, он будет спать в другой камере. Сегодня до четырех, а сейчас уже три часа, – шепнул Скелет Николаю, в то время как Гобер судачил с Крючком.

– Да, – воскликнул Николай, делая вид, что отвечает Скелету, – Жермен презирает нас.

– Наоборот, – возразил Гобер, – вы смущаете юношу, он чувствует себя перед вами как ничтожная тварь. Знаете, в чем он мне признался?

– Нет! В чем?.

– Он мне сказал: «Какой счастливый вы, Гобер, что смеете разговаривать со знаменитым (знаменитым – так и сказал) Скелетом на равных. Я очень хочу поговорить с ним, но мне он кажется таким почтенным, что, встретить я самого префекта полиции при всех его регалиях, я не почувствовал бы себя таким ничтожеством».

– Он тебе так и сказал? – возразил Скелет, делая вид, что верит этим словам и что он расстроган тем, какое впечатление производит он на Жермена.

– Да, так и сказал! Это так же верно, как то, что ты – величайший бандит на свете!

– Тогда дело другое, – ответил Скелет. – Я с ним помирюсь. Крючок хотел затеять драку. Теперь он не станет к нему приставать.

– Это справедливо, – воскликнул Гобер, убежденный в том, что отвел нависшую над Жерменом опасность. – Он славный малый, не станет ссориться с вами. Он ведь вроде меня – смел, как заяц.

– А все ж досадно, – заговорил Скелет, – мы хотели схлестнуться после обеда. Скучно будет коротать время.

– А верно, что мы будем делать после обеда? – сказал Николай.

– Если так, пусть Фортюне займет нас, расскажет какую-нибудь историю, и я не стану приставать к Жермену, – заявил Крючок.

– Ладно, согласен! – ответил Гобер. – Только с одним условием, иначе не буду рассказывать.

– Какое еще условие?

– Почтенная компания, среди которой много богачей, соберет в мою пользу двадцать су, – заговорил Гобер своим всегдашним тоном зазывалы. – Да, да, господа! Двадцать су! За то, чтобы услышать знаменитого Острослова, выступавшего среди самых знатных грабителей, самых известных бандитов Франции и Наварры, которого постоянно ждут в Бресте и Тулоне, куда он должен отправиться по приказу правительства. Двадцать су! Это – даром, господа!

– Ладно, потом отдадим тебе двадцать су.

– Потом? Нет, деньги вперед, – воскликнул Гобер.

– Послушай! Неужели ты думаешь, что мы тебя обманем, не заплатив двадцать су? – с возмущением спросил Скелет.

– Совсем нет! Я всецело доверяю нашей братии. Это для того, чтобы побереечь ваши денежки, я требую двадцать су вперед.

– Честное слово?

– Да, господа, моей повестью вы будете так довольны, что не двадцать су, а двадцать франков, сто франков заплатите мне! Я спорить не буду и соглашусь их принять. Видите, сэкономите, если заранее дадите двадцать су!

– Ну и хвастун же!

– Я работаю только языком, нужно, чтоб он мне помогал. К тому же моя сестра и ее дети

терпят нужду, а двадцать су для них кое-что значат.

– Почему твоя сестра не займется нашим делом и ребята тоже, если они уже большие? – возразил Николя.

– Не говорите мне об этом, она меня огорчает, позорит... ведь я слишком великодушен.

– Скажи лучше – слишком глупый, если помогаешь ей.

– Правда, я помогаю ей быть честной, а в ваших глазах это порок. Впрочем, она ни на что больше не способна, жаль ее, что и говорить! Ну ладно, решено – я вам расскажу свою знаменитую историю «Сухарик и Душегуб», мне заплатят двадцать су, и Крючок не будет затевать драку с этим идиотом Жерменом, – заявил Гобер.

– Тебе соберут двадцать су, и Крючок не будет задевать этого идиота Жермена, – согласился Скелет.

– Итак, внимание, вы услышите нечто необыкновенное. Смотрите, идет дождь, и публика прибывает, дождь гонит ее сюда, зазывать никого не нужно.

И действительно, пошел дождь, арестанты сопровождаемые надзирателем, уходили с прогулочного двора, чтобы укрыться в теплом зале.

Мы уже говорили, что это был просторный зал, вымощенный плитами, с тремя окнами, выходящими на двор. Посреди зала стояла печь, подле которой уселись Скелет, Крючок, Николя и Гобер. По знаку старосты к ним присоединился и Верзила.

Жермен вошел одним из последних, увлеченный сладостной мечтой. Он направился к последнему окну зала и уселся на подоконник, занял свое обычное место. Никто на это место не претендовал, так как оно находилось вдалеке от печи, вокруг которой собрались арестанты.

Мы уже говорили о том, что лишь человек пятнадцать считали Жермена провокатором и знали, что его сегодня должны убить.

Но вскоре все преступники услышали эту новость, и все они одобряли готовящуюся расправу. Негодяи в своей слепой жестокости считали это убийство законным возмездием и надежной гарантией против предателей.

Только Жермен, Гобер и надзиратель не знали, что должно произойти.

Всеобщее внимание привлекли к себе палач, его жертва и рассказчик; последний невольно лишил Жермена единственной защиты, которой он мог ожидать, так как почти наверняка надзиратель, видя, что все слушают рассказ Гобера, воспользуется этим временем, чтобы пойти пообедать.

И действительно, когда все заключенные собрались, Скелет обратился к надзирателю:

– Послушайте, старина, Острослов задумал отличное дело, он расскажет нам историю о Сухарике и Душегубе. Погода такая скверная, что во дворе нельзя оставить даже охранника, да он и не нужен, мы здесь спокойно будем слушать, а потом разойдемся по камерам.

– Хорошо, согласен. Когда он балагурит, вы ведете себя тихо... По крайней мере, мне не зачем стоять у вас над душой.

– Ладно, – произнес Скелет, – но Острослов дорого запросил за рассказ... хочет двадцать су.

– Да двадцать су – это просто даром, – воскликнул Острослов. – Да, господа, совсем даром. Неужели, чтобы сберечь грош, вы лишите себя удовольствия послушать о приключениях бедного Сухарика, грозного Душегуба и негодяя Гаргуса... От рассказа сердце разрывается, волосы становятся дыбом. Итак, господа, неужели у вас не найдется четырех грошей или попросту пяти сантимов, чтобы у вас разорвалось сердце и волосы стали бы дыбом?

– Кладу два су. Эй вы, неужели наша банда не пожелает развлечься? – спросил Скелет, многозначительно посмотрев на своих сообщников.

К великой радости Гобера, который собирал деньги для своей сестры, со всех сторон посыпались монеты.

– Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать! – объявил он. – Ну, господа капиталисты и банкиры, поднатужьтесь, не можете же вы остановиться на несчастном числе тринадцать? Нужно еще всего семь су, ничтожная сумма – семь су! Как же, господа, все будут говорить, что шайка Львиного Рва не смогла собрать еще семь су, да, несчастных семь су! Ах,

господа, люди подумают, что вы попали сюда случайно или что вы жмоты.

Резкий голос рассказчика и его шутки вывели Жермена из задумчивости и, вспомнив совет Хохотушки – быть более общительным, а также желая подать милостыню бедняку, который хотел оказать ему помощь, он встал и бросил к ногам рассказчика монету в десять су.

– Десять су, господа! Я говорил о капиталистах... почет и уважение господину: он ведет себя как банкир, как посол, для того чтобы вы были довольны. Да, господа, большую часть моего рассказа о Сухарике и Душегубе заслужил он, вы у него в долгу, и вы отблагодарите его! А три су сверх установленной платы станут моим вознаграждением за то, что я буду подражать героям, а не просто говорить, как говорю с вами. Этим вы обязаны богатому господину, которого вы должны обожать.

– Слушай, перестань ехидничать, приступай к делу! – заявил Скелет.

– Внимание, господа, – сказал Гобер, – нужно проявить справедливость к богачу, который дал мне десять су; он, вслед за старостой, должен занять лучшее место.

Это предложение устраивало Скелета, он заорал:

– Верно, я, а затем он должны занять лучшие места. И Скелет с ухмылкой подмигнул своим сообщникам.

– Да, да, пусть он пересядет, – заорали они.

– Пусть займет место на первой скамейке.

– Видите, молодой человек... ваша щедрость вознаграждена, достопочтенное общество предлагает вам занять место в первом ряду, – сказал Гобер Жермену.

Полагая, что своей щедростью он и в самом деле добился благосклонности озлобленных арестантов, довольный тем, что исполняет указание Хохотушки, Жермен отнюдь не без сожаления оставил излюбленное место и приблизился к рассказчику.

Этот последний, вместе с Николя и Крючком, установив вокруг печи четыре или пять скамеек, стоявших в темном зале, высокопарно заговорил:

– Вот первые ложи! Особая почеть каждому сеньору, но прежде всего капиталисту. Теперь те, кто заплатил, сядут на скамейки, – весело добавил рассказчик, убежденный в том, что Жермену сейчас благодаря его заботам ничего не угрожает. – А безбилетники пусть устраиваются на полу либо будут слушать стоя...

Итак, воспроизведем обстановку сцены.

Острослов находился возле печи и собирался рассказывать. Подле него расположился Скелет, пристально взирая на Жермена, и готовился схватить его, как только надзиратель уйдет из зала.

Невдалеке от Жермена, Николя, Крючка, Кардильяка и еще одной группы арестантов можно было заметить человека в серой блузе и синем колпаке, занимавшего место на последней скамье.

Большинство заключенных сидели на полу, некоторые стояли у стен, как бы представляя задний ряд, освещенный боковыми окнами, яркий свет от которых перемежался мрачной тенью, выделяя, словно на полотнах Рембрандта, столь непохожие друг на друга грубые черты их лиц.

Заметим к тому же, что надзиратель, который, не подозревая, что должен был своим уходом подать сигнал к убийству Жермена, уже находился у выхода.

– Ну что, начинать? – спросил Гобер Скелета.

– Эй, соблюдайте тишину! – заявил староста, а затем, обращаясь к рассказчику, сказал: – Теперь начинай, тебя слушают.

Наступила глубокая тишина.

Глава IX СУХАРИК И ДУШЕГУБ

... Нет ничего нежнее, спасительнее, драгоценнее, чем ваши слова; они чаруют, облагораживают...
(Вольфганг, 1, IV)

Прежде чем Гобер начнет свой рассказ, поведаем читателю, что в силу разительного контраста большинство арестантов, несмотря на их цинизм, любят трогательные истории – нам не хотелось бы называть их наивными, в которых, по законам неумолимого рока, униженный герой после бесчисленных приключений мстит тирану.

Мы далеки от мысли сопоставлять порочные натуры с людьми бедными, но достойными, и все же разве вы не знаете, как бурно приветствует публика в театрах на Больших Бульварах освобождение жертвы и какие грозные окрики адресует она злодеям и предателям?

Обычно с иронией относятся к проявлению народных симпатий к добрым, слабым, преследуемым и к неприязни по отношению к сильным, несправедливым, жестоким.

Нам это представляется некоторым заблуждением.

Именно эти вкусы публики вызывают в нас отрадное чувство.

Бесспорно, что эти здоровые инстинкты могли бы послужить прочным моральным фундаментом для тех несчастных, которые в силу их невежества и бедности подвержены стихиям зла.

Мы всецело возлагаем надежду на неизменно здоровый инстинкт народа, публики, которая, несмотря на поклонение искусству, никогда бы не позволила, чтоб развязка драмы завершилась торжеством подлеца и казнью праведника.

Это обстоятельство многие презирают, подвергают насмешкам, нам же оно кажется весьма существенным, так как выявляет склонности, которые можно обнаружить у самых порочных натур, когда они, так сказать, находятся в покое, никто не подстрекает их и ничто не принуждает совершать какое-либо злодеяние.

Словом, раз люди, погрязшие в пороке, увлечены рассказом о возвышенных чувствах, то не должны ли мы верить, что всем им более или менее свойственна любовь к красоте, добру, справедливости, но нищета, отупение душат эти божественные инстинкты, являются главной причиной падения нравов.

Не очевидно ли, что злыми люди становятся только потому, что они несчастны; избавьте человека от ужасных пут нищеты, улучшите условия его существования, и люди смогут вести праведный образ жизни.

Мы надеемся, что впечатление, которое произведет рассказ Гобера, позволит нам подтвердить некоторые наши мысли.

Все замолкли, и Гобер начал свою историю:

– Все это происходило много лет тому назад. Тогда еще в Париже был квартал, называемый Маленькая Польша. Известно ли вам, что это такое?

– Известно, – откликнулся заключенный в синем колпаке и серой куртке, – это были хибары, расположенные между улицами Роше и Пепиньер.

– Правильно, дружок, – сказал Гобер. – И хотя в квартале Сите отнюдь не дворцы, он по сравнению с Маленькой Польшей казался все равно что улицы Мира или Риволи; настоящие трущобы, впрочем, для грабителей место удобное, улиц не было, одни переулки, вместо домов – лачуги; мостовых тоже не было, сплошная каша из грязи и навоза, и если бы экипажи там проезжали, то они не производили бы шума, но экипажей там не было. С утра и до вечера и в особенности с вечера до утра слышались вопли: «Караул, на помощь!», «Убивают!» Но полиция не обращала внимания. Чем больше было убитых в Маленькой Польше, тем меньше там оставалось преступников.

Народ кишмя кишел, правда, ювелиров и банкиров что-то не было видно, но зато там обитали клоуны, шуты, фигляры, дрессировщики. Среди них был один – страшный человек по прозвищу Душегуб, особенно жестоко он обращался с детьми. Имя свое он получил потому, что однажды разрубил пополам маленького шарманщика.

Когда Гобер начал рассказ, часы пробили четверть четвертого.

Обычно в четыре часа арестанты расходились по камерам; задуманное Скелетом преступление должно было произойти до этого времени.

– Э, проклятие, не уходит надзиратель, – шепнул староста Верзиле.

– Не беспокойся. Острослов разговорился, и дядюшка Руссель уйдет...

Гобер продолжал:

– Никто не знал, откуда взялся там Душегуб, одни говорили, что он итальянец, другие называли его цыганом, некоторые думали, что он турок или африканец; кумушки принимали его за волшебника, хотя в наше время волшебник кажется смешным, я готов присоединиться к мнению женщин. Считали так потому, что его всегда сопровождала рыжая обезьяна по кличке Гаргус, она была такая хитрая и злая, что поговаривали, будто в нее вселился бес. Мы еще познакомимся с этим зверем. Представляю вам Душегуба: лицо у него было темное, как сапог, волосы рыжие, как у обезьяны; глаза зеленые, язык черный, и вот поэтому многие верили, что он действительно волшебник.

– Черный язык? – переспросил Крючок.

– Черный, как чернила! – ответил Гобер.

– Почему?

– Потому, может, что, когда мать его носила в утробе, она говорила о негре, – сдержанно пояснил Гобер. – Внешнему облику Душегуба соответствовало и его ремесло; он содержал зверинец: черепахи, обезьяны, морские свинки, белые мыши, лисицы, сурки. Зверей водили напоказ савояры и другие бедные дети.

Утром Душегуб снаряжал мальчишек в дорогу, каждый брал своего зверя и получал кусок хлеба... Они должны были просить милостыню, а их зверек исполнять при этом танец «Катрин». Тех из ребят, кто приносил менее пятнадцати су, он так избивал, что крики детей были слышны во всей округе.

Должен сказать, что в Маленькой Польше был один человек, его называли старостой, потому что он первым поселился в этом квартале и являлся мэром поселка, старшиной, мировым судьей или, скорее, военным судьей, разбиравшим все возникавшие ссоры; к нему во двор (он был владельцем винной лавки и трактира) приходили драться те, кто не мог понять друг друга и договориться. Будучи пожилым, староста тем не менее обладал силой Геркулеса, и все его боялись. В Маленькой Польше клялись только его именем; стоило ему сказать: «Это хорошо», и все повторяли: «Это очень хорошо», а скажет: «Скверно», и все твердят: «Скверно». В сущности, он был отличный малый, но суровый; когда, к примеру, сильный обижал слабого, тогда уж берегись!

Так как староста и Душегуб были соседи, то староста, слыша крики избиваемых детей, сказал Душегубу: «Если я еще раз услышу, что дети кричат, я заставлю горланить тебя, а так как глотка у тебя здоровая, то буду колотить тебя до потери сознания».

– Староста – шутник, мне нравится староста, – сказал Синий Колпак.

– И мне тоже, – сказал дядюшка Руссель, подходя поближе к компании слушателей.

Скелет едва сдерживал свое гневное раздражение. Гобер продолжал:

– Благодаря старосте, пригрозившему Душегубу, в Маленькой Польше не стало слышно, как кричат дети по ночам; но бедные дети страдали не меньше, чем прежде, они теперь не кричали, когда хозяин бил их, так как боялись, что тогда он будет бить их еще сильнее. Пойти пожаловаться судье им и в голову не приходило. За то, что они приносили Душегубу пятнадцать су, он предоставлял им крышу, кормил их и одевал.

Кусок черного хлеба на ужин и на завтрак – вот и вся еда; никакой одежды он им не давал, а жили они вместе со зверями на чердаке, куда попасть можно было только по приставной лестнице через люк; спали на той же соломе, что и звери. Когда животные и дети забирались в это логово, Душегуб закрывал чердак на ключ и уносил лестницу.

Представьте себе, какой шум, какая возня начиналась впотьмах на этом чердачке, где ночевали обезьяны, морские свинки, лисицы, мыши, черепахи, сурки и дети. Душегуб спал в нижней комнате, а подле него сидела огромная обезьяна Гаргус, привязанная к ножке кровати. Когда на чердаке становилось слишком шумно, хозяин зверинца вставал в темноте, брал кнут, поднимался по лестнице, открывал люк и, ничего не видя, хлестал по первому попавшемуся.

В его распоряжении было пятнадцать ребят, и некоторые из этих простодушных детей приносили ему каждый день по двадцать су. После небольших затрат у него ежедневно оставалось по четыре франка или по сто су в день; на эти деньги он пьянствовал, потому что, заметьте,

это был величайший пьянчуга на свете, он ежедневно напивался в стельку. Таков был его обычай, иначе, говорил он, у него весь день будет голова болеть. На свои доходы он покупал баранье сердце для Гаргуса, ведь большая обезьяна, словно хищник, пожирала сырое мясо.

Я вижу, что уважаемое общество ждет рассказа о Сухарике. Продолжаю...

– Послушаем, потом я пойду ужинать, – сказал надзиратель.

Скелет с желчной улыбкой переглянулся в Верзилой.

– Среди детей, которым Душегуб поручил своих зверьков, находился бедный мальчик, прозванный Сухариком; у него не было ни отца, ни матери, ни сестры, ни брата, ни домашнего очага. Сухарик был совершенно одинок; он вовсе не желал появляться на свет, и, если бы и ушел оттуда, никто бы этого не заметил.

Сухариком его прозвали не случайно, подумайте сами: хилый, болезненный, на него больно было смотреть, ему давали семь-восемь лет вместо тринадцати, и не по чьей-то злой воле он так выглядел... а потому, что ел раз в два дня, да притом ел так мало, так мало да скверную пищу, что его едва можно было принять за семилетнего малыша.

– Бедный мальчуган, представляю его себе, – воскликнул Синий Колпак, – сколько таких детей... бродит по улицам Парижа... изнуренные голодом.

– Что ж, надо с детства привыкать переносить муки безотрадной жизни, – заметил опечаленный Гобер.

– Да брось балагурить, – резко оборвал Скелет, – надзирателю не терпится, ужин стынет!

– Ладно! Не важно, – возразил дядюшка Руссель, – хочу послушать о Сухарике, очень уж интересно.

– Действительно интересно, – сказал Жермен, увлеченный рассказом.

– Благодарю за похвалу, добрый капиталист, – ответил Гобер, – она мне доставила больше радости, чем ваши десять су.

– Да будь ты проклят, – воскликнул Скелет, – долго будешь тянуть?

– Ладно, ладно, – отозвался Гобер и продолжал рассказ: – Однажды Душегуб нашел на улице Сухарика, полумертвого от голода и холода; лучше бы он не спасал его. Сухарик был слаб и боязлив, а это привело к тому, что мальчишки над ним насмехались, издевались; они его били и поступали с ним так жестоко, что будь он покрепче, то озлобился бы на всю жизнь.

Так ведь нет... Когда его били, он плакал, приговаривая: «Я никому не делаю зла, а все меня обижают... Это несправедливо... Как бы я хотел быть сильным и смелым». Вы думаете, что он угрожал: «Я отплачу всем, кто меня обижал»? Нет, он лишь говорил: «Если б я был сильным и смелым, я защищал бы слабых, ведь я сам слабый, а сильные обижают меня».

А так как он был тщедушен и не мог заступиться за слабых, то всегда старался хотя бы не допускать, чтобы сильные звери пожирали хилых.

– Как это глупо, – произнес заключенный в синем колпаке.

– Самое смешное в том, что эта нелепость утешала Сухарика, когда его били... в сущности, сердце у него было доброе.

– Да конечно же, черт побери, не жестокое, – сказал надзиратель. – Все очень интересно.

Часы пробили половину четвертого. Палач Жермена и Верзила многозначительно переглянулись.

Время шло. Дядюшка Руссель не двигался с места, и арестанты, не такие лютые, как Скелет, казалось, позабыли о его зловещем намерении убить Жермена; они с жадностью слушали Гобера.

– Когда я говорю, что Сухарик не позволял сильным зверям пожирать слабых, – продолжал он, – вы, конечно, понимаете, что мальчик не совался к тиграм, львам, волкам и даже лисицам и обезьянам, которые жили в зверинце; он был слишком слаб; но как только он видел, к примеру, паука, притаившегося в паутине, чтобы поймать глупую муху, весело резвящуюся и никому не делающую зла, Сухарик палкой разрывал паутину, освобождал муху и давил паука, как настоящий Цезарь... Да, Цезарь, потому что он бледнел, как полотно, прикасаясь к мертвой твари; ему нужна была настоящая решимость, он ведь боялся даже майских жуков, а для того, чтобы привыкнуть к черепахе, которую каждое утро ему поручал хозяин, понадобилось много времени.

Словом, Сухарик, преодолевая страх, внушаемый пауком, для того чтобы спасти мух, был...

– Был смел, отважен, как человек, который не боится волка и вырывает из его пасти барашка, – воскликнул арестант в синем колпаке.

– Либо как тот герой, который бы набросился на Душегуба и вырвал из его лап Сухарика, – произнес Крючок, захваченный этой историей.

– Верно, – продолжал Гобер. – Так что после такого подвига Сухарик уже не чувствовал себя столь несчастным, он, всегда печальный, вдруг начинал улыбаться, изображал смельчака, надевал шапку набекрень и с видом победителя напевал «Марсельезу». В такой момент никакой паук не осмелился бы и поглядеть на него.

Однажды в ручей свалился сверчок, он барахтался и тонул... Мальчик мгновенно выловил сверчка и положил на траву. Когда он смотрел, как сверчок шевелит лапками, а потом убегает, вид у него был не менее гордый и счастливый, чем у пловца, спасшего своего десятого утопленника, с вознаграждением в пятьдесят франков за каждого. Однако за спасение сверчка Сухарик не получал ни денег, ни медалей, ни благодарностей, так же, как и за спасение мухи. Быть может, почтенное общество задаст мне такой вопрос: какого же черта Сухарик, которого все обижали, старался спасать сверчков и убивать пауков? Раз ему делали зло, то почему он не мстил за это по мере своих сил, например, позволял бы паукам пожирать мух, или не помогал бы тонущим сверчкам, или даже просто нарочно топил бы их... сверчков...

– Да, в самом деле, почему он не мстил таким образом? – спросил Николая.

– А какая была бы ему от этого польза? – сказал один из слушателей.

– Воздать за злом зло!

– Нет! Я считаю, что этот малыш, – заметил человек в синем колпаке, – спасая мух, быть может, думал: кто знает, вдруг и меня спасет кто-нибудь?

– Совершенно верно, – произнес Гобер. – Он как в воду смотрел, и я вам, уважаемые слушатели, сейчас об этом поведаю.

Хитрости у Сухарика не было ни на грош, он не видел дальше своего носа и часто говорил себе: «Душегуб – мой паук. Однажды, быть может, кто-нибудь сделает для меня то, что я делаю для бедных мушек, – разорвет эту паутину и освободит меня от его когтей...» Потому что до сих пор ни за что на свете он не решился бы сбежать от своего хозяина, он просто умер бы от страха. А все-таки, когда ему и его черепахе не повезло и вдвоем они собрали только три су и Душегуб страшно избил его, так, честное слово, мальчик не смог уже больше терпеть. Презираемый, гонимый всеми, он подкараулил момент, когда чердак был открыт, и, пока хозяин раздавал корм своим зверям, сполз вниз по лестнице...

– Вот так! – произнес кто-то.

– Но почему он не пожаловался старосте? – спросил Синий Колпак. – Тот рассчитался бы с Душегубом.

– Да, верно, но он не осмелился, был слишком робок и думал лишь о том, как бы спастись. К несчастью, Душегуб заметил его, схватил за шиворот и втащил на чердак. Сухарик с ужасом ожидал наказания, дрожал всем телом, потому что знал, что на этом его муки не кончатся.

Кстати, в связи с постигшей Сухарика бедой я должен поведать об обезьяне Гаргусе, любимице хозяина; злобное животное ростом было выше Сухарика – представляете, какой это был рост. Теперь объясню вам, почему ее не показывали на улицах, как других зверей. Дело в том, что Гаргус был сильный и злобный зверь; из всех мальчиков лишь один овернец, здоровый и решительный парень, которому после многих схваток и драк с обезьяной удалось укротить Гаргуса, мог водить его на цепи, но все же очень часто они дрались между собой, и Гаргус иногда избивал своего вожака до крови.

Раздосадованный овернец однажды подумал: «Ну ладно, я отомщу тебе, мерзкая гадина!» В одно прекрасное утро, как обычно, он направился со зверем в город; купил для приманки бараньего сердца; в то время, когда обезьяна пожирала мясо, юнец прикрепил к концу цепочки веревку, обвил веревкой дерево, крепко завязал ее узлом и принялся палкой бить обезьяну, да так отдубасил, что у нее искры посыпались из глаз.

– А! Вот это здорово!

- Молодец овернец!
- Бей похлеще, паренек!
- Изматывай зверюгу Гаргуса, – вопили заключенные.

– И он колотил обезьяну изо всех сил. Надо было видеть, как обезьяна орала, скрежетала зубами, прыгала, рвалась в разные стороны, но парень знал свое дело: я тебе покажу... Вот тебе! К несчастью, обезьяны живучи, как кошки... Гаргус был столь же хитер, как и зол; видя, что дело плохо, обезьяна перестала биться и в самый разгар побоев развалилась под деревом, подергалась немного и притворилась мертвой, вытянувшись как бревно.

Овернец этого и добивался; решив, что обезьяна мертва, он убежал и больше уже не заявлялся к Душегубу. Подлый Гаргус, притаившись, наблюдал за юнцом; поняв, что никого нет и что овернца не видно, зверь перегрыз веревку, которая держала его на привязи. А бульвар Монсо, где он получил взбучку, находился невдалеке от Маленькой Польши. Гаргус знал дорогу и вскоре притаился к себе, едва волоча ноги. Хозяин пришел в ярость, увидев изуродованную обезьяну. Но этого мало; Гаргус вспылал такой ненавистью к мальчикам, что даже лютый Душегуб все же не решался больше поручать его кому-нибудь из ребят, опасаясь, как бы обезьяна не задушила или не загрызла мальчишку; да и все вожаки зверей, зная это, предпочли бы иметь дело с Душегубом, нежели подойти поближе к Гаргусу.

– Ну, я должен идти обедать, – сказал надзиратель, направляясь к двери. – Острослов способен птицу с дерева сманить, чтоб она его слушала... Откуда он все это берет?

– Наконец-то смывается, – шепнул Скелет Верзиле. – Не могу сдержаться себя, даже вспотел, всего трясет... вы только окружите осведомителя... остальное беру на себя...

– Слушайте рассказ, ведите себя прилично, – приказал Руссель, направляясь к дверям.

– Как послушные детки, – сказал Скелет, приближаясь к Жермену, в то время как Николая и Верзила по сговору направились туда же.

– Ах, дядюшка Руссель, – с укоризной проговорил Гобер, – вы уходите на самом интересном месте.

Скелет кинулся бы на Гобера, если б его не удержал Верзила.

– Неужели? На самом интересном? – спросил надзиратель, поверивший Острослову.

– Конечно, самое интересное впереди, – сказал сочинитель, – вы представить себе не можете, как много потеряете. Самое увлекательное только сейчас начнется.

– Не слушайте его, – сказал Скелет, едва сдерживая бешенство, – он сегодня разболтался, выдумал дурацкую историю...

– Моя история дурацкая? – уязвленный, отвечал самолюбивый Гобер. – Ах, так! Дядюшка Руссель... я прошу вас... останьтесь до конца... Подождите минут пятнадцать, ваш обед все равно остыл... Чем же вы рискуете? Я постараюсь рассказать покороче, чтобы вы смогли пойти поесть до нашего возвращения в камеры.

– Ладно, остаюсь, давай побыстрее, – сказал Руссель, занимая снова свое место.

– Умно делаете, что остаетесь, не бахвалясь говорю, ничего подобного никогда не услышите, конец истории вас потрясет; восторжествует Сухарик и обезьяна, к ним примкнут вожаки зверей и все жители Маленькой Польши. Это восхитительно, я не преувеличиваю.

– Хорошо, старина, но давай покороче, – сказал надзиратель, садясь к печке.

Скелет готов был всех задушить.

Теперь он сомневался, удастся ли ему совершить убийство.

Вот-вот наступит момент, когда арестанты пойдут спать, и Жермен будет спасен. Ведь он последний день находится в той камере, где сидел его лютый враг, как мы уже говорили, его поместят в особую камеру.

Чувствуя общее волнение, вызванное трогательной историей, Скелет боялся, что арестанты перестанут равнодушно относиться к совершаемому убийству и не захотят быть его соучастниками.

Он мог бы помещать Гоберу продолжать рассказ, но исчезла бы последняя надежда, что Руссель уйдет до четырех, и тогда Жермен оказался бы вне опасности.

– Дурацкая моя история или нет, об этом уважаемое общество сможет само судить, – про-

должал Остролов. – На свете не было зверя злее обезьяны Гаргус; она, как и ее хозяин, особенно ненавидела детей. Какое же Душегуб придумал наказание Сухарику за то, что он попытался бежать? Сейчас узнаете. Сперва он схватил мальчика и швырнул его на чердак, пригрозив: «Утром твои товарищи уйдут, ты попадешься мне в лапы и узнаешь, как я поступаю с теми, кто задумает бежать».

Вы представляете, какая это была страшная ночь для Сухарика. Он долго не смыкал глаз, все думал, что сделает с ним Душегуб; потом так и заснул. Ночью ему приснился кошмар. Вот послушайте... Ему казалось, что он превратился в одну из тех бедных мух, которых он спасал когда-то от пауков, а теперь в свою очередь он сам попал в огромную, цепкую паутину, из которой, как ни старался, никак не мог вырваться; он увидел, как исподтишка подбирается к нему ужасное чудовище-паук с лицом его хозяина, с лицом Душегуба.

Мой бедный Сухарик снова попытался выпутаться из паутины, как ни бился, все больше запутывался в страшных сетях, как это бывает с бедными мухами. Но вот паук все ближе, ближе... вот он касается его... мальчик чувствует холодные, мохнатые лапы страшилища, которое притягивает его к себе, сжимает и хочет сожрать... Сухарику кажется, что он уже умер... но вдруг он слышит жужжание, ясное, пронзительное, и видит чудную золотую мушку, с тонким блестящим, как алмазная игла, жалом, яростно крутящуюся над пауком, и слышит голос (когда я говорю голос – вы представляете себе голос мухи), который обращается к нему: «Бедная, маленькая мушка... ты спасал многих мух, паук же...»

К несчастью, Сухарик внезапно проснулся и не видел, чем кончился сон; но все-таки он вначале почувствовал себя немного увереннее и подумал: «Быть может, золотая муха с бриллиантовым жалом убила паука? Если б я видел, чем кончился сон!»

Но, как ни старался Сухарик утешить себя, обрести спокойствие, едва только рассвело, его с новой силой охватил страх, и он с испуга позабыл про сон; помнил только что-то страшное: огромная паутина, в которой он запутался, и паук в облике Душегуба. Вы представляете, как он дрожал? Еще бы! Судите сами, один, совсем один... и никто не хочет его защитить. Наступило утро, он увидел, как посветлело чердачное окошко, ужас его усилился, ведь уже совсем скоро он останется наедине с хозяином. Он стал на колени посреди чердака и, горько плача, умолял своих товарищей заступиться за него перед Душегубом или помочь ему бежать. Не тут-то было! Одни из страха, другие из равнодушия либо по злобе отказали бедному Сухарику помочь в беде.

– Вот мерзавцы! – воскликнул Синий Колпак. – У них каменные сердца!

– Верно, – заметил другой, – удивительно, что никто не хотел заступиться за несчастного малыша.

– Одинокого, беззащитного, – продолжал Синий Колпак, – ведь всегда жаль того, кто покорно подставляет башку палачу. Когда есть зубы, чтобы укусить, – это другое дело. Слушай, малыш, где твои клыки? Оскаль их, малыш!

– Верно, – раздался голоса.

– Слушай! – с яростью обратился Скелет к Синему Колпаку. – Заткнешься ты наконец? Я приказал всем молчать! Я команду!

Вместо ответа Синий Колпак посмотрел в лицо Скелету и, как мальчишка, показал ему «длинный нос».

Синий Колпак сопровождал это такой забавной гримасой, что заключенные расхохотались, а некоторые, напротив, были ошеломлены смелостью арестанта, ведь старосту все очень боялись. Скелет, скрежеща зубами, пригрозил смельчаку:

– Ладно, я с тобой завтра рассчитаюсь.

– А счет буду вести я на твоей харе... вдоволь измордую... в долгу не останусь.

Боясь, что тюремщик так и не уйдет, если возникнет драка, Скелет постарался спокойно объяснить:

– Не в том дело. Здесь, в зале, я слежу за порядком, и все должны слушаться меня, ведь так?

– Так, так, – ответил надзиратель, – но не мешайте вы Гоберу; а ты продолжай, милый человек, только поспеши.

Глава X ТОРЖЕСТВО СУХАРИКА И ГАРГУСА

Сухарик, видя, что он всеми покинут, покорился горькой участи. Наступил день, мальчишки готовили зверей к походу. Хозяин открыл дверь, вызвал по имени каждого, чтобы раздать по куску хлеба. Все спустились вниз; Сухарик, ни живой ни мертвый, забился в угол вместе со своей черепахой и не шевелился. Он смотрел, как уходили его товарищи, и многое бы дал, чтобы быть на их месте... Вот ушел и последний. Сердце еще чаще забилося у бедного мальчика; он надеялся, что, быть может, хозяин забыл про него. Но как бы не так! Вот он слышит грубый оклик Душегуба, стоявшего внизу возле лестницы: «Сухарик!»

«Я здесь, хозяин».

«Выходи, или я стащу тебя сам!»

И Сухарик почувствовал, что наступил конец. «Ну что ж, – подумал он, весь дрожа, вспоминая сон, – вот ты и попал в паутину, маленькая мушка, сейчас тебя сожрет паук».

Осторожно опустив на землю черепаху, как бы попрощавшись с нею, ведь он все же любил ее, подошел мальчик к лестнице, чтобы сойти на землю, но Душегуб мигом, точно клещами, схватил его за ногу, тонкую, как веретено, и потянул так сильно, что Сухарик разом скатился со всех ступенек, ободрав лицо.

– Жаль, что староста Маленькой Польши не видел этого. Он бы показал Душегубу, – сказал Синий Колпак. – Вот когда важно быть сильным.

– Да, милый, к несчастью, старосты здесь не было... Душегуб хватает Сухарика за штаны и тащит его в свое логово, где сидит обезьяна, привязанная к кровати. Увидев мальчика, она стала прыгать, злобно скрежетать зубами, потом ринулась навстречу, словно желая сожрать Сухарика.

– Бедный Сухарик, как тебя спасти?

– Ну уж если попадешься в лапы обезьяны, мгновенно задушит.

– Гром и молния, меня лихорадит, – сказал Синий Колпак, – я не в состоянии убить даже блоху. Ну а вы, друзья?

– Честное слово, я тоже нет.

– И я.

На тюремных часах пробило без четверти четыре. Скелет, все более опасаясь, что времени не останется, и видя, что многие заключенные искренне растроганы, злобно пригрозил;

– Молчать у меня! Иначе он никогда не кончит, этот болтун, прекратите балагурить!

Стало тихо. Гобер продолжал:

– Вспомним, как мучительно трудно было Сухарику привыкнуть даже к черепахе, как дрожали от страха самые смелые ребята при одном имени Гаргуса, и представим себе ужас, который испытал Сухарик, увидев, что Душегуб тащит его прямо к чудовищу.

«Хозяин! Сжальтесь, помилуйте, больше никогда не буду, честное слово!» – дрожа как в лихорадке, бормотал бедный малыш, даже не понимая, что он такое натворил, в чем провинился. Но Душегуб и слушать не хотел... Несмотря на крики, на то, что мальчик отбивался, он поднес Сухарика к обезьяне, и она вцепилась в него своими мохнатыми лапами. В зале всех охватил трепет, слушатели напряглись.

– Ну и балбес бы я был, если б ушел раньше, – сказал надзиратель, подходя ближе к арестантам.

– Слушайте, слушайте, самое интересное впереди, – продолжал Гобер. – Как только Сухарик почувствовал холодные, волосатые лапы могучего зверя, схватившего его за шею, он решил, что все кончено, и, словно в бреду, стал кричать так жалобно, что казалось, мог бы разжалобить и тигра. «Боже мой, да ведь это паук, которого я видел во сне... Золотая мушка, спаси меня!»

«Ты у меня замолчишь, негодяй... замолчишь!..» – грозился Душегуб, избивая его ногами. Он боялся, что крики услышат. Но вскоре бояться стало нечего, подумайте сами, бедный Сухарик уже не кричал и не отбивался, он стоял на коленях, белый как полотно, с закрытыми глазами, дрожа всем телом, как будто на дворе январский мороз; а обезьяна в это время била его, дра-

ла за волосы, царапала; временами она останавливалась, глядела на хозяина, точно желая узнать, что ей делать. Душегуб дико смеялся, притом так громко, что его смех заглушил бы и вопли мальчика, если б тот мог кричать. Казалось, это поощряло Гаргуса, еще более яростно нападавшего на мальчика.

– У, гад, – воскликнул Синий Колпак, – попалась бы ты мне, я бы схватил тебя за хвост и вертел колесом, а потом хрястнул башкой о мостовую.

– Ах, мерзавка, злая что твой дикарь.

– Да таких злых и не бывает!

– Как не бывает, – возразил Гобер, – а Душегуб? Посудите сами, вот что он потом сделал: отвязал от своей кровати длинную цепь Гаргуса, высвободил из обезьяньих лап мальчика, который был ни жив ни мертв, и привязал его так, что на одной цепи оказался и Сухарик и Гаргус, скрепленные поясом, один подле другого.

– Вот так выдумка!

– Да, все же есть люди хуже зверей!

– Когда Душегуб устроил эту штуку, он сказал своей обезьяне, которая понимала его, ведь они почти не расставались: «Гаргус! Раньше тебя водили напоказ, а теперь ты будешь его водить, это твоя обезьяна. Ну-ка, вставай Сухарик, не то я науськаю на тебя Гаргуса».

Бедный Сухарик снова упал на колени, сложив руки, но говорить не мог, слышалось только, как он стучит зубами.

«Заставь же его ходить, Гаргус, а если не будет слушаться, поступай, как я».

С этими словами он осыпал мальчика ударами хлыста, а затем передал хлыст обезьяне,

Вы, конечно, знаете, что звери очень ловко подражают человеку. Гаргус в этом отношении особо отличался; он взял хлыст и начал так избивать мальчика, что тот вскочил на ноги; роста он был такого же, как и обезьяна. Затем Душегуб вышел из своей комнаты и спустился по лестнице, позвав Гаргуса; обезьяна быстро последовала за хозяином, гоня перед собой мальчика, которого она продолжала избивать хлыстом, словно своего раба.

Так они прибежали на маленький двор за хибаркой Душегуба. Здесь-то Душегуб решил позабавиться. Он закрыл ворота и подал знак обезьяне, чтобы она бегала вокруг двора и подгоняла хлыстом мальчика. Обезьяна послушалась и принялась гонять Сухарика, осыпая его ударами, в то время как хозяин гоготал во все горло. Казалось, этой чудовищной шутки было бы достаточно? Так нет же, этого было мало; Сухарик пока что отделался царапинами, ударами хлыста и ужасным испугом, но вот что еще придумал коварный злодей: для того, чтобы натравить обезьяну на измученного мальчика, который и так был ни жив ни мертв, Душегуб хватал Сухарика за волосы, делая вид, что хочет его укусить, и приближает его к Гаргусу, приговаривая; «Возьми его... возьми!..», а затем показывает зверю кусок бараньего сердца, как будто обещая – вот, мол, тебе награда.

Да, друзья, это было жуткое зрелище. Представляете себе огромную рыжую обезьяну с черной мордой; скрежеща зубами как одержимая, она неистово, почти в бешенстве бросается на бедняжку, который не в силах защититься, сразу падает животом вниз, прижав лицо к земле, чтоб она его не изуродовала. Видя это, обезьяна, забравшись на спину Сухарика, хватает его за шею и начинает грызть.

«О! Паук, паук...» – кричал сдавленным голосом Сухарик, уверенный в том, что наступил его конец.

Вдруг раздался стук в ворота: тук... тук!..

– А, староста, – с радостью воскликнули заключенные. – Наконец-то!

– Да, мои друзья, на сей раз это был староста. Он закричал: «Открывай, Душегуб! Не притворяйся глухим, ведь я тебя вижу».

Хозяин зверинца, принужденный ответить, бранясь, пошел открывать ворота мэру, который в свои пятьдесят лет обладал могучей силой, и, когда он был разгневан, шутить с ним не следовало.

«Что вам надо?» – спросил Душегуб, приоткрывая ворота.

«Я хочу поговорить с тобой», – ответил староста, силой врываясь в маленький двор. Затем,

видя, что обезьяна все еще бьет Сухарика, он хватает ее за шею, намереваясь высвободить мальчика и отшвырнуть Гаргуса в сторону. Тут замечает, что мальчик на одной цепи с обезьяной; тогда он гневно заявляет Душегубу: «Сейчас же освободи несчастного парнишку!»

– Вы представляете себе радость и изумление Сухарика, едва живого от страха, который вдруг почувствовал, что в самый последний момент он, словно чудом, спасен; поэтому он не мог не вспомнить золотую мушку из своего сна, хотя староста нисколько не был похож на муху: этакий здоровяк...

– Ну ладно, – сказал надзиратель, направляясь к дверям. – Сухарик спасен, я пойду ужинать.

– Спасен? – воскликнул Гобер. – Как бы не так! На этом мучения нашего Сухарика еще не кончились.

– Правда? – с удивлением спросили арестанты.

– А что с ним случилось? – спросил Руссель, подходя к арестантам.

– Пойдите здесь и все узнаете, – ответил рассказчик.

– Остролов просто дьявол, он заставляет делать все, что захочет, ну ладно, немного побуду.

Скелет молчал, едва сдерживая гнев. Гобер продолжал:

– Душегуб, боявшийся старосты как огня, ворча, освободил мальчика от цепи; вслед затем староста поддал обезьяну ногой, что она отлетела далеко в сторону. Взвизгнув и скрежеща зубами, она, как ужаленная, вскочила на крышу сарая, угрожая оттуда старосте.

«Почему вы бьете мою обезьяну?» – спросил Душегуб.

«Ты лучше спроси, почему я не бью тебя; разве можно так терзать ребенка? Ты что, уже с утра налился?»

«Трезв, как и вы, готовлю номер с обезьяной, хочу показать публике – она и Сухарик будут представлять вместе. Занят своим делом, зачем вы вмешиваетесь?»

«Да, вмешиваюсь, это мое дело! Утром мимо меня проходили ребята, среди них не было Сухарика; я спросил, где он, смутившись, они ничего не ответили; ведь я тебя знаю, сразу догадался, что ты его бьешь, и не ошибся. Так знай – теперь каждое утро буду следить за ребятами и, если не увижу Сухарика, сейчас же явлюсь и убью тебя на месте, если увижу, что ты его бьешь».

«Что захочу, то и буду делать, – ответил Душегуб, раздраженный этой угрозой, – ты меня не тронешь! Убирайся вон, а если опять появишься, я тебе покажу...»

«Вот тебе, подлец! – И староста дал Душегубу пару таких затрещин, что можно было оглушить носорога. – Будешь знать, как разговаривать со старостой Маленькой Польши».

– Маловато он ему врезал, – сказал Синий Колпак, – на месте старосты я бы еще не так его измордовал.,

– И поделом ему, – воскликнул кто-то из арестантов.

– Таких извергов староста мог бы уложить и десяток, вот почему Душегубу пришлось проглотить обиду, но в нём бушевал гнев, в особенности из-за того, что его побили на глазах у мальчика. Он решил отомстить и придумал способ – такой мог прийти только величайшему злодею, каким и был хозяин зверинца. Пока он обдумывал эту дьявольскую месть, почесывая в затылке, староста предупредил его:

«Запомни, если ты будешь продолжать мучить малыша, я тебя и твоих зверей вышвырну из Маленькой Польши, а если не уйдешь, натравлю на тебя народ. Тебя ведь здесь уже все ненавидят и устроят тебе такие проводы, что, ручаюсь, запомнишь на всю жизнь».

Желая осуществить свой дьявольский план, этот коварный злодей Душегуб сделал вид, что не сердится на старосту, и заговорил лстивым голосом: «Клянусь, староста, зря вы меня били и напрасно думали, что я обижаю Сухарика, наоборот, повторяю вам, я готовил новый номер с обезьяной; это нелегкое дело, когда она сопротивляется, вот в этой потасовке и покусала малыша».

Пытливо взглянув на Душегуба, староста спросил:

«Ты говоришь правду? Если ты готовишь номер с обезьяной, почему же ты привязываешь ее к той же цепи, что и Сухарика?»

«Потому что малыш должен участвовать в этом представлении; вот что я хочу сделать: нарядить Гаргуса в красный фрак, надеть на него шляпу с перьями, как у швейцарского торговца лекарствами, посадить Сухарика в маленькое детское кресло, завязать ему на шею салфетку, и обезьяна будет брить его деревянной бритвой.

При этих словах Душегуба староста рассмеялся.

«Не правда ли, забавно?» – лукаво спросил Душегуб.

«Да, это, конечно, смешно, – согласился староста. – Говорят, что твоя обезьяна ловкая и хитрая бестия, она сможет исполнить подобную штуку».

«Наверняка, когда она посмотрит пять или шесть раз, как я делаю вид, будто брею Сухарика, она будет подражать мне, у нее будет большая деревянная бритва, нужно только, чтобы обезьяна привыкла к мальчику, потому-то я и посадил их на одну цепь».

«А все же почему ты выбрал именно Сухарика, а не другого мальчишку?»

«Потому что он меньше всех ростом. Когда он сядет в кресло, Гаргус будет возвышаться над ним; к тому же половину сбора я хотел отдать Сухарику».

«Если так, – сказал староста, поверив лжи хозяина зверинца, – я сожалею, что поколотил тебя; ну, потом сочтемся, пусть это будет аванс».

В то время как хозяин разговаривал со старостой, Сухарик стоял, чуть дыша, дрожал как осенний лист, умирая от желания броситься в ноги старосте и умолять увести его от хозяина зверинца. Но ему не хватило смелости, и, снова отчаявшись, он тихонько произнес; «Нет, видно, сон мой сбудется, я стану несчастной мухой, которую сожрет паук, напрасно я надеялся, что золотая мушка меня спасет».

«Слушай, дружок, раз хозяин обещает тебе половину сбора, ты должен набраться мужества и привыкнуть к обезьяне... Это пустяки, ты перестанешь ее бояться, а если сбор будет хороший, тебе не придется жаловаться».

«Ему жаловаться! А разве тебе есть на что жаловаться?» – спросил хозяин, украдкой бросив на него столь грозный взгляд, что малыш готов был провалиться сквозь землю.

«Нет, нет... хозяин», – пробормотал Сухарик.

«Ну вот видите, жаловаться ему никогда ни на что не приходилось, – сказал Душегуб, – в конце концов я ему желаю только добра. Если Гаргус поцарапал его при первой встрече, этого больше не случится. Обещаю вам, я буду следить».

«В добрый час! Тогда все будут довольны».

«И в первую очередь Сухарик, – сказал Душегуб. – Говори, ты будешь доволен?»

«Да... да... хозяин», – обливаясь слезами, проговорил Сухарик.

«А чтобы ты не огорчался из-за своих царапин, я угощу тебя хорошим завтраком. Староста пришлет нам котлет с корнишонами, четыре бутылки вина и полбутылки водки».

«Мой погреб и кухня к твоим услугам».

По натуре староста был славный человек, но не отличался умом, он торговал вином, жареным мясом и не прочь был сбыть свой товар. Душегуб хорошо это знал и, делая такой заказ, был убежден, что староста уйдет довольный, успокоившись относительно судьбы Сухарика.

И вот бедный малыш вновь попал в лапы хозяина; как только староста повернулся спиной, Душегуб указал на лестницу и велел своей жертве забраться на чердак; мальчик не заставил повторять эти слова дважды и, дрожа от страха, поднялся по лестнице.

«Боже мой, теперь я погиб», – воскликнул он, бросаясь на кучу соломы рядом со своей чрепахой и заливаясь горячими слезами.

Так он пролежал, рыдая, не меньше часа, как вдруг услышал хриплый оклик Душегуба; голос хозяина на этот раз показался ему необычным, и это еще более усиливало его страх.

«Давай вниз», – ругаясь, обрушился на него хозяин зверинца.

Малыш быстро спустился по лестнице, и, как только он ступил на землю, хозяин хватается его за шиворот и тащит в свою комнату, спотыкаясь на каждом шагу, потому что он-здорово надрался, был пьян вдрызг и едва держался на ногах, покачиваясь из стороны в сторону, язык у него не ворочался; но он молча свирепо посматривал на Сухарика, такого страха малыш еще не испытывал никогда.

Гаргус сидел на цепи, прикрепленной к ножке кровати. Посреди комнаты стоял стул, на спинке которого висела веревка...

– «Са... садись сюда», – продолжал Острослов, подражая (до конца рассказа) косноязычному лепету Душегуба.

Сухарик, весь дрожа, уселся на стул, тогда Душегуб, так же молча, взял веревку и крепко привязал его к стулу, и не без труда, потому что, хотя хозяин зверинца еще различал предметы и что-то соображал, руки его действовали плохо. Наконец Сухарик был напрочно привязан к стулу.

«Боже мой! Боже мой! Теперь уж никто меня не спасет!» Бедняжка был прав, никто не мог и не должен был прийти, ведь староста ушел, уверенный в том, что малышу ничто не угрожает; Душегуб крепко-накрепко закрыл ворота, задвинул засов, никто не мог прийти на помощь Сухарику.

– Да, на этот раз, – сказали взволнованные слушатели, – ты пропал, Сухарик...

– Бедный малыш!

– Какая жалость!

– Если бы потребовались двадцать су для его спасения, я бы дал.

– Я тоже.

– Какой негодяй Душегуб!

– Что он с ним сделает? Фортюне продолжал:

– После того, как малыш был крепко привязан к стулу, хозяин ему сказал... – И тут рассказчик вновь стал подражать голосу пьяного: – «А... мерзавец... из-за тебя... меня бил староста... ты... умрешь...»

С этими словами он достал из кармана свеженаточенную бритву, открыл ее и схватил Сухарика за волосы.

Среди заключенных послышался ропот возмущения и ужаса; Острослов после паузы продолжал:

– Увидев бритву, мальчик стал кричать: «Пощадите, хозяин... пощадите... не убивайте меня!..»

«Кричи, кричи... пострел... ты не долго будешь кричать», – ответил Душегуб.

«Золотая мушка, золотая мушка! Спаси меня, – словно в бреду, призывал Сухарик, вспоминая свой сон, который так поразил его, – паук меня убьет!»

«А, так ты наз... ты называешь меня... пауком... – пробормотал Душегуб. – За это и за другие проступки ты умрешь... понимаешь... но... не от моей руки... а то мне отрубят голову... я скажу... и докажу... что это... обезьяна; я уже все приготовил... а вообще не важно», – проговорил Душегуб, едва держась на ногах.

Затем подозвал обезьяну, которая изо всех сил натягивала цепь, скрежетала зубами и поглядывала то на хозяина, то на мальчика.

Держа Сухарика за волосы и показывая обезьяне бритву, Душегуб обратился к ней:

«Послушай, Гаргус, надо сделать вот так... – И мерзавец провел тупой стороной бритвы по шее мальчика. – Видишь... вот так!..»

И, повторяя несколько раз это движение, он учил обезьяну, как перерезать шею несчастной жертве.

Мерзкая обезьяна так свободно подражала тому., что ей показывали, это был такой хитрый и коварный зверь, что она сразу поняла, чего от нее хотел хозяин; взявшись левой лапой за подбородок, она откинула голову назад, а правой лапой провела по шее, сделав вид, что перерезает себе горло.

«Правильно... Гаргус... верно, – пробормотал Душегуб, спотыкаясь так, что чуть было не опрокинул стул вместе с Сухариком, – да... вот... я тебя сейчас освобожу... а ты ему по горлу. Правда, Гаргус?»

Обезьяна в знак согласия заревела, заскрежетала зубами и протянула лапу к бритве, которую подал ей Душегуб.

«Золотая мушка, на помощь!» – слабым, умирающим голосом прошептал Сухарик, уверен-

ный в том, что наступил его последний час.

Увы, он призывал на помощь золотую мушку, не рассчитывая и не надеясь, что она прилетит; но он произносил эти слова так же, как говорят, когда тонут: «Господи, помоги мне!»

И что же! Вышло совсем не так. Именно в эту минуту в открытое окно влетела зеленая с золотым отливом мушка. Словно искорка, закружилась она в воздухе, и как раз в тот момент, когда Душегуб протянул бритву обезьяне, золотая мушка ловко бросилась в глаз жестокого убийцы.

Велико событие – муха в глазу, но когда она укусит, это больно, как укол булавки, вот почему Душегуб, едва державшийся на ногах, схватился за глаз и, потеряв равновесие от этого резкого движения растянулся во весь рост подле кровати, к которой была привязана обезьяна.

«Золотая мушка, благодарю тебя, ты спасла меня!» – воскликнул Сухарик. Он все еще сидел привязанным в кресле и все видел.

– А ведь верно, золотая муха спасла его от смерти, помешала Душегубу перерезать горло, – радостно воскликнули заключенные.

– Да здравствует золотая муха! – закричал Синий Колпак.

– Да здравствует золотая муха! – повторили несколько голосов.

– Да здравствует Острослов и его сказки! – сказал кто-то.

– Минуту внимания, – возразил рассказчик, – сейчас начнется самое увлекательное и самое страшное из той истории, которую я вам обещал.

Душегуб упал на землю, словно сраженный пулей, он был так пьян, мертвецки пьян, лежал словно чурбан... Ничего не сознавал. Падая, он чуть было не раздавил Гаргуса и не переломил ему заднюю лапу... Вы уже знаете, сколь зол был коварный и мстительный зверь. В лапах у него была бритва. Что же сделала обезьяна, увидев своего хозяина, плашмя лежавшего на полу, неподвижного, словно уснувший карп. Она набрасывается на него, садится ему на грудь, одной лапой хватая его за шею, а другой... раз... перерезает ему горло, выполнив все точно так, как учил ее Душегуб перерезать горло Сухарику.

– Bravo!..

– Ловко сделано!..

– Да здравствует Гаргус! – восторженно закричали заключенные.

– Да здравствует золотая муха!

– Да здравствует Сухарик!

– Да здравствует Гаргус!

– И, представьте себе, друзья мои, – воскликнул Гобер, довольный своим успехом, – так же, как и вы, часом позже ликовала вся Маленькая Польша.

– Как же это могло произойти?

– Я вам уже сказал, что негодяй Душегуб, чтобы совершить злодеяние без всякой помехи, заложил ворота своего дома изнутри. Вечереет; мальчишки со своими зверями один за другим возвращаются домой, пришедшие первыми стучат, никто не отвечает. Когда все они собрались, то снова стали стучать, – все бесполезно. Один из них отправляется к старшине и говорит, что хозяин не открыл ворота. «Негодяй, видно, пьян в дымину, недавно я послал ему вина, надо выломать дверь, нельзя же детям оставаться ночью на улице».

Ударом топора взломали дверь, вошли в дом, и что же они видят? Гаргус на цепи сидит напротив хозяина и играет бритвой; бедняжка Сухарик, до которого, к счастью, обезьяна не могла дотянуться, сидит на стуле привязанный, не смея взглянуть на труп хозяина, и смотрит, угадайте, на кого? На маленькую золотую муху, которая облетев вокруг мальчика, словно приветствуя его, села ему на руку.

Сухарик рассказал все, как было, старшине и собравшимся людям. Поистине то было словно чудо. Старшина воскликнул:

«Слава Сухарику! Слава Гаргусу, он убил этого лютого зверя! Душегуб убивал других, настал его черед».

«Да, да! – голосила толпа; ведь все ненавидели этого убийцу. – Слава Гаргусу, слава Сухарику!»

Наступила ночь, зажгли соломенные факелы, Гаргуса привязали к скамье, и четыре мальчика вынесли его на улицу, негоднице обезьяне все еще казалось, что ей недостаточно оказывают чести, и она приняла важный вид, скаля перед толпой зубы. За обезьяной шел старшина, он нес Сухарика на руках, его окружали мальчишки со своими зверями: один нес лису, другой – сурка, третий – морскую свинку, некоторые играли на шарманке, угольщики из Оверни – на волынках; это было шумное зрелище, веселый праздник, трудно даже себе представить, какое это было торжество! Вслед за музыкантами и поводырями шли жители Маленькой Польши, мужчины, женщины, дети; почти все держали в руках соломенные факелы и во все горло кричали: «Да здравствует Сухарик! Да здравствует Гаргус!» В таком порядке они обошли дом Душегуба. То было забавное зрелище: старые лачуги, лица людей, освещенные красноватым светом соломенных факелов. Что касается Сухарика, то как только его освободили, первым его делом было осторожно посадить золотую муху в бумажный фантик; во время триумфального шествия он радостно повторял: «Маленькие мушки, я хорошо поступал, спасая вас от пауков», потому что...

На этом месте рассказ Гобера был прерван.

– Эй, дядюшка Руссель, иди ужинать, через десять минут пробьет четыре, – раздался чей-то голос со двора.

– Ну что ж, рассказ подходит к концу, и я иду. Благодарю, дружище, ты доставил мне большое удовольствие, этим ты можешь похвалиться, – сказал надзиратель Острослову, направляясь к двери... Затем он остановился и произнес, повернувшись к арестантам: – Да, вот что, видите себя спокойно.

– Мы только узнаем конец, – задыхаясь от гнева, сказал Скелет. Затем шепнул Верзиле: – К порогу, наблюдай за Русселем и, когда он выйдет со двора, крикни «Гаргус», и мы завалим наветчика.

– Так и будет, – сказал Верзила. Он проводил Русселя до дверей и стал следить за ним.

– Я уже говорил вам, – произнес Гобер, что Сухарик во время торжества непрерывно повторял: «Маленькая мушка...»

– Гаргус! – обернувшись, заорал Верзила. Он увидел, что надзиратель ушел со двора.

– Ко мне! Сухарик, я твой паук! – воскликнул Скелет и так стремительно ринулся на Жермена, что тот не успел ни шевельнуться, ни промолвить слово. Длинные пальцы Скелета сдавили ему горло, и он стал задыхаться.

Глава XI НЕЗНАКОМЫЙ ДРУГ

– Раз ты хочешь быть пауком, то я буду золотой мушкой, проклятый Скелет! – послышался чей-то голос в тот момент, когда застигнутый врасплох Жермен упал на скамью, сраженный ударом лютого врага; теперь он всецело находился во власти бандита, который, придавив ему коленом-грудь, душил его.

– Да, я буду мухой, и еще какой! – повторил известный нам человек в синем колпаке; вслед за тем, отшвырнув трех или четырех арестантов, которые преграждали путь к Жермену, он набросился на Скелета и стал наносить ему мощные удары по голове и лицу, словно молотом по наковальне.

Синий колпак был не кто иной, как Поножовщик, избивая Скелета, он приговаривал:

– Так же со мной обошелся Родольф, и я навсегда запомнил его урок.

Внезапное нападение Синего Колпака на Скелета ошеломило заключенных, они не знали, что делать, держать сторону Поножовщика или наброситься на него. Большинство из них под впечатлением рассказа Гобера радовались тому, что теперь, быть может, удастся спасти Жермена. Скелет, ошарашенный нападением, покачиваясь, словно бык под ударами мясника, невольно вытянул вперед руки, чтобы защитить себя от врага, и в этот же момент Жермен освободился из его объятий.

– Что с ним? На кого обозлилась эта подлюга? – вскричал Верзила и, бросившись на Поножовщика, пытался заломить ему руки за спину, а тот изо всех сил старался удержать Скелета.

Защитник Жермена отбросил Верзилу в сторону.

Жермен, мертвенно бледный, задыхаясь, стоял на коленях, упираясь руками в скамью, и, казалось, не сознавал, что происходит вокруг него; Скелет придушил его так сильно, что он корчился от боли и едва дышал.

Придя в себя, Скелет с отчаянным усилием высвободился от Поножовщика и поднялся.

Задыхающийся, опьяненный злобой и яростью, он был страшен...

Мертвенно-бледное лицо залито кровью, верхняя губа приоткрыла зубы – настоящий волчий оскал.

Наконец голосом, дрожащим от гнева и усталости после жестокой борьбы, Скелет завопил:

– Душите гада... подлецы, продали меня, теперь доносчик смоеся!

Поножовщик, воспользовавшись этой передышкой, быстро добрался до угла, куда он оттащил едва живого Жермена. Защищенный стеною, он оказался в выгодном положении и смог бы довольно долго выдерживать нападение арестантов; к тому же Поножовщик внушил к себе глубокое уважение, проявив мужество и геркулесову силу.

Гобер, испугавшись, во время стычки исчез, и никто не заметил его отсутствия.

Видя нерешительность большинства заключенных, Скелет скомандовал:

– Ко мне! Завалим обоих – большого и малого!

– Осторожно, – ответил Поножовщик, готовясь к борьбе, вытянув вперед руки и широко расставив свои крепкие ноги, – берегись, Скелет! Если ты хочешь стать Душегубом, то я буду Гаргусом, перережу тебе глотку.

– А ну, давай схлестнемся с ним, – заговорил Верзила. – Почему подлюга защищает осведомителя? Смерть предателю! Раз он заступник Жермена, значит, предатель!

– Да!.. Да!

– Смерть доносчику! Смерть предателю!

Таковы были возгласы самых жестоких арестантов, а более человеческие возражали:

– Нет! Пусть все расскажет! Да, он должен все объяснить!

– Нельзя убивать человека, да притом беспомощного, не зная, за что!

– Для этого надо быть Душегубом!

– Тем лучше, – завопил и Верзила, и сторонники Скелета ему подпевали.

– Пощады не будет шпиону!

– Смерть!

– К делу!

– Поможем Скелету!

– Да, да! Устроим темную Колпаку.

– Нет!.. Поможем Синему Колпаку!.. Измордуем Скелета! – заявили сторонники Поножовщика.

– Нет... пропади пропадом, Синий Колпак!

– К дьяволу Скелета!

– Вот молодцы, – воскликнул Поножовщик, обращаясь к арестантам, собравшимся вокруг него. – У вас доброе сердце, не хотите убивать беспомощного человека! На это способны лишь подлецы. Скелету все нипочем... Он обречен, вот почему он заставляет вас убивать. Но если убьете Жермена, вам не поздоровится. Послушайте меня: Скелет хочет задушить юношу. Согласен! Но пусть попробует отнять его у меня, если он такой смелый. Встретимся с ним один на один и увидим, чья возьмет... Ведь струсит он, как Душегуб, не осмелится биться с сильным.

Твердость духа, суровое лицо Поножовщика, несомненно, оказывали покоряющее влияние на заключенных, вот почему большинство столпилось вокруг него и окружило Жермена; к Скелету примкнули его сообщники.

Вот-вот должна была начаться схватка, но в эту минуту послышались мерные шаги тюремной стражи. Гобер, воспользовавшись всеобщей суматохой, выскочил во двор, постучал в окошко проходной, с тем, чтобы сообщить о происходящем.

Появление солдат положило конец разыгравшейся драме. Жермена, Скелета и Поножовщика провели к начальнику тюрьмы. Первый должен был подать жалобу, а Скелет и Поножов-

щик ответить, почему они затеяли драку.

Жермен от страха и боли так ослаб, что вынужден был опираться на надзирателей, которые довели его до соседней с кабинетом начальника комнаты; здесь ему стало дурно; на шее у него виднелись следы железных лап Скелета. Ведь еще несколько секунд – и жених Хохотушки был бы мертв.

Надзиратель, обязанный охранять приемное помещение и, как мы уже говорили, хорошо относившийся к Жермену, оказал ему первую помощь.

Жермен, придя в себя, пережив этот ужас, едва мог размышлять, но прежде всего он подумал о своем спасителе.

– Благодарю вас за вашу заботу, – сказал он надзирателю. – Без помощи этого отважного человека я погиб бы.

– Как вы себя чувствуете?

– Лучше... Мне кажется кошмаром то, что произошло.

– Ну, успокойтесь!

– А тот, кто меня спас, где он?

– У начальника. Рассказывает ему, как возникла драка... Да, кажется, если бы не он...

– Я был бы мертв. Скажите его имя... Кто он?

– Имя... Не знаю, прозвище Поножовщик; бывший каторжник.

– А преступление?... Может быть, не такое тяжкое привело его сюда?

– Очень тяжкое! Кража со взломом, ночью в частном доме, – ответил надзиратель. – Наказание ему будет такое же, как и Гоберу: пятнадцать, двадцать лет принудительных работ и позорный столб, он же рецидивист.

Жермен вздрогнул; он предпочел бы быть благодарным не столь закоренелому преступнику.

– Ужасно! – воскликнул он. – И все же он стал защищать меня, не зная, кто я, такое мужество, такое благородство...

– Представьте себе, сударь, у них иногда пробуждаются добрые чувства. Важно, что вы теперь спасены; завтра вас переведут в отдельную камеру, а сегодня вы переночуете в лазарете, так распорядился начальник. Ну, сударь, мужайтесь! Тяжелые времена прошли, и, если милая посетительница придет к вам на свидание, вы сможете ее успокоить; когда же дадут отдельную камеру, вам нечего будет бояться. Только я советую не рассказывать ей о происшествии, она заболит от страха.

– Что вы! Я ей ничего не скажу, но все же мне хотелось бы поблагодарить моего спасителя... Как бы он ни был виновен перед законом, тем не менее он спас мне жизнь.

– А вот он как раз выходит, начальник будет теперь допрашивать Скелета. Сейчас я поведу их обоих: Скелета – в карцер, а Поножовщика – в Львиный Ров. Впрочем, он будет награжден за то, что сделал для вас, славный малый, решительный, сильный, таким надо быть, чтобы подчинять других. Скорее всего, он заменит Скелета и станет старшиной.

Поножовщик, пройдя по маленькому коридору, куда выходила дверь кабинета начальника, вошел в комнату, где находился Жермен.

– Подождите меня здесь, – сказал надзиратель, – я узнаю у начальника, что он решил со Скелетом, а затем приду за вами. Наш молодой человек совсем оправился, хочет вас поблагодарить, да и есть за что – без вас ему бы конец.

Надзиратель вышел.

Лицо Поножовщика просияло, он подошел к Жермену и радостно воскликнул:

– Черт побери! Как я доволен, очень доволен, что спас вас! – И он протянул руку Жермену.

Жермен невольно смутился, вначале слегка отошел, вместо того чтобы протянуть руку Поножовщику, но, вспомнив, что он обязан жизнью этому человеку, захотел победить в себе чувство брезгливости. Поножовщик заметил это, помрачнел и, тоже отступив, с горечью произнес:

– А так и должно быть, простите меня, сударь.

– Что вы, это я должен извиниться. Разве я не такой же узник, как и вы? Я должен постоянно помнить, что вы сделали для меня, вы спасли мне жизнь. Дайте руку, сударь... прошу вас.

– Благодарю... теперь это не имеет значения. Если бы вы сразу подали мне руку, я был бы доволен. Но, подумав, решил этого не делать. И хоть я такой же арестант, как и вы, но, – заявил он с мрачным видом, – прежде чем попасть сюда, я был...

– Надзиратель мне все рассказал, – прервал его Жермен, – тем не менее вы спасли мне жизнь.

– Я должен был так поступить, к тому же мне было приятно, ведь я знаю вас, господин Жермен.

– Вы меня знаете?

– Будь я вашим дядей, сказал бы: да, знал, накоротке, назвал бы племянником, – спокойно ответил Поножовщик, – и вы бы ошиблись, подумав, что я случайно попал в тюрьму. Если б я вас не знал... я бы не оказался здесь.

Жермен смотрел на Поножовщика с глубоким удивлением.

– Как? Только потому, что вы были со мной знакомы?

– Именно поэтому я и стал заключенным...

– Я хотел бы вам верить, но...

– Но вы мне не верите.

– Я хочу сказать, что не понимаю, какое отношение я имею к тому, что вас посадили в тюрьму.

– Какое отношение?.. Самое прямое!

– Неужели это я навлек на вас такое несчастье?

– Несчастье?.. Наоборот... Это я вам обязан...

– Вы мне обязаны?

– Благодарю за то, что я побывал в тюрьме.

– По правде говоря, – сказал Жермен, проведя рукой по лбу, – страшное потрясение помутило мой разум, я не могу вас понять. Надзиратель сообщил мне, что вас посадили по обвинению в...

Жермен запнулся.

– В воровстве... черт возьми... в самом деле... да, в воровстве со взломом, ограблением, к тому же ночью! Полный набор! – со смехом воскликнул Поножовщик. – Все на месте, воровство высшего разряда!

Жермен, огорченный предельным цинизмом Поножовщика, не мог сдержать себя:

– Как вы, такой храбрый, столь великодушный, можете так говорить? Разве вы не знаете, на какое суровое наказание вы себя обрекли?

– Двадцать лет каторги и позорный столб! Знаем мы это! Я, стало быть, явный злодей, если обращаю все это в шутку? Но что поделаешь? Раз уж стал таким... И подумайте только, господин Жермен, что вы были причиной моих несчастий, – глубоко вздохнув, в шутливом тоне продолжал Поножовщик.

– Если вы мне объясните яснее, я пойму. Шутите, сколько вам заблагорассудится. Всю жизнь буду вам благодарен, – с грустью сказал Жермен.

– Не обижайтесь на меня, господин Жермен, – заговорил Поножовщик, – вам не нравится, что я, шутя, рассказываю о происшедшем. Ну ладно, будем дружками, быть может, вы от души подадите мне руку.

– Так и будет, хоть вы и совершили преступление, в котором сами признались; глядя на вас, сразу видишь, что вы смелый, откровенный человек. Я убежден, что вас обвинили несправедливо, быть может, есть улики – вот и все.

– Вы ошибаетесь, господин Жермен, – серьезно заговорил Поножовщик, и Жермен поверил ему. – Это правда, правда, как и то, что у меня есть покровитель (Поножовщик снял колпак); он для меня то же самое, что господь бог для священников; да, я воровал ночью, был схвачен на месте преступления, и при мне были все украденные вещи.

– Так, значит, нужда... голод... довели вас до этой крайности.

– Голод?.. Да у меня в кармане хранилось сто двадцать франков, когда был арестован, остаток от ассигнации в тысячу франков, и к тому же – покровитель, я говорил вам о нем; кстати, он

Эжен Сю

не знает, что я здесь, а то бы я ни в чем не нуждался. Но раз я упомянул своего покровителя, то знайте – это серьезно, понимаете, он достоин того, чтобы перед ним склонялись. Измордовав Скелета, я следовал его приемам; это его манера наказывать виновного. Но и воровством я занялся ради него... И то, что вы находитесь здесь, а не погибли от руки Скелета, – это тоже его дело.

– Кто же ваш покровитель?

– Он также и ваш.

– Мой?

– Да, господин Родольф вам покровительствует. Правда, надо называть его монсеньор... он по меньшей мере принц, но я привык называть его господин Родольф, и он мне это разрешает.

– Вы ошибаетесь, – удивленно заметил Жермен, – я не знаю никакого принца.

– Он вас знает. Вы понятия об этом не имеете. Это в его духе. Когда ему становится известным, что хороший человек попал в беду, он ему поможет, счастье свалится на того человека, словно снег на голову. Потерпите, и вы окажетесь счастливым.

– Поистине ваши слова меня поражают.

– Вы еще не раз будете удивляться. Кстати, о покровителе, некоторое время тому назад я оказал ему услугу, за это он вознаградил меня, не скажу как, не хочу вас утомлять, слишком долго рассказывать: он направил меня в Марсель, чтобы оттуда я отбыл в Алжир, где должен был отлично устроиться. Выезжаю из Парижа, счастливый, как разбогатевший нищий; все замечательно, но вскоре настроение изменилось. Представьте себе, я выехал в прекрасную погоду, светило солнце, на следующий день небо затянуло тучами, они стали свинцовыми, и, по мере того как я удалялся от города, вокруг становилось все мрачнее, и, наконец, наступил полный мрак. Вам понятно?

– Не совсем.

– Ну ладно! У вас когда-нибудь была собака?

– Какой странный вопрос!

– У вас когда-нибудь была любимая собака? Представьте себе, что она вдруг пропала.

– Нет, такого случая не было.

– Тогда объясню вам просто: находясь вдали от господина Родольфа, я был встревожен, как собака, потерявшая своего хозяина. Глупо было с моей стороны, но собака тоже бывает – глупой, что не мешает ей быть преданной, быть благодарной не только за лакомый кусок, но и помнить, как ее побили; а господин Родольф дал мне нечто большее, чем лакомый кусок. Господин Родольф – это все в моей жизни. До знакомства с ним я был грубым, диким, жестоким негодяем, он обратил меня в честного человека, сказав мне всего два слова... Но то было чудо...

– Какие же это слова? Что он вам сказал?

– Он пробудил во мне веру в то, что я человек, а не погибшая личность, что в моем сердце сохранились доброта и честь. Хотя я каторжник, но не вор! Осужден за убийство, – мрачно сказал Поножовщик, – но совершил его в приступе ярости. Откуда мне, выросшему на парижской мостовой, брошенному отцом и матерью, иметь понятие о добре и зле, о всевышнем и о дьяволе, о силе и слабости человека? Едва мною овладевала злоба, я не знал иного средства успокоить ее, как обнажить нож. Готов был зарезать кого угодно, превращался в бешеного зверя. А кто окружал меня? Негодяи и мошенники. Но это нисколько меня не смущало. Я был рожден на дне и продолжал барахтаться в грязи, даже не сознавая этого. Но когда господин Родольф сказал, что раз я не принялся за прежнее, а сделал попытку заработать себе кусок хлеба честным трудом, я еще не совсем потерял для добрых дел, что во мне есть твердость честного человека... Черт побери! Вы понимаете... Эти слова произвели на меня такое впечатление, как будто, ухватив за шиворот, меня высоко подняли над навозной кучей, в которой я топтался, и показали, мне, среди какой грязи я жил. Тогда я решил: благодарю! С меня довольно, мне пора выметаться отсюда. Тут мое сердце заколотилось, но не так, как во гневе, я поклялся оберегать свою честь, о которой говорил господин Родольф. Вам теперь ясно, господин Жермен, как это было: господин Родольф, со свойственной ему добротой, сказал мне, что я не такой скверный, как о себе думаю, он воодушевил меня, благодаря ему я стал лучше, чем был.

Слушая это признание, Жермен все более и более сомневался в том, что Поножовщик мог совершить кражу, в которой сам признавался.

Глава XII ОСВОБОЖДЕНИЕ

Нет, подумал Жермен, невозможно, чтобы человек, с таким воодушевлением говорящий о чести и благородстве, мог совершить кражу, в которой он цинично признается. Поножовщик, не замечая изумления Жермена, продолжал:

– В конце концов, если я предан господину Родольфу, как собака своему хозяину, то лишь потому, что он возвысил меня в моих собственных глазах. До встречи с ним я дрожал за свою шкуру, но он разворотил мне душу. Находясь вдали от него, я был мертв душою. Я как-то подумал: его подстерегает опасность, он встречается с таким отребьем – я-то хорошо знаю, – рискует головой; в этих обстоятельствах я, как верный пес, мог бы защитить моего благодетеля, сил у меня хватит. А он меня поучал: «Нужно быть полезным для всех, идите туда, где вы можете совершить добро». Я пытался было возразить: «Главное, господин Родольф, для меня – вы, и вам я готов служить». Но не посмел. Он решительно заявил: «Идите!» Я отправился. Но вот, дьявольщина, когда нужно было сесть на корабль, покинуть Францию, пересечь море, потеряв надежду снова встретиться с ним... признаюсь, у меня не хватило мужества. Он приказал агенту, когда я направляюсь в Алжир, выдать мне денежные средства. Я же признался агенту: «Не могу выехать в Алжир по морю, на земле чувствую себя увереннее, намерен пойти в Париж пешком. Дайте мне немного денег, чтоб я смог туда добраться, у меня крепкие ноги. Господин Родольф может обращаться со мной, как ему угодно, пусть гневается, прогонит с глаз долой. Я все же его увижу, буду знать, с кем он встречается, а так как ему угрожает опасность, рано или поздно я, быть может, спасу его. Вот почему не могу уехать в другую страну. Чувствую, какая-то сила тянет меня к нему». Мне выдали деньги на дорогу, и я прибыл в Париж. Ничего я не боялся на свете, но, когда вернулся, меня охватил страх... Что скажу господину Родольфу в свое оправдание, как просить прощения за то, что возвратился? Наконец, подумав, решил, не съест же он меня, будь что будет... Отправился к его другу, лысому толстяку, благородному человеку. Вот дьявольщина! Встретив господина Мэрфа, я сказал ему: «Решается моя судьба, в горле пересохло, сердце разрывается». Я думал, что со мной обойдутся грубо, ничего подобного. Благородный человек встретил меня, как будто мы только что расстались; он сказал, что господин Родольф примет меня сейчас же; затем он повел меня в кабинет к моему покровителю. Дьявольщина! Когда я впервые встретился с принцем, он, обладающий силой и добрым сердцем, страшный, как лев, кроткий, как дитя, носил рабочую куртку и избил меня так, что искры из глаз посыпались. Да будет благословен он! Верите, господин Жермен, зная его великодушие, я заплакал, как ребенок. И что же? Вместо того чтобы пожурить меня, господин Родольф серьезно сказал:

«Вы вернулись, друг мой?»

«Да, господин Родольф, простите, если ослушался, я не мог вас оставить. Дайте мне конуру на дворе, бросайте туда еду либо позвольте остаться здесь, я заработаю на кусок хлеба, но главное – не гневайтесь».

«Я не сержусь, вы пришли вовремя, мне нужна помощь».

«Неужели? Вы были правы, когда говорили, что есть кто-то на небесах, раз я появился в тот момент, когда вам понадобился. Что я должен сделать? Броситься с собора Парижской, богоматери?»

«Дело в том, что несправедливо обвинили в краже и посадили в тюрьму честного, скромного человека. Я встревожен за его судьбу, словно от мой сын, его зовут Жермен; застенчивый юноша находится среди злодеев, жизнь его в опасности. Вы знаете их нравы, и в тюрьме, наверное, сидят знакомые вам арестанты. Не смогли бы вы проникнуть туда и защитить несчастного юношу?»

– Кто ж этот благородный неизвестный человек, который принимает участие в моей судьбе? – спросил Жермен.

– Вы о нем узнаете. Во время разговора с Родольфом у меня возник план, такой остроумный, что я даже рассмеялся.

«Что с вами, друг?» – спросил он.

«Господин Родольф, я рад, что придумал способ спасти Жермена. У него будет покровитель, который защитит его, и никто не осмелится поднять на него руку».

«Это что же, один из ваших прежних друзей?»

«Да, господин Родольф, недавно его посадили в Форс, я узнал об этом, когда приехал в Париж; но нужны деньги». – «Сколько?» – «Тысяча франков». – «Возьмите». – «Благодарю, господин Родольф, через два дня я сообщу вам новости. Низкий поклон всей честной компании! Гром и молния! Теперь мне сам черт не брат, раз я могу оказать услугу вам, охранять вас – в этом моя жизнь!»

– Теперь ясно, и это вызывает во мне ужас, – воскликнул Жермен. – Допустимо ли такое самопожертвование? Чтобы оказаться в тюрьме и защитить меня, вы совершили кражу? Всю жизнь меня будет мучить совесть!

– Подождите. Господин Родольф уверовал в меня, сказав, что я достойный и мужественный человек. Эти слова для меня – путеводная звезда, отныне я уже не тот человек, каким был.

– Ну а воровство? Если вы его не совершили, то как вы могли попасть сюда?

– Подождите-ка. В этом вся комедия; получив тысячу франков, я купил себе черный парик, сбрил бакенбарды, надел синие очки, засунул подушку за спину – получился горб; затем сразу же иду нанимать комнаты в первом этаже, в оживленном квартале. На улице Прованс нахожу подходящую квартиру, плачу задаток на имя Грегуара. На следующий день направляюсь на улицу Тампль, покупаю мебель для двух комнат, все в том же черном парике с горбом и в синих очках – это, чтобы меня сразу узнавали, – отправляю вещи на улицу Прованс, затем на бульваре Сен-Дени, все еще наряженный горбуном, покупаю шесть серебряных приборов. Возвращаюсь домой, навожу порядок у себя в квартире, иду к дворнику и предупреждаю его, что сегодня не буду ночевать дома; уношу с собой ключ. Окна моих комнат были закрыты ставнями. Перед уходом я нарочно не накинул внутренний крючок одной из них. Когда наступила ночь, я снял парик, очки, свой «горб» и ту одежду, в которой совершал покупки и снимал квартиру; укладываю весь хлам в чемодан, отправляю его к Мэрфу с просьбой сохранить тряпье; покупаю куртку, синий колпак, железный ломик, а в час ночи прихожу на улицу Прованс и брожу перед моим домом: когда появится патруль, я взломаю ставни, влезу в окно и ограблю свою квартиру, и все только ради того, чтобы меня арестовали.

И тут Поножовщик рассмеялся.

– А! Понимаю... – воскликнул Жермен.

– Но, подумайте, какая незадача! Патруль долго не появлялся!.. Не раз я мог бы ограбить себя. Наконец, около двух ночи, слышу, что в конце улицы шагают солдаты. Я ломаю ставни, ударяю по стеклам, бью стекла, чтобы было побольше треска, влезаю в окно, прыгаю в комнату, хватаю ящик с серебром и кое-что из одежды... К счастью, патруль услышал звон разбиваемых стекол и ускорил шаги, так что, вылезая через окно, я тут же был схвачен стражей. Стучат во входную дверь, привратник открывает, посылают за комиссаром, он приходит. Привратник сообщает, что две ограбленные комнаты сданы горбатому господину, брюнету в синих очках, по имени Грегуар; а у меня, как видите, светлая грива, настороженный взгляд зайца, сидящего в норе, я строен, как русский гвардеец на часах, вот почему меня не могли принять за горбатого, черноволосого человека в синих очках. Я во всем признался, меня арестовали, отвели в камеру предварительного заключения, а оттуда сюда; я появился в самый подходящий момент, чтобы вырвать из лап Скелета молодого человека, о котором господин Родольф сказал: «Я тревожусь о нем, как о родном сыне».

– Как мне благодарить вас за такую жертву! – воскликнул Жермен.

– Благодарить вы должны не меня, а господина Родольфа...

– Но почему он так заинтересован моей судьбой?

– Он вам об этом скажет, а может быть, и нет, потому что он часто делает добро, но когда его спрашивают, почему он его делает, он резко отвечает: «Это вас не касается».

– А господин Родольф знает, что вы здесь?

– Я не так глуп, чтоб сообщать ему о своих планах, быть может, он бы не разрешил мне сыграть такую штуку... Скажу не бахвалясь, а штука-то вышла на славу?

– Вы действовали рискованно, и неизвестно, чем это кончится!

– Какой риск? Правда, я мог попасть не в ту тюрьму, где находитесь вы... Но я рассчитывал на помощь господина Родольфа, он настоял бы на моем переводе в тюрьму, где сидите вы, такой господин, как он, может все. Раз я попался, он, конечно, добился бы, чтоб вас обезопасить.

– А когда суд?

– Я попрошу господина Мэрфа прислать мне мой чемодан, снова надену черный парик, синие очки, сооружу горб и опять предстану Грегуаром перед привратником, который сдал мне квартиру, перед торговцами, у которых я покупал разные вещи... Ну а если суд пожелает увидеть вора, то я сброшу с себя все это, и станет ясно как божий день, что вор и обворованный и есть Поножовщик. Какого же черта могут со мной сделать, когда будет доказано, что я обворовал самого себя?

– Теперь ясно, – уверенно произнес Жермен. – Но раз вы столь преданы мне, почему раньше ничего не сказали?

– Я сразу же узнал, что против вас возник заговор, мог о нем сообщить до или после того, как Гобер закончит свой рассказ, но доносить даже на подобных бандитов мне не по душе... понадеялся на свою удачу, чтоб вырвать вас из лап Скелета. К тому же, увидев этого разбойника, решил, что настал момент расправиться с врагом таким же способом, как когда-то меня проучил господин Родольф.

– А если б все преступники ополчились против вас, что вы смогли б сделать?

– Тогда я завopil бы, как орел клекочет, и призвал бы на помощь! Но хотелось самому сварганить это дельце, чтобы сказать господину Родольфу: это я защитил и буду защищать вашего юношу, не беспокойтесь.

В комнату внезапно вошел надзиратель.

– Господин Жермен, скорее к начальнику! Он желает поговорить с вами. А вы, Поножовщик, если согласны, направляйтесь в камеру – будете старшиной; вы справитесь с этой должностью, арестанты будут повиноваться такому молодцу.

– Меня устраивает, раз такой случай представился, лучше быть капитаном, нежели солдатом.

– Неужели и теперь вы откажетесь пожать мне руку? – искренне спросил Жермен.

– Нет, господин Жермен, не откажусь, думаю, что теперь могу позволить себе дружески подать вам руку.

– Мы еще увидимся. Отныне вы мой щит, мне нечего бояться, каждый день могу гулять.

– Не бойтесь, все будут перед вами лебезить, вот что я подумал: напишите господину Родольфу о том, что я вам рассказал, тогда он не будет волноваться, передайте, что я нахожусь здесь случайно, чтоб он не подумал, что я вор, а то ведь это, черт возьми, меня не устраивает...

– Будьте спокойны, сегодня же вечером напишу своему покровителю; завтра вы сообщите мне его адрес, и письмо будет отправлено. До свидания, еще раз благодарю вас, вы настоящий человек!

– До свидания, господин Жермен, пойду к своей ватаге оборванцев, ведь я теперь староста... Научу их ходить по струнке, кто не послушается, пусть пеняет на себя!

– Когда я думаю, что по моей вине вы должны будете жить среди этих негодяев!

– Ну что ж тут особенного? Ничем не рискую, они не посмеют напасть на меня. Господин Родольф меня научил. Никакая потасовка мне не страшна.

И Поножовщик последовал за надзирателем, а Жермен вошел в кабинет начальника.

Он был поражен, увидев там Хохотушку.

Хохотушка была бледна и взволнована, с влажными от слез глазами. И все же она улыбалась... Лицо ее выражало радость, ликование.

– У меня для вас хорошая новость, – объявил начальник Жермену. – Судебные власти объявили, что вы ни в чем не виноваты. За отсутствием виновности, в соответствии с гражданским

кодексом, я получил приказ немедленно вас освободить.

– Что вы говорите, сударь? Неужели это возможно! Хохотушка хотела что-то сказать, но так волновалась, что не смогла промолвить ни слова, умоляюще сложив руки, она лишь утвердительно кивнула головой Жермену.

– Мадемуазель пришла сюда вслед за тем, как я получил приказ освободить вас, – продолжал начальник. – Она принесла мне рекомендательное письмо от весьма высокопоставленного лица. Прочтя его, я убедился, что она предана вам; проявляла трогательную заботу во время вашего пребывания в тюрьме. Вот почему я охотно послал надзирателя разыскать вас, надеясь, что вы и мадемуазель будете счастливы, выйдя их этих стен.

– Это сон... так бывает только во сне, – сказал Жермен. – Какое благородство! Простите, огромная радость и изумление лишили меня дара речи, я не могу должным образом поблагодарить вас...

– Я так же, господин Жермен, не нахожу слов, – сказала Хохотушка, – судите сами о моем счастье: когда я рассталась с вами, меня встретил друг Родольфа, он ждал меня.

– Опять Родольф! – удивленно заметил Жермен.

– Да, теперь можно вам рассказать, тогда все станет ясно. Мэрф сообщил мне, что Жермен свободен. «Вот письмо к начальнику тюрьмы, – сказал он, – когда вы придете туда, у него уже будет приказ освободить Жермена, и вы сможете его увести». Я не верила своим ушам, однако же все так и вышло, взяла фиакр, приезжаю сюда... и теперь фиакр ждет нас.

.....

Трудно описать счастье влюбленных, когда они вышли из тюрьмы Форс, и тот чудный вечер, который они провели в комнатке Хохотушки. В одиннадцать часов Жермен вышел из дому, чтобы снять для себя скромную квартиру.

.....

Изложим кратко практические и теоретические принципы, которые мы попытались оспорить, описав эпизод из тюремной жизни.

Мы были бы счастливы, если б нам удалось доказать: неразумность, вред и опасность содержания заключенных в общих камерах...

Несоразмерность, существующую в оценках и наказаниях различных преступлений (домашняя кража, кража со взломом) и некоторых правонарушений (злоупотребление доверием)...

Наконец, показать материальную неспособность бедных классов пользоваться гражданским кодексом.

Глава XIII НАКАЗАНИЕ

Мы вновь поведем читателя в контору нотариуса Жака Феррана.

Благодаря обычной болтливости его служащих, почти непрерывно занятых обсуждением все более заметных странностей своего хозяина, мы расскажем о событиях, происшедших после исчезновения Сесили.

– Держу пари на сто су против десяти, что если дело так пойдет дальше, то наш метр более месяца не протянет, подохнет, как комар.

– Во всяком случае, после того как служанка, похожая на эльзаску, покинула его дом, он него остались только кожа да кости.

– Какая уж там кожа!

– Послушай-ка! Значит, он был влюблен в эльзаску, раз он так высох после того, как она уехала.

– Хозяин – влюблен? Просто смех!

- Напротив... Он, больше чем когда-либо, возится с попами!
- И примите еще во внимание, что наш кюре – надо отдать ему справедливость, человек уважаемый, – уходя, сказал сопровождавшему его аббату (я сам это слышал): «Восхитительно! Жак Ферран – идеал милосердия и щедрости...»
- Так сказал кюре? Сам кюре? И чистосердечно?
- Что сказал?
- Что наш хозяин – идеал милосердия и щедрости, что во всем мире другого такого не сыскать...
- Я сам это слышал...
- Тогда я больше ничего не понимаю. Наш кюре считается, как говорят, настоящим пастырем, и заслуженно.
- Это так, о нем надо говорить серьезно и почтительно. Он добрый и милосердный, второй Синий Плащ,⁴² а когда такое говорят о человеке, этим все сказано.
- И сказано немало.
- Бедняки всей душой почитают его как истинного священника.
- Тогда я продолжу свою мысль. Когда кюре что-нибудь говорит, ему надо верить, поскольку он не способен лгать; а все-таки поверить, что наш хозяин милосерден, великодушен, я никак не могу, хоть убейте.
- Здорово сказано, Шаламель! Здорово!
- В это можно поверить только как в чудо.
- Ферран великодушен! Да он способен с любого шкуру содрать.
- Но все же, господа, сорок су на завтрак он нам выдает!
- Ну и что? Это ничего не доказывает. Мелочь!
- Да, господа, а с другой стороны, старший клерк сказал, что патрон в течение трех дней перевел огромную сумму в банковские билеты и что...
- Что?
- Ну, расскажи!
- Тут кроется тайна.
- Тем более... Какая же тайна?
- Дайте слово, что никому не расскажете.
- Клянемся жизнью наших детей.
- Пусть моя тетка Мессидор станет продажной шлюхой, если я проболтаюсь хоть словом!
- А теперь вспомним, как торжественно говорил король Людовик Четырнадцатый венецианскому дожу, обращаясь к придворным:

Коль в тайну клерк был посвящен,
Ее вмиг выболтает он.⁴³

- Да ну тебя, Шаламель, с твоими поговорками!
- Смерть Шаламелю!
- Пословицы выражают мудрость народа; потому я требую, чтобы ты открыл нам свою тайну.
- Довольно болтать... я поклялся старшему клерку сохранить это в тайне...
- Но он же не запретил тебе поведать тайну всему свету?
- Не бойся, отсюда это не выйдет, рассказывай!
- Да он сам сгорает от желания сообщить новость!

⁴² Да будет позволено здесь упомянуть с глубоким уважением имя великогоблаготетеля господина Шампионэ; мы не имеем чести быть лично знакомыми с ним, но все бедные люди Парижа отзываются о нем с исключительным уважением и признательностью.

⁴³ Здесь и далее стихи в переводе В. Е. Васильева.

- Ну ладно! Хозяин продает контору. Кажется, уже продал.
- Вот это да!
- Вот так новость!..
- Ошеломительно!
- Поразительно!
- А теперь возникает вопрос: кто взвалит на себя дело, которое хозяин решил с себя спихнуть.
- Господи, как несносен этот Шаламель и его вечные каламбуры!
- Откуда мне знать, кому он продает свою контору?
- Если он ее продает, значит, хочет вести праздную жизнь, задавать балы, развлекаться, как говорят в высшем свете.
- В конце концов, у него есть средства.
- И семья на нем не весит.
- Да уж наверняка есть на что. Старший клерк говорит, что у него больше миллиона, включая стоимость конторы.
- Больше миллиона, это неплохо.
- Говорят, он тайком играл на бирже вместе с майором Робером и выиграл много денег.
- И притом жил как скряга.
- Да, но уж если скряга начнет транжирить, он становится расточительнее любого мота.
- Я согласен с Шаламелем: теперь хозяин хочет пожить в свое удовольствие.
- Он совершит непростительную ошибку, если не предастся сладострастию, не погрузится в наслаждения Голконды... раз есть деньги... ибо, как сказал меланхоличный Оссиан в пещере Фингала:

Любой судья не прочь кутнуть. Ну что ж!
Есть деньги – есть и право на кутеж.

- К черту Шаламеля!
- Что за чушь!
- Да, но у хозяина совсем не тот вид, непохоже, чтобы он мог наслаждаться.
- Вид у него такой, что краше в гроб кладут!
- А кюре еще восхищается его милосердием!
- Ну так что же? Истинное милосердие прежде всего обращается на себя самого. Ты что, дикарь, не знаешь, чего требует от тебя всевышний? Если хозяин просит для себя милостыню в виде утонченных наслаждений... его долг себе их доставить... иначе он сам себе покажется ничтожеством...
- Больше всего меня удивляет его новый друг, который словно с неба свалился и ходит за ним как тень.
- Не говоря уже о том, что он уродлив...
- Рыжий, как морковька...
- Я готов подумать, что этот втируша появился на свет благодаря случайной ошибке господина Феррана на заре его молодости, ибо, как говорил Орел из Мо⁴⁴ в связи с пострижением в монахини обворожительной Лавальер:

С кем ни свяжись: будь молод он, будь стар –
Ребеночка тебе оставят в дар.

- Смерть Шаламелю!
- Правда... Он никому не дает слово сказать!

⁴⁴ Имеется в виду Людовик XIV.

– Какая глупость! Утверждать, что новичок – сын патрона.! Да он старше нашего хозяина, сразу видно.

– Ну и что? Строго говоря, какое это имеет значение?

– То есть как! Что же, по-твоему, сын может быть старше отца?

– Господа, я подумал об исключительном, самом необычайном случае.

– Как же ты объясняешь?

– Очень просто: патрон появился на свет потому, что его друг в молодости согрешил и стал отцом Феррана, вместо того чтобы быть его сыном.

– К черту Шаламеля!

– Не слушайте его; он как начнет болтать, то и конца не видно.

– Верно то, что втируша ни на минуту не оставляет Феррана.

– Сидит с ним в кабинете безотлучно, едят они вместе, один без другого шага не сделает.

– Я, кажется, уже встречал здесь этого гостя.

– А я его не видел.

– Скажите, господа, вы не заметили, что вот уже несколько дней, как здесь каждые два часа появляется мужчина с длинными светлыми усами и военной выправкой и вызывает этого незваного гостя через швейцара? Тот выходит поговорить с ним, а затем усач поворачивается кругом, как автомат, и уходит, чтобы через два часа появиться снова.

– Верно, я тоже это заметил... Мне казалось также, что, когда я уходил, я видел на улице несколько человек, которые наблюдали за нашим домом.

– Серьезно, здесь происходит что-то необычное.

– Поживем – увидим.

– Старший клерк, может быть, знает об этом больше, чем мы? Но он хитрит.

– А кстати, где он?

– Он у графини, которую пытались убить. Кажется, теперь она уже вне опасности.

– Графиня Мак-Грегор?

– Да, сегодня утром она срочно потребовала патрона к себе, но он вместо себя отправил старшего клерка.

– Быть может, по поводу завещания?

– Нет, она ведь поправляется.

– Сколько теперь дел у нашего старшего клерка, ведь он же исполняет обязанности Жермена, работает кассиром!

– Кстати, о Жермене, получилась еще одна смешная история.

– А что?

– Патрон, чтобы освободили Жермена, заявил суду, что он сам, господин Ферран, допустил ошибку при подсчете и обнаружил деньги, которые требовал от Жермена.

– По-моему, это вовсе не смешно, а справедливо; помните, я всегда говорил, что Жермен не способен на кражу.

– Тем не менее для него было мучительно оказаться арестованным и сидеть в тюрьме.

– Я бы на его месте потребовал от Феррана возмещение.

– В самом деле, он должен восстановить его в должности кассира, чтобы доказать его невиновность.

– Да, но, быть может, Жермен этого не захочет.

– А что, он все там, в деревне, куда поехал, выйдя из тюрьмы? Он нам сообщал, что порывает всяческие отношения с Ферраном.

– Наверное, там, потому что вчера я был в доме, где он жил, и мне сказали, что он еще в деревне и ему можно писать в Букеваль, через Экуен, на имя фермерши, госпожи Жорж.

– Господа, смотрите, карета! – сказал Шаламель, посмотрев в окно. – Вот чертовщина! Это не такая элегантная карета, как у знаменитого виконта. Помните блестящего кавалера Сен-Реми, приезжавшего с лакеем в ливрее, шитой серебром, и с толстым кучером в белом парике? На сей раз это просто извозчичья пролетка.

– Минутку! А, черное платье!

– Женщина! Женщина! Ну-ка, поглядим!

– Господа, до чего неприлично для своего возраста этот пострел увлекается женщинами! Только о них и думает. В конце концов, придется посадить его на цепь, иначе он будет лохищать сабинянок прямо на улице, потому что, как говорит Фенелон в своем «Трактате о воспитании», предназначенном для дофина:

Прекрасный пол – прочь от божка-пострела!

С ним не шути. Он дерзок до предела?

– Смерть Шаламелю!

– Черт побери! Шаламель, вы сказали, черное платье. А я полагаю...

– Дурошлеп, это кюре!.. Смотри, в другой раз не ошибись!

– Кюре нашего прихода? Наш добрый аббат?

– Он самый, господа!

– Вот уж достойный человек!

– Не то что иезуиты!

– Конечно, и, будь все аббаты похожи на него, все прихожане стали бы благочестивыми.

– Тихо! Кто-то открывает дверь.

– Быстро по местам! Это он!

Клерки склонились над столами и стали с притворным старанием громко скрипеть перьями.

Бледное лицо священника было одновременно и добрым и серьезным, умным и внушающим доверие, в его взоре ощущалась кротость и ясность духа. Небольшая черная шапочка прикрывала тонзуру, его седые, в меру длинные, волосы ниспадали на воротник коричневой рясы.

Поспешим заметить, что благодаря своей наивной доверчивости благородный пастырь всегда оказывался одураченным ловким лицемером Жаком Ферраном.

– Дети мои! Ваш уважаемый патрон в своем кабинете? – спросил кюре.

– Да, господин аббат, – ответил Шаламель, вставая и почтительно кланяясь. И он открыл аббату дверь в соседнюю с конторой комнату. Услышав громкий и нервный разговор в кабинете Жака Феррана, аббат, не желая подслушивать, быстро подошел к двери и постучал.

– Входите, – послышался голос с сильным итальянским акцентом.

В комнате аббата встретили Полидори и Жак Ферран. Клерки, по-видимому, не ошибались, предсказывая скорую смерть своему патрону.

После исчезновения Сесили он стал почти неузнаваем.

Хотя лицо его крайне осунулось и стало мертвенно-бледным, на выдающихся скулах проступал лихорадочный румянец; нервная дрожь то прекращалась, то переходила в конвульсивные судороги; костлявые руки были сухие и горячие; за большими зелеными очками скрывались налитые кровью глаза, горевшие огнем пожирающей его лихорадки. Словом, мрачная маска его лица выдавала непрерывное смертельное разрушение.

Физиономия Полидори представляла полную противоположность лицу нотариуса. Нельзя было представить ничего более холодно-насмешливого, чем выражение лица этого негодяя; густая шевелюра ярко-рыжих волос, перемежающихся несколькими поседевшими прядями, украшала его бледный, изборожденный морщинами лоб; острые пронзительные глаза, зеленые и прозрачные, как морская вода, были посажены очень близко к крючковатому носу; рот с тонкими втянутыми губами выражал злобу и сарказм. Полидори, весь в черном, сидел подле письменного стола Жака Феррана.

При виде кюре оба поднялись.

– Здравствуйте, ну как ваше здоровье, достойнейший господин Ферран? – заботливо спросил аббат. – Вам немного лучше?

– По-прежнему, господин аббат; лихорадка не проходит, терзает бессонница. Да будет воля божья!

– Да, господин аббат, – лукаво произнес Полидори, – какое благочестивое смирение! Мой

бедный друг верен себе: облегчение своим страданиям он находит лишь в добрых делах.

– Я не заслуживаю таких похвал, извольте меня от них избавить, – с едва сдерживаемой ненавистью и злобой сухо произнес нотариус. – Только всевышний может быть судьей добра и зла; я лишь ничтожный грешник.

– Все мы грешны, – мягко возразил аббат, – но мы лишены того милосердия, которым вы так отличаетесь, мой уважаемый друг. Редко встречаются люди, способные, как вы, всецело отречься от благ земных, чтобы еще при жизни по-христиански разделить свое достояние. Вы решительно настроены продать свою контору, с тем чтобы всецело предаться святой благотворительности?

– Два дня тому назад я продал свою контору, господин аббат; редкостная удача, благодаря некоторым уступкам мне удалось получить деньги сполна; эта сумма, добавленная к другим, необходима для основания заведения, о котором я вам говорил; окончательный план его мною уже выработан, и я готов вручить его вам.

– Ах, мой достопочтенный друг! – воскликнул аббат с глубоким и искренним восхищением. – Вы совершаете добрые дела... так просто... и, можно сказать, так естественно!.. Я повторяю, редко встречаются такие люди, как вы, они заслуживают всяческого благословения.

– Дело в том, что редко кто из людей соединяет в себе, как Жак, богатство и благочестие, разум и милосердие, – сказал Полидори с иронической улыбкой, не замеченной аббатом.

При этой новой язвительной похвале у нотариуса невольно сжались кулаки, он бросил сквозь очки на Полидори взгляд, полный адской злобы.

– Видите, господин аббат, – поспешил сказать *близкий друг* Феррана, – у него все еще продолжают эти конвульсивные припадки, от которых он не хочет лечиться... Он меня приводит в отчаяние... Он сам себе палач... Да, я смею сказать эти слова аббату: ты сам себя обрекаешь на смерть, мой бедный друг!..

При этих словах Полидори у нотариуса вновь начались конвульсии, но постепенно он успокоился.

Во время этого разговора и в особенности во время того, который последует ниже, человек, менее наивный, чем аббат, заметил бы в речах нотариуса известную принужденность, сдержанный гнев, так как нет надобности говорить, что воля, более сильная, чем воля нотариуса, словом, воля Родольфа, принуждала метра Феррана произносить слова и совершать поступки, диаметрально противоположные его натуре.

Порой, доведенный до крайности, нотариус, казалось, колебался и готов был восстать против всемогущего влияния невидимого авторитета, но властный взгляд Полидори ставил предел этой нерешительности, и тогда нотариус, сосредоточив во вздохе бешенства самое злобное волнение, подчинялся ярму, которое не мог сбросить.

– Увы, господин аббат, – продолжал Полидори, который, казалось, поставил перед собой задачу изводить своего сообщника булавочными уколами, как говорят в просторечье, – мой бедный друг совсем не бережет свое здоровье... Скажите же ему то, что говорю я, чтоб он пошел, если не для себя, то для своих друзей и, во всяком случае, для тех обездоленных, надеждой и поддержкой которых он является...

– Довольно!.. Довольно!.. – пробормотал нотариус глухим голосом.

– Нет, не довольно, – с волнением заговорил аббат, – мы вам беспрестанно будем повторять, что вы принадлежите не только себе, что дурно с вашей стороны так пренебрегать здоровьем. Вот уже десять лет, как я знаком с вами, и я ни разу не видел вас больным, но за прошедший месяц вы стали неузнаваемы. Я еще более поражен тем, как вы изменились, потому что некоторое время я вас не видел. Уже при последнем нашем свидании я не мог скрыть моего изумления, но за эти несколько дней я замечаю, что вы изменились еще сильнее: вы чахнете на глазах, вы нас сильно беспокоите... Умоляю вас, мой достопочтенный друг, подумайте о своем здоровье...

– Премного благодарен за ваше внимание, господин аббат, но, уверяю вас, мое здоровье не вызывает таких опасений, как вам кажется.

– Раз ты продолжаешь стоять на своем, – возразил Полидори, – я сам все расскажу госпо-

дину аббату: он тебя любит, уважает, он глубоко почитает тебя; что же будет тогда, когда он услышит о твоих новых заслугах, когда он узнает истинную причину твоего истощения?

– А что еще? – спросил аббат.

– Господин аббат, – нетерпеливо возразил нотариус, – я пригласил вас сюда для того, чтобы сообщить вам о проектах исключительно важных, а не для того, чтобы выслушивать смехотворные похвалы, расточаемые мне *моим другом*.

– Ты знаешь, Жак, что тебе придется внимательно выслушивать все, что я говорю, – сказал Полидори, пристально взглянув на него.

Тот, опустив глаза, замолчал. Полидори продолжал:

– Вы, быть может, заметили, господин аббат, что первые признаки нервной болезни Жака появились вскоре после ужасающего скандала, учиненного Луизой Морель в этом доме.

Нотариус задрожал.

– Значит, вы знаете о преступлении этой несчастной девушки? – с удивлением спросил аббат. – Я полагал, что вы приехали в Париж сравнительно недавно?

– Конечно, господин аббат, но Жак мне все рассказал как своему другу, как своему врачу, он был возмущен, узнав о преступлении Луизы, что, по его мнению, и вызвало нервное потрясение, от которого он теперь страдает. Но этого мало, мой бедный друг должен был, увы, пережить новые горести, которые, как видите, ухудшили его здоровье... Старая служанка, благодарная и душевно преданная ему в течение многих лет...

– Госпожа Серафен? – сказал аббат, прервав Полидори. – Я узнал о смерти этой несчастной, утонувшей вследствие пагубной неосторожности, и сочувствую горю господина Феррана! Так просто не забыть, что она честно служила ему десять лет, а подобная скорбь делает честь и хозяину и служанке.

– Господин аббат, умоляю вас, – сказал нотариус, – не говорите о моих добродетелях, вы смущаете меня... мне это неприятно.

– А кто же расскажет о тебе, ведь ты сам словом не обмолвишься, – добродушно возразил Полидори, – а вам, господин аббат, сейчас придется похвалить моего друга; вы, быть может, не знаете, какая служанка заменила Луизу Мораль и госпожу Серафен в доме Жака. Вы, наконец, не знаете, что он сделал для бедной Сесили – это имя его новой служанки.

Нотариус невольно вскочил со своего кресла, его глаза загорелись под очками; мертвенное лицо покрылось румянцем.

– Замолчи... замолчи!.. – воскликнул он, поднявшись. – Ни слова, запрещаю тебе говорить!

– Да что вы, успокойтесь, – кротко улыбаясь, сказал аббат, – о каком добродетельном поступке хочет нам поведать ваш друг? Что касается меня, то я всецело одобряю его нескромность... Я в самом деле не знал об этой служанке: через несколько дней после того, как она поступила в дом господина Феррана, он, чрезвычайно занятый, к моему огорчению, внезапно прервал наши встречи.

– Господин аббат, он не встречался с вами потому, что хотел утаить от вас замысел нового доброго дела. Вот почему, хотя он и возмущен в силу присущей ему скромности, придется ему меня выслушать, а вы все узнаете, – улыбаясь, промолвил Полидори.

Жак Ферран замолчал и, опираясь локтями на свой письменный стол, закрыл лицо руками.

Глава XIV БАНК ДЛЯ БЕДНЫХ

– Представьте себе, господин аббат, – продолжал Полидори, обращаясь к кюре, но подчеркивая каждую фразу ироническим взглядом в сторону Феррана, – да, представьте, что мой друг нашел в своей новой служанке Сесили – я уже называл ее имя – отменные достоинства... исключительную скромность... ангельскую доброту и, в особенности, удивительное благочестие... Но этого мало. Жак, с присущей его профессии наблюдательностью, вскоре заметил, что молодая женщина – потому что она была молода и прелестна, господин аббат, – не предназначена для роли обыкновенной служанки и что, придерживаясь строгих принципов целомудрия, она к тому же

солидно образована и обладает разнообразными знаниями.

– Действительно, как странно, – сказал аббат, сильно заинтересованный, – я ничего не знал об этих обстоятельствах. Но что с вами, мой добрый Ферран? Вам, кажется, стало хуже?

– Да, – промолвил нотариус, вытирая холодный пот со лба, так как для него было крайне мучительно сдерживаться, – у меня немного болит голова... ничего, пройдет. Полидори, пожав плечами, улыбнулся.

– Заметьте, господин аббат, – сказал он, – что Жак всегда чувствует себя скверно, когда становится известно какое-нибудь из его тайных благодеяний. Он такой лицемер, когда речь идет о совершаемых им добрых делах! К счастью; я здесь, и ему будет воздано по заслугам. Обратимся к Сесили. В свою очередь, она вскоре распознала великодушие сердца Жака, и, когда он стал спрашивать ее о прошлом, она откровенно призналась, что, будучи иностранкой, без средств к существованию, доведенная до нищенского состояния неблагоприятным поведением мужа, сочла даром судьбы попасть в святой дом столь почтенного человека, как Ферран. Узнав о стольких ее горестях... о ее покорности судьбе... о ее целомудрии... Жак, не колеблясь, написал на ее родину письмо с целью получить о ней некоторые сведения. Они весьма положительно характеризовали иностранку и всецело подтверждали все то, что она рассказала моему другу; тогда, убежденный, что совершает праведное дело, Жак благословил Сесили как отец, отправил ее на родину, вручив ей такую сумму денег, которая обеспечила бы ее до лучших времен, когда она сможет найти себе более подходящее положение в жизни. Я больше не стану хвалить Жака: факты красноречивее моих слов.

– Отлично, прекрасно! – воскликнул умиленный аббат.

– Господин аббат, – сказал Жак Ферран сдержанным и глухим голосом, – я не хочу злоупотреблять вашим драгоценным временем, не будем больше говорить обо мне, умоляю вас, поговорим о проекте, из-за которого я пригласил вас сюда, с тем чтобы испросить ваше благосклонное содействие.

– Я вижу, что похвалы друга оскорбляют вашу скромность, займемся же вашими новыми благочестивыми планами, не будем говорить о том, что исходят они от вас; но прежде всего поговорим о порученном мне деле. Согласно вашему желанию я внес на свое имя во Французский банк сто тысяч эку, предназначенных для возврата долга, через ваше посредничество все это должен был сделать я. Вы предпочли, чтоб этот взнос не оставался у вас, хотя, как мне кажется, у вас он был бы в такой же надежной сохранности, как и в банке.

– Да, господин аббат, об этом меня просил неизвестный должник, он поступает так ради спокойствия своей совести. Согласно его желанию, я должен был вручить эту сумму вам и просить вас передать ее вдове де Фермон, урожденной де Ренвиль (голос нотариуса слегка задрожал, произнося эти слова), когда эта дама придет к вам и предъявит удостоверение личности.

– Я исполню ваше поручение, – сказал аббат.

– Но это еще не все, господин аббат.

– Тем лучше, если другие поручения будут подобны этому, потому что, какова бы ни была причина, побудившая человека поступить так, меня всегда трогает добровольная уплата долга; это возвышенное решение, продиктованное только совестью, которое выполняется честно и добровольно, от всей души, всегда служит свидетельством искреннего раскаянья, а не бесплодного искупления.

– Господин аббат, ведь сто тысяч эку, возвращенные сразу, редкостный случай? Не так ли? Меня больше вас мучило любопытство, но оно было бессильно перед непоколебимой скромностью Жака. Я и поныне не знаю имени честного человека, совершившего этот благородный возврат денежных средств.

– Кто бы он ни был, – произнес аббат, – я убежден, что он питает исключительное уважение к Феррану.

– Этого честного человека, – господин аббат, действительно я глубоко уважаю, – ответил нотариус с плохо скрываемой горечью.

– И это еще не все, господин аббат, – возразил Полидори, многозначительно глядя на Жака Феррана, – вы увидите, до какой степени великодушия дошел этот неизвестный должник, и, от-

кровенно говоря, я сильно подозреваю, что наш друг немало способствовал пробуждению совести у этого человека и нашел способ ее успокоить.

– Каким образом? – спросил аббат.

– Что вы хотите этим сказать? – добавил нотариус.

– А славная и честная семья Морель?

– Ах да... действительно, я забыл, – глухим голосом произнес Жак Ферран.

– Представьте себе, – продолжал Полидори, – что этот должник, несомненно по совету Жака, не удовольствовался тем, что возвратил значительную сумму, а хочет еще... Но пусть говорит наш уважаемый друг... я не желаю лишать его удовольствия.

– Я вас слушаю, мой дорогой Ферран, – сказал священник.

– Вам известно, – начал Жак с лицемерным раскаяньем, постоянно прерываемым невольным возмущением той ролью, которую ему навязали; это возмущение проявлялось в том, что голос его искажался и он колебался перед тем, как произнести то или иное слово. – Вы знаете, господин аббат, что скверное поведение Луизы Морель... было таким тяжелым ударом для ее отца, что он сошел с ума. Большая семья этого ремесленника чуть не умерла с голода, лишившись единственного кормильца. К счастью, провиденье пришло к нему на помощь, и... лицо, пожелавшее возвратить долг, чьим посредником вы согласились быть, сочло, что не в полной мере искупило большое злоупотребление доверием. Этот человек спросил у меня, не знаю ли я достойной семьи, нуждающейся в помощи. Я должен был сообщить этому щедрому человеку о семье Морель; тогда, вручив мне необходимую сумму, меня попросили тотчас передать деньги вам, с тем чтобы вы оформили ренту в две тысячи франков на имя Мореля, которая может быть перечислена его жене и детям.

– Но, по правде говоря, – сказал аббат, – всецело принимая эту новую, несомненно, благородную миссию, я удивлен, почему вы сами не пожелали ее исполнить.

– Неизвестное лицо полагает, и я разделяю его мнение, что добрые дела обретут дополнительную добродетель, будут, так сказать, освящены... если их исполнит человек такой благочестивый, как вы.

– На это я ничего не могу ответить, я оформлю ренту в две тысячи франков на имя Мореля, достойного и несчастного отца Луизы. Но я так же, как и ваш друг, считаю, что этот новый акт искупления был совершен не без вашего влияния.

– Я только указал на семью Мореля... ничего больше, прошу мне верить, – ответил Жак Ферран.

– А теперь, – заговорил Полидори, – вы узнаете, господин аббат, какой высоты филантропии достиг мой добрый Жак, затеяв благотворительное заведение, о котором мы с вами уже говорили; он прочтет нам окончательно разработанный план; деньги для создания фонда находятся здесь, в его классе; но вот вчера у него вдруг возникло сомнение; если он не осмелится вам об этом сообщить, то это сделаю я.

– Не надо, – возразил Жак Ферран, который иногда предпочитал оглушить себя собственной речью, нежели быть вынужденным молчать и выслушивать иронические похвалы своего собеседника. – Вот в чем дело, господин аббат. Я подумал... что проявлю более христианское... смирение, если банк... будет основан не под моим именем.

– Но такое смирение чрезмерно, – воскликнул аббат. – Вы можете и должны законно гордиться основанием благотворительного фонда; ваше право, почти обязанность – связать его с вашим именем.

– Тем не менее я предпочитаю, господин аббат, держать имя основателя в тайне, я так решил... и рассчитываю на вашу доброту, надеюсь, что вы, не называя моего имени, выполните последние формальности и выберете младших служащих для нашего учреждения. Я сохраняю за собой только право назначить директора и привратника.

– Если б даже для меня не было настоящим удовольствием содействовать вашему делу, это все-таки мой долг. Итак, я согласен.

– А сейчас, господин аббат, если вы пожелаете, мой друг прочтет вам план, который окончательно утвердил...

– Поскольку вы столь любезны, мой друг, – с горечью произнес Ферран, – читайте сами... Избавьте меня от этого неприятного труда... прошу вас.

– Нет, нет, – возразил Полидори, взглянув на нотариуса с сарказмом, который тот сразу заметил. – Для меня будет истинным удовольствием услышать из твоих уст выражение благородных чувств, побудивших тебя основать филантропический фонд.

– Ладно, буду читать я, – резко ответил нотариус, взяв с письменного стола какую-то бумагу.

Полидори, давний сообщник Феррана, хорошо знал преступления и тайные мысли этого негодяя; вот почему он не смог сдержать жестокой усмешки, наблюдая, как нотариус вынужден читать этот документ, продиктованный Родольфом. Как видно, принц, наказывая нотариуса, проявил поразительную логику.

За сладострастие он подверг его пытке сладострастием.

За жадность – жадностью.

За лицемерие – лицемерием.

Ибо, если Родольф избрал досточтимого аббата посредником по возврату долга и искуплению грехов Феррана, тем самым он хотел вдвойне наказать мерзавца за его лицемерие, с помощью которого он снискал наивное уважение и чистосердечную симпатию доброго аббата.

Что могло быть большим наказанием для этого мерзкого обманщика, закоренелого преступника, чем то, что его заставили наконец действительно проявить христианские добродетели, так часто симулируемые им в прошлом? И на этот раз он должен был в бессильном бешенстве заслужить похвалу уважаемого священника, которого он так долго дурачил.

Итак, Жак Ферран, как можно было предположить, прочел следующий проект со скрытым чувством злобы.

УЧРЕЖДЕНИЕ БАНКА БЕЗРАБОТНЫХ ТРУДЯЩИХСЯ

«Возлюбим друг друга», – сказал Христос.

Божественные слова содержат в себе зародыш всех обязанностей, добродетелей, благотворительных деяний.

Они вдохновили смиренного основателя данного учреждения.

Только Христу принадлежат совершенные им добрые дела.

Ограниченный в средствах, основатель стремился помочь возможно большему числу своих братьев.

Прежде всего он обращается к честным, трудолюбивым, обремененным семьей рабочим, которых безработица часто доводит до жестокой крайности.

Не унижительную милостыню предлагает он своим братьям, а беспроцентную ссуду.

Пусть этот заем, как он надеется, облегчит их участь в будущем, спасет от разорительных займов, которые они вынуждены брать до тех пор, пока не найдут работы, их единственного средства существования, с тем чтобы поддержать семью, единственными кормильцами которой они являются!

В качестве гарантий этого займа он требует у своих братьев только соблюдения чести и верности данному слову.

В первый год учредитель обеспечивает двенадцать тысяч франков годового дохода до тех пор, пока эта сумма не будет увеличена притоком вкладов в банк, и беспроцентные займы от двадцати до сорока франков, предоставляемые семейным, проживающим в VII округе; этот район выбран потому, что он заселен главным образом трудящимися.

Упомянутые ссуды будут предоставляться только рабочим и работницам, имеющим справку о благонадежности их поведения, выданную владельцем предприятия с указанием причин и даты прекращения работы.

Предоставляемые ссуды должны возвращаться ежемесячно шестого либо двенадцатого числа – число выбирает должник, начиная со дня поступления на новую работу.

Должник подпишет простое обязательство соблюдать сроки возвращения взятой ссуды.

В качестве гарантии он должен иметь двух поручителей из числа своих товарищей, для того чтобы путем солидарности развить и расширить святость клятвенного обязательства.⁴⁵

Рабочий, не возвративший ссуды, так же, как и его поручители, лишается права получения нового займа, ибо они нарушили священное обязательство, а главное — лишили своих братьев возможности пользоваться займом, так как не возвращенная ими сумма оказывается потерянной для банка бедных.

Напротив, если же одолженные суммы будут честно возвращены, это позволит из года в год расширять круг обеспечиваемых ссудой рабочих и увеличивать выдаваемую сумму; к тому же со временем станет возможным оказывать такие же благодеяния и в других округах.

Не унижать достоинства человека милостыней.

Не содействовать лени бесполезными дарами.

Возбуждать в среде трудящихся чувства собственного достоинства и чести, подлинной порядочности, присущие рабочему классу.

Окажем братскую помощь рабочему, который и так с трудом существует из-за низкой оплаты его труда и не может обречь на голод и нужду самого себя и свою семью, потому что он лишается заработка...

Таковы принципы, послужившие основанию нашего банка.⁴⁶

Слава только тому, кто сказал «Возлюбим друг друга»!

— Ах! — благоговейно воскликнул аббат, — какая милосердная идея! Я понимаю ваше волнение, когда вы читали столь трогательно простые слова!

Действительно, заканчивая чтение, голос Феррана изменился, его терпение и мужество были на исходе; но за ним следил Полидори, а потому он не смел и не мог нарушить ни малейшего приказа Родольфа.

Представьте себе ярость нотариуса, вынужденного столь щедро, столь милосердно распорядиться своим состоянием в пользу класса, безжалостно им преследуемого в лице гранильщика Мореля.

— Не правда ли, господин аббат, ведь идея Жака превосходна, — сказал Полидори.

— Да, сударь, мне часто приходится встречать нуждающихся людей, и я, как никто другой, в состоянии понять, какое важное значение будет иметь для бедных и честных безработных этот заем, который состоятельным людям, быть может, покажется очень скудной суммой. Увы! Сколько добрых дел могли бы они совершить, если б знали, что те небольшие средства, которые они расходуют, чтобы ублажить любую прихоть своей праздной жизни... что тридцать или сорок франков, которые им вовремя возвратят, правда, без процентов, могут обеспечить будущее, а иногда даже уберечь честь семьи, которую отсутствие заработка обрекает на неотступную нищету и нужду. Безработному бедняку всегда отказывают в кредите, а если ему и дают немного денег без залога, то при условии выплаты чудовищного ростовщического процента; взяв на неделю тридцать су, вернуть нужно сорок, да еще нелегко найти в кредит и эту скромную сумму. Да-

⁴⁵ Быть может, широкой публике неизвестно, что рабочий обычно с таким уважением относится к своему долгу, что ростовщики, предоставляя кредит на короткий срок за баснословный процент от 300 до 400 %, не требуют никаких письменных обязательств, — и долг всегда полностью оплачивается. Эти мерзкие сделки совершаются главным образом на Центральном рынке и в его окрестностях.

⁴⁶ Наш проект, по поводу которого мы консультировались с некоторыми уважаемыми и образованными рабочими, бесспорно, далеко не совершенен, но мы предлагаем его вниманию лиц, проявивших интерес к рабочему люду, надеясь, что здоровое зерно, которое содержит в себе проект (мы смело можем утверждать это), будет развито и дополнено людьми более просвященными, нежели автор этой книги.

же займы ломбарда в иных обстоятельствах можно получить почти за триста процентов.⁴⁷ Безработный ремесленник часто закладывает за сорок су свое единственное одеяло, которое в зимние ночи спасает его и всю семью от стужи... Но, – восторженно заявил аббат, – беспроцентный заем от тридцати до сорока франков, который можно возвращать по одной двенадцатой каждый месяц, если должник получит работу... ведь для честных рабочих это спасение, это надежда, жизнь!.. И как своевременно возвратят они свой долг! Ах, сударь, тут уж у вас не будет банкротства... Деньги, взятые в долг для того, чтобы обеспечить куском хлеба жену и детей, это священный долг!

– Как дороги тебе должны быть похвалы господина аббата, Жак! – воскликнул Полидори. – А он еще больше будет расточать их тебе за то, что ты решил основать бесплатный ломбард.

– Каким образом?

– Конечно, господин аббат, Жак не забыл об этом начинании, ломбард будет добавлением к банку для бедных.

– Неужели это правда? – воскликнул аббат с восхищением, скрестив руки на груди.

– Продолжай, Жак, – сказал Полидори.

Нотариус стал быстро читать, так как эта сцена была для него невыносима.

– «Беспроцентная ссуда имеет целью помогать рабочим в самый тяжелый момент их жизни, когда они становятся безработными. Она будет предоставляться лишь тем трудящимся, которые лишены работы.

Но следует предвидеть и другие жестокие обстоятельства, которые могут возникнуть у работающего человека. Часто приходится временно оставлять работу по состоянию здоровья, из-за необходимости ухаживать за больной женой или ребенком или из-за принудительного выселения из квартиры; эти обстоятельства лишают рабочего ежедневного заработка... Тогда он идет в ломбард и выплачивает за ссуду огромный процент либо обращается к частному заимодавцу, ссужающему его под баснословные проценты.

Стремясь, насколько это возможно, облегчить тяжелую участь своих братьев, основатель банка для бедных выделяет капитал в двадцать пять тысяч франков в год для залоговых ссуд не свыше десяти франков каждому лицу.

Получатели ссуд не оплачивают ни затрат на учреждение банка, ни процентов; они должны лишь доказать, что занимаются честным трудом, и представить справку хозяев предприятий об их нравственной безупречности.

По истечении двух лет невостребованные вещи поступают в продажу; суммы, оставшиеся от их цены сверх выданного под залог, поступают в банк, а владелец заложенной вещи получает пять процентов от стоимости.

Если в течение пяти лет он не востребовал этой суммы, то она поступает в банк для бедных, будет присоединена к банковскому дебету и позволит последовательно увеличить количе-

⁴⁷ Мы приводим следующие факты из превосходного и красноречивого очерка, опубликованного г-ном Альфонсом Эскиросом в «Парижском обозрении» от 11 июля 1843 г. «Среднее число вещей, сдаваемых под залог в ломбард за 3 франка в VIII и XII округах Парижа, составляет по меньшей мере 500 франков в день. Рабочие, вынужденные довольствоваться столь мизерными средствами, получают в ломбарде лишь незначительную ссуду по сравнению с той нуждой, которую они испытывают. В настоящее время налог за ссуду в ломбарде достигает обычно 13 %. Но этот процент возрастает в огромной пропорции, если ссуда выдается не на год, а на более короткий срок. Так как вещи, сдаваемые бедными людьми, как правило, являются предметами первой необходимости, то их приносят и выкупают в самые короткие сроки, вследствие чего некоторые вещи регулярно закладываются и выкупаются раз в неделю. Предположим, что при таких условиях выдана ссуда в 3 франка; тогда процент, выплачиваемый кредитору, будет исчислен по таксе 294 % за год. Денежные средства, собираемые ежегодно в кассу ломбарда, сразу же поступают на счет приютов, это очень значительная сумма. В бедственном 1840 году доходы ломбарда достигли суммы в 422215 франков. Нельзя отрицать, справедливо заключает г-н Эскирос, что эта сумма предназначена для благотворительных целей; собранная среди бедного люда, она возвращается к бедноте, но тем не менее возникает важный вопрос: «Неужели для того, чтобы оказать помощь бедным, следует обращаться только к бедным?» В заключение заметим, что г-н Эскирос, настойчиво добиваясь улучшения условий деятельности ломбарда, отдал должное ревностному усердию его директора г-на Делароша, осуществившего полезные реформы.

ство ссуд.⁴⁸

Администрация и контора банка для бедных будет находиться на улице Тампль, № 17, в специально купленном доме, в самом населенном месте этого многолюдного квартала. Доход в десять тысяч франков будет предназначен для расхода и содержания администрации банка для бедных, директором которого пожизненно назначается...»

Но тут Полидори прервал нотариуса и сказал аббату.

– Вы сейчас убедитесь, господин аббат, что избрание директора этого банка доказывает, что Жак умеет исправлять невольно причиненное им зло. Вы знаете, что, к своему сожалению, допустив ошибку при подсчете, Ферран напрасно обвинил кассира в растрате денег, которые были потом обнаружены.

– Я не сомневаюсь...

– Так вот, именно честному юноше Франсуа Жермену Жак поручает пост директора и назначает жалованье в четыре тысячи франков. Ведь это же восхитительно... господин аббат?

– Меня теперь ничто не удивляет, вернее сказать, ничего не удивило до сих пор. Ревностная набожность, добродетели нашего достойного друга должны были рано или поздно привести к подобному результату. Пожертвовать всем своим достоянием для такого благородного дела – это превосходно, – сказал аббат.

– Более миллиона, господин аббат, – воскликнул Полидори. – Более миллиона, целое состояние, собранное постоянным трудом, бережливостью и честностью. И находились же мерзкие люди, способные обвинять Жака в скаредности. «Как, – говорили они, – его контора приносит ему пятьдесят или шестьдесят тысяч франков в год, а он живет, лишая себя всего!»

– Таким людям, – с воодушевлением промолвил аббат, – я ответил бы: в течение пятнадцати лет он жил как бедняк, с тем чтобы однажды щедро облегчить жизнь бедняков.

– Так будь счастлив и горд добрыми делами, которые ты совершил, – воскликнул Полидори, обращаясь к Феррану, мрачно и удрученно устремившему взгляд в одну точку и погружившемуся в глубокое раздумье.

– Увы, – печально объявил аббат, – не здесь, на земле, обретают награду за подобную добродетель, надо смотреть выше...

– Жак, – слегка касаясь плеча нотариуса, сказал Полидори, – кончай же свое чтение.

Нотариус вздрогнул, провел рукой по лбу, затем, обращаясь к аббату, сказал:

– Простите меня, но я думал... я думал об огромном расширении деятельности банка для бедных вследствие накопления возвратных сумм; если ежегодные ссуды будут вовремя возвращаться, и доходы, следовательно, не уменьшатся. В конце четвертого года в распоряжении банка будет пятьдесят тысяч экю для выдачи беспроцентных ссуд или ссуд под залог. Грандиозное дело... И я радуюсь своему решению, – добавил он со скрытой досадой, думая об огромной жертве, которую его заставляли принести.

Он продолжал:

– Я, кажется, остановился...

– На назначении Франсуа Жермена директором банка, – сказал Полидори.

Жак Ферран продолжал читать:

– «Десять тысяч франков в год предназначаются на расходы и на управление банком безработных, пожизненным директором которого будет Франсуа Жермен, а сторожем – нынешний привратник дома по фамилии Пипле.

Аббат Дюмон, которому будут вручены капиталы, необходимые для основания учреждения, сформирует высшую ревизионную комиссию, в состав которой войдут мэр и мировой судья округа; к ним, по их выбору, будут присоединяться лица, полезные для руководства банка бедных и для его развития, потому что учредитель счел бы себя в высшей степени вознагражденным за то малое, что он сделал, если бы и другие милосердные люди содействовали успеху его начинания»

⁴⁸ В некоторых княжествах Италии существует беспроцентный ломбард, институт благоденствия, весьма подобный нашему проекту.

нания.

Об открытии банка будет объявлено всеми возможными средствами оповещения.

В заключение учредитель повторяет – в том, что он сделал для своих братьев, нет никакой заслуги.

Его дело является лишь откликом на божественную мысль: *«Возлюбим друг друга»*.

– А ваше место будет в небесах подле того, кто произнес эти бессмертные слова! – с восторгом воскликнул кюре, пожимая руку Жака Феррана.

Нотариус едва держался на ногах. Не отвечая на поздравление, он поспешил вручить значительную сумму в казначейство, необходимую для основания банка и для выплаты ренты гранильщику Морелю.

– Осмелюсь полагать, – сказал наконец Жак Ферран, – что вы не откажетесь от этой миссии, вверенной вашему милосердию. Впрочем, некий иностранец... по имени Вальтер Мэрф... который дал мне кое-какие советы... при составлении этого проекта, облегчит вашу трудную задачу... и сегодня же придет к вам обсудить практические вопросы; он в вашем распоряжении, если сможет быть чем-либо полезным. Я прошу вас никому, кроме него, не говорить о моем начинании и держать все в глубокой тайне.

– Вы правы. «Богу известно, что вы сделали для своих ближних. Остальное не имеет значения. Я сожалею лишь о том, что могу только своим усердием участвовать в этом благородном учреждении. Оно будет таким же пылким, как неисчерпаемо ваше милосердие. Но что с вами, вы побледнели... вам дурно?

– Да, немного, господин аббат, продолжительное чтение, волнение, вызванное вашей похвалой, недомогание, которое я испытываю вот уже несколько дней... Простите мою слабость, – сказал Ферран, с трудом садясь в кресло, – ничего серьезного, конечно, я просто выдохся.

– Быть может, вам лучше лечь в постель, позвать врача? – с живым участием произнес аббат.

– Я – врач, – объявил Полидори. – Состояние здоровья Жака Феррана требует тщательного ухода, я этим займусь.

Нотариус задрожал.

– Отдохните немного, и, я надеюсь, это придаст вам силу, – сказал кюре. – Я оставлю вас, но прежде я дам вам расписку в полученной сумме.

В то время как аббат писал расписку, Ферран и Полидори многозначительно переглянулись.

– Итак, воспряньте духом и не теряйте надежды, – сказал священник, вручая расписку Феррану. – Бог еще долго не позволит, чтобы один из лучших его слуг покинул жизнь, столь полезную, исполненную святой добродетели. Завтра я приду вас навестить. Прощайте, мой достойный друг... святой человек...

Аббат ушел.

Ферран и Полидори остались одни.

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

Глава I ЗАГОВОРЩИКИ

Как только аббат ушел, Жак Ферран разразился страшными проклятиями.

Его долго сдерживаемые отчаяние и ярость выплеснулись с неистовством; весь дрожа, с искаженным лицом, блуждающими глазами, он метался по комнате как дикое животное на цепи.

Полидори, соблюдая полное спокойствие, внимательно наблюдал за нотариусом.

– Гром и молния! – наконец воскликнул Жак Ферран, задыхаясь от гнева. – Мое состояние ушло на эту дурацкую благотворительность!.. Я, презирающий и ненавидящий человечество, я,

Эжен Сю

живший только для обманов и грабежей, должен основывать благотворительные заведения... Принудить меня к этому... адскими средствами... Ну разве не дьявол твой хозяин? – закричал он в отчаянии, остановившись перед Полидори.

– У меня нет хозяина, – холодно ответил тот. – Так же, как и у тебя, все вершит судия...

– Повиноваться, как последний простофиля, любым приказам этого человека! – с возросшим гневом закричал Жак Ферран. – А священник... над которым я часто насмеялся, считая, что он, как и все, жертва моего лицемерия... Каждая его похвала, произносимая от чистого сердца, казалась мне ударом кинжала... И я должен сдерживать себя! Постоянно сдерживать себя!

– Иначе – эшафот...

– О, не иметь возможности избавиться от фатального наваждения! Притом я отдаю более миллиона... Вместе с домом мне остается сто тысяч франков, не больше. Чего еще можно требовать?

– Еще не все... Принц знает от Бадино, что твой доверенный Пти-Жан лишь подставное лицо в деле о ссудах под огромные проценты, предоставленных виконту Сен-Реми... что ты через Пти-Жана безжалостно обобрал Сен-Реми за его махинации. А деньги для уплаты процентов Сен-Реми одолжил у важной особы... Возможно, эти деньги тебе еще придется возмещать... Дело откладывается, потому что оно очень щекотливое.

– Скован... опутан цепями!

– Крепко, словно канатом.

– Ты... мой тюремщик... негодяй!

– Что поделаешь? По повелению принца все очень разумно: он наказывает преступление – преступлением, соучастника – той же мерой наказания.

– Проклятие!

– К несчастью, ярость твоя бессильна!.. Ибо пока он мне не скажет: «Жак Ферран может покинуть свой дом», я буду следить за тобой, буду твоей тенью. Пойми: я так же, как и ты, заслуживаю эшафота. И если не выполню приказаний, которые я получил как твой надзиратель, не сносить головы и мне. Поэтому более неподкупного стража у тебя и быть не может... А бежать вместе – невозможно... Как только уйдем отсюда, попадем в руки людей, днем и ночью охраняющих и соседний дом – единственный выход в случае бегства.

– Я это знаю, черт побери!

– Поэтому покорись: бегство невозможно!.. Даже в случае удачи мы не сможем спастись: по нашим следам направят полицию; если же ты будешь послушен и повиноваться мне, тогда мы можем быть уверены, что нам не отрубят голову. Еще раз говорю – смирися.

– Не приводи меня в отчаяние своим холодным рассудком, а то...

– А то что? Тебя я не боюсь, я вооружен, даже если ты нашел отравленный стилет Сесили, чтобы пронзить меня...

– Замолчи!

– Ничего не выйдет... Ты знаешь, что каждые два часа я должен представлять кому следует сведения о твоём драгоценном здоровье... Это лучший способ следить за нами обоими... Если я не появлюсь, заподозрят, что я убит, тебя арестуют... Но, погоди, разве я тебя оскорбляю, считая способным на это преступление? Ты пожертвовал более миллиона, чтобы спасти жизнь, и будешь рисковать ради никчемной потехи убить меня из мести! Да нет же! Ты не настолько глуп!

– Ты знаешь, что я не могу тебя убить, и потому терзаешь меня, издеваешься надо мной, приводишь меня в отчаяние.

– Твое положение весьма забавно. Жаль, что не можешь видеть себя со стороны... Но, честное слово, все это очень смешно.

– Несчастье... безысходность... Куда ни взгляни, всюду разорение, бесчестие, смерть! Как раз теперь, когда я больше всего на свете боюсь... умереть. Проклятие – нам, всему миру!

– Твоя ненависть к людям гораздо глубже, чем любовь к ним... Ненависть ко всему миру. А любовь – только к Парижскому округу.

– Ну что ж... издевайся, изверг!

– Ты был бы доволен, если б я порицал тебя, ограничился лишь упреком?

– За что?

– Кто виноват, что нас накрыли? Зачем хранил мое письмо об убийстве, принесшем тебе сто тысяч эю? Ведь мы его объяснили как самоубийство.

– Почему? Негодяй! Разве я не дал тебе пятьдесят тысяч франков за соучастие в грабеже? А чтоб ты мне не угрожал доносом, я потребовал от тебя письмо. А если б ты меня выдал, то и тебе несдобровать было бы. Письмо оберегало жизнь мою и мое состояние. Вот почему я всегда заботливо носил его при себе.

– В самом деле, хитро: предав тебя, я наслаждался бы виселицей рядом с тобой... Однако твоя смекалка нас погубила, а я сделал так, что преступление не было раскрыто и мы не понесли наказание.

– Не наказаны... Разве ты не видишь?

– Кто мог подумать, что так повернется дело? Если бы все шло нормально, наше преступление должно было остаться безнаказанным – это сделал я.

– Ты?

– Да, когда мы застрелили человека... ты хотел подделать его почерк и написать его сестре, что он совершенно разорен и в отчаянии покончил с собой. Ты думаешь, что умно поступил, не написав в письме о сумме, которую он тебе доверил. Это было верхом глупости... Сумма была известна его сестре, и она могла ее потребовать. Следовало, напротив, упомянуть о деньгах; и если бы случайно возникли сомнения в подлинности самоубийства, подозрение никак не могло бы пасть на тебя. Ведь трудно предположить, что, совершая убийство ради денег, которые человек тебе доверил, ты был бы так глуп, чтобы напомнить об этих деньгах в поддельном письме. И что же получилось? Поверили в самоубийство. Благодаря твоей безупречной репутации ты смог отрицать, что получил этот вклад. Поверили, что брат покончил с собой после растраты денег своей сестры. Преступление осталось безнаказанным.

– Но какое значение это имеет теперь? Ведь преступление раскрыто.

– А благодаря кому? Разве я виноват, что мое письмо оказалось обоюдоострым оружием? Почему ты был так ничтожен, так глуп, что предоставил эту ужасную улику в распоряжение коварной Сесили?

– Замолчи... не произноси это имя! – угрожающе воскликнул Жак Ферран.

– Хорошо... не хочу доводить тебя до припадка... но ты же видишь: если бы можно было рассчитывать лишь на обычное правосудие... наши взаимные предосторожности всецело бы оберегали нас... Но мы во власти того, кто вершит суд по особым законам.

– Я отлично это знаю...

– Он считает, что казнь преступника недостаточно искупает совершенное им зло. Имея веское доказательство, он может нас предать суду. И каков результат? Два трупа, пригодных лишь для удобрения кладбищенских растений.

– О да, принцу нужны слезы, скорбь, муки... этому дьяволу... Но я с ним даже не знаком, я не причинял ему зла. За что он так гневается на меня?

– Он утверждает, что ощущает на себе добро и зло, причиняемое другим людям, которых он наивно называет своими братьями... К тому же он знает тех, которым ты принес зло, наказывает тебя по своим законам.

– Но по какому праву?

– Жак, не будем говорить о правах: он может по сути снести тебе голову... И что же будет? Родителей у тебя нет... Государство конфискует твои сокровища, обогатится за счет тех, кого ты ограбил. А вот если ты отдашь свое добро, чтобы искупить грехи, то... жизнь восторжествует... Гранильщик Морель, отец Луизы, которую ты обесчестил, сможет жить в довольстве с семьей... Мадам де Фермон, сестра Ренвиля, якобы покончившего с собой, получит свои сто тысяч эю; Жермен, которого ты ложно обвинил в воровстве, будет оправдан и получит почетную должность директора банка для бедных. Тебя заставили основать банк, чтобы искупить грехи и возместить ущерб, причиненный тобой обществу. Мы, подлецы, можем друг другу наедине в этом сознаться: честно говоря, тот, кто держит нас в своих когтях, убежден, что общество ничего не обрело бы от твоей смерти... Оно много получит, если оставит тебя в живых.

– Это и вызывает во мне гнев... Но не только это.

– Принц прекрасно все знает... Как он поступит с нами?

Не представляю себе... Он обещал нам жизнь, если мы будем неукоснительно выполнять его повеления... Он сдержит свое слово. Но если сочтет, что мы не всецело искупили совершенные преступления, то сделает так, что наша жизнь станет горше смерти... Ты его еще не знаешь. Он убежден, что должен быть непреклонным, и трудно будет найти более свирепого палача, чем он. Наверное, сам дьявол ему служит, иначе откуда он мог узнать, что я натворил в Нормандии?.. Впрочем... у него в услужении не один дьявол... ибо эта Сесили!.. будь она проклята!

– Прошу, молчи, не произноси ее имя... это имя...

– Да, да, пусть молния поразит ту, которая носит это имя... Она нас погубила. Головы оставались бы на наших плечах, если бы не твоя безумная страсть к этой твари.

Вместо того чтобы вспылить, Жак Ферран пробормотал:

– Ты ее знаешь... эту женщину? Признайся! Ты когда-нибудь ее видел?

– Никогда... Говорят, она красива... Я слышал об этом...

– Красива! – ответил нотариус, пожимая плечами. – Знаешь, – продолжал он, и в голосе его слушалось глубокое отчаяние, – лучше молчи... не говори о том, чего не видел... Не вини меня за то, что я совершил... ты на моем месте сделал бы то же самое.

– Я? Превратить свою жизнь в игрушку для женщины!

– Для такой женщины – да, и я вновь так же поступил бы... если б мог надеяться. А было время, когда я надеялся.

– Черт побери!.. Он все еще околдован, – изумленно произнес Полидори.

– Послушай, – продолжал нотариус тихим голосом, который иногда заглушали приступы безысходного отчаяния. – Слушай... ты ведь знаешь, как я люблю золото? Знаешь, что я совершил, чтобы им овладеть? Я считал деньги, видел, как они удваиваются благодаря моей скупости, терпел всевозможные лишения, но зато чувствовал себя владельцем сокровища... Вот в чем была моя радость, мое блаженство. Да, обладать, но не для того, чтобы тратить, не для того, чтобы наслаждаться, а для того, чтобы накапливать, – в этом была моя жизнь... Если бы мне сказали месяц тому назад: выбирай между своим состоянием и жизнью – я бы пожертвовал жизнью.

– Зачем же тебе сокровища, если ты собираешься умирать?

– Тогда спроси: для чего иметь, если не используешь то, что имеешь? Разве я, миллионер, вел жизнь богача? Нет, я жил как бедняк. Мне нравится владеть состоянием – ради обладания.

– Но, спрашиваю тебя еще раз, для чего владеть состоянием, если умираешь?

– Умереть, имея богатство... До последнего момента наслаждаться этой радостью, ничего не бояться: ни лишений, ни бесчестья, ни эшафота... Да, и говорить, положив голову на плаху: «Я владелец!» О! Понимаешь ли ты, приятнее умереть так, чем жить, мучительно сознавая, что лишился всего, собранного ценой таких мучений, таких опасностей! Говорить себе каждый час, каждую минуту: «У меня было более миллиона, я терпел самые тяжелые лишения, чтобы сохранить, чтобы умножить эти сокровища... Я бы мог в течение десяти лет его удвоить, утроить... а теперь у меня нет ничего... ничего». Это ужасно! Это означает умирать не каждый день, а каждое мгновение. Да, страшной агонии, которая будет тянуться, быть может, годы, я предпочел бы мгновенную смерть, которая наступит прежде, чем меня лишат моего богатства. И умру с возгласом: богач!

Полидори посмотрел на собеседника с глубоким удивлением.

– Перестаю тебя понимать. Зачем же ты тогда повиновался приказам человека, который по мановению ока мог лишить тебя жизни? Почему ты предпочел жизнь без твоего сокровища, если она кажется тебе такой ужасной?

– Вот почему, – продолжал нотариус глухим голосом, – умереть – значит исчезнуть. А как же Сесили?

– И ты еще надеешься? – удивленно воскликнул Полидори.

– Я не надеюсь, я поглощен...

– Чем?

– Воспоминаниями.

– Ты ее никогда не увидишь, она предала тебя.

– Я по-прежнему люблю ее, более страстно, чем раньше... – воскликнул Жак Ферран, рыдая, что казалось неестественным при его мрачном спокойствии. – Да, – продолжал он в безумном возбуждении, – я люблю ее по-прежнему, и я хочу излить пылкое чувство, наслаждаться, сгореть в огне страстей. Ты не знаешь, та ночь, когда я увидел ее такой прекрасной, такой страстной, такой чарующей... ночь эта навсегда останется в моей памяти. Перед моим взором постоянно предстает сцена жгучего сладострастия. И даже когда я, обессилив, нахожусь в лихорадочной дремоте, я все время вижу ее пылкие очи. Они волнуют меня до глубины души. Я и теперь чувствую ее дыхание, слышу ее голос.

– Но это же страшные муки!

– Да, страшные! Но смерть! Но свести на нет эти воспоминания, живые как сама реальность, но отрешиться от них, нет, никогда! Они терзают и воспаляют меня! Нет! Нет! Жить! Жить! Оставаться в бедности, презируемым, опозоренным, жить на каторге, но все-таки жить и мыслить. Эта демоническая личность овладела моим воображением.

– Жак, – без иронии воскликнул Полидори, – я видел много страданий, но подобных твоим никогда не встречал. Тот, кто держит нас в своей власти, не мог быть более безжалостным. Он обрек тебя на жизнь, вернее, на ужасные предсмертные муки. Ты признался мне, что в душе твоей все более и более возрастают волнения. Этого я не понимал ранее.

– Я не нахожу в этом ничего серьезного, просто упадок сил, следствие переживаний!.. Ведь они не опасны, не правда ли?

– Да нет же... но твое состояние здоровья требует предосторожности. Надо поберечь себя, отвлечься от некоторых мыслей, иначе все плохо кончится.

– Я поступлю как ты посоветуешь – только бы жить, не хочу умирать. О! Пастыри говорят об осужденных на муки. Они никогда не придумают для них мучений, подобных моим. Страсть и алчность – две открытые раны, от которых я глубоко страдаю. Лишиться состояния ужасно, но и смерть для меня не менее страшна. Я хочу жить, и, хотя моя жизнь может стать сплошным кошмаром, я не смею призывать смерть, ибо смерть украдет мое роковое блаженство, этот мираж, приносящий мне образ Сесили.

– У тебя, по крайней мере, есть утешение, – сказал Полидори, к которому вернулось его обычное хладнокровие, – думать о благодеянии во искупление злодеяний.

– Ладно, издевайся, жарь меня на горячих углях... Ты хорошо знаешь, негодяй, что я ненавижу всех, тебе известно, что в моем искуплении находят утешение только слабоумные, а у меня оно вызывает ненависть и злобу к тем, кто меня к этому принуждает, и к тем, кто от этого выгадывает. Гром и молния! Подумать только, что в то время как я буду влачить ужасающую жизнь, существовать лишь для того, чтобы наслаждаться страданиями, которые испугали бы даже самых бесстрашных, эти ненавистные мне люди благодаря отнятому у меня богатству перестанут быть нищими; что эта вдова и ее дочь возблагодарят бога за состояние, которое я им возвращаю; что этот Морель и его дочь будут жить в достатке; что Жермен обретет почетное и обеспеченное будущее! А священник! Он благословлял меня, когда мое сердце было полно ненависти и злобы... Я бы пронзил его кинжалом!.. О! Это уже слишком! Нет!. Нет! – воскликнул он, закрыв лицо руками. – У меня трещит голова, мысли начинают путаться... Я не смогу больше выдерживать такие приступы бессильной ярости... эти бесконечные мучения... И все это ради тебя! Сесили! Знаешь ли ты, по крайней мере, что я так страдаю, знаешь ли ты, демон зла?

И Жак Ферран, обессиленный страшным возбуждением, тяжело дыша, упал в кресло, ломая руки, издавая глухой, невнятный вопль.

Этот приступ лихорадочной и отчаянной ярости не удивил Полидори.

Обладая солидным знанием медицины, он легко догадался, что причиной пожирающей Феррана лихорадки была ярость от потери состояния и безумная страсть к Сесили.

Но этого мало... В припадке, жертвой которого только что стал Жак Ферран, Полидори с тревогой усмотрел некоторые симптомы одной из самых страшных болезней, когда-либо пожирающих человечество, грозную картину которых описали Паулюс и Арете, превосходные исследователи и моралисты.

.....

Неожиданно раздался стук в дверь кабинета.

– Жак, – сказал Полидори, – Жак, возьми себя в руки... Кто-то пришел...

Нотариус не слышал его. Навалившись на свой письменный стол, он бился в конвульсиях.

Полидори открыл дверь и увидел бледного и взволнованного старшего клерка конторы.

Тот воскликнул:

– Мне необходимо сейчас же поговорить с господином Ферраном.

– Тише... Ему сейчас очень плохо... Он не может вас выслушать... – вполголоса сказал Полидори и, выйдя из кабинета нотариуса, закрыл за собой дверь.

– Ах, господин, – воскликнул старший клерк, – вы ближайший друг господина Феррана, должны ему помочь, нельзя терять ни минуты.

– В чем дело?

– По приказанию господина Феррана я отправился передать графине Мак-Грегор, что сегодня он не сможет к ней прийти, как она того желала.

– Ну и что же?

– Эта дама, очевидно, выздоровела; она пригласила меня к себе и приказала угрожающим тоном: «Вернитесь и скажите Феррану, что если он не явится ко мне, то сегодня же будет арестован за подлог... так как девочка, которую он выдал за умершую, вовсе не умерла... Я знаю, кому он ее отдал, знаю, где она находится».⁴⁹

– Это просто бред, – холодно ответил Полидори, пожимая плечами.

– Вы так думаете?

– Я в этом убежден.

– Сначала я тоже так подумал... но уверенность госпожи графини...

– Ее рассудок не совсем еще уравновешен после болезни... а безумцы всегда верят в свои представления.

– Конечно, вы правы, сударь, иначе я не могу объяснить себе угрозы графини по адресу столь уважаемого человека, как господин Ферран.

– В этом нет здравого смысла.

– Я должен вам еще добавить, сударь: когда я покидал госпожу графиню, в комнату вбежала одна из служанок и сказала: «Его высочество будет здесь через час».

– Служанка так и сказала? – воскликнул Полидори.

– Да, и я был очень удивлен, потому что не знал, о каком высочестве идет речь.

«Нет сомнения, это принц, – подумал Полидори. – Он у графини Сары, которую никогда не должен был больше видеть... Не знаю, почему, но мне не нравится это сближение... Оно может повредить нам». Затем, обращаясь к клерку, Полидори сказал:

– Повторяю, ничего серьезного: это безумное воображение больной. Впрочем, я сейчас же передам господину Феррану ваши новости.

.....

А теперь мы проводим читателя к графине Саре Мак-Грегор.

Глава II РОДОЛЬФ И САРА

Мы проведем читателя к графине Мак-Грегор. В ее болезни наступил решающий кризис,

⁴⁹ Читатель знает Сара думала, что Лилия-Мария заключена в тюрьму Сен-Лазар, об этом ей сказала Сычиха до того, как ранила ее.

прошел бред и облегчились страдания, которые в течение многих дней вызывали серьезные опасения.

День клонился к концу... Сара сидела в большом кресле, поддерживаемая своим братом Томасом Сейтоном, и внимательно рассматривала себя в зеркале, которое держала служанка, стоявшая перед ней на коленях.

Это происходило в той гостиной, где Сычиха покушалась на ее жизнь.

Она была бледна, оттого на беломраморном лице особенно выделялись черные глаза и смоляные брови; на ней было широкое платье из белого муслина.

– Подайте мне коралловую повязку, – приказала она служанке слабым, но властным голосом.

– Бетти вам поможет. Вы устанете. Это так неблагоприятно, – сказал Томас Сейтон.

– Повязку, повязку! – нетерпеливо повторяла Сара. Она взяла повязку и приложила ко лбу. – Прикрепите ее и оставьте меня, – приказала она служанкам.

– Проведите господина Феррана в голубой салон... затем, – добавила она с едва скрываемой гордостью, – когда прибудет его королевское высочество великий герцог Герольштейнский, пригласите его ко мне. А теперь оставьте меня.

– Наконец-то! – воскликнула Сара, откинувшись в кресле и оставшись одна с братом. – Наконец-то я получу эту корону... мечту моей жизни... Значит, предсказание сбывается.

– Сара, успокойтесь, – сурово проговорил брат. – Вчера вы были при смерти; еще одно разочарование нанесет вам смертельный удар.

– Вы правы, Том... Разочарование было бы тяжелым, ибо моя надежда чуть не сбылась. Я смогла выдержать мои мучения только потому, что все время думала об одном: я должна воспользоваться поразительной новостью, которую мне сообщила эта женщина, когда пыталась меня убить.

– Вы это повторяли в бреду.

– Потому что только эта мысль и поддерживала мою угасающую жизнь. Возвышенная надежда! Я – владетельная принцесса... почти королева!.. – добавила она в упоении.

– Сара, оставьте безрассудные мечты... Пробуждение будет ужасным.

– Безрассудные мечты?.. Вот как! Когда Родольф узнает, что эта девушка сейчас в тюрьме Сен-Лазар⁵⁰ и что она ранее была под опекой нотариуса, который объявил о ее смерти, узнает, что она – наша дочь, вы думаете, что...

Сейтон прервал сестру.

– Я думаю, – сказал он с горечью, – что для монархов государственные интересы, политические соображения выше родственных привязанностей.

– Как мало вы верите в мою сообразительность!

– Принц – не тот наивный и страстный юноша, которого вы когда-то соблазнили; не те времена, сестрица.

Сара, слегка пожав плечами, ответила:

– Знаете, почему я хотела украсить волосы этой коралловой повязкой? Почему я надела белое платье? В первый раз, когда Родольф меня увидел при Герольштейнском дворе... на мне было белое платье... а в волосах эта самая коралловая повязка.

– Как? – воскликнул Томас Сейтон, глядя на сестру с изумлением. – Вы хотите пробудить былые воспоминания? Не опасаетесь, что они могут вызвать враждебные чувства?

– Я знаю Родольфа лучше, чем вы... Несомненно, время и страдания изменили мое лицо, я уже не та молодая девушка, которую он безумно любил... и любил только меня одну... ведь я была его первой любовью... А такая любовь всегда оставляет в сердце мужчины неизгладимый след. Поверьте мне, братец, этот венец напомнит Родольфу былую любовь, прошедшую молодость. У мужчин такие воспоминания всегда вызывают нежность, благие порывы.

⁵⁰ Читатель не забыл, что Сычиха, перед тем как поразить Сару кинжалом, сказала, что Певунья все еще в тюрьме Сен-Лазар; она не знала, что в тот же день Жак Ферран отправил ее с г-жой Серафен на остров Черпальщика.

– Но эти нежные чувства смогут также напомнить мрачную драму вашей любви! Напомнить, как относился к вам отец принца и как вы после брака с графом Мак-Грегором упорно молчали, когда Родольф требовал у вас вашу дочь! Да, вашу дочь, о смерти которой вы ему сообщили в сдержанных тонах десять лет тому назад... Разве вы забыли, что с того времени принц ненавидит вас?

– Ненависть сменилась состраданием, когда он узнал, что я при смерти... Он каждый день посылал барона де Грауна проведать меня.

– Из человеколюбия...

– А сейчас мне сообщили, что он придет сюда. Оказана великая честь, брат.

– Он подумал, что вы при смерти и что речь идет о последней воле умирающей, потому решил навестить вас. Вы неправильно поступили, вам надо было написать ему, что хотите сообщить важную новость.

– У меня есть причина вести себя именно так. Новость доставит ему огромную радость... И я вовремя воспользуюсь порывом его нежности... Именно сегодня, или никогда, он мне скажет: «Брак должен узаконить рождение нашей дочери». Если он так скажет, то его слово свято и сбудется надежда моей жизни.

– Только в том случае, если он даст вам такое обещание.

– Надо воспользоваться всеми средствами, чтобы он согласился совершить этот акт... Я знаю Родольфа, он меня ненавидит, хотя не могу понять почему. Я всегда относилась к нему благоразумно, как это и подобало мне.

– Быть может, но, питая ненависть к вам, он имел на то основание.

– Это несущественно. Когда он узнает, что дочь найдена, ненависть померкнет; он согласится на все, и если раньше его дочь влачила жалкое существование, то он сделает все возможное для того, чтобы она обрела полное счастье.

– Вполне возможно, что он обеспечит ей блестящее будущее... но это не значит, что он решит обвенчаться с вами, чтобы узаконить рождение дочери. Оба эти решения разделяет пропасть.

– Я уповаю на любовь отца к дочери.

– Несчастливая девушка, несомненно, до сих пор жила в нищете, в унижительных условиях.

– Родольф тем более захочет возвысить ее, чтобы возместить все ее невзгоды!

– Но, подумайте, возвысить ее до сословия владетельных князей Европы... признать своей дочерью среди принцев, королей – титулованных родственников!

– Вы разве не знаете его странного характера, вспыльчивого и решительного? Его рыцарскую твердость по отношению ко всему, что повелевает долг?

– Но, возможно, эту несчастную девочку так развратила среда порока и нищеты, в которой она, вероятно, жила, что принц вместо влечения к ней...

– Да что вы говорите, – воскликнула Сара, прерывая брата, – разве она не такая же прелестная, очаровательная, какой была ранее, в детские годы? Родольф, даже не подозревая, что она его дочь, интересовался ею, хотел облегчить ее судьбу; ведь он послал ее на свою ферму в Букеваль, откуда мы ее похитили.

– Да, благодаря вашей неугомонной прихоти уничтожить всех, к кому принц был привязан, благодаря вашей безрассудной надежде когда-нибудь вернуть его себе...

– Не испытывая этой безумной надежды, я не узнала бы даже, жертвуя жизнью, что моя дочь жива... Разве, наконец, не от той женщины, которая увезла ее с фермы, я узнала о коварных проделках нотариуса Феррана?

– Досадно, что утром меня не пустили в тюрьму Сен-Лазар, где, как вам сказали, находится это несчастное дитя. Несмотря на мою настойчивость, я ничего не узнал, потому что у меня не было рекомендательного письма к начальнику тюрьмы. От вашего имени я написал префекту, но его ответ я получу, конечно, только завтра... а принц вот-вот сюда приедет... Очень жаль, повторяю, что вы не смогли сами представить ему вашу дочь... Лучше было бы дождаться ее выхода из тюрьмы, а потом уже приглашать герцога сюда.

– Подождать! А разве я знаю, буду ли я в состоянии встретить его завтра? Быть может,

только тщеславие придает мне бодрость духа.

– Но какие доказательства представите вы принцу? Поверит ли он вам?

– Он мне поверит, когда прочтет разоблачающие показания, написанные мною под диктовку Сычихи, когда она поразила меня кинжалом. Эти факты, к счастью, я запомнила. Он мне поверит, когда прочтает вашу переписку с этой Серафен и Жаком Ферраном, сообщение о мнимой смерти ребенка; он поверит, когда услышит признания нотариуса, напуганного моими угрозами. Ферран вскоре должен прибыть сюда; он убедится, когда увидит портрет нашей шестилетней дочери. Ведь на девочку, изображенную на портрете, как мне сказала Сычиха, и сейчас удивительно похожа эта девушка. Доказательств будет достаточно, чтобы убедить принца, что я говорю правду, и он присвоит мне звание королевы. О! Хоть один день, один час носить корону, и тогда я умру ублаженной.

Послышался шум экипажа, въезжавшего во двор.

– Это он... Родольф!.. – воскликнула Сара, обращаясь к Томасу Сейтону. Тот быстро подошел к окну и отдернул портьеру:

– Да, принц... выходит из кареты.

– Оставьте меня одну, решительный момент наступил, – с неизменным хладнокровием объявила Сара, ибо чудовищное честолюбие, безжалостный эгоизм всегда были единственными побуждениями этой женщины. В чудесном воскрешении своей дочери она видела лишь средство для достижения постоянной цели своей жизни.

Помедлив немного, прежде чем покинуть комнату, Томас вдруг подошел к сестре и сказал:

– Может быть, лучше я скажу принцу, каким образом была спасена ваша дочь, которую считали умершей? Этот разговор был бы слишком опасен для вас... Вас могут убить и сильное волнение, и встреча с принцем после столь долгой разлуки, и воспоминания о том времени...

– Дайте вашу руку, брат, – сказала Сара.

Приложив к своему бесстрашному и спокойному сердцу руку Томаса Сейтона, она спросила с мрачной ледяной улыбкой:

– Разве вы чувствуете, что я взволнована?

– Нет... вовсе нет, сердце бьется ровно, – с изумлением проговорил Сейтон, – я-то знаю, как вы умеете владеть собой. Но в такой момент, когда для вас решается вопрос о короне или о смерти... еще раз подумайте... Потеря этой последней надежды может быть смертельной для вас. Право, ваше спокойствие меня поражает.

– Почему вы удивлены, братец? Разве до сих пор вы не знали меня? Ничто... Да, ничто никогда не заставляло забиться это каменное сердце. Оно возликует лишь в тот день, когда на голову владелицы этого сердца возложат княжескую корону... Я слышу шаги Родольфа... Оставьте же меня.

– Но...

– Оставьте меня, – твердо приказала Сара, и таким решительным, таким властным тоном, что брат покинул комнату за несколько секунд до того, как вошел принц.

Когда Родольф входил в салон, его взгляд выражал жалость... но, увидев Сару в кресле и почти нарядно одетой, он удивился, и лицо его стало мрачным и недоверчивым.

Графиня, угадав его мысли, сказала нежным и слабым голосом:

– Вы думали, что я умираю... Вы пришли, чтобы услышать мои последние слова?

– Я всегда считал последнюю волю умирающих священной... Но если дело идет о чудовищном обмане...

– Уверяю вас, – прервала Родольфа Сара, – я вас не обманывала... мне остается жить всего несколько часов... Простите мое легкомыслие... Я хотела избавить вас от печальной картины агонии... Я хотела умереть одетой как при нашей первой встрече. Увы! Наконец вы здесь, после десяти лет разлуки. О, благодарю вас, благодарю! Но и вы поблагодарите бога за то, что он повелел вам выслушать мою мольбу. Если бы вы не пришли, я унесла бы с собой тайну, от которой будет зависеть радость и счастье вашей жизни... Радость, смешанная с легкой грустью, счастье и слезы... Вы испытаете истинно человеческое чувство, за которое, наверно, не пожалеете отдать годы оставшейся жизни.

– Что вы хотите сказать? – спросил с удивлением принц.

– Да, Родольф, если бы вы не пришли... эту тайну я унесла бы с собой в могилу, свершилась бы моя последняя месть, и еще... нет, нет, у меня не хватило бы для этого смелости. Хотя вы заставили меня жестоко страдать, я разделила бы с вами счастье жизни... которым вы, более удачливый, будете долго, надеюсь, очень долго наслаждаться.

– Но о чем же идет речь?

– Услышав меня, вы не поверите той новости, которую я вам сообщу, вы не поймете, почему я так медлила сообщить ее вам, вы сочтете ее небесным чудом... Как это ни странно, я могу осчастливить вас, вы никогда не могли на это рассчитывать... и хотя дни моей жизни сочтены, я наслаждаюсь тем, что возбуждаю ваше любопытство... К тому же мне знакомо ваше сердце... Несмотря на твердость вашего характера, я опасаясь немедля сообщить невероятную новость... Волнения, вызванные внезапной радостью, могут быть опасны...

– Ваша бледность все усиливается... вы едва сдерживаете себя, – сказал Родольф. – Как видно, речь идет о чем-то серьезном.

– Серьезном и важном, – трепетно повторила Сара.

Хорошо понимая значение тайны, которую графиня собиралась открыть Родольфу, она лишилась обычного хладнокровия и уравновешенности. Не в силах более сдерживать себя, она сказала:

– Родольф... наша дочь жива.

– Наша дочь!..

– Она жива, говорю я вам...

Эти слова, искренность, с которой они были произнесены, взволновали принца до глубины души.

– Наше дитя? – повторил он, быстро подойдя к креслу. – Сара, наш ребенок! Моя дочь!

– Она жива, и у меня есть неопровержимые доказательства. Я знаю, где она... Завтра вы ее увидите.

– Моя дочь! Моя дочь! – повторял Родольф, словно в оцепенении. – Возможно ли это? Она жива!

Затем им внезапно овладело сомнение, и снова опасаясь стать жертвой обмана Сары, он воскликнул:

– Нет, нет... это сон! Это невозможно!.. Вы меня обманываете. Хитрость, недостойная ложь!

– Родольф, выслушайте меня.

– Нет, я знаю ваше честолюбие, я знаю, на что вы способны, я догадываюсь, какую цель вы преследуете этим обманом!

– Ну хорошо! Вы правы... Я способна на все... Да, я хотела вас обмануть. Да, за несколько дней до того, как мне нанесли смертельный удар, я хотела найти незнакомую молодую девушку... и представить ее вам как нашу дочь... о которой вы так горько скорбите.

– Довольно, прошу вас! Довольно...

– Но после этого признания вы, быть может, мне поверите... или, скорее, будете вынуждены считаться с истиной.

– С истиной...

– Да, Родольф, повторяю, я хотела вас обмануть, заменить неизвестной молодой девушкой ту, которую мы оплакиваем, но бог захотел, чтобы в тот момент, когда я пыталась совершить это кощунство... мне нанесли смертельный удар.

– Вам... в тот самый момент!..

– Бог захотел, чтобы мне предложили для этого обмана... знаете, кого? Нашу дочь...

– Вы бредите?.. Ради бога.

– Это не бред, Родольф. В этой шкатулке вместе с бумагами и портретом вы найдете еще бумагу, запятнанную моей кровью, – вот вам доказательство.

– Вашей кровью?

– Женщина, перед тем как нанести мне удар кинжалом, сообщила это открытие – что наша

дочь жива.

– Кто эта женщина? Откуда она узнала об этом?

– Ей отдали нашу девочку... еще совсем крошкой... после того, как ее объявили погибшей.

– Но эта женщина... Ее имя?... Можно ли ей верить? Где вы с ней познакомились?

– Говорю вам, Родольф, тут кроется нечто роковое, предначертанное свыше. Несколько месяцев тому назад вы спасли одну девушку от нищеты и, отослали ее в деревню, не так ли?

– Да, в Букеваль.

– Ревность, ненависть ослепляли меня... Я приказала одной женщине похитить ее... Той самой, о которой я вам говорю...

– И несчастную девушку отправили в Сен-Лазар.

– Где она сейчас и находится.

– Ее уже там нет... Ах, вы не знаете, сударыня, какое ужасное зло совершили, похитив несчастную из убежища, куда я ее поместил... но...

– Она теперь на свободе, и вы еще говорите, что это несчастье!

– Алчные, жестокие люди были заинтересованы в ее гибели. Они утопили ее... Но отвечайте... Вы говорите, что...

– Моя дочь! – воскликнула Сара, поднявшись с кресла и оставаясь неподвижной, словно статуя.

– Что она говорит? Боже мой!

– Моя дочь, – повторяла Сара, лицо которой стало мертвенно-бледным. – Они убили мою дочь!

– Певунья – ваша дочь!.. – повторил Родольф, отступив назад от ужаса.

– Певунья... да, это имя назвала мне Сычиха. Умерла... умерла! – повторяла Сара с неподвижным и полным отчаяния взглядом. – Они убили ее...

– Сара, – взволнованно произнес Родольф, – придите в себя, отвечайте. Певунья, которую вы приказали Сычихе похитить с фермы, была...

– Наша дочь!

– Она!!!

– И они убили ее!..

– О нет, нет, вы бредите – этого не могло быть, ошибаетесь... Вы не представляете себе, как это было бы ужасно... Сара! Очнитесь! Говорите со мною спокойно. Сядьте, не волнуйтесь. Бывает случайно внешне, сходство, которое вводит в заблуждение: люди так склонны верить в то, чего они желают. Я вас не упрекаю... но объясните мне, расскажите о причинах, которые заставляют вас думать, что убийство свершилось... Это невозможно... Нет, нет, этого не могло быть!

Немного помолчав, графиня собралась с мыслями и слабым голосом произнесла:

– Узнав о вашей женитьбе, я решила выйти замуж и потому не могла оставить девочку у себя; ей было тогда четыре года...

– Но в то время я просил вас отдать ее мне... умолял вас, – воскликнул Родольф душераздирающим голосом, – и мои письма остались без ответа. В единственном письме вы сообщили мне о ее смерти.

– Я хотела отомстить вам за ваше презрение и потому не отдала вам ребенка... Это было недостойно. Но послушайте меня... я чувствую... жизнь на исходе, этот последний удар, и я...

– Нет! Нет! Я вам не верю, не хочу вам верить. Певунья... моя дочь! О господи, ты не допустил бы этого.

– Выслушайте меня... Когда ей было четыре года, мой брат поручил госпоже Серафен, вдове его старого слуги, воспитывать девочку до ее поступления в пансион. Деньги, предназначенные на то, чтобы обеспечить ее будущее, были помещены братом у нотариуса, известного своей безукоризненной честностью. Письма этого человека и госпожи Серафен, посланные в то время мне и моему брату, здесь, в этой шкатулке... Год спустя мне написали, что здоровье девочки пошатнулось, а еще через восемь месяцев – что она умерла, и прислали свидетельство о смерти. Как раз в это время Серафен поступила в услужение к Жаку Феррану, после того как от-

дала нашу дочь женщине по прозвищу Сычиха при посредничестве одного негодяя, который сейчас на каторге в Рошфоре. Вот все, что я успела записать со слов Сычихи, как вдруг она нанесла мне удар ножом. Документ хранится здесь вместе с портретом нашей девочки, которой было тогда четыре года. Прочтите эти письма, записи, посмотрите на портрет; вы ведь видели несчастного ребенка... и можете судить...

Эти слова поглотили ее последние силы, и она, теряя сознание, опустилась в кресло.

Рассказ глубоко поразил Родольфа.

Иногда возникают неожиданные несчастья, такие жуткие, что даже трудно себе представить, но неумолимая реальность заставляет вас поверить. Родольф был убежден, что Мария погибла; но у него оставался лишь луч надежды – быть может, она была не его дочь.

С удивительным спокойствием, которое испугало Сару, он подошел к столу, открыл шкапу и принялся читать письма, тщательно изучая приложенные к ним другие документы.

В этих письмах с почтовым штампом нотариус и г-жа Серафен сообщали Саре и ее брату о детстве Марии и о денежных средствах, предназначенных ей.

Родольф не мог сомневаться в подлинности этой переписки.

Показания Сары подтверждались справками, о которых мы говорили в начале нашего повествования. Эти справки были наведены по распоряжению Родольфа. В них сообщалось, что некий Пьер Турнемин, тогда каторжник в Рошфоре, получил Марию из рук г-жи Серафен с тем, чтобы передать ее Сычихе... Сычихе, которую гораздо позже несчастная девочка узнала в присутствии Родольфа в кабаке Людоедки.

Родольф не мог больше сомневаться в том, что она и Певунья была одним и тем же лицом.

Свидетельство о смерти казалось подлинным, но Ферран сам признался Сесили, что этот фальшивый документ послужил для присвоения значительной суммы, в свое время положенной в виде пожизненной ренты на имя девушки, которую он заставил Марсиаля утопить на острове Черпальщика.

Во все возрастающей мучительной тревоге Родольф невольно убедился в том, что Певунья – его дочь, и она погибла.

К несчастью для него... ничто не могло опровергнуть эти веские доказательства.

Прежде чем наказать Феррана за преступление, о котором тот сообщил Сесили, принц, живо интересуясь Певуньей, навел справки в Аньере и узнал, что действительно две женщины, старая и молодая, в крестьянской одежде, утонули, направляясь к острову Черпальщика, и что молва обвиняла в этом новом преступлении Марсиалей.

Заметим к тому же, что, несмотря на заботы доктора Гриффона, графа Сен-Реми и Волчицы, Мария, долго находившаяся в безнадежном состоянии, поправлялась с трудом и потому не смогла известить о себе ни госпожу Жорж, ни Родольфа.

При таком стечении обстоятельств принц ни на что не мог надеяться. У него оставалось лишь последнее сомнение.

Он взглянул на портрет, на который до сих пор боялся посмотреть.

Удар был страшный.

В очаровательном детском личике, уже наделенном божественной красотой херувима, он нашел поразительное сходство с чертами Лилии-Марии... Изящной формы прямой нос, благородный лоб, маленький рот, немного скорбный, потому что в письме, только что прочитанном герцогом, г-жа Серафен сообщала Саре, что «девочка постоянно спрашивает о матери и очень грустит».

У нее были все те же большие глаза, чистой и нежной синевы, словно васильки, так Сычиха говорила Саре; в этой миниатюре она узнала черты той несчастной, которую преследовала еще ребенком, тогда ее называли Воровкой, а когда девушка выросла – Певуньей.

Взглянув на портрет, Родольф впал в отчаяние. Он закрыл лицо руками и, рыдая, без сил упал в кресло.

Глава III МЕСТЬ

Пока Родольф переживал свое горе, лицо Сары менялось на глазах.

Заветная мечта, вдохновлявшая ее до сих пор, не сбылась. Последняя надежда ускользнула навсегда.

Хотя ее здоровье несколько улучшилось, возникшее разочарование могло вызвать смертельный исход.

Откинувшись в кресле, вся дрожа, скрестив на коленях руки, с неподвижным взглядом, графиня в страхе ожидала, как поведет себя Родольф.

Зная необузданный характер принца, она предчувствовала, что за душевным переживанием, вызвавшим столько слез у этого непреклонного человека, последует ужасная вспышка гнева.

Вдруг Родольф поднял голову, вытер слезы, встал и, подойдя к Саре, молча, безжалостно уставился на нее, затем заговорил глухим голосом:

– Так должно было случиться... Я поднял шпагу на отца... и я наказан за это смертью моего ребенка... Справедливая кара за отцеубийство. Выслушайте меня, сударыня.

– Отцеубийца! Вы! Боже мой! О, злосчастный день! Что же вы мне скажете?

– В этот последний час вы должны узнать, сколько зла причинило ваше неумолимое честолюбие, ваш свирепый эгоизм... Понимаете, вы, женщина без сердца и без совести? Понимаете, вы, преступная мать?

– Родольф, пощадите!..

– Для вас не будет пощады... Когда-то вы хладнокровно, безжалостно, в силу гнусного тщеславия использовали благородную и преданную любовь, которую вы притворно разделяли... Нет пощады для вас, восстановившей сына против отца. Вместо того чтобы неусыпно заботиться о своем ребенке, вы подкинули его продажным людям, чтобы выйти замуж за богача и удовлетворить свою алчность, так же, как вы когда-то ради своего необузданного честолюбия стремились женить меня на себе. Не будет вам пощады! Вы отказались отдать мне мое дитя. Ваше коварство – причина смерти моей дочери. Проклятие вам, злому гению моего рода!..

– О боже!.. Как он безжалостен... Оставьте меня!.. Оставьте меня!

– Слушайте!.. Вы помните последний день... когда я вас видел... С тех пор прошло семнадцать лет. Вы больше не могли скрывать последствия нашего тайного союза, который я, как и вы, считал нерасторжимым... Я знал непреклонный характер своего отца... Он задумал женить меня, преследуя политические цели... Пренебрегая его негодованием, я сообщил ему, что вы моя жена перед богом и перед людьми... что скоро у нас будет ребенок – плод нашей любви... Отец страшно разгневался... Он не хотел верить моему браку... Такая дерзость казалась ему невозможной... Он пригрозил мне, что страшно рассердится, если я еще раз заговорю с ним о подобном безрассудстве... Но я, жертва ваших обольщений, любил вас тогда безумно... Я верил, что ваше безжалостное сердце билось только для меня. Я ответил отцу, что у меня никогда не будет другой жены, кроме вас. Услышав эти слова, отец вышел из себя, он обзывал вас самыми оскорбительными словами, кричал, что наш брак недействителен, и, чтобы наказать вас за вашу дерзость, грозил привязать вас к позорному столбу. Из-за моей безумной страсти и несдержанности характера я посмел запретить отцу, моему государю, так говорить о моей жене... и осмелился угрожать ему... Вне себя от оскорбления отец поднял на меня руку; ярость меня ослепила, я обнажил шпагу... и бросился на него... Если бы не Мэрф, который появился неожиданно и отвел удар, я был бы настоящим отцеубийцей, каким намеревался стать. Вы понимаете... отцеубийцей... И это все, чтобы защитить вас... вас!

– Увы... я ничего не знала.

– Я пытался искупить свое преступление... напрасно... Удар, поразивший меня теперь, – возмездие за него.

– А разве я не страдала по воле вашего отца, который разрушил наш брак? Зачем обвинять меня в том, что я вас не любила... когда...

– Зачем? – воскликнул Родольф, прервав Сару и бросив на нее уничтожающий взгляд. – Знайте же и не удивляйтесь тому, какое отвращение вы мне внушаете! После роковой сцены, когда я угрожал отцу, я отдал свою шпагу и был подвергнут самому суровому одиночному заклю-

чению. Полидори, благодаря которому наш брак был заключен, арестовали, он сказал, что этот брак недействителен, что священник, который его освящал, не был священником и что вы, ваш брат и я, мы все были обмануты. Чтобы еще более отвести от себя гнев отца, Полидори передал ему одно из ваших писем к брату, перехваченное им, когда Сейтон уехал в путешествие.

– Боже мой!.. И до этого дошло!

– Теперь вы можете понять мое презрение?

– О, довольно... довольно...

– В этом письме вы раскрыли ваши честолюбивые замыслы с возмутительным цинизмом...

Вы говорили обо мне с надменным пренебрежением... Вы принесли меня в жертву вашей адской гордыне... Я был лишь орудием для достижения высокого положения, которое вам предсказали... Наконец, вы считали, что мой отец слишком задержался на этом свете...

– О, я несчастная! Сейчас я все понимаю...

– Защищая вас, я покушался на жизнь моего отца. Но когда на следующий день без слова упрека он показал мне это письмо... письмо, в каждой строчке которого раскрывалась чернота вашей души, мне оставалось только броситься на колени и просить прощения. С тех пор меня мучили неумолимые угрызения совести. Я покинул Германию ради длительных путешествий, стремясь искупить свою вину... Это искупление продлится до самой моей смерти. Вознаграждать добро, преследовать зло, утешать страждущих, постигнуть язвы человечества, чтобы попытаться спасти хотя бы несколько душ от гибели, – вот цель, которую я себе поставил.

– Она благородна и священна, она достойна вас...

– Если я поведал вам об этом обете, – продолжал Родо-льф с презрением и горечью, – если я его выполняю в меру моих сил, где бы я ни был, это вовсе не из желания заслужить вашу похвалу. Недавно я приехал во Францию. Находясь в этой стране, я также преследую мои высокие цели. Желая оказать помощь несчастным, но честным людям, я хочу также глубже узнать среду людей, которых нищета унижает и развращает. Помощь, оказанная вовремя, несколько великодушных слов, нередко достаточны для того, чтобы вызволить их из бездны... Чтобы иметь возможность справедливо судить людей, я окунулся в их среду, стал говорить их языком. Однажды я впервые встретил... – Затем, не решаясь произнести ужасное признание, Родольф, немного помолчав, заговорил: – Нет... нет...

– Боже мой, кого вы встретили?

– Об этом вы скоро узнаете, – сказал он с язвительной иронией. – У вас появился живой интерес к прошлому, и я должен рассказать вам о событиях, предшествовавших моему возвращению во Францию. После долгих путешествий я вернулся в Германию; стремясь исполнить волю отца... женился на прусской принцессе. Во время моего отсутствия вас изгнали из великого герцогства. Узнав позже, что вы вышли замуж за графа Мак-Грегора, я настойчиво требовал, чтобы вы вернули мне мою дочь, но вы не отвечали. Несмотря на все свои попытки, я так и не смог узнать, куда вы скрыли несчастную девочку. Если б она нашлась, мой отец щедро позаботился бы о ее участи... Десять лет тому назад вы мне сообщили в письме, что наша дочь умерла. Увы! Если бы бог захотел, чтобы она действительно умерла, тогда... я не знал бы неистребимой скорби, которая отныне будет отравлять мне жизнь.

– Теперь, – слабым голосом проговорила Сара, – меня больше не удивляет ваше презрение ко мне после того, как вы прочли это письмо. Я чувствую, мне не пережить последнего удара. Да! Гордость и честолюбие меня погубили. Под внешностью пылкой женщины скрывалось ледяное сердце, я представлялась преданной, чистосердечной; это было лишь притворство и эгоизм. Я не знала, почему вы презирали, ненавидели меня... Мои безумные надежды возродились с еще большей силой... С тех пор как мы оба овдовели и стали свободными, я снова поверила в предсказание, которое обещало мне корону... И когда случай помог мне найти мою дочь, уговорила себя, что этот неожиданный дар судьбы воплощает волю провидения. Я даже стала верить, что ваша ненависть ко мне отступит перед вашей любовью к дочери... и вы мне предложите руку, чтобы девочка заняла достойное положение в обществе.

– Ну что ж! Пусть ваша гадкая спесь получит наконец удовлетворение. Но вы будете и наказаны. Я был бы готов обвенчаться с вами, несмотря на глубокую ненависть, которую вы мне

Эжен Сю

внушаете. Счастье моего ребенка слишком дорого мне. Однако мы бы жили отдельно. Зато наша дочь из полного ничтожества, в которое вы ее ввергли, заняла бы в свете подобающее ей блестящее положение...

– Так, значит, я не ошиблась! Увы!.. Слишком поздно!

– О, я знаю! Вы сожалеете не о смерти дочери, а о том, что не обрели высокого звания, к которому вы стремились с несокрушимым упорством. Итак, возникшая досада будет последним наказанием для вас!..

– Да, последним... Этого я не переживу...

– Но, прежде чем умереть, вы должны узнать, какой была жизнь вашей дочери с тех пор, как вы ее покинули.

– Бедное дитя!.. Быть может, она была несчастна!..

– Помните ночь, когда вы отправились с вашим братом в притон на острове Сите?

– Помню... Но к чему этот вопрос?.. Ваш взгляд наводит на меня ужас.

– Направляясь в притон, вы видели на углу этих мерзких улиц... несчастные создания. Они... нет, не могу, – сказал Родольф, закрыв лицо руками, – не смею... Слова разрывают мне душу.

– Я тоже потрясена... Что еще, боже?

– Вы их видели, не правда ли? – с огромным усилием проговорил Родольф. – Этих женщин, позор всего женского пола? Ну вот, среди них... вы не заметили девушку лет шестнадцати, прекрасную, как ангел, сошедший с картины... Бедняжка, несмотря на гнусное окружение, куда ее бросили несколько недель тому назад, сохранила такое невинное, такое девственное и чистое лицо, что воры и убийцы, которые обращались к ней на «ты»... прозвали ее Лилией-Марией. Вы заметили... эту девушку? Отвечайте, вы, нежная мать!

– Нет... я ее не заметила, – мгновенно ответила Сара, чувствуя, что ее охватывает неодолимый страх.

– В самом деле? – язвительно произнес Родольф. – Странно... а я заметил. И вот при каких обстоятельствах... Слушайте внимательно. Однажды, занятый своими поисками, которые имели двойную цель,⁵¹ я очутился в Сите; недалеко от известного вам притона какой-то мужчина пытался избить одну из несчастных девиц, я отнял ее у грубияна... Вы не догадываетесь, кто была эта девушка... Отвечайте, вы, святая провидица... Не догадываетесь?

– Нет... Не догадываюсь... О, оставьте меня, оставьте...

– Эта несчастная была Лилия-Мария.

– Боже мой!

– И вы не знаете... кто она?.. Идеальная мать!

– Убейте меня... убейте...

– Это была Певунья... Ваша дочь!.. – яростно воскликнул Родольф. – Да, несчастная, которую я вырвал из рук каторжника, – мое дитя, мое... Родольфа фон Герольштейна! Во встрече с дочерью, которую я спас, не зная, что это моя собственная плоть и кровь, есть нечто роковое – и это награда тому, кто всегда стремился прийти на помощь ближнему, и в то же время – кара за отцеубийство...

– Мои минуты сочтены, но мне нет прощения, – прошептала Сара, без сил откидываясь на спинку кресла и закрывая лицо руками.

Родольф продолжал, с трудом владея собой и безуспешно стараясь подавить рыдания, время от времени заглушавшие его голос:

– Когда я избавил эту девушку от нависшей над ней угрозы, я был поражен нежным звучанием ее голоса и ангельски кротким выражением лица. Это невольно остановило мое внимание... С глубоким волнением я слушал наивный и горестный рассказ этого отверженного существа. Сударыня, жизнь вашего покинутого ребенка была полна нужды, горя и страданий. Вы должны знать о ее муках! В то время как вы, графиня, утопали в роскоши и мечтали лишь о гер-

⁵¹ То есть найти след Жермена, сына г-жи Жорж.

Эжен Сю

цогской короне... ваша дочь, совсем малютка, в лохмотьях по вечерам отпраплялась просить милостыню на улицах, изнемогая от холода и голода... В зимние ночи она дрожала от стужи на соломенной подстилке в углу чердака, а потом, когда жестокой женщине, которая ее мучила, надоело угощать бедняжку тумачами... Знаете ли вы, что она сделала? Она вырвала ей зуб.

– О, скорее бы умереть!.. Какая жестокая мука!..

– Нет, вы обязаны выслушать до конца. Ускользнув наконец из рук Сычихи, восьмилетняя девочка скиталась без куска хлеба и без крыши над головой; ее задержали как бродяжку и заключили в тюрьму. Представьте себе, это были лучшие дни жизни вашей дочери!.. Да, за тюремной решеткой она каждый вечер благодарила бога за то, что не страдает здесь от холода и голода, что ее больше не бьют. И именно в тюрьме она провела самые счастливые годы... В такие годы девушка обычно бывает окружена нежными заботами любящей матери. А вместо того, чтобы достичь своих шестнадцати лет окруженной любовью, вниманием, занятой благородными делами, ваша дочь знала лишь грубое безразличие тюремщиков. А затем жестокое и беспечное общество бросило ее, невинную, красивую и чистосердечную, в омут большого города. Несчастное дитя... покинутая... без поддержки, без советов, отданная на волю нищеты и порока!.. О! – воскликнул Родольф, уступив душившим его рыданиям. – Ваше сердце зачерствело, ваш эгоизм безжалостен, но даже вы бы заплакали... да... заплакали бы, слушая печальный рассказ девушки... Бедное дитя! Опозоренная, но не падшая, целомудренная, несмотря на свое ужасное существование, которое было для нее страшным сном, потому что каждое ее слово выражало ужас перед этой жизнью, куда она была вовлечена роковым образом... О, если бы вы знали, сколько доброты, сколько благородных побуждений, сколько трогательного милосердия проявлялось в ней! Чтобы облегчить участь еще более несчастной, чем она сама, бедняжка истратила свои последние деньги, на которые она могла жить, не падая в бездну бесчестия, куда ее толкнула нужда... Да! Настал злосчастный день... Она пришла туда... без хлеба, без крова над головой; ужасные женщины встретили ее, изнуренную от слабости, от нужды, напоили ее и...

Родольф не мог спокойно говорить; он гневно воскликнул:

– И это была моя дочь! Моя дочь!

– Проклятие мне, – прошептала Сара, закрывая лицо руками, словно боясь взглянуть на дневной свет.

– Да, – вскричал Родольф, – будьте вы прокляты! Вы – причина всех этих ужасов... Вы бросили свою дочь... Будьте вы прокляты! Когда я вытащил ее из этого омута и поместил в тихое убежище, вы выкрали ее оттуда с помощью ваших гнусных сообщников... Будьте вы прокляты! Вот почему она снова оказалась во власти Жака Феррана...

Назвав это имя, Родольф внезапно замолчал.

Он вздрогнул, как бы произнося это имя впервые. Дело в том, что он первый раз назвал имя Феррана после того, как узнал, что его дочь была жертвой этого изверга...

Черты лица принца исказились от ярости и ненависти.

Застывший в безмолвии, он, казалось, был сражен мыслью, что мучитель его дочери все еще жив.

Этот разговор взбудоражил Сару. Она была потрясена и испугана мрачным взглядом Родольфа. И вместе с тем ощущала, как возрастает охватившая ее слабость.

– Что с вами? – проговорила она дрожащим голосом. – Боже мой! Неужели недостаточно страданий?

– Нет... еще недостаточно! – проговорил Родольф, как бы отвечая на свои собственные мысли. – Я никогда не испытывал подобного... никогда! Какая жажда мести! Какая жажда крови... Какое осмысленное бешенство!.. Я не знал, что одна из его жертв – моя дочь, и думал: «Смерть негодяя никому не принесет пользы... тогда как его жизнь будет полезной, но он должен искупить свои грехи, приняв условия, которые ему будут предложены...» Мне казалось справедливым обратить его на стезю милосердия, чтобы он смог искупить преступления... А жизнь человека, лишившегося золота, жизнь, искушаемая неистовой чувственностью, будет для него долгой и мучительной пыткой... Ведь мою дочь, ребенка, он бросил в бездну нищеты... А когда она стала девушкой, он подверг ее позору! Приказал ее убить! Я убью его!

И принц ринулся к выходу.

– Куда вы? Не покидайте меня! – закричала Сара, протягивая Родольфу руки. – Не оставьте меня одну!.. Я умираю...

– Одну! Нет!.. Нет!.. Я оставлю вас с призраком погубленной дочери!

Сара вне себя опустилась на колени, испуская крик, как будто перед ней предстало страшное видение.

– Сжальтесь! Я умираю!

– Умирайте же, проклятая, – гневно ответил Родольф. – Теперь мне нужна жизнь вашего сообщника. Вы отдали дочь палачу!..

И Родольф приказал немедленно отвезти его к Феррану.

Глава IV НЕИСТОВСТВА ЛЮБВИ

В то время как Родольф направился к нотариусу, наступила ночь.

Флигель, где жил Жак Ферран, погрузился в глубокую темноту.

Завывает ветер...

Идет дождь...

В такую же ненастную ночь Сесили, прежде чем навсегда покинуть дом нотариуса, довела до полного безумия его грубую страсть.

В спальне при тусклом свете лампы Ферран лежит на кровати в брюках и черном жилете; один рукав его рубашки засучен и запятнан кровью; перевязка из красной материи, виднеющаяся на его мускулистой руке, доказывает, что Полидори только что пустил ему кровь.

Полидори стоит подле кровати, одной рукой опираясь на ее изголовье, и, кажется, с тревогой вглядывается в черты своего сообщника.

Невозможно представить себе что-либо отвратительнее и страшнее лица Феррана, погруженного почти в бессознательное состояние, которое обычно наступает вслед за сильными приступами болезни. Он дошел до последней степени малярии; тени алькова придают лиловатый оттенок его лицу, покрытому холодным потом; опущенные веки, наполненные кровью, так вздулись, что кажутся двумя красноватыми полукругами на его мертвенно-бледном лице.

– Еще один такой сильный приступ... и он мертв, – тихо произнес Полидори. – Аретей⁵² сказал, что большинство тех, кто поражен этой странной и ужасной болезнью, погибают почти всегда на седьмой день... а вот уже прошло шесть дней... как адская креолка зажгла неугасимый огонь, пожирающий этого человека.

После молчаливого размышления Полидори отошел от кровати и стал медленно ходить по комнате.

– Только что, – проговорил он, останавливаясь, – во время приступа, который чуть было не вызвал смерть Жака, мне казалось, что я во власти сна, когда слышал, как он, задыхаясь, говорит в бреду о безумных галлюцинациях, возникших в его мозгу... Ужасная, ужасная болезнь! Она поочередно подвергает каждый орган каким-то явлениям, которые ставят в тупик науку... устрашают природу... Только что слух Жака обладал невероятной болезненной чуткостью, хотя я говорил с ним по возможности тихо, но мои слова так поражали его барабанные перепонки, что собственный череп казался ему колоколом, в котором огромный медный язык раскачивался при малейшем звуке и бил его по вискам с оглушительным грохотом и нестерпимой болью.

Полидори вновь остановился в раздумье у кровати Феррана.

На дворе бушевала буря; вскоре она разразилась дождем и сильным порывом ветра, со свистом врывающимся во все окна ветхого дома...

⁵² Ибо чаще всего эти определенные признаки болезни возникают на седьмой день (Аретей). См. также перевод трактата Балдассара (Cas. med. lib. III, Salacitas nitro curfita). И еще замечательные страницы Амбруаза Паре о Satiriasis, характеризующие эту необыкновенно страшную болезнь, которая сходна с возмездием бога.

Полидори, несмотря на свое изощренное коварство, был суеверен; предчувствия и необъяснимое беспокойство томили его; вой урагана, нарушавшего зловещую тишину ночи, внушал ему неопределенный страх, с которым он напрасно пытался бороться.

Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, он принялся рассматривать черты лица своего сообщника.

– Теперь, – сказал он, склоняясь к нотариусу, – его веки наливаются кровью... Можно подумать, что густая кровь хлынула в них и там застоялась. Со зрением – так же, как и со слухом, – несомненно, произойдет что-то необычное... Какие страдания!.. Как они разнообразны!.. Сколь долго он мучается!.. Когда природа решает стать жестокой... – добавил он с горькой усмешкой, – играть роль палача, она превосходит самые свирепые выдумки людей. Так, при этой болезни, причина которой эротическое безумие, она подвергает каждое чувство нечеловеческим мукам, до предела обостряет чувствительность каждого органа, чтобы боли стали нестерпимыми.

В течение нескольких минут он созерцал черты лица своего сообщника, наконец содрогнулся с отвращением и, отпрянув от больного, произнес:

– О, эта маска ужасна... Лицо становится страшным, появляются морщины.

На дворе ураган бушевал с удвоенной силой.

– Какая буря, – продолжал Полидори, падая в кресло и опираясь головой на руки. – Какая ночь... Какая ночь! Нельзя представить себе более губительной для состояния Жака.

После долгого молчания он снова заговорил:

– Не знаю, предвидел ли принц, осведомленный об адском могуществе чар Сесили и все растущем напряжении чувств Жака, что у человека такой энергии и закалки сила пылкой и неутоленной страсти, осложненной какой-то бешеной жадностью, вызовет ужасающую нервную болезнь... но ведь этого последствия надо было ожидать, оно неминуемо...

– О да, – резко поднявшись, словно испуганный своими мыслями, сказал он, – принц, конечно, это предвидел... его редкому и широкому уму не чужда никакая наука. Его пронизательный взгляд охватывает причины и следствия каждого явления... Безжалостный в своей справедливости, он, наверное, тщательно обдумал наказание Жака, основываясь на логическом и последовательном нарастании грубой страсти, возбужденной до бешенства.

После продолжительного молчания Полидори заговорил:

– Когда я вспоминаю прошлое... когда я вспоминаю честолюбивые замыслы, одобренные Сарой, в отношении молодого принца... Сколько событий! До какой степени нравственного падения я дошел, живя среди преступной мерзости? Я, стремившийся сделать из принца изнеженное существо, послушное орудие власти, о которой я мечтал! Я был воспитателем, а хотел стать министром... И несмотря на мои знания, на мой разум, я, совершая преступление за преступлением, достиг последней степени подлости... И наконец, стал тюремщиком своего сообщника.

Полидори погрузился в мрачное раздумье, которое вновь привело его к мыслям о Родольфе.

– Я страшусь и ненавижу принца, – заметил он, – но я вынужден, дрожа, преклоняться перед силой его воображения, перед его всемогущей волей, которая всегда порывом устремляется за пределы исхоженных дорог... Какой странный контраст в его характере: он так великодушен, что замыслил основать банк для бедных безработных, и так свирепо жесток... чтобы спасти Жака от смерти лишь для того, чтобы ввергнуть его во власть мстительных фурий сладострастия!..

– Впрочем, ничто здесь не противоречит учению церкви, – заметил Полидори с мрачной иронией. – Среди фресок, которые Микеланджело написал на тему семи смертных грехов в своем «Страшном суде» в Сикстинской капелле, я увидел страшное наказание порока сладострастия;⁵³ но даже отвратительные, дергающиеся в судорогах лица этих осужденных на муки греш-

⁵³ «Микеланджело был поглощен своим сюжетом, восемь лет воображение его блуждало среди постоянных мыслей о дне, столь страшном для верующих. Возведенный в сан предсказателя и думая только о своем спасении, он захотел наказать самым потрясающим образом порок, распространенный тогда больше других. Изображение адских мук, как мне кажется, достигло божественных вершин этого жанра». (Стендаль. История живописи в Италии, т. 32, с. 345).

ников, которые извиваются от жалящих укусов змей, были менее страшными, нежели лицо Жака сейчас во время приступа... Он испугал меня!

И Полидори задрожал, как будто бы перед ним вновь предстало это потрясающее видение.

– О да! – с унынием и страхом продолжал он. – Принц неумолим... Феррану легче было бы положить голову на плаху, взойти на костер, подвергнуться колесованию, испытать расплавленный свинец, сжигающий тело, чем выносить муки, которые терпит этот несчастный. При виде его страданий меня охватывает ужас, когда я задумываюсь о своей судьбе. Как решат поступить со мной?.. Что ожидает меня – сообщника преступлений Жака?.. Быть его надзирателем – слишком мало для мести, которую задумал для меня принц... Он избавил меня от эшафота не для того, чтобы спасти мне жизнь... Быть может, вечная тюрьма ожидает меня в Германии... Лучше уж тюрьма, нежели смерть... Я мог лишь слепо отдаться в распоряжение принца... Это был единственный способ спасти себя... Порою, несмотря на его обещание, меня охватывает страх... Быть может, меня отдадут палачу... если Жак умрет! Соорудить для меня эшафот при его жизни – это означало бы предназначить его и для Жака, соучастника моих преступлений... но если он умрет?.. Однако же я знаю, слово принца свято... Но я сам столько раз нарушал божественные и человеческие законы... имею ли я право требовать исполнения данной мне клятвы?.. Ну да все равно!.. Я заинтересован в том, чтоб Жак не скрылся от суда, и в моих интересах продлить ему жизнь... Но симптомы его болезни усиливаются с каждой минутой... Только чудо могло бы его спасти... Что делать?.. Что делать?..

В это время ураган достиг своего апогея, сильный порыв ветра опрокинул старую полуразрушенную трубу, которая свалилась на крышу и на двор с грохотом, похожим на мощный удар грома.

Жак Ферран, внезапно очнувшийся от сковавшей его дремоты, пошевелинулся на кровати.

Смутный ужас все сильнее охватывал Полидори.

– Глупо верить в предчувствия, – взволнованно произнес он, – но эта ночь, как мне кажется, предвещает что-то мрачное.

Его внимание привлек глухой стон нотариуса.

– Он приходит в себя, – подумал Полидори, медленно приближаясь к кровати. – Быть может, начинается новый приступ...

– Ты здесь, – прошептал Жак Ферран, лежа на кровати с закрытыми глазами, – что это за шум?

– Труба обрушилась, – вполголоса, боясь слишком сильно поразить слух своего сообщника, ответил тот. – Кошмарный ураган потрясает дом до самого основания... страшная, страшная ночь...

Нотариус ничего не услышал, повернув голову, он проговорил:

– Ты здесь?

– Да... да... здесь... я ответил тихо, боясь причинить тебе боль.

– Нет, теперь твой голос не вызывает в моих ушах боли, они только что терзали меня... при малейшем шуме мне казалось, что гром разразился в моем черепе... однако же, несмотря на невыразимые страдания, я различал страстный голос Сесили, звавший меня...

– Опять адская женщина! Избегай призрака, он убьет тебя.

– Призрак – моя жизнь! Он спасает меня.

– Послушай, безумец, именно виденье вызывает твой недуг. Твоя болезнь – это чувственное иступление, достигшее высшего напряжения. Прошу тебя, не предавайся вожделению, иначе смерть...

– Отрешиться от зримых видений! – взволнованно воскликнул Жак Ферран. – Никогда, никогда! Я боюсь лишь того, что моя мысль не сможет больше их вызывать... Но клянусь адом! Мое воображение неистошимо... чем чаще возникает этот чарующий образ, тем более реальным он становится... Когда боль утихает, тогда я могу что-то осознать и Сесили, этот демон, которого я обожаю и проклинаяю, предстает передо мною.

- Какое неукротимое бешенство! Оно ужасает меня!
- Вот сейчас, – заговорил нотариус пронзительным голосом, упорно вглядываясь в темный угол алькова, – я вижу, как появляется неясный белый лик... там... там! – И он указал исхудавшим пальцем в сторону возникшего перед ним видения.
- Замолчи, несчастный.
- Ах, вот она!..
- Жак... это смерть.
- О, я ее вижу, – молвил Ферран, стиснув зубы, не отвечая Полидори. – Вот она! Как она прекрасна!.. Прекрасна!.. Как ее черные волосы в беспорядке разметались по плечам!.. А эти маленькие зубки в полуоткрытых устах... эти влажные алые уста! Какой жемчуг!.. О! Ее глаза, они то сверкают, то гаснут!.. Сесили! – воскликнул он с невыразимой страстью. – Сесили, я обожаю тебя!..
- Жак!.. Послушай... послушай!
- О, вечное проклятье... и вечно видеть ее так!..
- Жак! – с тревогой воскликнул Полидори. – Не напрягай свое зрение, глядя на этот призрак.
- Это не призрак!
- Берегись! Ведь только сейчас тебе представилось, что ты слышишь сладострастные песни этой женщины, – твои уши были внезапно поражены нестерпимой болью... Берегись!
- Оставь меня, – с гневом воскликнул нотариус, – оставь меня!.. Для чего же существует слух? Лишь для того, чтобы слышать ее... Зрение для того, чтобы ее видеть...
- Несчастный безумец, ты забываешь о муках, которые наступают потом!
- Я могу преодолеть муки ради видения! Я не испугался смерти, чтобы ощутить все наяву. Впрочем, какое это имеет значение? Этот образ для меня реальность! Сесили, как ты прелестна!.. Ты знаешь, чудовище, что ты упоительна... Зачем это соблазнительное кокетство, воспламеняющее меня!.. О, ненавистная фурия, ты, значит, хочешь, чтоб я умер?.. Отойди!.. Отойди... иначе я задушу тебя... – иступленно воскликнул нотариус.
- Но ты сам убиваешь себя, несчастный, – воскликнул Полидори, грубо встряхнув нотариуса, чтобы вывести его из состояния экстаза.
- Напрасные усилия... Жак продолжал все так же пылко:
- О, дорогая королева, демон сладострастия! Никогда я не видел...
- Откинувшись назад, нотариус резко закричал от боли.
- Что к тебе? – удивленно спросил Полидори.
- Погаси лампу, свет слишком яркий, я не могу его переносить... Он ослепляет меня...
- Как? – удивился Полидори. – Здесь только одна лампа, покрытая абажуром, свет совсем слабый...
- Я говорю тебе, что он становится все ярче... Смотри... еще... еще... Это уж слишком... просто нестерпимо, – добавил Ферран, закрывая глаза; лицо его выражало глубокое страдание.
- Ты с ума сошел! Говорю тебе, комната едва освещена, только что я уменьшил свет; открой глаза, тогда увидишь!
- Открыть глаза! Но тогда я буду ослеплен потоком пылающего света, который врывается в эту комнату... Здесь, там, везде... снопы огненных лучей, тысячи ослепительных искр! – вскричал нотариус, привстав с кровати. Затем, испустив душераздирающий крик, он закрыл глаза руками. – Я ослеплен! Палящий свет проникает сквозь закрытые веки... он сжигает меня, пожирает... Ах! Теперь руки несколько затемняют глаза... Но погаси же лампу, она направляет режущий луч.
- Нет сомнений, – произнес Полидори, – его зрение поражено болезненной чувствительностью, как и его слух... затем возникнут галлюцинации... он погиб... Пустить ему кровь в таком состоянии значило бы убить его...
- В комнате опять раздался пронзительный крик Жака Феррана:
- Палач! Погаси же лампу! Яркий свет пронизывает мои руки; они стали прозрачными... я чувствую кровь, циркулирующую в моих венах... Напрасно стараюсь опустить веки, горящая

лава света проникает сквозь них, какая пытка! Я чувствую ослепляющие боли, словно мне в орбиты запускают острую раскаленную иглу. На помощь!.. О боже! На помощь! – воскликнул он, корчась в ужасных конвульсиях.

Полидори, испуганный неистовой силой припадка, поспешил погасить лампу.

И оба погрузились в глубокий мрак.

В этот момент раздался шум приближавшегося экипажа, который остановился на улице у ворот.

Глава V ПРИЗРАКИ

Комната, где находились Полидори и Жак Ферран, погрузилась во мрак, страдания больного стали понемногу утихать.

– Почему ты так долго не гасил лампу, – спросил Ферран, – для того ли, чтобы продлить мои адские мучения? О боже, как я страдал!..

– Теперь ты чувствуешь себя лучше?

– Сильное возбуждение, но это несравнимо с тем, что было недавно.

– Ведь я тебя предупреждал, что как только воспоминание об этой женщине затронет одно из твоих чувств, тотчас же это чувство поражается каким-то явлением, ставящим в тупик науку, которое верующие могли бы воспринять как страшное возмездие бога.

– Не говори мне о боге... – воскликнул мерзавец, заскрежетав зубами.

– Я заговорил о нем... чтобы ты помнил... Но раз ты дорожишь своей жизнью, как бы ничтожна она ни была... запомни раз навсегда, повторяю тебе, ты погибнешь во время одного из таких приступов, если снова будешь их вызывать.

– Я дорожил жизнью... потому, что воспоминание о Сесили – моя жизнь...

– Но эти воспоминания изнуряют, поглощают все твои силы, убивают тебя!

– Я не могу, не хочу от них отказаться. Сесили необходима мне, словно кровь телу... Этот человек лишил меня богатства, но не смог похитить у меня страстного немеркнувшего образа чаровницы; ее образ принадлежит мне, в любой, момент он возникает перед моим взором как преданный раб... она говорит по моему повелению, она смотрит на меня так, как я хочу, боготворит меня, воспаляет, – воскликнул нотариус в приступе неистовой страсти.

– Жак, не возбуждай себя, помни о только что происшедшем.

Нотариус не слушал своего сообщника, который предвидел новые галлюцинации. В самом деле, Ферран с язвительным смехом продолжал:

– Отнять у меня Сесили? Значит, они не знают, что можно добиться невозможного, нужно лишь сосредоточить силу всех своих способностей на одном предмете. Вот, например, сейчас я поднимусь в комнату Сесили, куда не осмеливался заходить после ее отъезда... О, увидеть... коснуться ее платьев... посмотреть в зеркало, перед которым она переодевалась... значит, увидеть ее самое! Да, внимательно всматриваясь в зеркало... я скоро увижу, как в нем появляется Сесили, это не иллюзия, не мираж, это будет она сама, я увижу ее там, как скульптор видит в глыбе мрамора создаваемую им статую... но, клянусь всем адским пламенем, в котором я сгораю, это будет не бледная и холодная Галатея.

– Куда ты? – вдруг спросил Полидори, услышав, что Жак Ферран встает с кровати. В комнате было совершенно темно.

– Иду к Сесили...

– Ты не пойдешь... Вид этой комнаты тебя погубит.

– Сесили ждет меня там, наверху.

– Ты не пойдешь, я держу тебя и не отпущу, – произнес Полидори, схватив нотариуса за руку.

Ферран, доведенный до последней степени истощения, не мог бороться с врачом, который держал его своей крепкой рукой.

– Ты хочешь помешать мне пойти к Сесили?

– Да, и к тому же в соседней комнате горит лампа; ты ведь знаешь – только что яркий свет поразил твоё зрение.

– Сесили наверху... Она меня ждёт... Я готов пройти через раскаленную печь, чтобы соединиться с ней... Пусти меня... Она называла меня своим старым тигром. Берегись, у меня острые когти.

– Ты не выйдешь отсюда, скорее я привяжу тебя к кровати, как буйного безумца.

– Полидори, послушай, я не безумец, я в полном разуме, я отлично понимаю, что реальной Сесили наверху нет, но для меня призраки моего воображения столь же дороги, как реальный образ!..

– Молчи! – вдруг воскликнул Полидори, прислушиваясь. – Только что мне показалось, что у дверей остановился экипаж; я не ошибся, теперь я слышу голоса во дворе.

– Ты хочешь отвлечь меня от моих мыслей – слишком глупая ловушка.

– Я слышу их разговор, понятно тебе, и я, кажется, узнал...

– Ты хочешь меня обмануть, – сказал Ферран, прерывая врача, – я не дурак...

– Негодяй... слушай же, слушай, ну что, ты не слышишь?..

– Пусти!.. Сесили наверху, она зовет меня; не доводи меня до ярости. В свою очередь говорю тебе: берегись!.. Понял? Берегись!

– Ты отсюда не выйдешь...

– Берегись...

– Не уйдешь, я должен так поступить...

– Ты не пускаешь меня к Сесили, а я сделаю так, что ты умрешь... Так вот! – глухим голосом проговорил нотариус.

Полидори вскрикнул:

– Злодей! Поранил мне руку, а рана ничтожная, ты от меня не ускользнешь...

– Рана смертельна... ты поражен отравленным ножом Сесили; я всегда носил его с собой; яд начнет действовать. Ну что? Тыпустишь меня! Ведь ты сейчас умрешь... Не надо было задерживать меня, противиться встрече с Сесили... – произнес Ферран, на ощупь отыскивая дверь в темноте.

– О, – пробормотал врач, – рука не действует... чувствую смертельный холод... Колени трясутся... стынет кровь в жилах... кружится голова... На помощь!.. – воскликнул он, издавая последний вопль. – На помощь!.. Умираю!..

И он опустился наземь.

Вдруг раздался треск стеклянной двери, отворенной с такой силой, что разбились стекла, а затем послышался громкий голос и звук поспешных шагов Родольфа – все это казалось откликом на предсмертные крики Полидори.

Ферран, отыскав наконец в темноте задвижку, быстро открыл дверь соседней комнаты и ринулся туда с отравленным ножом.

В то же время с противоположной стороны в комнату, словно гений мщения, вошел грозный принц.

– Чудовище! – воскликнул Родольф, приближаясь к Феррану. – Это ты убил мою дочь! Ты будешь...

Принц не договорил, он в ужасе отступил от нотариуса...

Эти слова будто молнией поразили Феррана...

Бросив нож, закрывая глаза руками, несчастный с нечеловеческим воплем упал лицом на землю.

Вследствие явления, о котором мы говорили, полная темнота облегчила боль Феррана, но, когда он вошел в ярко освещенную комнату, у него начались столь головокружительные, нестерпимые муки, точно он попал в раскаленный поток света, который можно сравнить со светом солнечного диска.

Ужасное зрелище представляла собою агония этого человека; он исступленно корчился от боли, ногтями скреб паркет, как будто хотел вырыть в нем яму и избавиться там от жестоких мук, вызванных пылающим светом.

Родольф, его слуга, привратник дома, которому пришлось довести принца до дверей комнаты, остановились, охваченные ужасом. Питая справедливую ненависть к нотариусу, Родольф все же почувствовал жалость, наблюдая глубокие страдания Феррана; он приказал перенести его на диван.

Сделать это было нелегко; боясь очутиться под прямым воздействием света, нотариус отчаянно отбивался, а когда он оказался в комнате, залитой светом, он вновь испустил крик, который заставил Родольфа оцепенеть от ужаса.

После новых и долгих мучений боли, ставшие невероятно сильными, прекратились.

Достигнув высшего напряжения, исход которого мог быть только смертельным, боль в глазах утихла, но, как обычно при нормальном ходе этой болезни, после приступа начались бред и галлюцинации.

Вдруг Ферран вытянулся и заостенел, точно при столбняке; его веки, упрямо закрывавшие глаза, внезапно открылись; вместо того чтобы избежать света, его взор обратился в сторону лампы; зрачки странным образом остановились и расширились; из них исходил фосфорический свет. Казалось, что Жак Ферран в экстазе созерцает мир; его тело вначале оставалось совершенно неподвижным, только лицо беспрестанно и судорожно содрогалось.

В его безобразном лице, искаженном и изможденном, не оставалось ничего человеческого, казалось, что животная похоть, вытеснив разум, придала физиономии этого негодяя совершенно скотские черты.

Дойдя до последней степени безумия, во время бредовой галлюцинации он еще помнил слова Сесили, которая называла его своим тигром; постепенно он терял разум и вообразил себя этим хищником.

Бесвязные слова, которые он произносил, едва переводя дух, выражали расстройство его ума, странное отклонение от нормального восприятия вещей. Постепенно неподвижность его тела прошла, и он стал шевелиться, однако, резко повернувшись, упал с дивана; хотел встать и пойти, но у него не хватило сил, ему пришлось ползать и передвигаться, опираясь на руки и колени... направляясь то в одну, то в другую сторону... всецело подчиняясь возникавшим перед ним призракам, во власти которых он находился.

Он пристроился в углу комнаты, как тигр в своем логове., Его неистовые хриплые крики, скрежет зубов, конвульсии мышц лба и лица, пылающий взгляд порой придавали ему сходство с этим свирепым зверем.

– Тигр... тигр... да, я тигр, – говорил он прерывающимся голосом, весь сжавшись в комок, – да, я тигр... Сколько крови!.. В моем логове... сколько истерзанных трупов... Певунья... брат этой вдовы... мальчик... сын Луизы... вот трупы... моя тигрица Сесили получит свое... – Затем, посмотрев на исхудавшие пальцы, на ногти, безмерно выросшие за время болезни, он молвил прерывающимся голосом: – О, мои когти... сильные и острые. Я старый тигр, но ловкий, смелый и могучий... никто не посмеет отбить от меня мою тигрицу Сесили... Ах, она зовет... зовет... – выпячивая вперед свою страшную морду, говорил он.

Затем, после короткого молчания, он вновь прижался к стене.

– Нет... Мне показалось, что я ее слышу... Ее там нет, но я ее вижу... О, вот она... Она зовет меня, она рычит, рычит там... Я здесь... Я здесь...

И Ферран на коленях и руках пополз на середину комнаты. Хотя силы его иссякли, он постепенно продвигался судорожными прыжками, потом остановился и стал внимательно прислушиваться.

– Где же она?.. Где же она?.. Я приближаюсь к ней, а она удаляется... Ах... Вот она!.. Ждет меня... Иди... иди... рой песок, издавая жалобный рев... О, ее большие свирепые глаза... они стали тоскливыми, они умоляют меня... Сесили, твой старый тигр весь твой! – воскликнул он.

И последним усилием он приподнялся и встал на колени.

Внезапно, с ужасом откинувшись назад, опершись телом на пятки, с растрепанными волосами, с растерянным видом, с искривленными от страха губами, протянув вперед руки, он, казалось, начал ожесточенно бороться с каким-то невидимым призраком, произнося несвязные слова и крича прерывающимся голосом:

– Какой укус... На помощь... Суставы заледенели... Руки поломаны, я не могу его прогнать... Зубы острые... Нет, нет, о, только не глаза... На помощь... Черная змея... О, плоская голова... Огненные глаза. Она на меня смотрит... Это дьявол... Ах! Он меня узнал... Жак Ферран... В церкви... Святой человек... Всегда в церкви. Уходи... Я перекрещусь... Уходи...

И нотариус, приподнявшись, опираясь одной рукой о пол, другой старался – перекреститься.

Его мертвенно-бледный лоб покрылся холодным потом. Глаза потеряли прозрачность... стали тусклыми, с бутылочно-зеленым оттенком.

Все признаки приближающейся смерти были налицо.

Родольф и другие свидетели этой сцены стояли молча, словно находясь во власти ужасного кошмара.

– А... – продолжал Жак Ферран, по-прежнему находясь на полу, – дьявол исчез... Я хожу в церковь... святой человек... молюсь... Не так ли? Не узнают... Ты думаешь? Нет, нет, соблазнитель... Конечно!.. Тайна? Ну ладно! Пусть они придут... эти женщины... все? Да... все... Если не узнают?..

И на мерзком лице этого мученика, проклятого за порок сладострастия, можно было видеть последние конвульсии чувственной агонии... Стоя на краю могилы, которую неистовая страсть разверзла перед ним, охваченный буйным бредом, он все еще старался вызвать образы смертоносного сладострастия.

– О, – продолжал он, задыхаясь, – эти женщины... эти женщины!.. Но тайна!.. Я святой человек!.. Тайна!.. А вот они!.. Трое... Их было три! Что говорит эта? Я Луиза Морель!.. Ах, да, Луиза Морель... Знаю... Я всего лишь девушка из народа... Смотри, Жак... Какой густой лес черных волос рассыпался по моим плечам. Ты находил мое лицо красивым... На... бери... храни его. Что она дает мне?.. Свою голову, отрубленную палачом... Эту мертвую голову... Она смотрит на меня... Она говорит со мной, как Сесили... Нет... Я не хочу... Я не хочу... Дьявол... оставь меня... сгинь!.. сгинь! А вот другая женщина!.. О! Красавица!.. Красавица!.. Жак... Я – герцогиня... де Люсене... Взгляни на мою фигуру богини... мою улыбку... мой наглый взор... Приди, приди... Да... Я иду... Подожди!.. А эта... Вот она поворачивается ко мне лицом!.. О Сесили... Сесили... Да... Жак... Я – Сесили... Ты видишь три грации... Луиза... герцогиня и я... выбирай... Народная красота... аристократическая красота... дикая красота тропиков... С нами ад... Иди же!.. Иди!..

– Пусть в аду, но с вами!.. Да!.. – воскликнул Ферран, приподнимаясь на колени и протягивая руки, чтобы схватить возникшие призраки.

За последним конвульсивным порывом последовал смертельный удар.

Он сразу упал на спину, заостривший и бездыханный, его глаза словно выкатились из орбит, искаженные черты лица дергались в судорогах, подобных тем, которые электрический ток вызывает на лице мертвеца. На губах появилась кровавая пена, голос стал свистящим, хриплым, как у человека, заболевшего бешенством, так как последние симптомы этой ужасной болезни – страшной кары за порочное сладострастие – похожи на симптомы бешенства.

Жизнь этого чудовища угасла во время последнего кошмара, он лишь пробормотал:

– Темная ночь... темная... призраки... медные скелеты, накаленные докрасна... обнимают меня... жгут своими пальцами... Мое тело дымится, мой мозг горит... Свиристый призрак... Нет!.. Нет!.. Сесили!.. Огонь... Сесили!..

Таковы были последние слова Жака Феррана. Родольф, потрясенный, вышел из дома.

Глава VI БОЛЬНИЦА

Напомним, что Лилия-Мария, спасенная Волчицей, была перенесена в находившийся близ острова Черпальщика дом доктора Гриффона, одного из врачей гражданской больницы, куда мы и поведем читателя.

Ученый врач, получивший по протекции влиятельных людей назначение в этот госпиталь,

рассматривал палаты больницы как площадку, где он испытывал на бедных курс лечения, который потом применял к богатым, причем никогда не предлагал им новых способов лечения, прежде чем несколько раз не повторит его *in anima vili*, как он выражался, с преступным варварством, к которому привела его слепая страсть к искусству врачевания и в особенности привычка и возможность безбоязненно испытывать на созданиях бога все причудливые затеи, все фантазии предприимчивых исследователей. Так, например, если доктор хотел убедиться в сравнительном действии нового метода лечения, довольно рискованного, с тем чтобы прийти к заключению о пригодности той или иной системы:

Он избирал несколько больных... Часть их лечил по новому методу. Другую – по старому.

Некоторых больных он вообще никак не лечил, считая, что природа сама должна оказать свое воздействие...

После подобного рода опытов он подсчитывал, сколько больных из всей этой группы осталось в живых... Люди, подвергавшиеся этим страшным экспериментам, были, по правде говоря, не чем иным, как человеческими жертвами, принесенными на алтарь науки.⁵⁴

Доктор Гриффон даже не думал об этом.

В глазах этого светила науки, как говорят в наше время, больные его госпиталя являлись лишь объектом для изучения и экспериментирования; и так как все-таки случалось, что эти опыты давали положительный результат или открытие обогащало науку, доктор простодушно торжествовал, словно генерал, одержавший победу, не придавая значения тому, сколько солдат полегло на поле брани.

Как только доктор Гриффон начал свою деятельность, он стал яростным врагом гомеопатии. Он считал этот метод абсурдным, пагубным и даже убийственным. Опираясь на свои убеждения и желая поставить гомеопатов, как говорится, на колени, он с рыцарской справедливостью предлагал им взять несколько больных, которых они могли лечить своим методом, заранее полагая, что из двадцати больных, подвергнутых их лечению, выживут не более пяти. Но письмо из Медицинской академии отвергло эти опыты, предложенные самим министерством по просьбе гомеопатического общества, и пресекло неуместное усердие, а доктор в силу профессиональных соображений не захотел противопоставлять личный авторитет решению, принятому высшей инстанцией медицинского мира. С такой же непоследовательностью, как и его коллеги, он продолжал утверждать, что дозы гомеопатов не оказывают воздействие на организм и являются исключительно вредными, не отдавая себе отчета в том, что, если доза не воздействует на организм, она не может считаться ядовитой; однако же предрассудки ученых столь же устойчивы, как и предрассудки обывателей.

Понадобились многие годы, прежде чем один добросовестный врач осмелился осуществить в одном из госпиталей Парижа опыты лечения малыми дозами и посредством гомеопатических шариков спасти сотни легочных больных, которых кровопускание отправило бы на тот свет.

Что касается доктора Гриффона, так бесцеремонно объявлявшего тысячную долю лекарственной нормы смертоносной, то он продолжал безжалостно пичкать больных йодом, стрихнином и мышьяком, доводя дозы до предела, который может выдержать организм, а вернее сказать, до смертельного похода.

Доктор Гриффон был бы поражен, если бы кто-либо возразил ему, произнеся следующие слова по поводу бесконтрольного, самовольного лечения его «подданных»:

⁵⁴ Имя, которое я имею честь носить и которое мой отец, дед, двоюродный дед и прадед, один из первых эрудитов XVII в., прославили благодаря замечательным фундаментальным практическим и теоретическим трудам в различных областях медицины, не позволяет мне подвергать врачей малейшим нападкам или даже допускать хотя бы слабые намеки на неблагоприятность их деятельности, но важность исследуемой мною проблемы и законный безграничный авторитет французской медицинской школы не препятствует мне. В образе доктора Гриффона я хотел изобразить человека, пользующегося уважением, но увлеченного своей профессией и экспериментами до такой степени, что он способен допустить серьезное злоупотребление правами врача, как бы забывая, что существует нечто более святое, чем наука, — Человечность.

«Подобный метод заставляет вспомнить с сожалением о варварских временах, когда на приговоренных к смерти производили те новые хирургические операции, которые опасались делать прочим людям, так как эти операции еще не были испробованы и сравнительно недавно открыты. Если операция удавалась, осужденного миловали.

Сравнительно с вашим методом это варварство было милосердным.

Ведь несчастному, которого ждал палач, опыт предоставлял возможность спасти жизнь, а кроме того, он мог оказать неоценимую услугу и другим больным.

Гомеопаты, которых вы уничтожаете своими сарказмами, вероятно, на себе испытали лекарства, которые они рекомендуют в борьбе с болезнями. Многие из них погибли, производя эти благородные и смелые опыты, и их имена должны быть записаны золотыми буквами в списке мучеников науки.

Не к подобного ли рода экспериментам вы должны приучать своих учеников?

Но представлять им больного, лежащего в госпитале, как грубое существо, служащее для различных терапевтических упражнений, как пушечное мясо, предназначенное для того, чтобы выдержать первые залпы медицинской артиллерии, – это куда более опасно, чем стрелять из орудий, но испытывать рискованное лечение на несчастных ремесленниках, для которых больница единственное убежище, если они тяжело заболевают... но пробовать метод, быть может, губительный, на беспомощных, безоружных людях, которых нужда заставляет всецело довериться вам – единственной для них надежде, вам, отвечающему за их жизнь только перед богом... Знаете ли вы, что это значит – довести любовь к науке до бесчеловечности!

Как! Бедные труженики работают в мастерских., на полях, служат в армии; в этом мире сталкиваются только с нуждой и лишениями, и когда они, выбившись их сил, падают полумертвыми от изнеможения и страданий... неужели даже болезнь не убережет их от последней кошмарной эксплуатации?

Я обращаюсь к вашему сердцу, доктор, неужели то, что я сказал, покажется вам несправедливым и жестоким?»

Увы! Быть может, эти суровые слова и взволновали бы доктора Гриффона, но ни в коей мере не убедили бы его.

Человек так создан: полководец смотрит на своих солдат как на пешек в кровавой игре, называемой сражением.

И потому что человек так создан, общество обязано покровительствовать тем, кого судьба заставила нести на себе бремя человеческих страданий. И вот если мы раз и навсегда примем принципы доктора Гриффона (и мы их принимаем, не преувеличивая их значения), то больные его госпиталя ничем не будут гарантированы, лишены каких-либо средств защиты от ученого варварства его опытов; ибо тут сказываются прискорбные недостатки в организации гражданских больниц.

На это обстоятельство мы здесь указываем, и крайне желательно, чтобы нас поняли.

Военные госпитали ежедневно посещает старший офицер, обязанный выслушивать жалобы больных солдат и, если они кажутся ему обоснованными, принимать соответствующие решения. Подобного рода строгий контроль, совершенно независимый от администрации и лечащих врачей, превосходен и всегда дает положительные результаты. К тому же нет медицинских учреждений, организованных лучше, чем военные госпитали. За солдатами там ухаживают с трогательным вниманием и к ним относятся, можно сказать, с состраданием и уважением. Почему бы контроль, аналогичный тому, который старшие офицеры осуществляют в военных госпиталях, не ввести также в гражданских больницах, чтобы его исполняли лица, совершенно не подчиненные ни администрации, ни лечащим врачам; этим могла бы заняться комиссия, избранная среди мэров и их помощников, словом, среди чиновников парижского муниципалитета, занимающих должности, которых они так упорно добивались. Жалобы бедных больных (если они обоснованы) разбирались бы беспристрастно, в то время, как, мы это повторяем, подобного органа нет, не существует контроля медицинской службы. Такое положение кажется нам ненормальным.

Итак, когда двери палаты доктора Гриффона закрываются за больными, этот последний телом и душой уже принадлежит науке. Ни друг, ни равнодушный к нему человек отныне не

услышат его жалоб.

Ему прямо объявляют, что, попав в госпиталь (из милосердия), он теперь всецело подчинен доктору, производящему эксперименты, и что больной и его болезнь должны служить объектом изучения, наблюдения, анализа, а также обучения студентов, ревностно слушающих доктора Гриффона.

И действительно, вскоре больной подвергается самому унижительному допросу, притом не наедине с врачом, который, как священник на исповеди, имеет право все знать, нет, больной должен громко отвечать жадной и любопытной толпе.

Да, в этом аду науки старик или молодой человек, девушка или пожилая женщина должны отрешиться от всякого чувства стыда и унижения, должны раскрывать самые интимные стороны жизни, подвергаться различным мучительным исследованиям – все это перед многочисленной аудиторией, – и почти всегда такое жестокое обращение ухудшает состояние больного.

Это негуманно и несправедливо; ведь раз больного принимают в больницу во имя святого милосердия, к нему должны относиться с состраданием и уважением, потому что в несчастии человек сохраняет величие.⁵⁵

.....

Если прочесть следующие строки, станет понятно, почему мы предпослали им некоторые размышления.

Нет более печального зрелища, нежели ночная картина большей больничной палаты, куда мы поведем нашего читателя.

⁵⁵ Здесь нет каких-либо преувеличений. Мы приводим фрагмент из статьи «Посещение больницы» (Конститусьонель, 19 марта, 1836). Статья подписана буквой Z, начальной буквой фамилии знаменитого врача; его нельзя обвинить в искажении вопроса о состоянии гражданских больниц.

«При поступлении больного в больницу на дощечке пишут его фамилию, номер кровати, название болезни, возраст, профессию и адрес больного. Дощечку вешают в ногах или в изголовье; такая формальность вызывает глубокое волнение у тех, кто должен некоторое время находиться в приюте бедняков. Не считаете ли вы, что больной Жильбер в силу этого обстоятельства не смог выздороветь? Я наблюдал молодых людей, беспечных стариков, у которых разглашение характера заболевания, их фамилии вызывало глубокое переживание. Больной при поступлении в больницу претерпевает тяжелое испытание. Судите сами о том, как он должен уставать, если в течение суток его последовательно расспрашивали: лечащий врач, врач — представитель администрации больницы, дежурный хирург, врач палаты, постоянный врач больницы и, наконец, на следующее утро, главный врач, кроме того, десять или двадцать прилежных учеников, практикующихся в клинике. Конечно, это обогащает опыт будущих врачей, сопутствует успеху медицины, но этот метод осложняет болезнь и, конечно, задерживает выздоровление больных.

Один из прошедших курс лечения утверждал: «Если б я даже предстал перед судом, меня и тогда не допрашивали бы столько раз за две недели; пятьдесят человек в течение дня мучили меня одними и теми же вопросами. Когда я поступил сюда, у меня был плеврит, но я очень боюсь, что ненасытное любопытство стольких людей превратит его в конце концов в воспаление легких».

Одна женщина призналась: «Меня обступают каждую минуту, спрашивают, сколько мне лет, какой у меня темперамент, какая талия, цвет волос, смуглая ли у меня кожа; спрашивают, что я ем, диету, о моих привычках, о здоровье моих предков, при каких обстоятельствах я родилась, о моем состоянии, положении в обществе, о моих самых интимных отношениях и о предполагаемых причинах переживаний; доходят до того, что судят о моем поведении, пытаются познать чувства, которые я должна тщательно скрывать в своем сердце, меня в чем-то подозревают, что заставляет меня краснеть». Затем она продолжала: «Выстукивают мою грудь в двадцати местах в присутствии всех, на ней делают пометки чернилами, чтобы фиксировать прогрессирующие процессы в моих внутренних органах. Современные врачи, заметила женщина, похожи на инквизиторов; выздороветь в наше время — все равно как в прошлые времена понести наказание, это крайне огорчительно».

Далее, после описания всех формальностей при обходе больных, господин Z замечает: доктор у постели выздоравливающих задерживается лишь минуту, но, чтобы добраться до новичков либо больных в тяжелом состоянии, ему необходимо протолкнуться через плотную массу студентов, которые караулят с утра свое место наблюдателя. Больной же молча лежит посреди любопытствующей публики и часто происходит так, что его здоровье резко ухудшается. Пациент ждет врача с волнением и страхом, а врач обводит пронизательным взглядом присутствующих, затем его взгляд загорается, он подходит к больному, душевное состояние которого в высшей степени тревожно».

Вдоль высоких и мрачных стен с зарешеченными, как в тюрьме, окнами тянутся два параллельных ряда кроватей, тускло освещенных мрачным светом лампы, подвешенной под потолком.

Атмосфера столь зловонна и тяжела, что новые больные привыкают к ней не без опасных последствий; это усиление страданий – своеобразная мзда, которую каждый вновь прибывший больной обязательно платит, попадая под мрачные своды больницы.

Спустя некоторое время у больного появляется мертвенная бледность, означающая, что он испытал первое воздействие этой тлетворной среды, что он, как мы бы сказали, акклиматизировался.⁵⁶

Итак, воздух в этой большой палате тяжелый, зловонный.

Ночная тишина нарушается то жалобными стонами, то глубокими вздохами страдающих лихорадочной бессонницей... Затем все смолкает, слышно лишь, как монотонно и размеренно качается маятник больших часов, отсчитывающих медленно тянущиеся минуты, кажущиеся такими долгими для тех, кто не спит от боли.

В одном конце палаты было почти совсем темно. Вдруг оттуда донесся какой-то шум, слышались торопливые шаги, дверь то открывалась, то закрывалась; появилась сестра милосердия в белом чепце и черном платье; у нее был светильник. Сестра приблизилась к одной из последних коек по правой стороне.

Некоторые больные, внезапно проснувшись, приподнялись на своих кроватях и стали внимательно наблюдать за происходящим.

Вскоре двухстворчатая дверь распахнулась. Вошел священник с распятием...

Сестры преклонили колена.

Свет лампы создавал бледное сияние вокруг этой кровати, в то время как остальная часть палаты была погружена во мрак; можно было видеть склонившегося больничного священника, произносившего слова молитвы, слабый отзвук которой терялся в ночной тишине.

Четверть часа спустя священник накрыл изголовье простыней...

Потом вышел из палаты...

Одна из сестер поднялась, задернула над кроватью занавески и снова стала молиться возле своей подруги.

Вновь наступила тишина.

Одна из больных только что умерла...

Среди женщин, не спавших в это время и следивших за этой немой сценой, были три больных, имена которых уже упоминались в нашем повествовании.

Мадемуазель де Фермон, дочь несчастной вдовы, разоренной жадностью Жака Феррана.

Бедная прачка из Лотарингии, которой Лилия-Мария дала когда-то немного денег, и Жанна Дюпор, сестра Гобера – рассказчика из тюрьмы Форс.

Мы знаем мадемуазель де Фермон и Жанну Дюпор. Что касается прачки из Лотарингии, то это была женщина лет двадцати, с приятными и правильными чертами лица, но крайне бледная и худая. У нее была чахотка в последней стадии; спасти ее не было надежды; она знала об этом и медленно угасала.

Кровати двух больных стояли близко друг к другу, поэтому они могли тихо разговаривать между собой, так что сестры их не слышали.

– Вот еще одна отдала богу душу, – произнесла женщина из Лотарингии, думая о покойной и говоря сама с собой. – Теперь она не страдает!.. Она по-настоящему счастлива!..

– Да, счастлива... если у нее нет детей, – заметила Жанна.

– Оказывается, вы не спите... соседка, – сказала уроженка Лотарингии. – Как вы себя чувствуете в эту первую ночь? Вечером, когда вы прибыли сюда, вас сразу уложили... Я не посмела говорить с вами, слышала, как вы рыдали.

– О да... горько плакала.

⁵⁶ Лишь в безотлагательном случае сложные хирургические операции проводятся тотчас по поступлении больного в больницу.

– Значит, у вас сильные боли?

– Да, но я терпеливо переношу их, рыдала от горя, наконец заснула и спала, пока стук дверей меня не разбудил. Когда вошел священник и сестры опустились на колени, я поняла, что женщина умирает... Тогда я произнесла про себя Pater и Ave за нее...

– Я тоже... так как у меня та же болезнь, что и у покойной, не удержалась и воскликнула: «Теперь она больше не страдает, она счастлива!»

– Да, но, как я вам уже сказала... если у нее нет детей!..

– А у вас есть дети?

– Трое... – ответила, вздыхая, сестра Гобера. – А у вас?

– У меня была девочка... но я не смогла ее уберечь. Доченька была обречена заранее: я слишком мучилась во время беременности. Я служила прачкой на корабле, работала из последних сил. Но всему приходит конец. Когда у меня не стало сил, лишилась и хлеба. Меня прогнали из меблированной комнаты, где я жила. Не знаю, что бы со мной стало, если бы не одна бедная женщина. Она взяла меня к себе в подвал, где пряталась от своего мужа, который хотел ее убить. Вот там на соломе я и родила, но, к счастью, эта славная женщина была знакома с одной девушкой, и милосердной и красивой, как ангел небесный. У этой девушки было немного денег, она-то и извлекла меня из подвала, даже сняла мне меблированную комнату, за которую она внесла плату на месяц вперед, купила еще плетеную колыбель для ребенка и сорок франков дала мне, да еще подарила мне немного белья. Благодаря ей я воспряла духом и снова принялась работать.

– Добрая, милая девушка... Послушайте, ведь я тоже случайно встретила такую же молодую работницу, очень услужливую. Я отправилась... на свидание к моему брату, который сидит в тюрьме... – помолчав, произнесла Жанна, – и встретила в приемной эту девушку. Услышав мой разговор с братом и узнав, что я в беде, она сама подошла ко мне и предложила по мере своих возможностей помощь, такая хорошая...

– Как это было мило с ее стороны!..

– Я согласилась; она дала мне свой адрес, а два дня спустя славная мадемуазель Хохотушка... ее зовут Хохотушка... достала мне заказ...

– Хохотушка! – воскликнула уроженка Лотарингии. – Как мир тесен...

– Вы ее знаете?

– Нет, но та девушка, которая так великодушно помогла мне, несколько раз называла имя Хохотушки, они подруги...

– Ну ладно, – грустно улыбаясь, сказала Жанна, – раз мы лежим с вами рядом, мы тоже должны стать подругами, как наши благодетельницы.

– Вполне согласна. Меня зовут Аннетой Жербье, – сказала прачка из Лотарингии.

– А меня Жанной Дюпор, я бахромщица... Вот ведь как приятно встретить в больнице человека, не совсем чужого, в особенности когда попадаешь сюда впервые да еще переживаешь большое горе!.. Но я не хочу думать об этом!.. Скажите мне, Аннета, как звали молодую девушку, которая была так добра к вам?

– Ее звали Певунья. Беда моя, что с давних пор я с ней не встречалась... Она была прекрасна, как святая дева, с красивыми белокурыми волосами, голубыми нежными глазами... такими нежными, такими нежными... К несчастью, несмотря на ее помощь, моя бедная девочка умерла... Ей минуло всего лишь два месяца, она была слабенькая, едва дышала... – И несчастная мать вытерла слезу.

– У вас был муж?

– Я не была замужем... Занималась стиркой поденно в одном богатом доме у себя на родине. Я всегда была скромна, но позволила обмануть себя сыну хозяйки, и тогда...

– А, да, я понимаю.

– Поняв свое положение, я не смогла оставаться в родном краю. Господин Жюль, сын хозяйки, дал мне пятьдесят франков на поездку в Париж, сказав, что будет высылать ежемесячно по двадцать франков на приданое для ребенка и на роды, но со времени моего отъезда из дому ничего больше я от него не получала, даже писем; однажды я написала ему, он мне не ответил... Больше я не осмелилась писать, поняв, что он и слышать обо мне не хочет...

- Слышать не хочет, а сам-то погубил вас. И он богат?
- У его матери большое состояние в Лотарингии, но что поделаешь? Я там не жила... Он меня забыл...
- Но, по крайней мере, ради своего ребенка он не должен был забывать вас.
- Наоборот, видите ли, из-за этого он и невзлюбил меня, потому что я была в положении и мешала ему.
- Бедная Аннета!
- Мне-то самой жаль моего ребенка, но для девочки лучше, что она умерла. Бедная дорогая крошка! Ей пришлось бы жить в полной нищете, и с ранних лет она была бы сиротой... Ведь я – то долго не проживу...
- В вашем возрасте не следует об этом думать. Вы уже давно больны?
- Вот уже три месяца... Пресвятая дева, когда я должна была зарабатывать на жизнь для себя и ребенка, я стала работать вдвое больше, слишком рано возобновила стирку на корабле; зима была страшно холодная; я подхватила воспаление легких; в то время и умерла моя девочка. Ухаживая за ней, я не обращала на себя внимания... а потом еще это горе... Вот я и стала чахоточной, обреченной... как та актриса, которая только что умерла.
- В вашем возрасте всегда есть надежда.
- Актриса была всего на два года старше меня, но вот видите?
- Та, возле которой сидят сестры милосердия, была актрисой?
- О боже, да. Вот судьба... Она была хороша, как божий ясный день, у нее было много денег, экипажи, бриллианты, но, к великому несчастью, она заболела оспой, изуродовавшей ее; тогда наступило тяжелое время, нищета, и наконец она умерла в больнице. Она не была гордячкой, наоборот, была ласковой и приветливой со всеми больными... Никто никогда не приходил ее навестить, но четыре или пять дней назад она нам сообщила, что написала одному своему другу, с которым встречалась в счастливую пору жизни и который ее очень любил; она хотела, чтобы он пришел, и просила, чтобы он взял ее труп из больницы, так как ей неприятно было думать, что после смерти ее будут вскрывать и резать на куски.
- А этот господин... приходил?
- Нет.
- О, как это гадко!
- Каждую минуту она спрашивала о нем, повторяя: «Он придет, да, он придет, наверняка...» И все же она умерла, не дождавшись его.
- Вероятно, ей было еще тяжелее умирать, раз он не пришел.
- О боже, да, потому что то, чего она так боялась, свершится. После богатой, счастливой жизни умереть здесь... Это грустно! Нам, по крайней мере, к нищенскому состоянию не привыкать, не одно, так другое...
- Кстати, – нерешительно продолжала Аннета, – я попросила бы вас об одной услуге.
- Говорите...
- Если я умру, прежде чем вы выйдете отсюда, а это так и будет, я хотела бы, чтобы вы востребовали мой труп... У меня такой же страх, как у актрисы... Я спрячу здесь немного оставшихся у меня денег на похороны.
- Не думайте об этом!
- Но вы мне обещаете?
- Этого, даст бог, не случится.
- Но если все же случится, то благодаря вам меня не будет ожидать участь актрисы.
- Бедная женщина, была такая богатая, и пришлось умереть здесь!
- Не только одна актриса в этой палате была в прошлом богатой, сударыня.
- Называйте меня просто Жанной, как я вас Аннетой.
- Вы очень добры...
- А кто же еще... был богатым?
- Одна молодая девушка лет пятнадцати, которую привезли сюда вчера вечером, до вашего прихода. Она была так слаба, что ее пришлось доставить на носилках. Сестра сказала, что эта

молодая особа и ее мать очень приличные люди, но они разорились...

– Ее мать тоже здесь?

– Нет, мать была так плоха, так плоха, что ее не решились переносить... Бедная девушка не хотела ее оставлять, но она лишилась чувств, и этим воспользовались, чтобы забрать ее сюда... Это владелиц скромных меблированных комнат, где они проживали, побоявшись, что они умрут у него, заявил в полицию.

– А где она?

– Смотрите... там... против вас...

– И ей пятнадцать лет?

– Да, самое большее.

– Как моей дочери, – сказала Жанна, не в силах удержаться от слез.

Глава VII

ОБХОД

Жанна Дюпор, вспомнив о дочери, снова горько заплакала.

– Простите, – обратилась к ней опечаленная Аннета, – если я вас невольно огорчила, заговорив о ваших детях... Быть может, они тоже больны?

– Увы! Боже мой... Я не знаю, что с ними станет, если я пробуду здесь больше недели.

– А ваш муж?

Немного помолчав, Жанна продолжала, вытирая слезы:

– Раз мы подружились, Аннета, я могу поделиться с вами своим горем... как вы рассказали о своем... Мне станет легче... Мой муж был хорошим работником; он просто сошел с ума, покинул меня и детей, продал все, что у нас было; я снова стала работать; добрые люди помогли; я понемногу выпуталась из долгов, содержала семью как могла лучше, но вдруг возвратился муж с какой-то мерзкой женщиной, своей любовницей, для того чтобы забрать то, что у нас еще осталось, и опять все надо было начинать сначала.

– Бедная Жанна, и вы не могли этому воспротивиться?

– Тогда надо было развестись по закону; но закон слишком дорог, как говорит мой брат. Увы, боже мой, вы вот сейчас поймете, что происходит, потому что закон недоступен для нас, бедных людей. Недавно я была у брата, он дал мне три франка, которые получил от арестантов за то, что рассказывал им разные истории.

– Сразу видно, что у всех в вашей семье доброе сердце, – сказала Аннета. Чувство такта не позволяло ей спрашивать, за что сидит в тюрьме брат Жанны.

– Я опять приободрилась, полагая, что теперь-то уж мой муж не скоро придет ко мне, раз он забрал все, что можно было взять. Но нет, я ошиблась, – с содроганием продолжала несчастная женщина. – Ему оставалось еще забрать мою дочь... мою бедную Катрин.

– Вашу дочь?

– Вы сейчас узнаете... узнаете... Три дня тому назад я была занята работой, дети находились возле меня. Вошел муж. По его виду я сразу заметила, что он пьян.

«Я пришел за Катрин», – вот что он мне сказал. Невольно я схватила дочь за руку и спрашиваю Дюпора: «Куда ты хочешь ее увести?» – «Это тебя не касается, ведь дочь моя. Пусть забирает свои вещи и следует за мной!» При этих словах я оцепенела, представляете себе, Аннета, эта гадкая женщина, любовница моего мужа... стыдно сказать, но... это так... она уже давно уговаривала его воспользоваться красотой нашей дочери... дочь молоденькая и хорошенькая. Но, скажите, что за чудовище эта женщина!

– О да, настоящая мерзавка!

«Увести Катрин?» – ответила я Дюпору. – Никогда! Я знаю, что замышляет твоя мразь».

«Послушай, – сказал муж, губы которого побелели от гнева. – Не упрямясь, а то убью тебя». Затем, взяв мою дочь за руку, он сказал: «Пошли, Катрин!» Девочка бросилась мне на шею, заливаясь слезами, закричала: «Я хочу остаться с мамой!» Видя это, Дюпор разъярился, схватил дочь, ударил меня в живот с такой силой, что я рухнула наземь... И когда я уже лежала на по-

лу... знаете, Аннета, – заметила несчастная женщина, прерывая свой рассказ, – он ведь не такой злой, это потому, что был пьян... начал меня топтать... и обзывать скверными словами.

– Боже, можно ли быть таким жестоким!

– Мои бедные дети на коленях просили пощады. Катрин вместе с ними; тогда, отчаянно ругаясь, он сказал моей дочери: «Если ты не пойдешь со мной, я прикончу твою мать». Кровь шла горлом... Полумертвая, я не могла шевельнуться... Но все же крикнула Катрин: «Пусть лучше он убьет меня! Не уходи с отцом!» – «Так ты не замолчишь?» – заорал Дюпор и ударил меня ногой так, что я потеряла сознание.

– Какое несчастье, какое несчастье!

– Когда пришла в себя, увидела моих мальчиков, которые плакали.

– А ваша дочь?

– Ушла!.. – воскликнула несчастная мать, горестно рыдая. – Да... ушла... Дети сказали мне, что отец бил ее... угрожал, что убьет меня на месте. Ну что вы хотите? Бедная девочка растерялась... Она бросилась ко мне, обнимала меня, в слезах попросилась с маленькими братьями... Потом муж ее уташил! Знаете, я уверена, что мерзавка ждала его на лестнице!.. – И вы не могли пожаловаться в полицию?

– На первых порах горевала лишь по Катрин... Но вскоре почувствовала сильную боль во всем теле, не могла ходить... Увы! Боже мой, чего я больше всего боялась, то и произошло. Да, я говорила брату, что когда-нибудь муж меня изобьет... так зверски... мне придется лечь в больницу... Что будет тогда с моими детьми? И вот я здесь, в больнице, горюю: «Что станет с моими детьми?»

– Господи, неужели нет закона, оберегающего бедных?

– Слишком он дорог для нас, – с горечью произнесла Жанна. – Соседи побежали тогда за полицейским... Прибыл агент полиции. Мне было неприятно выдавать Дюпора... но пришлось. Я сказала, что мы поссорились: он решил увести мою дочь, я не соглашалась, тогда он меня толкнул... но это не важно... я лишь желаю, чтоб вернулась Катрин, боюсь, что мерзкая женщина, с которой живет муж, может ее совратить.

– И что ж вам ответил полицейский?

– Что муж имеет право увести дочь, так как он не в разводе со мной; конечно, случится несчастье, если дочь последует дурным советам и станет на путь разврата, но это только лишь предположение, нет оснований жаловаться на мужа. «Вы вправе, – сказал полицейский, – обратиться в суд и просить о разводе, а поведение мужа, его связь с другой женщиной – все это в вашу пользу, и его заставят отдать вам дочь. При иных обстоятельствах она может оставаться у него». – «Но обращаться в суд! Боже мой, у меня нет средств, я должна кормить своих детей». – «А чем я могу помочь? Так обстоит дело», – заявил полицейский. Да, так обстоит дело, он прав, – рыдая продолжала она. – Значит, быть может, дочь станет уличной девкой! А если б я могла подать жалобу в суд, этого бы не случилось.

– Ничего плохого не будет, ведь ваша дочь любит вас.

– Она так молода! В ее возрасте трудно постоять за себя, к тому же страх, грубое обращение, дурные советы, настойчивость с какой ее будут совращать! Мой брат предвидел, что нас, ожидает, он говорил: «Не зря ты боишься, что эта потаскуха вместе с твоим мужем захочет сгубить твою дочь. Ей придется познакомиться с улицей!» Господи, несчастная Катрин, такая нежная, любящая! Ведь я намеревалась в этом году возобновить ее причастие!..

– Да, вот это горе! А я жалею на свою беду, – прервала свою собеседницу Аннета, вытирая слезы.

– Ради детей я готова была сделать все, но вынуждена была пойти в больницу. Хлынула кровь горлом, начался жар, ломило руки и ноги, и я не смогла работать. Может быть, здесь вылечат меня, тогда увижу детей, если не умрут с голода или их не посадят в тюрьму за попрошайничество. А если останусь здесь, то кто о них позаботится, кто их накормит?

– Ужасно! А у вас нет добрых соседей?

– Есть, но они такие же бедняки, как и я. У них пятеро детей. Не могут же они взять еще двоих. Но они мне обещали кормить детей в течение недели. Поэтому за неделю я должна обяза-

тельно вылечиться; буду здорова или нет, все равно отсюда уйду.

– А мне как раз пришло в голову, почему вы не подумали о доброй Хохотушке, с которой встретились в тюрьме? Она бы позаботилась о детях.

– Вспоминала ее, хотя ей тоже живется не легко. Просила соседку сообщить Хохотушке о моей беде; к несчастью, она уехала в деревню, собирается выходить замуж, так сказала привратница.

– Значит, через неделю... ваши бедные дети... Но нет, соседи не оставят их, у них не каменные сердца.

– Что они могут поделать? Сами не едят досыта, а тут еще должны отнять крохи у своих детей и отдать моим. Нет, нет, я должна поправиться и через неделю возвратиться домой... Просила об этом врачей, но они с насмешкой отвечали: «Надо обратиться к главному врачу». Когда же появится главный врач?

– Тише! Мне кажется, он пришел. Во время обхода нельзя шуметь, – шепотом произнесла Аннета.

Пока женщины разговаривали, постепенно наступил рассвет.

Шумное оживление означало прибытие доктора Гриффона, который вскоре вошел в палату в сопровождении своего друга, графа дё Сен-Реми. Он проявлял, как нам известно, живой интерес к г-же де Фермон и ее дочери, но совершенно не ожидал встретить несчастную девушку в больнице.

Когда доктор Гриффон появился, его холодное суровое лицо, казалось, оживилось; окинув палату властным взором, он учтиво кивнул головой сестрам.

Аскетический облик старого графа де Сен-Реми выражал глубокую горечь. Его удручали тщетные попытки обнаружить следы г-жи де Фермон, подлая трусость виконта, который предпочел смерти позорную жизнь.

– Как вам здесь нравится? – самодовольно обратился Гриффон к графу. – Что вы думаете о моей больнице?

– По правде сказать, – ответил Сен-Реми, – не понимаю, почему я уступил вашему желанию, ведь нет ничего более невыносимого, чем зрелище этих палат, заполненных больными. Как только вошел сюда, я схватился за сердце.

– Ну что вы! Вскоре вы все забудете. Здесь философу предстает масса объектов для наблюдения, и, наконец, моему старому другу было бы непроситительно не познакомиться с моей деятельностью, ведь вы еще ни разу не видели меня за работой. Я горжусь своей профессией! Разве я не прав?

– Конечно же правы. После курса лечения Лилии-Марии, которую вы спасли, я восхищен вами. Бедное дитя! Несмотря на болезнь, она сохранила свое очарование.

– Она явилась для меня любопытным объектом медицинской практики, я восхищен ею! Кстати, как она провела эту ночь? Вы ее видели утром перед отъездом из Аньера?

– Нет, но Волчица, которая преданно ухаживает за ней, сказала, что она спала прекрасно. Она может встать сегодня?

Подумав, доктор ответил:

– Да... Вообще, пока больной не выздоровеет, я боюсь подвергать его малейшему волнению, малейшему напряжению. Но в данном случае я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы она могла встать, написать письма.

– По крайней мере, она может предупредить тех, кто ею интересуется...

– Конечно... Да, кстати, вы ничего не знаете о судьбе госпожи де Фермон и ее дочери?

– Ничего, – со вздохом ответил Сен-Реми. – Мои непрерывные поиски не дали никаких результатов. У меня вся надежда на маркизу д'Арвиль. Говорят, она очень интересуется несчастной семьей. Быть может, она знает что-нибудь, что позволило бы мне напасть на правильный след. Три дня тому назад я заходил к ней, мне сообщили, что она должна вскоре приехать. Я написал ей письмо по этому поводу и просил ответить как можно скорее.

Во время беседы Сен-Реми и доктора Гриффона несколько групп студентов собрались вокруг большого стола, расположенного в середине зала; на столе лежала регистрационная книга, в

которой студенты, прикрепленные к больнице, – их можно было узнать по длинным белым передникам, – расписывались в присутствии; многие студенты, усердные и старательные, прибывали, один за другим, увеличивая свиту доктора Гриффона, который уже находился здесь в ожидании обхода больных.

– Вот видите, дорогой Сен-Реми, мой штаб достаточно велик, – с гордостью произнес доктор Гриффон, показывая на студентов, присутствующих на проводимых им практических занятиях.

– И эти молодые люди сопровождают вас при осмотре каждого больного?

– Они для этого и приходят сюда.

– Но все кровати палаты заняты женщинами.

– Ну и что?

– Присутствие такого количества мужчин должно их ужасно стеснять!

– Да что вы, больной – это бесполое создание.

– Быть может, в вашем представлении, но в их глазах целомудрие, стыд...

– Все эти красивые слова следует оставить за дверью, мой дорогой Альцест. Здесь мы начинаем изучение болезней, проводя опыты над живыми, а заканчиваем их в амфитеатре над трупами.

– Послушайте, доктор, вы прекрасный, честнейший из людей, я вам обязан жизнью, признаю ваши отменные достоинства, но привычка и любовь к вашему искусству воспитали в вас такие взгляды, против которых я решительно восстаю... Я оставляю вас... – сказал Сен-Реми, направляясь к выходу из залы.

– Какое ребячество! – воскликнул доктор Гриффон, задерживая своего друга.

– Нет, нет, есть вещи, которые меня печалят и возмущают. Я предвижу, что присутствие на вашем обходе будет для меня пыткой. Я не уйду, хорошо, но я жду вас здесь, у стола.

– Что вы за щепетильный человек! Вы от меня не отделаетесь. Я понимаю, вам надоест ходить от больного к больному. Оставайтесь здесь. Я вас позову, чтобы показать два или три любопытных случая.

– Хорошо, раз вы так настаиваете, но для меня даже это будет сверх меры.

Пробило семь часов тридцать минут.

– Идемте, господа, – пригласил доктор Гриффон.

И он начал обход в сопровождении большой группы студентов.

Подойдя к первой кровати правого ряда, задернутой занавеской, сестра сообщила доктору:

– Доктор, больная номер один умерла сегодня ночью в четыре часа тридцать минут.

– Так поздно? Это меня удивляет. При вчерашнем осмотре я полагал, что она не переживет и нескольких часов. Тело не востребовали?

– Нет, доктор.

– Тем лучше: труп прекрасный, мы не станем делать вскрытие, я осчастливорю кого-нибудь. Затем, обращаясь к одному из студентов, Гриффон сказал:

– Дорогой Дюнуайе, вы давно ждете объекта, вы записаны первым, вот вам труп!

– Ах, сударь, как вы добры!

– Я желал бы почаще вознаграждать ваше усердие, любезный друг. Но отметьте этот труп, станьте его владельцем... Не то найдется много молодцов, падких на добычу.

И доктор направился к следующему больному.

Студент при помощи скальпеля деликатно отметил буквы Ф и Д (Франсуа Дюнуайе) на руке умершей актрисы,⁵⁷ чтобы стать владельцем трупа, как выразился доктор.

Обход продолжался.

– Аннета, – тихо спросила Жанна Дюпор свою соседку, – кто такие эти люди, что следуют

⁵⁷ Мы, как никто, убеждены в знаниях и гуманности старательной и посвященной молодежи, которая посвящает себя изучению искусства врачевания. Мы желали бы только, чтобы некоторые из их учителей чаще приводили бы примеры такта, сочувствия, милосердного внимания, которое может оказать спасительное влияние на настроение больных.

за доктором?

– Это студенты.

– О боже! И все они будут присутствовать, когда доктор будет расспрашивать меня и осматривать?

– К сожалению, да!

– Но у меня болит грудь... Меня будут осматривать при этих мужчинах?

– Да, конечно, это необходимо, они так хотят. Я горько плакала при первом осмотре, стогая от стыда. Я сопротивлялась, мне пригрозили, что выпишут из больницы. Пришлось согласиться. Но это меня так потрясло, что болезнь резко ухудшилась. Судите сами, почти голая перед массой людей – крайне неприятно, не правда ли?

– Перед одним врачом, если необходимо, я понимаю, хотя тоже стыдно. Но почему же перед всеми?

– Они учатся, их обучают на нас... Что вы хотите? Мы для того и существуем... На этих условиях нас и приняли.

– Понимаю, – с горечью проговорила Жанна, – даром нам ничего не дают. Однако иногда можно этого избежать. Ведь если моя несчастная Катрин попадет в больницу, ее тоже пожелают осматривать в присутствии молодых людей... Нет, я за то, чтобы она умерла дома.

– Если она попадет сюда, ей придется исполнять все то, что делают другие, как вы и я; но тихо, – сказала Аннета, – соседка может нас услышать. Когда-то она была довольно состоятельной, жила со своей матерью. Вы представляете, как она будет смущена и несчастна, когда к ней подойдут врачи.

– Верно, господа, я дрожу при одной этой мысли. Бедное дитя!

– Тихо, Жанна! Доктор идет, – сказала Аннета.

Глава VIII МАДЕМУАЗЕЛЬ ДЕ ФЕРМОН

Поспешно осмотрев нескольких больных, не вызывавших его интереса, доктор Гриффон наконец подошел к Жанне Дюпор.

При виде этих людей, жаждущих все постигнуть и всему научиться, несчастная женщина, дрожа от страха и стыда, плотно закуталась в свое одеяло.

Строгое задумчивое лицо Гриффона, его пронизательный взгляд, его нахмуренные брови постоянно размышляющего человека, резкая, нетерпеливая и краткая речь еще более усилили ужас в душе Жанны.

– Новая пациентка, – произнес доктор, прочитав на дощечке запись больной.

Затем он бросил на Жанну испытующий взгляд.

Наступила глубокая тишина, в течение которой ассистенты, подражая метру, с любопытством взирали на больную.

Для того чтобы избежать мучительного волнения, вызванного присутствием студентов, Жанна с тревогой смотрела на врача.

После внимательного осмотра больной доктор, заметив желтоватый цвет глазного белка, показавшийся ему ненормальным, подошел ближе к пациентке и, пальцем приподняв веко, молча взглянул на глаз.

Несколько учеников, заметив нечто вроде немого приглашения профессора, стали поочередно осматривать глаз Жанны.

Затем доктор стал задавать вопросы:

– Ваше имя?

– Жанна Дюпор, – прошептала больная, все больше пугаясь.

– Возраст?

– Тридцать шесть лет с половиной.

– Громче. Где вы родились?

– В Париже.

- Ваше занятие?
- Швея-бахромщица.
- Вы замужем?
- Увы, да, мосье, – ответила Жанна, глубоко вздыхая.
- Сколько лет замужем?
- Восемнадцать лет.
- Дети есть?

Вместо ответа бедная мать, до того отвечавшая сдержанно, залилась слезами.

– Плакать не следует. Надо отвечать. Дети есть?

– Да, доктор, два мальчика и дочь шестнадцати лет. Последовал ряд вопросов, которые невозможно повторить

и на которые Жанна отвечала смущаясь, после суровых внушений доктора; несчастная женщина умирала от стыда, вынужденная громко говорить о таких вещах перед обширной аудиторией.

Доктор, всецело увлеченный наукой, не обращал ни малейшего внимания на глубокое смущение Жанны и продолжал опрос:

- Когда вы заболели?
- Четыре дня назад, – сказала Жанна, вытирая слезы.
- Расскажите нам, как возникла ваша болезнь?
- Сударь... дело в том... здесь столько людей... Я не смею...

– Ну вот еще, откуда вы явились, моя милая? – нетерпеливо произнес врач. – Вам, быть может, хочется, чтобы я устроил здесь исповедальню!.. Ну говорите... побыстрее...

– Господи, но ведь это семейные дела...

– Не волнуйтесь, мы здесь тоже в своей семье... и в многочисленной семье, вот видите, – заметил светило науки, который в этот день был в веселом настроении. – Я жду, не задерживайте нас.

Все более и более смущаясь, запинаясь на каждом слове, Жанна продолжала:

– Я, сударь... поссорилась с мужем... по поводу моих детей... я хочу сказать, из-за моей старшей дочери... Он захотел ее увести... Я, вы понимаете, я не хотела отпускать дочь, потому что он живет с одной мерзкой женщиной, она может подать дурной пример моей дочери. Тогда мой муж, он был пьян... если бы не это... он бы не стал так поступать... Мой муж очень сильно меня толкнул... Я упала, а потом, некоторое время спустя, стала харкать кровью.

– Ну, так мы вам и поверили. Ваш муж толкнул вас, и вы упали... Не пытайтесь нас провести... Он не только толкнул вас... Он, должно быть, здорово ударил вас в живот, и не раз... Может быть, ногами топтал... Ну, отвечайте же! Говорите правду.

– О, сударь, уверяю вас, он был пьян... Иначе он не был бы таким озлобленным.

– Добрый или злой, пьяный либо трезвый, дело не в этом, дорогая моя, я ведь не следователь, я стараюсь узнать, как это произошло. Вас повалили на пол и в бешенстве топтали ногами, не так ли?

– Увы! Это так, – сказала Жанна, заливаясь слезами, – а ведь ему на меня не приходилось жаловаться, я работаю, насколько хватает сил, и я...

– В области брюшины у вас, наверное, боли? Там вы ощущаете жар? – сказал доктор, прерывая Жанну. – Вы плохо себя чувствуете, у вас недомогание, вас тошнит?

– Да, доктор... Я обратилась сюда, когда стало невмоготу, иначе я не покинула бы детей... Я о них очень беспокоюсь, ведь у них, кроме меня, нет никого... И моя Катрин... Она больше всего меня волнует... Если бы вы знали...

– Покажите язык, – сказал доктор, вновь прерывая больную.

Это приказание так удивило Жанну, которой казалось, что она разжалобила доктора, поэтому она изумленно глядела на него.

– Посмотрим же ваш язык, который так хорошо вам служит, – улыбаясь, произнес доктор; затем он нажал на нижнюю челюсть Жанны.

После того как по предложению доктора студенты долго рассматривали и мяли язык паци-

ентки, чтобы определить, насколько он сух и бледен, доктор на минуту задумался. Жанна, преодолев страх, дрожащим голосом заговорила:

– Сударь, я должна вам сказать... Соседи, такие же бедные, как и я, любезно согласились взять на свое попечение двоих моих детей, но только на неделю... Это уже и то много... К тому времени я должна вернуться домой... Вот почему, умоляю вас, ради бога, вылечите меня как можно скорее... или хоть подлечите... чтоб я могла встать и работать, у меня всего лишь неделя... потому что...

– Лицо бледное, полный упадок сил, но пульс достаточно наполненный, резкий и частый, – невозмутимо произнес доктор, указывая на Жанну. – Заметьте, господа. Чувство тяжести, жар в области брюшины: все эти симптомы несомненно указывают на кровоизлияние... быть может, осложненное воспалением печени, вызванным семейным горем, об этом свидетельствует и желтизна глазного яблока. Пациентка получила сильные удары в область желудка и брюшины. Кровавая рвота, несомненно, вызвана разрывом внутренних сосудов... В связи с этим я хочу обратить ваше внимание на одно любопытное явление, очень любопытное: вскрытие трупов умерших от травмы вроде той, которую получила эта пациентка, дает удивительно различные результаты. Часто заболевание, острое и очень тяжелое, уносит больного за несколько дней, и на трупе не обнаруживается никаких следов протекавшей болезни. Иногда же селезенка, печень, поджелудочная железа позволяют видеть более или менее глубокие травмы... Быть может, пациентка, которую мы осматриваем, страдает от подобного рода травмы внутренних органов. Мы попробуем в этом убедиться, и вы сами все поймете, внимательно осмотрев больную.

Вслед за тем доктор Гриффон быстрым движением отбросил одеяло к изножью, и Жанна оказалась почти обнаженной.

Мы не смогли бы описать мучительную борьбу несчастной; она рыдала, умоляла доктора и всех присутствующих оставить ее в покое.

Но после того, как ей пригрозили: «Если вы не подчинитесь установленному порядку, вас выпишут из больницы» – угроза страшная для тех, кому больница служит единственным убежищем, – Жанна подчинилась осмотру, который длился бесконечно долго... так как доктор Гриффон анализировал и объяснял каждый симптом, а наиболее старательные ученики пожелали на практике проверить теоретические соображения доктора, чтобы самим составить представление о физическом состоянии пациентки.

По окончании этой жестокой сцены Жанна была так потрясена, что у нее начался нервный припадок, и доктору Гриффону пришлось прописать ей новое лекарство. Обход продолжался.

Вскоре доктор Гриффон подошел к кровати Клэр де Фермон, которая так же, как и ее мать, стала жертвой жадности Жака Феррана. Еще один страшный пример последствий, вызываемых злоупотреблением доверием, явным преступлением, столь слабо наказуемым законом.

Клэр де Фермон в больничном чепце лежала в постели, положив голову на подушку. Несмотря на терзающую ее болезнь, на ее чистом и нежном лице виднелись следы утонченной красоты.

Всю ночь ее мучили острые боли, а теперь бедная девушка впала в состояние лихорадочной дремоты, и когда доктор со своей ученой свитой вошел в палату, она, несмотря на шум, не проснулась.

– Вот новая пациентка, господа, – сказал жрец науки, быстро прочитав карточку, поданную ему учеником. – Болезнь ее – затяжная нервная лихорадка... Черт возьми, – с глубоким удовлетворением воскликнул доктор, – если дежурный врач не ошибся в диагнозе, то это великолепно, я очень давно хочу получить больного затяжной лихорадкой... потому что среди бедных эта болезнь редко встречается. Нервные заболевания обычно возникают вследствие сильных потрясений в социальной жизни пациента, и чем выше положение субъекта, тем глубже это потрясение. К тому же это заболевание отличается особым характером. Оно было известно уже во времена античности, труды Гиппократов не оставляют на этот счет никаких сомнений; все дело в том, что эта лихорадка, как я уже сказал, бывает вызвана самым глубоким горем. Ну а горе старо как мир. Однако странная вещь, до восемнадцатого века эта болезнь не была точно описана ни одним ученым, и только Гюксем, который в разных областях делает честь медицинской науке той

эпохи, именно он, как я сказал, первый создал монографическое исследование по нервной лихорадке, труд, ставший классическим... и, однако, эта болезнь древнего происхождения, – смеясь, добавил доктор. – Так вот... она принадлежит к обширному роду болезней, известных под общим названием *ferbis* (лихорадка), и ее происхождение уходит в глубину веков. Но не будем слишком радоваться, посмотрим, в действительности ли счастливый случай представил нам образец удивительного недуга. Это вдвойне желательно, так как я уже очень давно хотел рекомендовать фосфор для внутреннего употребления... Да, господа, – продолжал доктор, услышав в аудитории возгласы удивления, – да, господа, фосфор. Я хочу испытать этот очень любопытный эксперимент; он очень смелый, но *audaus fortuna jurat...*⁵⁸ а случай здесь представляется великолепный. Вначале посмотрим, появится ли на больной и главным образом на ее груди сыпь, столь симптоматичная, по словам Гюксхема, и вы сами, пальпируя пациентку, убедитесь, какие шероховатости тела эта сыпь вызывает. Но не будем делить шкуру неубитого медведя, – добавил жрец науки, взяв явно шуточный тон.

И он слегка потряс де Фермон, чтобы разбудить ее.

Девушка вздрогнула и открыла большие, запавшие от болезни глаза.

Можно представить себе ее изумление и ужас...

В то время как мужчины окружали ее кровать, не спуская с нее глаз, она почувствовала, что доктор срывает с нее одеяло и хватается в постели ее руку, чтобы пощупать пульс.

Девушка в ужасе, собрав все силы, закричала:

– Мама!.. На помощь!.. Мама!..

По воле провидения в тот момент, услышав крик, старый граф вскочил с кресла, так как он сразу узнал голос Клэр. Дверь палаты отворилась, и молодая дама в трауре стремительно вошла в зал в сопровождении директора больницы. Это была маркиза д'Арвиль.

– Умоляю вас, – в страшной тревоге обратилась она к директору, – проведите меня к мадемуазель де Фермон.

– Прошу вас следовать за мной, госпожа маркиза, – почтительно ответил директор. – Она занимает семнадцатую кровать в этой палате.

– Несчастное дитя здесь... – сказала г-жа д'Арвиль, вытирая слезы. – Ах, это ужасно!

Маркиза, следуя за директором, быстро приближалась к группе студентов, окружавших кровать Клэр, когда послышались слова возмущения. – Я говорю вам, что это гнусное убийство, доктор, вы ее убьете.

– Мой милый Сен-Реми, выслушайте же меня...

– Повторяю, что ваше поведение чудовищно. Я считаю Клэр де Фермон своей дочерью. Запрещаю вам приближаться к ней. Я сейчас же увезу ее из больницы.

– Но, дорогой друг, это исключительный случай нервной лихорадки... Я хотел попытаться применить фосфор... Единственная возможность... Позвольте, по крайней мере, мне лечить ее там, куда бы вы ее ни поместили, раз уж вы лишаете мою клинику столь важного для нас пациента.

– Если бы вы не были сумасшедшим... я бы счел вас чудовищем, – ответил граф де Сен-Реми.

Клеманс слушала эти слова с возрастающим страхом; но кровать была так плотно окружена студентами, что директору пришлось громко сказать:

– Господа, прошу предоставить место маркизе д'Арвиль.

При этих словах студенты поспешно расступились, с восхищением глядя на Клеманс, прелестное лицо которой стало румяным от волнения.

– Маркиза д'Арвиль! – воскликнул граф де Сен-Реми, резко отстраняя доктора и бросаясь к Клеманс. – Ах, это господь послал сюда своих ангелов. Маркиза, я знал, что вы заинтересовались судьбою двух несчастных. Вы были удачливее меня, вы их обнаружили, в то время как я по воле случая очутился здесь... чтобы присутствовать при сцене неслыханного варварства. Бедное

⁵⁸ Смелость города берет (*лат.*).

дителя! Посмотрите... посмотрите. И вы, господа, во имя ваших дочерей или сестер проявите жалость к молодой девушке, умоляю вас... Оставьте ее наедине с маркизой и добрыми монахинями. Когда она придет в себя... я велю увезти ее отсюда.

– Хорошо... я разрешу выписать ее, – заявил доктор, – но я последую за ней... Я от вас не отстану. Эта пациентка принадлежит мне... и, что бы вы ни предприняли... я буду ее лечить... Конечно, я не рискну испробовать фосфор, но, если потребуются, я буду проводить ночи возле нее... так же, как я проводил их возле вас, неблагодарный Сен-Реми... потому что эта лихорадка – столь же редкостный случай, как была ваша болезнь. У вас родственные натуры, и я имею право их изучать.

– Удивительный вы человек, откуда у вас столько знаний? – произнес граф, отлично сознавая, что он не сможет поручить лечение Клэр более искусному врачу.

– О бог мой, очень просто! – ответил доктор на ухо графу. – Я обладаю знаниями потому, что изучаю, произвожу опыты, часто рискую, подвергая лечению больных... Говорю серьезно. Итак, дадите ли вы мне лечить больную лихорадкой, ворчун вы эдакий?

– Да, но можно ли ее трогать с места?

– Конечно.

– Тогда... ради бога... удалитесь.

– Пойдемте, господа, – произнес жрец науки, – наша клиника лишится драгоценного объекта... но я вас буду держать в курсе дела. И доктор Гриффон в сопровождении слушателей продолжал обход, оставив Сен-Реми и г-жу д'Арвиль подле мадемуазель де Фермон.

Глава IX ЛИЛИЯ-МАРИЯ

Пока разыгрывалась сцена, о которой мы только что рассказали, лишившаяся чувств Клэр осталась на попечении взволнованной Клеманс и двух сестер; одна из них поддерживала голову девушки, а г-жа д'Арвиль вытирала платком холодный пот с ее лба.

Глубоко взволнованный граф де Сен-Реми наблюдал эту трогательную картину, как вдруг у него возникла мрачная мысль; он подошел к Клеманс и тихо спросил:

– Маркиза, а где мать этой несчастной?

Маркиза повернулась к графу де Сен-Реми и с глубокой печалью ответила:

– У девочки... нет больше матери... Только вчера вечером, возвратившись в город, я узнала адрес госпожи де Фермон... и услышала о ее безнадежном состоянии. В час ночи я была уже у нее со своим врачом... Ах, сударь! Какая картина!.. Какая ужасная нищета!.. И никакой надежды спасти эту умирающую мать!

– О, какой тяжкой, вероятно, была ее агония, если она думала о своей дочери.

– Ее последние слова были: «Моя дочь!»

– Какая смерть... Боже мой... Такая преданная, такая нежная мать. Ужасно!

Одна из сестер милосердия прервала беседу де Сен-Реми и д'Арвиль:

– Мадемуазель очень слаба... Она в полузабытьи, быть может, скоро придет в себя... Потрясение надломило ее. Если вы, маркиза, решитесь остаться здесь... пока больная окончательно не придет в себя, я могу предложить вам свой стул.

– Благодарю, благодарю, – сказала Клеманс, усаживаясь подле кровати. – Я не оставлю мадемуазель де Фермон. Я хочу, чтобы она, по крайней мере, увидела дружеское лицо, когда откроет глаза... Затем я увезу ее с собой, поскольку врач, к счастью, находит, что ее можно перевезти, не опасаясь за ее здоровье.

– Ах, маркиза, будьте благословенны за доброе дело, – сказал де Сен-Реми. – Но простите меня, что я еще не представился вам; столько горя... столько волнений. Я граф де Сен-Реми, муж госпожи де Фермон был моим лучшим другом. Я жил в Анжере... уехал из этого города, беспокоясь, что не имел никаких известий об этих благородных и достойных дамах. До тех пор они проживали в нашем городе, но распространилась молва, что они совершенно разорились. Положение их было тем более плачевным, что они всегда жили в достатке.

– Сударь... вы не знаете всего. Госпожа де Фермон была ограблена самым бессовестным образом.

– Быть может, своим нотариусом? Одно время я подозревал его.

– Человек этот – чудовище. Он совершил, увы, не одно преступление. Но, к счастью, – произнесла Клеманс, думая о Родольфе, – гений, посланный провидением, утвердил справедливость. Я смогла закрыть глаза госпоже де Фермон, успокоив ее насчет будущего ее дочери. Поэтому последние мгновения она не так терзалась.

– Она поняла, что у дочери будет поддержка в вашем лице, и бедная женщина, должно быть, умерла, не тревожась.

– Я не только всегда буду живо интересоваться мадемуазель де Фермон... но ее состояние будет ей возвращено.

– Ее состояние!.. Каким образом?.. Нотариус?..

– Его заставили возратить сумму... присвоенную им посредством ужасного преступления.

– Преступления?..

– Этот человек убил брата госпожи де Фермон и распустил слух, что несчастный покончил жизнь самоубийством, промотав состояние сестры...

– Это ужасно!.. Даже трудно поверить... Однако я всегда подозревал нотариуса, и у меня были смутные сомнения насчет самоубийства... Ведь Ренвиль был воплощением чести и верности. А где же деньги, которые нотариус возвратил?

– Они вручены почтенному кюре церкви Благовещения и будут переданы мадемуазель де Фермон.

– Маркиза, человеческому правосудию недостаточно возврата денег!.. Нотариуса ждет эшафот... потому что он совершил не одно убийство, а два... Смерть госпожи де Фермон, страдания, которые переносит ее дочь на больничной койке, – все это на совести негодяя, злоупотребившего доверием честных людей.

– Он совершил еще другое убийство, столь же ужасное, коварно подготовленное.

– Что вы говорите?

– Отделавшись от брата госпожи де Фермон и выдав это за самоубийство, чтобы безнаказанно действовать, он несколько дней назад расправился с одной несчастной девушкой, в смерти которой заинтересован, заставил утопить ее... уверенный, что ее гибель припишут несчастному случаю.

Де Сен-Реми вздрогнул; он с удивлением смотрел на маркизу, думая о Лилии-Марии, затем воскликнул:

– Боже мой, какое странное совпадение!..

– О чем вы говорите?

– Об этой девушке!.. Где он хотел ее утопить?

– В Сене... близ Аньера, как мне говорили...

– Это она, она! – воскликнул де Сен-Реми.

– О ком вы говорите?

– О девушке, которую хотело погубить это чудовище...

– Лилия-Мария!!!

– Вы с ней знакомы?

– Бедное дитя... Я нежно ее любила... Ах, если бы вы знали, как она была хороша, как трогательна... Но какое отношение вы к ней имели?

– Доктор Гриффон и я, мы оказали ей первую помощь...

– Первую помощь? Ей?.. А где это происходило?

– На острове Черпальщика... когда ее спасли...

– Спасена? Лилия-Мария... спасена?

– Одна храбрая женщина, рискуя жизнью, вытащила ее из Сены... Но что с вами?

– Ах, граф, я все еще не смею верить такому счастью... боюсь, что это ошибка... Умоляю вас, расскажите мне о ней... Как она выглядит?

– Восхитительной красоты... лицо ангела...

– Большие голубые глаза... белокурые волосы?

– Да...

– А когда ее хотели утопить?.. Она была с какой-то пожилой женщиной?..

– Она так ослабла, что только вчера смогла говорить, и рассказала нам, как все произошло... Действительно, ее сопровождала пожилая особа.

– Слава богу! – воскликнула Клеманс, пылко всплеснув руками. – Я могу сообщить ему, что та, которой он покровительствует, жива.⁵⁹ Какая радость для него, он в последнем своем письме сообщал мне об этой бедной девушке с таким глубоким огорчением!.. Простите меня, граф! Но если бы вы знали, какое счастье мне приносят ваши слова... Счастлива буду не только я, но еще один человек... который больше меня сострадал и покровительствовал Лилии-Марии! Но окажите милость, скажите, где она сейчас?

– Близ Аньера... в доме одного из врачей больницы... доктора Гриффона. Несмотря на некоторые странности, огорчающие меня, он выдающийся врач. Именно к нему была доставлена Лилия-Мария, и с тех пор он усердно занимается ее лечением.

– Она теперь вне всякой опасности?

– Да, вот уже два-три дня. Сегодня ей разрешат написать ее покровителям.

– Нет, это я, граф, я позабочусь о том, чтобы известить ее друзей... я даже с радостью отвезу ее к тем людям, которые уверены, что она погибла, и горько оплакивают ее.

– Я понимаю их скорбь, сударыня, ибо, зная Лилию-Марию, невозможно оставаться равнодушным к этому ангельскому существу, а ее грация и нежность всецело побеждают каждого, кто приближается к ней... Женщина, которая ее спасла, и теперь день и ночь проводит у ее постели, так же, как она бодрствовала бы возле своего ребенка. Эта особа мужественная и преданная женщина, но такого крутого нрава, что ее прозвали Волчицей... Подумайте... Так вот, каждое слово, сказанное Лилией-Марией, ее волнует... Я видел, как она рыдала, кричала в отчаянии, когда во время тяжелого приступа доктор Гриффон чуть ли не терял надежду спасти жизнь Лилии-Марии.

– Это меня не удивляет... я знаю Волчицу.⁶⁰

– Вы, маркиза? – изумленно заметил граф де Сен-Реми. – Вы знаете Волчицу?

– В самом деле, вы удивляетесь, – сказала маркиза, нежно улыбаясь. Клеманс была счастлива... по-настоящему счастлива... при мысли о том, как будет приятно поражен принц, когда она все ему расскажет.

Каково бы было ее упоение, если бы она знала, что приведет к Родольфу его дочь, которую он считал погибшей...

– Ах, граф, – обратилась она к де Сен-Реми, – сегодня такой чудный день... для меня... Я желала бы, чтобы он был столь же прекрасным для других. Мне кажется, что здесь должно быть много честных неимущих семей, нуждающихся в облегчении их участи, и было бы справедливо достойным образом отметить ту восхитительную новость, которую вы мне сообщили. – Затем, обратившись к сестре, которая только что дала де Фермон несколько ложек бульона, она спросила: – Ну что, сестрица, приходит она в сознание?

– Нет еще, сударыня... она очень слаба. Бедная девушка! Пульс у нее едва прощупывается.

– Я подожду, пока ее можно будет перенести в мою карету... Но скажите мне, сестрица, среди всех этих несчастных больных не знаете ли вы таких, которые больше всего достойны сочувствия и жалости и которым я могла бы помочь, прежде чем уехать из больницы?

⁵⁹ В это время Родольфу уже стало известно, что Певунья — его дочь (он считал ее умершей). Маркиза д'Арвиль, прибывшая только накануне, об этом не знала. За несколько дней до этого открытия принц в письме к ней сообщил о новых злодеяниях нотариуса, а также о том, что тот должен возратить присвоенные им деньги. Благодаря заботам Бадино отыскали адрес г-жи де Фермон, проживавшей в Пивоваренном проезде, и Родольф сразу же известил об этом г-жу д'Арвиль.

⁶⁰ Во время посещения тюрьмы Сен-Лазар маркиза д'Арвиль слышала, как говорила о Волчице надзирательница Арман.

– Ах, сударыня, сам бог вас послал... – сказала монахиня, показывая на кровать сестры Гобера, – вот там лежит очень больная женщина, достойная глубокой жалости. Она попала сюда, когда совсем лишилась сил, и непрерывно страдает, потому что вынуждена была покинуть двух маленьких детей, у которых, кроме нее, нет никого на свете. Только что она сказала доктору, что уйдет отсюда через неделю, даже если не выздоровеет, потому что соседи обещали побереечь ее детей только одну неделю... а после этого они больше не смогут их кормить.

– Проводите меня к ее кровати, прошу вас, сестра, – сказала маркиза д'Арвиль, вставая и следуя за монахиней.

Жанна Дюпор, едва придя в себя после сильного нервного приступа, виновником которого был доктор Гриффон, не заметила, как в палату вошла Клеманс д'Арвиль.

Каково же было ее удивление, когда маркиза, приподняв занавес ее кровати и взглянув на нее с состраданием и нежностью, сказала:

– Добрая мать, не тревожьтесь о ваших детях. Я о них позабочусь. Думайте лишь о том, чтобы скорее поправиться и вернуться к ним.

Жанна Дюпор решила, что это сон.

На этом самом месте, где доктор Гриффон вместе со своими прилежными студентами заставил ее вытерпеть жестокий осмотр, она увидела молодую женщину восхитительной красоты, которая обращалась к ней со словами жалости, утешения, надежды.

Волнение сестры Гобера было столь сильным, что она не смогла произнести ни слова; она только молитвенно сложила руки и с обожанием смотрела на незнакомую благодетельницу.

– Жанна, Жанна! – тихо сказала Аннета. – Отвечайте же этой доброй даме... – Затем Аннета добавила, обращаясь к маркизе: – Сударыня, вы ее спасаете! Она умерла бы от отчаяния, думая о своих детях, которых она уже представляла себе покинутыми. Не правда ли, Жанна?

– Прошу вас, успокойтесь, не тревожьте себя, – продолжала маркиза, сжимая в своих нежных и белых руках горячую руку Жанны Дюпор. – Не волнуйтесь, если хотите, можете выйти из больницы сегодня же, вас будут лечить дома, вы ни в чем не будете нуждаться. Таким образом, вам не придется покидать любимых детей... Если квартира сырая, мрачная или слишком тесная, вам тотчас же найдут более удобную, и вы будете находиться в одной комнате, а дети в другой... Вам предоставят сиделку, которая будет следить и ухаживать за вами... А станете здоровой, если не найдется работы, то я предоставлю вам возможность подождать, пока вы ее подыщите. Отныне я позабочусь о будущем ваших детей!

– Ах, господи! Что я слышу?... Значит, ангелы сходят с небес, как написано в церковных книгах, – произнесла дрожащая, растерянная Жанна Дюпор, едва осмеливаясь взглянуть на свою благодетельницу. – Почему столько доброты для меня? Чем я это заслужила?... Это невозможно!.. Мне покинуть больницу, где я уже столько рыдала, столько страдала! Не расставаться больше с детьми... иметь сиделку!.. Да это ведь словно чудо небесное!

Бедная женщина была права.

Если бы все люди знали, как отрадно и легко, не прибегая к большим затратам, часто творить такие «чудеса»!

– Увы! Для обездоленных, покинутых, всеми отвергнутых, внезапное неожиданное спасение, сопровождаемое доброжелательными словами, трогательной милосердной заботой, разве все это не похоже на чудо?..

Как смела Жанна Дюпор не то что надеяться на счастье, которое ей сулила г-жа д'Арвиль, но хотя бы даже мечтать о нем?

– Это не чудо, дорогая моя, – взволнованно ответила Клеманс. – То, что я делаю для вас, – заметила она, слегка краснея при мысли о Родольфе, – то, что я делаю для вас, вдохновлено великодушным человеком. Он научил меня помогать людям в беде... Его-то и следует благодарить и благословлять...

– Сударыня, я буду благословлять вас и ваших друзей, – сказала Жанна Дюпор, заливаясь слезами. – Простите, что я так плохо говорю, но я никогда не испытывала такой глубокой радости... Это впервые происходит со мною.

– Вот видишь, Жанна, – сказала растроганная Аннета, – среди богатых тоже встречаются

Хохотушки и Певуньи... Правда, возможности у них гораздо больше, но у них такие же добрые сердца.

Маркиза д'Арвиль с изумлением повернулась к прачке, услышав, что она произносит эти имена.

– Вы знаете Певунью и молодую швею Хохотушку? – спросила Клеманс.

– Да, сударыня. Певунья, милый ангелок, в прошлом году сделала для меня то, что делаете вы для Жанны... но, конечно, насколько ей позволяли ее средства. Сударыня! Я с радостью говорю это и буду повторять всем! Певунья вытащила меня из подвала, в котором я на соломе родила ребенка... и добрый ангелок поселил меня и мою девочку в комнате, где была хорошая кровать и колыбель... Певунья потратила свои деньги только из милосердия, ведь она меня почти не знала и сама жила в бедности... Это прекрасно, не так ли? – восторженно произнесла Аннета.

– О да... Милосердие бедняка к бедняку – великое и святое дело, – молвила Клеманс с влажными от радостных слез глазами.

– То же самое было и с мадемуазель Хохотушкой. Она, несмотря на свой скудный заработок швеи, несколько дней тому назад оказала услугу Жанне.

– Какое странное совпадение!.. – размышляла Клеманс, все больше волнуясь, так как каждое из этих двух имен – Певунья и Хохотушка, напоминали ей добрые дела Родольфа. – А вы, дитя мое, что я могу сделать для вас? – обратилась она к Аннете. – Я желала бы, чтобы эти имена, которые вы только что произнесли с такой благодарностью, принесли бы вам счастье.

– Спасибо, – сказала Аннета с грустной улыбкой, запечатлевшей ее покорность судьбе, – у меня был ребенок... Он умер. Я больна чахоткой, обречена, мне уже ничего не надо.

– Зачем такие мрачные мысли! В вашем возрасте... вы молоды, всегда есть надежда!

– О нет, сударыня. Я знаю свою судьбу... Я не жалею! Еще сегодня ночью я видела, как в палате умирала больная чахоткой... Я умираю спокойно, не тревожьтесь за меня! А вас благодарю за доброту.

– Вы преувеличиваете, состояние вашего здоровья не так плохо!..

– Я не обманываюсь, я это чувствую, но раз вы столь добры... Такая дама, как вы, все может...

– Продолжайте... говорите, что вы хотите?

– Я просила Жанну об одной услуге, но благодаря богу и вам ее здесь не будет...

– Может быть, я смогу оказать вам эту услугу?

– Конечно, сударыня. Вам стоит только сказать одно слово сестрам либо доктору, и все устроится.

– Я скажу все, что надо, будьте спокойны... В чем дело?

– После того как я увидела актрису, которая умерла, боясь, что после смерти ее труп будет разрезан на части, я так же боюсь... Жанна обещала забрать мое тело и похоронить...

– Ах, это страшно! – воскликнула Клеманс, дрожа от ужаса. – Надо было прийти сюда, чтобы узнать, что бедняков даже за гробом преследуют горести и кошмары.

– Простите меня, – робко сказала Аннета, – это просьба огорчительна для такой благородной, богатой и счастливой дамы, как вы... мне не следовало просить вас об этом!

– Напротив, я вам благодарна, дитя мое. Теперь я узнала о неведомых мне страданиях, и этот урок не останется бесплодным... Будьте спокойны, хотя роковой момент наступит еще не скоро, но если это случится, будьте уверены, вы будете покоиться в святой земле!

– О, как я вам благодарна, – воскликнула Аннета, – если бы я посмела просить разрешения поцеловать вашу руку...

Клеманс поднесла свою руку к иссушенным губам Аннеты.

– Благодарю, сударыня. Теперь мне есть кого любить и благословлять до конца моей жизни... Также Певунью... Не буду горевать о том, что произойдет со мной после смерти!

Такое полное отрешение от жизни, страх посмертной судьбы произвели тяжелое впечатление на маркизу; наклонившись к уху сестры, пришедшей сообщить, что Клэр де Фермон пришла в себя, она спросила, указав на кровать Аннеты:

- Состояние здоровья этой молодой женщины действительно безнадежно?
- Увы, да, Аннета обречена... Быть может, проживет неделю!

.....

Полчаса спустя госпожа д'Арвиль в сопровождении графа де Сен-Реми увезла к себе молодую сиротку, скрыв от нее смерть матери.

В тот же день доверенный маркизы д'Арвиль, посетив убогое жилище Жанны Дюпор на улице Барийери и получив положительные отзывы об этой достойной уважения женщине, сразу же снял на набережной Эколь две большие, хорошо проветриваемые спальни и комнату, за два часа обставил мебелью эту скромную, но чистую квартиру и, воспользовавшись услугами агентства Тампль, в тот же вечер перевез туда Жанну Дюпор, где она встретила своих детей и опытную сиделку.

Этому же доверенному лицу было поручено востребовать тело Аннеты после ее смерти и совершить погребение.

Сопроводив и устроив в своем доме мадемуазель де Фермон, госпожа д'Арвиль и граф де Сен-Реми отправились в Аньер, с тем чтобы забрать Лилию-Марию и отвезти ее к Родольфу.

Глава X НАДЕЖДА

Наступали первые дни весны, солнце светило ярче, небо было чистое, воздух теплый... Лилия-Мария, опираясь на руку Волчицы, испытывала свои силы, гуляя по саду небольшого дома доктора Гриффона.

Живительная теплота солнца и прогулка окрасили бледное и осунувшееся лицо девушки ярким румянцем; так как ее крестьянский наряд был порван, когда ей второпях оказывали первую помощь, то на ней теперь было темно-синее шерстяное платье прямого фасона, с шерстяным шнуром вокруг ее стройной и тонкой талии.

– Какое нежное солнце! – сказала она Волчице, остановившись у зеленых деревьев, окружавших с северной стороны каменную скамью. – Посидим немного здесь, Волчица?

– Разве вы должны меня спрашивать? – бойко ответила жена Марсиаля, пожимая плечами. Сняв с себя шелковую шаль, сложив в четыре раза, она постелила ее наземь и сказала: – Поставьте сюда ноги.

– Что вы, Волчица, – ответила Мария, слишком поздно заметившая намерение своей компаньонки, чтобы помешать ей, – мой друг, вы испортите шаль.

– Не спорьте!.. Земля сырая! – сказала Волчица и властным движением подложила шаль под маленькие ножки Марии.

– Как вы меня балуете.

– Вы этого не заслужили: не слушаете меня, а я хочу услужить вам... Не устали? Мы здесь долго бродим... В Аньере часы проббили полдень.

– Немного устала... но чувствую, что прогулка пошла на пользу.

– Вот видите... вы утомились. Разве не могли раньше сказать, что надо отдохнуть?

– Не браните меня, я даже не заметила, что утомлена. Так приятно ходить после того, как долго находишься в постели... видеть солнце, деревья, поля, а я думала, что больше уже никогда ничего подобного не увижу!

– Дело в том, что вы были двое суток в безнадежном состоянии. Бедная Мария, теперь вам можно сказать... не было надежды спасти вас.

– А потом, представьте себе, Волчица, когда я оказалась в реке... невольно вспомнила, что злая женщина, которая мучила меня в детстве, всегда угрожала, что бросит меня рыбам. Да и позже она тоже намеревалась меня утопить.⁶¹ Мне казалось, что это судьба, мне не удастся спа-

⁶¹ В одном из затопленных подвалов Красноукокого на Елисейских полях.

стись.

– Бедная... В последний момент вам пришло на ум, что вы тонете?

– О нет! – произнесла Мария. – Когда я поняла, что тону... моя последняя мысль была обращена к тому, кого я считаю своим божеством; поняв, что я спасена, я также подумала о нем...

– Приятно делать вам добро... вы всегда это помните.

– Конечно! Отрадно погружаться в сон и просыпаться с чувством благодарности добрым людям.

– Потому-то все готовы пойти за вас в огонь и воду.

– Добрая Волчица... Послушайте, я радуюсь жизни в надежде осчастливить вас, исполнить мое обещание... вы помните, как мы строили воздушные замки в тюрьме Сен-Лазар?

– Для этого еще будет время. Вы теперь встали на ноги, и «я приложила руку»... как говорит мой муж.

– Я надеюсь, что граф де Сен-Реми известит меня, как только врач разрешит мне написать письмо госпоже Жорж! Она, должно быть, волнуется, быть может, и господин Родольф, – смущенно сказала Мария, вспоминая своего кумира. – Они ведь думают, что я погибла!

– Так же, как те, которые вас топили, бедная малютка. О, разбойники!

– Вы все-таки думаете, что это произошло не случайно?

– Случайно! Да, Марсиали называют такое... несчастным случаем. Когда я говорю о Марсиалях... то не имею в виду мужа... потому что он не из их породы, не похож на них так же, как никогда не будут похожи на них Франсуа и Амандина.

– Зачем они стремились погубить меня? Я никогда никому не делала ничего плохого... ни с кем не встречалась.

– Все равно... если Марсиали отъявленные преступники, они способны утопить любого; но они не настолько глупы, чтобы сделать это без выгоды для себя. Вдова сама призналась в тюрьме моему мужу... я в этом уверена.

– И он навещал свою мать, эту страшную женщину?

– Да. Ее не помилуют, так же как Николая и Тыкву. Раскрыто много преступлений, а подлец Николай, в надежде спасти свою шкуру, выдал мать и сестру, рассказав об убийстве. Так что их всех казнят. Адвокат ни на что не надеется. Судьи говорят, чтоб другим не было повадно, нужно примерно наказать.

– Какой ужас! Почти всю семью!

– Да, если только Николай не сбежит. Он в той же тюрьме, где находится лютый бандит Скелет, который замышляет совершить побег с другими арестантами. Николай просил одного освобожденного известить об этом моего мужа, но муж был болен и не смог тогда повидать брата в тюрьме. Но когда он пришел туда, то Николай имел наглость передать моему мужу, что с минуты на минуту может сбежать и чтобы Марсиаль держал на этот случай у дядюшки Мику деньги и одежду, в которую он переоденется, чтобы его не узнали.

– Ваш Марсиаль такой добрый человек!

– Добрый он или нет, судите сами, но пусть дьявол заберет меня, если я позволю мужу помогать бандиту, который хотел его убить. Марсиаль не продает арестантов, готовых к побегу, и этого хватит... Впрочем, теперь, когда вы здоровы, милая Певунья, мы совершим путешествие по Франции. Я, мой муж, дети – ноги нашей не будет в Париже; для Марсиаля и так было тяжело слышать, как его называют сыном убийцы. Что же будет, когда казнят его мать, брата и сестру?

– Подождите до тех пор, пока я не поговорю о вас с господином Родольфом, если мне удастся его увидеть. Вы совершили доброе дело, я благодарна вам и хочу что-либо сделать для вас. Иначе мне будет неприятно. Вы спасли мне жизнь... во время болезни заботливо ухаживали за мной.

– Это справедливо! Но я бы оказалась корыстной, если б разрешила вам просить за меня у ваших покровителей. Вы спасены... повторяю, что я сделала все возможное для вас.

– Милая Волчица, успокойтесь... дело не в корысти, я лично желаю отблагодарить вас.

– Послушайте, – вдруг молвила Волчица, – слышен шум кареты. Да, да... приближается, вот она! Вы заметили, как карета проехала мимо забора? В ней сидит женщина.

– О боже, – с волнением сказала Мария, – мне кажется, я ее знаю...

– Кто же это?

– Молодая прелестная дама, которую я встретила в тюрьме Сен-Лазар; она была очень добра ко мне.

– Разве она знает, что вы здесь?

– Не могу сказать, но она знает того человека, о котором я вам говорила, и он, если она захочет, а она, я надеюсь, захочет, осуществит, наши мечты о воздушных замках, которые занимали наше воображение в тюрьме.

– Место лесника для моего мужа, избушку в лесу для нас, – вздыхая, произнесла Волчица. – Да ведь это чудо... слишком прекрасно, этого не будет.

Раздался шум шагов за деревьями; Франсуа и Амандина, благодаря стараниям графа де Сен-Реми не покинувшие Волчицу, прибежали и, запыхавшись, сообщили:

– Волчица, здесь знатная дама с графом де Сен-Реми, они хотят видеть Лилию-Марию.

– Я не ошиблась!

Почти в тот же момент появился Сен-Реми в сопровождении маркизы д'Арвиль.

Едва увидев Марию, маркиза подбежала к ней и, крепко обняв, сказала:

– Бедная, дорогая девочка... вы здесь... Ах! Спасена... Чудом спасена от жуткой смерти... С какой радостью я вновь вижу вас... Я, как и ваши друзья, считала вас мертвой... Мы так горевали!

– Я также очень счастлива видеть вас, я никогда не забывала вашей доброты ко мне, – с прелестной грацией и скромностью ответила Мария на нежные излияния маркизы.

– Ах, вы не представляете себе, как будут поражены, как безумно обрадуются ваши друзья, они горько вас оплакивали...

Мария взяла за руку отошедшую в сторону Волчицу и представила ее госпоже д'Арвиль:

– Раз мои благодетели рады тому, что я спасена, позвольте мне просить вас поблагодарить мою спутницу. Она, рискуя жизнью, спасла меня...

– Не волнуйтесь, дитя мое..... ваши друзья, узнав, кому они обязаны счастьем видеть вас, не обидят Волчицу.

Волчица покраснела, смутилась, боялась вымолвить слово маркизе д'Арвиль, – так поразило ее присутствие этой важной дамы; но она не смогла утаить своего изумления, слыша, что Клеманс произносит ее имя.

– Нельзя терять ни минуты, – продолжала маркиза. – Я хотела бы возможно скорее увезти вас, Мария; у меня в карете теплое пальто, шаль, идемте, дитя мое... – Затем она обратилась к графу: – Будьте любезны, сообщите мой адрес этой смелой женщине, с тем чтобы она завтра смогла попрощаться с Лилией-Марией. Вам придется навестить нас, – обратилась маркиза к Волчице.

– О, конечно же я приду, – ответила Волчица, – нужно же попрощаться с Певуньей. Я бы очень горевала, если б не могла обнять ее в последний раз.

.....

Несколько минут спустя госпожа д'Арвиль и Певунья уже были на пути к Парижу.

.....

После смерти Жака Феррана, столь сурово наказанного за свои преступления, Родольф возвратился домой в невыразимо удрученном состоянии. Проведя мучительную бессонную ночь, он вызвал к себе сэра Мэрфа, чтобы сообщить верному другу потрясающую новость о Лилии-Марии.

Почтенный эсквайр был поражен, он лучше, чем кто-либо другой, мог понять принца и со-

чувствовать ему в его глубоком горе. Родольф, бледный, подавленный, с красными от слез глазами, только что рассказывал Мэрфу об этой страшной истории.

– Мужайтесь, – произнес эсквайр, вытирая слезы, так как, несмотря на свой флегматический характер, он тоже плакал. – Да, мужайтесь... вам нужно воспрянуть духом!.. Напрасны любые утешения... такое горе неизлечимо.

– Ты прав... То, что я ощущал вчера, ничто по сравнению с тем, что я чувствую сегодня...

– Вчера... вы были потрясены этим ударом; но воздействие его будет с каждым днем все мучительнее и мучительнее... Значит, только мужество!.. Будущее печально... очень печально.

– К тому же вчера... презрение и ужас, внушенные мне этой женщиной... но пусть сжалится над ней всевышний!.. Теперь она предстала перед ним. И наконец, вчера же неожиданное открытие, ненависть, отвращение, столько неистовых страстей подавляли во мне порывы нежности и отчаяния, а сегодня я не могу удержаться, послушай, ты видишь... я бессилён, я плачу, прости меня. О мое дитя! Мое бедное дитя!..

– Плачьте, плачьте!.. Увы! Потеря невозвратима.

– А сколько ужасных мучений она должна была забыть, – с болью произнес Родольф, – после того, что она выстрадала... Подумай, какая судьба ее ожидала!

– Быть может, такой контраст был бы слишком резким для несчастной девушки, уже испытавшей столько горя?

– О нет... нет!.. Послушай... если бы ты знал, как осторожно поведал бы я ей о ее происхождении! Как постепенно подготовил бы ее. О, если бы дело шло только об этом, я бы не беспокоился и не был бы в затруднении. Опустившись на колени перед ней, я бы сказал: ты была обижена, будь наконец счастлива, счастлива навсегда... Ты – моя дочь... Нет, это было бы слишком неожиданно... Я спокойно сказал бы ей: дитя мое, должен сообщить вам новость, которая вас очень удивит... представьте себе, что стало известно, кто ваши родители... ваш отец жив... и ваш отец – это я. – Тут принц вновь остановился. – Нет, нет, все еще слишком стремительно... Но это не моя ошибка, я не виноват, слова случайно слетают с моих уст, надо уметь сдерживать себя... ты понимаешь... мой друг, ты понимаешь... Быть подле дочери и сдерживать себя! – Охваченный новым приступом отчаяния, Родольф воскликнул: – Зачем эти бесплодные усилия! Я никогда не смогу ей что-либо сказать. Как это ужасно, ужасно подумать, ты понимаешь? Подумать о том, что дочь была со мной целый день... да, целый день, когда я свез ее на ферму; и тогда передо мною раскрылось все величие ее ангельской природы, святость ее души. Я наблюдал пробуждение чар боготворимой... и ничто не подсказало мне: ведь это твоя дочь... О слепец, варвар, безумец! Я не узнал ее. О, я был отцом, недостойным ее!

– Но...

– Ведь я мог никогда не расставаться с ней! Почему не удочерил ее, я, который так оплакивал свою дочь! Почему, вместо того чтобы отправлять эту несчастную в деревню, я не оставил ее у себя? Теперь я бы мог заключить ее в объятия... Почему я этого не сделал? Потому, что мы легкомысленны! Верим в чудо лишь тогда, когда оно отсняло и навсегда исчезло. Вместо того чтобы сразу же предоставить почетное место в обществе этой восхитительной девушке, ведь она несмотря на одиночество отличалась глубоким умом и благородством. Она бы не смогла стать более совершенным созданием – имея за плечами происхождение и образование... Я же решил, что сделал для нее все, устроив на ферму, к добрым людям... Я столько же мог бы сделать для любой нищей, встретившейся на моем пути... Виноват я... Если бы я не поступил опрометчиво, она была бы жива... Теперь жестоко наказан... Плохой сын... Плохой отец!

Мэрф знал, что эти горести безутешны, он молчал. А Родольф продолжал свою исповедь:

– Я здесь не останусь. Париж для меня нестерпим... Завтра уезжаю...

– Вы правильно поступите.

– Мы совершим объезд. Я остановлюсь на ферме в Букевале... побуду несколько часов в комнате, где моя дочь провела счастливые дни своей одинокой жизни. Там мы бережно соберем то, что осталось от нее... книги, которые она начала читать, тетради, в которых писала, одежду, которую носила, даже мебель и обои, точный рисунок которых я сделаю сам... А в Герольштейне, в парке, где сооружен памятник отцу, которого я оскорбил, я выстрою небольшой дом, где

будет устроена мемориальная комната, там я буду оплакивать свою дочь... Памятник печали напомнит о моем преступлении против отца, комната – о возмездии, ниспосланном мне за смерть ребенка.... Решено, надо все подготовить, завтра утром...

Мэрф, желая развеять печаль принца, сказал:

– Все будет готово; только вы забыли, что завтра в Букевале состоится свадьба сына госпожи Жорж и Хохотушки... Вы не только обеспечили будущее Жермена и одарили богатым приданым его невесту... но вы им обещали присутствовать на свадьбе в роли свидетеля... Там они узнают имя своего благодетеля.

– Действительно, я забыл. Они теперь на ферме, а завтра я не могу поехать туда, пришлось бы присутствовать на празднике... но, признаюсь, у меня не хватит мужества.

– Счастье молодых людей, быть может, утешит вас.

– Нет, нет, горе нелюдимо и эгоистично... Поезжай завтра, извинись, ты будешь там вместо меня, вели госпоже Жорж собрать все вещи, принадлежавшие моей дочери... пусть начертят план комнаты и отправят его мне в Германию.

– Значит, вы уедете, не повидавшись с маркизой д'Арвиль?

При воспоминании о Клеманс Родольф вздрогнул... Искреннее чувство пылкой любви к маркизе никогда не покидало его, но сейчас он был погружен в поток мучительных переживаний, переполнивших его сердце... Испытывая сумбурные чувства, принц знал, что лишь пылкая привязанность госпожи д'Арвиль смогла бы облегчить постигшее его несчастье, и он упрекал себя за эту мысль, парализующую силу отцовского горя.

– Я уеду, не повидав госпожу д'Арвиль, – ответил Родольф. – Несколько дней тому назад я писал ей о том, что скорблю по Лилии-Марии. Когда она узнает, что Мария моя дочь, она поймет, что случилось несчастье, роковое возмездие, которое следует мужественно переносить в одиночестве, для того чтобы искупить вину, и оно ужасно, это искупление, наложенное на меня судьбой, ужасно! Так как все это происходит на закате моей жизни!

Послышался легкий стук в дверь кабинета Родольфа, который привлек внимание Мэрфа.

Мэрф направился к двери.

На пороге адъютант принца шепотом сказал эсквайру несколько слов. Тот ответил кивком головы и обратился к Родольфу:

– Позвольте удалиться на минуту. Кто-то хочет поговорить со мною, дело касается вашего королевского высочества.

– Иди.

Едва лишь Мэрф вышел из кабинета, как Родольф, закрыв лицо руками, горько застонал.

– О, – воскликнул он, – мне невыносимо тяжело. Моя душа полна ненависти; мне тяжело даже переносить, присутствие лучшего друга... воспоминание о возвышенной и чистой любви меня преследует и возмущает, к тому же... это малодушно и недостойно, но вчера я с особой радостью узнал о смерти графини Сары... матери, погубившей мою дочь; с наслаждением вспоминаю мучительную агонию этого чудовища, которое обрекло на смерть мое дитя. Проклятие! Я пришел слишком поздно!.. – воскликнул он, вскакивая с кресла. – Однако вчера мне не было так тяжело, хотя и вчера я знал, что дочь моя умерла... О да, но я не произносил тех слов, которые будут отныне отравлять всю мою жизнь. Я видел мою дочь, разговаривал с ней, восхищался всем тем, что составляло ее очарование. О, сколько времени я мог бы проводить на этой ферме. Когда вспоминаю о том, что посетил ее всего лишь несколько раз... А ведь мог бывать там каждый день... видеть дочь каждый день... Да что я говорю! Мог навсегда поместить ее в своем доме. Отныне буду вечно испытывать муки... Постоянно укорять себя!

Несчастный жестоко страдал, возвращаясь к скорбной мысли и не находя никакого утешения; ведь суть страдания состоит в том, что оно постоянно оживает, и мы беспрерывно обвиняем себя.

Вдруг дверь кабинета отворилась, появился Мэрф. Он был бледен, смущен. Принц спросил:

– Мэрф, что с тобой?

– Ничего...

- Ты очень бледен.
- Я просто поражен.
- Чем?
- Госпожа д'Арвиль...
- Госпожа д'Арвиль... Боже, несчастье!..
- Нет, нет, не волнуйтесь, она в приемной...
- Она здесь... в моем доме, это невозможно!
- Вот почему, монсеньор, я удивлен.
- Так поступить с ее стороны... Но что произошло, скажи ради бога?
- Не знаю... Я сам не могу понять...
- Ты что-то от меня скрываешь?
- Честное слово, монсеньор... честное слово... знаю только то, что мне сказала маркиза.
- Но что она сказала?

– «Сэр Вальтер, – и голос ее был взволнованный, но взгляд сиял радостью, – мое присутствие здесь, должно быть, вас немало удивит. Но бывают такие неотложные обстоятельства, что не думаешь о приличиях света. Соизвольте просить его высочество, чтобы он принял меня на несколько минут в вашем присутствии, потому что мне известно, что вы его лучший друг. Я могла бы просить его оказать мне милость и посетить меня, но тогда прошло бы не меньше часа, а принц, несомненно, будет мне благодарен за то, что я ни на минуту не отложила это свидание...» – добавила она с таким выражением, что я испугался.

– И все же, – произнес Родольф надрывным голосом, – я не понимаю твоего смущения... твоего волнения, здесь что-то другое... свидание...

– Клянусь честью, мне больше ничего не известно. Только эти слова потрясли меня. Почему? Не знаю... Но вы сами очень взволнованы, монсеньор.

– Я? – сказал Родольф, опираясь на свое кресло, чувствуя, что ноги его подкашиваются.

– Говорю вам, монсеньор, что вы так же потрясены, как и я. Что с вами?

– Если я даже и умру от этого удара... проси сюда госпожу д'Арвиль, – воскликнул принц.

В силу удивительного родства душ внезапный визит госпожи д'Арвиль пробудил у Мэрфа и Родольфа одну и ту же смутную и безумную надежду; но надежда эта казалась им столь зыбкой, что ни тот, ни другой не хотели себе в этом признаться. Госпожа д'Арвиль в сопровождении Мэрфа вошла в кабинет принца.

Глава XI ОТЕЦ И ДОЧЬ

Маркиза д'Арвиль, как мы уже упоминали, не подозревала, что Лилия-Мария была дочерью принца: радуясь тому, что приведет Певунью к ее покровителю, она оставила Марию в своей карете, не зная, пожелает ли Родольф встретить девушку и принять ее у себя. Но, увидев глубоко взволнованного Родольфа, мрачное выражение его лица, заметив влажные от слез глаза, Клеманс подумала, что его постигло несчастье, более жестокое, нежели смерть Певуньи; вот почему, забыв о причине своего визита, она воскликнула:

– Боже праведный! Монсеньор, что с вами?

– Разве вы не знаете?.. Ах, потеряна последняя надежда... Ваша настойчивость... разговор со мной, которого вы так решительно требовали... я надеялся...

– О, не будем говорить о том, зачем я сюда пришла, прошу вас... монсеньор, во имя моего отца, которому вы спасли жизнь... я имею полное право спросить, что повергло вас в такое отчаянье... ваше уныние, бледность приводят меня в ужас, будьте великодушны, расскажите, монсеньор, сжальтесь, я глубоко встревожена...

– Зачем? Моя рана неизлечима...

– Такие слова приводят меня в ужас... монсеньор, объясните же... Сэр Вальтер... Боже, в чем дело?

– Ну хорошо... – сказал Родольф тихо, – после того как я известил вас о смерти Лилии-

Марии... я узнал, что она – моя дочь...

– Лилия-Мария?.. Ваша дочь?.. – воскликнула Клеманс с неопишуемым волнением.

– Да, когда вы сообщили, что желаете меня видеть... чтобы передать мне радостную весть, простите мою слабость... но отец, потерявший свою дочь, потрясенный горем... способен на самые безумные надежды. И я вдруг подумал... но нет, нет, теперь я вижу... я ошибся. Простите меня... я всего лишь ничтожный, потерявший разум человек.

Родольф, лишенный надежды, сменившейся полным разочарованием, снова упал в кресло, закрыв лицо руками.

Госпожа д'Арвиль стояла пораженная, едва переводя дыхание; она испытывала то радость, то страх от того, какое потрясающее впечатление может произвести на принца предстоящее сообщение; и, наконец, пылкую благодарность провидению, избравшему ее... да ее... объявить Родольфу, что его дочь жива и что она привезла ее к нему...

Клеманс, терзаемая такими сильными чувствами, не могла произнести ни слова...

Мэрф, разделявший какое-то время надежду принца, был удручен так же, как и Родольф.

Вдруг маркиза, забыв о присутствии Мэрфа и Родольфа, опустилась на колени и, сложив руки, убежденно воскликнула:

– Благодарю тебя, господи... Да будет благословенно имя твое... Да будет воля твоя, благодарю, что ты избрал меня... сообщить Родольфу: его дочь спасена!

Хотя эти слова были произнесены тихим голосом, но с искренностью и глубокой верой, они дошли до слуха Мэрфа и принца.

Родольф стремительно поднял голову в тот момент, когда Клеманс поднялась с колен.

Невозможно передать выражение лица принца, созерцавшего маркизу, восхитительные черты которой, отмеченные небесным озарением, сияли поразительной красотой.

Опершись одной рукой на мраморный столик, а другой пытаясь успокоить биение своего сердца, она кивком головы ответила на обращенный к ней взгляд Родольфа.

– Где же она? – спросил принц, дрожа как осиновый лист.

– Внизу, в моей карете.

Если бы не Мэрф, внезапно преградивший путь Родольфу, то он потеряв голову ринулся бы вниз.

– Вы ее убьете, – воскликнул эсквайр, удерживая принца.

– Она лишь вчера встала после болезни. Во имя ее жизни будьте благоразумны, – добавила Клеманс.

– Вы правы, – едва сдерживаясь, произнес принц, – вы правы, я должен успокоиться, видеть ее сейчас мне не следует, подожду, пока я приду в себя. Да, это уж слишком, слишком, пережить все в один день!

Затем, протянув руку маркизе, он обратился к ней с излиянием сердечной благодарности.

– Я прощен... вы ангел моего искупления.

– Монсеньор, вы спасли моего отца. Богу было угодно, чтобы я возвратила вам вашу дочь, – ответила Клеманс. – Но я в свою очередь прошу простить меня за мою растерянность. Новость меня потрясла. Признаюсь вам, у меня не хватает мужества пойти к Марии, мой вид может ее испугать.

– Кто же ее спас? – воскликнул Родольф. – Видите, какой я неблагодарный, даже не спросил, как это произошло.

– Когда она тонула, ее вытащила из воды смелая женщина.

– Вы ее знаете?

– Завтра она придет ко мне.

– Я премного обязан ей, – сказал принц, – мы сумеем ее отблагодарить.

– Боже, я правильно поступила, оставив Марию в карете, – сказала маркиза, – эта сцена была бы для нее гибельной.

– Несомненно, – ответил Мэрф, – провидению было угодно так поступить.

– Я не знала, пожелает ли принц повидаться с ней, потому-то и решила вначале испросить у него совета.

– Теперь, – заявил принц, придя в себя и успокоив волнение, – уверяю вас, теперь я владею собой. Мэрф, приведите мою дочь.

Слова – *мою дочь* – были произнесены таким тоном, который мы не смогли бы выразить.

– Монсеньор, вы уверены в себе? – спросила Клеманс. – Будьте осторожны.

– О, не тревожьтесь, я знаю, что ей угрожает, и не стану подвергать ее опасности. Мой добрый Мэрф, умоляю тебя, иди, иди же!

– Не волнуйтесь, – сказал эсквайр, внимательно следивший за принцем, – когда она появится, герцог поведет себя как надо.

– Ну иди же, иди скорее, друг мой!

– Да, монсеньор, позвольте побыть еще минуту, у меня не каменное сердце, – произнес эсквайр, вытирая следы слез, – она не должна знать, что я плакал.

– Чудесный человек, – сказал Родольф, пожимая руку Мэрфа.

– Полноте, полноте... Я не хотел проходить через комнаты в слезах, как Магдалина.

Мэрф направился к двери, но вдруг остановился:

– Монсеньор, что я должен сказать ей?

– Да, что он должен сказать? – спросил принц у Клеманс.

– Что господин Родольф хочет ее видеть, я полагаю, больше ничего! Пусть так и скажет.

– Конечно, самое правильное сказать ей эти слова, – продолжал эсквайр, взволнованный так же, как маркиза. – Я просто скажу, что принц Родольф хочет ее видеть. Ей не придется догадываться, что-либо предполагать, так будет правильно.

Мэрф стоял неподвижно.

– Сэр Вальтер, – обратилась к нему Клеманс, улыбаясь, – вы боитесь.

– Верно, маркиза, несмотря на мой высокий рост и полноту, я все еще колеблюсь.

– Друг мой, будь осторожен, – сказал Родольф, – если ты не уверен в себе, не спеши.

– Нет, нет, монсеньор, – сказал эсквайр, вытирая слезы. – Несомненно, в моем возрасте эта слабость кажется смешной. Не бойтесь ничего.

И Мэрф уверенной поступью, с бесстрашным лицом направился к карете.

Наступило молчание.

Клеманс, смущаясь, подумала о том, что она наедине с Родольфом. Принц приблизился к ней и почти робко произнес:

– Я хотел именно сегодня искренне признаться, потому что наступивший день весьма знаменателен. Впервые повстречавшись с вами, я полюбил вас. Я должен был скрывать свое чувство и скрывал его. Вы сегодня возвратили мне дочь, теперь решите, хотите ли вы стать ее матерью?

– Я, монсеньор? – ответила госпожа д'Арвиль. – Что вы говорите?

– Умоляю вас, не отвергайте меня; пусть этот момент станет счастливейшим в моей жизни, – искренне произнес принц.

Клеманс издавна страстно любила Родольфа, ей казалось, что это сон; признание Родольфа, признание, столь простое и трогательное, выраженное при таких обстоятельствах, доставило ей глубокую радость, но, смущаясь, она ответила:

– Монсеньор, я должна вам напомнить о различии званий, об интересах вашего княжества.

– Позвольте мне прежде всего считаться с интересами моего сердца, соблюдать интересы моей дочери, осчастливьте нас, да, осчастливьте ее и меня, сделайте, чтобы я, находившийся в одиночестве, без семьи, смог бы сказать... моя жена, моя дочь; наконец, сделайте так, чтобы и бедное дитя, не имевшее семьи, смогло бы сказать... мой отец, моя мать, моя сестра, ведь у вас есть дочь, она станет и моей дочерью.

– Ах, сеньор, на столь благородные слова можно ответить лишь слезами благодарности, – воскликнула Клеманс.

Затем, сдержавшись, она добавила:

– Монсеньор, сюда идут... ваша дочь!

– О, не отказывайте мне, – взмолился Родольф, – во имя моей любви, скажите... наша дочь.

– Хорошо, пусть будет наша дочь, – прошептала Клеманс в тот момент, когда Мэрф, от-

крыв дверь, ввел Лилию-Марию в кабинет принца.

Девушка, выйдя из кареты маркизы, стоявшей у подъезда огромного особняка, прошла переднюю, полную выездных лакеев в нарядных ливреях, затем зал ожидания, где толпились слуги, миновала комнату, занятую охраной, и, наконец, оказалась в приемной, где находились камердинер и адъютанты принца в парадной форме. Можно представить себе удивление бедной девушки, не знавшей ничего более роскошного, нежели ферма в Букевале, когда она проходила по королевским апартаментам, сверкающим золотом, украшенным зеркалами, картинами.

Как только она появилась, госпожа д'Арвиль подбежала к ней, взяла за руку и, обняв, словно поддерживая, повела к Родольфу, который стоял подле камина не в силах пошевелиться.

Мэрф, поручив Марию госпоже д'Арвиль, поспешил исчезнуть за портьерой огромного окна, чувствуя, что недостаточно уверен в себе.

При виде своего благодетеля, своего спасителя, своего бога... созерцавшего ее в безмолвном экстазе, Лилию-Марию, тоже потрясенную, охватила дрожь.

– Успокойтесь... дитя мое, – сказала ей маркиза, – вот ваш друг... господин Родольф, который ждал вас с нетерпением... Он очень тревожился за вас...

– О да, да... очень... очень... тревожился, – пробормотал Родольф, все еще не двигаясь с места; сердце его обливалось слезами при виде бледного и нежного лица дочери.

Вот почему, несмотря на свою решимость, принц вынужден был на мгновение отвернуться, чтобы скрыть, что он глубоко растроган.

– Послушайте, дитя мое, вы еще очень слабы, садитесь сюда, – сказала Клеманс, чтобы отвлечь внимание Марии; и она отвела ее к большому креслу из позолоченного дерева, в которое Певунья осторожно села.

Ее смущение все более и более усиливалось; она была подавлена, голос у нее пропал, она огорчалась потому, что до сих пор не могла вымолвить ни одного слова благодарности Родольфу.

Наконец: по знаку госпожи д'Арвиль, облокотившейся на кресло Марии и державшей ее руку в своей, принц тихонько приблизился к ним. Овладев собою, он обратился к Марии, повернувшись к нему свое очаровательное лицо:

– Наконец-то вы навеки соединены с вашими друзьями!.. Вы их теперь уже не покинете!.. Сейчас важно забыть все то, что было тяжелого в вашей жизни.

– Да, дитя мое, – добавила Клеманс, – лучший способ доказать, что вы нас любите, – забыть печальное прошлое.

– Верьте мне, господин Родольф... и вы тоже, если я невольно и вспоминаю прошлое, то лишь для того, чтобы сказать себе, что без вас... я по-прежнему была бы несчастной.

– Да, но мы сделаем так, чтобы у вас не возникали эти мрачные мысли. Вы будете окружены заботой, у вас не будет времени предаваться воспоминаниям, моя дорогая Мария, – продолжал Родольф, – вы ведь знаете, что это имя дал вам я... на ферме.

– Да, господин Родольф. А госпожа Жорж, которая позволила мне называть ее... моей матерью... как она поживает?

– Очень хорошо, дитя мое... Но я должен сообщить вам удивительную новость.

– Мне, господин Родольф?

– После того как я встретился с вами... выяснилось важное обстоятельство о... вашем происхождении.

– О моем происхождении?

– Стало известно, кто были ваши родители. Знают имя вашего отца.

Родольф произносил эти слова сквозь слезы. Мария, весьма взволнованная, обратила свой взор к нему, и принц смутился.

Другой случай, на этот раз комический, рассеял внимание Певуньи и помешал ей заметить взволнованность принца: почтенный эсквайр, все время не выходявший из-за портьеры и, казалось, внимательно рассматривавший сад, не мог удержаться и громко чихнул, потому что он плакал как ребенок.

– Да, моя дорогая Мария, – поспешила сказать Клеманс, – вашего отца знают, он здоров.

– Мой отец, – воскликнула Певунья с таким выражением, которое подвергло мужество Родольфа новому испытанию.

– И в один прекрасный день... – продолжала Клеманс, – быть может, скоро, вы его увидите. Вас, конечно, удивит его высокое положение и знатный род.

– А моя мать, увижу ли я ее?

– Ваш отец ответит на этот вопрос, дитя мое... будете ли вы рады увидеть его?

– О да, конечно, – сказала Мария, опустив глаза.

– О, как вы будете любить своего отца, когда узнаете его! – сказала маркиза.

– С того дня... для вас начнется новая жизнь, не так ли, Мария? – заметил принц.

– Нет, господин Родольф, – искренне ответила Певунья. – Моя новая жизнь началась с того дня, когда вы пожалели меня, отправили на ферму.

– Но ваш отец... вас обожает, – сказал принц.

– Его я не знаю... я всем обязана вам.

– Значит... вы... меня любите... столько же, быть может, даже больше, чем любили бы вашего отца?

– Я вас благословляю, и я вас чту как бога, господин Родольф, потому что вы сделали для меня столько, сколько может сделать один лишь бог! – взволнованно ответила Певунья, забыв свою обычную робость. – Когда эта дама заговорила со мной в тюрьме, я ей сказала то, что говорю всем... да, господин Родольф; встречая очень несчастных людей, я говорила им: надейтесь, господин Родольф помогает несчастным. Тем, кто колебался между добром и злом, я говорила: мужайтесь, будьте добрыми, господин Родольф вознаграждает добрых. Злым я говорила: берегитесь, господин Родольф наказывает злых. Наконец, когда я решила, что умираю, я подумала: бог смилостивится надо мной, если господин Родольф нашел меня достойной его внимания.

Лилия-Мария, увлеченная порывом благодарности к своему благодетелю, преодолела страх, легкий румянец окрасил ее лицо, а ее прекрасные голубые глаза, обращенные к небесам как будто в молитве, сияли нежным блеском.

За возвышенными словами Марии на несколько минут наступило молчание; глубокое волнение охватило актеров этой драмы.

– Вижу, дитя мое, – заговорил Родольф, едва сдерживая свою радость, – что в вашем сердце я почти занял место вашего отца.

– Это не моя вина, господин Родольф, быть может, это скверно с моей стороны... но я сказала вам, что вас я знаю, но не знаю своего отца, – и она, смутившись, опустила голову, – к тому же вам известно мое прошлое... господин Родольф... несмотря на это вы благодетельствовали меня; но мой отец ничего не знает... о моем прошлом. Быть может, он будет сожалеть, что нашел меня, – с содроганием заметила несчастная девушка, – и раз он, как вы сказали, такого высокого происхождения... он, конечно, будет стыдиться, краснеть за меня.

– Краснеть за вас! – воскликнул Родольф, выпрямившись и гордо подняв голову. – Успокойтесь, бедное дитя, ваш отец создаст вам такое блестящее положение, такое высокое, что даже самые избранные среди великосветских аристократов будут отныне относиться к вам с глубоким уважением. Стыдиться вас!.. Нет... нет. Вслед за королевами, которым вы близки по крови... вы пройдете как равная среди самых благородных принцесс Европы!

– Монсеньор! – воскликнули одновременно Мэрф и Клеманс, испуганные возбуждением Родольфа и возрастающей бледностью Марии, изумленно смотревшей на своего отца.

– Краснеть за тебя! – продолжал он. – О, если я когда-либо был счастлив и горд своим титулом принца, то только потому, что благодаря моему положению я могу возвысить тебя настолько, насколько ты была унижена... понимаешь ли ты, моя дорогая, моя обожаемая дочь?... Потому что ведь это я твой отец!

И принц, не в силах более укротить свое волнение, упал на колени к ногам Марии, заливаясь слезами.

– Благодарение богу! – воскликнула Мария, сложив руки. – Мне было дозволено любить моего благодетеля так, как я любила его... Это мой отец... я могу обожать его без угрызений со-

вести... будьте благословенны, мой...

Она не смогла договорить... Потрясение было слишком сильным: Мария потеряла сознание, упав на руки принца.

Мэрф бросился к дверям передней и, открыв их, закричал:

– Доктора Давида... сейчас же... к его королевскому высочеству... там с кем-то плохо!

– Будь я проклят! Я убил ее, – воскликнул Родольф, рыдая на коленях перед своей дочерью. – Мария... дитя мое... послушай меня, я твой отец... Прости меня, о, прости... я не смог больше хранить эту тайну. Я убил мою дочь... Господи! Я убил ее!

– Успокойтесь, – сказала Клеманс, – нет никакой опасности. Посмотрите, щеки розовые... это обморок, всего лишь обморок.

– Но ведь она едва оправилась... приступ может ее убить... Какое несчастье, о, горе мне!

В это время Давид, доктор-негр, поспешно вошел в комнату, держа в руке небольшую шкапулку и письмо, которое он вручил Мэрфу.

– Давид... моя дочь умирает... Я спас тебе жизнь... ты должен спасти мое дитя! – воскликнул Родольф.

Хотя и изумленный тем, что принц говорит о своей дочери, доктор бросился к Марии, которую г-жа д'Арвиль держала в объятиях, пощупал пульс девушки, положил ей руку на лоб и, повернувшись к Родольфу, который ждал приговора врача, сказал:

– Никакой опасности... Ваше высочество, успокойтесь.

– Ты говоришь правду... никакой опасности?..

– Да, монсеньор. Несколько капель эфира, и мадемуазель придет в себя.

– О боже... – воскликнул ошеломленный принц, на которого с изумлением смотрела Клеманс, еще не понимая, в чем дело.

– Монсеньор, – сказал Давид, все еще занятый возле Марии, – ее состояние не внушает тревоги... Но свежий воздух ей крайне необходим, следовало бы перенести кресло на террасу, открыть дверь в сад, обморок пройдет.

Мэрф тотчас побежал открыть застекленную дверь, выходящую на огромное крыльцо, образующее террасу; затем вместе с Давидом они осторожно перенесли кресло, в котором без чувств находилась Певунья.

Родольф и Клеманс остались одни.

Глава XII ПРЕДАННОСТЬ

– Ах, сударыня, – воскликнул Родольф, как только Мэрф и Давид удалились, – вы не знаете, кто такая графиня Сара, ведь это мать Лилии-Марии.

– О боже!

– Я думал, что она умерла!

Наступило глубокое молчание.

Маркиза д'Арвиль страшно побледнела, сердце у нее разрывалось.

– Вам неизвестно и то, – с горечью продолжал Родольф. – что эта властолюбивая женщина, признававшая лишь мое звание, побудила меня в молодости к союзу, впоследствии распавшемуся. Пожелав выйти за меня замуж, графиня причинила много бед своей дочери, отдав ее алчным людям.

– А! Теперь я понимаю вашу ненависть к ней.

– Вы поймете также, почему она хотела погубить вас посредством подлого оговора; обладая безграничным честолюбием, клеветца на тех, кто был мне дорог, она надеялась, что я возвращусь к ней.

– Какой низменный расчет!

– И она еще живет на свете.

– Монсеньор, подобное огорчение недостойно вас!

– Вы не знаете, сколько зла она причинила людям! И ныне, когда я, найдя свою дочь...

стремился вручить ее достойной матери. О нет... Эта женщина – демон мщения. Она преследует меня...

– Полноте, будьте мужественны, – сказала Клеманс, едва сдерживая слезы, – вы должны выполнить святой долг. Вы сами сказали в великодушном порыве отцовской любви, что отныне участь вашей дочери должна быть столь же счастливой, сколь несчастной она была в прошлом. Ваша дочь должна быть столь возвышена, как когда-то была унижена. Вот почему следует узаконить ее рождение... а для этого надо венчаться с графиней Мак-Грегор.

– Никогда этого не будет, никогда. Это значило бы вознаграждать вероломство, эгоизм, свирепое честолюбие бесчеловечной матери. Я признаю мою дочь, а вы, как я надеялся, ее удочерите, у вас она найдет материнское чувство.

– Нет, монсеньор, вы так не поступите, вы не оставите во мраке происхождение вашей дочери. Графиня Сара знатного старинного рода; для вас это брак неравный, но он все же достойный. Благодаря этому браку ваша дочь будет законная, а не узаконенная. Таким образом, как бы ни устроилось ее будущее, она сможет гордиться своим отцом и открыто признавать свою мать.

– Но отказаться от вас, господи! Это невозможно. Вы даже не представляете себе, как прекрасна была бы совместная жизнь с вами и дочерью, – теми, кто мне дороже всего на свете.

– Но с вами будет дочь, монсеньор. Всемиловитый бог чудом возвратил ее вам. Считать ваше счастье неполным было бы с вашей стороны неблагодарностью.

– Вы любите меня меньше, нежели я вас.

– Считайте, что это так, монсеньор, и верьте мне: жертва во имя долга покажется вам не столь мучительной.

– Но если вы меня любите, если вы будете огорчаться так же, как я, вы будете глубоко страдать. Что останется вам в жизни?

– Милосердие, монсеньор, это восхитительное чувство, которое вы сумели пробудить в моем сердце... чувство это до сих пор заставляло меня забывать многие горести, и я обязана ему за многие сладостные утешения.

– Помилуйте, послушайте меня. Предположим, я женюсь на ней, принеся себя в жертву, разве я смогу жить подле этой женщины, которая внушает мне отвращение и презрение? Нет, нет, мы навсегда разъединены, никогда она не встретит мою дочь. Значит, Мария... лишится нежной матери.

– Ей останется нежный отец. После вашего брака она станет законной дочерью владетельного князя Европы, и, как вы уже говорили, ее положение будет таким же блестящим, каким мрачным оно было в прошлом.

– Вы безжалостны... А я так несчастлив!

– Смеете ли вы так говорить... вы, столь возвышенный, столь справедливый, столь благородно понимающий значение долга, преданности, самоотречения. Только что до совершившегося чуда, когда вы оплакивали смерть своей дочери душераздирающими рыданиями, если бы вам тогда предложили: произнесите ваше желание, одно-единственное, и оно будет исполнено, вы бы тогда воскликнули: моя дочь... О, моя дочь... да будет она жива! Это чудо свершилось, вам возвращена дочь... а вы считаете себя несчастным. О монсеньор, только бы Лилия-Мария не услышала ваши слова!

– Вы правы, – заметил Родольф после долгого молчания, – столько счастья, ниспосланного с небес... я его не заслужил... я исполню свой долг. Я не раскаиваюсь в своем колебании, ему я обязан тем, что оно раскрыло предо мной величие вашей души.

– Это вы возвеличили и возвысили мою душу. Все мною совершенные деяния славят вас так же, как все мои хорошие мысли внушены вами. Мужайтесь, как только Мария соберется с силами, совершите с ней путешествие. Приехав в Германию, в тихую и спокойную страну, она совершенно переродится, и прошлое покажется ей лишь печальным забытым сном.

– А как же вы, вы?

– Я... Теперь могу вам сказать искренне, потому что всегда думаю об этом с радостью и гордостью: моя любовь к вам будет ангелом-хранителем, якорем спасения, превратится в добродетель, станет олицетворением будущего. Все, что я буду делать хорошего, будет, совершено по

любви и будет обогащать ее. Каждый день я буду писать вам, простите меня за это единственное требование, которое я себе разрешаю. Вы, монсеньор, будете мне иногда отвечать... сообщать новости о той, которую я однажды назвала своей дочерью, – произнесла Клеманс, не в силах сдержать слезы, – я сохраню ее в своем сердце; с годами, когда мы будем иметь право открыто признаться в святом чувстве, которое нас связывало... тогда, я вам клянусь именем вашей дочери, если вы пожелаете, я перееду в Германию, в тот же город, где будете жить и вы, чтоб нам больше не расставаться и прожить жизнь, хоть и не исполненную страстной любви, но, во всяком случае, прожить честно, достойно.

– Монсеньор, – воскликнул Мэрф, входя в комнату, – ниспосланная вам богом дочь пришла в чувство. Ее первым словом было: мой отец!.. Она хочет вас видеть...

.....

Вскоре г-жа д'Арвиль покинула особняк принца, а он поспешно отправился к графине Мак-Грегор в сопровождении Мэрфа, барона Грауна и адъютанта.

Глава XIII СВАДЬБА

После того как Родольф сообщил Саре Мак-Грегор о гибели Лилии-Марии, она, подавленная этой новостью, которая разрушала все ее надежды, измученная поздним раскаянием, стала жертвой нервного потрясения и страшного бреда. Ее едва зарубцевавшаяся рана открылась, графиня потеряла сознание; подобное состояние продолжалось длительное время, и окружающие подумали, что наступает смерть. Однако, обладая сильной натурой, она перенесла жестокий приступ; луч жизни снова оживил ее.

Сидя в кресле, Сара, погруженная в удручающие размышления, казалось, сожалела о смерти, которая только что ей угрожала.

Внезапно в комнату графини вошел Томас Сейтон, с трудом сдерживая глубокое волнение; жестом он приказал двум служанкам Сары удалиться; она едва заметила присутствие брата.

– Как вы себя чувствуете? – спросил он.

– Все так же... чувствую сильную слабость... и временами мучительное удушье... Почему бог не взял меня из этого мира во время последнего приступа.

– Сара, – помолчав, продолжал – Томас Сейтон, – вы теперь находитесь между жизнью и смертью... Сильное волнение могло бы вас погубить... но оно могло бы и спасти вас.

– Я не испытываю теперь никаких волнений, дорогой брат.

– Быть может...

– Я с равнодушием отнеслась бы к смерти Родольфа... призрак моей утонувшей дочери... по моей вине... здесь... постоянно здесь... предо мною... Это не волнение... а непрерывное угрызение совести. Во мне заговорило чувство матери после гибели дочери.

– Я предпочел бы видеть в вашем лице женщину, принесшую в жертву родную дочь в неистовом желании стать коронованной особой.

– Жестокие упреки принца заглушили мое намерение, во мне пробудилось материнское чувство... представив себе ужасные муки дочери.

– А если... – сказал Сейтон, взвешивая каждое слово, – если предположить, что свершится невозможное... что произойдет чудо: если б вы узнали, что ваша дочь жива, как бы вы перенесли эту весть?

– Увидев ее, я бы умерла от стыда и отчаяния.

– Оставьте эту мысль, вы были бы слишком опьянены торжеством вашего честолюбия! Потому что, будь ваша дочь жива, принц женился бы на вас, он вам говорил об этом.

– Если допустить столь безумное предположение, мне кажется, что я лишена была бы права на жизнь. Если б я стала женою принца, мой долг был бы освободить его... от недостойной жены... мою дочь – от бессердечной матери...

Томас Сейтон с каждой минутой все больше смущался. По поручению Родольфа, находившегося в соседней комнате, он должен был известить Сару о том, что Лилия-Мария жива, но не знал, как это сделать. Жизнь графини была столь зыбкой, что она могла умереть в любой момент; поэтому нельзя было медлить со свадьбой *in extremis*,⁶² которая должна была узаконить рождение Лилии-Марии.

Для этой печальной церемонии принц привез с собой священника и в качестве свидетелей – Мэрфа, барона Грауна; герцог де Люсене и лорд Дуглас, поспешно предупрежденные Сейтоном, должны были стать свидетелями графини, они также прибыли как раз в это время.

Минуты уходили; но угрызения совести, усиленные материнской нежностью, вытеснили из сердца Сары безжалостные помыслы, поэтому задача Сейтона еще усложнилась. Он надеялся только на то, что сестра обманывала его или обманывала себя и что гордость этой женщины проявится, как только перед ней возникнет корона, о которой она издавна мечтала.

– Сестра моя... – начал Сейтон величаво и торжественно, – я мучаюсь ужасным сомнением... одно мое слово может вернуть вас к жизни... или убить вас...

– Я уже сказала... никакие волнения мне не страшны,

– Однако одно... быть может...

– Какое?

– Если б речь шла о вашей дочери?

– Моя дочь умерла...

– А если она жива...

– Мы только что отвергли это предположение... Довольно, брат, с меня достаточно моих терзаний.

– А если это не предположение? Если по невероятной случайности... на которую мы не могли надеяться... ваша дочь была вырвана у смерти... если она... жива?

– Вы доставляете мне мучения... не говорите со мною так.

– Ну хорошо! Да простит мне бог и да не осудит он вас... Ваша дочь жива...

– Моя дочь?

– Я предупредил ваших друзей, они будут свидетелями... Сбылось наконец ваше сокровенное желание... Предсказание сбылось... Отныне вы принцесса.

Сейтон произнес эти слова, устремив тревожный взгляд на сестру, стараясь уловить на ее лице малейший знак волнения.

К его великому удивлению, лицо Сары оставалось почти бесстрастным; она лишь прижала руки к сердцу, откинулась в кресле, подавив легкий взглас, который, казалось, был вызван внезапной и глубокой скорбью... Затем ее лицо снова стало спокойным.

– Что с вами сестра?

– Ничего... я поражена... неожиданная радость... Наконец мои желания всецело исполнены!..

«Я не ошибся! – подумал Сейтон. – Честолюбие берет верх... Она спасена...»

Затем, обращаясь к Саре:

– Вот видите, сестра! Что я вам говорил?

– Вы были правы... – заметила она с горькой улыбкой, догадываясь, на что намекал ее брат, – холодный расчет во мне опять подавляет чувства материнства...

– Вы будете жить! И любить свою дочь...

– Я в этом не сомневаюсь... Я буду жить... Вы видите, как я спокойна...

– И это спокойствие не притворно?

– Сраженная, обессиленная, могу ли я притворяться?

– Вы теперь понимаете, почему я только что так колебался?

– Нет, меня это удивляет... вы ведь знаете мое неукротимое желание... Где принц?

– Он здесь.

⁶² В последний момент (*лат.*).

– Я хотела бы его увидеть... до церемонии... Затем она добавила с подчеркнутым равнодушием:

– Моя дочь, конечно, здесь?

– Нет... вы увидите ее несколько позже...

– В самом деле... есть еще время... Попросите, пожалуйста, принца...

– Сестра... я не знаю... вы как-то странно выглядите... мрачно.

– Вы хотите, чтобы я веселилась? Вы полагаете, что удовлетворенное чувство придает лицу нежное выражение?... Попросите сюда принца!

Сейтон был невольно встревожен спокойствием Сары. На мгновение ему показалось, что она сдерживает слезы. Усомнившись, он открыл дверь и вышел.

– Теперь, – сказала Сара, – лишь бы мне повидать... и обнять мою дочь... я была бы спокойна... Этого нелегко достигнуть... Родольф, чтобы наказать меня, откажет мне в этом... О, я добьюсь своего... Да... добьюсь... Вот он...

Вошел Родольф и закрыл за собой дверь.

– Ваш брат сообщил вам? – холодно спросил принц.

– Все...

– Ваша... прихоть... удовлетворена?

– Да... удовлетворена...

– Пастор... и свидетели... здесь.

– Я это знаю...

– Они могут войти... я полагаю?

– Одно слово, монсеньор...

– Говорите...

– Я желала бы... видеть мою дочь...

– Невозможно...

– Я говорю, монсеньор, что я хочу видеть мою дочь!..

– Она понемногу выздоравливает... Утром испытала сильное потрясение... Эта встреча может оказаться для нее губительной...

– Но, по крайней мере... она обнимет свою мать...

– Зачем? Вы ведь стали принцессой...

– Я еще не стала ею... и я буду принцессой лишь после того, как обниму свою дочь...

Родольф с глубоким удивлением посмотрел на графиню.

– Как, – воскликнул он – вы отказываетесь от честолюбивых замыслов...

– Я предпочитаю... материнские чувства. Это вас удивляет, монсеньор?

– Увы!.. Да.

– Увижу ли я дочь?

– Но...

– Будьте осторожны, монсеньор, минуты, быть может, сочтены... Этот приступ, как говорит мой брат, может ли спасти меня, или погубить... теперь я собрала все свои силы, всю энергию, но достанет ли их для того, чтобы пережить это внезапное событие... Хочу видеть мою дочь... а если нет... отказываюсь от брака... Но если я умру... ее рождение не будет узаконено...

– Лилии-Марии здесь нет... надо ее привезти... из моего дома.

– Немедленно пошлите за ней... и я согласна на все. Жить осталось мне совсем недолго, я уже говорила вам об этом. Венчание может состояться... пока Лилия-Мария едет сюда...

– Хотя ваше желание меня удивляет... но оно слишком похвально, чтобы я не пошел ему навстречу... Вы увидите Лилию-Марию... Я напишу ей.

– Здесь... на бюро, где я была ранена...

В то время как Родольф поспешно писал письмо, графиня вытерла холодный пот, струившийся у нее со лба; черты ее лица, до тех пор спокойные, изменились, выражая резкую боль; казалось, что Сара, перестав сдерживаться, отвлеклась от скрытого мучения.

Написав письмо, Родольф встал и обратился к графине:

– Я отправлю это письмо своей дочери с одним из моих адъютантов. Она будет здесь через полчаса... Могу я войти сюда с пастором и свидетелями?..

– Можете... или... пожалуйста, позвоните... не оставляйте меня одну... Поручите это Вальтеру... Он приведет свидетелей и пастора.

Родольф позвонил, появилась одна из камеристок Сары.

– Попросите моего брата прислать сюда Вальтера Мэрфа, – сказала графиня.

Камеристка удалилась.

– Этот союз будет печальным, Родольф... – с горечью сказала графиня. – Печальным для меня... Для вас он будет счастливым!

Принц отрицательно покачал головой.

– Он будет счастливым для вас, Родольф, ибо я его не переживу!

В эту минуту вошел Мэрф.

– Друг мой, – сказал ему Родольф, – отправь сейчас же с полковником это письмо моей дочери. Он привезет ее в моей карете... Попроси пастора и свидетелей прийти в соседнюю комнату.

– Боже мой, – воскликнула Сара умоляющим голосом, когда вышел эсквайр, – ниспошли мне сил, чтобы увидеть ее, продли мою жизнь до ее прихода!

– О, почему ж вы раньше не были такой трогательной матерью!

– Благодаря вам, по крайней мере, я поняла, что такое раскаяние, преданность, самопожертвование... Да, только что, когда мой брат известил меня, что наша дочь жива... позвольте мне сказать – наша дочь... мне не придется долго говорить так, я почувствовала страшное биение сердца, мне показалось, что наступает смерть. Я утаила это, но я была счастлива... Рождение нашей дочери будет узаконено, а затем я умру...

– Не говорите так!

– О, на этот раз я вас не обманываю... вы увидите!

– И никаких признаков неумного высокомерия, которое вас погубило! Почему по воле рока ваше раскаяние возникло так поздно?

– Да, поздно, но, клянусь вам, я глубоко и искренне раскаиваюсь. В этот торжественный момент я благодарю бога, уносящего меня из этого мира, потому что жизнь моя была бы для вас страшным бременем...

– Сара! Помилуйте...

– Родольф... последняя просьба... Вашу руку...

Принц, отвернувшись, протянул руку графине, которая взяла ее в свои.

– О, какие у вас холодные руки! – в испуге воскликнул Родольф.

– Да, я чувствую, что умираю! Быть может, бог подверг меня последнему наказанию... лишив возможности обнять мою дочь!

– О нет... нет... Он будет растроган вашим раскаянием...

– А вы, мой друг, вы растроганы?.. Вы меня прощаете?.. О, смилостивьтесь, скажите «да»! Сейчас, когда наша дочь приедет сюда, если она приедет вовремя, вы не сможете меня простить при ней... Это означало бы раскрыть перед ней всю мою вину... Вы этого не пожелаете... Когда я буду мертва, вам не помешает, если она будет меня любить.

– Не тревожьтесь... она ничего не узнает!

– Родольф... простите. О, простите!.. Неужели вы не сжалитесь надо мной? Разве я теперь не глубоко несчастна?

– Да будет так! Пусть простит вас бог за зло, содеянное вами вашей дочери, как я прощаю вам зло, причиненное мне, несчастная женщина!

– Вы прощаете меня... от всего сердца?

– От всего сердца, – взволнованно сказал принц. Графиня в порыве радости и благодарности прижала руку Родольфа к своим слабеющим устам.

– Просите пастора, мой друг, и скажите ему, чтобы не уходил отсюда после бракосочетания... Я совсем ослабла!

Это была душераздирающая сцена: Родольф открыл двухстворчатые двери салона, вошел

пастор в сопровождении Мэрфа, барона Грауна – свидетелей Родольфа, и герцога Люсене, лорда Дугласа – свидетелей графини; затем пришел Томас Сейтон.

Все действующие лица этой мучительной сцены были серьезны, печальны и сосредоточены, даже герцог де Люсене забыл свою обычную живость.

Брачный контракт между его королевским высочеством Густавом Родольфом V, великим герцогом Герольштейнским и Сарой Сейтон оф Холсбери, графиней Мак-Грегор (контракт, объявляющий законным рождение Лилии-Марии) был составлен бароном Грауном; он был прочтен им и подписан супругами и их свидетелями.

Несмотря на раскаяние графини, когда пастор торжественно спросил Родольфа:

– Ваше королевское высочество, согласны ли вы взять в супруги Сару Сейтон оф Холсбери, графиню Мак-Грегор, – и когда принц громко и твердо объявил: – Да! – умирающий взгляд Сары оживился; на ее мертвенно-бледном лице скользнула улыбка победного торжества; это была последняя вспышка ее честолюбия, угасшая вместе с ней.

Во время столь печальной величественной церемонии никто не обмолвился ни словом. Вслед затем свидетели Сары герцог де Люсене и лорд Дуглас почтительно поздравили принца и удалились.

По знаку Родольфа Мэрф и Граун последовали за ними.

– Брат мой, – тихо произнесла Сара, – попросите священника пойти с вами в соседнюю комнату, и пусть он будет так добр подождать там некоторое время.

– Как вы себя чувствуете, сестра? Вы очень бледны...

– Отныне я уверена, что буду жить... Разве я не великая герцогиня Герольштейнская? – с горькой улыбкой сказала она.

Оставшись наедине с Родольфом, Сара прошептала слабым голосом, в то время как черты ее лица страшно исказились:

– Силы меня покидают... Я чувствую, что умираю... Ее я не увижу!

– Нет, нет... увидите... успокойтесь, Сара... вы увидите ее.

– Я уже не надеюсь..... это напряжение... Нужна была сверхчеловеческая сила... мое зрение уже меркнет!

Быстро подойдя к графине и взяв ее руки в свои, принц прошептал:

– Сара, она сейчас придет... она не задержится...

– Бог не пожелает... ниспослать мне это последнее утешение.

– Сара, слушайте... Кажется, приближается карета... Да, это она... Вот ваша дочь!

– Родольф, вы не скажете ей... что я была плохой матерью! – медленно произнесла графиня, уже ничего не слыша.

Раздался стук кареты, едущей по мощеному двору.

Графиня ничего не замечала. Ее речь становилась все более бессвязной. Родольф со страхом склонился над ней, он увидел, что взгляд ее померк.

– Прости!.. Моя дочь... Видеть дочь! Прости... Хотя бы... после моей смерти пусть воздадут почести моему званию! – прошептала она наконец.

Это были последние внятные слова Сары. Несмотря на искреннее раскаяние, вновь проявилась навязчивая идея всей ее жизни.

Вдруг вошел Мэрф.

– Монсеньор... принцесса Мария...

– Нет, – живо воскликнул Родольф, – она не должна входить. Скажи Сейтону, чтобы он привел пастора.

Затем, показав на Сару, которая угасала в медленной агонии, принц произнес:

– Господь лишает ее высшего утешения – обнять дочь.

Полчаса спустя графиня Сара Мак-Грегор скончалась.

Глава XIV БИСЕТР

Прошло две недели после того, как Родольф, женившись на *Cape in extremis*, узаконил рождение Лилии-Мариин. Наступил один из дней великого поста. Определив таким образом время действия, мы поведем читателя в Бисетр. Это огромное заведение⁶³ предназначено, как известно, для лечения умалишенных, а также является домом гражданских инвалидов и служит убежищем для семисот – восьмисот бедных стариков, достигших семидесятилетнего возраста, в высшей степени немощных.

Прибыв в Бисетр, вы прежде всего окажетесь среди обширного двора, засаженного высокими деревьями и зеленеющими между ними лужайками, в летнее время украшенными клумбами цветов. Нет ничего более отрадного, более спокойного, более здорового, чем этот парк, специально предназначенный для немощных бедняков; зеленый массив окружает здания, во вторых этажах расположены просторные спальни с хорошими кроватями, здесь свежий воздух; в первом этаже, где царит исключительная чистота, находятся столовые: там обитатели Бисетра получают здоровую вкусную пищу, тщательно приготовленную благодаря заботливому попечительству администрации этого прекрасного заведения.

Попасть в такое убежище было бы мечтой одинокого труженика, вдовца или холостяка, который после долгих лет лишений и честного труда нашел бы там отдых и удобства, которыми он никогда в жизни не пользовался.

К несчастью, фаворитизм, в наши дни господствующий повсюду, овладел и денежными средствами Бисетра; большинство иждивенцев – прежние слуги господ, попавшие сюда благодаря протекции тех, у кого они в последнее время находились в услужении.

Нам это кажется возмутительным злоупотреблением. Конечно же, исключительно велика заслуга тех людей, которые в течение многих лет честно выполняли обязанности слуг, и они достойны благодарности, так как многие годы были верны своим господам, составляли иногда единую семью с ними, но, как ни похвально было их поведение в прошлом, услугами этих людей пользовались их хозяева, и значит, они, а не государство, должны вознаградить бывших слуг.

Не будет ли справедливым, с точки зрения нравственности, чтобы места в Бисетре и других подобного рода заведениях по праву принадлежали труженикам, избранным среди тех, кто больше всего нуждается и кто доказал свое примерное поведение.

Для них, как бы ни было ограничено число этих мест, такие убежища, по крайней мере, являлись бы далекой надеждой, облегчавшей их повседневную нужду. Спасительная надежда, которая поддерживала бы в них стремление к добру, предвещая в будущем, конечно далеко, но, во всяком случае, осуществимом, покой и радость как вознаграждение за их заслуги. И так как они могли бы рассчитывать на эти убежища только при безупречном поведении, то волея-неволей повышался бы их нравственный уровень.

Не будет ли чрезмерным требовать, чтобы некоторые труженики, достигшие весьма преклонного возраста, несмотря на всякого рода лишения, могли бы надеяться когда-нибудь получить в Бисетре пищу, отдых, убежище для своей изнуренной старости?

Конечно, эта мера исключает в будущем из состава живущих в Бисетре литераторов, ученых, художников преклонного возраста, у которых нет иного пристанища.

Да, в наши дни талантливые, знающие, умные люди, которые пользовались в свое время уважением, с большим трудом получают место среди старых слуг, попавших туда по протекции их хозяев.

Неужели было бы роскошью, если бы небольшому числу тех, кто способствовал славе, величию Франции, тех, чья репутация освящена мнением народа, неужели было бы излишним, чтобы в годы глубокой старости им было предоставлено скромное, но достойное убежище?

Быть может, это значило бы требовать слишком много, однако приведем один из тысячи примеров: было израсходовано восемь или девять миллионов франков на сооружение величе-

⁶³ Мы неустанно будем повторять, что на последней сессии палаты рассматривалась петиция, продиктованная самими благородными чувствами и желаниями, в которой было изложено предложение об основании дома гражданских инвалидов для рабочих; петиция была отвергнута при всеобщем смехе членов палаты (см. «Монитор»).

ственного здания «Мадлен»; но ведь это не собор и не церковь, на эти огромные средства можно было совершить много добрых дел, основать, я полагаю, дом-приют на двести пятьдесят – триста человек, в прошлом замечательных ученых, поэтов, музыкантов, чиновников, врачей, адвокатов и т. п., ибо все эти профессии представлены среди пансионеров Бисетра, здесь они нашли бы почетное убежище.

Несомненно, что это вопрос человечности, целомудрия, национального достоинства для страны, претендующей шествовать во главе прогресса искусств; вопрос разума цивилизации; но об этом не подумали...

Ибо Эжизип Моро и многие другие редкие таланты умерли в больнице для бедных или в нищете...

Ибо благородные умы, которые сияли чистым, ярким светом, носят теперь в Бисетре халаты добропорядочных бедняков.

Ибо у нас нет, как в Лондоне, благотворительного заведения,⁶⁴ в котором неимущий иностранец находит хотя бы на ночь крышу над головой, постель, кусок хлеба...

Ибо у рабочих, направляющихся на Гревскую площадь искать работу и ждать найма, нет даже навеса, чтобы укрыться от непогоды, подобного тем, под которыми на рынках стоит продающийся скот.⁶⁵ Однако же Гревская площадь – это биржа труда, и на этой бирже совершаются только честные сделки; цель – наняться на тяжелую работу за мизерную плату, на нее рабочий купит свой горький хлеб.

Ибо...

Можно бесконечно перечислять все полезные сведения, принесенные в жертву «Мадлен», этой гротескной выдумке в стиле греческого храма, только в последнее время предназначенного для католической молитвы.

.....

Но возвратимся в Бисетр и перечислим все службы этого заведения, укажем, что в описываемую нами эпоху приговоренные к смерти препровождались сюда после вынесения приговора. Вот почему в одной из одиночных камер этой тюрьмы находились вдова Марсиаль и ее дочь Тыква в ожидании казни, назначенной на следующее утро; мать и дочь не желали подавать кассационную жалобу о помиловании.

Николя, Скелету и нескольким другим злодеям удалось бежать из тюрьмы Форс накануне их перевода в Бисетр.

Мы уже упомянули, что нет ничего более приятного для глаз, чем окрестности этого здания, когда вы, приехав из Парижа, входите сюда через Двор бедняков.

Стояла ранняя весна, вяза и липы едва зазеленели, обширные лужайки дышали свежестью, повсюду на клумбах пробивались подснежники, примулы, медвежьих ушки разнообразных ярких оттенков; лучи солнца золотили покрытые песком аллеи. Старые пансионеры, одетые в серые плащи, прогуливались либо разговаривали, сидя на скамьях; их безмятежные лица обычно вы-

⁶⁴ Благотворительное общество, основанное в Лондоне одним из наших соотечественников, графом д'Орсэ, который продолжает руководить этим благородным и высокочтимым учреждением, не жалея средств и проявляя в этом деле глубокие познания.

⁶⁵ Нам известно ревностное усердие префекта Сены и префекта полиции, их неустанное желание помочь бедным и рабочим. Мы надеемся, что об этом предложении узнают и они и что их инициативы перед муниципальным советом полагат этому конец. Расходы были бы минимальными, а благодеяние огромным. То же самое относится и к беспроцентным займам, предоставляемым в ломбарде, когда сумма займа не превышает трех или четырех франков.

Не следовало ли бы также, повторяем, снизить чрезмерные проценты. Как это получается, что Париж, богатейший город, не дает бедным классам права пользоваться теми льготами, которые им предоставляют, как я уже сказал, многие южные и северные города Франции, предлагая беспроцентный заем или заем с оплатой 3–4%. См. отличную работу Блэз «Статистика и организация ломбардов», книгу, в которой приводятся многие любопытные факты, даются искренние, красноречивые и возвышенные оценки.

ражали спокойствие, умиротворенность, душевный покой или какую-то блаженную беззаботность.

Пробило одиннадцать часов, и два фиакра остановились у Внешних ворот. Из первого экипажа вышла г-жа Жорж, Жермен и Хохотушка, а из другого – Луиза Морель и ее мать.

Как известно, прошло уже две недели со времени женитьбы Жермена и Хохотушки. Читатель представит себе резвую веселость гризетки, полноту счастья, сиявшего на ее свежем лице, алые губы, открывающиеся лишь когда она смеялась, улыбалась или целовала г-жу Жорж, которую называла своей матерью.

Черты лица Жермена выражали более блаженное, более рассудительное, более серьезное довольство... в нем можно было обнаружить чувство глубокой признательности, обожания и поклонения этой прекрасной смелой девушке, утешавшей его в тюрьме и возродившей в нем мужество... о чем Хохотушка меньше всего вспоминала; как только Жермен заводил речь на эту тему, она заговаривала о другом, под тем предлогом, что эти воспоминания ее огорчают.

Хотя она стала госпожой Жермен, а Родольф вручил ей приданое в сорок тысяч франков, Хохотушка не пожелала, и ее муж был такого же мнения, сменить головной убор гризетки на шляпу. Конечно, скромность лишь подчеркивала невинное кокетство, ибо ничто не могло быть более грациозным, более изящным, нежели ее чепчик с тесемками, немного на крестьянский манер, с оранжевыми бантами слева и справа, подчеркивавшими черный цвет ее прекрасных длинных волос, которые она завивала с тех пор, как у нее появилось время закручивать их на папильотки; воротничок с богатой вышивкой обхватывал прелестную шею новобрачной; шарф из французского кашемира такого же оттенка, как и банты на чепце, полускрывал ее стройную и тонкую талию, так как по старой привычке она не носила корсет (хотя теперь она имела время его зашнуровать), закрытое платье из розовой тафты нигде не морщилось, идеально схватывая ее стройную, изящную, точно у мраморной Галатеи, фигуру.

Госпожа Жорж любовалась своим сыном и Хохотушкой с глубоким, все возрастающим блаженством.

Луиза Морель, после тщательного расследования и вскрытия трупа ее ребенка, была освобождена из тюрьмы по решению уголовного суда. Красивые черты лица дочери гранильщика под влиянием пережитого горя изменились, приняли выражение нежной покорности и печали. Благодаря великодушию Родольфа и заботе врачей мать Луизы Морель, которая сопровождала ее, совершенно выздоровела.

На вопрос привратника о цели приезда в Бисетр госпожа Жорж ответила, что один из врачей палаты для душевнобольных назначил ей и сопровождающим ее лицам свидание в половине двенадцатого. Госпоже Жорж было предложено подождать врача в его приемной или на большом дворе, усаженном деревьями, о котором мы уже говорили. Она предпочла двор и, опираясь на руку сына и продолжая разговор с женой гранильщика, стала прогуливаться по аллеям сада. Луиза и Хохотушка шли позади них.

– Как я рада встретиться с вами, дорогая Луиза, – сказала гризетка. – Как только мы прибыли из Букеваля, мы сразу же направились навестить вас на улице Тампль, я хотела подняться к вам, но муж меня не пустил, сказав, что для меня это слишком высоко: я ждала в фиакре. Ваш экипаж ехал вслед за нашим; и вот я впервые встречаю вас, после того как...

– После того как вы пришли в тюрьму утешить меня... Ах, мадемуазель Хохотушка, – расстроганно воскликнула Луиза, – какое доброе сердце! Какое...

– Прежде всего, милая Луиза, – сказала гризетка весело, прерывая дочь гранильщика, чтобы избежать благодарности, – отныне я не мадемуазель Хохотушка, а госпожа Жермен; не знаю известно ли вам... я дорожу этим именем.

– Да... я знала... вы замужем... Но позвольте мне поблагодарить еще за то...

– Но наверняка неизвестно, милая Луиза, – возразила госпожа Жермен, снова прервав дочь Мореля, с тем чтобы изменить тему разговора, – что я замужем благодаря великодушию того, кто стал для всех нас истинным провидением, для вас и вашей семьи, для меня, для Жермена и его матери!

– Господин Родольф! О, мы благословляем его каждый день!.. Когда я вышла из тюрьмы,

Эжен Сю

адвокат, пришедший ко мне от его имени, чтобы дать мне советы и подбодрить меня, сказал мне, что благодаря Родольфу, который уже так много сделал для нас, Ферран... – и несчастная не смогла произнести это имя без содрогания... – Ферран, чтобы умалить свою жестокость, обеспечил меня, а также моего бедного отца рентой, отец мой все еще здесь... но благодаря богу ему лучше и лучше...

– И он сегодня возвратится вместе с вами в Париж... если надежда этого достойного врача подтвердится.

– Да будет угодно небесам!..

– Да, так оно и будет... Ваш отец такой добрый, такой честный! И я уверена, что мы его увезем отсюда. Врач теперь считает, что нужно чем-то ошеломить его, и внезапное свидание с людьми, которых он привык видеть до того, как потерял рассудок, должно привести к полному излечению... Я хоть и мало понимаю в этом, но мне кажется, что это наверняка так и будет...

– А я еще не могу в это поверить, мадемуазель...

– Госпожа Жермен... Госпожа Жермен... если это вас не затруднит, моя милая Луиза... Но, возвращаясь к тому, о чем я говорила вам, вы не знаете, что представляет собой господин Родольф?

– Он – добрый гений для несчастных.

– Так... а еще? Вы не знаете... Ну так вот, сейчас скажу...

Затем, обратившись к мужу, шагавшему впереди под руку с матерью и разговаривавшему с женой гранильщика, Хохотушка воскликнула:

– Не спеши так, мой друг... Ты утомишь нашу маму... к тому же я хочу, чтобы ты был поближе ко мне.

Жермен обернулся, немного замедлил шаг и улыбнулся Хохотушке, которая украдкой послала ему воздушный поцелуй.

– Какой он славный, мой милый Жермен! Не правда ли, Луиза? И притом какой благородный... Какая красивая фигура! Правильно я решила, отдав ему предпочтение перед другими моими соседями – коммивояжером Жиродо и Кабрионом. Ах, господи! Кстати, о Кабрионе... Пипле и его жена, где же они? Врач сказал, что они тоже должны прийти сюда, потому что ваш отец часто произносил их имя...

– Сейчас придут... Они до меня вышли из дома.

– О, тогда не опоздают; что касается точности, то Пипле – это настоящие часы... Но поговорим о моей свадьбе, о господине Родольфе. Вы представляете себе, Луиза, что именно он отправил меня в тюрьму с уведомлением об освобождении Жермена. Вообразите себе, как мы были счастливы, когда вышли из этой проклятой тюрьмы. Мы пошли ко мне, и с помощью Жермена я приготовила обед... обед для настоящих гурманов. Правда, для нас это была не главная радость, мы все равно ничего не ели, ни он, ни я, мы были счастливы, очень счастливы. В одиннадцать часов Жермен ушел, мы условились встретиться на следующее утро. В пять часов я уже встала и принялась трудиться, так как за два дня у меня накопилось много работы. В восемь часов кто-то постучал, я открыла дверь; кто же входит? Господин Родольф... Прежде всего я начала благодарить его от всего сердца за все то, что он сделал для Жермена; он не позволил мне договорить. «Милая соседка, – сказал он, – сейчас придет Жермен, вручите ему это письмо. Вы с ним возьмете фиакр и сразу же поезжайте в маленькую деревню Букеваль, близ д'Экуена, дорога на Сен-Дени. Прибыв туда, вы спросите госпожу Жорж... и получите большое удовольствие...» – «Господин Родольф, позвольте сказать, у меня еще один день пропадет, я не упрекаю вас, но получится три дня, как я ничего не делаю». – «Успокойтесь, милая соседка, вы найдете работу у госпожи Жорж; я вам предлагаю отличное занятие». – «Ну, если это так, то в добрый час, господин Родольф». – «До свидания, соседка, до свидания». – «До свидания, и благодарю вас, мой милый сосед!»

Он уезжает, приходит Жермен; я рассказываю ему, что произошло, господин Родольф не стал бы нас обманывать; мы садимся в экипаж, счастливые до безумия, мы-то накануне такие несчастные... Посудите сами... Мы приезжаем... ах, дорогая Луиза... Смотрите, я и теперь заливаюсь слезами... Эта госпожа Жорж, которую вы видите перед нами, она – мать Жермена.

– Его мать!!!

– Господи, да... его мать, у которой его похитили, когда он был еще ребенком; он и не надеялся больше ее увидеть. Представляете счастье обоих. После того как госпожа Жорж вдоволь наплакалась, обнимая своего сына, наступила моя очередь. Господин Родольф сообщил ей в письме лестные отзывы обо мне, так как, целуя меня, она сказала, что знает, как я отнеслась к ее сыну. «Если вы пожелаете, матушка, – обратился к своей матери Жермен, – Хохотушка будет также вашей дочерью». – «Хочу ли я, дорогие дети! От всего сердца; я отлично знаю, никогда ты не найдешь жены лучше и милее Хохотушки».

Вот мы и устроились на прекрасной ферме с Жерменом, его матерью, моими птицами, которых мы привезли туда, чтобы они, бедные маленькие птички, тоже были с нами. Хотя я и не люблю деревню, но время пролетело так быстро, как будто во сне; я работала лишь для своего удовольствия, помогала госпоже Жорж, совершала прогулки с Жерменом, пела, прыгала, просто с ума сойти...

Наконец день свадьбы был назначен; венчание состоялось две недели тому назад... Накануне кто приезжает к нам в красивой карете? Высокий толстый мужчина, лысый, благородного вида, он привозит мне по поручению господина Родольфа свадебную корзину. Представляете себе, Луиза, большой сундук из розового дерева с надписями золотыми буквами на голубой фарфоровой дощечке: «Труд и благоразумие, любовь и счастье». Я открываю сундук, и что я в нем нахожу? Небольшие кружевные чепчики, какие я ношу, отрезы на платья, драгоценности, перчатки, этот шарф, роскошную шаль; словом, это было как в волшебной сказке.

– Действительно как в волшебной сказке, но по-настоящему доставило вам счастье... то, что вы добры, трудолюбивы.

– То, что я добрая и трудолюбивая... дорогая Луиза, это я не нарочно стараюсь... такой уж я родилась... тем лучше для меня... Но этого мало: на дне сундучка я обнаружила чудесный бумажник с надписью: «Соседке от соседа». Я открываю его, там лежат два конверта: один для Жермена, другой для меня; в конверте Жермена я нашла документ, в котором сказано, что он назначается директором банка для бедных с жалованьем в четыре тысячи франков; в моем конверте я нашла чек на сорок тысяч франков... оплачиваемый в государственном банке... Да, это было мое приданое... Я хотела отказаться, но госпожа Жорж, которая вела беседу с высоким лысым господином, сказала мне: «Дитя мое, вы можете, вы должны принять чек; это вознаграждение за ваше благоразумие, за ваш труд... и за вашу преданность тем, кто страдает... Ибо, работая по ночам, рискуя заболеть и потерять единственные средства существования, вы шли утешать своих несчастных друзей...»

– О, это правда, – воскликнула Луиза, – во всяком случае, другой такой не найдешь... мадему... госпожа Жермен.

– В добрый час!.. Я сказал толстому лысому господину: «Все, что я делала, я делала для своего удовольствия», а он мне ответил: «Это не имеет значения, господин Родольф исключительно богат; ваше приданое – знак уважения, дружбы с его стороны; ваш отказ глубоко огорчит его; к тому же он будет присутствовать на вашей свадьбе во что бы то ни стало и заставит вас принять его дар».

– Какое счастье, что такое огромное богатство досталось столь милосердному человеку, как господин Родольф.

– Несомненно, он очень богат, но если бы он отличался только этим. Ах, милая Луиза, если бы вы знали, что такое монсеньор Родольф!.. А я-то позволяла ему носить мои пакеты!!! Но потерпите... вы все узнаете... Накануне свадьбы... поздно вечером толстый высокий лысый господин приезжает на почтовых; господин Родольф не смог приехать... он заболел, но толстый лысый господин заменил его... Именно тогда, моя дорогая Луиза, мы узнали, что наш общий благодетель был... догадайтесь кем?.. Принцем!

– Принцем?

– Что я говорю, принц... Его королевское высочество, великий герцог, подобие короля... Это мне объяснил Жермен.

– Господин Родольф?

– Да, моя бедная Луиза! А я его попросила, чтобы он помог мне натереть пол в комнате!

– Принц... почти что король! Вот почему у него такая возможность делать добро людям.

– Представляете себе мое смущение, Луиза. Поэтому, узнав, что он почти король, я не осмелилась отказать от приданого. Мы повенчались. Неделю спустя он передал нам – мне, Жермену и госпоже Жорж, что он будет очень рад, если мы нанесем ему свадебный визит; мы поехали к нему. Ну, конечно, вы понимаете, у меня сильно билось сердце; мы прибыли на улицу Плюме, вошли во дворец, прошли по залам, переполненным лакеями в ливреях; господами в черных костюмах, с серебряными цепями на шеях и шпагами на боку; офицерами в нарядной форме; да что я говорю, а позолота, позолота повсюду так и сверкала, просто ослепительно. Наконец мы встретили в зале лысого господина и других знатных лип в парадных мундирах; лысый господин нас провел в большой кабинет, где мы встретили господина Родольфа... то есть принца, очень скромно одетого, вид у него был милый, такой простой, без всякой гордости... словом, он выглядел совсем как прежний господин Родольф, и я сразу почувствовала себя свободно и вспомнила, как я раньше просила его приколоть мне шаль, очинить карандаши, взять меня под руку во время прогулки.

– Вы уже не боялись? О, я бы дрожала от страха!

– Нет, я не боялась. После того как он с учтивостью встретил госпожу Жорж, и протянул руку Жермену, принц сказал мне, улыбаясь: «Ну что, соседка, как поживают папа Пету и Рамонетта?» – (это имена моих птиц); надо же быть таким любезным, чтобы вспомнить о них. «Я уверен, – добавил он, – что теперь вы и Жермен соперничаете с вашими хорошими птичками, исполняя радостные песни?» – «Да, монсеньор (госпожа Жорж учила нас всю дорогу, меня и Жермена, что принца следует величать монсеньор). Да, монсеньор, мы очень счастливы, и наше счастье кажется нам еще отраднее и больше, потому что всем этим мы обязаны вам». – «Это не мне вы обязаны, дети мои, а вашим замечательным достоинствам и достоинствам Жермена». И так далее, и так далее. Я не буду повторять всех его комплиментов. Вскоре мы расстались с этим сеньором с тоской в сердце, так как больше его не увидим. Он сказал нам, что через несколько дней возвращается в Германию, быть может, он уже уехал; уехал или нет, мы всегда будем вспоминать его.

– Как должны быть счастливы его подданные, имея такого правителя!

– Судите сами! Он нам сделал столько добра, нам, совсем для него чужим. Я забыла вам сказать, что это происходило на ферме, где жила одна из моих приятельниц по тюрьме, добрая, честная девушка, к ее счастью, она тоже повстречалась с господином Родольфом, но госпожа Жорж наказала мне не напоминать об этом принцу; не знаю почему... Конечно, потому, что он не любит, когда ему говорят о его добрых делах. Наверняка известно, что эта милая Певунья, оказывается, нашла своих родителей, которые увезли ее с собой, очень далеко отсюда; жаль только, что мне не удалось проститься с ней до ее отъезда.

– Да что вы, тем лучше, – с горечью произнесла Луиза, – она ведь так же счастлива...

– Милая Луиза, прости... я такая эгоистка! Это правда, я только и говорю о счастье... вам, у которой еще столько причин горевать.

– Если бы остался жив мой ребенок, – с грустью проговорила Луиза, прерывая Хохотушку, – это бы меня утешило; а теперь какой честный человек захочет на мне жениться, хотя у меня и есть средства?

– Напротив, Луиза, я считаю, что понять ваше положение может только порядочный человек; да, когда он узнает все, когда познакомится с вами, он будет только жалеть вас, будет вас уважать и будет уверен, что он встретит в вашем лице хорошую и достойную жену.

– Вы говорите, чтобы утешить меня.

– Нет, я говорю потому, что это правда.

– Во всяком случае, правда или нет, мне всегда отрадно вас слышать, и я благодарю вас. Но кто же это идет сюда? Смотрите, господин Пипле и его жена! Боже, какой у него довольный вид, а ведь в последнее время он был такой несчастный из-за шуток Кабриона.

Действительно, супруги Пипле, улыбаясь, подходили к ним. Альфред в своей обычной шляпе, изумительном светло-зеленом, с иголочки, сюртуке, с вышитым по краям галстуком, в

рубашке, огромный воротник которой наполовину закрывал его щеки; свободный жилет ярко-желтого цвета с широкими коричневыми полосами, черные, не слишком длинные брюки, ослепительной белизны туфли, начищенные яичным кремом; все это дополняло его забавный наряд. Анастаси красовалась в малиновом шерстяном платье, на котором ярко выделялась темно-синяя шаль. Она горделиво выставляла напоказ свой только что завитой парик, держа в руке чепчик за его зеленые ленты, словно это был ридикюль.

Лицо Альфреда, обычно столь важное, сосредоточенное, а в последнее время столь удрученное, теперь сияло торжеством и блаженством; издали увидев Луизу и Хохотушку, он кинулся к ним навстречу с возгласом:

– Освобожден... уехал!

– О боже, господин Пипле, – сказала Хохотушка, – какой у вас радостный вид, право, что с вами?

– Уехал... Мадемуазель, вернее, госпожа, хочу я, могу я, должен же я сказать, что теперь вы точно похожи на Анастаси благодаря замужеству, так же, как господин Жермен стал точно похож на меня.

– Вы исключительно любезны, господин Пипле, – улыбаясь, произнесла Хохотушка, – но, скажите все же, кто уехал?

– Кабрион, – воскликнул Пипле, вдыхая и выдыхая воздух с невыразимым удовлетворением, как будто он освободился от тяжелого груза. – Кабрион покинул Францию навсегда... совсем... навечно... наконец-то уехал.

– Вы убеждены в этом?

– Я видел своими глазами, как вчера он садился в дилижанс на Страсбург, вместе со всем багажом, со всеми вещами, с футляром от шляпы, муштабелем, ящиком для красок.

– Что он тут вам городит, мой милый старик? – спросила Анастаси, запыхавшись от быстрой ходьбы, так как ей было трудно догонять бежавшего мужа. – Держу пари, что он говорил с вами об отъезде Кабриона. Он всю дорогу только об этом и твердил.

– Дело в том, Анастаси, что я ног под собой не чувствую от счастья. Раньше мне казалось, что моя шляпа на свинцовой подкладке; теперь можно сказать, что меня ветер уносит в небеса! И он больше не вернется... уехал... наконец... уехал!

– Этот негодяй! Слава богу!

– Анастаси... пощадите уехавших... Счастье делает меня снисходительным: я скажу только, что это был мерзкий повеса.

– А как вы узнали, что он уезжает в Германию? – спросила Хохотушка.

– От одного друга, знакомого моего, лучшего из жильцов. Кстати, этого благородного человека вы знаете; благодаря хорошей рекомендации, которую он передал через вас, Альфред назначен привратником – сторожем ломбарда и благотворительного банка, основанного в нашем доме доброй душой, мне кажется, душа эта – господин Родольф, а сам он – благодетель, совершающий добрые дела.

– Вот и прекрасно, – заметила Хохотушка, – а мой муж назначен директором этого банка, конечно, также по милости господина Родольфа.

– Превосходно... – весело воскликнула госпожа Пипле. – Тем лучше! Приятнее иметь дело со знакомыми, чем с чужими, лучше видеть привычные лица, нежели новые. Но вернемся к Кабриону, представьте себе, что какой-то высокий, толстый, лысый господин, пришедший к нам сообщить о назначении Альфреда сторожем, спросил у нас, не здесь ли жил некий весьма талантливый художник по имени Кабрион. Услышав имя Кабриона, мой милый старикан вскочил как ошпаренный и весь задрожал. К счастью, высокий толстый лысый господин продолжал: «Этот молодой художник уезжает в Германию; один богатый человек увозит его туда для работ, которые задержат его там на несколько лет... быть может, он навсегда останется за границей». В подтверждение этого господин сообщил моему старику день отъезда Кабриона и адрес почтово-пассажирской конторы.

– И я пережил нежданное счастье, прочитав в списке пассажиров: Кабрион, художник, выезжает в Страсбург и далее за границу.

- Отъезд был назначен на сегодняшнее утро.
- Я пришел в это время с моей супругой на почтовую станцию.
- Мы видели, как этот подлец поднялся на империал и уселся рядом с кондуктором.
- И, наконец, когда экипаж тронулся, Кабрион меня заметил, обернулся и закричал: «Я уезжаю насовсем... твой на всю жизнь!» К счастью, труба кондуктора почти заглушила его последние слова и фамильярное обращение ко мне на ты, которое мне противно, но наконец... он, слава богу, уехал.
- И уехал навсегда, господин Пипле, – сказала Хохотушка, едва удерживаясь от смеха. – Но то, чего вы не знаете и что должно вас удивить... Господин Родольф был...
- Кем?
- Переодетым... его королевским высочеством.
- Полноте, это шутка, – сказала Анастази.
- Клянусь вам жизнью моего мужа, – серьезно заявила Хохотушка.
- Король моих жильцов... его королевское высочество, – воскликнула Анастази. – Да что вы!.. А я – то просила его посмотреть за моей швейцарской!.. Простите, простите... – И она машинально надела свой чепец, полагая, что так более прилично говорить о принце.
- Альфред же, наоборот, несмотря на свою привычку не снимать шляпу, на этот раз снял ее, отвесил глубокий поклон отсутствующему принцу, воскликнув:
- Принц, его высочество, у нас в швейцарской!.. И он видел меня в нижнем белье, когда я лежал в постели благодаря недостойному поведению Кабриона!
- В этот момент госпожа Жорж обернулась и сказала своему сыну и Хохотушке:
- Милые дети, вот и доктор.

Глава XV ГРАМОТЕЙ

Лицо доктора Гербена, человека зрелого возраста, было одухотворенное и умное, взгляд глубоко пронизательный, а улыбка исключительно добрая.

Его от природы мелодичный голос становился ласковым, когда он обращался к душевнобольным; вот почему мягкость тона, благодушие его слов часто успокаивали обычную раздражительность этих несчастных. Он одним из первых применил при лечении безумия сострадание, доброжелательство, вместо ранее бытовавшего метода жестокого принуждения; никаких цепей, никаких побоев, обливаний, изоляций, все это только лишь в исключительных случаях.

Благодаря своему выдающемуся уму он понял, что навязчивая идея, безумие, бешенство обостряются при лишении свободы больных, при жестоком обращении с ними; и наоборот, когда они общаются друг с другом, то возникает множество отвлечений, неожиданных происшествий, которые не дают им возможности углублять свою навязчивую идею, тем более губительную, что она обострилась бы, если б они находились в одиночестве и подвергались запугиванию.

Итак, опыт доказывает, что для умалишенных изоляция столь же губительна, сколь она полезна для уголовных преступников... умственное расстройство больных усиливается от пребывания в одиночестве, так же, как расстройство или, точнее, моральное разложение заключенных усиливается и становится неизлечимым при общении с такими же преступниками.

Бесспорно, пройдут годы, и современная система наказаний, с ее тюрьмами общего заключения, настоящей школы подлости, с ее каторгой, цепями, позорными столбами, эшафотами, покажется столь же дикой и жестокой, сколь старый метод лечения душевнобольных представляется нам ныне нелепым и ужасным...

.....

- Доктор, – обратилась госпожа Жорж⁶⁶ к доктору Гербену, – я позволила себе сопровож-

⁶⁶ Мы знаем, что посещение душевно больных женщинами исключительно затруднено; приносим извинение чи-

дать моего сына и невестку, хотя и не знаю господина Мореля. Положение этого прекрасного человека мне показалось столь интересным, что я не смогла воспротивиться желанию присутствовать с моими детьми при полном просветлении его ума, на что вы, как известно, рассчитываете; это должно произойти после испытания, которому вы его подвергнете.

– Во всяком случае, я рассчитываю, что присутствие дочери больного и лиц, которых он привык видеть, благоприятно скажется на его состоянии.

– Когда арестовали моего мужа, – с волнением заговорила госпожа Морель, указывая доктору на Хохотушку, – наша милая соседка помогла мне и моим детям.

– Мой отец также хорошо знал господина Жермена, который всегда оказывал нам добрые услуги, – добавила Луиза. Затем, обратив взор на Альфреда и Анастаси, она продолжила: – Супруги Пипле – привратники нашего дома. Они по мере сил тоже помогали нашей семье в несчастье.

– Я благодарю вас, – сказал доктор Альфреду, – что вы потрудились и пришли сюда; но, судя по всему, этот визит оказался вам по душе!

– Сударь, – ответил Пипле, почтительно кланяясь, – люди должны оказывать помощь друг другу здесь, на земле... они братья... не говоря уже о том, что отец Морель достойнейший среди честных людей... до того, как он потерял разум вследствие ареста его милой дочери Луизы....

– А я даже сожалею, – заметила Анастаси, – что миска, которую я выплеснула на плечи полицейских, была не с расплавленным свинцом, а с горячим супом... правда, старичок, да, с расплавленным свинцом?

– Я должен подтвердить, что моя жена была предана семье Мореля.

– Если вы не боитесь душевнобольных, – сказал доктор Гербен матери Жермена, – мы пойдем через несколько дворов, чтобы достичь крайнего здания, куда я попросил, кстати, привести Мореля, вместо того чтобы отправлять его на ферму, как мы обычно это практикуем.

– На ферму? – спросила госпожа Жорж. – Здесь имеется ферма?

– Это вас удивляет? Я понимаю. Да, у нас здесь есть ферма, получаемые с нее продукты – весьма значительное подспорье для нашего дома, а работники на ней – сами душевнобольные.⁶⁷

– Они там работают на свободе?

– Конечно, работа, тишина полей, природа – лучшее целебное средство... Один лишь надзиратель сопровождает их, и почти не было случая, чтобы кто-нибудь бежал; они очень охотно идут туда и очень довольны... а небольшая плата, которую они зарабатывают, служит для улучшения условий их жизни... доставляет им маленькое удовольствие. Вот мы и пришли к воротам. – Затем, заметив легкое опасение на лице госпожи Жорж, доктор добавил: – Не бойтесь ничего... Через мгновение вы будете столь же спокойны, как и я.

– Я следую за вами. Идемте, дети.

– Анастаси, – тихо произнес Пипле, шедший со своей женой позади всей группы, – когда я подумаю, что, если бы адское преследование Кабриона продолжалось... твой Альфред сошел бы с ума и находился бы здесь среди этих несчастных, которых мы увидим в странных одеждах, закованных в цепи или сидящих в клетке, как хищные звери в зоологическом саду.

– Не говори мне о них, мой голубчик... Я слышала, что сошедшие с ума от любви становятся словно обезьянами, как только увидят женщину... Они кидаются к решеткам своих клеток, издавая ужасные крики... Для того чтобы их успокоить, сторожа бьют их хлыстом, поливают головы холодной водой, падающей с высоты в сто футов... но даже этого мало, чтобы их утихомирить.

– Анастаси, не подходи к клеткам сумасшедших, – серьезно заявил Альфред, – может произойти несчастье!

– Было бы невеликодушным дразнить их, – с унынием заметила Анастаси, – ведь наши ча-

тателю за вымысел, необходимый для нашего повествования.

⁶⁷ Эта ферма — замечательное заведение лечебного назначения — расположена невдалеке от Бисетра.

ры превращают мужчин в безумных. Послушай, я пугаюсь, Альфред, когда думаю, что, если бы я отказалась дать тебе счастье, ты, быть может, сошел бы с ума от любви, как эти бешеные... Наверное, так же ринулся бы к решеткам, как только увидел женщину, и стал бы рычать, бедняжка... ты, который ныне спасаешься от них, когда они тебя раздражают.

– Я щепетилен, но чувствую себя неплохо. Анастаси, ворота открываются, боюсь... Мы сейчас увидим омерзительные лица, услышим звон цепей, скрежет зубов...

Как видно, супруги Пипле не слышали разговора доктора Гербена и поэтому разделяли народные предрассудки, и поныне существующие о больницах умалишенных, предрассудки, которые, впрочем, сорок лет тому назад являлись ужасающей действительностью.

Ворота двора открылись. Этот двор, образуя длинный четырехугольник, был засажен деревьями, в нем были расставлены скамейки, с каждой стороны двора тянулись галереи причудливой архитектуры. На эти галереи выходили двери хорошо проветриваемых комнат. Человек пятьдесят душевнобольных в одинаковых серых халатах прогуливались, беседовали либо молчали в задумчивости, греясь на солнце.

Ничего общего с тем обычным представлением, которое существует у нас об эксцентрической одежде, об искаженных лицах умалишенных; нужно было обладать большим опытом, чтобы обнаружить на этих лицах признаки безумия.

По прибытии доктора Гербена большая группа радостных и взволнованных больных окружила его, они приветствовали доктора с трогательным выражением доверия и благодарности, а он с сердечностью отвечал им:

– Здравствуйте, здравствуйте, милые друзья. Некоторые из этих несчастных стояли вдалеке от доктора

и потому не могли подать ему руку, зато робко протянули руки тем, кто его сопровождал.

– Добрый день, друзья, – сказал Жермен, добродушно пожимая руки, что, казалось, крайне восхищало их.

– Сударь, – обратилась госпожа Жорж к доктору, – они сумасшедшие?

– Здесь наиболее буйные в нашем доме, – улыбаясь, ответил доктор. – День они проводят, общаясь друг с другом, только лишь на ночь их запирают в комнаты, открытые двери которых вы видите.

– Неужели эти люди настоящие сумасшедшие?.. А когда же они становятся буйными?..

– Прежде всего... в начале болезни, когда их приводят сюда; затем мало-помалу на них воздействует лечение, вид других больных их успокаивает, отвлекает от дурных мыслей, ласковое обращение их утешает, и сильные приступы возникают все реже и реже... Смотрите, вот один из наиболее буйных.

Это был могучий нервный мужчина лет сорока, с черноволосой шевелюрой, с пронизательным взглядом, умным выражением лица. Он не спеша приблизился к доктору, с изысканной учтивостью, смущаясь, сказал:

– Доктор, я должен в свою очередь занимать слепого, гулять с ним; честь имею заметить вам, что вопиющей несправедливостью является то, что этого слепого лишают права встречаться со мной и заставляют его... (и сумасшедший с презрительной горечью улыбнулся) слушать глупую болтовню совершенно чужого (я думаю, что не ошибаюсь), совершенно незнакомого идиота, не сведущего даже в начатках каких-либо знаний, тогда как беседы со мной развлекают слепого. Так, я бы рассказал ему, – быстро затараторил он, – я бы выразил свое мнение о поверхностях изотермических и прямоугольных, указав ему то, что уравнение со многими неизвестными, геометрическое начертание которых сведено к двум прямоугольным поверхностям, вообще говоря, не интегрируется вследствие его сложности. Я бы доказал ему, что сопряженные поверхности неизбежно становятся изотермами, и мы вместе установили бы, какие поверхности способны составить тройную изотермическую систему... если я не заблуждаюсь... сопоставьте это разумное времяпрепровождение с глупостями, которыми занимают слепого, – заявил умалишенный, переводя дух, – и скажите мне, разве это не убийство лишать его встреч со мной?

– Не думайте, что это измышления безумца, – тихо произнес доктор, – он оперирует иногда очень сложными вопросами геометрии, астрономии, с пронизательностью, которая делала бы

честь самым выдающимся ученым... Его знания огромны. Он говорит на всех живых языках; но, увы, его мучит желание познать все, и он гордится этим. Ему представляется, что все человеческие знания воплощены лишь в нем и что, не выпуская его отсюда, мы погружаем человечество во мрак глубокого невежества.

Доктор громко ответил помешанному, который, казалось, ожидал ответа с почтительным волнением:

– Мой дорогой господин Шарль, ваше требование представляется мне в высшей степени справедливым, и этот бедный слепой, – кажется, он еще и немой, но, к счастью, не глухой, – будет наслаждаться безграничным обаянием речей, произносимых таким ученым мужем, как вы. Я займусь этим вопросом, и справедливость будет восстановлена.

– К тому же, задерживая меня здесь, вы лишаете вселенную всех человеческих знаний, приобретенных и усвоенных мною, – заявил больной, постепенно воодушевляясь и начиная жестикулировать с исключительным возбуждением.

– Полноте, успокойтесь, мой милый Шарль. К счастью, вселенная еще не заметила, кого ей недостает; как только она потребует, мы не замедлим удовлетворить ее желание, в любом случае, человек ваших способностей, ваших знаний всегда сможет оказать великие услуги человечеству.

– Но ведь я для науки все равно что Ноев ковчег для природы, – воскликнул он с блуждающим взором, скрежеща зубами.

– Мне это известно, мой друг.

– Вы хотите скрыть от людей правду! – воскликнул он, сжимая кулаки. – Но тогда я вас разобью, как стекло, – заметил он с угрожающим видом; лицо его покраснело от гнева, а жилы так вздулись, что, казалось, готовы были разорваться.

– Ах, господин Шарль, – отвечал доктор, пристально и пронизательно глядя на безумного и придавая своему голосу ласковый и льстивый тон, – я-то думал, что вы величайший ученый современности...

– И прошлого! – воскликнул безумец, сменяя свой гнев на гордость.

– Вы не позволили мне договорить, что вы являетесь величайшим ученым прошлых веков и современности...

– И будущего, – с гордостью добавил сумасшедший.

– О, несносный болтун, он постоянно прерывает меня, – улыбаясь, заметил доктор, похлопывая его по плечу. – Разве можно сказать, что я не знаю, какое восхищение вы внушаете и какое уважение вы заслуживаете!.. Ну ладно, идемте к слепому... проводите меня к нему.

– Доктор, вы – славный человек; пойдемте, пойдемте, вы увидите, что его принуждают выслушивать, в то время как я смог бы рассказать ему изумительные вещи, – продолжал помешанный, совершенно успокоившись и шагая впереди доктора во вполне умиротворенном состоянии.

– Признаюсь вам, сударь, – сказал Жермен, приблизившись к матери и жене (он заметил, что они пришли в ужас, когда умалишенный неистово говорил и жестикулировал), – в какой-то момент я боялся вспышки безумия.

– Господи, прежде, как только возникло возбуждение, первый угрожающий жест этого несчастного, сторожа набросились бы на больного, связали бы его по рукам и ногам, стали бы его бить, поливать холодной водой, применять самые ужасные пытки, которые можно себе представить... Судите о воздействии такого метода лечения на энергичный и раздражительный организм, реакция которого тем сильнее, чем больше применяется принудительных мер. Тогда у больного начался бы буйный припадок, перед которым безрезультатны насильственные меры, повторяясь все чаще, они приводили бы в отчаянье больного, и болезнь стала бы почти неизлечимой; в то время как, видите, если не подавлять внезапную вспышку безумия или рассеивать ее, пользуясь крайней неустойчивостью мысли больного, подобное явление наблюдается у большинства умалишенных, мимолетное возбуждение утихает столь же мгновенно, как и возникает.

– А кто же тот слепой, о котором он говорит? Это заблуждение его ума? – спросила госпожа Жорж.

– Нет, сударыня, это довольно странная история, – ответил доктор. – Слепой был взят в од-

ном из притонов на Елисейских полях, где была арестована банда воров и убийц. Этого человека нашли закованным в цепи посреди подземного погреба, рядом с трупом женщины, так ужасно изуродованной, что нельзя было ее узнать.

– Ужасно... – задрожав, прошептала госпожа Жорж.⁶⁸

– Этот человек страшно уродлив, все его лицо изъедено серной кислотой. С тех пор как его привезли сюда, он не произнес ни слова. Я не уверен, действительно ли он немой или притворяется немым. По странной случайности приступы безумия возникают у него ночью, во время моего отсутствия. К несчастью, все вопросы, с которыми к нему обращаются, остаются без ответа; нет никакой возможности узнать о его положении; его припадки вызываются яростью, причина которой неизвестна, ибо он постоянно молчит. Другие умалишенные проявляют к нему большое внимание, они водят его гулять и с удовольствием общаются с ним, увы, сообразно уровню своих знаний. Смотрите... вот и он...

Все лица, сопровождавшие доктора, в ужасе отступили при появлении Грамотея, это был он.

Он не был сумасшедшим, но подделывался под него и безумного.

Он убил Сычиху не в припадке безумия, а в приступе лихорадки, которая возникла у него в первый раз в Букевале.

Вслед за арестом в кабаке на Елисейских полях, оправившись от внезапной горячки, Грамотей проснулся в одном из помещений дома предварительного заключения в Консьержери, куда его временно поместили как умалишенного. Услышав, что о нем говорят «буйный, сумасшедший», он решил продолжать играть эту роль и представился абсолютно немым, чтобы не выдать себя на допросах, если возникнут сомнения в его вымышленной душевной болезни.

Эта хитрость ему удалась. Отправленный в Бисетр, он симулировал от времени до времени сильные припадки безумия, всегда избирая ночи для их демонстрации, с тем чтобы избежать внимательного осмотра, производимого главным врачом. Дежурный хирург, разбуженный и вызванный второпях, обычно являлся к концу кризиса, когда больной уже приходил в себя.

Многие сообщники Грамотея, знавшие его настоящее имя и то, что он бежал с каторги Рошфор, не были осведомлены, кем он стал, и совсем не были заинтересованы доносить на него; поэтому установить его настоящее имя так и не смогли; он же надеялся навсегда остаться в Бисетре, продолжая изображать сумасшедшего и негомо.

Да, это была единственная надежда, единственное желание этого человека, потому что отсутствие возможности наносить вред парализовало его жестокие инстинкты. Благодаря полному одиночеству, в котором он жил в подвале Краснорукого, угрызения совести, как известно, понекому смягчили его каменное сердце.

Лишенный всяких связей с внешним миром, он сосредоточил свой разум на непрерывном размышлении и воспоминаниях о совершенных преступлениях. Его мысли часто появлялись в виде образов, в виде картин, возникающих в его сознании, – так он объяснял Сычихе, – тогда перед ним не раз появлялись черты лица его жертв, но это не было безумие, это была сила воспоминаний, доведенная до высшей степени выразительности.

Таким образом, этот человек во цвете лет, атлетического сложения, которому предстояла еще долгая жизнь, этот человек, обладавший ясным умом, должен был проводить долгие годы среди умалишенных, притворяясь совершенно немым, либо, если бы его притворство обнаружили, ему грозил эшафот за совершенные им новые убийства или его приговорили бы к вечному заключению среди злодеев, к которым он питал глубокую ненависть, все возраставшую по мере того, как он раскаивался.

Грамотей сидел на скамье, лес седеющих волос покрывал его огромную, безобразную голову; облокотившись на колени, он поддерживал руками подбородок. Хотя эта отвратительная маска была лишена глаз, две дыры на лице заменяли ему нос, а рот у него был бесформенный,

⁶⁸ Родольф не поставил в известность госпожу Жорж о судьбе Грамотея после того, как этот последний бежал с каторги Рошфора.

его чудовищное лицо выражало глубокое неизлечимое отчаяние.

Душевнобольной юноша с печальным доброжелательным и нежным лицом стоял на коленях перед Грамотеем, держа его крепкие руки в своих руках, добродушно взирал на него и ласковым голосом беспрестанно повторял одни и те же слова: «Земляника... земляника... земляника...»

– И вот единственное, что может сказать слепому этот идиот, – с важностью произнес ученый безумец. – Если у него глаза закрыты, то глаза его духа несомненно открыты, и он был бы благодарен, если бы я нашел с ним контакт.

– Не сомневаюсь в этом, – заявил доктор, в то время как несчастный безумец меланхолическим взглядом с состраданием созерцал отвратительное лицо Грамотея, умиленно повторяя: «Земляника... земляника... земляника...»

– С тех пор как он прибыл сюда, этот несчастный сумасшедший произносит только эти слова, – пояснил доктор, обращаясь к госпоже Жорж, которая с ужасом смотрела на Грамотея. – Какой смысл он вкладывает в эти слова... единственные, которые он произносит... я не могу постигнуть...

– Боже мой, мама, – обратился Жермен к госпоже Жорж, – как удручен этот несчастный слепой...

– Правда, дитя мое, – ответила госпожа Жорж, – у меня невольно сжимается сердце... Мне тяжело на него смотреть. О, как печально видеть человечество в облике этого мрачного субъекта!

Едва госпожа Жорж произнесла эти слова, как Грамотей задрожал; его изуродованное лицо побледнело так, что шрамы стали еще заметнее. Он поднял и быстро повернул голову в сторону матери Жермена; она не могла удержать крик ужаса, хотя и не знала, кто был этот несчастный.

Грамотей узнал голос своей жены и из слов госпожи Жорж убедился, что она разговаривает со своим сыном.

– Что с вами, мама? – воскликнул Жермен.

– Ничего, мой милый... но жест этого человека... выражение его лица... все это... меня напугало. Пожалуйста, извините мою слабость, – обратилась она к доктору. – Я почти сожалею, что, уступив любопытству, пошла сопровождать сюда моего сына.

– О, ведь это единственный раз!.. Об этом не стоит жалеть...

– Конечно же наша дорогая мама никогда не придет сюда, и мы тоже, не правда ли, милый Жермен, – сказала Хохотушка. – Здесь так грустно... просто сердце разрывается.

– Полноте, вы ведь маленькая трусиха. Не правда ли, доктор, – улыбаясь, сказал Жермен, – что моя жена трусиха?

– Признаюсь, – ответил доктор, – что вид этого несчастного слепого и немого меня удручает... – а я-то ведь видел многих несчастных.

– Какая рожица... а, милый старичок? – тихо сказала Анастази. – Вот что, слушай, по сравнению с тобою... все мужчины кажутся мне столь уродливыми, как и этот несчастный... Вот почему никто из мужчин не может похвастаться тем... ты понимаешь, мой Альфред?

– Анастази, это лицо я увижу во сне... точно... у меня будет кошмар...

– Мой друг, – обратился доктор к Грамотею, – как вы себя чувствуете?..

Грамотей безмолвствовал.

– Вы, значит, меня не слышите? – произнес доктор, легонько поглаживая его по плечу.

Грамотей ничего не отвечал, поник головой; вскоре... из его незрячих глаз покатились слеза...

– Он плачет, – сказал доктор.

– Несчастный человек, – с состраданием добавил Жермен. Грамотей содрогнулся; он вновь услышал голос своего сына... Его сын чувствовал к нему сострадание.

– Что с вами? Какое горе вас удручает? – сказал доктор. Грамотей молча закрыл лицо руками.

– Мы от него ничего не добьемся, – произнес доктор.

– Позвольте мне им заняться, я его утешу, – заметил ученый безумец с важным, претенци-

озным видом. – Я сейчас ему докажу, что всякого рода ортогональные поверхности, где все три системы являются изотермами: 1) системы поверхностей второго порядка; 2) системы эллипсоидов, вращающихся вокруг малой и большой осей; 3) те... нет, в самом деле, – продолжал безумец, восхищаясь и размышляя, – я расскажу ему о планетной системе.

Затем, обратившись к молодому сумасшедшему, все еще стоявшему на коленях перед Грамотеем, он произнес: «Катись отсюда со своей земляникой»...

– Мой мальчик, – обратился доктор к молодому больному, – нужно, чтобы каждый из вас в свою очередь сопровождал и занимал этого бедного человека... Позвольте вашему товарищу занять ваше место...

Молодой человек тотчас подчинился, поднялся, робко взглянул на доктора своими большими голубыми глазами, почтительно поклонился, махнув рукой, попрощался с Грамотеем и удалился, жалобным голосом повторяя: «Земляника... земляника...»

Доктор, заметив, какое удручающее впечатление произвела эта сцена на госпожу Жорж, объяснил ей:

– К счастью, мы идем к Морелю, и, если моя надежда осуществится, ваша душа воссияет, когда вы увидите, как этот замечательный человек обрадуется, встретив свою жену и дочь.

И доктор удалился в окружении сопровождавших его лиц.

Грамотей остался один с ученым безумцем, который начал ему объяснять, к тому же с глубоким знанием этого вопроса и весьма красноречиво, величественное передвижение светил, бесшумно огибающих гигантское небесное пространство и обретающих ночью естественную форму... Но Грамотей не слушал его.

С глубоким отчаянием он размышлял о том, что больше никогда не услышит голоса ни сына, ни жены... Боясь, что он сможет навлечь на них несчастье, позор, страх, если бы стало известно его имя, он претерпел бы тысячу смертей, нежели пожелал бы открыться ям... Естественным и последним утешением для него оставалось то, – что он на мгновение внушил жалость своему сыну.

Невольно ему вспомнились слова Родольфа, которые тот сказал ему, прежде чем подверг его страшной каре: «Каждое твое слово теперь богохульство, каждое твое слово станет молитвой. Ты смел и жесток, потому что ты сильный, ты будешь нежен, смирен, потому что ты слаб. Твое сердце не доступно для раскаянья... но придет день, когда ты будешь оплакивать свои жертвы... Из человека ты превратился в жестокого зверя... но настанет день, и твой разум воспрянет благодаря раскаянью. Ты не пощадил даже тех, кого щадят дикие звери, свою самку и своих детенышей... после долгой жизни, посвященной искуплению твоих злодеяний, твоей последней молитвой будет обращение к богу, чтоб он ниспослал тебе неожиданное счастье умереть в присутствии твоих жены и сына...»

.....

– Теперь мы пройдем по двору идиотов и направимся к зданию, где находится Морель, – сказал доктор, выходя со двора, где они видели Грамотея.

Глава XVI МОРЕЛЬ-ГРАНИЛЬЩИК

Несмотря на тяжелое впечатление, произведенное на нее видом умалишенных, госпожа Жорж не удержалась от того, чтобы на минуту не остановиться, проходя мимо решетки двора, где были заперты неизлечимые больные. Несчастные существа! Они часто даже не обладают инстинктом животных, их происхождение почти всегда остается неизвестным: неведомые никому и даже самим себе, они шагают по жизни, лишены чувств, мыслей, испытывая лишь самые ограниченные потребности...

Отвратительное порождение бедности и разврата, происходящее в глубине зловонных трущоб, является причиной потрясающего вырождения рода человеческого... происходящего в

основном среди бедноты.

Если обычно умопомешательство не обнаруживается сразу же при поверхностном наблюдении за лицом душевнобольного, то идиотизм совсем нетрудно распознать по внешности его носителя.

Доктору Гербену не было необходимости обращать внимание госпожи Жорж на дикое слабоумие, тупую бесчувственность или идиотское изумление, которые придавали лицам этих несчастных отвратительное выражение – на них тяжело было смотреть. Почти все были одеты в длинные холщовые блузы, замусоленные и дырявые, так как, несмотря на постоянный надзор, невозможно помешать этим существам, лишенным разума и инстинкта, рвать, пачкать свою одежду, когда они ползают, катаются, как звери, в грязных дворах, где проводят целые дни.⁶⁹

Одни расположились по углам темного сарая, сидя на корточках, тесно прижимаясь друг к другу, как звери в берлоге, издавая протяжный и глухой крик.

Другие стояли, прислонившись к стене, в неподвижном молчании пристально смотрели на солнце.

Тучный, бесформенный старик, сидя на деревянном стуле, с жадностью животного пожирает свой паек, злобно озираясь вокруг.

Некоторые быстро ходили по кругу на небольшом ограниченном пространстве. Это странное занятие продолжалось безостановочно на протяжении нескольких часов.

Другие, сидя на земле, непрерывно покачивались, последовательно наклоняясь вперед и назад, прекращая это монотонное головокружительное движение только для того, чтобы громко расхохотаться пронзительным и гортанным хохотом, свойственным идиотам.

Наконец, были и такие, которые в полной неподвижности открывали глаза лишь во время еды и оставались инертными, безжизненными, глухими, немыми и слепыми, так что ни один крик, ни один жест не свидетельствовал о том, что это живые люди.

Полное отсутствие словесного или духовного общения – наиболее мрачная черта сообщества идиотов. Умалишенные же, несмотря на бессвязность их речей и мыслей, разговаривают, узнают и даже ищут друг друга, – а среди идиотов царит тупое равнодушие или жестокая неприязнь к себе подобным. Они совершенно лишены дара ясной речи; лишь порой издают дикий хохот или стоны и крики, в которых нет ничего человеческого. Лишь очень немногие из них узнают своих сторожей. И все же мы с восхищением повторяем, что они здесь лечатся, эти несчастные люди, которые, казалось бы, уже не принадлежат к человеческому роду и даже не могут быть причислены к животным, так как полностью лишены интеллектуальных способностей; их скорее следует отнести к семейству моллюсков, нежели к одушевленным существам, и они влачат такое жалкое существование всю свою иногда долгую жизнь. И все же для них-то и созданы хорошие условия, о которых они не имеют понятия.

Конечно, хорошо, что мы верны принципу человеческого достоинства в отношении тех несчастных существ, которые сохранили лишь внешний облик человека, но мы будем постоянно повторять, что следует подумать о достоинстве тех, кто полностью наделен разумом, усерден, деятелен, кто представляет собою живую силу нации; нужно внушить им мысль о величии их труда, духовно поддержать их, вознаграждать тех, кто проявляет любовь к труду, честно и самоотверженно исполняет свои обязанности, наконец, не проявлять эгоистического благочестия, провозглашая: мы накажем здесь, на земле, бог вознаградит в небесах.

⁶⁹ Скажем по этому поводу, что видеть спальни и кровати, предназначенные для идиотов, невозможно без глубокого восхищения милосердными умами, которые занимались изучением условий гигиены. Когда подумаешь, что прежде эти несчастные валялись на грязной соломе, а теперь у них отличные кровати, которые поддерживаются в совершенной чистоте при помощи поистине чудесных средств, можно только прославлять тех, кто посвятил себя улучшению условий жизни этих несчастных. Здесь нельзя ожидать благодарности, даже благодарности животного своему хозяину. Это добро, совершаемое для добра, во имя святого понятия — гуманность, и в силу этого оно еще более достойно и возвышенно. Стало быть, невозможно слишком преувеличивать заслуги администраторов и врачей Бисетра, достойно поддерживаемые высоким и справедливым авторитетом доктора Ферусса, который осуществляет общее наблюдение за больницами для умалишенных и которому общество обязано отличным законом о душевнобольных, основанным на его глубоких научных наблюдениях.

.....

– Бедные люди! – сказала г-жа Жорж (она догнала доктора, взглянув в последний раз на идиотов). – Как печально, что невозможно их исцелить.

– Увы, никакой надежды, – ответил доктор, – в особенности в этом возрасте; ибо теперь благодаря прогрессу науки идиотов в детском возрасте воспитывают, и это, по крайней мере, несколько развивает частицу недоразвитого ума, которой они иногда бывают наделены. У нас здесь есть школа, руководители которой проявляют настойчивость, разумное терпение и добились значительных результатов: больных детей очень искусными средствами, применяемыми исключительно в этих случаях, воспитывают в моральном и физическом отношении, и многие знают буквы, цифры, распознают цвет; учителя добились того, что больных учат хоровому пению, и, заверяю вас, есть какое-то странное очарование, трогательное и печальное, которое испытываешь, слушая эти голоса, удивленные, жалобные, а иногда скорбные, обращенные к небесам, когда они поют псалом, все слова которого, хотя и французские, для них непонятны.

Вот мы и подошли к дому, где находится Морель. Я распорядился, чтобы сегодня утром его оставили одного, чтобы эта встреча с вами оказала на него решающее воздействие.

– А каков все же характер его безумия? – шепотом спросила у доктора г-жа Жорж, не желая, чтобы их разговор услышала Луиза.

– Ему кажется, что, если он не заработает тысячу триста франков в день для уплаты долга нотариусу Феррану, Луиза будет казнена за детоубийство.

– Ах, этот нотариус... чудовище, – воскликнула госпожа Жорж, осведомленная о злобе, которую питал нотариус к Жермену. – Луиза Морель, ее отец, и не только они – жертвы этого злодея. Он преследовал моего сына с безжалостным остервенением.

– Луиза Морель мне все рассказала, – ответил доктор. – Благодарение богу, этот негодяй умер. Соизвольте подождать меня здесь с вашими друзьями. Я пойду посмотрю, как себя чувствует Морель.

Затем, обратившись к дочери гранильщика:

– Прошу вас, Луиза, будьте внимательны, когда я закричу «Войдите!», тотчас входите, но одна... Когда я скажу второй раз «Войдите!» – другие присоединятся к вам...

– Сударь, у меня так тревожно на сердце, – сказала Луиза, вытирая слезы. – Бедный отец... если это испытание окажется бесполезным!..

– Надеюсь, что оно спасет его. Я с давних пор применяю этот метод. Не волнуйтесь, следуйте моим предписаниям.

И доктор, покинув сопровождавших его людей, вошел в комнату, решетчатые окна которой выходили в сад.

Благодаря отдыху, здоровому питанию, внимательному уходу лицо гранильщика Мореля уже не казалось бледным, впалым и истомленным болезнью. Полнота его лица, легкий румянец – все это доказывало, что он поправился; но печальная улыбка, некоторая неподвижность взгляда, часто останавливавшегося на каком-нибудь предмете, – все это напоминало, что его разум еще не находился в нормальном состоянии.

Когда вошел доктор, Морель, сидя согнувшись над столом и делая вид, что занимается своим ремеслом гранильщика, сказал:

– Тысяча триста франков... или... Луизу на эшафот... тысяча триста франков... Будем работать... работать... работать... работать...

Это отклонение от нормы, приступы которого наблюдались все реже и реже, всегда было первостепенным симптомом его умопомешательства. Увидев Мореля во власти его навязчивой идеи, доктор, вначале неприятно пораженный, вскоре решил воспользоваться этим обстоятельством. Он вынул из кармана кошелек, куда заранее положил шестьдесят пять луидоров, высыпал их на ладонь и внезапно обратился к Морелю, который, всецело увлеченный своей симуляцией работы, не заметил, как вошел доктор:

– Мой милый Морель... довольно работать... вы уже заработали тысячу триста франков,

нужных вам для спасения Луизы... вот деньги.

И доктор высыпал на стол горсть золотых монет.

– Луиза спасена! – воскликнул гранильщик, быстро собирая монеты. – Я бегу к нотариусу.

И, вскочив на ноги, он ринулся к двери.

– Входите, – закричал доктор с напряженным волнением, так как мгновенное исцеление гранильщика могло зависеть от его первого впечатления.

Как только он произнес «входите», Луиза появилась на пороге в тот самый момент, когда ее отец выходил из камеры.

Морель, пораженный, отступил и выронил из рук золотые монеты.

В течение нескольких минут он в изумлении созерцал Луизу, еще не узнавая ее. В то же время, казалось, он пытался оживить свои воспоминания, затем, постепенно приблизившись к ней, стал смотреть на нее с беспокойным и тревожным любопытством.

Луиза, дрожа от волнения, едва сдерживала слезы, в то время как доктор, жестом обязывая ее молчать, внимательно и безмолвно наблюдал за изменявшимся выражением лица Мореля. Гранильщик, склонившись над своей дочерью, побледнел, обеими руками вытер пот с лица, затем, еще раз шагнув, хотел заговорить с ней, но его голос замер, бледность усилилась, и он, с удивлением оглядываясь вокруг, как будто просыпался от какого-то сна.

– Отлично... отлично... – шепотом сказал доктор Луизе, – хороший признак... когда я скажу «входите», бросайтесь к нему в объятия, называйте его отцом.

Гранильщик, сложив руки на груди, оглядел себя с ног до головы, как бы желая опознать себя. Черты его выражали болезненную неуверенность, вместо того чтобы смотреть на свою дочь, он, казалось, хотел спрятаться от нее. Затем он заговорил тихим прерывистым голосом:

– Нет... нет!.. Это сон... Где я?.. Невозможно... это сон... это не она...

Увидев золотые монеты, разбросанные на полу, он продолжал:

– А это золото... я не помню... значит, я пробуждаюсь?.. Кружится голова... я не осмелюсь взглянуть... мне стыдно... это не Луиза...

– Входите, – громко объявил доктор.

– Папа... вы узнали меня наконец, я Луиза... ваша дочь, – вскричала она, заливаясь слезами и бросаясь в объятия гранильщика. В это время в комнату вошли жена Мореля, Хохотушка, госпожа Жорж, Жермен и чета Пипле.

– О господи, – заговорил Морель, руку которого ласково гладила Луиза, – где я? Что от меня хотят? Что случилось? Я не могу поверить...

Затем, помолчав, положил ладони на голову Луизы, пристально посмотрел на нее с растущим волнением и наконец воскликнул:

– Луиза!

– Он спасен! – произнес доктор.

– Мой муж... мой бедный Морель... – воскликнула жена гранильщика, подойдя к Луизе и Морелю.

– Моя жена, – сказал Морель, – моя жена и дочь!

– Я также, господин Морель, – сказала Хохотушка, – все ваши друзья пришли сюда, чтобы встретиться с вами.

– Да, все ваши друзья, видите, господин Морель, – добавил Жермен.

– Мадемуазель Хохотушка!.. господин Жермен!.. – сказал гранильщик, с удивлением узнавая всех присутствующих.

– И старые друзья из привратничкой тоже, – проговорила Анастази, в свою очередь приближаясь к гранильщику вместе с Альфредом, – вот они, Пипле... старики Пипле... друзья до гроба... смотрите-ка, папаша Морель... сегодня счастливый день.

– Старик Пипле и его жена!.. Столько друзей вокруг меня... Мне кажется, что уже давно... И... но... но, наконец... это ты, Луиза... не так ли? – пылко воскликнул Морель, сжимая в объятиях дочь. – Это ты, Луиза? Конечно же это ты!..

– Дорогой отец... да... это я... это моя мать... А вот здесь все ваши друзья... Вы больше никогда нас не покинете... Вы не будете больше горевать... Мы заживем счастливо, все будем

счастливы.

– Все счастливы... Но... постойте-ка, дайте вспомнить... Все счастливы... Мне все же помнится, что за тобой явились, чтобы увести тебя в тюрьму, Луиза.

– Да... папа... но я оттуда вышла... оправданная... Вот видите... я здесь, подле вас...

– Постойте... постойте... ко мне возвращается память...

И он с ужасом воскликнул:

– А нотариус?..

– Умер!.. Он умер... папа, – ответила Луиза.

– Умер!.. Он!.. Теперь... я верю вам... Мы сможем быть счастливы... Но где я?.. Почему я здесь?.. С какого времени... и почему?.. Не могу ясно припомнить...

– Вы были так серьезно больны, – ответил доктор, – поэтому вас поместили сюда... в деревню. У вас был очень сильный жар, вы бредили.

– Да, да... вспоминаю, что приключилось со мной перед самой болезнью; я разговаривал с дочерью и... кто же, кто же?.. Ах да, один великодушный человек, господин Родольф... спас меня от ареста. После того я, кажется, ничего не помню.

– Ваша болезнь осложнилась отсутствием памяти, – сказал доктор. – Встреча с вашей дочерью, вашей женой, друзьями возвратила вам память.

– А у кого я здесь нахожусь?

– У одного друга господина Родольфа, – поспешил ответить Жермен, – решили, что перемена климата благотворно подействует на вас.

– Прекрасно, – шепотом произнес доктор и, обратившись к сторожу, приказал: – Отправьте фиакр в конец сада, чтобы ему не пришлось проходить мимо больных и выходить через главную дверь.

Как иногда бывает со страдающими временным помешательством, Морель совершенно не помнил и не сознавал, что он был лишен разума.

Несколько минут спустя под руку со своей женой, с дочерью и ассистентом, которого доктор предусмотрительно послал сопровождать больного до Парижа, Морель сел в фиакр и покинул Бисетр, не подозревая, что его здесь лечили от душевной болезни.

.....

– Вы полагаете, что этот бедняга совершенно излечился? – спросила г-жа Жорж доктора, который провозжал ее до главных ворот Бисетра.

– Да, я так полагаю и поэтому решил отпустить его в тот момент, когда он находится под благотворным влиянием встречи со своей семьей; я не осмелился бы сейчас разделять их. К тому же один мой ученик будет следить за ним и укажет ему курс лечения. Я буду навещать его ежедневно, пока он не выздоровеет окончательно, ибо не только я очень им интересуюсь, но, когда он появился в Бисетре, поверенный в делах герцога Герольштейнского поручил мне внимательно следить за его лечением.

Жермен и его мать многозначительно переглянулись.

– Благодарю вас, – сказала г-жа Жорж, – за доброту, с которой вы позволили мне посетить эту больницу, благодарю вас также за то, что мне пришлось присутствовать при этой трогательной сцене, которую вы, с присущими вам знаниями, предвидели и о которой вы нас предупредили.

– Я же весьма счастлив, что достиг успеха, позволившего этому прекрасному человеку возвратиться в лоно своей любимой семьи.

.....

Все еще взволнованные тем, что они видели, г-жа Жорж, Хохотушка и Жермен, а также чета Пипле отправились в Париж.

В то время, когда доктор Гербен возвращался в палаты больных, он встретил одного из чи-

новников главной администрации Бисетра, который ему сказал:

– Ах, дорогой Гербен, вы не представляете себе, при какой сцене я присутствовал. Для такого исследователя, как вы, это послужило бы неисчерпаемым источником.

– Каким образом? Какая сцена?

– Вам известно, что у нас находятся две женщины, приговоренные к смерти, мать и дочь, наутро казнь.

– Да, конечно, знаю.

– Так вот, никогда в жизни я не видал больше отваги и хладнокровия, нежели у матери. Эта женщина – порождение ада.

– Это не вдова Марсиаль, которая так цинично вела себя на суде?

– Она самая.

– Что же еще она совершила?

– Она потребовала, чтобы до казни ее поместили в одной камере с дочерью. Исполнить ее просьбу согласились. Дочь ее, не столь ожесточенная, как мать, кажется, смягчилась с приближением рокового момента, в то время как дьявольская самоуверенность вдовы еще усиливается, если это возможно. Только что в их камере был тюремный священник, предложивший им утешение религии. Дочь готова была его выслушать, но мать, ни на секунду не теряя своего ледяного хладнокровия, обругала ее и священника такими язвительными словами, что досточтимому кюре пришлось покинуть камеру, после того как он напрасно пытался заставить эту неукротимую женщину выслушать несколько слов святой молитвы.

– Накануне казни! Такая дерзость поистине ужасна, – заметил доктор.

– В общем, можно сказать, что всю эту семью преследуют силы античного рока. Отец был казнен, один из сыновей – на каторге, другой, приговоренный к смерти, недавно сбежал. Лишь старший сын и двое малышей избежали этой страшной заразы. Однако мать потребовала, чтобы этот старший сын, единственный порядочный человек из всего отвратительного рода, пришел утром выслушать ее последнюю волю.

– Какая это будет встреча!

– Вы не пожелаете присутствовать там?

– Откровенно говоря, нет. Вы знаете мое отношение к смертной казни, у меня нет необходимости созерцать это ужасное зрелище, чтобы вновь убеждаться в правильности моих взглядов. Если эта страшная женщина остается неукротимой до последнего момента своей жизни, какой же плачевный пример она подает народу!

– Есть в этой казни обеих женщин нечто очень странное – это день, когда она будет происходить.

– А что?

– Сегодня день карнавала.

– Ну и что?

– Завтра казнь должна свершиться в семь часов утра. Значит, толпы ряженных, участвовавшие в ночном веселье, возвращаясь в Париж, обязательно встретятся с траурным кортежем.

– Вы правы, это будет омерзительный контраст.

– Не учитывая того, что к месту казни – воротам Сен-Жак – будет доноситься музыка из соседних кабачков, ведь, празднуя последний день карнавала, в кабаре танцуют до десяти или одиннадцати часов утра.

.....

Наутро взошло яркое лучезарное солнце.

В четыре часа утра несколько отрядов пехоты и кавалерии окружили подходы к Бисетру.

Мы поведем читателя в камеру, где находились вдова казненного и ее дочь Тыква.

ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ

Глава I ПРИГОТОВЛЕНИЕ К КАЗНИ

В Бисетре мрачный коридор с решетчатыми окнами, расположенными почти вровень с землей, вел в камеру смертников.

Свет проникал в камеру лишь через форточку в верхней части двери, выходявшей в едва освещенный коридор, о котором мы уже упоминали.

В этой камере с низким потолком, с влажными позеленевшими стенами и полом, выложенным холодным, как в гробнице, камнем, были заперты мать Марсиаля и ее дочь Тыква.

Угловатое лицо вдовы, жестокое, бесстрастное и бледное, выделялось, словно мраморная маска, в полумраке, царившем в этом закутке. Лишенная возможности пошевелить руками, так как поверх ее черного платья была надета смирительная рубашка, представлявшая из себя длинный плащ из серого холста, стянутый за спиной, рукава которого защиты снизу, образуя мешок, она хочет, чтобы с нее сняли хотя бы чепец, жалуясь на сильный жар в голове... Ее седые волосы рассыпались по плечам. Сидя на краю кровати с опущенными на пол ногами, она пристально смотрит на свою дочь, отделенную от нее шириной камеры.

Тыква, также стиснутая смирительной рубашкой, полулежала, прислонясь к стене; голова ее была низко опущена на грудь, взгляд неподвижен, дыхание прерывисто.

Только легкая судорожная дрожь иногда заставляла ее стучать зубами; но черты лица оставались спокойными, несмотря на мертвенную бледность.

В конце камеры, подле двери, под открытой форточкой, сидит ветеран, с орденом на груди, у него суровое смуглое лицо, лысый череп, длинные седые усы. Он не сводит глаз с приговоренных.

– Здесь адский холод... а между тем мне жжет глаза... мучает жажда... все время хочу пить... – произнесла Тыква. Затем, обращаясь к ветерану, сказала: – Воды, пожалуйста...

Старый солдат поднялся, наполнил из стоявшего на скамейке цинкового жбана стакан воды, подошел к Тыкве и поднес воду к ее рту, так как сама она из-за смирительной рубашки не смогла бы взять стакан в руки.

С жадностью выпив воду, она произнесла:

– Благодарю вас.

– Хотите пить? – обратился солдат к вдове.

Та ответила отрицательным жестом. Солдат вернулся на свое место.

Снова воцарилось молчание.

– Который теперь час? – спросила Тыква.

– Скоро половина пятого, – ответил солдат.

– Через три часа, – с мрачной улыбкой, намекая на время казни, произнесла она, – через три часа...

Она не осмелилась договорить.

Вдова пожала плечами... Дочь поняла ее мысль и продолжала:

– Вы более мужественны, чем я... дорогая мама... никогда не падаете духом... вы...

– Никогда!

– Я это знаю... прекрасно понимаю... на вашем лице такое спокойствие, будто вы у печи в нашей кухне и заняты шитьем... О, давно прошло хорошее время!.. Очень давно!..

– Болтунья!

– Пусть так... вместо того, чтобы сидеть здесь и изнывать в думах... я готова говорить что угодно... болтать...

– Заговорить саму себя? Малодушная!

– Хоть бы и так, милая мама, ведь не все такие стойкие, как вы... Я изо всех сил старалась подражать вам; я не смела вслушиваться в молитву кюре, потому, что вы этого не желали... Хотя, быть может, я совершила ошибку... потому что, ведь... – с трепетом заметила обреченная, – после... кто знает... И это после... так близко... оно... через...

– Через три часа.

– Как вы хладнокровно это произносите, мама!.. Господи! Господи! Ведь это правда... подумать только, что мы здесь... вы и я... ведь мы же здоровые и не хотим умереть... и все-таки через три часа...

– Через три часа ты окончишь жизнь как подобает настоящим Марсиалям. Погрузишься во мрак... вот и все... Мужайся, дочь моя!

– Не следует говорить это бедняжке, – протяжно и внушительно заметил старый солдат. – Лучше бы вы разрешили ей получить утешение от священника.

Вдова с непримиримым презрением пожала плечами, даже не повернув голову в сторону достойного служаки, и продолжала:

– Не падай духом, дочь... мы покажем, что женщины более стойки, нежели мужчины... вместе с их священниками... Подлецы!

– Командир Леблон был самым смелым офицером Третьего стрелкового полка... Я видел его, изрешеченного пулями при взятии Сарагосы... Умирая, он крестился, – произнес старый гвардеец.

– Вы состояли при нем пономарем? – с диким хохотом спросила вдова.

– Я был его солдатом... – грустно отозвался ветеран, – и хотел лишь напомнить вам, что можно перед смертью... молиться и не быть трусом...

Тыква пристально уставилась на этого человека со смуглым лицом, типичного солдата времени Империи, глубокий шрам пересекал его правую щеку и терялся в длинных седых усах.

Простые слова старика, черты его лица и раны, красная орденская лента, которая, казалось, внушала представление о его отваге в сражениях, поразили дочь вдовы.

Она отказалась от напутствий священника только из-за ложного стыда, из-за боязни насмешек матери, а вовсе не в силу душевного ожесточения. В смутном и гаснущем сознании она невольно противопоставила кощунственным шуткам своей матери неколебимую веру солдата. Опираясь на его живое свидетельство, она решила про себя, что можно, не будучи малодушной, прислушиваться и к религиозным инстинктам, коль скоро их не отвергали признанные храбрецы.

– И в самом деле, – произнесла она с грустью, – почему я не пожелала выслушать священника? Почему считать это слабостью? Его молитвы отвлекли бы меня от... и потом... наконец... после... кто знает?

– Ну вот еще! – прервала вдова тоном сухого презрения. – Теперь уже не хватает времени... очень жаль... ты, верно, стала бы монахиней? Когда появится твой брат Марсиаль, ты немедленно превратишься в богомолку. Но он не придет, порядочный человек... хороший сын!

В тот момент, когда вдова произнесла эти слова, раздался шум тяжелого тюремного засова, и дверь отворилась.

– Уже, – закричала Тыква, рванувшись с кровати. – О господи! Казнь приблизили? Нас обманули!

И черты ее лица судорожно исказились.

– Тем лучше... если часы палача спешат... твое ханжество не будет меня позорить.

– Сударыня! – Тюремщик обратился к приговоренной тоном подобострастного сострадания, в котором как бы отдавалась дань приближению смерти. – Ваш сын здесь... желаете его видеть?

– Желаю, – отозвалась вдова, не повернув головы.

– Входите, сударь, – сказал тюремщик.

Марсиаль вошел.

Ветеран не покинул камеры, дверь которой для предосторожности оставалась открытой. Во мраке коридора, полуосвещенного наступающим днем и светильником, можно было видеть несколько солдат и надзирателей: одни сидели на скамье, другие стояли.

Марсиаль был так же бледен, как и его мать, черты его лица выражали тоскливую тревогу, невыразимый ужас, колени дрожали. Несмотря на преступления этой женщины, несмотря на бессердечье, которое она к нему всегда проявляла, он считал себя обязанным подчиниться ее по-

следней воле.

Как только он вошел в камеру, вдова бросила на него пронизательный взгляд и обратилась к нему с приглушенно-гневными словами, пытаясь пробудить и в душе своего сына возмущение.

– Ты видишь... что нам готовится... твоей матери... и сестре.

– Ах, матушка... это ужасно... но я ведь говорил вам, я предупреждал вас!

Вдова поджала бледные губы, сын не понимал ее; однако она продолжала:

– Нас убьют... как убили твоего отца...

– Господи! Господи! И я ничего не могу сделать... все кончено. Теперь... что вы от меня хотите? Почему меня не слушали... ни вы, ни моя сестра? Тогда бы не дошли до этого.

– Ах вот как... – ответила вдова с присущей ей язвительной иронией. – Ты находишь это вполне справедливым?

– Мама!

– Ты, кажется, даже доволен... можешь теперь говорить не лукавя, что твоя мать скончалась... Ведь тебе больше не придется за нее краснеть!

– Если бы я был плохим сыном, – резко ответил Марсиаль, возмущенный такой несправедливой жестокостью, – я не был бы здесь.

– Ты пришел... из любопытства.

– Я пришел... чтобы повиноваться вам.

– Ах, если бы я следовала твоим советам, Марсиаль, вместо того чтобы слушаться приказаний нашей матери... я не была бы здесь! – воскликнула душераздирающим голосом Тыква, уступая наконец глубокой тоске и ужасу, который она сдерживала, боясь матери. – Это ваша вина... будьте вы прокляты, мать!

– Отступница обвиняет меня... Ты должен радоваться, верно? – с усмешкой сказала вдова сыну.

Ничего ей не возразив, Марсиаль приблизился к Тыкве, у которой уже начинались судороги, и с состраданием сказал ей:

– Бедная сестра... теперь уж... слишком поздно...

– Никогда не поздно... быть негодяем! – произнесла мать с холодным бешенством. – О, какой род! Какая семья! К счастью, Николя бежал. К счастью, Франсуа и Амандина... ускользнут от твоих уговоров. Они уже достаточно распущены... Нищета их доконает!

– Ах, Марсиаль, не выпускай их из виду, иначе они кончат бесславно, как я и мать. Им тоже отрубят голову, – воскликнула Тыква, издавая глухие стоны.

– Как бы он ни старался, – воскликнула вдова со свирепым воодушевлением, – порок и голод неизбежно одолеют... и когда-нибудь они отомстят за отца, мать и сестру.

– Ваша бесчеловечная надежда не осуществится, – возмущенно ответил Марсиаль. – Ни им, ни мне не придется бояться нужды. Волчица спасла девушку, которую Николя хотел утопить. Ее родные предложили нам либо наличными, либо земельный участок в Алжире с небольшой суммой на обзаведение, по соседству с той фермой, которую они подарили одному человеку, тоже оказавшему им серьезные услуги. Мы предпочли имение. Дело не лишено опасности, но мы не боимся... ни я, ни Волчица. Завтра мы с детьми уезжаем и никогда в жизни не возвратимся в Европу.

– Это все правда, что ты сказал? – спросила вдова Марсиаль удивленным и раздраженным тоном.

– Я никогда не лгу.

– А сегодня лжешь, чтобы рассердить меня!

– Гневаться на то, что ваши дети будут обеспечены?

– Да! Из волчат пытаются сделать овечек. Значит, кровь отца, сестры, моя кровь не будет отомщена?!

– Сейчас ли говорить об этом?

– Я убивала, меня убьют... Мы квиты.

– Матушка, пора раскаяться...

Вдова снова разразилась зловещим смехом.

– Тридцать лет я совершаю преступления, а для раскаяния мне оставляют всего три дня? Затем смерть... Разве у меня есть на раскаяние время? Нет, нет, моя голова, даже падая, будет скрежетать зубами от бешенства и ненависти.

– Брат, на помощь! Уведи меня отсюда! Сейчас они придут, – пролепетала Тыква слабеющим голосом; несчастная уже начала бредить.

– Умолкнешь ли ты, – воскликнула вдова, раздосадованная видом обезумевшей Тыквы. – Замолчи, наконец! О, какой позор... И это моя дочь!

– Матушка, матушка! – воскликнул Марсиаль, сердце которого разрывалось от этой ужасной сцены. – Зачем вы меня позвали?

– Потому что я надеялась внушить тебе смелость и ненависть... Но в ком нет одного, в том нет и другого, мерзавец!

– Матушка!

– Трус, трус, трус!

В этот момент в коридоре раздалась чья-то тяжелая поступь. Старый солдат вынул часы и посмотрел на них.

Восходящее солнце, ослепительное и лучезарное, образовало полосу золотистого света, проникшую через глухое окно в коридоре напротив камеры.

Дверь открылась, и в камеру хлынул яркий свет. В освещенное пространство надзиратели внесли два кресла,⁷⁰ затем секретарь суда взволнованным голосом сказал вдове:

– Сударыня, настало время...

Приговоренная поднялась, прямая, бесстрастная; Тыква испускала пронзительные вопли.

Вошли четверо мужчин.

Трое из них, одетые довольно небрежно, держали в руках небольшие связки тонкой, но очень прочной веревки.

Самый высокий среди них, одетый в приличный черный костюм, в круглой шляпе, при белом галстуке, вручил секретарю суда документ.

Это был палач.

В сопроводительной бумаге удостоверялось, что обе женщины, осужденные на смертную казнь, переданы палачу. С этого момента эти божьи создания поступали в его полное распоряжение, и отныне он всецело отвечал за них.

Вслед за взрывом отчаяния у Тыквы наступило тупое оцепенение. Помощники палача вынуждены были усадить ее на кровать и поддерживать там. Челюсти ее свело судорогой, и она едва смогла произнести несколько бессвязных слов. Она непрерывно водила вокруг тусклыми глазами, подбородок касался груди, и без поддержки она бы рухнула наземь, будто ворох тряпья.

Марсиаль, в последний раз поцеловав несчастную, стоял неподвижно, ошеломленно, не смея двинуться с места, как бы зачарованный этой ужасной сценой.

Упорная дерзость вдовы не покидала ее; с высоко поднятой головой она сама помогала снять с себя смирительную рубашку, стеснявшую ее движения. Сбросив этот холщовый балахон, она оказалась одетой в поношенное черное платье.

– Куда мне сесть? – спросила она твердым голосом.

– Будьте любезны, устраивайтесь в этом кресле, – сказал ей палач, указывая на одно из них, стоявшее при входе в камеру.

Так как дверь оставалась открытой, можно было увидеть в коридоре надзирателей, начальника тюрьмы, и несколько любопытствующих лиц из привилегированного сословия.

Вдова твердым шагом направилась к указанному ей месту, проходя мимо дочери, она остановилась, приблизилась к ней и растроганным голосом сказала:

– Дочь моя, обними меня.

При звуках материнского голоса Тыква очнулась, выпрямилась и с жестом, полным отвра-

⁷⁰ Обычно «туалет» приговоренных происходит в приемной конторе но, поскольку там производили текущий ремонт, зловещими приготовлениями приходилось заниматься в камерах.

щения, вскричала:

– Если есть ад, то пропадите в нем пропадом!

– Дочь, обними меня, – настойчиво повторила вдова, делая еще шаг в ее сторону.

– Не приближайтесь! Вы погубили меня, – произнесла несчастная, отталкивая мать руками.

– Прости меня!

– Нет, нет, – судорожно воскликнула Тыква. И так как это напряжение исчерпало все ее силы, она почти без чувств упала на руки помощников палача.

Словно облако окутало неукротимое чело вдовы; на мгновение в ее жестоких глазах сверкнули слезы. В этот момент она встретила взгляд сына.

Должно быть, она колебалась, и, словно уступая в душевной борьбе, сотрясавшей ее душу, проронила:

– А ты?

Марсиаль, рыдая, бросился на грудь матери.

– Довольно! – сказала вдова, подавив свое волнение и высвободившись из объятий сына. – Он ждет. – И она указала на палача.

Затем стремительно прошла к своему креслу и села. Луч материнского чувства, осветивший лишь на мгновение мрачную глубину ее души, внезапно померк.

– Сударь, – почтительно обратился ветеран к Марсиалю, участливо подходя к нему, – вам нельзя оставаться здесь, извольте удалиться.

Марсиаль, охваченный ужасом и страхом, машинально последовал за солдатом.

Помощники палача перенесли бесчувственную Тыкву и усадили в кресло, один из них поддерживал ее обмякшее тело, в то время как другой длинной веревкой крепко связывал руки за спиной, а ноги – у щиколоток так, что она могла двигаться лишь мелкими шагами.

Эта операция была и странной и ужасной; тонкая веревка, едва заметная в полумраке, которой эти молчаливые люди ловко и быстро связывали обреченную, казалось, сама собой тянулась из их рук так, словно пауки ткали сеть для намеченной ими жертвы.

Палач и его помощники с тем же проворством опутывали вдову; но черты ее лица несколько не изменились. Время от времени она лишь непроизвольно покашливала.

Когда осужденная была полностью лишена возможности передвигаться, палач, вытащив из кармана длинные ножницы, учтиво сказал ей:

– Соизвольте наклонить голову.

Вдова наклонила голову, промолвив:

– Мы ваши верные клиенты, вы уже имели дело с моим мужем, а теперь очередь наша с дочерью.

Палач молча собрал в левую руку длинные седые волосы осужденной и начал их стричь очень коротко, в особенности на затылке.

– Выходит, что в моей жизни меня причесывали три раза, – с мрачной усмешкой продолжала вдова, – в день моего первого причастия, когда надевали вуаль; в день свадьбы, когда прикалывали флердоранж, и вот сегодня, не так ли, парикмахер смерти?

Палач молчал.

Так как волосы у вдовы были густые и жесткие, то стрижка их была произведена только наполовину, в то время как косы Тыквы уже лежали на полу.

Вдова еще раз внимательно окинула взглядом свою дочь.

– Вы не знаете, о чем я думаю? – спросила она, обращаясь к палачу.

Слышен был лишь звучный скрип ножниц да икота и хрип, то и дело вырывавшиеся из груди Тыквы.

В это время в коридоре появился почтенный священник, он подошел к начальнику тюрьмы и стал тихо разговаривать с ним. Этот святой пастырь хотел попытаться в последний раз смягчить душу вдовы.

– Я вспоминаю, – продолжала вдова через несколько секунд, видя, что палач ей не отвечает, – вспоминаю, что в пятилетнем возрасте моя дочь, которой вскоре отрубят голову, была таким прелестным ребенком, что сейчас это даже трудно представить. У нее были золотистые ло-

коны, розовые щеки. Ну кто бы мог тогда предсказать, что...

Затем, задумавшись, она вновь разразилась хохотом и с выражением, не поддающимся описанию, проговорила:

– Судьба человеческая – какая комедия!

В этот миг последние пряди седых волос упали ей на плечи.

– Я закончил, – вежливо сказал палач.

– Благодарю!.. Поручаю вам моего сына Николая, – сказала вдова, – вы будете и его причесывать в ближайшие дни!

Один из надзирателей подошел к приговоренной и что-то шепнул ей.

– Нет, – решительно ответила она, – я уже вам сказала – нет.

Священник услышал эти слова, обратив взор к небу, сложил руки и удалился.

– Сударыня, мы сейчас тронемся. Вы ничего не пожелаете глотнуть? – почтительно спросил палач.

– Благодарю... достаточно будет глотка сырой земли.

Произнеся эти последние саркастические слова, вдова встала и выпрямилась; ее руки были связаны за спиной; щиколотки соединены веревкой, едва позволявшей ей передвигаться. Хотя она шла уверенно и решительно, палач и его помощник услужливо пытались ей помочь; с нетерпеливым жестом, повелительно и грубо она крикнула:

– Не прикасайтесь ко мне, у меня крепкие ноги, и я хорошо вижу. Когда я взойду на эшафот, то все узнают, какой у меня сильный голос и произнесу ли я слова раскаяния...

И вдова в сопровождении палача и его помощника вышла из камеры в коридор.

Два других помощника вынуждены были нести Тыкву в кресле; она была почти мертва. Пройдя длинный коридор, мрачный кортеж поднялся по каменной лестнице, выходящей на внешний двор.

Солнце заливало своим оранжевым жарким светом верхушки высоких белых стен, окружавших тюрьму и выделявшихся на фоне безбрежного голубого неба; воздух был нежный и теплый; никогда еще, казалось, весенний день не был таким сияющим, таким великолепным.

В тюремном дворе дожидался пикет жандармов департамента, стоял наемный фиакр и длинная узкая карета с желтым кузовом, запряженная тройкой почтовых лошадей, которые нетерпеливо ржали, потряхивая колокольчиками.

Поднимались в эту карету, как в омнибус, через заднюю дверцу. Это сходство вызвало последнюю остроту вдовы:

– Кондуктор не скажет «Свободных мест нет»?

Потом она поднялась на подножку так быстро, насколько ей позволяли путы.

Бесчувственную Тыкву вынесли на руках и положили на скамейку, напротив ее матери; затем захлопнули дверцу.

Кучер фиакра дремал, палач принялся расталкивать его.

– Простите меня, хозяйева, – сказал кучер, просыпаясь и тяжело слезая со своего сиденья. – Досталось мне в эту карнавальную ночь. Я только что отвез в кабачок «Сбор винограда в Бургундии» ватагу переодетых грузчиков и грузчиц, распевавших «Тетка-простушка», когда вы меня наняли.

– Ну ладно. Следуйте за этой каретой... к бульвару Сен-Жак.

– Простите, хозяйева... час тому назад ехал на праздник, а теперь к гильотине, вот ведь что получается.

Два экипажа, сопровождаемые нарядом жандармов, выехали через внешние ворота Бисетра и рысью помчались по дороге, ведущей в Париж.

.....

Глава II МАРСИАЛЬ И ПОНОЖОВЩИК

Мы описали сцену, разыгравшуюся перед казнью осужденных, во всей ее жуткой реальности – она нам представляется веским доказательством:

против смертной казни;

против способа, которым смертная казнь осуществляется;

против ложного мнения о том, что казнь может служить поучительным примером для толпы.

Туалет преступника – самая устрашающая часть смертной казни. Казнь лишена у нас религиозного обряда, без которого не должен быть исполнен приговор, определяемый законом во имя общественного порядка. И вот почему туалет преступника происходит в тайне от толпы.

В Испании, к примеру, совершенно иная церемония: осужденный проводит три дня в часовне, где постоянно перед собой он видит свой гроб; священники непрерывно читают отходную смертникам, днем и ночью раздается похоронный звон.⁷¹

Вполне понятно, что подобного рода приобщение к приближающейся смерти может утратить наиболее закоренелого преступника и оказать спасительное воздействие на толпу, теснящуюся у ограды погребальной часовни.

Кроме того, день казни становится днем всеобщего траура; колокола приходских церквей звонят по усопшему, приговоренного медленно ведут к месту казни. Это скорбная и мрачная церемония; гроб несут впереди, священники поют погребальные молитвы, шествуя рядом с осужденным; затем следуют религиозные братства, сборщики пожертвований; они просят у собравшихся денег для того, чтобы отслужить мессу за упокой души осужденного... Толпа никогда не остается глухой к этому призыву.

Несомненно, все это ужасно, однако в такой церемонии есть смысл, она показывает, что человека, создание божье, нельзя уничтожать в расцвете сил так же просто, как режут быков на бойне; она заставляет народ постичь – ведь толпа всегда судит о преступлении по степени наказания, – что убийство – это страшное злодеяние, поскольку возмездие за него потрясает, ввергает в печаль и горе весь город.

Повторяем, подобное устрашающее зрелище может навести на размышления, внушить благотворный страх... и приоткрыть завесу над всем, что есть варварского в этом грозном акте.

Теперь мы спрашиваем, каким поучительным примером может послужить точно описанное нами приготовление к казни (исполняемое иногда не столь непристойно)?

Рано утром забирают осужденного, его связывают, бросают в закрытую карету, кучер настигает лошадей, подъезжает к эшафоту, рычаг сработал, голова падает в корзину... в присутствии дико хохочущей, самой преступной черни!..

Еще раз спросим, какой можно извлечь пример из столь поспешной казни; какой она может вызвать страх?..

К тому же, так как казнь совершается, так сказать, без огласки, в весьма отдаленном месте, весь город ничего не знает об этом кровавом акте, ничто не оповещает общество, что в этот день «убьют человека», в театрах смеются и поют, публика беззаботно и шумно развлекается.

С точки зрения общества, религии, человечности – это событие должно волновать всех, все должны знать, что совершается законное убийство человека во имя интересов всего общества...

Наконец, решительно скажем и всегда будем говорить: вот меч, а где же венец? Наряду с наказанием необходимо показать и вознаграждение... Если наутро после траура и смерти народ, накануне лицезревший кровь зяблого преступника, обогрившую эшафот, увидел бы поощрение и прославление добродетельного человека, то он страшился бы настолько же казни первого, насколько стремился бы следовать примеру второго; страх едва ли помешает преступлению и никогда не вызовет желание следовать добродетели.

Отдают ли люди себе отчет в том, какое впечатление производит казнь на самих преступников?

Они либо издеваются над ней с дерзким цинизмом... Либо принимают ее, лишившись со-

⁷¹ Так это происходило в Испании во время моего пребывания там, в 1824–1825 гг.

знания и сил от ужаса... Либо кладут голову на плаху с глубоким и искренним раскаянием...

Итак, смертная казнь не может сурово наказать тех, кого она не страшит.

Она бесполезна для тех, кто душевно мертв.

Смертная казнь – слишком сильная мера наказания для тех, кто искренне раскаивается.

Повторяем: общество убивает преступника не для того, чтобы он страдал, не для того, чтобы подвергнуть его каре... Общество убивает его, с тем чтобы воздать ему в меру за его злодеяние... Оно убивает его во имя того, чтобы это наказание явилось поучительным примером для будущих убийц.

Мы же утверждаем, что казнь слишком варварский способ наказания, и не так уж она устрашает...

Мы считаем, что при тяжких преступлениях, таких, как отцеубийство, или других дерзких злодеяниях, ослепление и вечное одиночное заключение поставили бы преступника в такие условия, при которых он никогда не смог бы повредить обществу; и наказание было бы для него в тысячу раз страшнее и предоставило бы ему время для полного раскаяния и искупления.

Если кто-либо усомнился бы в нашем утверждении, мы смогли бы привести множество фактов, доказывающих, что закоренелые преступники испытывают неодолимый страх перед одиночным заключением. Разве неизвестно, что некоторые преступники совершали убийства, предпочитая эшафот одиночному заключению? Каким же они были бы охвачены ужасом, если бы... ослепление и одиночная камера лишили бы их навсегда надежды бежать; надежды, которая никогда не покидает преступника и которую он порою осуществляет, находясь в одиночной камере в кандалах.

В этой связи мы полагаем, что отмена смертной казни явится одним из вынужденных следствий одиночного заключения: страх, ужас перед полной изоляцией от преступников, которые находятся в это же время в тюрьмах и на каторгах, так глубок, что большинство самых неисправимых арестантов предпочтут подвергнуться казни, нежели находиться в одиночной камере; в таком случае бесспорно придется отменить эшафот и тем самым лишить их последней страшной альтернативы.

.....

Прежде чем продолжить наше повествование, скажем несколько слов об отношениях, сложившихся между Поножовщиком и Марсиалем.

Как только Жермен вышел из тюрьмы, Поножовщик легко доказал, что он обворовал самого себя, раскрыл следователю цель этой странной мистификации и был выпущен на свободу, отделившись лишь вынесенным строгим порицанием.

В то время Родольф не смог разыскать Лилию-Марию и отблагодарить за преданное служение Поножовщика, которому был обязан жизнью, и исполнить все сокровенные желания своего сурового друга. Родольф поместил его в отель на улице Плюме и обещал взять с собой в Германию. Мы уже упоминали о том, что Поножовщик питал к принцу слепую привязанность, верную любовь собаки к своему хозяину. Оставаться под той же крышей, что и принц, иногда встречаться с ним, с нетерпением выжидать случая пожертвовать собой ради его благополучия или благополучия его близких, этим ограничивались сокровенные желания Поножовщика, это было счастьем для него, предпочитавшего такой образ жизни любым деньгам или фермам в Алжире, которые Родольф предлагал ему в качестве вознаграждения.

Но когда принц вновь нашел свою дочь, все переменилось; несмотря на глубокую признательность человеку, который спас ему жизнь, он не мог увезти в Германию этого свидетеля позорного падения, происшедшего в жизни Марии... Однако, твердо решив исполнять все желания Поножовщика, Родольф вызвал его к себе в последний раз и сказал, что, надеясь на его привязанность, просит оказать ему новую услугу. Просиявший было при этих словах Поножовщик сразу же помрачнел, услышав, что не только не поедет с принцем в Германию, но в тот же день должен покинуть отель, где проживал.

Бесполезно говорить о блестящем вознаграждении, которое принц предложил Поножов-

щику: ранее предназначенная ему сумма, контракт на покупку фермы в Алжире, а если он не захочет, то и больше... все будет предоставлено в его распоряжение.

Поножовщик, раненый в самое сердце, отказался и, быть может, впервые в жизни заплакал... Потребовалась исключительная настойчивость Родольфа, чтобы его спаситель согласился принять эти первые проявления благодарности.

На следующий день принц вызвал к себе Волчицу и Марсиаля; не сообщив им, что Лилия-Мария его дочь, он спросил, что может сделать для них; все их желания должны были быть исполнены. Видя их колебания и вспомнив, что говорила Лилия-Мария о примитивных вкусах Волчицы и ее мужа, он предложил этой отважной семье значительную сумму либо половину этих денег и участок возделанной земли, расположенный рядом с фермой, которую он купил для Поножовщика. Сделав такое предложение, принц подумал о том, что Марсиаль и Поножовщик, оба волевые, энергичные, наделенные добрыми и здоровыми наклонностями, будут жить дружно, тем более что оба мечтали об уединенной жизни, один по причине своего прошлого, другой в силу преступлений своей семьи.

Он не ошибся. Марсиаль и Волчица с восторгом согласились принять дар; когда же они при посредничестве Мэрфа познакомились с Поножовщиком, все трое порадовались тому, что будут жить в Алжире по соседству.

Несмотря на свою глубокую печаль или, вернее, благодаря этой печали, растроганный сердечными излияниями четы Марсиалей, Поножовщик ответил им искренним доброжелательством.

Вскоре настоящая дружба объединила будущих колонистов; люди подобной закалки легко узнают друг друга, сходятся полюбовно... Вот почему супруги Марсиаль, несмотря на горячее усердие, проявленное ими, чтобы избавить своего нового друга от мрачного настроения, в основном надеялись отвлечь его предстоящим путешествием и будущей деятельной жизнью, ибо, прибыв в Алжир, они будут обязаны возделывать предоставленную им землю, так как прежние владельцы согласно условиям продажи будут пользоваться доходами с этой земли еще в течение одного года, с тем чтобы, когда она поступит в полное распоряжение новых владельцев, они бы и в дальнейшем наблюдали за ее эксплуатацией.

Договорившись об этих условиях, узнав о мучительном свидании, на которое должен явиться Марсиаль, чтобы выслушать последнюю волю своей матери, Поножовщик пожелал сопровождать своего друга до ворот Бисетра, где он поджидал его в фиакре, на котором они приехали сюда, а потом возвратились в Париж, после того как Марсиаль, потрясенный приготовлением к казни своей матери и сестры, покинул тюремную камеру.

Лицо Поножовщика совершенно изменилось, прежняя уверенность в себе, свойственная этой мужественной натуре, сменилась угрюмой подавленностью; даже его голос стал менее грубым, неведомая в прошлом душевная боль надломилась, подкосила этого энергичного человека.

Он с состраданием смотрел на Марсиаля.

– Не падайте духом, – говорил ему Поножовщик, – вы сделали все возможное, что может сделать такой славный малый... С этим покончено... Подумайте о вашей жене, о детях, о которых вы позаботились, чтобы они не стали нищими, как ваши мать и отец. И, наконец, сегодня вечером мы уедем из Парижа, чтобы больше туда не возвращаться, и вы никогда не услышите разговоров о том, что вас огорчает.

– Все равно, поймите меня... прежде всего ведь это моя мать, моя сестра.

– Но, увы, что ж поделать, все кончено... а когда все кончено... надо смириться, – сказал Поножовщик, подавляя вздох.

После некоторого молчания Марсиаль искренне признался:

– Я ведь тоже должен был бы утешать вас, славный вы человек... все время грустите.

– Все время, Марсиаль.

– Но... я и жена... мы надеемся, что, когда вы уедете из Парижа... вы успокоитесь...

– Да, – подумав, сказал Поножовщик, невольно вздрогнув, – если я уеду из Парижа...

– Так ведь... мы сегодня вечером уезжаем.

– То есть вы... вы уезжаете сегодня вечером...

– А как же вы, вы что, передумали?

– Нет...

– Так что же?

Поножовщик вновь замолчал, затем с усилием продолжил:

– Послушайте, Марсиаль... Вы, конечно, удивитесь... но лучше я скажу вам все... Если со мной что-либо случится, то это докажет, что предчувствие меня не обмануло.

– В чем же дело?

– Когда господин Родольф... спросил нас, согласны ли мы вместе поехать в Алжир и жить там по соседству, я не хотел вас обманывать... ни вас, ни вашу жену. Я вам сказал... кем я был...

– Не будем больше об этом говорить, вы уже были наказаны... вы такой хороший, такой славный, храбрый... Но я понимаю, вы предпочитаете жить вдалеке, как и мы... благодаря нашему благодетелю... чем остаться здесь... какими бы зажиточными и честными мы ни были, все равно нас всегда могут попрекнуть, вас – за совершенное злодеяние, которое вы искупили и, однако, в котором вы до сих пор раскаиваетесь... Меня – за преступления моих родителей... а я за них не могу отвечать. Но и для вас и для нас... прошлое есть прошлое... давнее прошлое... Будьте спокойны... мы рассчитываем на вас, а вы можете полагаться на нас.

– Для вас, как и для меня... быть может, прошлое забыто, но, как я уже говорил господину Родольфу... понимаете, Марсиаль... есть кто-то там, высоко... а ведь я убил человека...

– Это большое несчастье; но в тот момент вы не осознавали, что делаете... вы впали в безумие, вы были словно сумасшедший, и потом, наконец, вы спасли жизнь другим... и эта заслуга должна быть вам зачтена...

– Послушайте, Марсиаль... я вам рассказываю о своем несчастье... вот почему... Когда-то мне часто снился сон... я видел... сержанта, которого убил... Но вот уже давным-давно... сон не повторяется... а сегодня ночью он мне опять приснился...

– Случайность...

– Нет, этот сон предвещает, что сегодня со мной случится несчастье.

– Вы ошибаетесь, мой друг...

– У меня возникло предчувствие, что из Парижа я не уеду...

– Нет, вы заблуждаетесь... Переживаете разлуку с нашим благодетелем... волновались и сегодня, провозжая меня в Бисетр... там было страшно... все это подействовало на вас в эту ночь; поэтому и сон... повторился...

Поножовщик грустно покачал головой.

– Сон приснился мне как раз накануне отъезда господина Родольфа... он уезжает сегодня...

– Сегодня?

– Да... вчера я послал к нему рассыльного в отель... боясь пойти туда сам... он запретил мне являться... Мне сказали, что принц уедет в одиннадцать часов утра... через заставу Шарантон... вот почему, прибыв в Париж... я сразу направлюсь туда... попытаюсь увидеть его... в последний раз... в последний!..

– Он такой добрый, и вполне понятно, что вы любите его.

– Любить его! – с глубоким волнением произнес Поножовщик. – Видите ли, Марсиаль... я готов спать на полу, есть черный хлеб... быть его псом... но быть рядом с ним, я больше ничего не просил... но это слишком... Он не пожелал.

– Господин Родольф был столь великодушен к вам!

– Не за это я так люблю его... а за то, что он во мне признал настоящего человека, честного... Это случилось в то время, когда я вел себя как дикий зверь, презирал себя, как последнюю каналью... а он дал мне понять, что во мне осталось еще что-то хорошее, раз вина искуплена, я раскаялся. Испытывая нужду, я работал вовсю, чтобы честным трудом себя обеспечить... Я никому не делал зла, но все считали меня законченным бандитом, а это не могло меня подбодрить.

– Верно, ведь, чтобы поддержать человека, направить его на истинный путь, достаточно сказать ему лишь несколько добрых слов, это позволит ему воспрянуть духом.

– Не так ли, Марсиаль? Вот почему, когда господин Родольф сказал мне такие слова, черт

побери, поверьте, мое сердце наполнилось гордостью. С тех пор я готов пройти огонь и воду, лишь бы совершить доброе дело... пусть только представится случай... люди убедятся... и благодаря кому все это?.. Благодаря монсеньору Родольфу.

– Раз вы стали настоящим человеком, вы не должны обращать внимание на дурное предчувствие. Ваш сон ничего не означает.

– Потом увидим. Я не желаю несчастья... для меня нет более страшного, чем то, которое уже со мной случилось... Никогда не увижу больше... господина Родольфа! А я надеялся всегда быть при нем... Разумеется, я знал бы свое место; я был бы там, где он, преданный ему душой и телом, всегда готовый... Ну все равно, быть может, он ошибся... Послушайте, Марсиаль, я по сравнению с ним червь земляной... так вот, случается, что самые ничтожные люди оказываются полезными самым великим... Если так случится, я ему никогда не прощу, что он отстранил меня.

– Кто знает, быть может, вы еще встретитесь с ним...

– О нет! Он сказал: «Дорогой мой, ты должен пообещать мне, что не будешь стремиться видеть меня, этим ты окажешь мне большую услугу». Вы понимаете, Марсиаль, я пообещал... и, клянусь, сдержу слово... но это жестоко.

– Как только мы приедем туда, вы успокоитесь. Мы будем работать, будем жить вместе в тиши как добрые фермеры, лишь иной раз обменяемся несколькими выстрелами с арабами... Тем лучше! Нам это подходит, мне и жене; она ведь у меня храбрая, верно?

– Если речь идет о выстрелах, так это мое дело, Марсиаль, – заявил не столь уже удрученный Поножовщик. – Ведь я холостяк, в прошлом – солдат...

– А я – браконьер!

– Но вы... У вас жена и двое детей, которым вы как родной отец... А у меня одна моя шкура... И если она стала непригодной для защиты господина Родольфа, то я ею больше не дорожу. Итак, если придется повоевать, это мое дело.

– Это будет наше общее дело.

– Нет, мое... гром и молния!.. Ко мне, бедуины!

– В добрый час, я рад слышать то, что вы говорите сейчас, а не те ваши слова... Послушай, друг... мы будем жить как братья, и вы сможете говорить с нами о ваших горестях, если вы еще не перестанете горевать, ведь я тоже страдаю. Я надолго запомню этот день, поверьте... Невозможно видеть свою мать, свою сестру... так, как видел их я... чтобы постоянно не возвращаться к мыслям о них... Мы с вами во многом похожи, поэтому нам будет хорошо вместе. Мы не струхнем перед опасностью, ни вы, ни я, и станем наполовину фермерами, наполовину солдатами... Там есть на кого охотиться... и поохотимся. Если вы пожелаете жить в одиночестве, будете жить у себя, а мы по соседству... или же – вместе. Мы воспитаем детей честными людьми, а вы станете им как бы дядей... потому что мы станем братьями. Подходит вам такая жизнь? – сказал Марсиаль, протягивая руку Поножовщику.

– Да, она мне по душе, дорогой Марсиаль... в конце концов, как говорится, либо тоска меня убьет, либо я ее убью...

– Она вас не убьет... будем стариться там, в нашей пустыне, и всякий вечер будем говорить: «Брат... спасибо господину Родольфу...» Это будет наша молитва за него.

– Послушайте, Марсиаль... вы проливаете бальзам на мою душу.

– В добрый час... а этот дурацкий сон... надеюсь, вы о нем больше не будете думать?

– Постараюсь.

– Да, вот что!.. Приходите за нами в четыре часа! Дилижанс уходит в пять.

– Договорились... Но вскоре мы прибудем в Париж, я остановлю фиакр, пойду пешком к Шарантонской заставе, там подожду господина Родольфа, посмотрю на него, когда он будет проезжать.

Фиакр остановился, Поножовщик вышел.

– Не забудьте... в четыре... мой дорогой друг, – воскликнул Марсиаль.

– В четыре!..

Поножовщик забыл, что вчера был карнавал; вот почему, когда он проходил по внешней

стороне бульвара, чтобы попасть к Шарантонской заставе, он был крайне изумлен, увидев зрелище, странное и отвратительное.

Глава III ПЕРСТ БОЖИЙ

Люди выходили из предместья Гласьер, скопясь на подступах к заставе, чтобы попасть затем на бульвар Сен-Жак, где должна была происходить казнь. Поножовщик невольно был унесен в сторону плотной толпой.

Хотя уже наступил день, вдали раздавалась доносившаяся из харчевен музыка оркестра, в которой особенно выделялись броские звуки корнет-а-пистонов.

Только кисть Калло, Рембрандта или Гойи могла бы передать странный, отвратительный, почти фантастический вид этого сборища. Почти все мужчины, женщины и дети были в старых маскарадных костюмах, а те, которые не смогли позволить себе этой роскоши, облачились в яркие лохмотья; некоторые молодые люди напялили на себя разодранные и заляпанные грязью женские платья; лица у всех были изможденные от разврата и пороков или покрыты пятнами от пьянства и сияли дикой радостью от предвкушения того, что после мерзкой ночной оргии увидят казнь двух женщин, для которых уже был сооружен эшафот.⁷²

Грязная и зловонная накипь Парижа, эта огромная толпа состояла из бандитов и проституток, которые добывают свой хлеб насущный преступлениями... и каждый вечер, пресыщенные, возвращаются в свои логова.⁷³

Внешний бульвар в этом месте сильно суживался, поэтому скопившаяся толпа полностью перекрыла движение. Несмотря на свою атлетическую силу, Поножовщик, стиснутый людской массой, был вынужден остановиться. Он покорился судьбе. Ему сообщили, что принц выехал с улицы Плюме в десять часов, значит он проедет Шарантонскую заставу около одиннадцати, а пока еще не было семи.

Поножовщик часто общался с подонками, из которых состояло это сборище, но в данный момент, находясь среди них, он испытывал непреодолимое отвращение. Наконец ватага дотасила его до одной из харчевен, каких множество на бульварах, и сквозь окна, откуда неслись оглушительные звуки духового оркестра, он невольно увидел необыкновенное зрелище.

В огромном зале, часть которого занимали музыканты, подле столов, заваленных объедками, разбитыми тарелками, опрокинутыми бутылками, дюжина пьяных мужчин и женщин в масках с увлечением танцевала бешеный и непристойный танец, называемый «шаю». Некоторые посетители таких заведений обычно начинают танцевать шаю лишь в конце какого-нибудь празднества, когда муниципальные стражи, следящие за порядком, уже уходят.

Среди отвратительных танцоров, участвовавших в этой сатурналии, Поножовщик обратил особое внимание на две пары, которым усердно аплодировали из-за вызывающей непристойности их движений, жестов и выкриков.

В первой паре танцевал мужчина, замаскированный под медведя. На нем были куртка и штаны из вывороченной черной овчины. Голову медведя, конечно, было бы трудно носить на плечах, поэтому она была заменена чем-то вроде мохнатого капюшона, который целиком закрывал лицо; две прорези на уровне глаз, широкая щель на месте рта позволяли ему видеть, говорить и дышать...

Этот человек в маске, один из заключенных, сбежавших из тюрьмы Форс (среди которых находились также Крючок и двое убийц, арестованных в кабаке у Людоедки в начале нашего рассказа), – Николя Марсиаль, сын и брат двух женщин, эшафот для которых был воздвигнут

⁷² Казнь Норбера и Депре была в этом году, на третьей неделе великого поста, на следующий день после четверга.

⁷³ Как утверждает Фрежье, замечательный историк опасных слоев общества, в Париже существует около 30000 человек, живущих исключительно воровством.

поблизости... Негодяй поддался уговорам одного из своих товарищей – отпетого бандита, также бежавшего из тюрьмы, и с отчаянной жестокостью, наглым бахвальством появился в маске на карнавале, чтобы насладиться разгулом его последнего дня.

С ним танцевала женщина в костюме маркитантки; на ней была помятая кожаная шляпа неопределенного коричнево-серого цвета, с рваными лентами, нечто вроде старомодного камзола из красного сукна, по-гусарски украшенного тремя рядами медных пуговиц, зеленая юбка и панталоны из белого колленкора; ее черные волосы беспорядочно падали на лоб, истощенное и испитое лицо свинцового цвета дышало наглостью и бесстыдством.

Вторая пара танцоров была не менее отвратительна.

Мужчина очень высокого роста в маске Робера Макера до неузнаваемости измазал сажей свое костлявое лицо, его левый глаз закрывала широкая повязка, а белок правого, выделяясь на фоне почти черного лица, делал его еще более безобразным. Нижняя часть лица Скелета (вы, конечно, его узнали) исчезала в высоком галстуке из старой красной шали. Согласно традиции на нем была изношенная серая шляпа, плоская, грязная и без дна, зеленый фрак в лохмотьях и штаны темно-красного цвета, со множеством заплат, завязанные у лодыжек бечевками; этот убийца виртуозно подчеркивал самые гротескные и циничные па непристойного танца, выбрасывая свои длинные ноги, твердые, как железо, направо, налево, вперед, назад, сгибая и разгибая их с такой силой и упругостью, как будто их приводили в движение стальные пружины.

Достойной его партнершей в этом гнусном зрелище была потаскуха высокого роста, с наглым и пьяным лицом, одетая грузчиком – в полицейской шапке набекрень, натянутой на напудренный парик с длинным хвостом; на ней были куртка и штаны из потертого зеленого бархата, стянутые в талии оранжевым шарфом, концы которого болтались за спиной.

Отвратительная мужеподобная старуха, Людоедка из кабака, сидела на скамейке и держала на коленях клетчатые пальто, принадлежавшие плясуньям, которые соперничали друг с другом в прыжках и бесстыдных позах, танцуя со Скелетом и Николя Марсиалем.

Среди других танцоров выделялся мальчишка, наряженный дьяволом: в черном трико, слишком широком и большом для него, и в коротких красных штанах, на лице у него гримасничала отвратительная зеленая маска. Несмотря на свою хромоту, это маленькое чудовище было необыкновенно ловким; его ранняя развращенность не уступала, а может быть, даже превосходила развращенность его мерзких партнеров; он изощрялся в непристойных прыжках перед толстой в костюме пастушки, которая взрывами смеха поощряла бесстыдство своего танцора.

Так как никакого обвинения Хромуле (вы также его узнали) не было предъявлено и Краснорукий был на время оставлен в тюрьме, мальчишку, по просьбе отца, приютил Мику, скупщик краденого, живший в Пивоваренном проезде, на которого никто из его сообщников пока не донес.

Мы попытаемся обрисовать и второстепенных действующих лиц этой картины, чтобы представить все, что есть самого низкого, самого постыдного, самого чудовищного в этом гульбище праздного, наглого, кровожадного и безбожного сброда, который становится все более и более враждебным социальному порядку и к которому мы, заканчивая этот рассказ, хотим привлечь внимание мыслителей...

Пусть эта последняя кошмарная сцена послужит предупреждением о неминуемой опасности, непрестанно угрожающей обществу.

Да, стоит задуматься о том, что сплоченность и вызывающее тревогу увеличение этой прослойки воров и убийц – своего рода живой протест против порочности наших репрессивных законов и в особенности – против отсутствия предупредительных мер, превентивного законодательства, широкого распространения учреждений, имеющих целью наблюдение и улучшение с детства нравов этого сборища негодяев, покинутых на произвол судьбы или развращенных ужасающими примерами. Повторяем, эти обездоленные существа, созданные богом не хуже и не лучше других людей, развращаются, безнадежно растлеваются в тине нищеты, невежества и грубости, в которую они попадают с самого рождения.

* * *

Еще более возбужденные смехом, аплодисментами толпы, прильнувшей к окнам, действующие лица этой отвратительной оргии, о которой мы рассказываем, потребовали у оркестра сыграть последний галоп.

Музыканты, жаждущие закончить столь утомительный для их легких концерт, уступили всеобщему желанию и энергично сыграли залихватский и стремительный танец.

При громких звуках духового оркестра возбуждение танцующих удвоилось, все пары обнялись, сдвинулись с места и, следуя за Скелетом и его партнершей, завели адский хоровод, испуская дикие вопли.

Густая пыль, поднятая с пола яростным топотом, образовала рыжеватое облако над водоворотом обнявшихся и бешено вертящихся мужчин и женщин.

Хотя все они были пьяны от вина и от собственных криков, но то было уже не опьянение, а исступление, неистовство; им не хватало места... Скелет, задыхаясь, заорал:

– Посторонитесь!.. К дверям!.. Вываливайте на бульвар...

– Туда... Туда... – закричала толпа, сгрудившаяся у окон, – пройдемся галопом до заставы Сен-Жак!

– Как раз придем вовремя, когда будут укорачивать двух сук!

– Палачу – двойная работа, вот невидаль!

– Под музыку корнет-а-пистонов...

– Мы станцуем кадрили висельников!

– Во главе пойдет женщина без головы! – закричал Хромуля.

– Это развеселит жмуриков.

– Я приглашаю вдову...

– А я – дочку...

– То-то палач порадуетя...

– Он попляшет на обрезальной машинке с подручными.

– Смерть стервятникам! Да здравствуют карманники, бандиты! – завизжал Скелет..

Насмешки Скелета, его каннибальские угрозы, сопровождаемые скабрёзными песнями, крики, свист, гиканье усилились, когда его шайка создала стремительным натиском широкий проход среди плотной толпы.

Свалка была ужасная, слышны были рев, проклятия, взрывы смеха, и во всем этом не было ничего человеческого.

Внезапно шум достиг апогея благодаря двум обстоятельствам.

Вдалеке, на повороте бульвара, показалась карета с приговоренными в сопровождении кавалерийского эскорта; все сборище кинулось в этом направлении, испуская звериные вопли.

В это время со стороны бульвара Инвалидов к толпе приблизился всадник, галопом скакавший к Шарантонской заставе. На нем была голубая куртка с желтым воротником, обшитая по всем швам двойным серебряным валуном; в знак глубокого траура его штаны и ботфорты были черные, фуражка, также с широкой серебряной полосой, была обвязана черным крепом. На шорах уздечки и хомуте с бубенцами видны были гербы суверенного княжества Герольштейн.

Всадник пустил лошадь шагом, но так как продвигаться ему становилось все труднее, он вынужден был остановиться и оказался в потоке знакомой нам черни. Хотя он кричал «Берегись!» и вел коня с величайшей осторожностью, толпа стала на него кричать, осыпать оскорблениями и угрозами.

– Что он, этот тип, нам на спины, что ли, хочет въехать на своем верблюде?

– Сколько на нем серебра наляпано! – воскликнул из-под зеленой маски Хромуля.

– Если он будет нам мешать, стащим его с седла.

– Давайте спорем галуны с куртки и переплавим их, – кричал Николая.

– А если ты хоть пикнешь, распорем тебе брюхо, холуй ты этакий... – добавил Скелет, обращаясь к гонцу и хватая уздечку лошади; толпа стала такой плотной, что бандит отказался от своего намерения пройти галопом до заставы.

Всадник, крупный и решительный мужчина, крикнул Скелету, замахнувшись на него руко-

яткой хлыста:

– Отпусти уздечку, а то дам по роже...

– Ах ты, поганая образина! Ты мне еще угрожаешь?

– Ну и что... я ехал шагом, просил, чтобы посторонились, не задерживали. Прибывает карета его высочества... слышны удары хлыстов... Посторонись...

– А что мне до его высочества! – крикнул Скелет. – Я его укокошу, если захочу, еще ни разу не убивал важных господ... надо попробовать.

– Долой господ! Да здравствует Хартия! – закричал Хромуля, и, напевая стихи из «Парижанки»: «Вперед, пойдем мы против пушек!», внезапно схватил ногу всадника, повис на ней всей своей тяжестью, так что тот покачнулся в седле. Эта дерзость была наказана крепким ударом рукояткой хлыста по голове Хромули. Но чернь сразу же с яростью набросилась на всадника; напрасно он вонзал шпоры в бока лошади, чтобы пробиться вперед и ускользнуть, он не смог этого сделать, не смог даже вытащить свой охотничий нож.

Его выбили из седла, повалили на землю, среди криков и свиста всадника несомненно бы убили, если б не подъехала карета Родольфа и не отвлекла на себя тупую злобу негодяев.

Некоторое время карета принца, запряженная четверкой лошадей, продвигалась только шагом, и один из выездных лакеев, в трауре (по случаю кончины Сары), стоявший на запятках, осторожно спустился, держась за дверцу. Кучера кричали: «Берегись!», и карета осторожно продвигалась вперед.

Родольф и его дочь были в глубоком трауре; он смотрел на нее с любовью и нежностью; небольшой капор из черного крепа еще более подчеркивал ослепительную белизну очаровательного лица Лилии-Марии, блеск ее белокурых волос; казалось, что голубое небо этого южного дня отражалось в ее больших глазах, лазурь которых никогда еще не была такой прозрачной и обворожительной...

Когда отец смотрел на Лилию-Марию, она нежно улыбалась, и лицо ее выражало спокойствие и счастье, но когда он отводил взор, оно становилось задумчивым, с оттенком какой-то застенчивой грусти.

– Ты на меня не сердись, что я рано тебя разбудил... хотел выехать заблаговременно, – проговорил Родольф, улыбаясь.

– О нет, отец, сегодня такое прекрасное утро.

– Видишь ли, я решил, что наше путешествие будет более интересным, если мы отправимся пораньше... и ты не так устанешь... Мэрф, мои адъютанты и карета с твоими служанками присоединятся к нам на первой остановке, где ты сможешь отдохнуть.

– Мой добрый отец, это из-за меня... это я всегда доставляю вам столько хлопот...

– О мадемуазель... не упрекайте меня... я не могу думать ни о чем другом... – проговорил принц, улыбаясь; затем с глубоким чувством продолжал: – Я так тебя люблю..... Позволь поцеловать...

Мария наклонилась к отцу, Родольф поцеловал ее очаровательный лоб.

Это произошло в тот момент, когда карета подъехала к толпе и потому стала продвигаться очень медленно. Родольф, удивленный, опустил стекло и по-немецки спросил у шедшего рядом лакея:

– Ну что там, Франц?.. В чем дело? Что за шум?

– Ваше высочество, огромная толпа, лошади не могут проехать.

– А почему собралась толпа?

– Ваше высочество...

– Ну?

– Ваше высочество...

– Говори же!

– Ваше высочество... только что услышал: говорят, там сейчас на площади казнят...

– Это ужасно! – воскликнул Родольф, откидываясь в глубину кареты.

– Что с вами, отец? – с беспокойством спросила Мария.

– Ничего... ничего... моя девочка.

– Но угрожающие крики... Слышите? Они приближаются... Боже мой, что же это такое?

– Франц, прикажи кучерам повернуть и ехать до Шарантона по другой дороге... – сказал Родольф.

– Ваше высочество, слишком поздно... мы уже среди толпы... Лошадей остановили... опасные люди...

Лакей не мог больше говорить. Ватага, готовая на все, подстрекаемая кровожадным бахвальством Скелета и Николя, внезапно с воплями окружила карету. Несмотря на сопротивление и угрозы кучеров, лошадей остановили, и Родольф увидел сквозь дверцы кареты ужасные, беснующиеся, угрожающие лица, среди которых был и Скелет; бандит подошел к дверце.

– Отец, берегитесь! – закричала Мария, обнимая Родольфа.

– Вы-то и будете высочество? – проговорил Скелет, просовывая свою безобразную морду в карету.

Если бы с ним не было дочери, Родольф при такой наглости дал бы волю своему гневу, но сейчас он сдержанно ответил:

– Что вам угодно?... Почему вы нас останавливаете?

– А вот так, захотел и остановил, – ответил Скелет, положив свои костлявые руки на край дверцы. – Всему свой черед... Вчера ты давил негодяев... сегодня негодяи уничтожат тебя, попробуй только пошевеливаться.

– Отец... мы пропали! – прошептала Мария.

– Успокойся... я понимаю... – сказал принц, – сегодня последний день карнавала... Эти люди пьяны... я от них отделаюсь.

– Надо заставить его выйти... вместе со своей шлюхой, – кричал Николя, – как они смеют давить нас, бедных людей!

– Мне кажется, вы изрядно выпили и хотите повторить, – проговорил Родольф, вытаскивая из кармана кошелек. – Держите... вот вам... не задерживайте больше карету. – И он бросил им кошелек.

Хромуля схватил его на лету.

– Вот как! Ты собрался путешествовать, карманы-то у тебя полные; а ну не скупись, а не то прикончу. Мне терять нечего... Я требую – среди бела дня – жизнь или кошелек... Вот комедия! – орал пьяный Скелет в кровожадном возбуждении.

И он рывком открыл дверцу кареты.

Терпение Родольфа истощилось; беспокоясь за Марию, которую все более охватывал ужас, и думая, что решительные действия испугают пьяного негодяя, он выскочил из кареты, чтобы схватить Скелета за горло... Тот быстро ускользнул, вытащил из кармана кинжал и бросился на Родольфа.

Мария, увидев кинжал бандита, занесенный над ее отцом, пронзительно закричала, вышла из кареты и обхватила руками отца...

И ей и Родольфу пришел бы конец, если бы не Поножовщик, который в начале этой схватки узнал ливрею принца и сумел ценой нечеловеческих усилий пробиться к Скелету.

В тот момент, когда бандит замахнулся на принца ножом, Поножовщик одной рукой удержал его руку, а другой схватил его за шиворот и отбросил назад.

Пораженный неожиданным нападением сзади, Скелет успел обернуться, узнал Поножовщика и воскликнул:

– А, это ты, гад, давно ли из тюрьмы... на этот раз не уйдешь!

Он яростно кинулся на Поножовщика и пронзил его грудь кинжалом... Поножовщик... зашатался, но не упал... поддержали люди.

– Идет стража! Там стража! – раздались несколько испуганных голосов.

Тут вся плотная масса людей – свидетелей убийства Поножовщика, опасаясь быть замешанной в преступлении, рассеялась, как по волшебству, разбежавшись в разные стороны...

Скелет, Николя Марсиаль и Хромуля также исчезли...

Подошел караул в сопровождении курьера – ему удалось улизнуть в тот момент, когда толпа бросила его и окружила карету принца; на арене этой мрачной сцены остались лишь Ро-

дольф, его дочь и залитый кровью Поножовщик.

Два выездных лакея принца посадили его на землю и прислонили к дереву.

Все это произошло мгновенно, недалеко от харчевни, откуда вышли Скелет и его шайка.

Принц, бледный и взволнованный, обнимал потерявшую сознание Марию; кучера приводили в порядок сбрую, порванную во время этой свалки.

– Поторопитесь, – приказал принц слугам, помогавшим Поножовщику, – перенесите его в харчевню... А ты, – обратился он к кучеру, – во весь опор скачи в гостиницу к доктору Давиду; он там будет до одиннадцати часов... ты застанешь его в гостинице.

Минуту спустя лошади понеслись галопом, а двое слуг перенесли Поножовщика в подвал, где происходила оргия и где теперь еще оставались несколько женщин, принимавших в ней участие.

– Бедная моя девочка, – обратился Родольф к дочери, – я устрою тебя в этом доме... там ты меня подождешь... не могу доверять лакеям жизнь смелого человека – моего спасителя.

– Отец! Прошу вас... – испуганно воскликнула Мария, схватив Родольфа за руку, – не оставляйте меня... Я умру от страха... пойду с вами.

– Тебе будет тяжело смотреть!

– Ведь благодаря ему вы будете жить для меня, отец... позвольте хотя бы вместе с вами повидать вашего друга. Облегчить его муки.

Принц колебался: он понял, что Мария панически боится остаться одна в этом вертепе, ему пришлось взять ее с собой в комнату, где находился Поножовщик.

Хозяин харчевни с находившимися здесь женщинами (среди них была и Людоедка из кабака) положили раненого на матрас и пытались остановить кровотечение, обернув рану полотенцем.

Когда Родольф вошел, Поножовщик открыл глаза. Он увидел принца, смертельно бледные черты его лица немного оживились... он страдальчески улыбнулся и слабым голосом произнес:

– Господин Родольф!.. Какое счастье, что я оказался рядом!

– Мой преданный друг, – взволнованно проговорил принц, – ты опять меня спас...

– Я хотел пойти к Шарантонской заставе... чтобы увидеть, как вы уезжаете... к счастью, меня задержали люди... так и должно было случиться... я об этом сказал Марсиалю... у меня было предчувствие...

– Предчувствие!..

– Да, господин Родольф... сон про сержанта... сегодня ночью он мне снился...

– Забудьте об этом... надейтесь... ваша рана не смертельна...

– Вряд ли... Скелет здорово меня пырнул... Все равно, я был прав... когда сказал Марсиалю, что такой земляной червяк, как я, иногда может быть... полезен... такому великому мужу, как вы...

– Я обязан вам жизнью... жизнью...

– Мы в расчете, господин Родольф... вы сказали мне, что я человек храбрый, честный... эти слова для меня... видите ли... задыхаюсь... Ваше высочество... я не смею вам приказывать, но, прошу вас, окажите честь... подайте вашу руку... я чувствую, что умираю...

– Нет, это невозможно, – воскликнул принц, наклонившись к Поножовщику и держа холодную руку умирающего, – нет... вы будете жить... будете жить...

– Господин Родольф, есть что-то в небесах... Я поразил человека мечом... и теперь умираю от удара меча, – сказал он все более слабеющим голосом.

В это мгновение его взгляд остановился на Лилии-Марии, которую он только что заметил. На его лице отразилось удивление, он шевельнулся и прошептал:

– Боже мой!.. Певунья...

– Да... моя дочь... она вас благословляет, вы сохранили ей отца.

– Ваша дочь здесь... это напоминает мне наше знакомство, господин Родольф... можно ударить кулаком до смерти, но и этот удар... тоже смертельный... я получил свое...

Поножовщик тяжело вздохнул и запрокинул голову... Он был мертв.

На улице послышался топот лошадей; карета Родольфа встретила карету Мэрфа с Давидом,

которые спешили к принцу.

Давид и Мэрф вошли в дом.

– Давид, – обратился Родольф, вытирая слезы и показывая на Поножовщика, – неужели нет надежды?

– Никакой, ваше высочество, – ответил врач после беглого осмотра.

Именно в это время произошла безмолвная сцена между Лилией-Марией и Людоедкой... которую Родольф не заметил.

Когда Поножовщик произнес имя Певуньи, Людоедка быстро подняла голову и увидела Марию.

Ужасная женщина сразу узнала Родольфа; его величали высочество... он называл Певунью своей дочерью... Подобное превращение ошеломило Людоедку, и она упрямо и тупо смотрела на свою прежнюю жертву...

Мария, бледная и испуганная, казалось, была околдована этим взглядом.

Смерть Поножовщика, неожиданная встреча с Людоедкой еще мучительнее, чем когда-либо, пробудили в ней воспоминание о первом ее падении и показались ей мрачным предзнаменованием.

В этот момент у Лилии-Марии возникло одно из тех предчувствий, которые часто имеют неодолимое влияние на таких людей, как она.

.....

Вскоре после столь печальных событий Родольф и его дочь навсегда покинули Париж.

ЭПИЛОГ

Глава I ГЕРОЛЬШТЕЙН

Принц Генрих д'Эркаузен-Олденцааль графу Максимилиану Каминецу

«Олденцааль, 25 августа 1840.»⁷⁴

Я только что прибыл из Герольштейна, где провел три месяца в обществе великого герцога и его семьи; надеялся найти здесь письмо, извещающее о вашем приезде в Олденцааль, дорогой Максимилиан. Судите же о моем удивлении и огорчении, когда я узнал, что вы задержитесь в Венгрии еще на несколько недель.

В течение четырех месяцев я не мог вам писать, потому что не знал вследствие вашего оригинального способа путешествовать с приключениями, по какому адресу отправить письмо, хотя в Вене вы мне обещали, когда мы расставались, что наверняка будете 1 августа в Олденцаале.

Стало быть, я лишен удовольствия видеть вас, однако же теперь, как никогда, мне необходимо излить вам душу, дорогой Максимилиан, мой самый старый друг, потому что, хотя мы и очень молоды, но дружба наша началась еще в детстве.

Что мне сказать вам? За три месяца во мне произошла разительная перемена...

Настал тот момент, который решает вопрос о существовании человека... Судите сами, как мне необходимо ваше присутствие, ваши советы! Я не долго буду ждать вас, как важно бы для

⁷⁴ Напомним читателю, что приблизительно пятнадцать месяцев тому назад Родольф покинул Париж через заставу Сен-Жак после убийства Поножовщика.

Эжен Сю

вас ни было оставаться в Венгрии; вы приедете, Максимилиан, приедете, я вас заклинаю, так как мне, конечно, будут необходимы ваши утешения... а я не могу приехать за вами. Мой отец, здоровье которого становится все более шатким, вызвал меня из Герольштейна. Он слабеет с каждым днем; я не могу его покинуть...

Мне нужно столь многое поведать вам, что буду многословным; я должен рассказать вам о самом важном, о самом романтическом периоде моей жизни...

Удивительная и печальная случайность! В течение всего этого периода мы роковым образом оказались далеко друг от друга, это мы-то – неразлучные, мы – братья, самые ревностные апостолы трижды святой дружбы; наконец, мы, которые доказали (и гордимся этим), что Карлос и Поза нашего Шиллера не вымышленные идеалисты и что так же, как эти божественные создания великого поэта, мы умеем наслаждаться пленительными радостями нежной взаимной привязанности!

О мой друг, почему вас нет здесь! Почему вас не было тогда! Вот уже три месяца мое сердце переполняет радостное и невыразимо грустное волнение. А я был одинок и остаюсь в одиночестве... Пожалейте меня, ведь вы знаете мою чрезмерную чувствительность, вы, который часто видел слезы у меня на глазах, когда я слушал рассказ о великодушном поступке, или просто смотрел на прекрасный закат солнца, или наблюдал в тихую летнюю ночь звездное небо! Помните, в прошлом году во время нашей прогулки среди руин Оппенфельда... на берегу большого озера... наши безмолвные мечтания в тот чудный вечер, полный покоя, поэзии и безмятежности.

Странный контраст!.. Это было за три дня до кровавой дуэли, когда я не захотел приглашать вас в качестве секунданта, потому что мне было бы слишком больно за вас, если б я был ранен на ваших глазах... Дуэли, на которой мой секундант из-за карточной ссоры, к несчастью, убил этого молодого француза, виконта де Сен-Реми... Кстати, не знаете ли вы, что случилось с опасной обольстительницей, которую де Сен-Реми привез в Оппенфельд и которую, кажется, звали Сесили Давид?

Друг мой, вы, должно быть, улыбаетесь, жалея меня, потому что я блуждаю среди смутных воспоминаний минувшего, вместо того чтобы прямо перейти к тем важным признаниям, о которых я вас оповестил; дело в том, что я невольно откладываю эти признания; мне знакома ваша строгость, и я боюсь, что вы станете бранить меня, да, бранить, ибо, вместо того чтобы действовать рассудительно (увы, с мудростью юнца в возрасте двадцати одного года), я действовал неразумно либо вообще никак не действовал... а слепо плыл по воле волн... и лишь по возвращении из Герольштейна я, так сказать, пробудился после чарующего сна, которым наслаждался в течение трех месяцев. И это пробуждение оказалось мрачным.

Ну вот, мой друг, мой дорогой Максимилиан, я набираюсь храбрости. Слушайте меня снисходительно... Я начинаю, опустив глаза и не смея взглянуть на вас... ибо, когда вы будете читать эти строки, вы нахмуритесь, станете суровым... вы, непоколебимый человек.

Получив шестимесячный отпуск, я уехал из Вены и некоторое время прожил здесь, у отца, тогда он чувствовал себя хорошо, он посоветовал мне навестить мою любимую тетку Юлиану, настоятельницу Герольштейнского аббатства. Кажется, я говорил вам, что моя бабушка была двоюродной сестрой деда нынешнего великого герцога, а этот последний, Густав Родольф, благодаря нашему родству, всегда благосклонно называл нас (меня и отца) кузенами. Я полагаю, вам известно, что на время довольно длительного путешествия герцога во Францию он поручил моему отцу управлять великим герцогством.

Вы, надеюсь, уверены, что я сообщаю вам об этом обстоятельстве не из тщеславия, а лишь для того, чтобы объяснить вам, почему я так близко общался с великим герцогом и его семьей во время моего пребывания в Герольштейне.

Помните ли вы, что в прошлом году, во время нашего путешествия по берегам Рейна, нам сообщили, что герцог увиделся во Франции с графиней Мак-Грегор и женился на ней *in extremis*, чтобы узаконить свою дочь, родившуюся во время их тайного союза, который распался вследствие нарушения брачных формальностей и в силу того, что брак состоялся без согласия правившего тогда великого герцога.

Эта девушка, таким образом торжественно признанная, и есть очаровательная принцесса Амелия,⁷⁵ о которой нам рассказывал зимой в Вене лорд Дадлей, видевший ее в Герольштейне год тому назад. Он говорил о ней с таким восторгом, что мы сочли его суждение преувеличенным... Удивительная случайность... кто мог сказать мне тогда!!!

Но, хотя вы теперь, конечно, почти угадали мою тайну, позвольте мне повествовать о событиях последовательно, не забегая вперед.

Монастырь св. Германгильды, настоятельница которого моя тетка, расположен невядалеке от Герольштейна, ибо парк аббатства доходит до предместий города; тетушка предоставила мне совершенно изолированный от монастыря дом; вы ведь знаете, что она меня любит с материнской нежностью.

В день моего приезда она сообщила мне, что на завтра назначен торжественный прием и празднество при дворе; великий герцог должен официально объявить о своей предстоящей женитьбе на маркизе д'Арвиль, недавно прибывшей в Герольштейн в сопровождении своего отца графа д'Орбиньи.⁷⁶

Одни порицали принца, избравшего на этот раз невесту не царствующей семьи (покойная герцогиня, первая жена принца, принадлежала к Баварской династии); другие, напротив, и в том числе моя тетка, поздравляли его с тем, что он предпочел браку, связанному с династическими интересами, союз с молодой прелестной женщиной, которую он обожал и которая принадлежала к высшей аристократии Франции.

Впрочем, знайте, дорогой друг, что моя тетка всегда питала к великому герцогу Родольфу самую глубокую привязанность; как никто другой она могла оценить его исключительные достоинства.

– Дорогой мой, – сказала она мне по поводу этого торжественного приема, где на следующий день я должен был присутствовать, – самое чудесное из того, что вы увидите на этом празднике, – это, бесспорно, жемчужина Герольштейна.

– О ком вы говорите, милая тетушка?

– О принцессе Амелии...

– Дочери великого герцога? В самом деле, лорд Дадлей описывал в Вене ее красоту с таким воодушевлением, что мы сочли это поэтическим преувеличением.

– Люди моего возраста, с моим характером и в моем положении, – возразила тетушка, – редко поддаются экзальтации; вот почему вы должны верить в беспристрастность моего суждения, мой дорогой. Ну так вот, уверяю вас, что в своей жизни я никогда не встречала никого очаровательнее принцессы Амелии. Я могла бы говорить о ее ангельской красоте, если бы она не обладала невыразимым шармом, превосходящим любую красоту. Представьте себе чистоту, достоинство и грациозную скромность. С первого же дня, когда меня представил ей великий герцог, я почувствовала к молодой принцессе невольную симпатию. Да и не только я; эрцгерцогиня София, которая вот уже несколько дней гостит в Герольштейне, эта самая гордая и надменная принцесса, какую я только знаю...

– Вы правы, ирония этой особы язвительна, лишь немногие могут избежать ее колких шуток. В Вене ее боятся как огня... Неужели она пощадила принцессу Амелию?

– Однажды она приехала сюда после того, как посетила приют, которому покровительствовала юная принцесса. «Знаете что? – обратилась ко мне грозная эрцгерцогиня со свойственной ей резкой откровенностью, – у меня склонность ко всему подходить с сарказмом, не правда ли? Так вот, если бы я подольше пожила с дочерью великого герцога, я превратилась бы, уверена в этом, в безобидное существо... так проникновенна ее доброта и так она заразительна».

⁷⁵ Имя Мария вызывало у Родольфа и его дочери печальные воспоминания, поэтому он дал ей имя Амелии, одно из имен его матери.

⁷⁶ Напомним читателю, чтобы этот рассказ был правдоподобным, что последняя царствовавшая принцесса Курляндская, женщина исключительно умная, замечательного характера и искренней сердечности, была мадемуазель де Медэм.

– Стало быть, моя кузина чародейка? – улыбаясь, спросил я тетушку.

– По моему мнению, самое привлекательное в ней – сочетание нежности, скромности и достоинства, о чем я уже говорила вам; все это придает ее ангельскому лицу самое трогательное выражение.

– Конечно, тетушка, скромность – редкостное качество у такой молодой, красивой и счастливой принцессы.

– Подумайте еще и о том достоинстве принцессы Амелии, что она нисколько не кичится своим высоким званием, по праву ей принадлежащим, хотя она возвысилась сравнительно недавно.⁷⁷

– А в разговоре с вами, дорогая тетушка, не проскользнул ли какой-либо намек на ее прежнюю жизнь?

– Нет, но когда, несмотря на свой солидный возраст, как и подобает, я разговаривала с ней почтительно, потому что ее высочество дочь нашего государя, ее наивное смущение, признательность и уважение глубоко растрогали меня, ибо сдержанность в сочетании с благородной обходительностью убедили меня в том, что ее положение в настоящем не ослепляет ее настолько, чтоб забыть прошлое; и она воздала должное моему возрасту так же почтительно, как я отнеслась к ее званию.

– Конечно, надо обладать особым тактом, – сказал я тетушке, – чтобы соблюдать эти столь тонкие нюансы.

– Вот почему, мой милый, чем чаще я встречаюсь с принцессой Амелией, тем больше подтверждается мое первое впечатление. Со времени своего приезда она совершила невероятное количество добрых дел, причем продуманно, зрело и разумно рассуждая, что крайне удивляет меня у такой юной девушки. Судите сами: по ее просьбе великий герцог основал в Герольштейне приют для девочек-сирот пяти-шести лет и для одиноких девушек шестнадцати лет, возраста рокового для этих несчастных, которых ничто не спасает от соблазнов порочной жизни или от тяжелой нужды. Воспитывают их монахини моего аббатства. Я часто посещаю этот приют и могу судить о том обожании, которое питают эти бедные, всего лишенные существа к принцессе Амелии. Каждый день она проводит несколько часов в этом заведении, находящемся под ее личным покровительством; и, повторяю, там не только благодарны ей и обожают ее, но и дети и монахини фанатически ей преданы.

– Так, значит, принцесса – просто ангел, – сказал я.

– Да, ангел, ведь вы не можете себе представить, с какой трогательной добротой относится она к своим воспитанницам, какой благочестивой заботой она их окружила. Я никогда не встречала такой деликатности в обращении с несчастными душами, можно сказать, что непреодолимая симпатия привлекает принцессу к судьбе этих бедных, покинутых существ. Наконец, поверите ли вы, что она, дочь государя, иначе не называет этих девушек, как «мои сестры».

При этих словах тетушки, признаюсь вам, Максимилиан, на глазах у меня появились слезы. В самом деле, разве поведение юной принцессы не святое и не прекрасное? Вы знаете мою искренность, клянусь вам, что я почти буквально передаю и буду передавать слова моей тетушки...

– Раз принцесса столь обворожительна, – сказал я ей, – меня охватит сильное волнение, когда я буду ей представлен, – ведь вам известна моя непреодолимая робость; возвышенный характер значит для меня больше, чем высокий ранг, и я заранее убежден, что покажусь принцессе глупым и застенчивым.

– Полноте, дитя мое, – возразила тетушка, улыбаясь, – она вас пожалеет, тем более что она уже знакома с вами.

– Со мной?

– Несомненно.

– Каким образом?

⁷⁷ Прибыв в Германию, Родольф сказал, что Лилия-Мария, которук считали давно погибшей, никогда не покидала свою мать, графиню Сару.

– Вы помните, когда вам было шестнадцать лет, вы покинули Олденцааль, чтобы совершить вместе с отцом путешествие по России и Англии; я заказала художнику ваш портрет в костюме, в котором вы были на балу, состоявшемся у ныне почившей великой герцогини.

– Да, тетушка, в костюме немецкого пажа шестнадцатого века.

– Наш известный художник Фриц Моккер, верно передав ваши черты, не только смог воссоздать ваш облик, но, следуя своему капризу, повторил старинную манеру письма и даже придал всей картине старинный вид. Некоторое время спустя после приезда в Германию Амелия пришла со своим отцом повидать меня; заметив ваш портрет, она наивно спросила, чье это очаровательное лицо на картине. Ее отец улыбнулся, сделал мне знак молчать и ответил ей: «Этот портрет одного из наших кузенов, которому исполнилось бы теперь, как это видно по костюму, моя дорогая Амелия, лет триста, но он, несмотря на свою молодость, уже доказал, что обладает редким мужеством и добрым сердцем; в самом деле, не чувствуется ли на этом портрете смелость во взгляде и доброта в улыбке?»

Умоляю вас, Максимилиан, не пожимайте плечами с нетерпеливым презрением, видя, что я пишу такие вещи о себе; мне самому это нестерпимо, вы должны поверить; но продолжение рассказа убедит вас, что эти наивные подробности, смехотворность которых я с горечью чувствую, к несчастью, необходимы. Я закрываю эти скобки и продолжаю.

– Принцесса Амелия, – продолжала тетушка, – поверив в эту невинную шутку, согласилась с отцом, что у вас было доброе и в то же время гордое выражение лица. Позже, когда я посетила ее в Герольштейне, она спросила меня, улыбаясь, как поживает ее кузен из далекого прошлого. Тогда я призналась ей в том, что мы пошутили, и сказала, что красавец паж шестнадцатого века не кто иной, как мой племянник принц Генрих д’Эркуазен-Олденцааль, ему двадцать один год, что он капитан гвардии его величества императора Австрии и во всем, за исключением костюма, похож на свой портрет. При этих словах принцесса Амелия покраснела и снова стала серьезной, какой она бывает обычно. С тех пор она никогда не заговаривала со мной о портрете. Тем не менее, вы убедились, мой милый, что не будете чужим или новым лицом для вашей кузины, как говорит великий герцог. Итак, успокойтесь и поддержите честь вашего портрета, – улыбаясь, добавила тетушка.

Этот разговор, как я уже сказал вам, дорогой Максимилиан, происходил накануне того дня, когда я должен был предстать перед принцессой, моей кузиной. Я простился с теткой и вернулся домой.

Я никогда не скрывал от вас своих тайных мыслей, хороших или дурных, и потому должен вам признаться, что после беседы с тетушкой я отдался нелепым и безумным мечтам».

Глава II ГЕРОЛЬШТЕЙН

Принц Генрих д’Эркуазен-Олденцааль графу Максимилиану Каминецу.

«Олденцааль, 25 августа 1840 г.

Вы не раз говорили мне, дорогой Максимилиан, что я лишен какого бы то ни было тщеславия; я вам верю и должен верить, если буду продолжать свой рассказ, полагая, что не покажусь вам высокомерным.

Оставшись наедине с собой и вспоминая наш разговор с теткой, я с тайным удовольствием подумал, что Амелия, заметив мой портрет, написанный шесть или семь лет тому назад, несколько дней спустя в шутку спрашивала, как поживает ее кузен из старинных времен.

Признаюсь, глупо было основывать самую малую надежду на таком незначительном обстоятельстве, но, как я уже сказал, буду с вами совершенно откровенен: это незначительное обстоятельство меня восхитило. Несомненно, похвалы, расточаемые принцессе такой серьезной и

строгой женщиной, как моя тетка, еще более возвысили принцессу в моих глазах, сделали меня особенно чувствительным к вниманию, оказанному ею мне или, вернее, моему портрету. Тем не менее я должен сказать: это внимание пробудило во мне столь безумные надежды, что ныне, более спокойно вспоминая прошлое, я сам удивляюсь, как мог я увлечься такими мыслями, которые неумолимо привели меня на край пропасти.

Хотя я в родстве с великим герцогом и был всегда им обласкан, мне не пристало питать ни малейшей надежды жениться на его дочери, если бы даже она меня не отвергла, что крайне вероятно. Наша семья достойно поддерживает свою родословную, но она бедна, если сравнить ее состояние с громадным состоянием великого герцога, самого богатого принца Германского союза; к тому же мне едва минуло двадцать один год, я был простым гвардейским капитаном, без особой известности и положения, короче говоря, великий герцог не намеревался сделать меня женихом своей дочери.

Все эти размышления должны были удержать меня от страсти, которую я в то время не испытывал, но уже в какой-то мере предчувствовал. Увы! Напротив, я предавался наивным мечтам, носил кольцо, подаренное мне Теклой, добросердечной графиней, которую вы знаете; хотя этот залог легкомысленной мимолетной любви ничем меня не стеснял, я героически пожертвовал им во имя нарождающегося чувства, и бедное кольцо исчезло в быстрых водах реки, протекающей под моими окнами.

Бесполезно говорить вам, как я провел ночь, вы об этом догадываетесь. Мне было известно, что принцесса блондинка ангельской красоты; в своем воображении я пытался представить себе ее черты, ее фигуру, ее осанку, тембр ее голоса, выражение ее глаз; затем, размышляя о моем портрете, который она заметила, я с огорчением вспомнил, что проклятый художник весьма польстил мне; кроме того, я с отчаянием сравнивал живописный костюм пажа шестнадцатого века со строгой формой капитана гвардии его императорского величества. Эти глупости порой сменялись, я вас уверяю, мой друг, великодушными мыслями, возвышенными порывами души; я чувствовал, что волнуюсь, да, глубоко волнуюсь при воспоминании о восхитительной доброте принцессы Амелии, которая, как об этом поведала мне моя тетя, называла несчастных покинутых девушек своими сестрами и была их покровительницей.

Наконец, удивительный и необъяснимый контраст! Вам известно, что я самого скромного мнения о себе... и тем не менее я был довольно тщеславным, предположив, что мой портрет поразило воображение принцессы; рассудком я понимал, что нас навсегда разделяет непреодолимая граница, и, однако же, с глубокой тревогой задавал себе вопрос: неужели ей больше понравился портрет, нежели понравлюсь я сам? Наконец, я ее никогда не видел, был заранее убежден, что едва ли она меня заметит... и тем не менее считал, что вправе пожертвовать в ее честь залогом моей первой любви.

Я провел ночь и утро в ужасном волнении. Час приема наступил. Я переменял два или три мундира, считая их скверно сшитыми, и отправился во дворец великого герцога весьма недовольный собой.

Хотя Герольштейн находится в четверти лье от аббатства св. Германгильды, в течение этого короткого пути на меня нахлынуло множество мыслей, все глупости, недавно так занимавшие меня, исчезли, и в сознании возникла серьезная, печальная, почти угрожающая мысль, моей душой овладело непобедимое предчувствие, что наступает один из тех кризисов, которые определяют судьбу человека; я интуитивно почувствовал, что должен полюбить, полюбить страстно, полюбить так, как любят в жизни только один раз; и что эта любовь, столь возвышенная и достойная, должна стать для меня роковой.

Эти размышления так меня встревожили, что я принял вдруг мудрое решение остановить экипаж, возвратиться в аббатство и уехать к отцу, попросив тетю передать великому герцогу мои извинения за внезапный отъезд.

К несчастью, одна из тех простых случайностей, последствия которых иногда бывают огромны, помешала мне осуществить мое намерение. Когда моя карета остановилась на аллее, ведущей к дворцу, я собрался было приказать слугам повернуть обратно, как вдруг барон и баронесса Коллер, которые, как и я, направлялись во дворец, заметили меня и остановили свой

экипаж. Барон, видя, что я в мундире, обратился ко мне: «Не смогу ли я оказать вам услугу, дорогой принц? Что у вас случилось? Вы направляетесь во дворец? Переходите к нам, раз ваши лошади запрянулись».

Я легко мог бы, не правда ли, мой друг, найти предлог отказаться от приглашения барона и вернуться в аббатство. Так вот, то ли по малодушию, то ли из тайного желания отменить только что принятое спасительное решение, я, смущаясь, ответил барону, что приказал кучеру узнать у ворот, следует ли въезжать через новый павильон или через мраморный двор. «Въезжают через мраморный двор, мой дорогой, – ответил барон, – потому что предстоит торжественный прием. Скажите своему кучеру, чтоб он следовал за моим экипажем, я укажу вам путь».

Вам известно, Максимилиан, что я убежденный фаталист; я хотел возвратиться в аббатство, чтоб избежать горестей, которые предчувствовал; судьба воспротивилась этому, и я отдался ее воле. Вы были во дворце великого герцога Герольштейна? По словам тех, кто посещал столицы Европы, нет королевской резиденции, которая при подъезде к ней являла бы более величественный вид, за исключением Версаля. Если я вхожу в подробности на эту тему, то лишь потому, что, вспоминая сейчас о всем этом внушительном великолепии, я удивляюсь, почему оно не напомнило мне о моем ничтожестве; ибо ведь принцесса Амелия была дочерью хозяина этого дворца, этой стражи, этих сказочных богатств.

Мраморный двор, образующий полукруг, назван так потому, что за исключением огибающей его широкой дороги, где проезжают экипажи, он выложен разноцветным мрамором, образующим великолепную мозаику, в центре которой сооружен огромный бассейн, облицованный горными породами и обильно питаемый водой, постоянно падающей с широкой раковины из порфира.

Этот нарядный двор окружен рядом статуй, прекрасно изваянных из белого мрамора; они держат бронзовые подсвечники, откуда распространяются волны ослепительного газового света.

Статуи перемежаются с вазами Медичи, возвышающимися на лепных цоколях, в них растут огромные олеандры, настоящие цветущие кусты с блестящей листвой, сверкающей металлической зеленью. Экипажи остановились у лестницы. Двойной ряд перил с балясинами вел ко входу во дворец, у подножья этой лестницы стояли на страже два всадника на черных конях из гвардейского полка герцога, который выбирает эту стражу среди самых высоких унтер-офицеров своей армии. Вы, друг мой, который так любит воинов, вы были бы поражены суровой воинственной осанкой этих двух великанов! Их кольчуга и стальной шлем античного профиля, без гребня и гривы, сверкали на свету; на всадниках был синий мундир с желтым воротником, брюки из белой замши и сапоги выше колен. Наконец, для вас, мой друг, который так любит детали военной формы, добавлю, что на верху лестницы, по обеим сторонам дверей, стояли на часах два гренадера пехотного полка гвардии великого герцога. Их форма, кроме цвета мундира и отворотов, походила, как мне сказали, на форму наполеоновских гренадеров.

Пройдя вестибюль, где с алебардами в руках стояли ливрейные швейцары принца, я поднялся по мраморной лестнице, ведущей в портик, украшенный колоннами из яшмы, над которыми возвышался раскрашенный и позолоченный купол. Там вытянулись два ряда выездных лакеев. Затем я вошел в приемный зал, здесь у дверей всегда находились камергер и адъютант, которые должны были сопровождать к его королевскому высочеству лиц, имевших право быть лично ему представленными. Я, хотя и дальний родственник, был удостоен этой чести. Меня сопровождал адъютант. Идти пришлось через длинную галерею, заполненную кавалерами в военных и придворных мундирах и дамами в роскошных туалетах.

В то время как я медленно пробирался сквозь эту нарядную толпу, я услышал несколько слов, еще усиливавших мое волнение: со всех сторон восхищались божественной красотой принцессы Амелии, очаровательными чертами маркизы д'Арвиль, поистине царственной осанкой великой герцогини Софии, которая недавно прибыла из Мюнхена с великим герцогом Станиславом и вскоре должна была вернуться в Варшаву; но, отдавая должное достоинствам великой герцогини, изысканной грации маркизы д'Арвиль, все, однако же, признавали, что нет более чарующего существа, нежели принцесса Амелия.

По мере того как я приближался к месту, где сидели великий герцог и его дочь, сердце мое

билось все сильнее. Когда я входил в этот салон (я забыл сказать, что при дворе в тот день давали бал и концерт), прославленный Лист только что сел за рояль, вот почему негромкие разговоры сменились полной тишиной. Ожидая окончания пьесы, как всегда превосходно исполняемой великим артистом, я остановился у двери. Вот тогда, мой дорогой Максимилиан, я впервые увидел принцессу Амелию. Позвольте мне описать эту сцену, ибо я с невыразимым, несказанным очарованием вспоминаю об этой встрече.

Представьте себе, мой друг, просторный обширный салон, обставленный с королевской роскошью, залитый светом, стены которого обтянуты малиновым шелком с рельефным золотым рисунком листвы. В первом ряду в больших позолоченных креслах сидели герцогиня София, принц радушно принимал ее в своем дворце, по левую сторону от нее маркиза д'Арвиль, а по правую – принцесса Амелия; позади великий герцог, в парадной форме гвардейского полковника, он, казалось, помолодел от счастья, и ему нельзя было дать более тридцати лет; военный мундир придавал особое изящество его фигуре, благородство и красоту – чертам его лица; подле него находился эрцгерцог Станислав в форме фельдмаршала, за ним толпились придворные дамы принцессы Амелии, высокопоставленные сановники и их жены.

Нужно ли говорить вам, что принцесса Амелия не только своим положением, но грацией и красотой выделялась среди этого блестящего общества? Не осуждайте меня, мой друг, прежде чем прочтете описание ее облика. Хотя мне трудно выразить ее божественную красоту, вы все же поймете, как я был очарован, поймете, что при первом взгляде я полюбил ее; быстрота, с какой возникла во мне эта страсть, может сравниться только с ее неистовостью и постоянством.

Принцесса Амелия была в простом муаровом белом платье, как и герцогиня София, носила ленту имперского ордена св. Непомука, недавно присланную ей императрицей. Жемчужная повязка окаймляла ее благородное и чистое чело, поразительно гармонируя с пепельно-белокурыми косами, обрамлявшими слегка розовые щеки; красивые руки, белее, чем волны окружавших их кружев, были закрыты перчатками, доходившими до локтей с прелестными ямочками. Ничего не могло быть совершеннее ее фигуры, ее прелестных ножек, обутых в атласные туфельки. В тот момент, когда я ее увидел, ее большие глаза чистейшей лазури были мечтательны. Я уже не знаю, размышляла ли она в это время о чем-то в серьезном или находилась под впечатлением печальной мелодии, исполняемой Листом, но ее легкая улыбка показалась мне несказанно грустной и нежной. Слегка наклонив голову, она машинально обрывала лепестки с большого букета гвоздик и роз, который держала в руке.

Никогда не смогу выразить все, что тогда почувствовал: мне вспомнились слова моей тетушки о несказанной доброте принцессы Амелии... Вы улыбаетесь, мой друг... Но я невольно прослезился, видя, что столь прелестная, окруженная почестями, уважением, обожаемая таким отцом, как великий герцог, девушка мечтательна и грустна.

Максимилиан, я часто говорил вам, что человек иной раз не способен оценить счастье, слишком сильное для его ограниченных способностей. И я также думаю, что некоторые слишком одаренные существа иногда с горечью чувствуют свое одиночество и жалеют о своей чрезвычайной чувствительности, подвергающей их стольким разочарованиям, стольким обидам, неведомым для менее изысканных натур. Мне казалось, что в ту минуту принцесса Амелия испытывала подобное чувство.

Вдруг по странной случайности (все здесь фатально) она внезапно обратила свой взор в ту сторону, где стоял я.

Вы знаете, как строго соблюдается у нас этикет и иерархия. Благодаря моему титулу и родственным связям с великим герцогом люди, среди которых я вначале остановился, расступились, таким образом я стоял почти один в проеме дверей галереи, на виду, в первом ряду знатных гостей. Поэтому принцесса Амелия, отбросив свои мечтания, заметила меня, слегка вздрогнула и покраснела.

Она видела портрет в аббатстве у моей тетки, она, узнала меня, здесь нечему удивляться. Принцесса едва взглянула на меня, но я был потрясен этим взглядом, я почувствовал, что щеки мои горят, опустил глаза и так стоял несколько минут, не смея вновь поднять их на принцессу...

Когда я осмелился посмотреть на нее, она разговаривала с эрцгерцогиней Софией, которая,

казалось, слушала ее с доброжелательным интересом.

Лист сделал перерыв, перед тем как исполнить вторую пьесу, и великий герцог воспользовался этим моментом, чтобы выразить ему свое восхищение в самых изысканных словах. Возвращаясь на свое место, принц заметил меня, одобрительно кивнул мне и обратился к эрцгерцогине, указывая на меня глазами. Она внимательно посмотрела на меня, повернулась к герцогу, который не сдержал улыбку, отвечая ей и сообщая что-то своей дочери. Принцесса Амелия, как мне показалось, смутилась и вновь покраснела.

Я был словно подвержен пытке; к несчастью, этикет не позволял мне оставить свое место до окончания концерта после перерыва. Несколько раз я украдкой смотрел на принцессу, она казалась мне задумчивой и опечаленной; мое сердце сжалось, я страдал из-за того, что невольно вызвал ее смущение, о котором догадывался.

Конечно, герцог шутливо спрашивал ее, похож ли я на портрет ее кузена «прошлых времен», и она наивно упрекала себя за то, что не сказала отцу, что уже узнала меня. После концерта я в сопровождении дежурного адъютанта направился к герцогу, который соблаговолил сделать несколько шагов мне навстречу, дружески взяв меня под руку, подвел к эрцгерцогине Софии и сказал:

– Разрешите, ваше императорское высочество, представить вам моего кузена принца Генриха фон Эркаузен-Олденцааль.

– Я уже видела принца в Вене и с удовольствием встречаю его здесь, – ответила эрцгерцогиня, которой я отвесил почтительный поклон.

– Дорогая Амелия, – произнес принц, обращаясь к дочери, – представляю вам принца Генриха, вашего кузена; он сын принца Пауля, одного из моих самых досточтимых друзей, я очень сожалею, что не вижу его сегодня здесь, в Герольштейне.

– Благоволите же сообщить принцу Паулю, что я разделяю огорчение моего отца, ибо всегда счастлива познакомиться с его друзьями, – ответила моя кузина с простотой, исполненной грации.

Я никогда не слышал голоса принцессы; представьте себе, мой друг, наиболее нежный, чистый, гармоничный голос, проникающий до глубины души.

– Надеюсь, дорогой Генрих, что вы пробудете достаточно времени у вашей тетушки, которую я люблю и уважаю как свою мать, вам это известно, – добросердечно сказал герцог. – Приходите к нам почаще по-семейному, не слишком рано, часа в три; если мы отправимся на прогулку, вы присоединитесь к нам, вы знаете, что я вас всегда очень любил, потому что вы один из самых благородных людей, мне известных.

– Я не знаю, как выразить вашему королевскому высочеству мою признательность за оказанный мне великодушный прием.

– Так вот! Докажите мне вашу признательность, – улыбаясь, сказал принц, – пригласив кузину на вторую кадрили, так как первая по праву принадлежит эрцгерцогу.

– Окажете ли вы мне эту честь, ваше высочество?.. – И я поклонился принцессе Амелии.

– Зовите друг друга просто кузен и кузина согласно старой, доброй немецкой привычке, – шутил принц, – среди родственников этикет ни к чему.

– Соизволит ли моя кузина танцевать со мной кадрили?

– Да, кузен, – ответила Амелия».

Глава III ГЕРОЛЬШТЕЙН

Принц Генрих фон Эркаузен-Олденцааль
графу Максимилиану Каминецу.

«Олденцааль, 25 августа 1840.

Трудно рассказать вам, дорогой друг, как я был счастлив и одновременно смущен отеческим приемом великого герцога. Проявленное им доверие, сердечность, с которой он предложил нам отвергнуть этикет, обращаться друг к другу с родственной теплотой, все это переполнило меня глубокой благодарностью; вместе с тем я укорял себя, понимая, что моя роковая любовь не может быть одобрена принцем.

Правда, я поклялся (и остался верен этому обещанию) ни словом не обмолвиться кузине о том чувстве, которое возникло к ней в моей душе; но я боялся, что мое волнение, мои глаза могут выдать меня... Однако чувство, хоть и немое и затаенное, невольно казалось мне преступным.

Так я размышлял в то время, как принцесса Амелия танцевала первую кадрили с эрцгерцогом Станиславом. Здесь, как и в других местах, танец стал не чем иным, как торжественным шествием под музыку оркестра; при этом особенно выделялась грациозная осанка моей кузины.

Со счастливым волнением и одновременно с робостью ожидал я того момента, когда начну дозволенный на балу разговор с моей кузиной. Я достаточно владел собою, чтобы скрыть волнение в то время, когда направился за ней; она снова была подле маркизы д'Арвиль.

Думая об истории с портретом, я был уверен, что принцесса также размышляет о нем, и не ошибся. Помню почти слово в слово наш первый разговор, позвольте мне, друг мой, передать его вам:

– Ваше высочество, можно мне называть вас кузиной, как это разрешил мне великий герцог?

– Конечно же, кузен, – грациозно ответила она, – я всегда счастлива слушаться своего отца.

– А я тем более горжусь этой непринужденностью, кузина, что моя тетушка рассказала мне о вас и тем самым заставила вас оценить.

– Мой отец часто говорил мне о вас, милый кузен, и что вам, быть может, покажется странным, – смущенно добавила она, – я даже знаю вас, если так можно сказать, с виду... Госпожа настоятельница аббатства Святой Германгильды, к которой я почтительнейшим образом привязана, однажды показала мне и отцу один портрет...

– Где я изображен в костюме пажу шестнадцатого века?

– Да, милый кузен, отец даже немного схитрил, заверив меня, что это портрет одного нашего родственника старинных времен и, лестно отозвавшись об этом кузене, сказал, что мы должны гордиться, имея и сейчас среди своей родни его достойного потомка.

– Увы, кузина, боюсь, что в нравственном отношении я столь же мало похож на свой портрет, который соблаговолил начертать великий герцог, как не похож внешне на пажу шестнадцатого века.

– Вы ошибаетесь, – простодушно сказала принцесса, – ибо, слушая музыку, я случайно посмотрела в сторону галереи и сразу узнала вас, невзирая на различие костюмов.

Затем, желая переменить тему разговора, которая ее смущала, она сказала:

– Восхитительно. С каким удовольствием вы его слушали!

– Какой изумительный талант у господина Листа, не правда ли?

– Мне в самом деле кажется, что в музыке без слов есть двойное очарование: не только наслаждаешься прекрасным исполнением, но можно сопровождать музыкой внезапно возникшую мысль, так что мелодия, которую слушаешь, становится аккомпанементом размышлений... Не знаю, поняли ли вы меня?

– Прекрасно. Мысли становятся тогда словами, которые вы выражаете в возникающей у вас музыке.

– Да, именно так вы меня поняли, – сказала она, грациозно наклонив голову, – я боялась, что плохо объяснила то, что чувствовала сейчас, слушая эту жалобную и трогательную мелодию.

– Слава богу, – сказал я ей, улыбаясь, – у вас нет таких печальных слов, которые можно было бы положить на эту грустную музыку?

Был ли этот вопрос нескромным, или она не пожелала на него отвечать, а быть может, она его не расслышала, но вдруг принцесса Амелия сказала, указывая на великого герцога, который под руку с эрцгерцогиней Софией проходил по галерее, где танцевали его гости:

– Кузен, взгляните на моего отца, как он прекрасен... Какой у него благородный и добрый вид, как взоры всех почтительно обращены к нему! Мне кажется, что его любят даже сильнее, чем уважают...

– Конечно же, – воскликнул я, – его обожают не только здесь, при дворе! Если благословения народа прозвучат в устах потомства, имя Родольфа Герольштейна по справедливости останется бессмертным.

Я произнес эти слова с искренним воодушевлением, ведь вам известно, друг мой, что владения герцога с полным основанием называют «раем Германии».

Мне трудно передать тот благодарный взгляд, который кузина бросила на меня, слушая эти слова.

– Такой отзыв о моем отце, – взволнованно сказала она, – доказывает, что вы вполне достойны его привязанности.

– Дело в том, что сильнее меня никто не может любить и обожать его! К тому же среди исключительных качеств, присущих великим принцам, у них есть и гений доброты, вызывающий к ним истинное обожание...

– Вы даже не представляете себе, насколько справедливы ваши слова, – воскликнула принцесса, еще больше растроганная. – Я убежден в этом, и все его подчиненные знают, что это так... Его столь искренне любят, что сочувствовали бы ему в горе, подобно тому как теперь разделяют его радость; усердие гостей, прибывших сюда приветствовать маркизу д'Арвиль, выражает одобрение выбора герцогом невесты и признание достоинств будущей великой герцогини.

– Маркиза д'Арвиль – наиболее достойная из всех привязанностей моего отца, – это высшая похвала, которую я могу ей вознести.

– Вы, несомненно, можете справедливо ее оценить; вероятно, вы были знакомы с ней еще во Франции?

Едва я произнес эти слова, у принцессы Амелии внезапно возникла какая-то мысль; она опустила глаза, черты ее лица приняли печальное выражение; я удивился и замолчал.

Кадриль закончилась, последнее па на минуту разъединило меня с кузиной; когда я сопровождал ее к г-же д'Арвиль, мне показалось, что она была немного расстроена... Я подумал и поныне полагаю, что мой намек на пребывание принцессы во Франции разбудил в ней воспоминание о смерти ее матери и произвел на нее тягостное впечатление.

В течение всего вечера я заметил одно обстоятельство, которое покажется вам наивным, незначительным, но, по-моему, свидетельствует о том, что общество проявляет к этой девушке большой интерес... Лента, вышитая жемчугом, немного сдвинулась, и эрцгерцогиня София, которую Амелия в то время держала под руку, сама соблаговолила выровнять повязку у нее на лбу. Так вот, тому, кто знает надменность эрцгерцогини, такая предупредительность с ее стороны кажется невыносимой. Впрочем, принцесса, за которой я внимательно наблюдал, в этот момент была смущена, я сказал бы даже, сконфужена этим благосклонным вниманием, мне даже показалось, что у нее на глазах появились слезы.

Такой был мой первый вечер, проведенный в Герольштейне. Я так подробно рассказываю о нем только потому, что почти все эти обстоятельства в дальнейшем имели для меня свои последствия.

Теперь буду краток; сообщу вам только о главном, о моих встречах с кузиной и ее отцом.

Через день после этого торжества я был в небольшом числе избранников, приглашенных на свадьбу великого герцога с маркизой д'Арвиль. Никогда я не видел на лице принцессы Амелии столько радости, столько блаженства, как во время этой церемонии. Она созерцала своего отца и маркизу с каким-то религиозным благоговением, что придавало особую прелесть выражению ее лица; можно было сказать, что на нем отражалось неопишное счастье принца и маркизы д'Арвиль.

В тот день кузина была очень оживленной, разговорчивой. Я вел ее под руку во время прогулки, которую мы совершили после обеда по иллюминированному парку дворца. По поводу женитьбы своего отца она сказала;

– Мне кажется, что счастье обожаемых нами людей нам даже более отраднее, чем наше соб-

ственное счастье; есть какой-то оттенок эгоизма, когда люди наслаждаются только своим личным блаженством.

Я привожу это суждение кузины из многих произнесенных ею лишь для того, чтобы вы могли судить о сердце этого очаровательного создания; ведь она, как и ее отец, – гений доброты.

Несколько дней спустя после свадьбы герцога я имел с ним длительный разговор; он расспрашивал меня, чем я занимался в прошлые годы и что намерен делать в будущем; дал мне много разумных советов, внушил ободряющие надежды, даже с полным доверием рассказал мне о многих своих намерениях в отношении государства, чем я был горд и польщен; что еще сказать вам? Вдруг в моем сознании возникла безумная мысль: я подумал, что принц угадал мою любовь к его дочери и что в этом разговоре он хотел изучить меня, разгадать и, может быть, побудить меня к признанию...

К несчастью, эта безумная надежда длилась недолго, принц закончил разговор, сказав мне, что период длительных войн завершился, что я должен воспользоваться своим именем, семейными связями, полученным образованием, тесной дружбой моего отца с принцем. М., первым министром императора, и сделать карьеру на дипломатическом поприще вместо военной, присокупив, что если раньше все конфликты решались на поле брани, отныне они будут разрешаться на конгрессах, что скоро изворотливые и коварные приемы старой дипломатии уступят место широкой гуманной политике, связанной с истинными интересами народов, которые со дня на день все яснее осознают свои права, что человек возвышенного ума, лояльный и великодушный, в ближайшие годы сможет играть важную и благородную роль в политической жизни страны и принести большую пользу. Наконец, он мне предложил свое содействие монарха для того, чтобы облегчить мне начальную деятельность в той области, которую он настоятельно рекомендовал.

Вы понимаете, мой друг, что, если бы принц хоть немного рассчитывал на меня, он не стал бы делать мне подобных открытий. Я горячо поблагодарил его, сказал, что высоко ценю его советы и буду им верен.

Вначале я не позволял себе часто посещать дворец, но по настоянию герцога стал ходить туда почти ежедневно к трем часам дня. Жизнь протекала во всей очаровательной простоте наших германских дворов. Она была похожа на жизнь в английских замках, но была еще более привлекательной из-за простосердечного обращения, чудесной свободы немецких нравов. Когда позволяла погода, мы совершали длительные прогулки верхом с великим герцогом, герцогиней, моей кузиной и их придворными. Когда мы оставались во дворце, то музицировали, я пел вместе с великой герцогиней и кузиной, голос которой был чистый и удивительно нежный; он волновал меня до глубины души. Иногда мы тщательно осматривали изумительные коллекции картин и произведений искусства или восхитительную библиотеку принца, который, как вам известно, один из самых ученых и просвещенных людей Европы; часто я приходил во дворец обедать, а в дни оперных спектаклей сопровождал семью герцога в театр.

Каждый день проходил как сон; постепенно кузина дружески привязалась ко мне; она не скрывала, что рада меня видеть, рассказывала мне все, чем интересовалась, несколько раз вместе со мной и герцогиней навещала своих сироток; часто рассуждала о моем будущем, проявляя глубокий интерес и зрелую рассудительность, казавшиеся мне поразительными для столь юного существа; она также расспрашивала меня о моем детстве, о моей матери, увы, всегда со скорбным чувством. Каждый раз, когда я писал письма отцу, она просила напомнить ему о себе; так как она прелестно вышивала, то однажды вручила мне для отца чудесную вышивку, над которой долго трудилась. Что еще сказать вам, мой друг? Между братом и сестрой, встретившимися после долгих лет разлуки, не смогли бы возникнуть более трогательные отношения. Впрочем, когда совершенно случайно мы оставались одни, если к нам присоединялся кто-то другой, характер нашей беседы не изменялся.

Вас, мой друг, быть может, удивят братские отношения, установившиеся между двумя молодыми людьми, в особенности если вы подумаете о признаниях, которые я вам делаю, но с чем большим доверием и непринужденностью относилась ко мне кузина, тем больше я старался быть осторожным, тем больше сдерживал себя, боясь разрушить узы этой восхитительной дружбы. Осторожность моя еще усилилась потому, что принцесса относилась ко мне с полной откровен-

ностью, всецело доверяясь мне, держала себя естественно, без всякого кокетства, и потому я был убежден, что она не догадывалась о моей бурной страсти. Однако же я слегка сомневаюсь на этот счет в связи с одним обстоятельством, о котором я вам расскажу.

Если бы между нами непрестанно продолжались душевные отношения, быть может, я был бы рад этому счастью, но, наслаждаясь им, я думал о том, что вскоре моя служба или предстоящая карьера, начать которую мне советовал герцог, заставит меня уехать в Вену или за границу; я предполагал, что в скором времени герцог захочет выдать дочь замуж за достойного ее человека...

Эти мысли все более и более тяготили меня по мере приближения моего отъезда. Кузина вскоре заметила происшедшую во мне перемену. Накануне того дня, когда я должен был с ней расстаться, она заметила, что в последнее время я казался ей мрачным и встревоженным. Я пытался уклониться от ответа на ее вопросы, объяснил свою печаль каким-то нелепым предчувствием.

– Не могу вам поверить, – сказала она, – мой отец относится к вам почти как к сыну, все вас любят; чувствовать себя несчастным было бы неблагоприятно с вашей стороны.

– Послушайте, – обратился я к ней, не в силах побороть свое волнение, – это не печаль, это горе, да, я переживаю большое горе.

– Почему? Что случилось? – допытывалась она.

– Вы только что сказали, что ваш отец относится ко мне как к сыну... что здесь все меня любят... Так вот, вскоре я должен лишиться расположения близких мне людей... придется покинуть Герольштейн, признаюсь вам, эта мысль приводит меня в отчаянье.

– А воспоминанье о тех, кто нам столь дорог... Разве это ничего не значит, дорогой кузен?

– Согласен... Но ведь годы, события таят столько непредвиденных изменений!

– Существуют вечные привязанности; та, которую вам всегда выражал мой отец... та, которую я чувствую к вам, вы это прекрасно знаете; мы брат и сестра... и никогда не забудем друг друга, – заключила она, подняв на меня свои большие влажные от слез глаза.

Ее взгляд поразил меня, я чуть было не выдал себя, но, к счастью, не потерял самообладания.

– Это правда, что привязанность может быть постоянной, – в смущении проговорил я, – но положение людей изменяется... Когда я вернусь сюда через несколько лет, кузина, кто знает, продолжатся ли наши душевные отношения, прелесть которых я так ценю?

– Почему же они должны измениться?

– Да потому, что вы будете тогда замужем, кузина, у вас будут другие обязанности... и вы забудете бедного брата.

.....

Клянусь вам, мой друг, я больше ничего ей не сказал; не знаю, быть может, я оскорбил ее этим признанием либо она, как и я, была глубоко поражена неизбежными переменами, которые будущее привнесет в наши отношения, но, вместо того чтобы ответить мне, она некоторое время удрученно молчала, затем, внезапно побледнев, вышла из гостиной, после того как в течение нескольких секунд разглядывала вышивку графини Оппенгейм, одной из ее придворных дам, работавшей у окна в салоне, где происходил наш разговор.

В тот же вечер я опять получил письмо от отца, в котором он просил меня немедленно возвратиться домой. На следующий день я пришел к герцогу проститься. Он сказал мне, что кузина не совсем здорова, и что он передаст ей мой прощальный привет. Отечески обняв меня, он добавил, что сожалеет о том, что я так быстро уезжаю, и особенно о том, что мой отъезд вызван беспокойством о здоровье отца; затем, напомнив мне свои советы, связанные с моей будущей карьерой, которой я, по его мнению, должен постоянно заниматься, герцог сказал мне, чтобы я, исполнив свои обязанности или во время отпуска, приезжал в Герольштейн, где мне всегда будет оказан радушный прием.

К счастью, прибыв сюда, я увидел, что состояние отца несколько улучшилось, хотя он еще

лежит в постели и чувствует слабость, но все же его здоровье не внушает серьезных опасений. К сожалению, он заметил мое уныние, мою мрачную молчаливость. Много раз, и всегда напрасно, он просил меня объяснить причину моих тягостных переживаний. Несмотря на его трогательную нежность ко мне, я не посмел ему признаться, вы ведь знаете его суровые требования в отношении искренности и честности людей.

Вчера я бодрствовал подле него, был один и, думая, что он спит, не смог сдержать молчаливых слез, размышляя о счастливых днях, проведенных в Герольштейне. Отец увидел, что я плачу, так как он лишь слегка задремал, а я был всецело поглощен своей скорбью; стал расспрашивать меня с трогательной нежностью; я приписал свою грусть тревоге за его состояние, но он догадался, что истинная причина моих переживаний другая.

Теперь, когда вам все известно, мой милый Максимилиан, скажите, не безнадежна ли моя судьба? Что делать? На что решиться?

.....

Ах, друг мой, не могу выразить вам своих терзаний. Не знаю, что будет, боже... Все погибло. Я стану несчастным человеком, если отец не откажется от своего решения.

Вот что произошло.

Только что, когда я кончил писать это письмо, к моему удивлению, отец – я считал, что он спит, – вошел в свой кабинет и увидел на столе несколько исписанных страниц, в то время как я заканчивал последнюю.

– Кому это ты пишешь такое длинное письмо? – спросил он, улыбаясь.

– Максимилиану, отец.

– А, – сказал он мне с ласковым упреком, – я знаю, что он пользуется твоим полным доверием... Счастливцев!

Отец произнес эти последние слова с такой душераздирающей печалью, что я, растроганный, не раздумывая, подал ему письмо.

– Читайте, отец!

Он все прочитал, друг мой. Знаете, что он мне вслед за тем сказал, подумав некоторое время?

– Генрих, я напишу великому герцогу обо всем, что произошло во время твоего пребывания в Герольштейне.

– Отец, умоляю вас, не делайте этого.

– То, что вы рассказываете Максимилиану, это правда?

– Да, отец.

– В таком случае до сих пор ваше поведение было безупречным... Принц сумеет это оценить. Но нельзя в будущем оказаться недостойным благородного доверия принца, а это может случиться, если вы, злоупотребляя его приглашением, появитесь вновь в Герольштейне, быть может, с намерением вызвать к себе любовь его дочери.

– Отец... и вы могли подумать?

– Я думаю, что вы ее страстно любите, а страсть рано или поздно к добру не приведет.

– Как! Вы напишете принцу, что...

– Что вы безумно любите свою кузину.

– Ради бога, не делайте этого, умоляю вас, отец!

– Вы любите свою кузину?

– Я ее обожаю. Отец прервал меня:

– В таком случае я напишу принцу и буду просить для вас руки его дочери...

– Но такое притязание будет безумством с моей стороны!

– Это правда... Но я должен открыто обратиться к принцу с этой просьбой, объяснив ему причину моего поступка. Он оказал вам самое радушное гостеприимство, проявил к вам отеческие чувства, и было бы бесчестно с моей и вашей стороны обманывать его. Я знаю его возвышенную душу; он поймет мое поведение честного человека. Если он отвергнет это предложение,

что почти не вызывает сомнения, он будет, по крайней мере, знать, что, когда в будущем вы посетите Герольштейн, тесное общение между вами и вашей кухней не должно возобновиться. Вы, дорогой сын, по своему усмотрению показали мне письмо к Максимилиану, мне теперь все известно, написать принцу мой долг... и я тотчас его исполню.

Дорогой друг, мой отец чудесный человек, но, исполняя то, что он считает своим долгом, он действует неумолимо; судите сами о моей тревоге, о моих опасениях. Хотя поступок отца чистосердечен и благороден, но он тревожит меня не в малой степени. Как воспримет герцог это безумное предложение? Не будет ли он неприятно удивлен; и принцесса Амелия, не будет ли она также оскорблена тем, что, не испросив ее согласия, я позволил отцу написать это письмо?

О мой друг, пожалейте меня, я не знаю, что придумать. Мне кажется, что я стою на краю пропасти и у меня кружится голова...

Наспех кончаю это длинное письмо; вскоре вновь напишу вам. Еще раз прошу пожалеть меня, поистине, боюсь, что сойду с ума, если эти волнения не прекратятся. До свиданья, всем сердцем ваш навсегда

Генрих д'Н. О.».

.....

Теперь мы поведем читателя во дворец в Герольштейне, где пребывает Лилия-Мария после возвращения из Франции.

Глава IV ПРИНЦЕССА АМЕЛИЯ

Комнаты в герцогском дворце, которые занимала Лилия-Мария (мы только официально будем называть ее принцессой Амелией), были обставлены по указанию Родольфа с исключительным изяществом.

С балкона молельни молодой девушки вдали видны были две башни монастыря св. Германгильды, которые выделялись на фоне огромных зеленых массивов; над башнями возвышалась лесистая гора, у ее подножья виднелся монастырь.

Прекрасным летним утром Лилия-Мария созерцала расстилавшийся вдали перед ее взором величественный пейзаж. На ней было закрытое платье из белой весенней ткани в голубую полосу, под скромным широким батистовым воротничком, падавшим на плечи, виднелся маленький галстук из того же голубого шелка, что и поясок платья. Волосы ее были распущены. Сидя в большом кресле из резного черного дерева с высокой спинкой, обитом малиновым бархатом, она опиралась на подлокотники и, слегка опустив голову, прижималась к ладони испещренной голубыми жилками руки.

Томная поза Лилии-Марии, ее бледность, неподвижность взгляда, горечь, сквозившая в ее улыбке, – по всему было видно, что она глубоко опечалена.

Несколько минут спустя она тяжело вздохнула, опустив руку, на которую опиралась щекой, еще ниже склонила голову. Можно было подумать, что несчастная девушка изнемогала под тяжестью какого-то большого горя.

В это время в молельню робко вошла дама серьезной и изысканной внешности, одетая с изящной простотой, она тихонько кашлянула, чтобы привлечь внимание Лилии-Марии.

Девушка, очнувшись от своих мечтаний, подняв голову и грациозно приветствуя вошедшую, спросила:

– Что вы желаете, дорогая графиня?

– Я пришла предупредить вас, что монсеньор просит его подождать, он будет здесь через несколько минут, – ответила статс-дама с почтительной официальностью.

– А я удивлялась, что сегодня еще не видела своего отца, ведь я с таким нетерпением жду

его визита каждое утро! Надеюсь, что мадемуазель фон Арнейм не заболела и что не по этой причине вы, графиня, второй день проводите со мной.

– Не тревожьтесь, ваше высочество, мадемуазель фон Арнейм просила меня заменить ее сегодня; завтра она будет исполнять свои обязанности и надеется, что вы сообразоволюте простить ее.

– Конечно же, тем более, что я ничего тут не теряю, я просто буду иметь удовольствие видеть вас два дня подряд, дорогая графиня, а следующие дни со мной проведет мадемуазель фон Арнейм.

– Вы осыпаете нас милостями, – ответила статс-дама, – поэтому я осмелюсь обратиться к вам с просьбой.

– Говорите, прошу вас; вы ведь знаете, что я всегда готова оказать вам услугу.

– Да, вы всегда относились к нам с исключительной добротой, тут такой тяжелый случай, что я бы не заговорила о нем, если б это дело не заслуживало внимания; вот почему я осмеливаюсь рассчитывать на вашу чрезвычайную благосклонность.

– Вы не должны говорить о благосклонности, дорогая графиня, я всегда благодарна тем, кто предоставляет мне возможность оказать добрую услугу.

– Речь идет об одной несчастной девушке, она, к сожалению, уехала из Герольштейна до того, как вы основали приют, столь необходимый сиротам и покинутым девушкам, которых никто не оберегает от дурных страстей.

– А что с ней? Что вы хотите для нее сделать?

– Ее отец, настоящий авантюрист, направился в Америку искать счастья, оставив жену и дочь в довольно стесненном положении. Мать умерла; дочь в шестнадцатилетнем возрасте, став самостоятельной, покинула свою родину и уехала в Вену с каким-то соблазнителем, который вскоре ее бросил. Как это всегда бывает, первый шаг на пути порока привел эту несчастную к пропасти бесчестия; за короткое время она стала, как другие падшие твари, позором женского пола...

Лилия-Мария опустила глаза, покраснела и не смогла скрыть легкого трепета; статс-дама это заметила. Боясь, что оскорбила невинную душу принцессы, говоря с ней о женщине такого поведения, она в смущении продолжала:

– Прошу извинить меня, ваше высочество, за то, что я несомненно огорчила вас, заговорив о столь бесчестном существе; но несчастная так искренне раскаивается... что я сочла возможным просить вас помочь ей.

– И вы были правы. Продолжайте... прошу, – сказала Лилия-Мария, преодолевая мучительное волнение, – все проступки достойны жалости, когда за ними следует раскаяние.

– Так произошло и в данном случае. После двух лет позорного существования на нее снизошла благодать... Охваченная угрызениями совести, она возвратилась сюда. Случай пожелал, чтобы она поселилась в доме у одной достойной вдовы, набожность и сердечность которой известны всем. Поддержанная вдовой, бедняжка призналась ей в своих ошибках; она преисполнена ужаса, вспоминая прошлую жизнь, и хотела бы ценой сурового искупления обрести счастье в монастыре, где она смогла бы замолить свои грехи. Почтенной вдове, которой она сделала это признание, было известно, что я имею честь принадлежать к вашему двору; она написала мне письмо, полагая, что, если всемогущее вмешательство вашего высочества окажет воздействие на настоятельницу принцессу Юлиану, эта несчастная женщина сможет надеяться быть принятой послушницей в монастырь святой Германгильды; она сочтет за милость исполнять самые тяжелые работы, чтобы доказать свое глубокое раскаяние. Я несколько раз говорила с этой женщиной, прежде чем позволила себе умолять вас, чтобы вы ее пожалели, и я твердо убеждена, что ее раскаяние будет постоянным. Не бедность и не старость принудили ее вернуться к добру; ей едва минуло восемнадцать лет, она очень хороша собой, у нее есть немного денег, которые она хочет отдать для какого-нибудь благотворительного заведения, если к ней проявят благосклонность, о которой она просит.

– Я возлагаю на себя заботу о вашей просительнице, – сказала Лилия-Мария, едва сдерживая волнение, ведь ее прошлая жизнь была похожа на жизнь той женщины, помочь которой ее

просили. Затем она продолжала:

– Раскаянье этой несчастной женщины весьма похвально, ее надо поддержать.

– Не знаю, как выразить благодарность вашему высочеству; я едва могла надеяться, что вы соблаговолите проявить великодушие...

– Она была виновна, теперь раскаивается... – произнесла Лилия-Мария с невыразимым сочувствием и грустью. – Справедливости ради следует проявить к ней жалость. Чем искреннее ее угрызания совести, тем больше они мучат ее, дорогая графиня...

– Кажется, идет монсеньор, – воскликнула фрейлина, не замечая глубокого и все возрастающего волнения Лилии-Марии.

И действительно, в салон вошел Родольф с букетом роз.

При появлении принца графиня незаметно удалилась. Как только она ушла, Лилия-Мария бросилась в объятия отца и, положив голову ему на плечо, молча повисла на его груди.

– Здравствуй... здравствуй, мое дорогое дитя, – произнес Родольф, горячо обнимая дочь и еще не замечая ее печали. – Посмотри на эти розы, какой чудный букет я собрал сегодня для тебя, потому не пришел к тебе раньше. Такого букета я тебе никогда не преподносил...

Держа цветы, принц попытался высвободиться из объятий дочери; увидев ее всю в слезах, он бросил цветы на стол, взял за руки Марию и воскликнул:

– Ты плачешь, боже мой, что с тобой?

– Ничего... просто так... отец... – сказала она, вытирая слезы и стараясь ему улыбнуться.

– Умоляю, скажи мне, что с тобой. Кто тебя расстроил?

– Уверяю вас, отец, вам не о чем беспокоиться... Графиня пришла просить меня помочь одной бедной, несчастной женщине... и я невольно расчувствовалась...

– Это правда?... Только и всего?

– Да, – ответила Мария, взяв брошенный отцом на стол букет роз. – Но как вы меня балуете, какой чудный букет! А когда я думаю, что каждый день... вы приносите мне такой же... что вы сами срываете цветы...

– Дитя мое, – сказал Родольф, с тревогой взирая на дочь, – ты от меня что-то скрываешь... Твоя улыбка скорбная, неестественная. Заклинаю тебя, скажи мне, что тебя удручает, оставь в покое букет...

– Но вы же знаете, цветы для меня – большая радость, притом я так люблю розы... Я их всегда любила... Вы помните, – сказала она с печальной улыбкой, – помните мой маленький розовый куст... увядшие листья которого я так бережно хранила.

При этом горестном намеке на прошлое Родольф воскликнул:

– Бедное дитя, так, значит, мои подозрения были не напрасны... Хотя тебя и окружает роскошь и благополучие, ты порою вспоминаешь ужасные времена. Увы, я полагал, что, если буду тебя нежно любить, ты позабудешь былое!

– Простите, простите, отец! Эти слова вырвались у меня. Я огорчила вас...

– Я огорчаюсь за тебя, милый ангел, – с грустью сказал Родольф, – так как воспоминания о прошлом мучат тебя... они отравят тебе жизнь, если ты будешь им предаваться.

– Это случайно, отец... Это в первый раз с тех пор, как мы приехали сюда...

– Да, ты впервые говоришь мне об этом... но терзают тебя эти мысли, быть может, не случайно... Я замечал твои приступы меланхолии и обвинял прошлое в том, что оно заставляет тебя грустить. Но я не был в этом уверен и даже не пытался бороться с пагубным влиянием воспоминаний – убеждать тебя в том, что не следует придавать никакого значения былому; если бы твоя печаль была вызвана другой причиной, если бы прошлое было для тебя тем, чем оно должно быть – суетным и тяжелым, говорить о нем значило бы наводить тебя на тягостные мысли, которые я хотел бы развеять.

– Как вы добры!.. Поистине эти опасения свидетельствуют о вашей безграничной нежности!

– Конечно!.. Я оказался в затруднительном положении, не сказав тебе ни слова, но я был всецело поглощен тобой... Заключая брак, увенчавший все мои желания, я стремился обеспечить и твое благополучие. Я хорошо знал редкую чуткость твоего сердца и не мог надеяться, что ты

никогда... никогда не вспомнишь о былом; но я думал, если у тебя случайно возникнет мысль о нем, то ты должна знать, что благодаря материнской ласке благородной женщины, которая тебя знала и любила, когда ты была глубоко несчастной, ты должна считать, что искупила прошлое своими страшными муками, и быть снисходительной или, вернее, справедливой к себе самой; ведь моя жена благодаря своим редким качествам имеет право на всеобщее уважение, правда? Так вот, ты для нее дочь, любимая сестра, почему же ты не обретишь уверенность в себе? Ее нежная привязанность – разве это не полное твоё оправдание? Разве ее отношение не убеждает тебя в том, что жена считает тебя жертвой, а не виновной, что тебя нельзя упрекать за испытанные тобой унижения, муки... начавшиеся с самого твоего рождения? Если бы ты и провинилась, то и тогда вина твоя была бы совершенно искуплена, оправдана всем совершенным тобой добром, исключительным обаянием твоей натуры!..

– Отец...

– Прошу тебя, позволь мне до конца выразить свою мысль, поскольку случай, который, конечно, надо благословить, навел нас на этот разговор. Я давно уже собирался поговорить с тобой об этом, хотя и опасался последствий... Да будет угодно богу, чтоб наш разговор увенчался спасительным успехом!.. Я должен заставить тебя забыть пережитый кошмар; во имя твоего блага я должен исполнить столь важную и столь святую миссию, что ради твоего покоя готов был бы пожертвовать своей любовью к маркизе д'Арвиль... своей дружбой с Мэрфом, если бы решил, что они напоминают тебе прошлое.

– О, дорогой отец, неужели вы могли подумать такое?.. Присутствие друзей, которые знают, кем я была, и которые нежно меня любят, не означает ли это, что они обо всем забыли и простили меня?.. К тому же, отец, разве я не впала бы в отчаянье, если бы вы ради меня отказались от брака с маркизой д'Арвиль?

– Не только я желал бы принести жертву во имя твоего счастья... Ты не знаешь, чем готова была поступиться ради этой же цели Клеманс... Ведь она тоже понимает, сколь велик мой долг перед тобой.

– Ваш долг передо мной, боже! Что же я совершила, чтоб заслужить такое?

– Что ты совершила, мой милый ангел?.. Вся твоя жизнь до возвращения ко мне была горестной, несчастной, скорбной... я упрекаю себя за испытанные тобой муки, как будто это я их причинил! Вот почему, когда я вижу, что ты улыбаешься, что ты довольна, я считаю себя прощенным. Единственная моя цель, единственное желание – сделать тебя настолько же счастливой, насколько ты была несчастной, возвысить тебя настолько же, насколько ты была унижена, ибо мне кажется, что последние следы прошлого исчезают, когда самые видные, самые почтенные люди проявляют к тебе должное уважение.

– Уважение ко мне?.. Нет, нет, отец... к моему положению, вернее, к тому, которое вы мне создали.

– Люди чтут и любят не твой титул, пойми это, моя дорогая, а преклоняются перед тобой лично, только перед тобой. Бывает, воздают почести ради титулов, но иногда их воздают обаятельному созданию. Ты не можешь различить эти почести, потому что ты далека от этого, потому что присущие тебе чудесные ум и такт, которыми я горжусь и за которые я обожаю тебя, позволяют тебе вносить в эти незнакомые тебе светские отношения дух благородства, скромности и грации, перед которыми не могут устоять самые высокомерные персоны...

– Вы меня так любите, отец, и вас так обожают, что, проявляя почтительность ко мне, стремятся понравиться вам.

– О злая девочка, – воскликнул Родольф, прерывая дочь и нежно обнимая ее, – она насколько не хочет польстить моей отцовской гордости!

– Разве ваша гордость недостаточно удовлетворена тем, что расположение, которое выражают мне, относится к вам, дорогой отец?

– Конечно же нет, мадемуазель, – возразил принц дочери, улыбаясь, чтобы рассеять еще не совсем покинувшую ее грусть, – это не то же самое, мне не дозволено гордиться собой, я могу и я должен гордиться тобой... Да, гордиться! Ты не представляешь себе, насколько ты одарена природой. За год и три месяца твое воспитание завершено столь блистательно, что даже самая

строгая мать была бы восхищена тобой; это воспитание еще усилило то неотразимое впечатление, которое ты невольно производишь на окружающих.

– Отец... ваши похвалы меня смущают.

– Я говорю правду, лишь правду. Тебе нужны примеры? Поговорим о прошлом, не стесняясь, это враг, с которым я хочу сразиться, нужно смотреть ему прямо в лицо. Так вот, вспомни Волчицу, ту смелую женщину, которая тебя спасла. Вспомни ту сцену в тюрьме, о которой ты мне рассказывала: глупые, злые арестантки яростно мучили хилую, больную женщину – нашли козла отпущения, – появляешься ты, и тотчас эти фурии, стыдясь своей удивительной жестокости, становятся настолько же милосердны, насколько они были злобны. Это что-нибудь да значит? А разве не благодаря тебе Волчица, эта неукротимая женщина, раскаялась и пожелала вести честную трудовую жизнь? Да что там, поверь мне, дорогое дитя, подчинить своему влиянию Волчицу и ее буйную компанию, воздействуя на них безграничной добротой в соединении с возвышенным умом, дело не легкое. В других обстоятельствах и совсем в другой сфере со свойственным тебе шармом (не улыбайтесь, мадемуазель, при этом сопоставлении) ты смогла очаровать надменную эрцгерцогиню Софию и всю мою придворную знать; ведь и добрые и злые, и великие и малые почти всегда подвергаются влиянию возвышенных душ... Я не хочу утверждать, что ты родилась принцессой в аристократическом смысле этого слова, – это была бы ничтожная лесть тебе, дитя мое... Нет, ты принадлежишь к небольшому числу избранных – они даже королеве могут сказать такие слова, которые очаруют ее и заставят полюбить их... они также могут сказать бедной, униженной и беспомощной женщине то, что ее возвысит и утешит и в то же время покорит ее сердце.

– Дорогой отец... умоляю вас...

– О нет, потерпите, мадемуазель, мое сердце встревожено с давних пор. Подумай только: боясь пробудить в тебе воспоминания о былом, которые я хочу приглушить в твоей памяти... я не смел перед тобой приводить эти сравнения... сопоставления, которые так возвышают тебя в моих глазах. Как часто Клеманс и я восхищались тобой... Не однажды она, расчувствовавшись до слез, говорила мне: разве это не чудо, что наше дорогое дитя осталась сама собой, испытал столько бед? Не чудо ли, продолжала Клеманс, что мучения не испортили эту благородную и редкую девушку, а, наоборот, придали ей еще большее обаяние?

В этот момент дверь салона отворилась, и вошла Клеманс, великая герцогиня Герольштейнская, держа в руке письмо.

– Вот, мой друг, – обратилась она к Родольфу, – письмо из Франции. Я решила принести вам его, чтобы поздороваться с моей ленивицей, моей дочкой, которую я еще не видела сегодня утром, – добавила Клеманс, нежно целуя Марию.

– Это письмо прибыло удивительно кстати, – весело сказал Родольф, бегло прочитав его, – мы как раз беседуем о прошлом... об этом чудовище, с которым мы должны непрестанно вести борьбу, дорогая Клеманс... ибо оно угрожает покою и счастью нашей дочери.

– Значит, это верно, друг мой? Эти приступы меланхолии, замеченные нами...

– Возникали только лишь из-за мучительных воспоминаний; но, к счастью, мы теперь знаем нашего врага, и мы победим его...

– Но от кого же это письмо, друг мой? – спросила Клеманс.

– От милой Хохотушки... жены Жермена.

– Хохотушка!.. – воскликнула Лилия-Мария. – Какое счастье узнать, как она поживает!

– Друг мой, – тихо сказала Клеманс Родольфу, указывая глазами на Лилию-Марию, – вы не бойтесь, что это письмо наведет ее на тягостные мысли?

– Это именно те воспоминания, которые я хочу уничтожить, моя дорогая Клеманс, – надо смело бороться с ними, и я уверен, что найду в письме Хохотушки прекрасное оружие, которое мы обратим против них... так как это милое создание обожало нашу дочь и умело ценить ее по заслугам.

И Родольф вслух прочитал следующее письмо:

– «Букеваль, 15 августа 1841.

Монсеньор, осмелюсь написать вам, чтобы сообщить об огромном счастье, выпавшем на

нашу долю, и просить вас о новой милости, вас, которому мы уже стольким обязаны, обязаны тем раем, где мы живем, я, Жермен и его милая мать.

Вот о чем идет речь, монсеньор: уже десять дней, как я почти обезумела от блаженства, так как десять дней тому назад у меня появилась прелестная девочка, по-моему, она вылитый портрет Жермена, а он считает, что она похожа на меня, нашей дорогой маме кажется, что она похожа на нас обоих: во всяком случае, у нее чудные голубые глаза, как у Жермена, и темные вьющиеся волосы, как у меня. Против своего обыкновения мой муж ужасно несправедлив, он хочет все время держать ребенка у себя на коленях... но ведь это мое право, не правда ли, монсеньор?»

– Честные, достойные молодые люди, как они, должно быть, счастливы, – произнес Родольф, – невозможно составить лучшую семью.

– И Хохотушка достойна своего счастья, – сказала Лилия-Мария.

– Вот почему я благодарен случаю, что мне довелось познакомиться с нею, – сказал Родольф и продолжал:

– «Монсеньор, простите, говорю с вами о семейных ссорах, а они всегда кончаются поцелуем. К тому же у вас, наверно, звенит в ушах, ибо не проходит дня, чтобы мы не сказали: боже, как мы счастливы, счастливы!.. И конечно же тотчас произносим ваше имя... Простите за каракули и кляксу, дело в том, что, не подумав, я написала «господин Родольф», как называла вас раньше, потом исправила. Надеюсь, вы увидите, что мой почерк стал лучше, как и орфография; Жермен учит меня, и я не вывожу теперь вкось и вкривь большие палки, как это было в то время, когда вы точили мне перья».

– Должен заметить, – улыбаясь, сказал Родольф, – что моя поклонница заблуждается, убежден, что Жермен скорее целует ручку ученице, нежели учит ее.

– Полноте, мой друг, вы несправедливы, – заметила Клеманс, глядя на письмо, – буквы крупные и читаются легко.

– Во всяком случае, заметен успех, – возразил Родольф, – раньше ей понадобилось бы много страниц, чтобы изложить все, что теперь она излагает на двух.

Он продолжал:

– «А ведь правда, что вы чинили мне перья, монсеньор. Когда я и Жермен подумаем об этом, нам становится совестно, вы были столь скромны... Ах, боже мой, опять говорю вам совсем о другом, а не о том, о чем мы с мужем хотели просить вас, у нас возникла, мысль... Сейчас вам станет ясно.

Итак, мы вас умоляем, монсеньор, соизволить избрать и предложить нам имя для нашей милой дочери, мы так и условились с крестным отцом и крестной матерью, а знаете, кто они такие? Двое из тех, кому вы и госпожа маркиза д'Арвиль помогли избавиться от тяжких мук и стать счастливыми, такими же счастливыми, как и мы. Одним словом, это Морель-гранилыщик и Жанна Дюпор, сестра бедного арестанта Гобера, достойная женщина, которую я встретила в тюрьме, навещая Жермена, и которую потом госпожа маркиза вызволила из больницы.

Теперь я вам объясню, почему мы избрали Мореля крестным отцом и Жанну Дюпор крестной матерью. Мы с Жерменом решили, что этот выбор будет удобным способом вновь отблагодарить монсеньора Родольфа за его великодушие, взяв в крестные для нашей дочери уважаемых людей, которые всем обязаны ему, да и маркизе... Не считая того, что Морель и Жанна Дюпор являются лучшими среди честных людей. Они из нашего круга, более того, они – наши родственники по счастью, потому что они, как и мы, принадлежат к семье осчастливленных вами, монсеньор».

– Ах, отец, не правда ли, это прелестная и верная идея, – взволнованно сказала Лилия-Мария, – взять в крестные их ребенка тех, кто всем обязан вам и моей второй матери?

– Вы правы, дорогое дитя, – ответила Клеманс, – я глубоко растрогана тем, что меня помнят.

– А я очень счастлив, что сделал добро таким хорошим людям, – сказал Родольф и продолжал читать:

– «К тому же, благодаря вашей денежной помощи, господин Родольф, Морель стал оценщиком драгоценных камней, он хорошо зарабатывает и может теперь обеспечить семью, вы-

учить ремеслу своих детей. Бедная милая Луиза, кажется, скоро выйдет замуж за хорошего работника, который ее любит и уважает, как она того заслуживает, ведь она была глубоко несчастна, но невиновна в этом, а жених ее душевный человек, он это понимает...»

– Я был уверен, – воскликнул Родольф, обращаясь к дочери, – что обнаружу в письме моей Хохотушки оружие для победы над нашим врагом!.. Ты понимаешь, какой здравый смысл проявила эта честная и прямая женщина, сказав о Луизе: «Она была несчастна, но невиновна, и ее жених, душевный человек, это понимает»?

Лилия-Мария, взволнованная и опечаленная при чтении письма, содрогнулась, когда отец, взглянув на нее, произнес эти последние слова.

Принц продолжал:

– «Еще скажу вам, монсеньор, что Жанна Дюпор благодаря великодушию маркизы смогла развестись с мужем, этим грубияном, разорявшим семью и избивавшим жену; к ней возвратилась старшая дочь. Теперь они открыли лавочку, где она продает золотое шитье, которое они изготавливают всей семьей, их торговля процветает. Нет более счастливой семьи, и это благодаря кому? Благодаря вам, монсеньор, благодаря маркизе, которые сумели вовремя оказать людям необходимую помощь.

Кстати, Жермен, как обычно, в конце месяца сообщает вам о состоянии банка беспроцентных ссуд для безработных. Возврат ссуд производится аккуратно, и уже заметно, как улучшилось благосостояние квартала. По крайней мере, теперь бедные семьи могут пережить период безработицы, не закладывая свое белье и матрасы в ломбард. Вот почему, когда находится работа, с каким рвением они за нее берутся, они очень гордятся тем, что им оказывают доверие, верят в их трудолюбие и честность!.. Увы, это их единственное благо. Вот почему они благословляют вас за предоставление займа. Да, они благословляют вас, хотя вы и говорите, что не принимали участия в основании банка, а лишь назначили директором Жермена; якобы доброе дело совершил некий неизвестный... Мы склонны полагать, что заслуга принадлежит вам, так будет вернее.

Знаменитая говорунья, мамаша Пипле, всем повторяет, что именно вас надо благословлять, она утверждает, что только король ее дома (простите, монсеньор Родольф, она вас так величает) способен был сделать это доброе дело, и ее муженек Альфред придерживается того же мнения. Что до него, то он так горд, так доволен должностью сторожа банка, что ему теперь не страшны преследования Кабриона. Упомянув о благодарных вам лицах, сообщу, что Жермен прочитал в газетах хвалебный отзыв о Марсиале, поселившемся в Алжире, который проявил редкое мужество, во главе фермеров отбив атаку грабителей-арабов, и что его храбрая жена, сражаясь рядом с ним, была легко ранена, стреляя из ружья как настоящий гренадер. С тех пор, сообщает газета, ее называют госпожа Карабин.

Простите меня за столь длинное письмо, монсеньор, но я полагаю, что вы не рассердитесь, узнав от нас, как живут те люди, для которых вы были провидением. Я вам пишу с фермы Букеваль, где мы с весны живем вместе с нашей матерью. Жермен утром уезжает по своим делам и возвращается вечером. Осенью мы вернемся в Париж. Как это странно, монсеньор Родольф, я, которая не любила деревню, теперь ее обожаю... Это объясняется тем, что деревню очень любит Жермен. Кстати, о ферме, вы, конечно, знаете, где живет прелестная Певунья? Если представится случай, скажите ей, что о ней вспоминают как о самом нежном, истинном чуде на свете, и мне особенно радостно думать, что раз господин Родольф стал благодетелем Лилии-Марии, то благодаря ему она будет так же счастлива, как и многие другие, и я, помня это, становлюсь еще более счастливой.

Боже, как я болтлива! Что вы обо мне подумаете? Но, впрочем, вы такой добрый!.. Однако же вы сами виноваты, если я щебечу столь же весело, как и мои птицы папа Пету и Рамонетта, которые не осмеливаются теперь соревноваться со мной в пении. Иначе, господин Родольф, я доведу их до изнеможения, честное слово!

Вы не откажете нам в нашей просьбе, не так ли, монсеньор? Если вы предложите имя для нашей дочери, нам думается, что это принесет ей счастье и будет для нее счастливой звездой. Послушайте, господин Родольф, иногда я и Жермен... почти радуемся тому, что в начале жизни

нам было трудно, потому что мы теперь знаем, как наше дитя будет счастливо уже потому, что не будет знать нужды, которую претерпели мы.

Заканчивая это письмо, хочу вам сказать, что мы стараемся где только можно по мере наших средств прийти на помощь бедным людям, при этом я не хвастаюсь, а только хочу сообщить вам, что мы не оставляем себе все то счастье, которое вы нам дали, а делимся им с другими. К тому же тем, кому помогаем, мы всегда говорим: не нас надо благодарить и благословлять, а господина Родольфа, наиболее великодушного во всем мире человека. И они вас чтут как святого, если не больше.

До свиданья, монсеньор. Поверьте, что, когда наша дочка начнет читать, первое слово, прочитанное ею, будет вашим именем, а затем слова, написанные вами на моей свадебной корзинке:

«Труд и Благоразумие, Любовь и Счастье».

Благодаря этим словам, нашей нежной любви и заботам мы надеемся, монсеньор, что наша дочь будет достойна произносить имя того, кто стал провидением для нас и для всех отверженных, которых он знал.

Простите меня, кончая это письмо, я чувствую, что на глазах слезы, но это слезы радости... Извините, пожалуйста... я тут не виновата... плохо вижу, потому скверно пишу...

Честь имею кланяться вам, с признательностью и уважением.

Хохотушка, жена Жермена.

P.S. О боже, монсеньор, прочитав письмо, я заметила, что несколько раз назвала вас господин Родольф. Вы ведь меня простите? Вы отлично знаете, что, под тем или другим именем, все равно мы уважаем и благословляем вас».

Глава V ВОСПОМИНАНИЯ

– Какая славная Хохотушка, – сказала Клеманс, растроганная простодушным письмом, которое прочел Родольф.

– Конечно, – ответил принц, – она заслужила наши благодеяния, у нее отличный характер, доброе сердце, врожденный ум; Мария любит ее так же, как и мы.

Затем, увидев Марию, ее бледное, печальное лицо, спросил:

– Что с тобой?

– Увы! Грустно видеть, как сложилась моя жизнь и жизнь Хохотушки. «Труд и Благоразумие, Любовь и Счастье» – в этих словах заключается вся ее прошлая и настоящая жизнь... Работящая, разумная девушка, любимая жена, счастливая мать – вот ее участь, в то время как я....

– Боже мой!.. О чем ты говоришь?

– Пощадите меня, отец, не упрекайте, что я неблагодарна: несмотря на вашу нежность и заботу моей матери, на роскошь, которая меня окружает, на ваш королевский сан, мой позор несмываем! Забыть прошлое нельзя! До сих пор я скрывала это от вас, но воспоминания о моем унижительном падении убивают меня.

– Клеманс, вы слышите, что она говорит? – в отчаянии произнес Родольф.

– Бедное дитя, – сказала Клеманс, взяв за руку Марию, – наша забота, симпатия всех тех, кто вас окружает, и которую вы заслужили, разве все это не доказывает вам, что прошлое должно стать для вас лишь дурным сном?

– О злой рок! – продолжал Родольф. – Как я проклинаю свое благодное спокойствие, ведь мрачные мысли давно тревожат ее душу. Неведомо для нас они беспрестанно угнетают ее; всему конец, какое несчастье!

– Не отчаивайтесь, друг мой, вы сами только что сказали, что надо знать, какой враг нам угрожает. Мы знаем теперь причину тоски нашей дочери, и мы восторжествуем, так как за нас разум, справедливость и любовь.

– Если ее скорбь неизбежна, то станет неизлечимой и наша, – продолжал Родольф, – право же, придется разочароваться во всякой справедливости, и человеческой и божественной, если эта бедная девочка по-прежнему будет погружена в грустные размышления.

После долгого молчания, во время которого Мария, казалось, что-то обдумывала, она обратилась к Родольфу и Клеманс:

– Выслушайте меня, дорогой отец и моя нежная мать, сегодня торжественный день... Бог не захотел, чтоб я продолжала скрывать свои чувства, я все равно призналась бы вам в том, что вы услышите сейчас, потому что всякому страданию приходит конец.

– О, я все понимаю, – воскликнул Родольф, – для нее нет больше веры в будущее.

– Я надеюсь на будущее, отец, и эта надежда придает мне силу откровенно признаться вам.

– А на что ты можешь надеяться в будущем... – бедное дитя, если ныне твоя судьба приносит тебе только печаль и горечь?

– Я сейчас вам объясню, отец... но прежде позвольте мне напомнить вам прошлое и перед богом, который слышит меня, признаться вам в том, что я чувствовала до сих пор.

– Говори... говори, мы слушаем тебя, – сказал Родольф, садясь вместе с Клеманс возле Лилии-Марии.

– Пока я была в Париже... с вами, отец, я была так счастлива, что эти прекрасные дни невозможно возместить годами страданий... Вот видите... я все-таки познала счастье.

– В течение нескольких дней, быть может...

– Да, но какое это было светлое блаженство! Вы окружали меня лаской, трогательной заботой! Я без страха отдавалась порывам благодарности и любви... И каждое мгновение сердце мое стремилось к вам... Будущее ослепляло меня: у меня был обожаемый отец, вторая мать, ее я могла любить вдвое сильнее, потому что она заменила мне мою мать, которой я никогда не видела. А потом... я должна признаться во всем, я невольно гордилась тем, что принадлежу вам. Когда ваши приближенные разговаривали со мной в Париже, называли меня «ваше высочество», я восхищалась этим званием. Если в то время мне иногда неясно вспоминалось прошлое, я думала: некогда так низко падшая, теперь я нежно любимая дочь владетельного принца, всеми почитаемого и благословляемого, некогда такая несчастная, теперь я наслаждаюсь великолепием роскоши и почти королевскими почестями! Увы! Что вы хотите, отец, мое возвышение было так неожиданно... ваше могущество окружило меня таким великолепным блеском, что меня можно простить за то, что я позволила так ослепить себя.

– Простить... Но это совершенно нормально, мой любимый ангел. Почему не гордиться званием, принадлежащим тебе по праву? Не наслаждаться преимуществами положения, которое я вернул тебе? И в то время – я хорошо помню – ты была так очаровательна: сколько раз ты бросалась ко мне в объятия, словно удрученная блаженством, и говорила мне своим великолепным голосом те слова, которые, увы, мне не приходится больше слышать: «Отец... я слишком... слишком счастлива!» Увы! Эти воспоминания... видишь ли... успокоили меня, позже я не придавал значения твоей меланхолии...

– Скажите же нам, дитя мое, – спросила Клеманс, – что заставило вас заглушить эту радость, такую чистую, такую законную, которую вы испытывали вначале?

– Одно обстоятельство, роковой, мрачный случай!..

– Какой?

– Вы помните, отец... – сказала Мария, не в силах одолеть охватившую ее дрожь, – помните кошмарную сцену перед нашим отъездом из Парижа... Когда вашу карету остановили у самой заставы?

– Да, – грустно ответил Родольф. – Славный Поножовщик... он был убит... там... при нас... после того, как во второй раз спас мне жизнь. Он успел сказать только: «Небо справедливо... я убил, меня убивают...»

– Так вот, отец! В тот момент, когда он умирал, знаете ли вы, что кто-то пристально смотрел на меня?.. О, этот взгляд... этот взгляд... Он вечно преследует меня.

– Какой взгляд? О ком ты говоришь? – воскликнул Родольф.

– О Людоедке из кабака, – прошептала Мария.

– Это чудовище? Ты виделась с ней? Где же?

– Вы не заметили ее там, где умер Поножовщик? Она была среди окружавших его женщин.

– А, теперь я понимаю, – удрученно произнес Родольф, – понимаю... Ты была так поражена убийством Поножовщика, и тебе показалось, что эта неприятная встреча предвещает что-то недоброе!..

– Это истина, отец; при виде Людоедки меня охватил смертельный холод, мое сердце, переполненное счастьем и надеждой, сразу заледенело под ее взглядом. Да, встретить эту женщину, в тот момент, когда, умирая, Поножовщик молвил: «Небо справедливо...» Мне показалось, что провидение напоминает мне, что я возгордилась, забыла прошлое, которое должна была искупить смирением и раскаянием.

– Но ты ведь не виновата, тебя заставили, ты неповинна за свое прошлое перед богом.

– Вас принудили... напоили... несчастное дитя.

– А когда попала в этот омут, ты уже не могла из него выбраться, несмотря на твое раскаяние и отчаяние. В этом повинно равнодушное общество, жертвой которого ты была. Ты навсегда бы оставалась в этом вертепе, помог только счастливый случай, – я увидел тебя.

– И потом, дитя мое, как говорит ваш отец, вы были жертвой, а не сообщницей этого издевательства! – воскликнула Клеманс.

– Но это издевательство... Я его испытала... мама, – мучительно выговорила Мария. – Ничто не могло избавить меня от страшных воспоминаний. Они постоянно преследовали меня не только среди крестьян фермы, не только среди падших женщин тюрьмы, но также и здесь, во дворце высшего общества Германии... и даже... в объятиях моего отца, на ступенях его трона.

И Лилия-Мария разрыдалась.

Родольф и Клеманс не находили слов, чтоб утешить несчастную страждущую девушку; чувствуя бессилие своих утешений, они тоже прослезились.

– С тех пор, – продолжала Лилия-Мария, утирая слезы, – я постоянно с горьким стыдом укоряю себя: меня уважают, почитают, самые выдающиеся люди выражают мне свое внимание, на глазах у всего двора сестра императора благоволила поправить на моей голове повязку... а я ведь была в грязном притоне Сите, где воры и убийцы были со мной на «ты». Ах, отец, простите меня, но чем выше становилось мое положение... тем больше удручала меня глубина моего падения в прошлом; каждый раз, как мне оказывают уважение, я чувствую, что это профанация. Боже мой, подумайте, кем я была в прошлом! Могу ли я терпеть, чтобы старые люди низко кланялись мне, чтобы благородные девицы, уважаемые дамы гордились тем, что окружали меня... терпеть, наконец, чтобы знатные принцессы, элита духовного сана были так предупредительны ко мне и так меня хвалили, разве это не оскорбление святых, не кощунство? А потом, если бы вы знали, отец, как я страдала и как продолжаю страдать каждый день, думая: «Если бы господу было угодно, чтобы мое прошлое стало известно всем, с каким заслуженным презрением отнеслись бы к той, которую сейчас возносят так высоко!.. То было бы справедливым и страшным наказанием!»

– Но ведь моя жена и я, мы знаем твое прошлое, мы достойны своего положения, и мы тебя нежно любим... обожаем.

– Вы любите меня слепой любовью отца и матери...

– А все совершенные тобою благодеяния? А прекрасное учреждение, этот приют, открытый тобою для сирот и покинутых девушек, эта преданная забота, которой ты их окружаешь? То, что ты называешь их своими сестрами и хочешь, чтобы они тоже называли тебя так, потому что ты и в самом деле обращаешься с ними, как со своими сестрами?.. Разве этого недостаточно, чтобы искупить ошибки, совершенные не тобою?.. Наконец, нежность со стороны настоятельницы монастыря святой Германгильды, которая познакомилась с тобой только после твоего приезда сюда, разве это не говорит о возвышенности твоего духа, о твоем искреннем благочестии?

– Теперь настоятельница одобряет мой образ действий; я радуюсь этому безраздельно, отец, но когда она ставит меня в пример благородным девицам монастыря и они видят во мне образец всех добродетелей, я просто умираю от стыда, как будто принимаю участие в недостойной лжи.

После довольно долгого молчания глубоко удрученный Родольф продолжал:

– Я вижу, что тебя невозможно уговорить: все доводы бессильны перед убеждением, тем более неколебимым, что истоки его к твоим благородному и возвышенному чувству; ты каждую минуту вспоминаешь прошлое. Контраст между твоим прошлым и настоящим положением и в самом деле постоянно мучит тебя!.. Прости меня, бедное дитя.

– Вы, мой добрый отец, вы просите у меня прощения!.. А за что, боже мой?

– За то, что я не распознал волнений твоей чувствительной души... тонкости твоей натуры, я должен был постигнуть это чувство. Но, впрочем, что я мог сделать?.. Мой долг состоял в том, чтобы торжественно признать свою дочь... и тогда ее обязательно должно было окружить уважение... ставшее для нее столь мучительным... Да, но я был неправ в одном: я слишком гордился тобой, я слишком наслаждался очарованием, которое твоя красота, твой ум и твой характер внушали всем, кто приближался к тебе... Я должен был уберечь свое сокровище... жить уединенно с тобой и Клеманс... отказаться от пышных празднеств, многочисленных приемов, на которых ты блистала; я, безумный, думал, что вознесу тебя так высоко... так высоко... думал, что прошлое в твоей душе совершенно померкнет. Но, увы! Вышло наоборот... и, как ты мне сказала, чем выше я возносил свою дочь, тем мрачнее и глубже казалась ей пропасть, из которой я ее извлек... Повторяю: это моя вина... а я – то думал, что поступаю правильно!.. – сказал Родольф, вытирая слезы. – Но я ошибся... И слишком рано решил, что я прощен... Провидение еще недостаточно отомстило мне... Оно преследует меня, отнимая счастье у моей дочери...

В дверь гостиной, которую надо было пройти, чтобы попасть в молельню Лилии-Марии, осторожно постучали; печальный разговор прервался.

Родольф встал и отворил дверь.

Он увидел Мэрфа, который сказал ему:

– Прошу прощения за то, что беспокою ваше высочество, но курьер принца Эркаузена-Олденцааль только что привез это письмо; по его словам, оно очень важное и должно быть сразу же передано вашему высочеству.

– Благодарю, милый Мэрф. Не уходи, – со вздохом сказал Родольф, – сейчас мне нужно будет поговорить с тобой.

И принц, закрыв дверь, остался на минуту в гостиной, чтобы прочесть письмо, переданное ему Мэрфом.

Вот это письмо:

«Монсеньор!

Могу ли я надеяться, что узы родства, связывающие нас с вашим королевским высочеством, дружба, которой вы всегда удостаивали меня, будут служить мне извинением за то, что я пишу вам; этот поступок можно было бы считать слишком смелым, если бы он не был подсказан мне совестью честного человека.

*Пятнадцать месяцев тому назад вы возвратились из Франции вместе с дочерью, тем более дорогой для вас, что вы считали ее погибшей навсегда, в то время как в действительности она никогда не покидала свою мать, на которой вы официально женились в Париже *in extremis*, чтобы узаконить рождение принцессы Амелии, таким образом ставшей равной по званию с другими принцессами Германского союза.*

Итак, ваша дочь из знатного рода, красота ее несравненна, доброта достойна ее высокого звания, сердце и разум столь же поразительны. Обо всем этом мне сообщила моя сестра, настоятельница монастыря св. Германгильды, удостоенная чести часто видеть горячо любимую вами дочь.

Теперь, монсеньор, я откровенно изложу цель настоящего письма, потому что, к сожалению, серьезная болезнь не позволяет мне покинуть Олденцааль и приехать к вашему королевскому высочеству.

Во время своего пребывания в Герольштейне мой сын почти каждый день встречался с принцессой Амелией; он безумно ее любит, но скрывал от нее свою лю-

бовь.

Я посчитал своим долгом, монсеньор, сообщить вам об этом. Вы соизволили по-родственному принять моего сына, пригласили его вновь в лоно вашей семьи и выразили ему столь дорогое для него расположение. С моей стороны было бы бесчестно скрывать от вас обстоятельство, которое должно изменить прием, оказываемый вами моему сыну.

Было бы безумием с нашей стороны возлагать надежду на то, что возможны еще более родственные связи с вашим королевским высочеством.

Я знаю, что дочь ваша, монсеньор, которой вы имеете полное право гордиться, заслуживает самого высокого положения в обществе.

Но мне также известно, что вы ее нежно любите, и если бы вы нашли моего сына достойным принадлежать вашей семье и составить счастье принцессы Амелии, то вас бы не остановила мысль о серьезном различии в нашем положении, которое не позволяет нам на что-либо надеяться.

Мне не пристало хвалить Генриха, монсеньор; я лишь напомню о вашей доброте к нему и о похвалах, которыми вы его часто удостаивали.

Я не смею и не могу больше говорить обо всем этом, я слишком взволнован.

Каково бы ни было ваше решение, соизвольте верить, что я и мой сын подчинимся ему с полным уважением, и я всегда останусь верным глубоким чувствам преданности вам; имею честь быть вашим покорным и послушным слугой.

Густав Пауль, принц д'Эркаузен-Олденцааль ».

Глава VI ПРИЗНАНИЕ

Прочитав письмо принца, отца Генриха, Родольф некоторое время был задумчив и опечален, но затем лицо его просветлело, и он подошел к своей дочери, которой Клеманс напрасно расточала нежные слова утешения.

– Дитя мое, ты сама сказала: бог повелел, чтоб этот день стал днем важных событий, – сказал Родольф дочери, – я не предвидел, что новое, весьма важное обстоятельство должно было оправдать твое предположение.

– А в чем дело, отец?

– Друг мой, что произошло?

– Новые волнения.

– Для кого же, отец?

– Для тебя.

– Для меня?

– Ты поведала нам лишь половину своих тревог, бедное дитя.

– Будьте так добры, пожалуйста, объясните, в чем дело, – ответила Мария, краснея.

– Теперь я могу это исполнить, раньше это было для меня невозможно, ведь я не знал, до какой степени отчаяния ты дошла. Послушай меня, дорогая дочь, ты убеждена, что глубоко несчастна, скорее, ты несчастна и на самом деле. В начале нашего разговора ты говорила мне, что у тебя остается лишь одна надежда... я понял... мое сердце разрывалось... я должен был лишиться тебя навсегда, ведь ты собиралась уйти в монастырь, живой войти в могилу. Ты хотела бы стать монахиней...

– Отец...

– Дитя мое, это правда?

– Да, если вы разрешите, – задыхаясь, проговорила Мария.

– Покинуть нас! – воскликнула Клеманс.

– Аббатство святой Германгильды так близко от Герольштейна; я буду часто видеть и вас и отца.

– Подумай только, такой обет дается навечно, дорогое дитя. Вам нет и восемнадцати лет, и, быть может, когда-нибудь...

– О, я никогда не раскаюсь в своем решении; лишь в тишине обители я найду покой и забвение, если только мой отец и вы, моя вторая мать, будете любить меня по-прежнему.

– Обязанности, утешения монашеской жизни смогут и в самом деле, – произнес Родольф, – если не излечить, то все же облегчить страдания твоей истерзанной души. И хотя с тобою уйдет половина счастья из моей жизни, быть может, я и одобрю твое решение. Я знаю, как ты страдаешь, и думаю, что, быть может, уход от света должен стать роковым, но разумным решением в твоей печальной жизни.

– Как! Родольф, – и вы тоже! – воскликнула Клеманс.

– Позвольте, друг мой, полностью выразить мою мысль, – возразил Родольф.

Затем, обращаясь к дочери, он продолжал:

– Но прежде чем принять окончательное решение, надо подумать, нет ли другого выхода, приемлемого и для тебя и для нас. В таком случае я не остановлюсь перед любой жертвой, чтобы обеспечить твое счастливое будущее.

Лилия-Мария и Клеманс посмотрели на него с удивлением. Родольф, не сводя глаз с дочери, продолжал:

– Что ты думаешь... о своем кузене принце Генрихе? Мария затрепетала, покраснела.

Поколебавшись мгновение, она со слезами бросилась в объятия отца.

– Ты его любишь, бедное дитя мое!

– Вы меня об этом никогда не спрашивали, – ответила Мария, вытирая слезы.

– Мой друг, значит, мы не обманывались, – сказала Клеманс.

– Итак, ты его любишь... – добавил Родольф, сжав руки дочери в своих. – Ты его очень любишь, милое дорогое дитя?

– О, если бы вы знали, – ответила Мария, – как трудно мне было скрывать это чувство, с тех пор как оно возникло в моем сердце! Увы, если бы вы меня спросили, я тут же бы во всем призналась... Но меня удерживал стыд, и сама я никогда не посмела бы сказать вам это.

– А как ты думаешь, Генрих знает, что ты любишь его?

– Боже мой! Отец, думаю, что нет! – испуганно возразила Мария.

– А он... ты полагаешь, что он тебя любит?

– Нет, отец... нет... Я надеюсь, что нет... он слишком страдал бы.

– Ангел мой, как же возникла эта любовь?

– Увы, почти помимо моей воли... Вы помните портрет пажа?

– Который находится у аббатисы... портрет Генриха?

– Да, отец... считая, что он относится к прошлой эпохе, однажды, в вашем присутствии, пораженная его красотой, я не скрыла своего восторга от настоятельницы. Вы шутя мне сказали, что на этой картине изображен один из давних наших родственников, который уже в ранней молодости проявил исключительное мужество и благородство. Очарование его лица, то, что вы мне сказали о благородном характере нашего кузена, еще более усилили мое первое впечатление... С того дня я часто с удовольствием вспоминала увиденный портрет, отнюдь не сомневаясь, что то был наш кузен, давно уже умерший... Постепенно я свыклась с этой мыслью... зная... что мне не дозволено любить на этой земле, – добавила Мария душераздирающим голосом, снова заливаясь слезами. – Странная мечта вызывала во мне меланхолическое настроение, в котором сменялись улыбка, плач; я смотрела на красавца пажа былых времен как на какого-то жениха из иного мира... с которым я, быть может, встречу в вечности; мне казалось, что лишь такой любви достойно то сердце, которое всецело принадлежит вам... Но простите меня за печальные воспоминания.

– Наоборот, нет ничего более трогательного, бедное дитя, – сказала глубоко взволнованная Клеманс.

– Теперь я понимаю, – заметил Родольф, – почему однажды ты с горестью упрекнула меня за обман с портретом.

– Увы, да, отец, судите сами, как я смутилась, когда вслед затем настоятельница мне сооб-

щила, что это портрет ее племянника, нашего родственника... Тогда я страшно взволновалась; я пыталась отвлечься от первого впечатления, но чем больше старалась, тем сильнее оно укоренялось в моем сердце, как раз благодаря моим настойчивым усилиям изгнать его. К тому же я часто слышала, как вы хвалили сердечность, незаурядный ум и характер принца Генриха...

– Дорогое дитя мое, ты его полюбила уже тогда, когда видела только его портрет и слышала, как говорят о его редких достоинствах.

– Я еще не любила его, отец, но меня влекло к нему, и я горько упрекала себя; но утешалась тем, что никто в мире не узнает мою печальную тайну, которой я так стыдилась. Чтоб я осмелилась полюбить... не довольствуясь вашим трогательным чувством, нежностью моей матери! Разве не должна была я посвятить вам обоим все силы, все порывы моего сердца и души?.. О, из всех упреков, какими я осыпала себя, это мучило меня больше всего. Наконец я впервые увидела кузена... на балу в честь герцогини Софии; принц Генрих был так поразительно похож на свой портрет, что я сразу же его узнала... В тот же вечер, отец, вы мне представили кузена и позволили нам относиться друг к другу по-родственному.

– И вскоре вы полюбили друг друга?

– О, дорогой отец, он так красноречиво выражал вам свое уважение, привязанность, восхищение... к тому же вы сами так хорошо отзывались о нем!

– Он того заслужил. Нет более возвышенного характера, более благородного сердца.

– Ах, отец, сжальтесь... не хвалите его так... Я и без того столь несчастна!

– А я хочу убедить тебя в том, что у твоего кузена изумительный характер... Тебя удивляет то, что я сейчас говорю, я понимаю, продолжай...

– Я чувствовала, как для меня опасно ежедневно встречаться с принцем, но я не могла избежать этих встреч. Как ни безгранично мое доверие к вам, мой отец, я не осмелилась рассказать вам о моей тревоге, всячески старалась утаить мою любовь; и все же, признаюсь, несмотря на угрызения совести, когда я забывала о прошлом, эта братская близость доставляла мне минуты счастья, неведомого прежде, но сменявшегося мрачным отчаяньем, как только я начинала вспоминать печальное прошлое... ибо, увы, если эти воспоминания продолжались, в то время как я была окружена почестями и уважением со стороны почти незнакомых мне людей, посудите сами, отец, в каком я была состоянии, когда принц Генрих расточал мне деликатные комплименты... окружил меня чистым и почтительным обожанием, проявляя, как ой говорил, братскую привязанность, которую он чувствовал ко мне под святым покровительством своей матери, умершей, когда он был еще ребенком. Но я, по крайней мере, старалась заслужить прелестное имя сестры, которым он меня называл, я согласно своему слабому уму советовала кузену, как вести себя в будущем, проявляла интерес ко всему, что имело к нему отношение, обещала себе, что всегда буду просить вас оказывать ему вашу доброжелательную поддержку... Но сколько мук, сколько сдержанных слез, когда принц Генрих расспрашивал меня о моем детстве, юности... О, обманывать... всегда обманывать, всегда бояться, вечно лгать... вечно дрожать под взглядом того, кого любишь и уважаешь, как преступник дрожит перед неумолимым взором своего судьи!.. О отец, я виновата, я понимаю, что не имела права любить; но я искупила эту печальную любовь тяжелым страданием... Что вам еще сказать? Отъезд Генриха причинил мне новое глубокое горе, и я поняла, что люблю его еще больше, чем думала... Вот почему, – сказала Мария, подавленная так, словно эта исповедь поглотила все ее силы, – я вскоре призналась бы вам, так как эта роковая любовь переполнила чашу моих страданий... Теперь скажите, отец, скажите, когда вы все знаете, какое будущее может ожидать меня, кроме пострижения в монахини?

– Да, есть для тебя будущее, дитя мое... настолько же светлое, отрадное и счастливое, насколько монастырь мрачен и зловец.

– Что вы говорите, отец?..

– Послушай теперь меня... Ты хорошо знаешь, что я тебя горячо люблю, питаю к тебе слишком нежные чувства, чтобы не заметить возникшую между тобой и Генрихом любовь; всего лишь несколько дней спустя я убедился, что он полюбил тебя еще сильнее, чем ты его...

– Отец... нет... нет, это невозможно... он не любит меня так сильно.

– Он тебя любит, говорю тебе... любит страстно, безумно.

– О боже мой, боже мой!

– Слушай же... Когда я сыграл эту шутку с портретом, я не знал, что Генрих должен вскоре приехать к своей тетке в Герольштейн. Когда он сюда приехал, я уступил симпатии, которую он всегда мне внушал, и пригласил его постоянно бывать у нас... До того я относился к Генриху, как к своему сыну, и теперь ничего не изменил в своем отношении к нему... Несколько дней спустя Клеманс и я уже не сомневались в вашем обоюдном чувстве... Если ты страдала и мучилась, дитя мое, то, поверь, мне тоже было не сладко, и я был в крайне затруднительном положении. Как отец, ценя превосходные черты характера Генриха, я был глубоко счастлив, узнав о вашей привязанности друг к другу, так как я не мог мечтать о более достойном муже для тебя.

– Ах, отец... сжальтесь надо мной, сжальтесь!

– Но меня, как человека чести, мучила мысль о твоём печальном прошлом... Вот почему при встречах с Генрихом я не внушал ему никаких надежд, а, наоборот, давал ему советы, совершенно противоположные тем, которых он мог ожидать от меня, если бы я собирался отдать тебя за него замуж. При таких щепетильных обстоятельствах, как отец и порядочный человек, я должен был проявлять строгую сдержанность, не поощрять любовь кузена, но по-прежнему учтиво относиться к нему... Дорогое дитя, ведь до сих пор ты была так несчастна, что, видя, как ты оживилась под влиянием чистой и благородной любви, я ни за что на свете не захотел бы лишиться тебя редкостных и чудесных радостей. Даже если, быть может, в будущем это чувство и померкнет, я все же надеялся, что ты сможешь насладиться немногими днями невинного счастья... и, быть может... эта любовь в будущем вернет тебе душевный покой.

– Душевный покой?

– Послушай же... Отец Генриха, принц Пауль, написал мне письмо... Хотя он считает, что не может надеяться на эту милость... он просит твоей руки для своего сына, который, по его словам, самозабвенно и страстно тебя любит.

– О боже, – произнесла Лилия-Мария, закрывая лицо руками, – как я могла бы быть счастлива!

– Успокойся, моя любимая! Все зависит от тебя, ты можешь быть счастливой, – нежно произнес Родольф.

– Никогда... Никогда! Разве вы забыли?

– Я ничего не забываю... Но если завтра ты уйдешь в монастырь, я не только расстанусь с тобой навсегда... но помни, что тебе предстоит печальная, суровая жизнь... Значит, я должен потерять и погубить тебя, вместо того чтобы видеть тебя счастливой, если ты станешь супругой любимого человека, который тебя обожает. – Выйти за него замуж... да что вы, отец!

– Да... но с условием, что после свадьбы, которая состоится здесь, ночью, без свидетелей, за исключением Мэрфа для тебя и барона Грауна для Генриха, вы отправитесь в какое-нибудь тихое убежище в Швейцарии или Италии, и будете жить там в уединении, как живут богатые буржуа. Теперь ты понимаешь, почему я безропотно решил расстаться с тобой. Тебе известно, почему я желаю, чтоб Генрих скрыл свой титул, как только он покинет Германию? Дело в том, что я убежден, что, наслаждаясь уединенным счастьем, ведя образ жизни, лишенный светской роскоши, ты постепенно будешь забывать то ужасное прошлое, особенно нестерпимое для тебя здесь, где оно представляет горький контраст с помпезными почестями, которые тебе беспрерывно оказывают.

– Родольф прав! – воскликнула Клеманс. – Наедине с Генрихом вы будете наслаждаться своим и его счастьем и у вас не будет времени даже подумать о том, что происходило когда-то.

– К тому же я не смогу долгое время не видеть тебя; каждый год Клеманс и я будем навещать вас.

– И однажды... когда раны, от которых вы так страдаете, заживут... когда вы обретете забвение в счастье, а это время наступит раньше, чем вы предполагаете... вы возвратитесь к нам, чтоб никогда больше не расставаться с нами!

– Забвение в счастье!.. – прошептала Лилия-Мария, невольно зачарованная этой волшебной мечтой.

– Да... да, дитя мое, – повторила Клеманс, – когда вас будет непрерывно благословлять, почитать, обожать ваш муж, избранный вами, человек с благородным и великодушным сердцем, которым восхищается ваш отец... разве останется у вас время предаваться воспоминаниям о былом? И даже если вы вспомните о прошлом, сможет ли оно вас опечалить? Помешает ли оно вам верить в лучезарное счастье вашего мужа? – Это правда, скажи мне, дитя мое, – продолжал Родольф, едва сдерживая слезы радости, когда увидел, что его дочь колеблется, – если ты поймешь, как обожает тебя твой муж... если почувствуешь, что своим счастьем он всецело обязан тебе... за что же ты будешь упрекать себя?

– Дорогой отец... – произнесла Мария, увлеченная несказанной надеждой, – неужели меня ждет такое счастье?

– Я был в этом уверен! – воскликнул Родольф в порыве торжествующей радости. – Разве отец не может устроить счастье своей любимой дочери... если он хочет этого?

– Она так заслуживает счастья... что мы должны исполнить просьбу принца Пауля, мой друг, – заметила Клеманс, разделяя радостное восхищение Родольфа.

– Стать женою Генриха... и потом проводить жизнь с ним... и с моей второй матерью, и с вами, отец, – повторяла Мария, все более опьяняясь этими сладостными мыслями.

– Да, мой милый ангел. Мы все будем счастливы!.. Я отвечу отцу Генриха, что соглашаюсь на ваш брак! – воскликнул Родольф, обнимая свою дочь с невыразимым волнением. – Успокойся, разлука с нами будет недолгой... новые обязанности семейной жизни укрепят тебя на пути забвения и блаженства, на который ты теперь вступишь... и наконец, если ты станешь матерью, не только ты одна будешь счастлива...

– Ах, – воскликнула Мария душераздирающим голосом, ибо слово «мать» прогнало охвативший ее волшебный сон. – Мать... я? Никогда!.. Я недостойна этого святого имени... Я бы умерла от стыда перед моим ребенком... если бы раньше не умерла от стыда перед его отцом... признаваясь ему в своем прошлом.

– Что она говорит, боже мой, – воскликнул Родольф, пораженный этим резким поворотом.

– Чтоб я стала матерью, – с горьким отчаяньем продолжала Мария, – чтоб меня уважал, благословлял невинный и чистый ребенок! Меня, которую в прошлом все презирали! Чтобы я позорила святое имя матери... О, никогда... несчастная, безумная, я позволила увлечь себя недостойной надеждой!..

– Дорогая дочь, сжался, выслушай меня.

Лилия-Мария поднялась, прямая, бледная и прекрасная во всем величии своего неизбывного несчастья.

– Отец... мы забыли, что, прежде чем я выйду за него замуж, принц Генрих должен узнать о моем прошлом.

– Я это не забыл, – воскликнул Родольф. – Он должен все знать... и он узнает все...

– А вы ведь не пожелаете, чтоб я умерла... столь униженная в его глазах?

– Но он также узнает, какой неодолимый рок вверг тебя в пропасть... узнает, что ты все испустила.

– И он наконец поймет, – продолжала Клеманс, сжимая Марию в своих объятиях, – что если я вас называю дочерью, то он, не стыдясь, может назвать вас своей женой...

– А я... мама, я глубоко уважаю принца Генриха и не могу отдать ему руку, к которой прикасались парижские бродяги...

.....

Вскоре после этой тяжелой сцены можно было прочитать в «Официальной газете Герольштейна» следующее сообщение:

«Вчера в герцогском аббатстве св. Германгильды, в присутствии его королевского высочества правящего герцога и всего его двора произошло вступление в послушницы ее высочества принцессы Амелии Герольштейнской.

Послушничество было принято монсеньором Карлом-Максимом, архиепископом Оппенгеймским, монсеньором Аннибалом-Андре Монтано, принцами Дельфийскими, епископом Чеутским *in partibus infidelium*⁷⁸ и папским нунцием, который передал поздравление и благословение папы.

Проповедь была произнесена преподобным монсеньором Петером фон Асфельд, каноником Кельнского собора, графом Священной Римской империи».

«VENI, CREATOR OPTIME»⁷⁹

Глава VII ИСПОВЕДЬ

*«Родольф к Клеманс
Герольштейн, 12 января 1842.»⁸⁰*

Окончательно успокоив меня сегодня сообщением о здоровье вашего отца, мой друг, вы подаете мне надежду, что сможете в конце недели привезти его сюда. Я его предупреждал, что в замке Розенфельд, находящемся среди лесов, несмотря на всевозможные предосторожности, ему придется терпеть лютейший холод; к несчастью, наши советы для такого страстного охотника, как он, оказались бесполезными. Заклинаю вас, Клеманс, как только ваш отец сможет переносить езду в экипаже, увезите его без промедления; покиньте эту суровую страну и это дикое убежище, где могли жить только древние германцы с железным здоровьем, каких теперь уже не осталось на свете.

Я боюсь, что и вы заболеете в свою очередь: усталость от этой внезапной поездки, тревога, терзавшая вас, пока вы не увидели своего отца, все это было слишком жестоко для вас. Как жаль, что я не смог вас сопровождать!..

Клеманс, умоляю вас, будьте осторожны. Я знаю, что вы смелая, преданная женщина... мне также известно, какой трогательной заботой вы окружили своего отца; но он, как и я, будет – в отчаянье, если ваше здоровье пострадает во время путешествия; вдвойне сожалею о болезни графа, потому что из-за нее вам пришлось оставить меня в тот момент, когда я смог бы найти утешение в вашей нежной любви.

Обряд пострижения нашей дочери назначен на завтра... 13 января, роковая дата... Именно 13 января я обнажил шпагу против моего отца...

Ах, мой друг... я слишком рано решил, что я прощен. Пьянящая надежда провести жизнь подле вас и дочери заставила меня позабыть, что до сих пор не я, а она была наказана, мне же еще предстоит возмездие.

И вот оно явилось... когда шесть месяцев тому назад несчастная дочь поведала нам о двойном источнике ее сердечных мук: несмыаемый позор прошлого... несчастная любовь к Генриху...

Эти жгучие горестные чувства, каждое из которых усиливает другое, с логической неизбежностью привели к ее неумолимому решению поступить в монастырь. Вам известно, мой друг, что, изо всех сил борясь за нашу обожаемую дочь, уговаривая ее изменить решение, мы не могли утаить от себя, что она поступает мужественно и что на ее месте мы поступили бы так же.

⁷⁸ В иноверческой стране (*лат.*).

⁷⁹ Приди, творец всеблагой (*лат.*).

⁸⁰ Почти шесть месяцев прошло с того времени, как Лилия-Мария поступила послушницей в монастырь св. Германгильды.

Что можно было ответить на эти страшные слова: «Я слишком люблю принца Генриха, чтобы предложить ему руку, к которой прикасались парижские бродяги»? Она должна была пожертвовать собою вследствие благородных терзаний неизгладимого прошлого! Она совершила это храбро... Она отказалась от великолепия света, она спустилась по ступеням трона, чтобы, облаченной во власяницу, стать на колени на плиты церкви; скрестив – на груди руки, она склонила ангельскую головку, и ее чудные белокурые волосы, которые я так любил и которые храню как сокровище, упали наземь.

О мой друг, вы представляете себе мою душевную боль в этот мрачный торжественный момент, она столь же мучительна, как и в минувшие времена... Над этим письмом я плачу как ребенок.

.....

Я ее видел сегодня утром; она выглядела менее бледной, чем обычно, и убеждала, что здорова... ее состояние меня смертельно тревожит. Увы, когда под покрывалом и повязкой, окружавшей благородный лоб, я увидел осунувшиеся черты, белые, как холодный мрамор, и ее большие глаза, ставшие, казалось, еще больше, я не мог не вспомнить о нежном и чистом сиянии ее красоты в день нашей свадьбы. Никогда мы не видели ее столь обворожительной, не правда ли? Ее прелестное лицо, казалось, излучало наше счастье.

Как я вам уже сказал, я видел ее сегодня утром; ее не предупредили, что принцесса Юлиана добровольно слагает с себя в ее пользу сан аббатисы; итак, завтра, в день ее пострига, – наша дочь будет избрана настоятельницей, так как у всех благородных девиц обители единодушное мнение: присвоить ей этот почетный сан.⁸¹

Все в один голос говорят, что, став послушницей, она поражала всех своей набожностью, кротостью, святой точностью исполнения правил своего монашеского ордена, суровость которых она, к сожалению, еще усиливала. В монастыре уже чувствуется ее влияние, как и везде, где она присутствует. Она не придает этому значения и даже не знает об этом, что еще более возвеличивает ее авторитет... Сегодняшняя встреча только подтвердила мои подозрения: она не нашла здесь, в одиночестве монастыря, в суровой жизни обители покой и утешение... Однако она рада, что возложила на себя обет, который считает необходимым исполнением повелительного долга; но она постоянно страдает, так как создана не для мистического созерцания, предаваясь которому иные, забывая все свои привязанности, все земные радости, впадают в аскетический восторг.

Нет, Мария безутешна, хотя она молится, соблюдает суровые правила ордена, утешает бедных больных женщин, находящихся на излечении в больнице монастыря, не останавливается перед самыми смиренными заботами о них. Она даже отказалась от помощи послушницы, которая должна убирать печальную, холодную и пустую келью, где, как вы помните, мы со скорбью заметили высохшие веточки ее кустика розы, подвешенные под распятием Христа. Она, наконец, любимый пример, благотворимая душа монастыря... Но она сама мне призналась сегодня утром, горько сожалея об этой слабости, что не столь уж усердно предана труду и исполнению суровых правил монастырской жизни, чтоб у нее постоянно не возникало воспоминание о невзгодах минувших лет... и о том, как бы могла теперь сложиться ее жизнь.

«Я обвиняю себя, отец, – сказала она выразившим покорность судьбе спокойным и нежным голосом, который вам знаком, – да, я обвиняю себя, но невольно думаю, что раз бог пожелал избавить меня от полного падения, которое окончательно обесчестило бы мою будущую жизнь, то я могла бы жить невядалеке от вас, любимая избранным вами супругом. И я невольно делю свою жизнь между горькими сожалениями и кошмарными воспоминаниями о Сите.

⁸¹ Были случаи, когда монахиню возвели в сан аббатисы в день ее пострига, см: «Жизнь высокочтимой и набожной монахини принцессы Шарлотты Фландрской фон Нассау, высокочтимой аббатисы в королевском монастыре св. Креста, ставшей настоятельницей в восемнадцатилетнем возрасте».

Напрасно я молю бога избавить меня от этих наваждений, наполнить мое сердце благоговением к нему, святым упованием... захватить меня всю... так я хочу всецело отдать себя ему... Он не внимает моей мольбе... конечно, потому, что мои земные заботы недостойны общения с ним».

«Тогда, – воскликнул я, охваченный безумной надеждой, – еще не поздно, сегодня твое послушничество кончается, и лишь завтра состоится торжественное произнесение обета, ты еще свободна, откажись от столь тяжелой и суровой жизни, которая не приносит тебе ожидаемого облегчения; ты страдаешь во имя страдания, возвратись страдать к нам, наша нежность облегчит твои муки».

С грустью покачивая головой, она ответила мне с неумолимой рассудительностью, которая так часто поражала нас в ней:

«Конечно же, дорогой отец, одиночество вызывает во мне глубокую тоску, ведь я так привыкла каждый миг чувствовать вашу ласку. Меня постоянно преследуют горькие упреки, душевраздирающие воспоминания, но, по крайней мере, у меня спокойна совесть, я исполнила свой долг... но я понимаю, что где бы я ни находилась, за исключением монастыря, повсюду буду чувствовать себя не на своем месте, опять окажусь в ложном положении, от которого я так страдала... и за себя... и за вас... ведь у меня тоже есть гордость. Ваша дочь станет такой, какой она должна быть... сделает то, что она должна сделать, переживет все, что должна пережить... Если завтра все узнают, из какой грязи вы меня извлекли... быть может, видя меня раскаявшейся у подножия креста, простят мое прошлое за то, что я так смирилась теперь, и если меня увидят в вашем обществе, то я уже не буду блистать среди вашего пышного двора, как это было несколько месяцев тому назад, дорогой отец. К тому же выполнять справедливые и строгие требования света – это в духе моей натуры; вот почему я от всего сердца благодарю бога, зная, что только он мог предоставить вашей дочери убежище и создать ей достойное ее и вас положение... словом, такое положение, которое не было бы ужасным контрастом с моим падением в прошлом... и могло бы заслужить то уважение, на которое я имею право... уважение к искреннему раскаянию и смирению».

Увы! Клеманс... что я мог ей ответить?

Роковое стечение обстоятельств! Роковое! Потому что эта несчастная дочь видит с неумолимой логикой все, что касается тонкостей чести и благородства. Обладая таким разумом и душой, она не поддастся увещаниям, не будет смягчать, изменять ложное положение, а примет его неодолимые последствия.

Как всегда, я покинул ее с разбитым сердцем.

Не возлагая малейшей надежды на эту последнюю перед постригом встречу, я подумал: «Еще сегодня она может отказаться от ухода в монастырь». Но, вы видите, мой друг, ее воля неумолима, и я должен, увы, согласиться с ней и повторить ее слова:

«Один лишь бог может предоставить ей убежище и положение, достойное ее и меня».

Повторяю, ее решение исключительно разумно, с точки зрения общества, в котором мы живем. При столь тонкой восприимчивости, свойственной Марии, у нее не было другого выхода. Но я часто признавался вам, мой друг, если бы священный долг, более священный, нежели долг перед своей семьей, не удерживал бы меня среди народа, который меня любит и для которого я в известной мере заменяю провидение, то я уехал бы вместе с вами, дочерью, Генрихом, Мэрфом, и мы бы счастливо жили далеко от света в каком-нибудь безвестном убежище. Тогда, вдали от неумолимых законов общества, не способного излечить им самим же нанесенные раны, мы сумели бы заставить несчастное дитя стать счастливой и забыть прошлое. В то время как здесь, среди славы, блеска парадных приемов, пусть мы даже ограничим их пышность, это было невозможно... Судьба... судьба! Я не могу отречься от престола, рискуя благодеянием подданных, преданных мне... Мужественные и достойные люди! Пусть они никогда даже не узнают, какой ценой я плачу за их верность!..

Прощайте, моя нежно любимая Клеманс. Для меня было утешительно видеть вас столь же огорченной, как и я, судьбой моей дочери, это наше общее горе, и в моем страдании я не вижу никакого эгоизма.

Порою я с ужасом думаю о том, что бы я делал без вас в столь тягостных обстоя-

ствах... Часто эта мысль приводит меня к очевидности, что судьба Марии еще горше. Ведь со мной останетесь вы... А кто останется с ней?

Прощайте, шлю вам печальный поклон, благородный друг, добрый ангел в эти тяжелые дни. Скорее возвращайтесь, ведь разлука для вас столь же тягостна, как и для меня...

Вам – и жизнь моя и любовь,

душой и сердцем ваш Р.

Посылаю это письмо с курьером, и, если не помешают непредвиденные обстоятельства, завтра напишу другое после печальной церемонии. Лучшие пожелания вашему отцу, надеюсь, что он скоро совсем поправится. Забыл сообщить вам новость о бедном Генрихе. Его состояние улучшается и уже не вызывает большой тревоги. Его благородный отец, сам больной, нашел в себе силы, чтобы ухаживать за ним, бодрствовать у его постели – чудо отцовской любви, которое нас не удивляет.

Итак, до завтра... Для меня наступит роковой, зловещий день.

Р. »

«Аббатство св. Германгильды, четыре часа утра.

Не беспокойтесь, Клеманс, хотя время, когда я пишу это письмо, и место, где нахожусь, могут вас напугать.

Слава богу, опасность миновала, хотя приступ был угрожающий...

Вчера, после того как я написал вам письмо, движимый каким-то мрачным чувством, вспоминая бледное, измученное лицо моей дочери, слабость, которую она ощущала в последнее время, подумав, наконец, о том, что она должна стоять на молитве почти всю ночь, предшествующую постригу, в холодной большой церкви, я отправил Мэрфа и Давида в аббатство принцессы Юлианы, с тем чтобы она разрешила им ночевать в находящемся за оградой обители особняке, который обычно занимал Генрих. Так что моя дочь смогла бы получить немедленную помощь, и я знал бы об этом, если бы у нее не хватило сил выдержать эту тяжелую... я не хотел бы сказать, жестокую повинность молиться в январе всю ночь на лютой стуже. Я также написал Марии, чтобы она, строго исполняя религиозные обязанности, подумала о своем здоровье, и совершила ночную молитву у себя в келье, а не в церкви. Вот что она мне ответила:

«Дорогой отец, от всего сердца благодарю вас за новое доказательство вашей нежной преданности. Не беспокойтесь; я убеждена, что в силах исполнить свой долг. Ваша дочь, милый отец, не проявит ни страха, ни слабости. Таков устав, и я должна ему подчиниться. И если за этим последует физическое страдание, я охотно принесу его в дар богу. Надеюсь, вы одобрите мое поведение, вы, который всегда были так строги к себе и верны долгу. Прощайте, дорогой отец, не скажу, что я буду молиться за вас. Обращаясь к богу, я всегда обращаюсь и к вам, ибо вы олицетворяете для меня божество, к которому я взываю. Вы были для меня на земле тем же, кем бог, если я заслужу это, станет для меня в небесах.

Сегодня вечером удостоьте мысленно благословить вашу дочь, дорогой отец. Завтра она станет невестой Христа. Она с благоговением целует вашу руку.

Сестра Амелия ».

Обливаясь слезами, читал я это письмо, однако оно меня немного успокоило. Я тоже должен был бодрствовать в эту мрачную ночь.

Когда она наступила, я заперся в павильоне, который приказал построить подле памятника моему отцу, сооруженного в искупление событий той роковой ночи...

Около часа я услышал голос Мэрфа; я задрожал от ужаса. Он поспешно вернулся из монастыря.

Что сказать вам, мой друг? Как я и предвидел, несчастное дитя, несмотря на свое мужество

и силу воли, не выдержало полностью этот варварский ритуал, от которого принцесса Юлиана не смогла освободить ее, так как существует категорическое предписание его исполнять.

В восемь часов вечера Лилия-Мария преклонила колени на каменном полу церкви. До полуночи она молилась. К этому времени, изнемогая от слабости, ужасного холода и волнения, тихо плача, она потеряла сознание. Две монахини, разделявшие ее бдение по распоряжению принцессы Юлианы, подняли и отнесли ее в келью.

К ней тотчас вызвали Давида. Мэрф в карете прибыл за мной. Я помчался в монастырь, где меня приняла принцесса Юлиана. Она сообщила, что Давид боится, чтобы мое появление не вызвало слишком сильного волнения у дочери, что она очнулась от своего обморока, который не представляет собой ничего угрожающего и был вызван только ее слабостью.

Вначале у меня возникла страшная мысль. Я подумал, что от меня хотят скрыть ужасное несчастье, или, по крайней мере, подготовить к нему, но настоятельница сказала мне:

«Я подтверждаю, монсеньор, принцесса Амелия вне опасности; легкое сердечное лекарство, которое дал ей доктор Давид, – подкрепило ее силы».

Я не мог сомневаться в том, что утверждала аббатиса; я поверил ей и ожидал известий с мучительным нетерпением.

После нескольких минут тревоги и тоски пришел Давид. По милости бога ей стало лучше, и она решила продолжать молитву в церкви, согласившись только подложить подушку под колени. И когда я возмутился против того, что настоятельница и он уступили желанию дочери, и заявил, что я официально воспротивлюсь этому, то доктор ответил, что было бы опасно противоречить воле моей дочери в тот момент, когда нервы её предельно напряжены, и к тому же условились с принцессой Юлианой, что дочь покинет церковь в часы всеобщей, чтобы отдохнуть перед церемонией и подготовиться к ней.

– Значит, она сейчас в церкви? – спросил я.

– Да, монсеньор, но через полчаса она уйдет оттуда.

Тотчас я просил сопроводить меня на хоры северной стороны, откуда открывался вид на величественный неф. Там, во мраке просторной церкви, освещенной мерцающим светом алтаря, она стояла на коленях подле решетки и, сложив руки, горячо молилась.

Я тоже стал на колени, созерцая свою дочь.

Пробило три часа; две монахини, сидевшие на скамьях и смотревшие на Марию, подошли к ней и тихо что-то сказали. Вскоре она перекрестилась, поднялась и твердым шагом пересекла неф церкви; однако, дорогой друг, когда она проходила мимо светильника, ее лицо показалось мне столь же бледным, как и покрывавшее ее длинное покрывало.

Я сразу же сошел с хоров и сначала хотел подойти к ней, но побоялся причинить ей новые волнения, нарушить ее покой и лишит отдых. Тогда я отправил Давида узнать, как она себя чувствует; вернувшись, он сообщил, что ей лучше и она хочет немного отдохнуть.

Я остаюсь в аббатстве, чтобы присутствовать на церемонии посвящения в монахини, которая состоится сегодня утром.

Полагаю, друг мой, что не стоит отправлять вам незаконченное письмо; допишу его завтра и расскажу о событиях печального дня.

До скорого свидания, я подавлен горем, пожалейте меня!»

13 января

Глава последняя РОДОЛЬФ К КЛЕМАНС

«13 января... Дважды роковая годовщина!!!

Друг мой... мы потеряли ее навсегда!!!

Все кончено, все!

Слушайте этот рассказ.

Правда, что можно испытывать болезненное сладострастие, излагая глубочайшую-скорбь.

Вчера я жаловался на судьбу за то, что вы далеко от меня... Сейчас, Клеманс, я доволен, что вас здесь нет: вы глубоко страдали бы...

Утром я слегка дремал, как вдруг меня разбудил звон колоколов... я задрожал... мне представилось что-то мрачное... звон был похож на похоронный.

В самом деле... моя дочь умерла для нас... умерла, понимаете ли вы это? Отныне, Клеманс... вы должны носить траур в своем сердце, которое было для нее материнским.

Будет ли наша дочь погребена под мрамором могилы или под сводами монастыря... для нас... это безразлично.

Отныне, Клеманс, надо считать ее умершей... К тому же... она столь хрупкое существо... ее здоровье, надорванное такими горестями и потрясениями, такое слабое... Почему же не наступила настоящая смерть? Или злой рок еще не утомила?..

К тому же... из вчерашнего моего письма вы должны были понять, что другая, настоящая смерть была бы для нее легче...

Умерла... Не находите ли вы, что это слово звучит странно, когда оно относится к обожаемой дочери... прелестной девушке ангельской доброты. Ей едва минуло восемнадцать лет... прежде чем она погибла для света... По сути дела, для нас и для нее зачем губить душу под мрачными сводами монастыря? В самом деле, зачем ей жить, если для нас она потеряна навечно? Она, должно быть, страстно любила жизнь... которую злой рок наделил ее!..

В полдень в торжественной обстановке состоялось ее пострижение в монахини.

Я присутствовал при этом, скрытый за портьерами нашей ложи.

Я испытываю мучительное волнение, более тяжкое, нежели когда мы узнали о ее желании стать послушницей... Странное явление! Ее обожают, считают, что она должна вести жизнь затворницы в силу неодолимого призвания, что уход в монастырь для нее счастливое событие, а в толпе, наоборот, царила удручающая грусть.

В глубине церкви, среди публики... я увидел двух унтер-офицеров гвардейского полка, двух старых суровых солдат; поникнув головой, они плакали...

Казалось, что возникла обстановка скорбного предчувствия, если это так, то самое страшное еще впереди.

Когда постриг был совершен, нашу дочь увели в зал капитула, где должно было состояться избрание новой аббатисы. Пользуясь положением монарха, – я направился в этот зал и стал ждать прихода Марии из церкви.

Вскоре она вошла... Она так сильно волновалась и была столь слаба, что две монахини вели ее под руки...

Я был поражен не столько бледностью черт ее лица, сколько улыбкой... она выражала какое-то мрачное торжество...

Клеманс, говорю вам... быть может, вскоре нам предстоит обрести мужество... мы должны собраться с духом... Я чувствую, так сказать, интуитивно, что наша дочь поражена смертельно...

В конце концов, ее жизнь была бы так несчастна...

Я вновь повторяю, что если бы моя дочь умерла... то смерть положила бы конец ее скорби... Эта мысль возникла как ужасный призрак... Но если такое несчастье должно нас постигнуть, тогда нам следует к нему подготовиться; не правда ли, Клеманс? Подготовить себя... Это значит постепенно, заранее ощущать мучительную тревогу... анализировать во всех их тонкостях неслыханные страдания. Это ужаснее, чем внезапный удар... Тут, по крайней мере, оцепенение, упадок духа избавляют вас в какой-то мере от душевных терзаний....

Хотя она выглядела довольно спокойно, когда я покинул ее час тому назад, чтобы закончить это письмо, повторяю, Клеманс, внешний вид ее обманчив, она глубоко страдает...

Но сочувствие требует, чтобы вас подготовили... Наверное, мой бедный друг, я и сам поступил бы так же, если бы мне пришлось сообщить вам печальное событие, о котором я говорю. Поэтому пусть это вас не удивляет, если вы заметите, что я упоминаю о ней... с осторожностью, с увертками отчаявшейся грусти, после того как я сам сообщил вам о том, что ее здоровье не

внушает серьезных опасений.

Да, испугайтесь, если я буду говорить с вами так, как сейчас вам пишу... потому что час тому назад, когда я оставил ее, чтобы пойти закончить это письмо, она была довольно спокойна, но, повторяю вам, Клеманс, я в глубине души чувствую, что она страдает больше, чем это кажется внешне... Дай бог, чтобы я ошибался и принимал за предчувствие безнадежную грусть, внушенную мне этой мрачной церемонией.

Итак, Лилия-Мария вошла в большой зал капитула.

Монахини постепенно заняли все скамьи.

Она скромно уселась на последнее место левого ряда, опираясь на руку одной из сестер, так как все еще была очень слабой.

На возвышении зала сидела принцесса Юлиана, держа в руке золотой посох, символ власти аббатисы, по одну ее сторону – настоятельница, по другую – казначейша.

Наступила глубокая тишина, принцесса встала с посохом в руке и заговорила торжественным и взволнованным голосом:

«Дорогие мои дочери, преклонный возраст обязывает меня вручить в более молодые руки этот символ духовной власти. – И она указала на свой посох. – Я получила послание нашего святейшего отца, разрешающее мне представить на благословение архиепископу Оппенгейскому и на утверждение великого герцога, нашего правителя, ту из вас, дорогие дочери, которую вы выберете в качестве моей преемницы. Наша настоятельница объявит вам о результатах выборов, и той, которая будет избрана, я вручу мой посох и перстень».

Я не сводил глаз с дочери.

Скрестив руки на груди, опустив глаза, в черной мантии с доходящими до полу складками, наполовину скрытая белым покрывалом, она стояла возле своей скамьи в неподвижной задумчивости. Она ни на мгновение не могла предположить, что ее могут избрать; аббатиса мне сообщила о предстоящем ей возвышении.

Настоятельница взяла бумагу и начала читать:

«Согласно уставу, неделю тому назад каждая из наших дорогих сестер получила приглашение избрать преемницу аббатисы и, сообщив свой выбор одной лишь нашей святейшей матери, держать в тайне имя избранницы до настоящего момента. От имени святейшей матери я объявляю, что одна из вас, дорогие мои сестры, своей образцовой набожностью и ангельскими добродетелями заслужила единодушное избрание общиной; это наша сестра Амелия, в миру ее высочество принцесса Герольштейнская».

При этих словах в зале послышался шепот, выражавший удивление и радость. Взгляды всех монахинь с нежной симпатией обратились к моей дочери. Вопреки своему подавленному состоянию я сам был глубоко взволнован этим выбором, который, несмотря на тайное выражение воли каждой монахини, оказался так трогательно единодушным.

Лилия-Мария от изумления еще сильнее побледнела, колени ее так дрожали, что она вынуждена была опереться на ограду, окружавшую наши скамьи.

Аббатиса произнесла громко и торжественно:

– Мои дорогие дочери, вы убеждены, что сестра Амелия является наиболее достойной среди вас? Признаете ли вы именно ее вашей духовной наставницей? Пусть каждая из вас поочередно ответит на мой вопрос.

И каждая монахиня громко отвечала:

– Свободно, по своей воле я избрала и избираю сестру Амелию своей святейшей матерью и настоятельницей.

Охваченная невыразимым волнением, моя бедная дочь опустилась на колени, сложила руки и оставалась в таком положении, пока не был завершен ритуал избрания.

Вслед за тем принцесса Юлиана, передав посох и перстень настоятельнице, подошла к моей дочери, чтобы взять ее за руку и отвести к креслу аббатисы.

.....

Мой друг, мой нежный друг, я прервал это письмо, должен собраться с силами, чтобы рассказать вам душераздирающую сцену...

– Поднимитесь, дорогая дочь, – сказала ей аббатиса, – займите место, принадлежащее вам. Вы заслужили его за вашу ангельскую добродетель, а не за высокий титул.

Произнося эти слова, уважаемая принцесса склонилась к моей дочери, чтобы помочь ей подняться.

Лилия-Мария сделала несколько шагов, дрожа от волнения, затем, выйдя на середину зала, остановилась и с поразившими меня спокойствием и твердостью заговорила:

– Простите меня, святейшая мать... я желала бы обратиться к моим сестрам.

– Поднимитесь вначале на ваше кресло аббатисы, – сказала принцесса, – они должны оттуда услышать ваше обращение.

– Это кресло, святейшая мать... не может быть моим, – ответила Лилия-Мария громким дрожащим голосом.

– Что вы говорите, дорогая дочь?

– Столь высокая честь не предназначена для меня, святейшая мать.

– Но вас призывает к этому единодушное желание всех ваших сестер.

– Позвольте мне здесь, стоя на коленях, произнести торжественное признание; тогда и мои сестры, и вы, святейшая мать, поймете, что я едва ли достойна даже самого скромного места.

– Ваша скромность вводит вас в заблуждение, дорогая дочь, – добродушно заметила настоятельница, в самом деле полагая, что несчастное дитя уступает чувству преувеличенной скромности.

Но я догадался, в чем будет исповедоваться Лилия-Мария. Охваченный ужасом, я закричал умоляющим голосом:

– Дорогое дитя... заклинаю тебя...

При этих словах... рассказать вам то, что я увидел в обращенном ко мне взгляде дочери, невозможно... Одним словом, к как вам станет ясно, она поняла меня. Да, она поняла, что и я должен разделить позор ее ужасного признания... Она поняла, что после этой исповеди могут и меня обвинить во лжи... потому что я должен был заверять всех, что Мария никогда не рассталась со своей матерью.

При этой мысли бедное дитя осознало, что платит мне черной неблагодарностью... У нее не хватило сил продолжать, она замолчала, удрученно склонив голову:

– Повторяю, дорогая дочь, – заметила аббатиса, – ваша скромность вводит вас в заблуждение... единодушные сестер, избравших вас, доказывает, что вы достойны заменить меня... Как раз потому, что вы познали радости жизни, ваш уход в монастырь особенно заслуживает похвалы... Нами избрана сестра Амелия, а не ее высочество принцесса Амелия... Для нас ваша жизнь начинается с того момента, когда вы вступили в обитель господню... и за эту примерную святую жизнь мы вас вознаграждаем... Более того, дорогая дочь, если бы, прежде чем вы вошли в нашу обитель, ваша жизнь была бы столь же легкомысленной, сколь она чиста и похвальна здесь... то ваши евангельские добродетели, проявленные здесь с момента вступления в монастырь, искупили бы в глазах господина самые тяжкие грехи прошлого... Внимая этому, дорогая дочь, судите сами, должна ли успокоиться ваша скромность.

Эти слова аббатисы, как вы понимаете, были для Лилии-Марии особенно впечатляющими, так как она считала свой былой позор неизгладимым. К несчастью, эта сцена глубоко ее взволновала, и, хотя внешне она, казалось, обрела спокойствие и твердость духа, я видел, что черты ее лица совсем исказились... В смущении, слабой рукой она вытерла пот со лба.

– Надеюсь, что я вас убедила, дочь моя, – продолжала принцесса Юлиана, – и вы не пожелаете доставлять сестрам глубокое огорчение, пренебрегая их доверием и преданностью вам.

– Нет, святейшая мать, – сказала она слабеющим голосом, с выражением, поразившим меня. – Я думаю, что теперь имею право согласиться... Но так как я очень устала и чувствую, что заболела, вы разрешите, святейшая мать, перенести на несколько дней церемонию возведения меня в сан.

– Будет так, как вы пожелаете, дорогая дочь, но, до того как ваш сан будет благословлен и

утвержден... примите этот перстень... Займите свое место... Наши дорогие сестры, по установленному обычаю, воздадут вам почести.

И настоятельница, надев кольцо на палец Лилии-Марии, подвела ее к креслу аббатисы. Это было простое и трогательное зрелище.

Подле кресла, где она сидела, находились с одной стороны настоятельница, державшая золотой посох, с другой – принцесса Юлиана. Каждая монахиня, преклонив перед Лилией-Марией колени, целовала нашей дочери руку. Я наблюдал, как она все сильнее волновалась, лицо ее искажилось, она не в силах была перенести эту сцену... и лишилась чувств, когда процессия монахинь еще не закончилась. Судите сами о моем состоянии!.. Мы перенесли ее в апартаменты аббатисы...

Давид еще находился в монастыре. Он прибежал, оказал ей первую помощь. Быть может, он обманывал меня! Но он утверждал, что новый приступ возник в результате крайней слабости, вызванной постом, усталостью и бессонными ночами; все это моя дочь заставляла себя переносить в период своего тяжелого и долгого послушничества...

Я поверил ему, потому что когда она пришла в себя, то ангельские черты ее лица, хотя и бледного, не выражали никаких страданий... Я даже был поражен светом, сияющим на ее благородном челе. Эта душевная умиротворенность вновь меня напугала: мне показалось, что моя дочь таит надежду на скорое избавление... Аббатиса возвратилась в зал капитула, – чтобы закрыть заседание и отпустить монахинь; я остался наедине с дочерью.

Не сводя с меня глаз, помолчав немного, она сказала:

– Дорогой отец, сможете ли вы простить мне мою неблагодарность? Сможете вы забыть, что, когда я хотела начать эту ужасную исповедь, вы просили меня пощадить вас?

– Замолчи, умоляю тебя.

– Я не подумала, – с горечью продолжала она, – что рассказывать всем о том, из какого омута разврата вы меня извлекли... это значило бы открыть тайну, которую вы хранили, питая ко мне нежную привязанность... Это значило бы публично опозорить вас, отец, обвинить в обмане, на который вы пошли только для того, чтобы обеспечить мне блестящее, почетное положение... О, сможете ли вы простить меня?

Вместо ответа я прикоснулся губами к ее лбу, и она почувствовала мои слезы.

Несколько раз поцеловав мне руки, она сказала:

– Теперь я чувствую себя лучше, дорогой отец... теперь, когда я умерла для света, как сказано у нас в уставе... я хотела бы сделать распоряжение в пользу некоторых лиц... но то, что принадлежит мне, все это ваше... вы разрешите мне это сделать, дорогой отец?..

– Неужели ты сомневалась?.. Но, умоляю тебя, – сказал я, – не предавайся таким мрачным мыслям... Потом ты займешься своим завещанием, времени у тебя хватит...

– Конечно, милый отец, мне предстоит еще долгая жизнь...

Эти слова она произнесла таким тоном, что, не знаю, почему, меня опять бросило в дрожь.

Я еще внимательнее посмотрел на нее; лицо ее не изменилось, и я успокоился.

– Да, время у меня еще будет, но отныне я не должна заниматься земными делами... ведь сегодня я отреклась от всего, что связывало меня с миром. Прошу вас, не откажите мне...

– Приказывай... я исполню все, что ты пожелаешь...

– Я хотела бы, чтоб моя нежная мать всегда хранила в маленькой гостиной, где она обычно проводит время, пяльцы... с начатой мною вышивкой.

– Твое желание будет исполнено, дитя мое. Твои покои остаются в полной сохранности, после того... как ты покинула дворец, так как все, что тебе принадлежало, для нас предметы религиозного культа... Клеманс будет глубоко тронута, узнав о твоём желании.

– А вы, дорогой отец, прошу вас, возьмите мое большое кресло черного дерева, сидя в котором я так долго думала, о многом мечтала...

– Оно будет поставлено рядом с моим в рабочем кабинете, и я буду каждый день воображать, что ты здесь, подле меня, как это часто бывало, – сказал я, заливаясь слезами.

– Теперь я хотела бы также оставить память о себе среди тех, кто был мне предан во времена моих скитаний. Госпоже Жорж я желала бы оставить чернильницу, служившую мне до по-

Эжен Сю

следнего времени. Этот дар имеет свой смысл, ведь она первая, кто учил меня писать на ферме. Что касается досточтимого кюре Букеваля, обратившего меня в нашу веру, то ему я оставляю прекрасное распятие из моей молельни...

– Хорошо, дорогое дитя...

– Я желала бы также отправить моей Хохотушке жемчужную повязку; эта скромная вещь, и она могла бы носить ее на своих прекрасных черных волосах... И, если возможно, ведь вы знаете алжирский адрес Марсиаля и Волчицы, я хотела бы, чтоб эта мужественная женщина, которая спасла мне жизнь, получила бы золотой с эмалью крест... Все эти сувениры, дорогой отец, должны быть вручены от имени Лилии-Марии.

– Я исполню твою волю... Ты никого не забыла?..

– Думаю, что нет.

– Подумай... среди тех, кто тебя любил; нет ли какого-нибудь очень несчастного человека... который страдает так же, как твоя мать и я... кто столь же тяжело, как мы, переживает твой уход в монастырь?

Бедная дочь поняла меня, она пожала мне руку, легкий румянец на мгновение покрыл ее бледное лицо.

Предчувствуя вопрос, который она, вероятно, боялась мне задать, я сказал:

– Он выздоравливает... опасность миновала.

– А его отец?

– Состояние его улучшилось после того, как стал поправляться его сын. Он также чувствует себя хорошо... А что оставишь ты Генриху? Твой сувенир будет для него дорогим и вечным утешением!.. – Отец... подарите ему мой аналой для молитвы... Увы; я много раз орошала его слезами, взывая к богу помочь мне забыть Генриха, любви которого я была недостойна...

– Как он будет счастлив, когда узнает-, что ты вспомнила о нем!

– Что касается приюта для сирот и покинутых родителями девушек, я желала бы, дорогой отец, чтобы...»

.....

На этом месте письмо Родольфа было прервано, и далее следуют едва различимые слова: «Клеманс... Мэрф закончит это письмо; я ничего не соображаю, схожу с ума... Ах, 13 января!!!»

.....

Окончание письма было написано рукой Мэрфа:

«Сударыня!

По повелению его высочества заканчиваю этот печальный рассказ. Два письма монсеньора должны были подготовить ваше высочество к печальному известию, которое я принужден сообщить.

Три часа тому назад монсеньор начал писать письмо вашему высочеству; я ожидал в соседней комнате, чтобы отправить его с курьером. Вдруг вошла растерянная принцесса Юлиана.

– Где его высочество? – с тревогой спросила она.

– Принцесса, монсеньор пишет письмо великой герцогине, в котором извещает ее о том, что здесь происходит.

– Сэр Вальтер, нужно сообщить монсеньору об ужасном событии. Вы его друг... благоволите его уведомить. От вас ему будет легче выслушать эту страшную весть...

Я все понял и решил с предосторожностями оповестить его высочество об этом роковом событии... Принцесса предупредила, что Амелия медленно угасает и что монсеньор должен поспешить, чтобы застать ее в живых, поэтому у меня не было времени для длительных разговоров. Я вошел в гостиную. Его высочество сразу заметил мою бледность.

– Ты пришел известить меня о несчастье!..

– О неизбежном несчастье, монсеньор... Мужайтесь!..

– О, я предчувствовал!.. – воскликнул он и, не говоря ни слова, бросился в монастырь. Я последовал за ним.

Из кабинета настоятельницы принцесса Амелия была перенесена – в ее келью, после того как она в последний раз виделась с монсеньором. При ней находилась одна из монахинь; через некоторое время она заметила, что голос Амелии слабеет и дыхание становится все более прерывистым. Сестра поспешила предупредить аббатису. Был вызван доктор Давид; он полагал восстановить упадок сил, применив сердечное лекарство, но напрасно; пульс был едва ощутимый. Доктор с отчаяньем признал, что непрерывные волнения, быть может, окончательно подорвали слабое здоровье Амелии, и нет никакой надежды на ее спасение.

В это время прибыл герцог; принцесса приняла соборование, сознание ее не совсем померкло; руки ее были сложены на груди, и она держала поблекшую веточку своего розового куста.

Монсеньор упал на колени возле ее изголовья и зарыдал.

– Моя дочь, мое дорогое дитя!.. – воскликнул он душераздирающим голосом.

Принцесса услышала его, слегка повернула к нему голову, открыла глаза... попыталась улыбнуться и тихо произнесла:

– Дорогой отец... прости... Генрих... моя милая мать... простите...

Это были ее последние слова.

После спокойной, если можно так сказать, агонии, длившейся около часа, она отдала богу душу.

Когда она испустила последний вздох, герцог безмолвствовал... В его безмолвии таилось отчаяние. Закрыв усопшей глаза, он несколько раз поцеловал её, осторожно взял из рук розу и вышел из кельи.

Я последовал за ним; он возвратился в служебный особняк монастыря и показал мне письмо, которое начал писать вам; он хотел сообщить еще несколько слов, но не смог этого сделать, потому что рука его дрожала; тогда он сказал мне:

– Не могу... я бессилён... потерял голову! Напиши герцогине, что отныне у меня нет дочери!

Я исполнил просьбу монсеньора.

Да будет мне разрешено как его старому слуге, умолять ваше высочество ускорить приезд... насколько это позволит здоровье графа д'Орбиньи. Только ваше присутствие может успокоить отчаянье монсеньора... Он хочет проводить все ночи подле дочери, пока она не будет погребена в герцогском приделе.

Я исполнил свою печальную обязанность, сударыня, простите за бессвязность письма и примите уверения в моей почтительной преданности. Имею честь быть покорным слугой вашего высочества.

Вальтер Мэрф ».

.....

Накануне похорон принцессы Амелии Клеманс приехала вместе с отцом в Герольштейн. Родольф был не один в день погребения Лилии-Марии.